

ВЕК  
ИМПЕРИИ  
1875 - 1914



ЭРИК ХОБСБАУМ

*Эрик Хобсбаум*

**Век**

**ИМПЕРИИ**

**1875 — 1914**

**Ростов-на-Дону**  
**«Феникс»**

**1999**

ББК 63.3 (3)3

Х 68

Научный редактор к. и. н. *А. А. Егоров.*

Главы 1—8. Переводчик: *Е. С. Юрченко.*

Главы 9—13. Переводчик: *В. П. Белоножко.*

**Хобсбаум Э.**

**Х 68 Век Империи. 1875—1914. Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,  
1999. — 512 с.**

**ББК63.3 (3)3**

**ISBN 5-222-00616-6**

© 1987 by E. J. Hobsbawm

© Издательство «Феникс», 1999

---

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга, хотя она и написана историком-профессионалом, адресована не собратьям по науке, а всем тем читателям, которые хотят понять окружающий мир и верят, что история откроет им дорогу к этой цели. Задача книги состоит отнюдь не в том, чтобы подробно рассказать о событиях, случившихся в мире за сорок лет перед первой мировой войной, хотя автор надеется, что Вы составите об этом периоде определенное представление, а если захотите узнать побольше, то сможете обратиться к обширной и, нередко, превосходной литературе, большая часть которой изда-на на английском языке и легко доступна всем, проявляющим интерес к истории. Некоторые из этих книг указаны в перечне литературы, рекомендуемой для дальнейшего чтения.

Чего я действительно хотел, создавая этот том (как и два предыдущих — «Век Революции, 1789—1848 годы» и «Век Капитала, 1848—1875 годы»), — так это понять и объяснить девятнадцатый век и его место в истории, а также понять и объяснить мир в процессе революционного преобразования, чтобы найти в прошлом корни текущих событий и (пожалуй, это самое главное) представить прошлое как единую и цельную сущность, а не как набор тем для обсуждения, посвященных, каждая в отдельности (как того часто требует специализация науки), истории государств, истории политики, экономики, культуры и многих других вещей. Что касается меня, то я, с самого начала занятий историей, хотел понять, как все эти аспекты прошлой (и настоящей) жизни сосуществуют вместе, и почему это возможно.

Таким образом, данная книга не является ни хроникой событий, ни сводом комментариев к ним, ни, тем более, демонстрацией учености автора. Скорее, это попытка постепенного развешивания основной темы, получающей новое освещение в каждой главе. Читатели оценят, насколько мне это удалось, хотя я, со



своей стороны, приложил все усилия к тому, чтобы сделать книгу доступной для неспециалистов.

Нет никакой возможности поблагодарить всех авторов, труды которых я бесцеремонно использовал, часто даже не соглашаясь с ними, и совсем невозможно выразить признательность за все идеи, полученные мною в течение многих лет в беседах с коллегами и студентами. Если они найдут в книге свои собственные мысли или наблюдения, которые я, конечно, местами переврал, то они могут, по крайней мере, хорошенько меня поругать.

Тем не менее я могу выразить благодарность тем, кто помог мне, после долгих подготовительных трудов, создать эту книгу. Так, работа в Коллеж де Франс позволила мне создать в 1982 г. нечто вроде первого эскизного наброска в виде курса из 30 лекций; так что я весьма благодарен этому прославленному учебному заведению и лично господину Эммануэлю Ле Руа Ладюри, способствовавшему моему приглашению. Фонд Левергульма предоставил мне в 1883—1885 гг. должность почетного профессора, что очень помогло мне в моей работе; а Институт наук о человеке, находящийся в Париже, и господин Клеман Геллер, а также Всемирный институт развития экономических исследований при Университете Организации Объединенных Наций, вместе с фондом Макдоннелла дали мне возможность спокойно поработать несколько недель в 1986 году и закончить текст. Из всех, кто помогал мне в моих исследованиях, хочу особо поблагодарить Сьюзен Хаскинс, Ванессу Маршалл и доктора Иенну Парк. Фрэнсис Хаскелл прочел главу об искусстве, Алан Маккэй — главу о науке, а Пэт Тэйн — об эмансипации женщин; тем самым они помогли мне избавиться от многих ошибок (боюсь, что не от всех!). Андре Шифрен, будучи моим другом и представляя собой как раз тот тип образованного читателя-неспециалиста, которому адресована книга, любезно прочел всю рукопись. В течение многих лет я читал лекции в Лондонском университете студентам колледжа Биркбек; сомневаюсь, что без этих занятий я смог бы хорошо представлять значение девятнадцатого века в мировой истории. Всем этим людям я посвящаю эту книгу.

---

## ВСТУПЛЕНИЕ

*Память — это жизнь. Ее носителями всегда являются группы живых людей; поэтому она постоянно претерпевает изменения. Под действием воспоминаний и забвения она всегда находится в процессе развития, не осознавая при этом собственных деформаций и оставаясь открытой для всякого рода использования и манипуляций. Иногда она никак не проявляет себя в течение долгого времени, затем вдруг оживает. История же всегда представляет собой неполную и спорную реконструкцию того, чего уже нет. Память всегда принадлежит нашему времени и образует живую связь с вечным настоящим, тогда как история — это представление о прошлом.*

Пьер Нора, 1984 г.<sup>1\*</sup>

*Простой пересказ хода событий, даже во всемирном масштабе, вряд ли приведет к лучшему пониманию сил, управляющих миром в наше время, если при этом мы не рассматриваем глубинные структурные изменения. Новая система координат и новые точки отсчета — вот что необходимо в первую очередь. Их-то мы и попытаемся определить в данной книге.*

Джеффри Барраклаф, 1964 г.<sup>2\*</sup>

---

### I

Летом 1913 года молодая девушка окончила среднюю школу в Вене, которая была тогда столицей Австро-Венгерской империи. Это событие явилось достаточно необычным достижением для девушки, проживавшей в Центральной Европе. Чтобы отметить окончание, родители решили предложить ей путешествие за границу, а поскольку было немыслимо подвергнуть юную даму (18 лет!) опасностям и соблазнам поездки в одиночку, пришлось подыскивать подходящего родственника.

К счастью, среди нескольких родственных семейств, перебравшихся за многие годы на запад в поисках образования и благополучия из разных небольших городов Польши и Венгрии, нашлось-

таки одно, у которого дела шли на удивление неплохо. Дядя Альберт создал сеть магазинов в городах Леванта — Константинополе, Смирне, Алеппо и Александрии. В начале двадцатого века на Среднем Востоке и в Османской империи существовала масса возможностей для успешного бизнеса, и Австрия издавна служила окном из Центральной Европы в страны Востока.

В те времена Египет служил для космополитичного европейского среднего класса и живым музеем, удобным для продолжения культурного развития, и экзотической страной, где можно было легко общаться на французском, ну а юная леди и ее сестры как раз освоили французский язык в школе-пансионе недалеко от Брюсселя. Хотя, конечно, там, в Египте, были еще и арабы...

Дядя Альберт был очень рад встретить свою молодую родственницу, приехавшую в Египет на пароходе компании «Ллойд Триестино» из Триеста, который был тогда главным портом империи Габсбургов и, между прочим, местом проживания Джеймса Джойса<sup>1</sup>. Так вот, юная девушка стала потом матерью автора этой книги.

За несколько лет до этого один молодой человек тоже совершил путешествие в Египет, но только из Лондона. Его семейные связи были гораздо более скромными. Отец, эмигрировавший в Британию из российской части Польши в 1870 г., был столяром-краснодеревщиком по профессии и кое-как зарабатывал на жизнь, обитая сначала в восточной части Лондона, а потом в Манчестере. Он имел дочь от первого брака и еще восемь детей — от второго; большинство их родились уже в Англии и получили скромное воспитание, которое смог обеспечить им их отец. Лишь один из сыновей имел способности к бизнесу; остальные не были склонны к подобным занятиям. Этот сын, один из самых младших, дольше других учился в школе и стал горным инженером в Южной Америке, бывшей в ту пору частью, хотя и неофициальной, Британской империи.

Все дети, однако, с большой охотой старались выучить английский язык и усвоить обычаи страны, стремясь ничем не отличаться от англичан. Один стал актером, другой продолжил занятия семейным ремеслом, еще один стал учителем начальной

школы, а двое других нашли работу в растущей сфере услуг, став почтовыми служащими. Как раз незадолго до этого Британия оккупировала Египет, и вскоре один из братьев стал олицетворением частички Британской империи в качестве заведующего отделением Службы почты и телеграфа Египта, находящимся в дельте Нила. Он решил, что Египет вполне может стать полем деятельности и для другого брата, обладавшего разнообразными способностями, которые могли бы обеспечить ему интересную жизнь, если бы не постоянная необходимость зарабатывать себе на хлеб. Этот молодой человек был умен, приятен в обращении, имел способности к музыке и занимался различными видами спорта, причем, как боксер легкого веса, мог участвовать в чемпионатах по этому виду спорта. Таким образом, он являл собой как раз тот тип англичанина, который мог легко найти работу служащего судоходной компании и достойно занимать этот пост именно «в колониях», а не где-либо еще.

Вот этот молодой человек и стал впоследствии отцом автора данной книги, так как встретил свою будущую жену именно там, где их свели законы экономики и политики Века Империи, не говоря уже о социальной истории. Они встретились в Спортивном клубе, находившемся в пригороде Александрии, неподалеку от того места, где они потом устроили себе свой первый дом. Крайне мало вероятно, чтобы такая встреча могла произойти в подобном месте и привести к браку таких двух людей, если бы все это происходило ранее периода истории, о котором рассказывает эта книга. Читатели сами смогут понять — почему.

Существует и вполне серьезная причина для того, чтобы начать эту книгу с рассказанной автобиографической истории. У каждого из нас есть определенная «сумеречная зона», располагающаяся между историей и памятью, между прошлым в его обобщенной записи, открытым для сравнительно беспристрастного изучения, и тем прошлым, которое является частью воспоминаний или началом своей собственной жизни. Для отдельных человеческих существ эта зона простирается от начала живых семейных традиций и воспоминаний, например, от самой первой семейной фотографии, которую может узнать и объяснить старейший из живых членов семьи, и до конца отрочества, когда

события общественной и личной жизни становятся неразделимыми и взаимно определяющими друг друга («Я встретил его незадолго до конца войны»; «Кеннеди, кажется, погиб в 1963 г., как раз когда я еще жил в Бостоне»). Протяженность этой зоны может меняться, как и четкость или расплывчатость ее образов. Но это всегда какая-то «ничейная полоса» времени, та часть истории, которую труднее всего понять как историку, так и любому человеку. Для автора этой книги, родившегося к концу первой мировой войны у родителей, которым в 1914 году исполнилось 33 года и 19 лет, Век Империи попадает как раз в такую «сумеречную зону».

Сказанное верно не только для личностей, но и для обществ. Действительность, в которой мы живем, все еще представляет собой, в очень большой степени, мир, созданный мужчинами и женщинами, выросшими в период, рассмотренный в этой книге, или вскоре после него. Возможно, так получилось просто потому, что двадцатый век непосредственно следует за девятнадцатым — кто знает? Но это утверждение вполне справедливо для первых семидесяти лет нашего столетия.

Давайте посмотрим, например, список политиков, которые, как принято считать, определили исторический образ и развитие двадцатого века. Итак: в 1914 году Владимир Ильич Ульянов (Ленин) был в возрасте 44 лет; Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) — 35 лет; Франклин Делано Рузвельт — 30 лет; Дж. Мэйнард Кейнс — 32 лет; Адольф Гитлер — 25 лет; Конрад Аденауэр, создатель Федеративной Республики Германии, образованной после 1945 года, — 38 лет. Уинстон Черчилль был в возрасте 40 лет; Махатма Ганди — 45 лет; Джавахарлал Неру — 25 лет; Мао Цзедун — 21 года; Хо Ши Мин — 22 лет, так же, как Иосип Броз (Тито) и как Франсиско Франко Багамонде (генерал Франко), т. е. на 2 года моложе, чем Шарль де Голль, и на 9 лет моложе, чем Бенито Муссолини.

Посмотрим также соответствующие числовые данные, относящиеся к деятелям культуры, воспользовавшись для этого «Словарем современного мышления», изданным в 1977 году. Итак: выдающиеся деятели культуры XX века, родившиеся в 1914 году и позже, составляют 23% от общего количества; такие же деяте-

ли, активно работавшие в период с 1880 по 1914 год или ставшие взрослыми в 1914 году, — 45% от общего количества; такие же, родившиеся в 1910—1914 гг., — 17%; такие же, активно работавшие до 1880 года, — 15%.

На основе этих данных можно сразу сказать, что XIX век был более важным для формирования современного мышления, чем текущий период; видимо, так считали и составители словаря, поскольку он был издан, когда прошло уже больше двух третей XX века. Согласимся ли мы с оценками составителей или нет — эти оценки все равно сохраняют свое значение.

Таким образом, не только сравнительно немногие оставшиеся в живых личности, непосредственно связанные с периодом до 1914 года, должны определить свое отношение к образам своей личной «сумеречной зоны»; это приходится делать всем нам, живущим в 1980-е годы (хотя и без чисто личной заинтересованности), потому что наше время сформировано периодом, приведшим мир к первой мировой войне. Я не говорю, что более отдаленные времена не столь важны для нас; просто они связаны с нами по-другому.

Рассматривая отдаленные периоды истории, мы знаем, что мы находимся при этом в роли чужаков и посторонних наблюдателей, подобно западным антропологам, собравшимся исследовать жизнь папуасов. Если эти периоды достаточно далеки от нас (географически, хронологически или эмоционально), то они могут оживать перед нами только через посредство неодушевленных реликвий, оставшихся от мертвых; через слова и символы, написанные, напечатанные или выгравированные; через сохранившиеся материальные объекты и художественные произведения. При этом, если мы — историки, то мы знаем: то, что мы написали, смогут оценить и поправить только такие же «чужаки», как и мы, для которых прошлое тоже является «другой страной». Мы судим обо всем с позиций своего времени, места и ситуации и склонны переиначивать прошлое согласно своим взглядам, переоценивать отдельные детали и полагаться на историческую перспективу. Мы усердно работаем с архивами и первоисточниками, читаем непомерное количество вторичной литературы, разбираемся в спорах многих поколений своих предшествен-

ников, в изменениях моды, интересов и методов интерпретации; проявляем любопытство, задаем вопросы. Но на этом пути мы не встречаем никого, кроме своих современников, отстраненно спорящих о прошлом, которое уже не является частью памяти. То, что мы знаем (по нашему мнению) о Франции 1789 года или об Англии времен короля Георга III, представляет собой сведения, полученные из вторых, а то и из пятых рук: от преподавателей, из официальных источников, из бесед.

Зато там, где историки пытаются разобраться с периодом, имеющим своих живых свидетелей, сталкиваются (или, в лучшем случае, дополняют друг друга) две совершенно разные концепции: научная и жизненная, архивная и основанная на личной памяти. Дело в том, что каждый из нас является историком своей сознательно прожитой части жизни и каждый сам, своим умом, постигает ее законы; при этом, как ни суди, а большинство людей — ненадежные «историки», ведь известно, что устную историю творят не те, чей вклад в историю был существенным. Не зря ученые, опрашивающие старых солдат или политиков и уже имеющие обширную и надежную информацию, предварительно собранную по письменным источникам, иногда не могут понять своих собеседников. Бывает и наоборот: историк второй мировой войны (в отличие от, например, историка крестовых походов) может столкнуться с человеком, который, вспомнив действительный ход событий, скажет ему, покачивая головой: «Нет, это было совсем не так!»

Как бы то ни было, обе указанные версии истории, даже если они противоречат одна другой, представляют собой многообразно взаимосвязанные модели прошлого, существующие в сознании людей и потенциально пригодные для исследования.

По-особому обстоит дело с историей «сумеречной зоны». Она, по самой своей сущности, состоит из несвязных, неполных образов прошлого, иногда туманных, иногда вполне четких, но всегда изменившихся под влиянием учебы и «вторичной» памяти, сформированной общественными и личными традициями. Она является частью нас самих, но уже не вполне нам подвластной. Ее можно уподобить красочной старинной карте, полной пунктирных линий и белых пятен и обрамленной рисунками чудовищ

и древних символов. Ее неясности и загадки растут и множатся под влиянием средств массовой информации, для которых сам факт большого значения «сумеречной зоны» служит причиной постоянного пристального внимания к ней. Благодаря газетам и телевидению отрывочные и символические образы становятся живыми и убедительными (по крайней мере, так происходит на Западе). Яркий пример — случай с «Титаником», который вот уже три четверти века способен снова и снова вызывать шумный интерес газет. Так что образы, вспыхивающие в нашем мозгу, когда он, по той или иной причине, обращается к периоду, закончившемуся первой мировой войной, гораздо труднее отделить от принятой интерпретации событий, чем, например, побасенки и анекдоты, используемые для быстрого введения неискушенных слушателей в атмосферу далекого прошлого, вроде рассказа о том, как Дрейк<sup>2</sup> играл в шары, когда Испанская Армада<sup>3</sup> приближалась к берегам Британии; или предания о бриллиантовом ожерелье Марии-Антуанетты; или о том, как Вашингтон сказал, пересекая реку Делавер: «Теперь накормим их пирожными». Ни один из таких рассказов не заинтересует настоящего историка ни на минуту, они существуют вне исторической науки. А можем ли мы, даже будучи профессиональными историками, спокойно отвергнуть мифологизированные образы Века Империи, существующие в рассказах о «Титанике», о землетрясении в Сан-Франциско или о Дрейфусе? Конечно, нет, потому что мы руководствуемся принципами демократии и факел статуи Свободы является нашим путеводным огнем. Век Империи громче других взывает о разоблачении связанных с ним мистификаций именно потому, что мы, в том числе и историки, уже не живем в нем, но все еще не знаем, насколько значительным остается его влияние на нас. Это вовсе не значит, что его следует развенчать и опорочить (т. е. пойти по пути, проторенному в те времена).

## II

Необходимость иметь какую-то историческую перспективу является в наше время особенно настоящей, так как люди в конце двадцатого столетия до сих пор с волнением вспоминают



события периода, закончившегося в 1914 году, — возможно, потому, что в августе 1914 года имел место один из самых заметных «естественных переломов» истории. Уже тогда люди чувствовали, что это — конец определенной эры; это чувство сохраняется и теперь. Можно, конечно, его оспаривать, указывая на преемственность и связи последующих лет. В конце концов, история — не автобусный маршрут, когда машина меняет всех пассажиров и экипаж на конечной остановке. Тем не менее, если существуют особые даты, наиболее подходящие для целей периодизации, то август 1914 года, безусловно, является одной из них. Было ясно, что наступил конец мира, созданного буржуазией и для буржуазии, конец «долгого девятнадцатого века», хорошо изученного историками и рассмотренного автором в трех книгах, из которых настоящая является заключительной.

По указанным причинам девятнадцатый век привлекает огромное внимание историков, как любителей, так и профессионалов; писателей, специализирующихся в области культуры, литературы и искусства; биографов; создателей фильмов и телевизионных программ и даже творцов моды. Готов утверждать, что в англоязычном мире за последние 15 лет не реже раза в месяц появлялось значительное произведение — книга или статья, посвященные периоду с 1880 по 1914 год. Большая часть их была обращена к историкам и другим специалистам, потому что (как мы видели) указанный период не только был определяющим для развития современной культуры, но и обозначил направления многих дискуссий по истории, национальной и международной, начатых, главным образом, еще до 1914 года: об империализме; о развитии лейбористского и социалистического движения; о причинах упадка экономики Британии; о природе и происхождении русской революции; и других. По вполне понятным причинам наибольшую известность приобрел вопрос о причинах первой мировой войны, который уже вызвал к жизни несколько тысяч томов и продолжает служить причиной появления все новой литературы во впечатляющих количествах. Дело в том, что этот вопрос отнюдь не закрыт, и проблема возникновения мировых войн, к сожалению, не исчезла после 1914 года. Фактически, связь между событиями прошлого и настоящего нигде не является столь очевидной, как на примере истории Века Империи.

Если оставить в стороне монографии, то большинство авторов, пишущих об этом периоде, можно разделить на две группы: на тех, кто смотрит назад, и на тех, кто смотрит вперед. Те и другие стремятся сосредоточить внимание на одной из двух самых очевидных сторон этого времени. С одной стороны, оно кажется страшно далеким и невозвратимым — если смотреть на него через непреодолимый барьер августа 1914 года, С другой стороны, как это ни парадоксально, множество особенностей, свойственных концу двадцатого столетия, берут свое начало в тридцатилетии, предшествовавшем первой мировой войне. Пожалуй, наиболее известный пример, представляющий первую группу авторов, — Барбара Тухман с ее бестселлером «Башня гордости», рисующим портрет мира перед войной, в 1890—1914 годы; вторую группу хорошо представляет Альфред Чандлер со своим исследованием происхождения современного менеджмента корпораций под названием «Видимая рука».

По количеству названий и по размерам тиражей, безусловно, лидирует первая группа — те, кто «смотрит назад». И это понятно: ведь не до конца осмысленное прошлое представляет собой вызов хорошему историку, который хоть и знает, что его нельзя вполне понять с позиций анахронизма, но не может устоять перед непреодолимым искушением, вызываемым ностальгией. Наименее проницательные и наиболее сентиментальные исследователи постоянно пытаются воссоздать очарование ушедшего времени, которое в памяти высшего и среднего классов видится сквозь некую золотую дымку и обозначается выражениями «счастливые времена» или «прекрасная эпоха». Естественно, такой подход очень нравится предпринимателям и продюсерам средств массовой информации, дизайнерам одежды и т. п. людям, обслуживающим лиц с тугим кошельком. Этот взгляд на эпоху хорошо знаком широкой публике благодаря кино и телевидению. Он, конечно, совершенно неудовлетворителен, хотя, несомненно, отражает одну явную особенность того времени, благодаря которой в обиход вошли выражения: «плутократия» и «класс прожигателей жизни».

Здесь можно было бы порассуждать о том, являются ли указанные исследователи более (или менее) бесполезными, чем писатели, обладающие более сложным интеллектом (хотя и испы-

тывающие еще более сильную ностальгию), которые надеются доказать, что утерянный рай мог бы и уцелеть, если бы не были допущены некоторые ошибки (которых вполне можно было бы избежать) или не произошли бы некоторые роковые события — и тогда не было бы ни мировой войны, ни русской революции, ни разных других несчастий, из-за которых и погиб мир, существовавший до 1914 года.

Другие историки больше озабочены не «великим разрывом времен», а, наоборот, тем фактом, что очень многие из характерных качеств нашего времени берут свое начало (иногда совершенно неожиданно) из десятилетий, предшествовавших 1914 году, и до сих пор сохраняют свое значение. Они находят в прошлом корни и признаки сегодняшних событий, иногда поистине бросающиеся в глаза.

Например, если обратиться к политике, то рабочие и социалистические партии, которые в большинстве стран Западной Европы либо образуют правительство, либо возглавляют оппозицию, являются порождением периода 1875—1914 годов, и то же самое можно сказать о другой ветви этого семейства — коммунистических партиях, возглавляющих правящие режимы стран Восточной Европы (коммунистические партии, правящие в других странах, были сформированы по той же модели, но после рассматриваемого периода). Там же берет начало и политика правительств, избранных демократическим путем, а также современные массовые политические партии, профсоюзные организации национального масштаба и современное законодательство, обеспечивающее права трудящихся.

Большая часть выдающихся достижений культуры двадцатого века состоялась под знаменами течения, получившего название «модернизм», возглавленного так называемым «авангардом», который по своему происхождению тоже относится к рассматриваемому периоду девятнадцатого века. Даже в наши дни некоторые «авангардисты» и другие школы, не признающие больше этих традиций, продолжают определять свою идеологию в терминах, которые они (на словах) отвергают, например, так называемый «постмодернизм». Да и в повседневной культуре до сих пор доминируют три нововведения девятнадцатого века: рекламная ин-

дустрия (в ее современном виде), современные газеты и другие периодические издания массового тиража и кино (в чистом виде или в совокупности с телевидением).

Наука и техника, конечно, прошли большой путь со времен 1875—1914 годов, тем не менее в современной науке существует очевидная преемственность по отношению к веку Планка, Эйнштейна и молодого Нильса Бора. Что касается техники, то автомобили с двигателями внутреннего сгорания и самолеты, впервые появившиеся в указанный период, так и остаются выдающимся элементом городских пейзажей и сельских ландшафтов. Телефон и радиосвязь, изобретенные тогда, были, конечно, усовершенствованы, но не были заменены чем-то другим.

Таким образом, оглядываясь назад, можно сказать, что самые последние десятилетия двадцатого века хоть и не вполне вписываются в рамки, определенные до 1914 года, но эти рамки все еще продолжают служить в качестве ориентиров по большинству направлений.

Все же представление об истории прошлого будет неполным, если учитывать только две указанные выше точки зрения. Да, вопросы преемственности и разрыва связей между Веком Империи и настоящим временем все еще имеют значение, поскольку наши эмоции до сих пор непосредственно связаны с этим отрезком исторического прошлого. Однако, с точки зрения историка, чисто теоретически, вопрос о непрерывности и прерывности времен является тривиальным. Как же все-таки следует рассматривать этот период? Ведь тема связи прошлого с настоящим находится в центре внимания как тех, кто пишет историю, так и тех, кто ее читает. Те и другие хотят (или хотели бы) понять, как прошлое перешло в настоящее, и почему настоящее не похоже на прошлое.

«Век Империи», будучи вполне самостоятельной книгой, является третьим томом труда, дающего полный обзор значения девятнадцатого века в мировой истории. Историки называют его «долгое девятнадцатое столетие» и считают его началом примерно 1776 год, а окончанием — 1914 год. Сначала намерения автора не были столь амбициозными. Но, по мере того как, с интервалами по несколько лет, были написаны, один за другим, три

тома, они составили, хотя и непреднамеренно, единую серию взаимосвязанных книг, так как они отвечали общей концепции освещения роли девятнадцатого века в истории. И поскольку удалось выдержать эту общую концепцию, связав содержание «Века Революции» с содержанием «Века Капитала», а затем — содержание обеих книг с содержанием «Века Империи» (по крайней мере, я надеюсь, что это так), то было бы полезным сохранить связь содержания «Века Империи» с содержанием следующей книги.

Необходимо подчеркнуть, что главная ось, вокруг которой я попытался расположить весь материал по истории столетия, — это тема торжества и трансформации капитализма, принявшего специфическую историческую форму буржуазного общества, точнее — его либеральной разновидности.

История капитализма началась с решительного двойного прорыва, совершенного сначала первой промышленной революцией в Британии, открывшей безграничные возможности системы производства, введенной с целью экономического роста и глобального распространения нового строя, а затем — франко-американской политической революцией, установившей основные модели общественных институтов буржуазного общества, дополненные почти одновременным формированием его главных и взаимосвязанных теоретических систем: классической политэкономии и утилитарной философии. Первый том данного труда — «Век Революции» — построен именно на этой концепции «двойной революции».

Развитие событий привело к уверенному покорению мира капиталистической экономикой, ведомой ее определяющим классом — буржуазией, под знаменами идеологии либерализма, явившейся основным интеллектуальным выражением новой эпохи. Об этом говорится во втором томе, охватывающем короткий период между революцией 1848 года и наступлением депрессии 1870-х годов, когда перспективы развития буржуазного общества и его экономики казались достаточно благоприятными, благодаря достигнутому поразительному триумфу. Потому что политическое сопротивление «старых режимов», против которых боролась французская революция, было преодолено, либо они сами

подчинились и приняли экономическую, государственную и культурную гегемонию триумфально наступающего буржуазного прогресса. В экономическом отношении трудности индустриализации и экономического роста, обусловленные узостью первоначального базиса, были преодолены, в немалой степени благодаря распространению промышленных преобразований и громадному росту мирового рынка. В социальном отношении взрывчатое недовольство бедных слоев общества постепенно разрядилось во время Века Революции. Короче говоря, главные препятствия непрерывного и вначале неограниченного буржуазного развития, казалось, были устранены. Возможные трудности, порожденные внутренними противоречиями прогресса, казалось, не должны были вызвать немедленного напряжения. В Европе в этот период было меньше социалистов и революционеров, чем в других частях мира.

С другой стороны, Век Империи весь пронизан и окрашен этими противоречиями. Это была эра беспрецедентного мира, установившегося в странах Запада, породившая эру столь же беспрецедентных мировых войн; эра растущей социальной стабильности, наступившей (несмотря на отдельные вспышки противоречий) в промышленно развитых странах, сформировавшая небольшие группы людей, которые, с почти бесцеремонной легкостью, подчиняли себе обширные империи и управляли ими, что неизбежно создавало на границах объединенные силы мятежа и революции, грозившие поглотить все и вся. Начиная с 1914 года в мире воцарился страх — страх перед возможной (или реальной) мировой войной и мировой революцией (вызывавшей, впрочем, у многих не страх, а надежду), приход которых был обусловлен исторической ситуацией, сложившейся непосредственно в Век Империи.

Это была эра, когда массовые организованные движения класса наемных рабочих, созданного промышленным капитализмом и являющегося его неотъемлемой частью, неожиданно поднялись и потребовали свержения капитализма. Однако они возникли и укрепились в странах с процветающей и растущей экономикой, в то время, когда именно капитализм предложил им несколько менее жалкие условия существования, чем было раньше. Это была

эра, когда политические и культурные институты буржуазного либерализма расширились за счет масс трудящихся (или были готовы это сделать), включив в себя (впервые в истории!) даже женщин; и это расширение привело к вытеснению центрального класса — либеральной буржуазии — на окраины политической жизни, поскольку электоральные демократии, явившиеся неизбежным продуктом либерального прогресса, ликвидировали буржуазный либерализм как политическую силу в большинстве стран. Это была эра глубокого кризиса и трансформации буржуазии, чьи традиционные моральные основы разрушились под давлением накопленных богатств и комфорта. Само существование буржуазии как класса хозяев было подорвано в результате преобразования экономической системы. Юридические лица (т. е. организации крупного бизнеса или корпорации), представлявшие акционеров, нанимавшие на работу менеджеров и исполнителей, начали заменять реальных лиц и их семейства, владевшие и управлявшие фамильными предприятиями.

Таким парадоксам нет конца. История Века Империи полна ими. Действительно, ее основными объектами являются (как следует из этой книги) общество и мир буржуазного либерализма, продвигающиеся в направлении своей «странной гибели» и приходящие к ней в апогее своего развития, становясь жертвами тех самых противоречий, которые обусловили это движение.

Более того, культура и интеллектуальная жизнь этого периода показывают странное понимание неизбежности перемен, неминуемой гибели одного мира и прихода другого. Но что придает этому периоду его неповторимую окраску и аромат — так это ожидание и, одновременно, непонимание грядущего катаклизма и при этом — неверие в него. Мировая война стояла у порога, но никто, даже лучшие из пророков, не понимали, какой в действительности будет эта война. И когда мир в конце концов оказался на грани катастрофы, люди, ответственные за принятие решений, бросились в пропасть, сохраняя свое полное неверие. Великие новые социалистические движения были революционными, но для большинства из них революция была, в некотором смысле, логическим и необходимым результатом развития буржуазной демократии, дававшим растущему большинству превосход-

ство над сокращающимся меньшинством. Для тех социалистов, кто действительно готовился к восстанию, целью грядущей битва было, в первую очередь, установление буржуазной демократии в качестве необходимой предпосылки чего-то более передового. Таким образом, революционеры оставались в пределах Века Империи, хотя и готовились выйти за эти пределы.

В науке и искусстве были отброшены ортодоксальные понятия девятнадцатого века, но никогда еще так много образованных и интеллектуально развитых мужчин и женщин не верили столь твердо в такие вещи, которые уже тогда были отвергнуты небольшим «авангардом». Если бы в то время в развитых странах были проведены перед 1914 годом опросы общественного мнения по темам: «надежда — против дурных предчувствий» и «оптимизм — против пессимизма», то, несомненно, одержали бы верх оптимизм и надежда. Парадокс, но они собрали бы больше голосов уже в новом веке, когда западный мир стоял вплотную перед 1914 годом, а не в последнем десятилетии девятнадцатого века. Но, конечно, среди оптимистов были не только люди, верившие в будущее капитализма, но и те, кто надеялся на его уход.

Собственно говоря, никаких новых или необычных случаев радикальных перемен и подрыва собственных основ, которые отличали бы этот период от других, в то время не было. Просто происходили исторические преобразования под действием внутренних сил, как это имеет место и теперь. Удивительным в XIX веке является то, что титанические революционные силы этого периода, изменившие мир до неузнаваемости, были принесены в него специфическим и, с исторической точки зрения, ненадежным и даже странным способом. Преобразование мировой экономики в течение краткого переломного периода отождествлялось с успехами одной страны средних размеров — Великобритании, так что развитие современного мира временно олицетворялось развитием либерально-буржуазного общества этой страны в девятнадцатом веке. То, что идеи, ценности, концепции и институты капитализма столь широко ассоциировались с одной этой страной, олицетворявшей триумф Века Капитала, показывает исторически преходящий характер этого триумфа.

Настоящая книга описывает тот момент истории, когда стало



ясно, что общество и цивилизация, созданные для западной либеральной буржуазии и под ее руководством, представляют не постоянную форму современного индустриального мира, а лишь одну фазу в начале его развития. Экономические структуры, на которых держится мир XX века, даже оставаясь капиталистическими, уже не являются «частнопредпринимательскими» в том смысле, как это понималось в 1870 г. Революция, память о которой доминирует в мире после первой мировой войны, — это уже не Французская революция 1789 года. Культура, проникшая повсюду, не является той буржуазной культурой, которая существовала до 1914 года. Европейский континент, развивший свои экономические, интеллектуальные и военные силы до ошеломляющих масштабов, уже не удерживает их на прежнем уровне. Ни история вообще, ни история капитализма в частности не закончились в 1914 году, хотя значительная часть мира была переведена, в результате революции, на совершенно новый тип экономики. Век Империи, или «Империализм», как называл его Ленин, не является (и это совершенно очевидно) «последней стадией» капитализма, да Ленин, в действительности, никогда и не считал его таковым. В первом варианте своего труда он называл его «позднейшей стадией» капитализма (которая после его смерти была переименована в «высшую стадию»).

Все же можно понять, почему наблюдатели (причем — не только люди, настроенные враждебно по отношению к буржуазному обществу) могли чувствовать, что эра мировой истории, в которой они жили в последние десятилетия перед первой мировой войной, представляла собой нечто большее, чем просто очередную фазу развития общества. В те годы мир, казалось, готовился тем или иным путем перейти в новое качество и стать не таким, как в прошлом. Так и случилось после 1914 года, хотя произошло это не таким образом, как предвидели или предсказывали многие пророки. Возврата к либерально-буржуазному обществу нет. Сами призывы оживить дух капитализма девятнадцатого века свидетельствуют о невозможности сделать это в наше время. К лучшему или к худшему, но после 1914 года время буржуазии ушло в историю.

---

## ГЛАВА I

# СТОЛЕТНЯЯ РЕВОЛЮЦИЯ

*«Так Хоган — пророк... Пророк — это человек, предвидящий невзгоды... Хоган сегодня — счастливейший человек в мире, а ведь завтра что-то должно произойти...»*

М-р Дули Сэз, 1910 г.<sup>1\*</sup>

---

### I

Столетние юбилеи вошли в моду в конце девятнадцатого века. Где-то между столетней годовщиной Американской революции (отмечавшейся в 1876 году) и столетием Французской революции (отмечавшимся в 1889 г., причем оба юбилея сопровождались международными выставками) образованные граждане западного мира осознали тот факт, что миру, рожденному в годы провозглашения Декларации о независимости, постройки первого в истории стального моста и штурма Бастилии, исполнилось сто лет. Каким же выглядел мир 1880-х годов по сравнению с миром 1780 года? (См. «Век Революции», гл. I.)

Прежде всего, мир стал действительно глобальным. Почти все его части были теперь известны и нанесены на карту (пусть более или менее правильно и даже приблизительно). Географические экспедиции (за незначительными исключениями) уже не представляли собой «исследования», а превратились в своего рода спортивные состязания, содержавшие нередко элемент личного или национального соперничества (вроде попыток покорения самых суровых и негостеприимных мест Арктики и Антарктики). Роберт Пири (США) выиграл в 1909 г. гонку к Северному полюсу, соревнуясь с англичанами и скандинавами; Амундсен (Норвегия) достиг Южного полюса в 1911 г., опередив на один месяц несчастного британца, капитана Скотта. (Ни одно из этих достижений не принесло ни малейших практических результатов, да это и не планировалось.)

Железные дороги и пароходы принесли с собой возможность совершать путешествия через океаны и континенты в течение недель, а не месяцев (за исключением больших пространств в Африке, континентальной Азии и внутренних районов Южной Америки), и дело шло к тому, чтобы совершать такие поездки за несколько дней: например, с окончанием постройки Транссибирской железнодорожной магистрали в 1904 году стало возможным проделать путешествие из Парижа во Владивосток за 15 или 16 дней.

Электрический телеграф сделал возможным обмен информацией по всему земному шару за несколько часов.

Вследствие всех этих достижений мужчины и женщины западного мира (и других частей света) получили беспрецедентные по качеству и масштабам возможности для путешествий и связи на большие расстояния. Рассмотрим всего один пример, который во времена Бенджамина Франклина посчитали бы пустой фантазией. В 1879 г. Швейцарию посетил почти 1 млн туристов. Более 200 000 из них были американцы; это каждый двадцатый из всего населения США, каким оно было в 1790 г., согласно проведенной тогда первой переписи населения<sup>2\*</sup> (Более полную оценку процесса глобализации см.: «Век Капитала», гл. 3 и 11.)

В то же время мир стал гораздо более плотно населенным. Правда, демографические показатели кажутся весьма спекулятивными, особенно в отношении конца XVIII века, так что точные численные оценки являются и бесполезными и опасными, однако мы будем недалеко от истины, предположив, что в 1880 г. население Земли составило 1,5 миллиарда человек, т. е. вдвое больше, чем в 1780-е годы. Большая часть этих людей жила в Азии (как это было всегда), но если в 1800 г. азиаты составляли почти две трети человечества (согласно последним исследованиям), то в 1900 г. — только 55 %. Следующими по численности были европейцы (включая все население России, азиатская часть которой была населена очень редко). Их количество (почти наверняка) более чем удвоилось, с 200 млн человек в 1800 г. до 430 млн в 1900 г., да к тому же именно их массовая эмиграция за океан обусловила (в основном) небывалый в истории рост

населения мира, потому что население Америки выросло с 30 (примерно) до почти 160 млн человек в период между 1800 и 1900 годом; при этом население Северной Америки выросло с 7 до 80 млн человек! Население опустошенного африканского континента (о демографии которого мало что известно) росло медленнее других и увеличилось за сто лет примерно более чем на одну треть. Если в конце XVIII века африканцев было втрое больше, чем жителей Америки (Северной и Южной), то к концу XIX века американцев стало намного больше, чем африканцев. Редкое население островов Тихого океана и Австралии хотя и выросло за счет притока европейцев с 2 до примерно 6 млн человек, все же не имело большого значения с точки зрения демографии.

Однако, хотя мир становился, с одной стороны, большим по населению и меньшим по географическим меркам, так сказать, более глобальным, и планету все теснее оплетали связи в виде потоков товаров, людей, капиталов, информации, продуктов материального производства и идей, то с другой стороны Земля становилась все более разделенной. Появились богатые и бедные регионы, развитые и отсталые экономики и общества, сильные и слабые политические и военные блоки государств, и так было уже в 1760-е годы и в последующие исторические времена. Главная линия раздела прошла между великим мировым поясом или зоной цивилизаций, служившей всегда родиной классовых обществ и более или менее долговечных государств и городов, управлявшихся образованным меньшинством (и оставивших после себя, к счастью для историков, содержательную письменную документацию), и между зонами Севера и Юга, ставших объектами внимания этнографов и антропологов в конце девятнадцатого — начале двадцатого века. Только внутри этого великого пояса, охватившего основную часть человечества и протянувшегося от Японии до западных берегов Атлантического океана и далее включающего земли, завоеванные европейцами в Америке, — только в этой зоне явления неравенства, хотя и достаточно значительные, не казались непреодолимыми.

Если говорить о показателях материального производства и благосостояния и, конечно, о культуре, то до начала эры индуст-

риализации различия между основными регионами цивилизованной зоны были, по современным меркам, совсем небольшими, где-то в пределах 1,0—1,8. Новейшие исследования показывают, что такой показатель, как «удельный национальный продукт» («УНП»), т. е. «валовой национальный продукт в расчете на душу населения» был в период 1750—1800-х годов в странах, называемых в наше время «развитыми», примерно таким же по своей величине, как и в странах, известных в наше время под названием «стран третьего мира»; впрочем, возможно, так получается из-за огромных размеров и значения Китайской империи (включавшей около трети населения всего мира), в которой средний уровень жизни в те времена мог, действительно, превосходить европейский<sup>3\*</sup>

Показатель «УНП» является чисто статистической величиной и получается путем деления ВВП на количество жителей страны. Хотя эта величина очень удобна для общего сравнения экономического роста разных стран в разное время, она ничего не говорит о фактических доходах и фактическом уровне жизни населения; впрочем, чисто теоретически, в стране, имеющей более высокий УНП, существует больше возможностей что-либо распределять, чем в странах с низким УНП.

В самом деле, в XVIII веке европейцы смотрели на Поднебесную империю как на очень странное место, но ни один образованный наблюдатель не сказал бы, что ее экономика и культура являются в каком-то смысле неполноценными по сравнению с европейскими, и, конечно, не назвал бы Китай «отсталой страной».

Однако в XIX веке разрыв между западными странами и остальным миром увеличился благодаря промышленной революции, преобразившей мир, и затем продолжал расти, сначала медленно, потом — все быстрее. К 1880 г. (согласно тем же исследованиям) «средний доход на душу населения» в «развитых» странах мира был почти вдвое выше, чем в странах «третьего мира»; к 1913 г. он был выше уже более чем в 3 раза, и разрыв все возрастал. К 1950 г. соотношение было уже 1:5 (т. е. процесс приобрел драматический характер), а к 1970 г. — 1:7. Более того, разрыв между «третьим миром» и действительно развитыми

промышленными странами образовался раньше и рос еще быстрее. Здесь УНП был в 1830 г. вдвое выше, чем в «третьем мире», а в 1913 г. — в 7 раз выше!<sup>4\*</sup>

Главной причиной такого разрыва было развитие техники, которое форсировалось не только экономическими, но и политическими требованиями. Через 100 лет после Французской революции становилось все более очевидным, что бедные и отсталые страны можно легко победить и завоевать (если они не были слишком крупными), в силу отсталости их вооружения. Такая ситуация явилась достаточно новой. Во время вторжения Наполеона в Египет в 1798 году его армия сражалась против армии мамелюков, располагая примерно одинаковым с ними оружием. Колониальные завоевания, осуществленные европейцами к тому времени, были сделаны не с помощью «чуждесного оружия», а благодаря большей агрессивности, беспощадности и, главное, благодаря лучшей дисциплине и организованности. Однако промышленная революция, которая с середины XIX века стала определять развитие военной техники (см. «Век Капитала», гл. 4), еще больше изменила баланс сил в пользу «передовых» стран, благодаря изобретению сильных взрывчатых веществ, пулеметов и парового транспорта (см. гл. 13). По этим причинам период между 1880 и 1930 годом можно назвать «золотым», а точнее, «железным» веком «дипломатии канонерок».

Таким образом, рассматривая 1860-е годы, мы имеем дело не с единым миром, а с двумя зонами, объединенными в глобальную систему, состоявшими из развитых и отсталых, господствующих и зависимых, богатых и бедных стран.

Конечно, такая классификация является достаточно упрощенной. Если Первая зона (меньшая по размеру), несмотря на значительные внутренние различия, имела общую историю и выступала в качестве носителя капиталистического развития, то Вторая зона (более обширная), ничем не была объединена, кроме, так сказать, своей потенциальной или фактической зависимости от первой. Действительно, что общего (кроме принадлежности к одному человечеству) имела Китайская империя или Сенегал и Бразилия с Марокко, Новыми Гебридами или с Никарагуа? Вто-

рая зона не была объединена ни общей историей, ни культурой, ни социальным устройством или государственными учреждениями, ни даже тем, что сегодня считается самой характерной чертой зависимых стран, а именно — всеобщей бедностью. Потому что богатство и бедность, как социальные категории, применимы только к обществам определенной стратификации и к экономикам определенной структуры, которых не было в зависимых странах. Конечно, определенные социальные различия между людьми (не принимая во внимание различий по половому признаку) были во всех человеческих обществах, известных истории, но если прибывшего на Запад индийского махараджу еще можно приравнять, например, к местным миллионерам, то, например, вождей и сановников Новой Гвинеи не удастся уподобить кому-либо таким путем, даже номинально. Если же говорить о простых людях любой страны мира, то, уезжая со своей родины, они обычно становятся рабочими и попадают, таким образом, в категорию «бедных», но было бы неправильным и неуместным называть их так с точки зрения их собственных представлений и понятий. К примеру, на земном шаре есть такие благоприятные области, особенно в тропиках, где никто не страдает от недостатка еды, крова и времени для отдыха. Там существуют племена, в которых разделение времени на «работу» и «досуг» вообще не имеет смысла, и нет даже слов для обозначения этих понятий.

Если само существование двух мировых зон не вызывает сомнений, то границы между ними кажутся нечеткими; главным образом, потому, что государства, осуществившие экономическое (а в наше время — и политическое) завоевание мира (или способствовавшие ему), были объединены общей историей и общим экономическим развитием. Они все находились в Европе, но главной силой мирового капиталистического развития были государства Северо-Западной и Центральной Европы, а также некоторые из их заморских территорий. Страны Южной Европы, т. е. Италия и государства Иберийского полуострова, которые первыми завоевали громадные владения за морями, играли сначала ведущую роль в развитии раннего капитализма, но затем (начиная с XVI века) уступили эту роль дру-

гим. Страны Восточной Европы оказались в пограничной зоне, где христиане — наследники и последователи Римской империи\*, более тысячи лет вели войны, отражая периодические вторжения завоевателей из Центральной Азии. Последняя волна этих захватчиков, сформировавшая великую Османскую империю, постепенно отступала с занятых ими обширных земель, которыми они владели с XVI по XVIII век, так что дни их господства явно были сочтены; хотя в 1880-е годы они все еще подчиняли себе целый пояс стран, охватывавший весь Балканский полуостров, т. е. территории современной Греции, Югославии и Болгарии, захваченные частично, всю Албанию и еще ряд островов. Многие из отвоеванных или освобожденных земель можно было назвать «европейскими» лишь из вежливости; фактически Балканский полуостров все еще рассматривался как «Ближний Восток», а под «Средним Востоком» понимали Юго-Западную Азию. Еще два государства, силами которых и был, в основном, остановлен натиск турок, оставались (и становились) великими европейскими державами, несмотря на печально известную отсталость всех или многих их народов и земель: речь идет об империи Габсбургов и об империи русских царей.

Таким образом, значительные части Европы находились, в лучшем случае, на окраинах развития капиталистической экономики и буржуазного общества. В некоторых странах их обитатели явно жили еще в прошлом веке, по сравнению со своими правителями и современниками из других государств; например, жители адриатического побережья в Далмации; или жители Буковины, где в 1880 г. было неграмотно 88% населения, по сравнению с 11% — в Нижней Австрии, являвшейся частью той же самой Австрийской империи<sup>5\*</sup> Многие образованные австрийцы разделяли мнение Меттерниха о том, что «Азия начинается там,

---

\* Начиная с V века н. э. и до 1453 года Римская империя еще существовала с переменным успехом, имея в качестве столицы Византий (впоследствии — Стамбул), а в качестве государственной религии — ортодоксальное христианство. Русские цари считали себя наследниками этой империи и называли Москву — «Третий Рим». Само слово «царь» происходит от слова «цезарь», а слово «Царьград», т. е. «город императора», является до сих пор славянским названием Стамбула.



где Восточное шоссе выходит из Вены», а большинство жителей Северной Италии смотрели на соотечественников из Южной Италии, как на разновидность африканских дикарей; однако в обеих монархиях отсталые области составляли только часть страны. В России вопрос о принадлежности к Европе или к Азии стоял гораздо более остро, потому что практически вся ее территория, расположенная к востоку от Белоруссии и Украины и до Тихого океана, была одинаково далека от буржуазного общества, за исключением тонкой прослойки образованных людей. Не зря этот вопрос был предметом горячих публичных споров.

Тем не менее история, политика, культура и, что немало важно, века заморских и трансконтинентальных экспансий против стран Второй зоны связали воедино отсталые и передовые части Первой зоны, если только не принимать во внимание изолированные анклавы типа горных районов Балканского полуострова. Россия была отсталой страной, но ее правители в течение двух веков постоянно ориентировались на Запад и подчинили себе ряд территорий у своей западной границы, таких как Финляндия, страны Прибалтики и часть Польши, которые явно были более передовыми. И в экономическом отношении Россия, несомненно, была частью Запада, а ее правительство, определенно, проводило политику широкой индустриализации по западному образцу. В политическом отношении Царская империя была скорее колонизатором, чем колонией, а небольшое образованное меньшинство населения было частью культурного слоя, прославившего западную цивилизацию XIX века. Крестьяне Буковины, самой отдаленной северо-восточной части империи Габсбургов<sup>6\*</sup> могли все еще жить в средневековье, но их столица Черновцы имела отличный европейский университет, а ее эмансипированный и ассимилированный еврейский средний класс отнюдь не был средневековым\*.

На другом конце Европы находилась Португалия, которая была небольшой, слабой и отсталой (по всем современным меркам) страной, фактически полуколонией Британии, и только внима-

---

\* Эта область стала в 1918 году частью Румынии, а в 1947 году — частью Украинской Советской республики.

тельный взгляд мог различить там признаки экономического развития. Однако Португалия оставалась не просто одним из независимых государств, но и, в силу исторических причин, громадной колониальной империей; она сохраняла за собой обширные владения в Африке не только потому, что европейские державы не могли решить, как их поделить, но и потому, что она была европейской страной и ее владения не являлись (или не вполне представляли собой) обычный объект колониальных захватов.

В 1880-е годы Европа была не только подлинной движущей силой капиталистического развития, подчинявшей и преобразовывавшей мир, но и во многом важнейшей составной частью мировой экономики и буржуазного общества. Никогда еще в истории не было, и никогда не будет в дальнейшем, столь «европейского» века.

В демографическом отношении в мире в конце столетия стало больше европейцев, чем в начале: примерно 25 % против 20 %. Несмотря на то, что Старый континент отправил миллионы людей в заморские страны, его развитие ускорилося. Хотя быстрые темпы и широкие масштабы индустриализации Америки уже обеспечили ей на будущее роль экономической сверхдержавы, Европа все еще в 2 раза превосходила ее по объему промышленного производства и опережала по количеству технических достижений. Автомобиль, кинематограф и радиосвязь были изобретены и впервые применены в Европе. (Япония очень медленно входила в современную мировую экономику, хотя и ускорила продвижение на мировую политическую арену.)

Что касается культуры, то мир белых поселенцев за океаном все еще сохранял полную зависимость в этой области от Старого континента, не говоря о крошечных образованных элитах стран с небелым населением, принявших за образец западные модели. Россия не могла соревноваться с США по темпам роста экономики и повышения жизненного уровня населения, но Россия Достоевского (1821—1881 годы), Толстого (1828—1910 годы), Чехова (1860—1904 годы), Чайковского (1840—1893 годы), Бородина (1834—1887 годы) и Римского-Корсакова (1844—1908 годы) была великой державой в области культуры, тогда как США, где жили и работали Марк Твен (1835—1910 годы) и Уолт Уитмен (1819—

1892 годы) такую не являлись, даже если прибавить сюда Генри Джеймса (1843—1916 годы), который рано эмигрировал в Великобританию, чтобы жить в более благоприятной обстановке. Европейская культура и интеллектуальная жизнь все еще оставались, в основном, принадлежностью меньшинства, состоявшего из богатых и образованных людей, и могли процветать только в такой среде и только для нее. Вклад либерализма и его идеологическое наследие содержали призыв к тому, чтобы достижения элитной культуры сделать широко доступными для всех. В этом отношении музеи и бесплатные библиотеки были его характерными достижениями. Американская культура, более демократичная и эгалитарная, не смогла найти свой собственный облик до наступления эры массовой культуры двадцатого столетия. Если же говорить о такой области, тесно связанной с техническим прогрессом, как наука, то США все еще были позади и Великобритании, и Германии, и даже маленькой Голландии, если судить по количеству Нобелевских премий, завоеванных в первой четверти столетия.

Если часть Первой зоны можно было достаточно уверенно отнести к миру зависимости и отсталости, то практически вся Вторая зона попадала в него без всяких сомнений, за исключением Японии, систематически перестраивавшейся по западным образцам с 1866 года (см. «Век Капитала», гл. 8) и заморских территорий, населенных, в основном, потомками выходцев из Европы, причем большинство составляли в 1880-е годы потомки эмигрантов из Северо-Западной и Центральной Европы (речь, конечно, не идет о странах, заселенных коренным населением, которое еще не было истреблено). Именно эта зависимость, или, точнее сказать, неспособность ни оставаться в стороне от западной торговли и техники, ни найти им подходящую замену, ни организовать сопротивление натиску людей, вооруженных и организованных по западным стандартам, — вот это все и определяло общую участь обществ, становившихся жертвами истории девятнадцатого века и ее творцов, хотя эти общества были очень непохожи друг на друга. Суть ситуации метко, хоть и упрощенно, передает грубоватая армейская шутка того времени: «Так уж случилось, и в этом секрет: у нас — пулемет, а у них его нет!»\* Вот

это и было главным отличием, по сравнению с которым различия между обществами каменного века с Меланезийских островов и сложно устроенными урбанизированными обществами Китая, Индии и исламского мира оказались незначительными. Какое значение имело то, что их искусство было восхитительным, что памятники их древних культур были прекрасными, что их философские учения (в основном, религиозного характера) вдохновляли западных ученых и поэтов даже сильнее, чем христианство? Ведь все они были одинаково бессильны перед завоевателями, корабли которых везли из-за морей товары, новые идеи и вооруженных людей, против которых они не могли устоять, и которые, не считаясь с их чувствами, переделывали их мир по новым меркам, принятым на Западе.

Все это не означает, что деление мира на две зоны было простым разделением всех стран на промышленные и сельскохозяйственные или всех цивилизаций — на культуры городского и сельского типа. Ведь во Второй зоне существовали города, еще более древние и громадные, чем в Первой: Пекин, Константинополь. Кроме того, благодаря капиталистическим рыночным отношениям там возникли в XIX веке непропорционально большие городские центры, служившие узлами экономических связей или, более конкретно, пунктами распределения товарных потоков: Мельбурн, Буэнос-Айрес, Калькутта; в каждом из них было в 1880-е годы примерно по полумиллиону жителей, т. е. больше, чем в Амстердаме, Милане, Бирмингеме или в Мюнхене; а в Бомбее было более 750 тысяч жителей, т. е. больше, чем насчитывало полдюжины городов Европы, вместе взятых.

С другой стороны, хотя (за некоторыми исключениями) в странах Первой зоны было больше городов, и города играли в их экономике большую роль — все же «развитая» зона оставалась на удивление сельскохозяйственной. Лишь в 6 европейских странах в сельском хозяйстве не было занято большинство (как правило — значительное большинство!) мужского населения, но эти страны составляли ядро раннего капитализма: это были Бельгия, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швейцария. Из них, однако, только в Британии было занято в сельском хозяйстве значительное меньшинство — примерно одна ше-

стая часть населения; в остальных странах этот показатель составлял от 30 до 45%<sup>8\*</sup>. При этом существовали поистине поразительные различия между фермерством развитых регионов, действовавшим на коммерческой и деловой основе, и сельским хозяйством отсталых стран. Например, крестьяне Дании и Болгарии в 1880-е годы имели в экономическом смысле мало общего, кроме навыков работы в поле и на конюшне. Все же сельское хозяйство, подобно древним ремеслам, в любой стране представляло собой особый образ жизни, глубоко уходящий корнями в прошлое, что подтверждали, например, этнологи и исследователи фольклора конца XIX века, изучавшие старые деревенские обычаи и народные предания. Даже самое передовое сельское хозяйство давало приют старым традициям.

В противоположность сказанному, промышленность не была полностью сосредоточена только в странах Первой зоны. Не говоря о развернувшемся во многих колониальных и зависимых странах строительстве объектов инфраструктуры (портов и железных дорог) и добывающей промышленности (шахт), а также о существовании во многих отсталых сельских местностях домашних предприятий, отметим, что в зависимых странах, таких как Индия, уже начали постепенно создаваться кое-какие промышленные предприятия западного типа, причем это происходило даже в ранний период завоевания этих стран и, иногда, вопреки сильному противодействию со стороны метрополии; в основном, это были предприятия текстильной и пищевой промышленности. Строились даже металлургические предприятия. Крупная индийская фирма «Тата», объединяющая предприятия по выплавке чугуна и стали, начала работать в 1880-е годы. Одновременно и в развитых, и в зависимых странах действовало много мелких мастерских и небольших семейных предприятий ремесленников. Они уже стояли перед кризисом, вызванным конкуренцией со стороны заводов и растущей специализацией промышленных предприятий (эту тему исследовали германские ученые). Однако в целом они были еще вполне жизнеспособны и выпускали немало продукции. Как бы то ни было, но наличие промышленности было верным признаком современности страны. Так, например, ни одна страна, находившаяся за пределами

«развитого» мира (в том числе и Япония, присоединившаяся к нему) не являлась в 1880-х годах индустриальной и не проводила индустриализацию. С другой стороны, те «развитые» страны, которые еще оставались аграрными или, по крайней мере, не прославились успехами в развитии промышленности, теперь настраивались на создание индустриального общества и современной техники. Например, скандинавские страны (кроме Дании) довольно долго оставались бедными и отсталыми. Однако за несколько десятилетий у них стало больше телефонов на душу населения, чем в других странах Европы<sup>9\*</sup>, включая Британию и Германию; они завоевали больше Нобелевских премий, чем США; и они были на пути к тому, чтобы стать оплотом социалистических движений, создававшихся для защиты интересов промышленного пролетариата.

Еще более очевидным признаком принадлежности к «передовому» миру являлась быстрая урбанизация, в результате которой в некоторых крайних случаях возникал поистине беспрецедентный «мир больших городов»<sup>10\*</sup>. В 1800 г. в Европе было всего 17 городов с населением по 100 тысяч человек и более, причем их общее население составляло менее 5 млн человек. К 1890 г. таких городов было уже 103; соответственно, общее население увеличилось больше чем в 6 раз. И дело было даже не в том, что после 1789 года девятнадцатый век создал гигантские города, населенные миллионами обитателей, хотя в группу городов с миллионным населением вошли, кроме Лондона (с 1800 года), также Париж, Берлин и Вена. Дело в том, что появилась единая широкая сеть крупных и средних городов, а также крупные плотно заселенные урбанизированные промышленные районы, постепенно поглощавшие окружающую их сельскую местность. Яркие примеры представляли сравнительно новые, образовавшиеся в середине XIX века центры тяжелой промышленности Тайн-сайд и Клайдсайд в Великобритании, или старые промышленные районы, продолжавшие развиваться: Рурская область в Германии и Пенсильванский промышленный район в США, где были сосредоточены предприятия по добыче угля и выплавке стали. Такие районы не обязательно включали в себя очень крупные города, если только на их территории не находились столицы,

или административные центры, или морские порты международного значения, которые сами по себе притягивали массы населения. Как ни странно, но таких городов, кроме Лондона, Лиссабона и Копенгагена, в 1880-х гг. в Европе не было.

## II

Довольно трудно описать в краткой форме экономические различия между двумя мировыми зонами, какими бы очевидными они ни казались; но не легче суммировать и их политические отличия. Конечно, существует общая модель желаемого устройства и государственных учреждений достаточно «передовой» страны, с теми или иными местными добавлениями или изъятиями. Такая страна должна иметь более или менее однородную территорию, обладать международным суверенитетом, быть достаточно крупной, чтобы обеспечивать основы национального экономического развития; иметь единые политические и юридические институты широко либерального и репрезентативного типа (т. е. жить по единой конституции и при безусловном соблюдении законов), но, кроме того, обеспечивать в достаточной степени также местную автономию и инициативу. Она должна опираться на «граждан», т. е. на сообщество индивидуумов, обитающих на ее территории, обладающих определенными основными юридическими и политическими правами, но не на корпорации или другие группы или сообщества. Отношения между гражданами и правительством должны быть прямыми, а не через посредство указанных групп. Ну и т. д. Все это составляло желаемую модель не только для «развитых» стран (которые к 1880 г. все, в той или иной степени, соответствовали перечисленным требованиям), но и для всех остальных, стремившихся не отстать от прогресса. Таким образом, описанная модель либерально-конституционного национального государства служила образцом не только для «развитых» стран. Например, крупный массив государств, теоретически подходивших под эту модель и более склонных к федерализму США, чем к централизму Франции, находился в Латинской Америке. Там располагалось в то время семнадцать респуб-

лик и одна империя (Бразильская, не пережившая 1880-е годы). Однако на практике было заметно, что политическая реальность в Латинской Америке и в некоторых номинально конституционных монархиях Юго-Восточной Европы мало походила на конституционную теорию. Очень многие страны отсталого мира не имели такого государственного устройства или же только пытались его сформировать. Некоторые из них были владениями европейских держав и прямо управлялись ими; эти колониальные империи вскоре непомерно разрослись. Другие, как, например, страны внутренней Африки, представляли собой политические образования, к которым термин «государство» в его обычном европейском смысле едва ли был применим, хотя и другие, употреблявшиеся тогда названия были не лучше (например, «территория племен»). Некоторые страны представляли собой очень древние империи — Китайскую, Персидскую, Османскую, имевшие некоторые параллели с историей Европы, но определенно не являвшиеся «однородными» и «национальными» государствами XIX века, и было совершенно ясно, что они устаревают. Такая же шаткость и, возможно, такая же дряхлость были свойственны старым империям, входившим в «развитый» мир по своему географическому положению или благодаря статусу «великой» державы, впрочем, достаточно непрочному: это были Российская царская империя и Австро-Венгерская империя Габсбургов.

С точки зрения международной политики (т. е. по количеству правительств и министерств иностранных дел, действовавших во всем мире), общее число образований, достойных названия «суверенного государства», являлось довольно скромным, по современным стандартам. Примерно к 1875 году в Европе их было не более 17 (включая 6 «великих держав» — Великобританию, Францию, Германию, Россию, Австро-Венгрию и Италию, и еще — Османскую империю), в Америке — 19 (в том числе — одна «великая держава» — США); в Азии — 4 или 5 (прежде всего — Япония и две древние империи: Китай и Персия), еще три — на окраинах Африки: Марокко, Эфиопия и Либерия. За пределами Америки, содержащей самую большую на Земле коллекцию республик, практически все государства были мо-



нархиями (в Европе только Швейцария и Франция — с 1870 года — были республиками); хотя многие развитые страны имели конституционные монархии или, по крайней мере, предпринимали официальные шаги по введению выборного представительства. В этом отношении лишь царская Россия и Османская империя составляли (в Европе) исключения: первая оставалась «на обочине» прогресса, а вторая явно попала в число его жертв. Однако, помимо Швейцарии, Франции, США и, пожалуй, Дании, государства представительского типа не использовали принцип демократического избирательного права (да и там, где он применялся, в выборах участвовали только мужчины); впрочем, некоторые страны Британской империи, имевшие белое население и являвшиеся колониями лишь номинально\*, поддерживали демократию в разумных пределах, опережая в этом отношении даже некоторые штаты США, расположенные в районе Скалистых гор. (Республики Латинской Америки не подходили под определение «демократических», так как в них неграмотные были лишены права голоса, не говоря уже о тенденции к установлению военных диктатур.) Однако в странах «белых поселенцев», находившихся за пределами действия европейской политической демократии, допускалось уничтожение коренного населения (индейцев и других аборигенов), а там, где оно не было истреблено с помощью «резерваций» или прямого геноцида, оно все равно не являлось частью политического сообщества. Так, в США в 1890 г. из 63 млн жителей только 230 тысяч человек были индейцы<sup>11\*</sup>

Что же касается жителей «развитых» стран (и стран, намеревавшихся или вынужденных стать таковыми), то все их взрослое мужское население во все большей степени отвечало основному критерию буржуазного общества, т. е. было сообществом юридически свободных и равноправных индивидуумов. Нигде в Европе уже не существовало узаконенного крепостного права. Узаконенное рабство, отмененное почти во всем западном мире и в странах, зависевших от него, окончательно доживало свой век в Бразилии и на Кубе, ставших его последними убежищами; оно

---

\* Австралия, Новая Зеландия и Канада.

было полностью отменено до наступления 1880-х годов. Конечно, от издания законов, провозгласивших свободу и равенство, до их полного воплощения в реальной жизни было еще далеко. Суть идеалов либерального буржуазного общества изящно обрисовал Анатоль Франс в своем ироническом изречении: «Закон в своей величавой справедливости дает право каждому человеку как обедать в ресторане «Ритц», так и ночевать под мостом». Тем не менее распределение социальных привилегий в «развитых» странах зависело, главным образом, от денег (или от их нехватки), а не от происхождения или юридического статуса. При этом юридическое равенство не исключало политического неравенства, потому что в расчет принималось не только богатство, но и фактические возможности данного лица. Богатые и могущественные не только располагали большим политическим влиянием, но и имели немало возможностей действовать, не стесняясь рамками законов; это было очень хорошо известно, например, жителям Южной Италии или Америки (американские негры чувствовали это, можно сказать, на своей шкуре). При всем этом существовало явное различие между теми странами, где подобное неравенство было все еще частью общественно-политической системы, и теми, где оно было отвергнуто, хотя бы формально, официальными законами. Здесь приходит на память, например, разница между теми странами, в которых пытки все еще оставались узаконенной частью судебного процесса (как в Китайской империи), и теми, где они были официально запрещены, хотя в полиции четко знали, с кем, при случае, можно не церемониться, а чьи права нельзя нарушать ни в коем случае (т. е. кто относится к «пытаемому», а кто — к «непытаемому» классу, по выражению писателя Грэхэма Грина).

Самые яркие различия между двумя мировыми зонами существовали в области культуры, понимаемой в широком смысле этого слова. К 1880-м годам «развитый» мир состоял почти сплошь из стран и регионов, где большинство мужского населения и растущая часть женского были грамотными; где политика, экономика и интеллектуальная жизнь были, в общем, свободны от надзора религии и не стеснены отжившими традициями и суевериями; именно эти страны практически монополизировали ту

часть науки, которая все больше становилась необходимой для создания современной техники.

К концу 1870-х годов любую европейскую страну или область, в которой большинство населения было неграмотно, можно было почти с полной уверенностью назвать неразвитой, или отсталой, или близкой к таким. Италия, Португалия, Испания, Россия и Балканские страны находились, в лучшем случае, на периферии общего процесса развития. В Австрийской империи (кроме Венгрии) чешские и словацкие области, земли с германоговорящим населением и (в меньшей степени) области, населенные итальянцами и словенами, являлись передовыми частями страны, а области, населенные по преимуществу неграмотными украинцами, румынами и сербо-хорватами, были отсталыми. Еще более убедительным признаком отсталости являлось преобладание неграмотного населения в городах, как это было во многих странах теперешнего «третьего мира», так как при нормальном развитии население городов всегда бывает более образованным, чем сельское. Довольно заметные культурные различия существовали также между странами и между группами населения, различаемыми по религиозному признаку: образование было широко распространено среди протестантов и среди западноевропейских евреев, и заметно менее широко — среди католиков, мусульман и других. Бедная и вполне сельская Швеция имела в 1850 г. всего 10% неграмотного населения, поскольку относилась к протестантской зоне мира, куда входили также страны Балтики, Северного моря, Северной Атлантики и, частично, Центральной Европы и Северной Америки. Кроме того, уровень культурного развития находился в явной зависимости от уровня экономического развития и от характера общественного разделения труда. Так, во Франции в 1901 г. среди рыбаков было втрое больше неграмотных, чем среди промышленных рабочих и домохозяек; соответственно: среди крестьян — вдвое больше, а среди лиц, занятых в торговле — вдвое меньше; таким образом, больше всего грамотных людей было среди тех, кто занимался торговлей и общественным обслуживанием. Интересно, что среди крестьян, имевших собственное хозяйство, было меньше грамотных, чем среди сельскохозяйственных рабочих (хотя и ненамного); зато в менее тра-

диционных областях промышленности и торговли среди работодателей было больше грамотных, чем среди работников (не считая служащих из управленческого аппарата)<sup>12\*</sup> На практике действие культурных, социальных и экономических факторов было почти невозможно разделить.

Следует, конечно, отличать массовое образование, которое в большинстве развитых стран осуществлялось к этому времени через растущую сеть начальных школ, обеспечиваемых или поддерживаемых государством, от образования и культуры малых элитарных групп. В этом отношении различия между двумя мирами были меньше, хотя высшее образование, полученное европейским интеллектуалом, имело мало общего с образованием ученого-мусульманина или индуиста, или чиновника из стран Юго-Восточной Азии (если они, конечно, не получали образование европейского типа). Другой пример: массовая неграмотность, существовавшая в России, не помешала созданию яркой культуры ограниченного меньшинства.

Все же существовали такие учреждения, которые были распространены только в «развитых» странах и в странах, подчиненных европейскому влиянию: это были в первую очередь «светские» университеты, которых вообще не существовало за пределами «развитой» зоны, а также оперные театры, использовавшиеся в разнообразных культурных целях (см. карту в книге «Век Капитала»). Оба этих института служили явным признаком утверждения и господства западной цивилизации. (Впрочем, университеты не обязательно были устроены по современному образцу, имевшему целью распространение знаний и созданному по типу германских университетов XIX века, впоследствии распространившихся на Западе.)

### III

Определение различий между передовыми и отсталыми, развитыми и неразвитыми частями мира представляет собой сложное и даже мучительное занятие, потому что такая классификация по самой своей сути является упрощенной схемой, а не жи-

вым и точным отражением реальности. Суть девятнадцатого столетия — это перемены; перемены в жизни и в перспективах развития стран региона Северной Атлантики, составивших сердцевину мирового капитализма. Все страны, за исключением самых отсталых и окраинных, были захвачены, хотя бы отчасти, этими глобальными преобразованиями. И, с другой стороны, даже самые «передовые» и «развитые» страны изменились до некоторой степени под влиянием унаследованного древнего и «отсталого» прошлого и содержали слои и группы общества, сопротивлявшиеся переменам. Историки ломают голову над тем, как бы лучше сформулировать и описать суть этих всеобщих и разнообразных перемен, их сложность и противоречивость и их главные направления.

Большинство наблюдателей, живших в 1870-е годы, твердо верили в принцип линейности развития. Казалось само собой разумеющимся, что любые перемены — в материальном производстве, в области знаний, в возможностях преобразования природы — означают продвижение вперед, и что все события современной истории служат, таким образом, прогрессу человечества. Прогресс представляли в виде кривой возрастания всех измеримых и неизмеримых величин. Исторический опыт, казалось, гарантировал непрерывное улучшение по всем направлениям, даже там, где до полного улучшения было еще далеко. Трудно было поверить в то, что еще чуть более чем за триста лет до этого просвещенные европейцы считали образцом ведения дел в сельском хозяйстве, в военном деле и даже в медицине достижения древних римлян и что всего за 200 лет до этого еще всерьез спорили о том, смогут ли люди когда-либо превзойти достижения древних; что еще в конце XVIII века специалисты сомневались в росте населения Британии.

Прогресс действительно существовал и был наиболее очевиден и неоспорим в технике и в непосредственно связанных с ней областях: в материальном производстве и в осуществлении коммуникаций. Машины того времени приводились в движение паром и были сделаны из железа и стали. Уголь стал, безусловно, важнейшим источником энергии в промышленности; 95% ее получали именно из угля (без учета данных по России). Реки Евро-

пы и Северной Америки, по берегам которых прежде располагалось так много текстильных фабрик, и сами названия которых напоминали о былой роли гидравлической энергии, вдруг потеряли свою важность, оставшись лишь украшением сельских пейзажей. В то же время новые источники энергии — нефть и электричество — еще не приобрели большого значения, хотя к 1880-м годам уже становилось возможным крупное производство электроэнергии и двигателей внутреннего сгорания. Даже в США было в 1890 г. не более 3 млн электрических ламп, а самая развитая промышленная держава Европы, Германия, потребляла в начале 1880 годов менее 400 тысяч тонн нефти в год<sup>13\*</sup>

Современная техника наступала неотвратимо, триумфально и подавляла воображение своим видом. Машины, не слишком мощные по современным меркам (в Британии они имели в 1880-е годы среднюю мощность менее 20 л. с.), были обычно очень крупными, целиком сделанными из чугуна (в этом можно убедиться, побывав в музеях техники)<sup>14\*</sup> А самыми крупными и мощными машинами XIX века, видимыми и слышимыми всем, стали железнодорожные локомотивы, увлекавшие за собой, в клубах дыма, длинные составы грузовых и пассажирских вагонов. Их насчитывалось уже около 100 тысяч штук; они имели мощность по 200—450 л. с. и перевозили около 3 млн вагонов. Всего за 100 лет до этого, когда Моцарт писал свою музыку, никто и не мечтал о таких вещах (разве что о путешествиях по воздуху), а теперь они стали самым впечатляющим символом времени. Обширные сети сверкающих рельсовых путей, проходящих по насыпям, через мосты, виадуки и тоннели по 10 миль длиной, пронзившие альпийские хребты, стали примером самых массовых общественных строительных работ, когда-либо предпринятых человечеством. Их строительство обеспечило работой больше людей, чем любой другой промышленный проект. Они прошли сквозь центры больших городов, где их триумфальный приход был увенчан постройкой столь же гигантских вокзалов; они проникли и в самые отдаленные уголки сельской местности, еще не тронутые цивилизацией XIX века. В 1862 г. по железным дорогам было перевезено почти 2 биллиона пассажиров, в основном в Европе (72 %) и в Америке (20 %)<sup>15\*</sup> В развитых странах Запада в

то время, наверное, каждый мужчина и почти каждая женщина хоть раз в жизни имели дело с железной дорогой. Столь же всеобщую известность получил, пожалуй, лишь еще один продукт развития современной техники — сеть телеграфных линий, с их бесконечными рядами деревянных опор, превосходившая по общей длине сеть железных дорог в 3—4 раза.

Паровые суда были более мощными, чем локомотивы, но не столь многочисленными (22 000 единиц в 1882 г.) и не столь заметными, а главное — не столь типичными для своего времени. В 1880-е годы, даже в индустриальной Британии, они имели меньший общий тоннаж, чем парусные суда. Что касается мирового судоходства в целом, то в 1880-е годы паровые суда перевозили лишь 25% всех грузов, а 75% приходилось на долю парусных судов, хотя уже в том же десятилетии положение резко изменилось в пользу пара. В водном транспорте всегда были сильны традиции, особенно во всем, что связано с постройкой, погрузкой и разгрузкой судов, несмотря на переход от дерева к стали и от паруса к пару.

Какое же значение придавали наблюдатели второй половины 1870-х годов революционным достижениям техники, назревавшим или уже появившимся в то время, т. е. всем этим турбинам и двигателям внутреннего сгорания, телефону, граммофону, электрическим лампам (все эти изобретения относятся как раз к тому времени), а также автомобилю, изготовленному в 1880-е годы Даймлером и Бенцем, не говоря уже о кинематографе, авиации и радиосвязи, созданных и примененных уже в 1890-е годы? Ожидалось и предсказывалось, почти с полной уверенностью, достижение важных результатов в области электричества, фотографии и химического синтеза, т. е. по уже знакомым направлениям развития техники; не казались неожиданными успехи в решении такой важной и насущной проблемы, как создание самоходной дорожной машины. Зато никто не ожидал открытия радиоволн и радиоактивности. Обозреватели строили догадки о будущих воздушных полетах (этим люди занимались во все времена!) и вообще были полны надежд, подчиняясь общему оптимизму века по отношению к технике. Люди определенно жаждали новых изобретений, а если они появлялись неожиданно — тем

лучше! Томас Альва Эдисон, создавший в 1876 году в городе Мэнлоу (штат Нью-Джерси, США) первую частную промышленно-исследовательскую лабораторию, стал национальным героем Америки, когда представил публике в 1877 году свой первый фонограф. Однако никто, конечно, не предвидел подлинного характера и масштаба преобразований, которые принесли с собой эти изобретения, попавшие в общество потребителей, поскольку их применение оставалось довольно скромным (кроме США) до первой мировой войны.

Достижения прогресса в материальном производстве и в расширении и ускорении коммуникаций были особенно заметны в развитых странах, тогда как подавляющему большинству населения Азии, Африки и почти всей Латинской Америки выгоды от этих достижений еще не были доступны в 1870-е годы. Остается неясным, насколько широко они проникли в страны Южной Европы и в Россию. Даже в «развитых» странах их использование было очень неравномерным среди разных слоев населения, поскольку, например, во Франции в то время было 3,5 % богатых людей; 13—14 % населения относилось к среднему классу и 82—83 % составляли рабочие (согласно официальной Французской статистике похорон в 1870-е годы; см. «Век Капитала», гл. 12). Тем не менее некоторые улучшения в жизни простых людей трудно отрицать. Например, можно отметить такое явление, как увеличение роста людей, в результате которого каждое новое поколение вырастает выше своих родителей; оно возникло в 1880-е годы сразу в ряде стран, сначала в довольно скромных размерах, а потом усилилось. Известно, что важнейшей причиной этого является улучшение питания<sup>16\*</sup>. Далее. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в 1880-е годы была довольно небольшой: 43—45 лет — в наиболее развитых странах: Бельгии, Британии, Франции, Голландии, Швейцарии и в Америке (в штате Массачусетс); в Германии — менее 40; в Скандинавии — 48—50<sup>17\*</sup> (В 1960-е годы эта величина составляла в перечисленных странах около 70 лет.) Затем в течение столетия этот показатель заметно вырос, хотя снижение детской смертности, от которой он зависит, только началось.

Если говорить коротко, то в тот период надежды простых



людей, даже в развитых странах, не поднимались выше желания заработать хотя бы столько денег, чтобы удержать душу в теле, иметь крышу над головой и достаточно одежды; особенно в «уязвимом» возрасте, когда родители стареют, а дети еще не выросли настолько, чтобы зарабатывать деньги. Зато в развитых странах Европы люди уже не были озабочены возможностью голода. Даже в Испании последний большой голод случился в 1860-х годах. Однако в России голод оставался серьезным бедствием; сильный голод там произошел в 1890—1891 годах; а в странах сегодняшнего «третьего мира» голод случался периодически, как эпидемия.

Образовалась заметная прослойка зажиточных крестьян, наряду с появлением в некоторых странах привилегированного слоя высококвалифицированных рабочих и работников, не занимавшихся тяжелым физическим трудом; эти люди могли делать сбережения и тратить больше прожиточного минимума. Но, по правде говоря, торговцев, обслуживающих население, интересовало лишь состояние кошельков людей среднего класса.

Самой заметной новинкой в торговле стали универсальные магазины, построенные в крупных городах; они впервые появились во Франции, в Америке, в Британии, а затем в Германии. Такие известные из них, как «Бон Марше», «Уитли», «Ванамейкерс», не были ориентированы на трудящиеся классы. В США, где образовалась широкая масса покупателей, уже начал формироваться рынок недорогих стандартных товаров, но и там торговое обслуживание бедных слоев населения все еще оставалось в ведении мелких предпринимателей, державших, в основном, заведения общественного питания. Современное массовое производство и экономика массового потребления еще не были созданы, хотя это вот-вот должно было произойти.

Очевидным был прогресс в области, известной под названием «статистики нравов». Грамотность населения явно повышалась. Разве не говорил о росте цивилизации тот факт, что количество писем, приходившихся на душу населения за 1 год, составляло в Британии в период войны с Наполеоном всего 2 письма, а в первой половине 1880-х годов — уже 42 письма? Или то, что в 1880-е годы в США печаталось ежемесячно 186 млн экзем-

пляров газет и журналов, тогда как в 1788 году — только 330 тысяч? Что количество членов различных научных обществ составляло в Британии в 1880-е годы около 44 тысяч человек, т. е. в 15 раз больше, чем за 50 лет до этого?<sup>18\*</sup>

Собственно, нравственность, если судить о ней по очень сомнительным данным криминальной статистики или по пристрастным оценкам людей, осуждавших внебрачные связи (таких было много во времена королевы Виктории), не обнаруживала столь четкой тенденции к улучшению. Но разве прогресс самих государственных институтов в духе либерального конституционализма и демократии, наблюдавшийся повсюду в «передовых» странах, не свидетельствовал об улучшении нравов, дополнявшем научный и промышленный триумф века? И кто решился бы возразить Манделлу Крейтону, епископу англиканской церкви и историку, утверждавшему: «Приходится принять, в качестве научной гипотезы, составляющей основу исторической науки, что прогресс представляет собой суть человеческих деяний»?<sup>19\*</sup>

По этому поводу некоторые люди в «развитых» странах могли бы сказать, что подобное благоприятное положение установилось даже у них лишь сравнительно недавно; что же касается остальной части мира, то большинство людей, проживавших там, просто не поняли бы смысла высказываний епископа, если бы у них было желание задуматься над ним. Разные «новшества», приносимые извне городским людом и иностранцами в отсталые страны, вызывали скорее беспокойство из-за нарушения старых устоявшихся привычек, а не надежды на улучшение жизни; беспокойство было почти всеобщим, а надежды — слабыми и неосновательными. «В мире нет и не предвидится никакого прогресса» — такую точку зрения твердо отстаивала в «развитых» странах Римская католическая церковь, упорно осуждавшая все достижения девятнадцатого века (см. «Век Капитала», гл. 6). В отсталых странах и так хватало бед, вызванных капризами природы или судьбы, — таких как голод, засухи, болезни; многие надеялись наладить жизнь, вернувшись к истинной вере предков, теперь заброшенной (например, к учению Святого Корана), или восстановив законы и порядки прошлого (иногда мифического). Во всяком случае, многие считали, что старая мудрость и старый

образ жизни являются наилучшими и что так называемый «прогресс» означает лишь то, что теперь молодые, а не старые будут учить всех, как нужно жить.

Таким образом, за пределами «передового» мира существование прогресса не считали ни очевидной реальностью, ни убедительной теорией, и относились к его проявлениям как к очередной опасности со стороны чужеземцев. Его приветствовали лишь небольшие группы населения, в основном правящие классы и горожане, получавшие какие-то выгоды от новшеств, но осуждавшиеся большинством, смотревшим на них, как на чужаков и отступников. Французы называли этот слой населения «эволю» — приспособленцами; это были люди, порвавшие со своим прошлым и со своим народом (отступившие от мусульманской религии, как это было в странах Северной Африки) ради выгод и благополучия, которые обеспечивало им французское гражданство.

С другой стороны, в некоторых отсталых областях Европы, окруженных передовыми странами, существовала деревенская беднота и городской пролетариат, готовые безоглядно следовать за решительными противниками традиционализма, какими показали себя новые социалистические партии.

Итак, можно снова повторить, что мир оказался разделенным на две части: меньшую, ставшую родиной прогресса, и другую, много большую, в которой он выступал в роли завоевателя, опирающегося на меньшинство в виде местных коллаборационистов. В первой части мира даже массы простых людей поверили в возможность и желательность прогресса и в реальность некоторых его свойств. Так, во Франции ни один разумный политик, заинтересованный в избирателях, и ни одна значительная политическая партия не называли себя консервативными; в Соединенных Штатах «прогресс» стал национальной идеологией; даже в имперской Германии, которая являлась третьей по значению мировой державой, было введено в 1870-х годах всеобщее избирательное право для мужского населения, и партии, называвшие себя «консервативными», собирали в том десятилетии меньше чем по 25 % от всех голосов избирателей.

Но если прогресс был такой мощной, всеохватывающей и

желанной силой, то как же объяснить нежелание участвовать в нем или приветствовать его? Было ли это вызвано обыкновенным сопротивлением груза прошлых лет, который следовало постепенно, ценой усилий, но непременно сбросить с плеч той части человечества, которая еще страдала от его тяжести? Ведь даже в сердце первобытных джунглей, за тысячи миль от устья Амазонки, в бразильском городе Манаус уже собирались воздвигнуть, на деньги, полученные от торговли каучуком, оперный театр, этот храм буржуазной культуры, жертвы которой, местные индейцы, увы, не могли оценить красот музыки «Трубадура»! В Мексике группы воинственных поборников прогресса, называвших себя «съентифико», уже взяли в свои руки судьбу страны; а в Османской империи готовились сделать то же самое члены «Комитета за единение и прогресс» (известные под названием «младотурки»<sup>4</sup>). Япония отбросила свою вековую изоляцию и обратилась к западным идеалам и путям развития, чтобы превратиться в современную великую державу и совершить триумфальные военные победы и завоевания.

Тем не менее неспособность или нежелание большинства населения мира жить по образцам, установленным буржуазией Запада, кажутся даже более поразительными, чем успешные попытки подражать этим образцам. Это можно объяснить лишь тем, что воинственно настроенные обитатели западного мира все еще свысока смотрели на тех же японцев, полагая, что многие нации и народы просто биологически неспособны к достижениям, совершенным белыми людьми, точнее — народами региона Северной Европы, которые одни наделены таким даром. Человечество оказалось поделенным на «расы», и эта идея проникла в идеологию времени почти так же глубоко, как сама идея «прогресса»; так что даже на Всемирных выставках, этих великих международных праздниках прогресса, одни страны были представлены стендами, показывавшими их технический триумф, а другие занимали места в «колониальных павильонах» или в «племенных деревнях», согласно существовавшим тогда представлениям о них. (См. «Век Капитала», гл. 2). Даже в самих развитых странах усиливалось разделение людей на «золотой фонд», состоявший из талантливых и энергичных представителей средне-

го класса, и на «серую массу», обреченную на угнетенное положение в силу своей генетической ущербности. Наука биология была призвана обосновать неравенство по заказу тех, которые считали, что именно им предназначено обладать превосходством над другими.

Этот призыв к биологии лишь обострил отчаяние тех, чьи планы по модернизации их стран наталкивались на молчаливое непонимание или на сопротивление своих народов. В республиках Латинской Америки, вдохновленных успехом революций, преобразовавших Европу и США, идеологи и политики считали, что прогресс их стран зависит от «арианизации», т. е. от постепенного перехода населения в «белую расу» с помощью смешанных браков (так полагали в Бразилии), или от обновления населения за счет иммиграции белых переселенцев из Европы (такие планы существовали в Аргентине). Правящие классы этих стран, несомненно, были белыми, или, по крайней мере, относили себя к этой категории, о чем свидетельствовали фамилии неиспанского или непортугальского происхождения, непропорционально часто встречавшиеся среди представителей их политических элит, состоявших из потомков переселенцев из Европы. Однако даже в Японии (как ни трудно сегодня в это поверить) такие способы «вестернизации» уже тогда казались довольно спорными, поскольку они могли иметь успех лишь при условии (выражаясь современным языком) достаточно большого внедрения генов западноевропейских народов (см. «Век Капитала», гл. 8 и 14).

Все эти шарлатанские игры в псевдонаучные теории (см. гл. 10) лишь подчеркивали контраст между прогрессом, как всеобщим и вдохновляющим идеалом, и реальной действительностью с ее убогими попытками развития. Лишь немногие страны, казалось, смогли повернуться, с той или иной быстротой, к индустриально-капиталистической экономике, либерально-конституционному государству и буржуазному обществу западного образца. Но даже и в таких странах или общинах разрыв между «передовыми» классами (которые, к тому же, как правило, являлись богатыми) и «отсталой» массой (состоявшей, в основном, из бедных) оставался огромным и ужасающим; в частности, это вскоре обнаружилось, когда цивилизованный, благополучный

средний класс и богатые слои общества стран Западной и Центральной Европы, включавшие много ассимилированных евреев, столкнулись, лицом к лицу, с двумя с половиной миллионами своих собратьев по религии, эмигрировавших на Запад из своих восточноевропейских гетто. Сам собой возник вопрос: «Разве эти варвары могут в действительности относиться к тому же народу, что и мы?»

Получалось, что масса внутренних и внешних варваров слишком велика и что прогресс должен оставаться только уделом меньшинства, сохранявшего цивилизацию лишь благодаря способности удерживать под контролем эту массу. Еще Джон Стюарт Милль сказал: «Деспотизм — это законный образ действий правительства, имеющего дело с варварами, если считать, что их конец принесет им облегчение».<sup>20\*</sup>

Но существовала и другая, более глубокая дилемма, связанная с прогрессом. Куда, в действительности, он ведет? Следует ли признать, что глобальные завоевания экономики, победоносный марш передовой техники и науки, на которых он основывается во все возрастающей степени, являются действительно неоспоримыми, всеобщими, необратимыми и потому неизбежными явлениями? Следует ли примириться с тем, что предпринимавшиеся до 1870 года попытки задержать их или хотя бы замедлить становились все более слабыми и нереалистичными; что даже силы, направленные на сохранение традиционных обществ, уже пытались иногда делать это с помощью современных средств, подобно тому как проповедники буквальной истинности Библии используют в своей деятельности компьютеры и радиовещание? Следует ли признать, что политический прогресс, осуществленный в виде создания репрезентативных правительств, и моральный прогресс — в виде широко распространившейся грамотности и образования будут продолжаться и даже ускоряться? И приведет ли все это к продвижению цивилизации по тому направлению, в котором молодой Джон Стюарт Милль видел цель века прогресса: т. е. к миру, или к стране, которая стала лучше и известнее благодаря достигнутым наилучшим достоинствам Человека и Общества; приблизилась к совершенству; стала счастливее, благороднее, мудрее?<sup>21\*</sup>

К 1870-м годам прогресс буржуазного мира уже подошел к той черте, когда стали слышны более скептические и даже более пессимистичные голоса, усилившиеся благодаря ситуации, в которой мир оказался в том десятилетии и которую мало кто предвидел. Экономические основы развивавшейся цивилизации содрогнулись от внутренних толчков. После безудержной и беспримерной экспансии мировая экономика угодила в кризис.

---

## ГЛАВА 2

# ЭКОНОМИКА МЕНЯЕТ ОБОРОТЫ

*Способность к комбинациям постепенно становится душой современной коммерческой системы.*

А. В. Дикей, 1905 г.<sup>1\*</sup>

*Целью всякого слияния производственных и финансовых объектов должно всегда быть возможно большее снижение стоимости продукции, административных и коммерческих расходов, для получения наивысшей возможной прибыли путем исключения разрушительной конкуренции.*

Карл Дуйсберг, основатель фирмы «И. Г. Фарбен»,  
1903—1904 гг.<sup>2\*</sup>

*Бывают времена, когда развитие во всех областях капиталистической экономики — в области техники, финансовых рынков, торговли, в колониях — подходит к моменту, когда должно произойти чрезвычайное расширение мирового рынка. Мировая продукция в целом должна подняться на новый уровень и стать всеохватывающей по своей широте. Начиная с этого момента, капитал вступает в период бурного роста.*

И. Гельфанд (журнал «Парвус»), 1901 г.<sup>3\*</sup>

---

## I

Выдающийся американский эксперт, делая обзор мировой экономики в 1889 г. (в этот год был основан Социалистический Интернационал), отметил, что этот период, начиная с 1873 года, был отмечен беспрецедентными возмущениями и депрессией мировой торговли. Он писал: «Самая примечательная и необычная особенность этого явления состоит в его всеобщем характере; оно распространяется как на те нации, которые были вовлечены в войну, так и на те, которые поддерживали мир; на те, которые имели устойчивую валюту, основанную на золоте, и на те, у ко-



торых валюта была неустойчивой; на те, которые жили в системе свободного товарного обмена, и на те, у которых товарный обмен был более или менее ограничен. Оно оказало серьезное воздействие как на старые государства типа Англии и Германии, так и на новые — Австралию, Южную Африку и Калифорнию (США); оно явилось чрезвычайно тяжелым бедствием как для жителей бесплодных Ньюфаундленда и Лабрадора, так и для населения солнечных, плодородных островов Индийского океана и Вест-Индии; и оно не принесло барышей даже специалистам игры на мировых фондовых биржах, получающих обычно наивысшие прибыли в периоды наибольшей неустойчивости и неопределенности в делах»<sup>4\*</sup>

Эта точка зрения, только выраженная в менее торжественном стиле, была широко распространена среди наблюдателей того времени, хотя более поздние историки нашли ее более трудной для понимания. Потому что хотя циклы производственной активности, определяющие основной ритм капиталистической экономики, несомненно, породили несколько острых всплесков депрессии в период с 1873 года и до середины 1890-х годов, все же мировое производство было далеко от стагнации и продолжало резко расти. В период 1870—1896 годов выплавка чугуна в пяти ведущих странах выросла более чем вдвое (с 11 до 23 млн тонн); выплавка стали (ставшая самым удобным показателем индустриализации в целом) увеличилась в 20 раз (с 0,5 млн тонн до 11 млн тонн). Международная торговля тоже продолжала уверенно расти, хотя и не столь головокружительными темпами, как раньше. Это были те самые десятилетия, когда промышленное производство в Америке и в Германии двинулось вперед гигантскими шагами и промышленная революция захватила новые страны, такие как Швеция и Россия. Несколько заморских стран, недавно вовлеченных в орбиту мировой экономики, переживали невиданный ранее бурный рост, приведший затем к международному финансовому кризису, очень похожему на кризис 1980-х годов, особенно потому, что названия стран-должников были почти те же самые. Иностранные капиталовложения в странах Латинской Америки достигли в 1880-е годы головокружительных высот, поскольку общая длина аргентинской сети железных

дорог удвоилась за 5 лет, а ежегодный приток иммигрантов в Аргентину и Бразилию достиг 200 тысяч человек. Можно ли период столь впечатляющего роста производства называть «Великой депрессией»?

Историки сильно сомневаются в этом, зато у современников сомнений не было — но почему? Неужели все эти умные, хорошо информированные и деятельные люди — англичане, французы, немцы, американцы — стали объектом всеобщего заблуждения? Было бы абсурдным допустить такую возможность, даже принимая во внимание несколько апокалиптический тон некоторых газетных комментариев, которые могли показаться излишне трагичными уже в то время. Отнюдь не все «вдумчивые и консервативные умы» разделяли предчувствия мистера Уэллса по поводу растущей угрозы жестокого нападения на всю существующую общественную систему со стороны несметных орд внутренних варваров или внешних захватчиков, способных уничтожить саму человеческую цивилизацию<sup>5\*</sup>. Были и такие люди — в первую очередь растущие массы социалистов, которые с нетерпением ожидали крушения капитализма, находясь под впечатлением непреодолимых внутренних противоречий того времени, обнажившихся и обострившихся в годы депрессии. Пессимизм, зазвучавший в литературе и в философии в 1880-е годы (см. гл. 4 и 10), вряд ли можно понять, если не принимать во внимание это предчувствие всеобщего экономического, а следовательно, и социального упадка.

Что же касается экономистов и деловых людей, то их волновали, в первую очередь, более прозаические вещи: длительное падение цен, уменьшение делового интереса и падение прибылей; это отметил в 1888 г. Альфред Маршалл, будущий пророк и провозвестник экономической теории<sup>6\*</sup>. Короче говоря, после достаточно сильного кризиса 1870-х годов предметом обсуждения стало уже не само промышленное производство, а степень его прибыльности («Век Капитала», гл. 2).

Наиболее заметной жертвой падения прибылей стало сельское хозяйство, поскольку некоторые его отрасли очень глубоко пострадали от кризиса; притом это такая часть экономики, неполадки в которой сразу оборачиваются неприятностями в социаль-

ной сфере и в политике. Надо сказать, что в предыдущие десятилетия продукция сельского хозяйства чрезвычайно выросла и наводнила рынки всего мира, которые до этого были защищены от массированного иностранного проникновения высокими транспортными расходами. В результате упали цены, и последствия этого оказались драматическими как для сельского хозяйства европейских стран, так и для экономики заморских территорий, опиравшейся на экспорт аграрной продукции. Так, в 1894 году цена на пшеницу составляла всего лишь чуть больше трети цены 1867 года, что дало великолепные возможности скупщикам зерна, но явилось сущим несчастьем для фермеров и сельскохозяйственных рабочих, которых было еще много: от 40 до 50 % трудящейся части мужского населения промышленных стран (кроме Британии), а в других странах — и до 90 %. В некоторых регионах положение усугубилось из-за заражения виноградников филлоксерой<sup>5</sup>, случившегося после 1872 года, в результате чего производство вина во Франции упало на две трети в период 1875—1889 годов. Десятилетия депрессии принесли немало бед фермерам всех стран, связанных с мировым рынком товаров. Все это вызвало ответные действия работников сельского хозяйства, принимавшие разные формы, в зависимости от уровня благосостояния и политического устройства разных стран — от предвыборной агитации до прямых мятежей, и привело к голоду в таких странах, как Россия, где в 1891—1892 гг. немало людей умерло от недоедания. В Соединенных Штатах в 1890-е годы выросло движение популизма, особенно укоренившееся в «зерновых» штатах: в Канзасе и в Небраске. Крестьянские бунты и волнения произошли в 1879—1894 гг. в Ирландии, Испании, Румынии и на Сицилии. Страны, не обеспокоенные судьбой крестьянства, поскольку оно у них давно исчезло (как в Британии), могли позволить себе сокращение производства сельскохозяйственной продукции; так, производство пшеницы в Британии в период 1875—1895 годов сократилось на две трети. Другие страны, например, Дания, модернизировали свое сельское хозяйство, переключившись на животноводство как на более прибыльную отрасль. Правительства Германии и Франции пошли по пути увеличения таможенных тарифов, что позволило удерживать цены на приемлемом уровне.

Что касается ответных мер на неправомерном уровне, то наиболее типичными стали два явления: массовая эмиграция и кооперация. Безземельные и малоземельные крестьяне эмигрировали, а конкурентоспособные хозяйства объединялись в кооперативы. В 1880-е годы был отмечен самый высокий уровень миграции населения за океан из стран, давно служивших источником пополнения потока эмигрантов (здесь мы не учитываем исключительный случай эмиграции из Ирландии в десятилетие после Великого голода<sup>6</sup> — см. «Век Революции», гл. 8); тогда же началась по-настоящему массовая эмиграция из таких стран, как Италия, Испания и Австро-Венгрия, к которым присоединились Россия и Балканские страны (до 1880-х годов единственной страной Южной Европы, обеспечивавшей значительную эмиграцию, была Португалия). Это явление послужило «предохранительным клапаном», позволившим не допустить повышения социальной напряженности до опасного уровня, при котором возникают массовые мятежи и революции.

Если говорить о кооперативах, то они давали мелким хозяйствам небольшие займы, поэтому к 1908 году более половины всех независимых аграриев Германии были членами этих сельскохозяйственных минибанков (самым первым из которых был банк «Католик Райффайзен», основанный в 1870-е годы). Одновременно в разных странах множилось количество кооперативов, занимавшихся скупкой и продажей продуктов, содержанием рынков, обработкой сельскохозяйственной продукции (особенно переработкой молока и изготовлением мясопродуктов, как в Дании). Через десять лет после 1884 года, когда фермеры во Франции сумели приспособить для своих целей закон о легализации профсоюзов, уже 400 тысяч человек состояли в этой стране в так называемых фермерских «синдикатах», которых насчитывалось почти 2000<sup>7\*</sup>. К 1900 г. в США существовало 1600 кооперативов (по большей части — в штатах Среднего Запада), занятых производством молочных продуктов; молочная промышленность Новой Зеландии находилась под полным контролем фермерских кооперативов.

Бизнес всегда связан с разными заботами. В наше время, когда у многих засело в голове убеждение, что рост цен («инфля-

ция») является экономическим бедствием, бывает трудно понять деловых людей XIX века, гораздо больше озабоченных падением цен и явлением «дефляции», и, надо сказать, что XIX век вообще был дефляционным, а особенно резко упали цены в период 1873—1896 годов (например, в Британии — на 40%). Дело в том, что инфляция (конечно, если она существует в разумных пределах) не только выгодна для должников (об этом знает каждая домохозяйка, берущая деньги займы на долгий срок), но и автоматически обеспечивает быстрый и крупный рост нормы прибыли, поскольку товары, произведенные по более низкой цене, продаются по повышенной цене, установившейся ко времени их прибытия в пункт продажи. И, наоборот: дефляция снижает норму прибыли. Конечно, значительное расширение рынка может и уравновесить и перекрыть ее влияние, но в действительности рынок не растет достаточно быстро по многим причинам: во-первых, потому что внедрение новой техники и технологий просто заставляет производителя значительно увеличивать выпуск продукции (по крайней мере, если предприятие должно приносить прибыль); во-вторых, потому, что растет количество конкурирующих производителей продукции и самих промышленных стран, в результате чего возрастает общее производство товаров; и в-третьих, потому, что рынок массовых потребительских товаров развивается не слишком быстро. Поэтому даже цены на товары основного спроса подвержены подобным влияниям: например, ввод новых и реконструкция старых мощностей, более эффективное использование продукции и колебания спроса могут нанести производителям большой урон; так, цены на чугун в периоды 1871—1875 и 1894—1898 годов падали на 50%.<sup>8\*</sup>

Следующая трудность состояла в том, что себестоимость продукции всегда испытывает меньшие короткопериодические колебания, чем цены, потому что зарплату (за некоторыми исключениями) либо вообще нельзя снижать, либо нельзя понизить хотя бы до некоторого расчетного уровня, обусловленного ситуацией, хотя фирма может быть обременена старым или стареющим оборудованием и предприятиями, либо, наоборот, новыми дорогими предприятиями и оборудованием, которое окупается медленнее, чем планировалось, и потому снижает общую прибыль.

В некоторых регионах мира ситуация осложнилась в результате постепенного, но испытывавшего короткопериодические колебания падения стоимости серебра и его обменного курса по отношению к золоту. Пока цены на оба эти металла оставались стабильными (как это было в течение многих лет до 1872 года), международные платежные расчеты выполнялись достаточно просто на основе стоимости двух драгоценных металлов, составлявших основу мировой денежной системы (за единицу массы золота давали примерно 15 единиц серебра). Когда обменный курс стал колебаться, то стало намного сложнее осуществлять деловые операции между странами, валюта которых основывалась на разных драгоценных металлах.

Что же можно было предпринять в связи с падением цен, прибылей и процентных ставок? Один вариант решения состоял в принятии системы «обратного монетаризма», предлагавшейся в ходе широких, но ныне забытых дебатов по поводу «биметаллизма», и рассчитанной на одобрение тех, кто связывал падение цен в первую очередь с глобальной нехваткой золота, которое во все большей степени (через фунт стерлингов, имевший фиксированное золотое обеспечение, — т. е. через «золотой sovereign») становилось единственной основой мировой системы платежных расчетов. Система, основанная на двух металлах — золоте и серебре (которое добывали в возрастающих количествах, особенно в Америке), могла бы, конечно, способствовать росту цен, благодаря инфляции денег. Призыв к инфляции денег, нашедший поддержку прежде всего у фермеров США, подавленных депрессией, не говоря о рабочих и персонале серебряных рудников, находившихся в Скалистых горах, стал главным лозунгом популистского движения в Америке, а тема будущего «распятия человечества на золотом кресте» вдохновила риторику великого народного трибуна Уильяма Дженнингса Брайана (1860—1925 годы)<sup>7</sup> Впрочем, она, в конце концов, потерпела неудачу, наряду с другими его излюбленными призывами: поверить в буквальную истинность Библии и, вследствие этого, запретить учение Чарльза Дарвина. Банкиры, крупные бизнесмены и правительства главных стран мирового капитализма не собирались отказываться от твердого золотого паритета денег и относились к призывам Брай-

ана примерно так же, как он сам — к идее «происхождения видов». Ведь, в конце концов, только такие страны, как Мексика, Китай и Индия, основывали свою валюту на серебре, но их можно было и не принимать в расчет.

Правительства были более склонны прислушаться к тем весьма влиятельным группам и слоям избирателей, которые настаивали на защите отечественных производителей от конкуренции со стороны импорта. Указанные группы включали не только широкий блок аграриев (что было понятным и предсказуемым), но также и многих крупных промышленников, пытавшихся уменьшить «перепроизводство» хотя бы за счет зарубежных конкурентов. Так Великая депрессия положила конец экономическому либерализму («Век Капитала», гл. 2), по крайней мере, в области мировой торговли (хотя свободное движение капиталов, осуществление финансовых операций и обмен трудовыми ресурсами стали более оживленными). Ограничения ввели сначала Германия и Италия (на текстильные товары) в 1870-е годы, а после этого протекционистские тарифы стали неременной принадлежностью международной экономической жизни, достигнув наивысших значений в начале 1890-х годов в виде штрафных тарифов, связанных с именами Мелина во Франции (1892 год) и Мак-Кинли в США (1890 год)\*.

Из всех основных промышленных стран одна только Британия неизменно придерживалась принципа неограниченной свободной торговли, несмотря на неоднократно повторявшиеся громкие призывы протекционистов. Причины такой позиции были очевидны и совсем не зависели от малочисленности крестьянства и отсутствия широкой внутренней поддержки протекционизма с его стороны. Британия была крупнейшим экспортером промышленных товаров и в течение XIX века все больше ориентировалась на экспорт, причем особенно сильно — в период 1870—

---

\* Таможенные тарифы в европейских странах имели в 1914 году следующие средние значения: Соединенное Королевство — 0%; Нидерланды — 4%; Швейцария, Бельгия — 9%; Германия — 13%; Дания — 14%; Австро-Венгрия, Италия — 16%; Франция, Швеция — 20%; Россия — 38%; Испания — 41%; США — 30% (1913 г.), 49,5% (1890 г.), 39,9% (1894 г.), 57% (1897 г.), 38% (1909 г.).

1880-х годов; в этом отношении (т. е. по относительному превышению экспорта над импортом) она намного превосходила своих главных соперников, хотя и не смогла обогнать малые страны с развитой экономикой: Бельгию, Швейцарию, Данию и Нидерланды. Она намного опережала все страны по экспорту капитала и по объему «невидимых» финансовых и коммерческих услуг, а также в области транспортного обслуживания. Так что если британской промышленности еще приходилось сталкиваться с зарубежной конкуренцией, то лондонский Сити и британские судоходные компании, безусловно, оставались главными столпами мировой экономики, и их роль в этот период даже возросла. С другой стороны (хотя об этом часто забывают), Британия была крупнейшим покупателем профилирующих экспортных товаров всех стран мира и доминировала на этом рынке (можно даже сказать — формировала его), определяя цены на тростниковый сахар, чай и зерно, которых она закупала в 1880-е годы в размере почти половины всего объема, предлагавшегося на мировом рынке. В 1881 г. Британия купила почти половину от мировой экспортной продажи мяса и больше половины мирового экспорта шерсти и хлопка (55 % по сравнению с импортом всех европейских стран, вместе взятых), т. е. больше, чем любая другая страна<sup>9\*</sup>. По мере того, как Британия вела дело к свертыванию собственной пищевой промышленности (как это было во время депрессии), ее аппетиты по отношению к импорту продуктов становились просто непомерными. Так, в период 1905—1909 годов она импортировала не только 56 % общего объема потребляемого ею зерна, но и 76 % сыра и 68 % яиц<sup>10\*</sup>. Поэтому соблюдение принципа свободной торговли оставалось для Британии необходимой мерой, поскольку это позволяло основным заморским производителям товаров осуществлять широкий обмен продукцией с британской промышленностью, поддерживая своего рода симбиоз между Соединенным Королевством и остальным миром, на котором, в основном, и была построена экономическая мощь Британии.

Вот почему животноводы Дании, овцеводы Австралии и «эстансьерос» Аргентины и Уругвая не имели желания помогать развитию промышленности своих стран: ведь их вполне устраи-



вала роль участников экономической системы, в центре которой находилась Британия. Цены на поставляемые товары имели для нее немаловажное значение. Как мы уже видели, соблюдение принципа свободной торговли означало, что сельское хозяйство Британии может идти ко дну, если у него не хватит сил выплыть самостоятельно. Британия оказалась единственной страной, в которой даже консервативные государственные деятели, вопреки старинной традиции протекционизма, были готовы пожертвовать сельским хозяйством. Эта жертва облегчалась тем, что состояния землевладельцев, имевших огромные богатства и сохранявших за собой решающее влияние в политических делах, опирались теперь на доходы от городской собственности, от капиталовложений в такой же степени, как и на доходы от сдачи земли в аренду. Не означало ли это и готовность принести в жертву (в случае необходимости) и саму британскую промышленность, как того опасались протекционисты? Если учесть деиндустриализацию Британии, осуществленную в 1980-е годы, то такие страхи того времени отнюдь не кажутся беспочвенными. Ведь в конце концов и прежде всего капитализм существует для того, чтобы делать деньги, которые и являются для него самым важным и самым желанным товаром. Впрочем, в те времена интересы лондонского Сити не противоречили интересам британской промышленности, хотя и было совершенно ясно, что мнение Сити значит гораздо больше, чем пожелания провинциальных промышленников. Таким образом, Британия оставалась приверженной политике экономического либерализма, давая тем самым возможность протекционистским странам держать под контролем свой собственный внутренний рынок и одновременно осуществлять экспорт в широких масштабах. (Исключением в этой политике стало решение об ограничении иммиграции, поскольку Британия одной из первых ввела дискриминационные законы, предотвратившие массовый въезд иностранцев (евреев) в эту страну в 1905 году.)

Экономисты и историки никогда не прекращали споров о последствиях этого оживления международного протекционизма, или, говоря иначе, об этом странном помешательстве, охватившем мировую экономику. Ее ядро в XIX веке составляли, в рас-

тушей степени, национальные экономики развитых стран: Британии, Германии, США и других. При этом, несмотря на программное заглавие великого труда Адама Смита «Богатство народов»<sup>8</sup> (1776 год), «народ», как таковой, не имел определенного места в теоретической системе либерального капитализма, построенного, как из кирпичиков, из отдельных предприятий (индивидуальных или выступавших под именем «фирмы»), которые можно назвать еще «неделимыми атомами» частного предпринимательства и которые действовали в соответствии со своим основным императивом: получать максимальную прибыль при минимальных затратах. Предприятия действовали в пределах рынка, который по своим масштабам являлся глобальным. Либерализм представлял собой своего рода анархизм буржуазии, и, в силу этого, в нем не нашлось места для государства, как и в революционном анархизме; выражаясь точнее, для такого государства, которое является фактором экономики, существующим только для того, чтобы вмешиваться в самостоятельно протекающие и самоуправляющиеся операции, происходящие на «рынке».

Замечание о «странном помешательстве», охватившем мир, имело свои основания. Во-первых, казалось разумным предполагать, особенно после либерализации экономики, прошедшей в середине XIX века (см. «Век Капитала», гл. 2), что такая экономика должна функционировать и развиваться под действием экономических решений, исходящих от «элементарных частиц», составляющих экономику. Во-вторых, капиталистическая экономика всегда имела глобальный характер, и она не могла быть иной. В течение XIX столетия она постоянно совершенствовалась в этом качестве, распространяя свои действия на все более отдаленные части планеты и вызывая повсюду глубокие преобразования. Более того, такая экономика не признавала границ, поскольку она функционировала лучше всего там, где ничто не мешало свободному движению факторов, обеспечивающих производство. Таким образом, капитализм показал, что он интернационален не только на практике, но и в теории. Его теоретики принимали за идеал полное международное распределение труда, обеспечивающее максимальный рост экономики. Действительно, какой смысл в том, чтобы выращивать бананы в Норвегии, если мож-

но делать это в Гондурасе, что обойдется гораздо дешевле? Один подобный факт делает пустыми все местные и региональные возражения. Чистая теория экономического либерализма обязывает принять самые крайние и даже абсурдные допущения, при условии доказательства возможности получения оптимальных результатов в глобальном масштабе. Например, если будет доказано, что необходимо перевести все мировое промышленное производство, скажем, на Мадагаскар (подобно тому, как 80% мирового производства часов было сконцентрировано в небольшом районе Швейцарии), или что все население Франции следовало бы переместить в Сибирь (как в свое время переселилась в США значительная часть норвежцев), то уже никакие второстепенные возражения экономического характера, по теории, не должны приниматься в расчет. (В период с 1820 по 1975 год количество норвежцев, эмигрировавших в США, составило около 355 тысяч человек, что почти равно всему населению Норвегии в 1820 г.)<sup>11, 12\*</sup> Поэтому такие факты, как квазимонопольное положение Британии в мировой экономике в середине XIX века или демографическую ситуацию в Ирландии, потерявшей почти половину своего населения в период 1841—1911 годов, можно было легко объяснить, воспользовавшись теорией экономического либерализма, предписывавшей создание экономического равновесия во всемирном масштабе.

Однако на практике такая модель не всегда соответствовала действительности. Экономику мирового капитализма можно представить в виде набора блоков, представлявших национальные экономики. Каким бы ни было происхождение «блоков», т. е. экономик, существовавших в границах государств, но они всегда существовали потому, что существовали сами государства (что бы ни говорили об этом теоретики, особенно германские ученые). Например, никто не говорил бы, что Бельгия была первым промышленным государством европейского континента, если бы она оставалась частью Франции (как это было до 1815 года) или входила в Нидерланды (как в период 1815—1830 годов). Но, поскольку Бельгия стала самостоятельным государством, ее экономическая политика и политические пределы экономической деятельности ее населения стали определяться этим фактом. Конечно,

есть такие виды экономической деятельности (например, международные финансовые расчеты), которые являются космополитическими по своей сути и поэтому избегают национальных ограничений, снижающих их эффективность. Однако даже транснациональные предприятия, ведущие такие дела, всегда старались сохранить связь с какой-то крупной национальной экономикой, на которую можно было опереться. Так, многие банковские династии (по преимуществу германские) постарались после 1860 года перебраться из Парижа в Лондон; а самое обширное банковское семейство — Ротшильды — имело процветавшие отделения именно в столицах крупных государств, тогда как в других местах дела у них шли не блестяще: банковские дома Ротшильдов в Лондоне, Париже и Вене оставались самыми влиятельными, а те, что находились в Неаполе и во Франкфурте (эта фирма отказалась перебраться в Берлин), — не имели большого значения. После объединения Германии Франкфурт утратил былые возможности.

Все эти замечания относятся, естественно, в первую очередь, к «развитой» зоне мира, т. е. к странам, которые были способны защитить свою промышленность и экономику от конкуренции, а не к мировым неудачникам, экономика которых оказалась в политической или экономической зависимости от «развитых» лидеров. Такие государства либо вообще не имели выбора, так как судьбу их экономики решала колониальная держава, либо имели слишком слабую экономику, которая, несмотря на имперские замашки, обеспечивала им лишь место среди «банановых» и «кофейных» республик. То есть такие страны обычно не были заинтересованы в поисках альтернативных путей развития, поскольку это приводило их к превращению в специализированных производителей монокультур для мирового рынка, управляемого метрополиями. Таким образом, если и можно сказать, что на периферии мира тоже существовали национальные экономики, то это верно лишь с той оговоркой, что они выполняли другие функции.

Однако «развитый» мир не был просто агрегатом взаимосвязанных национальных экономик. Индустриализация, а затем депрессия превратили эти страны в группу экономических соперни-

ков, так что успех одной из них мог угрожать положению других. Не зря британских читателей проработала дрожь от журналистских пассажей насчет германской экономической агрессии, сохранившихся в книгах Е. Е. Уильямса «Сделано в Германии» (1896 год) или Ф. А. Маккензи «Американские захватчики»<sup>13\*</sup> (1902 год), хотя предыдущее поколение спокойно относилось к предупреждениям (иногда справедливым) о техническом превосходстве иностранцев. Протекционизм оказался выражением ситуации международного экономического соревнования.

Что же получилось в результате введения протекционистских мер? Можно считать установленным, что избыточный и всеобщий протекционизм, пытавшийся отгородить каждую национальную экономику от влияния иностранцев с помощью политических защитных мер, оказался вредным для мирового экономического роста. Это выявилось с полной ясностью в период между двумя мировыми войнами. Однако в период 1880—1914 годов протекционизм не был ни всеобщим, ни чрезмерным (за некоторыми исключениями) и, как мы видели, применялся лишь в области торговли и не влиял на потоки трудовых ресурсов и на финансовые операции. Общие меры по защите сельского хозяйства действовали во Франции, но не имели успеха в Италии (результатом чего стала массовая эмиграция); в Германии они укрепили положение владельцев крупных хозяйств<sup>14\*</sup>. В целом, защита национальной промышленности помогла расширить мировую промышленную базу и поощрила стремление действовать на внутреннем рынке своей страны, который стал быстро расширяться. Вследствие этого рост промышленности и торговли в период 1880—1914 годов явно увеличился во всем мире по сравнению с предыдущими десятилетиями свободной торговли<sup>15\*</sup>. Установлено также, что в 1914 году распределение объемов промышленного производства среди метрополий и других развитых стран оказалось более равномерным, чем за сорок лет до этого. Так, в 1870 г. четыре главных промышленных державы обеспечивали почти 80 % мирового промышленного производства, а в 1913 г. — соответственно 72 %, причем само мировое производство выросло за это время в 5 раз<sup>16\*</sup>. Насколько сильно сказалось здесь влияние протекционизма — пока неясно. Понятно только то, что он не в состоянии серьезно задержать общий мировой промышленный рост.

Однако протекционизм явился лишь инстинктивной политической реакцией обеспокоенных промышленных кругов на действие депрессии и оказался не самым значительным экономическим ответом капитализма на возникшие неприятности. Такой ответ был дан путем концентрации экономики и рационализации управления производством, или, по американской терминологии (которая начала тогда входить в моду во всем мире) — путем создания «трестов» и введения «научных методов управления производством». Обе меры были направлены на расширение пределов прибылей, сократившихся в результате конкуренции и падения цен.

Концентрацию экономики не следует путать с монополизацией, т. е. с захватом рынка одним производителем или, как обычно выражаются, с контролем над рынком со стороны группы господствующих фирм (т. е. с ситуацией «олигополии»). Конечно, было немало драматических примеров концентрации именно такого рода, вызвавших порицание общественности; это были слияния фирм и другие мероприятия по установлению контроля над рынком, противоречившие духу теории свободного предпринимательства, согласно которой фирмы должны были не договариваться, а сражаться между собой на благо потребителей. Так возникли американские «тресты», побудившие государство принять антимонопольные законы, вроде антитрестовского «закона Шермана» 1890 года (который, впрочем, оказался не слишком эффективным); такими же были «синдикаты» и «картели» в Германии, пользовавшиеся благосклонностью правительства. Угольный синдикат «Рейн-Вестфалия» (1893 г.), контролировавший до 90 % добычи угля в регионе, или «Стандарт ойл компани», контролировавшая в 1880-е годы 90—95 % производства горючего в США, были самыми настоящими монополиями. Таким же, практически, был и трест «Юнайтед стейтс стил», имевший миллиардный капитал и обеспечивавший 63 % выплавки стали в стране. Понятно, что переход от неограниченной конкуренции к «объединению нескольких капиталистов, ранее действовавших поодиночке»<sup>17\*</sup> резко проявившийся во время Великой депрессии, продолжился затем и в период «всемирного процветания». Тенденция к монополизации и сверхмонополизации особенно сильно действовала

в тяжелой промышленности и в отраслях, зависевших от правительственных заказов, т. е. в быстро увеличивавшемся производстве вооружений (см. гл. 13), а также в отраслях промышленности, занятых производством и распределением революционно новых форм энергии (нефть, электричество), на транспорте, в производстве некоторых товаров массового спроса, таких как табак, мыло.

Однако контроль над рынком и ликвидация конкуренции составляли лишь одно из направлений общего процесса капиталистической концентрации, не являясь при этом ни всеобщими, ни необратимыми, например, в 1914 году в нефтяной и сталелитейной промышленности Америки конкуренция действовала еще более широко, чем за 10 лет до этого. Так что нельзя сказать, что новая фаза капитализма — «монополистический капитализм» — вполне утвердилась к 1914 году. Само название («монополистический капитализм»; «капитализм корпораций»; «организованный капитализм») не имеет большого значения, поскольку понятно (и здесь нет сомнений), что речь идет об объединении для исключения рыночной конкуренции; о создании корпораций за счет «семейных» фирм; о росте «большого бизнеса» за счет «малого»; и что вся эта концентрация ведет к олигополии. Эти явления наблюдались со всей очевидностью даже в такой мощной крепости старомодного мелкого и среднего предпринимательства и рыночной конкуренции, какой была Британия.

Начиная с 1880-х годов система распределения товаров претерпела революционные изменения. Названия «Бакалея» и «Продажа мяса» означали теперь не мелкие лавочки, а растущие фирмы национального или даже международного масштаба, имевшие сотни местных отделений. В банковском деле горстка гигантских акционированных банков, имевших отделения по всей стране, быстро заменила мелкие банки: например, Банк Ллойда поглотил 164 мелких банка. После 1900 года существование старомодного, так называемого «деревенского» банка стало в Британии историческим курьезом.

Подобно концентрации экономики, «управление на научной основе», или «научный менеджмент» (этот термин вошел в употребление примерно в 1910 г.), явилось порождением Великой

депрессии. Основатель и апостол новой теории, Ф. В. Тэйлор (1856—1915 годы)<sup>9</sup>, начал развивать свои идеи с 1880-х годов, применив их к отягощенной проблемами американской сталелитейной промышленности. В Европу это учение пришло с запада, в 1890-е годы. Сокращение прибылей в годы депрессии, наряду с ростом размеров и усложнением структуры фирм, выявило отсталость традиционных эмпирических методов управления бизнесом и особенно промышленным производством. Возникла необходимость в более рациональных или «научных» методах управления, надзора и планирования на крупных предприятиях, способных приносить большие прибыли. Первой задачей, на которой «тейлоризм» немедленно сконцентрировал свои усилия и которая стала его олицетворением в глазах общества, явилось создание методов выполнения как можно больших объемов работы определенным количеством работников предприятия. Эта цель достигалась с помощью трех главных средств: во-первых, путем изолирования каждого работника от группы других, подобных ему лиц, и передачи функции управления процессом работы от него (от нее или от них) представителю аппарата управления, который давал рабочему точные указания о том, что он должен делать и как при этом получить наибольшую выработку, которая обеспечивалась путем второго и третьего средств, а именно — путем систематического разделения трудового процесса на ряд элементарных операций и путем применения различных систем оплаты труда, побуждающих рабочего создавать больше продукции. Такая система оплаты труда по его результатам распространилась очень широко; однако сам «тейлоризм» (в его первоначальном виде) практически не принес успешных результатов до 1914 года ни в Европе, ни даже в США и был известен в управленческих кругах в предвоенные годы скорее как своего рода призыв или лозунг. После 1918 года имя Тэйлора, наряду с именем другого пионера массового производства — Генри Форда, стало символом рационального использования оборудования и работников с целью максимизации выработки продукции и, что интересно, приобрело популярность не только среди капиталистов, но и среди большевистских деятелей, занимавшихся планированием производства.



Как бы то ни было, но очевидно, что преобразование структуры управления крупными предприятиями сильно продвинулось в период 1880—1914 годов, приведя к созданию офисов и бухгалтерий вместо цеховых конторок. «Видимая рука», т. е. управленческий аппарат корпорации, заменила прежнюю «невидимую руку» рыночного воздействия, под влиянием которого осуществлялось управление делами со времен Адама Смита. Теперь процесс управления стал осуществлять не хозяин фирмы, а управленческий аппарат, состоявший из инженеров, бухгалтеров и исполнительных работников. Вместо личности на деловую арену вышла «корпорация» или «концерн». Типичным представителем деловых кругов стал не один из членов семьи основателя фирмы, а работник аппарата, трудившийся за оклад, которого контролировал не сам хозяин, а представитель банка или совета акционеров.

Был еще и третий путь избавления бизнеса от невзгод: это был путь империализма. Часто отмечают хронологическое совпадение времени депрессии и времени существования динамической фазы процесса колониального раздела мира. Насколько связаны или независимы друг от друга эти явления — вопрос, о котором много спорят историки. В любом случае связь, существовавшая между ними, была более сложной, чем обычная причинно-следственная связь. Тем не менее никак нельзя отрицать, что стремление капитала к отысканию более прибыльных возможностей для капиталовложений и стремление производителей продукции к получению новых рынков сбыта способствовали политике экспансии — вплоть до колониальных завоеваний. Именно в этом духе высказался один чиновник Государственного департамента США в 1900 г.: «Территориальная экспансия есть всего лишь побочный продукт торговой экспансии»<sup>18\*</sup> И, конечно, он был не единственным представителем международного бизнеса и политики, разделявшим эту точку зрения.

Необходимо упомянуть еще один конечный результат (или «побочный продукт») Великой депрессии: наступление эры общественного пробуждения. Оно захватило не только фермеров, глубоко потрясенных катастрофическим падением цен на их продукцию, но также и рабочий класс. Пока еще не вполне понятно,

почему Великая депрессия вызвала массовую мобилизацию промышленных рабочих многих стран и появление с конца 1880-х годов социалистических и рабочих движений в некоторых из них. Ведь указанное падение цен, взволновавшее фермеров, заметно понизило стоимость необходимых прожиточных средств рабочих, существовавших на зарплату, и, несомненно, привело к улучшению материальных условий их жизни в большинстве промышленных стран. Тем не менее можно лишь отметить, что современные движения трудящихся тоже являются порождением периода депрессии (см. гл. 5).

## II

С середины 1890-х годов и до первой мировой войны оркестр мировой экономики играл, по преимуществу, в мажорном тоне процветания, а не в минорном тоне депрессии (как с тех пор и до настоящего времени). Благополучие, основанное на бурно растущем бизнесе, сформировало общую ситуацию, которую на европейском континенте до сих пор вспоминают как «золотой век» или «прекрасную эпоху». Переход от тревог к эйфории был столь резким и внезапным, что некоторые примитивно мыслявшие экономисты стали искать его причины в действии каких-то внешних сил: например, в громадном притоке золота из Южной Африки и с Клондайка, где в 1898 году произошла последняя на Западе великая «золотая лихорадка»; и в других подобных явлениях, которые внезапно, как «бог из машины», разрешили все трудности. Историки-экономисты, в общем, отнеслись не так одобрительно к этому монетаристскому тезису, как некоторые современные западные правительственные эксперты. Как бы то ни было, но поворот был стремительным и почти сразу же был признан началом нового и длительного периода бурного развития капитализма, как писал, например, весьма проницательный революционер И. Л. Гельфанд (1869—1924 годы), выступавший под псевдонимом «Парвус». Фактически, именно контраст между Великой депрессией и последующим всеобщим и мощным подъемом впервые дал материал для рассуждений о так называемых «долговременных колебаниях» или «длинных волнах», на-

блюдаемых в развитии мирового капитализма, которые позже были описаны русским экономистом Кондратьевым. Во всяком случае, стало по крайней мере ясно, что те, кто делал мрачные прогнозы о будущем капитализма и даже предсказывал его неминуемую катастрофу, оказались неправы. Среди марксистов это вызвало страстные споры о том, как это скажется на судьбах их движения и надо ли пересматривать доктрину Маркса.

Историки-экономисты стремились сконцентрировать внимание на двух аспектах наступившей эры: на перераспределении экономической мощи и инициативы ввиду некоторого (относительного) упадка Британии и ввиду роста (как относительного, так и абсолютного) влияния США и особенно Германии; а также на вопросе о долгопериодических и короткопериодических колебаниях, в первую очередь — о так называемых «длинных волнах» Кондратьева, одна из которых, со своей впадиной и вершиной, пришлась как раз на рассматриваемый период. Однако, как ни интересны эти проблемы сами по себе, они все же являются вторичными с точки зрения мировой экономики.

В принципе, нет ничего удивительного в том, что Германия, население которой выросло с 45 до 65 млн человек, и США, у которых население выросло с 50 до 92 млн человек, обогнали Британию, обладавшую меньшим населением и территорией. Однако это не снижает впечатления от триумфальных успехов Германии в увеличении промышленного экспорта. За 30 лет (перед 1913 годом) он вырос так, что стал превосходить экспорт Британии, хотя в начале периода составлял всего половину от ее экспорта. Германский экспорт превысил британский по всему миру, кроме так называемых «полуиндустриальных» стран, т. е. доминионов и зависимых территорий Британской империи, к которым относились и государства Латинской Америки. Превосходство составило 30% в странах индустриального мира и 10% — в странах «отсталого» мира.

Так же не удивительно, что Британия не смогла больше подерживать свое положение «мастерской мира», которое она занимала с 1860-х годов. Напомним, что даже США, переживая пик своего глобального могущества в 1950-е годы, никогда не могли достигнуть уровня в 53% мировой выплавки чугуна и стали и

49% мирового производства текстильной продукции, хотя доля их населения, в процентах от населения всего земного шара, превосходила в 3 раза соответствующий показатель Британии 1860-х годов. Здесь мы не будем разбирать непосредственные причины замедления роста или некоторого упадка британской экономики (если они вообще имели место), вопрос о которых уже рассмотрен в многочисленных исследованиях. Суть проблемы состоит не в том, какая страна выросла больше и быстрее, а в том, почему происходил рост мировой экономики в целом.

Что касается «ритма Кондратьева» (назвать это явление «циклом» в строгом смысле слова — значит, считать вопрос решенным), то эта проблема затрагивает фундаментальные вопросы анализа природы экономического роста в эпоху капитализма и даже роста мировой экономики вообще (как считают некоторые). К сожалению, нет никакой общепризнанной теории, объясняющей эту любопытную смену фаз устойчивости и шаткости экономики, образующих в совокупности своеобразную «волну» длительностью примерно на полстолетия. Самая известная и наиболее элегантная теория на этот счет принадлежит Джозефу Алоису Шумпетеру (1863—1950 годы), который объяснял каждый «провал» волны истощением потенциала создания прибыли со стороны действующего ряда экономических нововведений, а каждый новый «всплеск» — появлением нового такого ряда, обусловленного главным образом (но не только) новыми техническими достижениями, потенциал которых со временем тоже истощается. Согласно этой теории, новые отрасли промышленности действуют как «ведущие секторы» экономического роста; так, текстильная промышленность в эпоху первой промышленной революции и строительство железных дорог в 1840-е годы и позже явились «локомотивами», вытащившими мировую экономику из трясины, в которой она временно пребывала. Все это выглядит достаточно правдоподобно, поскольку каждый период подъема, начиная с 1780-х годов, действительно был связан с новыми отраслями промышленности, возникавшими во многом (и все более и более) благодаря революционному развитию новой техники; таким же, кстати говоря, был, по своему характеру, и самый выдающийся всемирный экономический бум 1945—1970 годов. Одна-

ко, подъем в конце 1890-х годов произошел тогда, когда новые отрасли промышленности, широко известные химическая, электротехническая и те, что были связаны с освоением новых источников энергии, способных вскоре составить конкуренцию пару, — еще не могли в полной мере влиять на развитие мировой экономики. Короче говоря, пока мы не сможем достоверно объяснить «периодические явления Кондратьева», нам нет от них особой пользы. Мы можем лишь отметить, что на рассматриваемый период приходятся падение и всплеск «волны Кондратьева», но в этом нет ничего удивительного, поскольку вся современная история мировой экономики хорошо согласуется именно с такой моделью протекания явлений.

Имеется, однако, один аспект анализа «по способу Кондратьева», который должен был быть связан с периодом быстрой «глобализации» мировой экономики. Речь идет о зависимости между мировым промышленным сектором, рост которого сопровождался непрерывной технической революцией, и мировой выработкой сельскохозяйственной продукции, которая росла главным образом за счет непрерывного вовлечения в производство новых географических зон или за счет создания районов новой специализации в области экспорта. В 1910—1913 гг. западный мир потреблял почти в два раза больше пшеницы, чем (в среднем) в 1870-е годы. Однако значительная часть прироста производства была обеспечена за счет немногих стран: США, Канады, Аргентины и Австралии, а в Европе — России, Румынии и Венгрии. Доля прироста за счет стран Западной Европы: Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Скандинавии — составила всего 10—15%. Поэтому не вызывает удивления вывод о том, что скорость роста производства мировой сельскохозяйственной продукции в рассматриваемом периоде замедлилась после начального скачка вперед, даже без учета влияния крупных сельскохозяйственных катастроф тех лет: например, восьмилетней засухи 1695—1902 годов, погубившей половину поголовья овец в Австралии; или гибели урожая хлопка в США в 1892 г. и позже, уничтоженного насекомыми-вредителями. После этого «законы торговли» стали действовать в пользу сельского хозяйства и вопреки интересам промышленности, т. е. фермеры стали платить мень-

ше (в абсолютном выражении или относительно) за промышленные товары, а промышленность стала платить больше за товары сельского хозяйства.

Утверждение о том, что именно указанная перемена условий торговли стала причиной перехода от резкого падения цен в 1873—1896 гг. к заметному росту цен, начиная с 1914 года, является спорным. Возможно, что так оно и было. Бесспорно, что эта перемена законов торговли отрицательно повлияла на цены промышленных товаров и, следовательно, на их прибыльность. К счастью для «прекрасной эпохи», экономика была устроена так, что пострадали не прибыли, а рабочие, так как быстрый рост реальной зарплаты, характерный для времени Великой депрессии, явно замедлился. Во Франции и в Бельгии реальная зарплата сильно понизилась в период 1899—1913 годов. Мрачная социальная обстановка, напряженность и вспышки недовольства, имевшие место перед 1914 годом, объясняются частично именно этой причиной.

Что же, в таком случае, делало мировую экономику столь динамичной? Не вдаваясь в подробные объяснения, скажем, что ключ к ответу на этот вопрос нужно искать в развитых и развивавшихся странах северного полушария, поскольку именно они служили двигателем мирового экономического роста, являясь и производителями, и покупателями товаров. Эти страны образовали огромный, быстро растущий и расширявшийся массив промышленности, расположившийся в самом центре мировой экономики. В середине XIX века в эту группу входили не только Британия, Германия, США, Франция, Бельгия, Швейцария и Чешские земли, т. е. государства, служившие большими и малыми центрами индустриализации, значительная часть которых росла с внушительной и даже почти невообразимой быстротой. Сюда вошли и новые промышленные страны: Скандинавские, Нидерланды, Северная Италия, Венгрия, Россия и даже Япония. Они тоже составили быстро растущий массив покупателей мировых товаров и услуг, увеличивая закупки и уменьшая тем самым зависимость от традиционной сельскохозяйственной экономики. В XIX веке городскими жителями обычно считались те, кто жил в населенном пункте, насчитывавшем более 2000 человек. Одна-

ко, даже если принять в качестве критерия численность в 5000 человек, то количество городских жителей в Европе и в Северной Америке составило в 1910 г. 41% (по сравнению с 19% и 14%, соответственно, в 1850 г.), при этом 80% их жили в городах с населением свыше 20 000 человек (в 1850 г. — 70%); из числа последних более половины жили в городах с населением свыше 100 000 человек, которые можно назвать громадными муравейниками потребителей<sup>19\*</sup>

Более того, благодаря падению цен в период депрессии, эти потребители могли тратить гораздо больше денег, чем раньше, даже с учетом уменьшения реальной зарплаты после 1900 года. Бизнесмены, наконец, осознали, какое важное значение имеют эти скопления потребителей, даже с учетом наличия среди них представителей бедных классов. И если теоретики от политики страшились этих масс, то торговцы приветствовали их! Именно к ним обратилась рекламная индустрия, получившая мощное развитие как раз в этот период. Система продажи в рассрочку, тоже зародившаяся в то время, позволила людям с небольшим доходом покупать крупные вещи. А революционное искусство кино и кинопромышленность (см. гл. 9) выросли с нуля (1895 год) до невероятного уровня богатства (1915 год), прежде невообразимого даже в самых смелых мечтах, по сравнению с которым сборы оперных театров, этих храмов аристократии, казались просто жалкими, — и все благодаря публике, платившей за билеты мелочью!

Всего несколько цифр показывают важное значение зоны развитых стран в то время. Доля европейцев среди населения мира выросла в XIX веке, несмотря на замечательный рост за океаном новых промышленных районов; несмотря на «кровопускания» в виде беспрецедентной массовой эмиграции; при этом скорость роста населения Европы все время увеличивалась: с 7% в год в первой половине XIX века до 8% — во второй половине и до почти 13% — в 1900—1913 гг. Если добавить к урбанизированному европейскому континенту население США и ряда других небольших, но быстро развивавшихся стран Америки, то получим, что развитый мир, занимавший около 15% поверхности Земли, содержал до 40% всех ее обитателей.

Таким образом, указанные страны составляли большую и главную часть мировой экономики. Они же представляли 80% мирового рынка. И, самое главное, они определяли развитие остальной части мира, экономика которой работала на обслуживание их нужд. Мы не знаем, что случилось бы, например, с Уругваем или с Гондурасом, если бы они были предоставлены своей собственной судьбе. (Во всяком случае, это маловероятно: Парагвай однажды попытался выйти из-под контроля мирового рынка и был возвращен обратно, понеся большие потери. См. «Век Капитала», гл. 4.) Мы знаем лишь, что первый производил говядину, потому что на нее был спрос в Британии, а второй — бананы, потому что торговцы из Бостона сообразили, что американцы будут охотно покупать их к своему столу. Некоторые из этих зависимых стран вели свои дела получше, другие — похуже, но чем лучше шли у них дела, тем больше выгод получала экономика ведущих стран, для которых этот рост означал рост и расширение рынка для экспорта товаров и капитала. Последний пример: мировое торговое судоходство, рост которого примерно соответствует росту мировой экономики, оставалось в период 1860—1890 годов примерно на одном уровне, так что его тоннаж колебался в пределах от 16 до 20 млн тонн. Зато с 1890 по 1914 год он удвоился!

### III

Итак, каков же итог наших рассуждений о мировой экономике Века Империи? Прежде всего мы убедились, что она очень сильно расширилась в географическом отношении. Зона развитой и развивающейся промышленности увеличилась как в Европе, после промышленной революции в России и в таких странах, как Швеция и Нидерланды, до тех пор мало затронутых ею; так и в Северной Америке и даже (до некоторых пределов) в Японии. Международный рынок профилирующих товаров вырос в громадной степени: в период 1880—1913 годов международная торговля этой продукцией почти утроилась, благодаря чему выросло производство, усилилась специализация стран в области производства товаров и их интеграция в мировой рынок. Так, Кана-



да присоединилась к главным мировым производителям пшеницы в 1900 г., и ее валовой сбор зерна увеличился с 52 млн бушелей в 1890-е годы до 200 млн — в 1910—1913 гг.<sup>20\*</sup> Аргентина стала главным экспортером пшеницы в то же время, и каждый год рабочие из Италии, прозванные «ласточками» («голондринас»), стали пересекать Атлантический океан туда и обратно, преодолевая расстояния по 10 000 миль, чтобы собрать урожай. В Век Империи в экономическую географию мира вошли Баку и Донбасс; Европа экспортировала товары и девушек в новые города, такие как Йоганнесбург и Буэнос-Айрес; в джунглях Амазонии, за 1000 миль от побережья океана, в городах «каучукового бума», были построены (на костях индейцев) оперные театры.

Отсюда следует (как уже отмечалось), что мировая экономика стала более плюралистской, чем до этого. Британия уже не была единственной в мире индустриальной и полностью индустриализованной страной. Если рассматривать объем промышленного производства четырех главных развитых стран (включая продукцию горнодобывающей и строительной промышленности), то на долю США приходилось 46% всего объема, на долю Германии — 23,5%; Британии — 19,8%; Франции — 11%<sup>21\*</sup> Век Империи (мы еще увидим это в дальнейшем) был, в основном, веком соперничества государств. При этом отношения между развитыми и неразвитыми странами стали более разнообразными и сложными, чем в 1860-е годы, когда половина всего экспорта стран Азии, Африки и Латинской Америки поступала в одну страну — Великобританию. К 1900 г. на долю Британии приходилось, соответственно, 25%, т. е. меньше, чем на все остальные страны Европы, вместе взятые (31%)<sup>22\*</sup> То есть мир в Век Империи уже не был больше моноцентричным.

Этот расширявшийся плюрализм мировой экономики был, до некоторой степени, замаскирован все растущей торговой и финансовой зависимостью многих стран от Британии, доминировавшей также в области морского транспорта. Мало того, что лондонский Сити служил, более чем когда-либо, «коммутатором и распределителем» международных коммерческих операций, так что одна только стоимость всех торговых и финансовых услуг почти покрывала крупный торговый дефицит Британии, состав-

лявший 137 млн фунтов стерлингов в 1906 году (в 1910 г. — уже 142 млн фунтов). В добавление к этому, огромные капиталовложения Британии в других странах и ее торговое судоходство еще усиливали ее центральное положение в мировой экономике, делавшее Лондон столицей мира, а фунт стерлингов — мировой валютой. На международном финансовом рынке Британия сохраняла подавляющее превосходство. Так, в 1914 году Франция, Германия, США, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и другие страны обеспечивали 55 % мировых капиталовложений, а Британия одна — 44 %<sup>23\*</sup> В 1914 году британский торговый флот превосходил на 12 % торговый флот всех других европейских стран, взятых вместе, если сравнивать общий тоннаж судов.

Фактически, даже само развитие мирового плюрализма способствовало укреплению центрального положения Британии в мировой экономике. Дело в том, что когда страны с развивающейся промышленностью стали покупать больше профилирующих товаров в отсталых странах, у них стал накапливаться общий дефицит в торговле с «зависимым» миром; Британия же в одиночку восстанавливала мировой торговый баланс путем увеличения импорта из стран-соперников и с помощью своего собственного промышленного экспорта в зависимые страны, а главное — путем получения массированных скрытых прибылей от обслуживания международного бизнеса (например, от банковских и страховых операций), а также в качестве крупнейшего мирового кредитора, осуществлявшего огромные капиталовложения за границей. Таким образом, относительный упадок промышленного производства только усилил финансовые позиции и общее благосостояние Британии. Интересы британской промышленности, ранее достаточно хорошо сосуществовавшие с интересами Сити, теперь начали вступать в конфликт с ними.

Третьей и, пожалуй, самой очевидной характерной чертой мировой экономики была техническая революция. Как все мы знаем, это было время, когда частью современного образа жизни стали телефон и беспроволочный телеграф, фонограф, кино, автомобили и самолеты, не говоря уже о таких достижениях науки и техники, проникавших непосредственно в домашнюю жизнь, как пылесосы (1908 год) или аспирин (1899 год), оказавшийся

самым универсальным лекарством из всех, когда-либо изобретенных человеком. Не следует забывать и о самой полезной машине всех времен — скромном велосипеде, достоинства которого были признаны немедленно и повсеместно. Подводя итог этому впечатляющему списку достижений науки и техники, не будем забывать, что свое настоящее развитие и оценку они получили лишь позднее. Для современников, живших в XIX веке, главное новшество представляли результаты совершенствования достижений Первой промышленной революции, полученные путем улучшения испытанной техники века чугуна и паровых машин, замененных сталью и турбинами. Главную роль, особенно в странах с новой, динамично развивавшейся экономикой, стали играть новые отрасли промышленности, основанные на использовании электричества, химии, двигателей внутреннего сгорания и т. п. В 1907 году Генри Форд начал выпускать свою знаменитую «Модель Т». В период 1880—1913 годов в Европе было построено столько же километров железных дорог, сколько их было проложено в годы расцвета железнодорожного строительства, т. е. в 1850—1880 гг. Франция, Германия, Швейцария, Швеция и Нидерланды за эти годы более чем (или почти) удвоили длину своей сети железных дорог. Британия осуществила свой последний промышленный триумф, обеспечив в период 1870—1913 годов фактически монопольное положение своего судостроения путем совершенствования достижений Первой промышленной революции. Так что новая промышленная революция скорее увеличила и усилила достижения предыдущей революции, но не заменила их.

Четвертая характерная особенность состояла в осуществлении двойной трансформации капиталистического предприятия, т. е. в преобразовании его структуры и его «модус операнди» («способа работы»). Это явление включало, во-первых, концентрацию капитала и рост предприятий в таких масштабах, которые сделали наглядной разницу между «бизнесом» и «крупным бизнесом» (обозначавшимся терминами «гроссиндустрия», «гранд индустрия» и т. п.), сокращение свободной конкуренции и другие перемены (произошедшие около 1900 года), заставившие наблюдателей говорить о «новой фазе экономического развития» (см. гл. 3).

Во-вторых, происходила систематическая рационализация производства и внедрение «научных методов» не только в технологию, но и в организацию труда и в ведение отчетной документации.

Пятая особенность состояла в коренном преобразовании рынка потребляемых товаров, подразумевавшем полное изменение его качественных и количественных характеристик. В связи с ростом населения, его реальных доходов и масштабов урбанизации рынок товаров массового спроса, представленный до этого продуктами питания и одеждой, т. е. товарами первой необходимости, стал все больше заполняться промышленными потребительскими товарами. В долгосрочной перспективе это явление было более важным, чем заметный рост потребления у зажиточных и богатых классов населения, вкусы которых изменились не слишком сильно. Поэтому именно фордовская «Модель Т», а не «Роллс-Ройс» произвела революцию в автомобилестроении. В это же время революционно новая техника и результаты политики империализма позволили создать ряд новых товаров и услуг для массового рынка — от газовых плит, появившихся в Британии во многих рабочих квартирах, до велосипедов, кино и бананов, практически неизвестных до 1880-х годов. Одним из наиболее заметных достижений стало создание средств массовой информации, которые, впервые в истории, теперь действительно отвечали этому названию. В 1890-е годы одна из британских газет впервые достигла миллионного тиража; во Франции это произошло около 1900 года.<sup>24\*</sup>

Все это преобразовало не только само производство (которое стало называться «массовым производством»), но также и распределение товаров, путем введения, например, продажи в кредит или в рассрочку. С 1884 года в Британии начали продавать чай в стандартных пачках по 0,25 фунта. Это простое изобретение позволило создать состояния немалому числу воротил бакалейного бизнеса, собравших их мелкой монетой с населения рабочих окраин больших городов; среди этих магнатов был и сэр Томас Липтон, богатства и яхта которого обеспечили ему дружбу с королем Эдуардом VII, известным своей благосклонностью к щедрым миллионерам. Отделения фирмы «Липтон» начали создаваться в 1870 г., а в 1899 г. их насчитывалось уже 500.<sup>25\*</sup>

С указанной выше пятой особенностью экономики была непосредственно связана шестая особенность: большой относительный и абсолютный рост «третьего сектора» экономики и количества рабочих мест в офисах, магазинах и других подобных общественных и частных предприятиях. Достаточно убедиться в этом на примере Британии, которая, находясь в пике своего развития, доминировала в мировой экономике и обходилась при этом до смешного малым количеством работников аппарата управления: так, в 1851 г. было 67 000 чиновников государственных служб и 91 000 человек, занятых в офисах коммерческих фирм; при этом все работающее население насчитывало 9,5 млн человек. К 1881 г. в Британии было уже 360 тысяч работников коммерческих фирм (почти все — мужчины), а в государственном секторе — 120 тысяч. К 1911 г. в коммерческих фирмах работало 900 тысяч человек, причем 17% из них были женщины; а число работников государственного сектора утроилось. Количество работников коммерческого сектора, исчисляемое в процентах от всего работающего населения, выросло с 1851 по 1911 год в 5 раз. Ниже мы еще рассмотрим социальные последствия этого роста количества «белых воротничков» и «рук, не знавших тяжелого труда».

И последняя, седьмая особенность экономики, которую здесь необходимо отметить: растущее слияние экономики с политикой, означавшее увеличение влияния правительства и государственного сектора, которое идеологи либерального толка, как, например, юрист А. В. Дикей, называли «угрожающим наступлением коллективизма» на добрые старые традиции индивидуализма и частного предпринимательства. Фактически это было одним из проявлений отступления экономики рынка свободной конкуренции, служившей идеалом, а до некоторой степени — и реальностью капитализма середины XIX века. Так или иначе, но после 1875 года появился растущий скептицизм по поводу эффективности автономной саморегулирующейся рыночной экономики, в которой действовала знаменитая «невидимая рука» Адама Смита, управлявшая экономикой без помощи государства и общественности. Теперь рука становилась «видимой» со всех точек зрения.

Как мы увидим позже (гл. 4), демократизация политики час-

то заставляла консервативные и обремененные заботами правительства уделять внимание социальным реформам и повышению общественного благосостояния и принимать политические меры по защите экономических интересов определенных групп избирателей (например, в духе протекционизма), а также меры против концентрации экономики, как в США и в Германии (что оказалось менее эффективным делом).

С другой стороны, политическое соперничество между государствами и экономическая конкуренция между группами капиталистов действовали в одинаковом направлении, способствуя появлению империализма и подготовке первой мировой войны. Эти явления благоприятно влияли на рост военной промышленности, в отношении которой роль правительства была решающей.

Тем не менее, хотя стратегическая роль государственного сектора могла бы быть решающей, его фактическое влияние на экономику оставалось скромным. Конечно, было немало примеров и обратного порядка, таких, как приобретение британским правительством пакета акций «Средневосточной нефтяной компании» и установление контроля над радиосвязью (оба мероприятия имели военное значение), или намерения германского правительства национализировать часть промышленности; а также систематические меры правительства России по индустриализации страны, проводившейся с 1890-х годов. Однако и сами правительства, и общественное мнение считали государственный сектор чем-то вроде незначительного придатка к частной экономике, несмотря даже на заметный рост в европейских странах количества предприятий общественного пользования и общественных служб, находившихся под управлением государственных (как правило, местных) органов власти. Социалисты не разделяли этой веры в превосходство частного сектора, хотя сами мало занимались проблемами общественной экономики. Возможно, они и считали муниципальные предприятия чем-то вроде «муниципального социализма», но большинство этих предприятий подчинялось властям, которые не разделяли социалистических взглядов и даже не имели подобных симпатий. Современная экономика, в основном управляемая, организуемая и регулируемая государ-

ством, является продуктом первой мировой войны. Кстати говоря, в период 1875—1914 годов доля государственных расходов, по сравнению с быстро возраставшим национальным продуктом, стремилась к уменьшению в большинстве ведущих стран, при этом — несмотря на резкий рост расходов на подготовку к войне<sup>26\*</sup>

Таковы были пути роста и преобразования экономики развитых стран. Что поражало современников, следивших за жизнью развитых стран, — так это не только очевидные перемены в их экономике, но и ее еще более очевидные успехи. Поистине, они жили во времена расцвета! Даже трудящиеся массы получали пользу от этих успехов, по крайней мере, до тех пор, пока индустриальная экономика 1875—1914 годов требовала больших трудовых затрат и участия почти неограниченного количества сравнительно неквалифицированных и малообученных работников, как мужчин, так и женщин, стремившихся жить в городе и работать на фабрике. Именно благодаря этому обстоятельству возник поток переселенцев из Европы в США, искавших свое место в промышленном мире. Однако, хотя эта экономика и обеспечивала работой, она давала работнику лишь достаточно скромный, а иногда и минимальный заработок, впрочем, избавлявший от бедности, что для большинства трудящихся людей во все времена было главной целью и благом. В ретроспективных преданиях трудящихся классов, относящихся к десятилетию, предшествовавшему 1914 году, нет упоминаний о «золотом веке», как называли это время представители богатого и даже среднего класса. Для обеспеченных людей это действительно была «прекрасная эпоха», рай, потерянный после 1914 года. Для бизнесменов и правительств 1913 год стал после войны неизменным образцом для сравнения, точкой отсчета, к которой они хотели вернуться после эры невзгод. Оглядываясь назад из сурового и смутного послевоенного времени, они вспоминали некоторые замечательные события предвоенного бума как прекрасную «норму жизни», которая снова должна существовать. Увы! Как мы увидим далее, те самые тенденции в предвоенной экономике, благодаря которым это время стало «золотым» для средних классов, привели в конце концов к войне, революции и общественным бедствиям и сделали невозможным возвращение «утраченного рая».

## ГЛАВА 3

# ВЕК ИМПЕРИЙ

*Лишь полная политическая близорукость и наивный оптимизм могут препятствовать признанию той истины, что неотвратимая торговая экспансия, осуществляемая нацией под руководством буржуазии, неизбежно ведет, после некоторого переходного периода относительно мирной конкуренции, к приближению момента, когда только сила может решить, какой частью мировой экономики будет управлять эта нация, т. е. определить ее сферу деятельности и, в том числе, возможности ее трудящихся зарабатывать себе на жизнь.*

Макс Вебер, 1894 г.<sup>1\*</sup>

*«Оказавшись среди узкоглазых, — сказал германский император, — помните, что вы — авангард христианства, и смело направляйте свой штык против любого неверного. Дайте им почувствовать, что означает наша западная цивилизация. И если попутно подвернется шанс прибрать к рукам какую-нибудь маленькую страну, не позволяйте этим французишкам и русским опередить вас».*

«Философия мистера Дули», 1900 г.<sup>2\*</sup>

## I

Мировая экономика, ведомая развитыми и развивавшимися странами, составлявшими «ядро» капитализма, превращалась, по всем признакам, в систему, где «передовые» господствуют над «отсталыми», короче говоря, в мир империй. Как ни удивительно, но период с 1875 по 1914 год можно назвать «Веком Империи» не только из-за развития империализма, но и по более простой причине. Это был, пожалуй, тот период мировой истории, в котором существовало как никогда много правителей, официально именовавших себя «императорами» или, по мнению западных дипломатов, заслуживавших этого титула.

В Европе титул императора носили правители Германии, Авст-



рии, России, Турции и Великобритании (являвшиеся властителями Индии). Две из этих империй (Германская и Британии-Индии) появились в 1870-х годах. Это с лихвой компенсировало исчезновение «Второй империи» Наполеона III. За пределами Европы правители Китая, Японии, Персии, а также (пожалуй, во многом благодаря международной вежливости дипломатов) Эфиопии и Марокко тоже именовались, по обычаю, этим титулом, и даже в Южной Америке существовал до 1889 года император Бразилии. К этому списку можно добавить еще одного-двух, а то и нескольких неформальных «императоров». Пять из всех перечисленных империй прекратили свое существование в 1918 году. В наше время (1987 год) из всей этой избранной компании супермонархов остался только один обладатель высокого титула — император Японии, занимающий, впрочем, невысокое место в политической системе своей страны и не имеющий большого политического влияния. (Султан Марокко предпочитает именоваться «королем». Ни один из оставшихся у власти мини-султанов исламского мира не имеет и не может иметь оснований на титул «короля королей».)

Если же судить не так буквально, то рассматриваемый период был, безусловно, эрой империй нового типа — колониальных. Уже давно экономическое и военное превосходство капиталистических стран стало бесспорным, однако с конца XVIII века и до 1870-х годов они не предпринимали серьезных попыток реализовать его путем завоевания, аннексии и подчинения других стран. Наконец, это было сделано в период 1880—1914 годов, и большая часть мира за пределами Европы и Америки оказалась официально поделенной на территории, находящиеся под официальным управлением или неофициальным политическим контролем того или другого члена небольшой группы государств: Великобритании (прежде всего); а также Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии, США и Японии. Жертвами этого процесса стали, в определенных пределах, сохранившиеся старые империи Европы, образовавшиеся еще до промышленной революции: Испания и Португалия; причем больше пострадала Испания, хотя она и пыталась расширить зону своего контроля в Северо-Западной Африке. Да и оставшиеся за Португалией африканские колонии (Ангола и Мозамбик), сохранявшие этот статус

дольше других имперских колоний, не были поделены ее новыми соперниками главным образом потому, что они не могли договориться между собой, как именно это сделать. Однако это соперничество не спасло остатки Испанской империи в Новом Свете (Куба, Пуэрто-Рико) и в Тихом океане (Филиппины) от подчинения США в 1898 году. Большинство великих древних империй Азии оставались номинально независимыми, хотя западные державы кроили их на «зоны влияния» или даже прямого управления, покрывавшие иногда всю их территорию (как в случае англо-русского соглашения по Ирану в 1907 году). Фактически их военная и политическая беспомощность считалась само собой разумеющимся делом. Их независимость основывалась либо на их существовании в качестве удобных «буферных территорий» (так, Сиам, ныне Таиланд, разделял зоны британского и французского влияния в Юго-Восточной Азии; а Афганистан — зоны влияния Британии и России); либо на неспособности империалистических держав найти приемлемую «формулу раздела»; либо просто на их незначительных размерах. Единственной страной за пределами Европы, успешно сопротивлявшейся полному колониальному подчинению, была Эфиопия, которую никак не могла завоевать слабейшая из империалистических стран — Италия.

Два крупных региона мира были поделены практически полностью: это были Африка и Тихий океан. Во всей зоне Тихого океана не осталось ни одного независимого государства; она была полностью поделена между Британией, Францией, Германией, Голландией, США и (пока еще в незначительной степени) Японией. К 1914 году, кроме Эфиопии, небольшой западноафриканской республики Либереи и части Марокко, все еще сопротивлявшейся полному завоеванию, вся территория Африки была поделена между Британией, Францией, Германией, Бельгией, Португалией и (на окраинах) Испанией. Азия, как мы видели, оставалась крупной номинально независимой территорией, хотя старые европейские империи расширяли и округляли свои и без того значительные владения: Британия — путем аннексии Бирмы и присоединения ее к своей Индийской империи, а также путем создания и укрепления зоны влияния, включавшей Тибет, Персию с территорией Персидского залива; Россия — путем про-

движения в Центральную Азию и (с меньшим успехом) к Тихому океану — в Сибири и в Маньчжурии; Голландия — путем укрепления контроля над окраинами Индонезии. Две практически новые империи были созданы после французских завоеваний в Индокитае, начатых при Наполеоне III; а также в результате захвата Японией Кореи и Тайваня (в 1895 году), отторгнутых от Китая, и части владений России, захваченных в 1906 году. Лишь один важный регион мира оставался, в основном, вне процесса раздела. Обе части Американского континента в 1914 году сохраняли такой же вид (с точки зрения раздела территории), как и в 1875 году и даже в 1880-х годах, представляя собой единственное в своем роде собрание суверенных республик; исключение составляли Канада, острова Карибского моря и часть Карибского побережья. Кроме США, никто (не считая соседей) не покушался на политический статус этих государств. Хотя, конечно, всем было известно, что экономически они находились в зависимости от передовых стран. Однако даже США, постоянно утверждавшие и усиливавшие свое политическое и военное влияние в этом обширном районе, не пытались по-настоящему завоевать и подчинить их. Прямой аннексии подверглись только Пуэрто-Рико и узкая полоса земли вдоль Панамского канала, на территории небольшой, формально независимой Панамской республики, специально образованной с помощью местной «карманной» революции на землях, отторгнутых от Колумбии; Кубе тоже была оставлена независимость, имевшая формальный характер. В Латинской Америке ведущие державы осуществляли экономическое господство и политическое «выкручивание рук», обходясь без военных завоеваний. Америка оставалась единственным крупным регионом мира, где не было серьезного соперничества между великими державами. Кроме Британии, ни одно европейское государство не имело там своих владений, не считая разрозненных осколков колониальных империй XVIII века (в основном, в районе Карибского моря), которые не представляли большого экономического или иного значения. Ни Британия, ни другие государства не видели серьезных причин вступать в конфликт с США, бросив вызов «Доктрине Монро»<sup>10</sup>. («Доктрина Монро» была впервые провозглашена в 1823 г.; после этого она не раз подтверждалась и уточнялась правительствами США, возражавшими про-

тив дальнейшей колонизации и политического проникновения европейских держав в Южное полушарие. Позже стало подразумеваться, что только США имеют право вмешиваться в дела любой страны этого района. Поскольку мощь США росла, европейским государствам приходилось все больше считаться с «Доктриной Монро».)

Раздел земного шара между горсткой государств, давших название этой книге, явился самым наглядным выражением растущего деления мира на сильных и слабых, «передовых» и «отсталых», о котором уже говорилось выше. Возникли и новые особенности указанного явления. В период 1676—1915 годов примерно 25% всей суши Земли были распределены (или перераспределены) в качестве колоний между полудюжиной государств. Британия увеличила свои владения примерно на 4 млн квадратных миль; Франция — примерно на 3,5 млн; Германия приобрела более 1 млн; Бельгия и Италия — несколько меньше, чем по 1 млн квадратных миль каждая. США приобрели около 100 тысяч квадратных миль, в основном, за счет Испании; Япония — примерно столько же за счет Китая, России и Кореи. Старые африканские колонии Португалии увеличились на 300 тысяч квадратных миль; Испания, чьи владения явно уменьшились, все же ухитрилась прихватить каменистые земли в Марокко и в Западной Сахаре. Труднее оценить прирост Российской империи, так как он осуществлялся в течение нескольких веков; к тому же Россия уступила ряд территорий Японии. Из всех главных колониальных империй только Голландия не сумела (или не захотела) приобрести новые земли и ограничилась расширением и укреплением своего контроля над островами Индонезии, которые уже давно официально числились ее «собственностью». Еще также Швеция ликвидировала свою единственную колонию — остров в Вест-Индии, продав его Франции; и Дания готовилась поступить так же, сохраняя пока Исландию и Гренландию в качестве зависимых территорий.

Самые яркие события не всегда получают должную оценку. Когда наблюдатели мировых событий конца 1890-х годов начали анализировать то, что имело все очевидные признаки новой фазы национального и международного развития, заметно отличающейся от либерального мира свободной торговли и свободной

конкуренции, существовавшего в середине XIX века, они приняли создание колониальных империй за один из рядовых аспектов этой новой фазы. Ортодоксальные наблюдатели полагали, что они видят, вообще говоря, новую эру национальной экспансии, в которой (как мы уже предполагали) элементы политики и экономики стали неразделимыми, а государство играло все более активную и решающую роль как во внутренних, так и во внешних делах. Сторонники противоположных взглядов называли это явление более определенно, новой фазой капиталистического развития, вырастающей из нескольких тенденций, свойственных этому развитию. Даже в книге Ленина (1916 г.)<sup>11</sup>, содержащей наиболее известный анализ нового явления, названного вскоре «империализмом», раздел мира между великими державами, по существу, не рассматривался до шестой главы (всего книга содержит 10 глав)<sup>3\*</sup>

Однако если колониализм был просто одним из аспектов явления общих перемен в мировых делах, то он был и самым поразительным и самым ярким из них. Он требовал более широкого анализа, хотя бы потому, что само слово «империализм», несомненно, появилось впервые как одно из выражений, использовавшихся политиками и журналистами в 1890-х годах в спорах о колониальных завоеваниях. Именно тогда оно приобрело и экономический смысл, ставший концептуальным и неотъемлемым. Поэтому ссылки на древние формулировки из политической и военной риторики, на которых якобы основано происхождение этого слова, являются беспочвенными. В древности, конечно, были и империи, и императоры, но империализм — это совершенно новое явление. Это слово, не встречавшееся в трудах Карла Маркса (так как он умер в 1883 г.), впервые вошло в политический словарь в Британии в 1870-е годы и в конце того десятилетия еще считалось неологизмом. Оно нашло широкое применение в 1890-е годы. К 1900 г., когда интеллектуалы начали писать книги об империализме, само слово, по выражению первого из них, британского либерала Дж. А. Хобсона, уже «было у всех на устах и применялось для обозначения самого мощного движения современной политики западного мира»<sup>4\*</sup> Короче говоря, это был новый термин, введенный для обозначения нового явления. Этот очевидный факт является достаточным основанием для оп-

ровержения одного ошибочного мнения, высказанного в ходе напряженных идеологических споров по поводу «империализма»; сторонники его утверждали, что здесь нет ничего нового, что это, скорее всего, лишь докапиталистический пережиток. Как бы то ни было, но участники дискуссий чувствовали новизну явления и обсуждали его именно как нечто новое.

Аргументы, связанные с этим «большим» вопросом, настолько пристрастны, противоречивы и запутанны, что историк должен разобраться в них, чтобы получить объективную картину явления. Дело в том, что большинство аргументов относится не к событиям 1875—1914 годов, а к марксизму, т. е. к предмету, который многих «задевал за живое». Причиной этого стала упоминавшаяся работа Ленина, точнее, то, что критический анализ империализма, данный в ней, стал основой революционного марксистского учения, принятого после 1917 года всеми коммунистическими движениями, а также революционными движениями «третьего мира». Особую пикантность жестоким спорам сторонников и противников империализма, ведущимся еще с 1890-х годов, придавало то обстоятельство, что само это слово постепенно приняло (и, похоже, не утратило до сих пор) некоторую отрицательную окраску, что сразу давало одной из сторон не-большое, но явное преимущество. В противоположность «демократии», которую любят упоминать даже ее противники, благодаря благоприятным смысловым сочетаниям этого слова, «империализм» обычно обозначает нечто неприятное и то, что делают другие. Еще в 1914 году многие политики с гордостью называли себя империалистами, но в наше время такого уже не услышишь.

Суть ленинского анализа (откровенно основанного на трудах многих авторов того времени, марксистов и немарксистов) состоит в том, что империализм как новое явление имеет экономическую основу, созданную совершенно новой фазой капитализма, которая, наряду с другими событиями, привела к территориальному разделу мира между великими капиталистическими державами на их официальные и неофициальные колонии и сферы влияния. Противоречия между капиталистическими державами, вызвавшие раздел мира, породили также и первую мировую войну. Здесь нет необходимости рассматривать особые сплетения обстоятельств, благодаря которым «монополистический капита-

лизм» привел к колониализму (так как мнения по этому поводу очень противоречивы даже среди марксистов), а также разбирать последующие работы, развивающие ленинский анализ в направлении более радикальной «теории зависимости», трактующей события XX века. Все так или иначе сходятся на том, что экономическая экспансия и эксплуатация колониальных и зависимых стран имела критическое значение для капиталистического мира.

Критика указанных теорий не представляет особого интереса и вообще была бы здесь неуместна. Нужно просто отметить, что аналитики-немарксисты, стремясь опровергнуть марксистские взгляды на империализм, затемнили саму сущность предмета спора. Они хотели отрицать существование особой связи между империализмом конца XIX и всего XX века и капитализмом вообще, или в виде его особой фазы, возникшей в конце XIX века. Они отрицали также, что империализм имел определенную экономическую основу и приносил экономические выгоды империалистическим государствам (не говоря о том, что эксплуатация отсталых стран вообще имела важное значение для капитализма), отрицательно влияя на экономику колониальных стран. Они утверждали, что империализм не приводил к непримиримым противоречиям между капиталистическими державами и не оказал серьезного влияния на возникновение первой мировой войны. Отвергая экономические причины, они использовали психологические, идеологические, культурные и политические объяснения, тщательно обходя при этом опасную область внутренней политики, так как марксисты подчеркивали преимущества, получаемые правящими классами метрополий, от проведения империалистической политики и пропаганды, которая, помимо прочего, противодействовала растущей агитации массовых политических движений трудящихся, обращенной к рабочему классу. Некоторые аргументы, использованные в этих спорах, были сильными и эффективными, хотя и оказались взаимно неприемлемыми.

Конечно, многие ранние теоретические работы, направленные против империализма, фактически были ущербными. Но настоящий недостаток антиимпериалистической литературы состоял в том, что она по-настоящему не объясняла той взаимной зависимости между экономическим и политическим, национальным и международным развитием, которая так поражала

современников в 1900-х годах и которая требовала исчерпывающего объяснения. Она не объясняла также, почему для современников «империализм» представлял собой новую и главную тенденцию исторического развития. Короче говоря, многие из этих работ были построены на отрицании фактов, достаточно очевидных уже в то время и сохраняющих свое значение до сих пор.

Оставляя в стороне ленинизм и антиленинизм, историк должен прежде всего восстановить существование и значение того факта, который никем не отрицался в 1890-е годы, а именно, что раздел мира имел под собой экономические основания. Выявление этого факта еще не дает, конечно, полного объяснения всех особенностей империализма того периода. Ведь экономическое развитие не является чем-то вроде колдуна, заставляющего двигаться бездушный манекен истории. И даже самый целеустремленный бизнесмен, занятый, например, делами своих предприятий где-нибудь в Южной Африке, оставался под влиянием политических, эмоциональных, идеологических, патриотических и даже расовых призывов того времени, неразрывно связанных с осуществлявшейся империалистической экспансией. Тем не менее если обнаруживаются экономические связи между тенденциями развития ведущих капиталистических стран того времени и их экспансией на периферию, то объяснения движущих мотивов империализма, не связанные с проникновением в отдаленные страны и их завоеванием, теряют свою правдоподобность. Даже тогда, когда такие объяснения кажутся убедительными (например, при ссылках на стратегические цели соперничающих держав), все равно их необходимо анализировать с точки зрения экономических интересов. К примеру, современная политика на Среднем Востоке, при всей невозможности объяснения ее только действием экономических факторов, не поддается объективному анализу без учета всего, что связано с нефтью.

Важнейшим фактором, характерным для XIX века, явилось создание единой глобальной экономики, постепенно проникавшей в самые отдаленные уголки мира; образование и уплотнение мировой сети коммуникаций, экономических операций, потоков товаров, денег и людей, связывавших развитые страны между собой и с остальным миром (см. «Век Капитала», гл. 3.)



Без всего этого не было бы причин для европейских государств проявлять особый интерес к обстановке в бассейне реки Конго или вести дипломатические споры по поводу какого-нибудь атолла в Тихом океане. Такая глобализация экономики не была новым явлением, но она значительно ускорилась в середине века. Экономика продолжала расти и позднее, в период 1875—1914 годов, и хотя относительные показатели роста стали менее впечатляющими, но рост общего объема и его абсолютных приращений был еще более крупным. Так, экспорт стран Европы в 1848—1875 гг. вырос больше чем в 4 раза, а затем еще удвоился к 1915 году. Мировое торговое судоходство выросло в 1840—1870 гг. с 10 до 16 млн тонн, затем удвоилось за последующие 40 лет; мировая сеть железных дорог выросла с несколько более 200 000 км (в 1870-е годы) до более чем 1 млн километров — перед первой мировой войной. Такой рост и уплотнение транспортной сети вовлекали в мировую экономику даже отсталые и окраинные страны и создавали в отдаленных районах новые очаги интересов для старых центров богатства и развития. Действительно, теперь, когда отдаленные страны стали доступными, многие из них стали казаться простым продолжением экономики развитых стран. В США (западнее Миссисипи), в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, в Южной Африке, в Алжире и в Южной Америке обосновались переселенцы из Европы, оттеснявшие коренное население, создававшие города и утверждавшие промышленную цивилизацию. Результаты этих событий вышли за рамки всех предсказаний. Указанные страны, хотя и находились далеко, все же явно отличались в глазах современников от тех заморских регионов, где, из-за климата, были трудные условия для жизни белых поселенцев, но где зато (по словам одного из видных чиновников имперской администрации того времени) европейцы могли, прибывая в небольших количествах, но располагая капиталом, энергией и знаниями, вести очень прибыльную торговлю и получать товары, необходимые для их передовой цивилизации<sup>5\*</sup>

Цивилизация действительно нуждалась в экзотических товарах. Техническое развитие зависело от поставок сырья, которое, ввиду климатических или геологических условий, имелось в изобилии или вообще было найдено только в отдаленных местах. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания, как раз появив-

шиеся в тот период, нуждались в горячем и резине. Нефть до тех пор поступала, в основном, из США и из Европы (из России, а еще раньше — из Румынии), но нефтяные месторождения Среднего Востока уже стали предметом дипломатических раздоров и объектом интриг. Каучук был исключительно тропическим продуктом, получаемым путем жестокой эксплуатации коренного населения Конго и Амазонии, что вызвало первые, вполне справедливые протесты против империалистической политики. Эта культура в больших масштабах выращивалась также в Малайе. Олово поставлялось из Азии и Южной Америки. Большое значение приобрели никому не нужные прежде редкие металлы, необходимые для получения разных видов стали, применяемых в современной технике для работы при высоких скоростях и нагрузках. Некоторые из них можно было свободно добыть в передовых странах, особенно в США, но отнюдь не все. Новые отрасли промышленности — электротехника и моторостроение — требовали все больше меди, добывавшейся на Земле с древних времен. Ее главные месторождения находились в странах современного «третьего мира» — в Чили, Перу, Заире, Замбии, которые стали ее главными поставщиками. И, конечно, существовала постоянная и никогда не знавшая полного удовлетворения потребность в драгоценных металлах, благодаря которой Южная Африка стала в тот период крупнейшим производителем золота в мире, не говоря уже о ее богатых месторождениях алмазов. Прииски и рудники стали первыми объектами империалистических интересов, так как давали сенсационные прибыли, оправдывавшие даже постройку железных дорог.

Помимо потребностей новых технологий, рост массового потребления в метрополиях создал быстро расширявшийся рынок пищевых продуктов. Больше всего требовалось основных продуктов питания, потреблявшихся в странах умеренного климата, таких как мясо и зерно, поставлявшихся по невысоким ценам и в массовых количествах из Северной и Южной Америки, из Австралии, Азии и из России. Кроме того, сформировался рынок товаров, известных с давнего времени под характерным названием «колониальных», продававшихся в бакалейных магазинах: это были сахар, чай, кофе, какао и продукты их переработки. Благодаря ускорению работы транспорта и применению новых мето-

дов консервации стали возможными поставки субтропических фруктов, обеспечившие существование «банановых республик».

Жители Британии, потреблявшие в 1840-х годах 1,50 фунта чая на душу населения, а в 1860-х годах — соответственно 3,26 фунта, стали потреблять 5,70 фунта в 1890-х годах, что означало необходимость ввозить в среднем 224 млн фунтов чая в год (98 млн фунтов — в 1860-е годы; примерно 40 млн фунтов — в 1840-е годы). Если англичане потребляли мало кофе и пили, главным образом, чай, поставлявшийся из Индии и с Цейлона (Шри-Ланка), то американцы и немцы ввозили кофе в громадных количествах, прежде всего — из Латинской Америки. В начале 1900-х годов в Нью-Йорке одна семья потребляла в среднем 1 фунт кофе в неделю. Производители лимонада и шоколада в Британии получали сырье из Западной Африки и Южной Америки. Сообразительный бизнесмен из Бостона, основавший «Юнайтед фрут компани» в 1885 году, создал в странах Карибского моря настоящие частные «империи», снабжавшие Америку ранее неизвестными бананами. Производители мыла, первыми широко использовавшие возможности новой рекламной индустрии, получали растительное масло из Африки. Плантации, поместья и фермы стали второй главной опорой империалистической экономики. Третьей опорой были торговцы и финансисты метрополий.

Это развитие не изменило характера промышленных стран, хотя они и создали новые отрасли большого бизнеса, процветание которых оказалось связанным с определенными районами земного шара, например, с месторождениями нефти, которые эксплуатировали нефтяные компании. Зато изменился остальной мир, превратившийся в ряд колониальных и полуколониальных территорий, специализировавшихся на производстве одного-двух профилирующих продуктов, экспортируемых на мировой рынок, от капризов которого эти страны стали полностью зависеть. Теперь слово «Малайя» стало обозначать каучук и олово; «Бразилия» — кофе; «Чили» — селитру; «Уругвай» — мясо; «Куба» — сахар и сигары. Даже колонии, имевшие белое население, не сумели (кроме США) завершить индустриализацию в этот период, потому что они тоже попали в тиски специализации. Некоторые из них добивались замечательного процветания (даже по евро-

пейским меркам), особенно если их населяли свободные, радикально настроенные эмигранты из Европы, хорошо представленные в парламенте и составлявшие мощную силу, выступавшую под знаменем демократии (которая, впрочем, оставалась глухой к интересам коренного населения). (Фактически демократия белых обычно лишала коренное население всех своих достижений и даже отказывалась считать их полноценными людьми.) Европейцу, пожелавшему в то время эмигрировать, лучше всего было поехать в Австралию, Новую Зеландию, Аргентину или Уругвай, но не в другие страны и даже не в США. Во всех перечисленных странах существовали развитые лейбористские и радикально-демократические партии и даже правительства, а также системы социального обеспечения и страхования, имевшие далеко идущие планы (как в Новой Зеландии и в Уругвае) — и все это задолго до появления таких новшеств в европейских государствах. Однако эти достижения существовали благодаря европейской (главным образом, британской) промышленной экономике, которая не позволяла этим странам осуществить собственную индустриализацию (или, по крайней мере, не допускала нарушений специализации, обеспечивавшей экспорт профилирующих товаров). Метрополии отнюдь не приветствовали индустриализацию других стран. Что бы ни говорила официальная пропаганда, но функция колоний и зависимых стран состояла в том, чтобы дополнять экономику метрополий, а не конкурировать с ней.

Другие зависимые страны, где не было «капитализма белых поселенцев», не смогли добиться такого преуспевания. Их экономика строилась на эксплуатации природных и трудовых ресурсов (т. е. рабочей силы коренного населения, мало стоившей и дешево продававшейся). Тем не менее олигархии землевладельцев и компрадорской буржуазии (местной или импортированной из Европы, или той и другой), вместе с правительствами (там, где они существовали) получали выгоды от экспансии развитых стран в их регионы, до тех пор пока ее не прервал недолгий, но местами очень сильный (как в Аргентине в 1890-х годах) кризис, вызванный окончанием очередного цикла развития производства, чрезмерной спекуляцией, войной и трудностями послевоенного времени. И хотя первая мировая война нарушила некоторые из этих рынков, все же зависимые страны остались в стороне от

нее. С их точки зрения, эра империй, начавшаяся в конце XIX века, длилась до наступления Великого кризиса 1929—1933 годов. Как бы то ни было, но в рассматриваемый период они становились все более уязвимыми, поскольку их благосостояние все сильнее зависело от цен на кофе (который к 1914 году уже обеспечивал 58 % стоимости всего экспорта Бразилии и 53 % экспорта Колумбии), на каучук и на олово; на какао, на мясо, на шерсть. Вплоть до резкого падения цен на профилирующие продукты во время кризиса 1929 года, эта уязвимость не имела большого значения, ввиду неограниченного роста экспорта и кредитов. Напротив, до 1914 года (как мы уже видели) условия торговли были как никогда благоприятными для стран — производителей профилирующих товаров.

Все же растущее экономическое значение этих стран для мировой экономики не объясняет, почему, помимо всего прочего, ведущие промышленные страны вдруг захотели поделить мир на колонии и сферы влияния. Анализ империализма, выполненный его критиками, приводит различные причины, объясняющие это явление. Наиболее знакомые из них: стремление капитала к более выгодным вложениям, чем у себя на родине, — и стремление застраховать капиталовложения от иностранных соперников, — являются и наименее убедительными. Пока экспорт капиталов из Британии в последней трети XIX века вырастал до громадных размеров, а доходы от капиталовложений имели существенное значение для платежного баланса страны, было бы естественным связывать «новый империализм» с экспортом капиталов, как это делал Дж. А. Хобсон. На самом же деле никто не отрицал, что фактически лишь очень малая часть этого полного потока инвестиций пошла в колонии; так, большая часть британских капиталовложений за рубежом попала в быстро развивавшиеся страны с белым населением, вскоре превратившиеся в практически независимые доминионы (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка), или в так называемые «почетные доминионы», такие как Аргентина и Уругвай, не говоря о США. К тому же основная часть капиталовложений (76 % в 1913 г.) имела вид государственных кредитов на строительство железных дорог и коммунальных предприятий, которые, конечно, приносили большую прибыль, чем кредиты на погашение

государственного долга (в среднем 5% по сравнению с 3%), но точно так же были менее прибыльными (конечно, не для самих банкиров — организаторов вложений), чем капиталовложения в отечественную промышленность. Считалось, что такие вложения более надежны, чем высокодоходные инвестиции. Конечно, инвесторы могли решиться на крайние меры для защиты своих капиталовложений. Например, основной причиной разразившейся англо-бурской войны<sup>12</sup> было южноафриканское золото, что бы там ни говорили об идеологических разногласиях.

Все же более убедительное объяснение общих причин колониальной экспансии связано с поисками новых рынков сбыта. Тот факт, что эти поиски не всегда имели успех, еще ни о чем не говорит. Вера в то, что «перепроизводство» времен Великой депрессии можно компенсировать путем массированного экспорта, была широко распространена. Деловые люди всегда стремились заполнить свободные места на карте мировой торговли, где предполагалось наличие многих покупателей, и, конечно, искали такие места. Их воображение всегда волновал Китай: ну что будет, если каждый из 300 млн китайцев купит хотя бы по одной банке консервов? Другим заманчивым местом была Африка. Представители британских городов, как-то выступавшие в Торговой палате в годы депрессии (в начале 1860-х годов), были чрезвычайно рассержены тем, что в результате дипломатических переговоров может пострадать их торговля в бассейне реки Конго, считавшемся очень перспективным районом, и не зря: ведь там вел дела такой знатный бизнесмен, как король Бельгии Леопольд II<sup>13</sup> (Когда он завладел этим районом, то стал широко использовать принудительный труд, в результате чего не только снижалась покупательная способность населения, но и уменьшалось число самих покупателей, погибавших от пыток и казней).

При этом сама суть мировой экономической ситуации того времени заключалась в том, что целый ряд развитых государств одновременно стал испытывать нужду в новых рынках. Если государство было достаточно сильным, то его идеалом была политика «открытых дверей» в применении к рынкам отсталых стран; если же мощи не хватало, то оно надеялось выкроить для себя «кусочек мира», на котором его предприниматели, в силу права собственности, имели бы монопольное положение или хотя бы

существенные преимущества. Логическим следствием такого положения стал раздел незанятых территорий «третьего мира». В каком-то смысле это было продолжением политики протекционизма, получившей после 1879 года почти повсеместное распространение (см. гл. 2). Не зря британский премьер-министр<sup>13</sup> говорил французскому послу в 1897 году: «Если бы вы не были такими упорными протекционистами, то и мы бы не стремились аннексировать территории»<sup>8\*</sup> В этом отношении «новый империализм» явился естественным побочным продуктом международной экономики, основанной на соперничестве нескольких промышленных стран-конкурентов, обострившемся из-за экономических невзгод 1880-х годов. Это не значит, что любая колония могла сама по себе стать новым Эльдorado, хотя так и случилось с Южной Африкой, ставшей самой крупной золотодобывающей страной мира. Колония могла послужить просто удобной базой или отправным пунктом для проникновения в местный бизнес. Об этом говорил, например, один из чиновников Государственного департамента США во второй половине XIX века, когда США, следуя общей моде, решили создать свою собственную колониальную империю.

Глядя на события с этой точки зрения, трудно отделить экономические мотивы приобретения колоний от политических шагов, предпринимавшихся с этой целью, поскольку протекционизм любого рода представляет собой экономические меры, осуществляемые политическими средствами. Стратегические мотивы колонизации являлись очень важными для Британии, имевшей давно захваченные колонии, размещенные в самых важных местах с целью контроля доступа в различные зоны суши и моря, считавшиеся жизненно важными для британских мировых коммерческих и военно-морских интересов, а также (с развитием парового судоходства) для пополнения запасов угля на проходящих судах. (Так, Гибралтар и Мальта с давнего времени были военными базами, а Бермуды и Аден превратились в удобные промежуточные пункты для пополнения запасов.) Эти базы имели также значение (реальное или символическое) для обеспечения интересов при дележе земель. Поскольку началась перекройка карты Африки и Океании соперничавшими державами, то каждая из них, естественно, старалась не допустить, чтобы другие захва-

тили лишнюю порцию или самый лакомый кусочек. Статус великой державы стал ассоциироваться с подъемом флага над каким-либо пляжем, осененным пальмами (или, как бывало чаще, над пустошью, поросшей колючим кустарником), так что владение колониями превратилось, само по себе, в символ величия, независимо от истинной ценности захваченной территории. Даже США (империализм которых ни до, ни после этого времени не имел ярко выраженного колониального характера) почувствовали (около 1900 года), что они тоже должны следовать общей моде. Германия чувствовала себя глубоко задетой тем, что она, являясь столь мощной и динамичной державой, должна довольствоваться гораздо меньшей долей колониального «пирога», чем Британия или Франция; к тому же ее колонии не имели большого экономического и стратегического значения. Италия настойчиво старалась захватить совершенно непривлекательные пространства африканских гор и пустынь, чтобы подкрепить свой статус великой державы, и ее неудача в Эфиопии несомненно понизила этот статус.

Дело заключалось в том, что если великими державами считались государства, обладавшие колониями, то малые державы как бы «не имели права» на владение ими. Например, Испания потеряла почти все, что оставалось от ее колониальной империи, вследствие испано-американской войны 1898 года. Как уже говорилось, серьезно обсуждались планы раздела между новыми колониальными державами остатков имперских владений Португалии в Африке. Только Голландия уверенно сохраняла за собой давно захваченные богатые колонии (в основном, в Юго-Восточной Азии), и король Бельгии сумел выкроить себе личное владение в Африке на условиях, приемлемых для других держав — но только потому, что ни одна великая держава не желала уступать соперникам важную территорию в бассейне реки Конго. К этому можно еще добавить, что на великих путях в Азию и в Америку европейские державы не осуществляли крупные территориальные захваты по политическим соображениям. В Америке ситуация с уцелевшими колониями европейских держав оказалась «замороженной» с появлением «Доктрины Монро»: только США имели там свободу действий. В большинстве районов Азии шла борьба за сферы влияния на территории стран, формально сохра-



нявших независимость, особенно в Китае, в Персии и в Османской империи. Здесь исключение составляли русские и японцы: Россия успешно расширила свою территорию за счет Центральной Азии, но потерпела неудачу в Северном Китае, а Япония захватила Корею и Формозу (Тайвань) после войны с Китаем в 1894—1895 гг. Таким образом, главными зонами захвата земель стали Африка и Океания.

Некоторые историки склонны объяснять явление империализма в первую очередь и в основном стратегическими интересами держав: так, они пытаются представить британскую экспансию в Африке как проявление необходимости защиты от возможных угроз путей, ведущих в Индию, а также ее морских и сухопутных границ. Действительно, важно помнить, что Индия была центром стратегических интересов Британии и что эта стратегия требовала сохранения контроля не только над ближними, но и над дальними морскими путями, ведущими в Индию, а также над всем Индийским океаном, включая важнейшие участки африканского побережья и прилегающих земель. (Ближний морской путь в Индию шел через Египет, Средний Восток, Красное море, Персидский залив и Южную Аравию; а дальние — вокруг мыса Доброй Надежды и через Сингапур.) Все британские правительства сознавали сказанное выше вполне отчетливо. Верно и то, что нарушение господства в стратегически важных районах (например, в Египте и в Судане) заставляло Британию усиливать свою прямую политическую власть и даже переходить к прямому правлению. Однако все эти аргументы не могут заменить экономический анализ империализма и недооценивают чисто экономические стимулы к захвату африканских земель, среди которых Южная Африка была самым ярким примером. В любом случае, грызня за Южную Африку и за Конго имела, в первую очередь, экономические причины.

Далее, эти историки упускают из вида тот факт, что Индия была «самым ярким бриллиантом в короне Британской империи» и центром глобальной стратегии Британии именно в силу ее действительно огромного значения для британской экономики. В то время это значение достигло своего пика, так как до 60% экспорта британского текстиля шло в Индию и на Дальний Восток (в

Индию — 40—45%), причем Индия была «ключом», открывавшим путь на Дальний Восток, кроме того, общий внешнеторговый баланс Британии зависел от положительного сальдо в ее торговле с Индией. Само смещение местных правительств, сопровождавшее иногда установление европейцами своего правления в тех областях, где раньше они не считали это необходимым, происходило именно вследствие подрыва местного самоуправления при усилении экономического проникновения. И, наконец, попытка доказать, что никакие явления внутреннего развития западного капитализма в 1880-х годах не повлияли на передел мира, является несостоятельной, поскольку мировой капитализм в тот период был уже совсем не таким, как в 1860-е годы. Он состоял теперь из соперничавших «национальных экономик», «защищавших» себя друг от друга. Короче говоря, в капиталистическом обществе политика и экономика неразделимы, и даже в большей степени, чем, например, религия и общественная жизнь в исламских государствах. Попытки дать «новому империализму» чисто неэкономическое объяснение являются нереалистическими, подобно попыткам неэкономического объяснения роста политических партий рабочего класса.

Действительно, подъем рабочих движений, или демократической политики вообще (см. гл. 4) имеет четкую связь с ростом «нового империализма». Когда великий империалист Сесиль Родс сказал в 1895 году, что тот, кто хочет избежать гражданской войны<sup>9\*</sup>, должен стать империалистом, то многие наблюдатели поняли, что возникает так называемый «социальный империализм», пытающийся использовать империалистическую экспансию для уменьшения внутреннего недовольства, путем экономических улучшений, социальных реформ и т. п. Нет сомнений в том, что политики вполне понимали потенциальные выгоды империализма. В некоторых случаях (особенно в Германии) рост империализма объясняли необходимостью обеспечения «приоритета внутренней политики». Однако представления Сесилия Родса о «социальном империализме», направленном, в первую очередь, на обеспечение экономических выгод, которые империя могла бы принести (прямо или косвенно) массам недовольных, не имели большого реального значения. Мы не располагаем убедительными

свидетельствами того, что колониальные завоевания сами по себе имели целью обеспечить в странах-метрополиях\* занятость большинства рабочих или повышение их реальных доходов, а фраза о том, что эмиграция в колонии послужила «предохранительным клапаном» для перенаселенных стран — не больше, чем демагогическая фантазия. (Фактически никогда не было легче эмигрировать куда угодно, чем именно в период 1880—1914 годов, причем лишь немногие эмигранты направлялись в колонии своей страны или были вынуждены это сделать.)

Гораздо больше известно примеров использования военных побед для привлечения голосов избирателей, ведь это обходилось заметно дешевле, чем проведение реформ. В самом деле, ну что могло принести бóльшую славу, чем завоевание экзотической территории с темнокожим населением, особенно если это стоило недорого! Иначе говоря, империализм поощрял массы людей, особенно потенциально недовольных, отождествлять себя с империалистическим государством и с нацией и тем самым одобрять общественно-политическую систему этого государства, считая ее законной и справедливой. В эру массовой политики даже старые государственные системы требовали новых подтверждений своей законности. Это тоже хорошо понимали современники. Поэтому, например, церемония коронации, состоявшаяся в Британии в 1902 г., была проведена со всей тщательностью и широко пропагандировалась, так как она должна была показать «признание свободной демократией наследственной короны в качестве символа всемирного главенства ее подданных». Таким образом, можно сказать, что империя служила хорошим «идеологическим цементом» для общества.

Пока что не вполне ясно, насколько эффективной оказалась эта политика показного патриотизма, особенно если говорить о

---

\* В некоторых случаях империя могла быть полезной. Так, горняки Корнуэльского полуострова (Великобритания) оставляли свои обедневшие оловянные рудники и массами отправлялись на золотые шахты Южной Африки, где они могли заработать неплохие деньги и умереть раньше обычного от легочных болезней. Хозяева покинутых оловянных рудников тем временем покупали себе новые оловянные рудники в Малайе, конечно, с гораздо меньшим риском для жизни.

странах, где либералы и левые радикалы сохраняли прочные антиимперские, антивоенные, антиколониальные, вообще антиаристократические традиции. Почти несомненно, что в ряде стран империализм был чрезвычайно популярен среди «белых воротничков» и вообще людей нового «среднего класса», социальным признаком которых была активная поддержка патриотизма (см. гл. 8). Гораздо меньше имеется свидетельств о случаях проявления энтузиазма среди рабочих по поводу колониальных завоеваний, не говоря уже о войнах или о случаях существования большого интереса к колониям, как к новым, так и к старым (кроме известного интереса к странам «белых поселенцев»). Попытки укрепления гордости за достижения империализма и возведения ее в ранг национального чувства, например, путем проведения официального «Дня Империи» в Британии в 1902 г., осуществлялись обычно за счет мобилизации школьников и т. п. публики. (В более общем виде использование явления патриотизма будет рассмотрено ниже.)

Все же нельзя отрицать, что идея превосходства и главенства над далеким миром темнокожих сразу стала популярной и принесла много пользы политикам — сторонникам империализма. На всех Всемирных выставках буржуазная цивилизация прославлялась за успехи в науке, технике и в промышленности. Теперь, в эру империализма, ее славу составили колонии. К концу XIX века увеличилось число «колониальных павильонов» на Всемирных выставках (раньше их не было совсем): на выставке, связанной с вводом Эйфелевой башни (в 1889 г.), их было XVIII; на Парижской выставке 1900 года — 14<sup>11\*</sup> Конечно, это была всего лишь реклама, но, как всякая удачная пропаганда, торговая или политическая, она имела успех, потому что затрагивала «душевные струны» публики. Колониальные экспозиции имели громадный успех. Еще большее впечатление производили юбилейные праздники в Британии; похороны членов королевской семьи и коронации, напоминавшие триумфы императоров Древнего Рима; с присутствием магараджей из зависимых стран, украшенных драгоценностями и демонстрировавших скорее добровольную лояльность, а не рабскую покорность. Поражали красочные военные парады: сикхи в тюрбанах, усаые раджпутанцы, улыбающиеся,

но сдержанные гурки, спаги и высокие черные сенегальцы олицетворяли мир варваров, призванных служить цивилизации. Даже в Вене, столице империи Габсбургов, не имевшей заморских колоний, была устроена экзотическая деревня Ашанти, притягивавшая туристов. Немало людей в те времена мечтали о тропиках.

Чувство превосходства, объединявшее белых людей Запада, как богатых, так и средний класс и бедных, существовало не только потому, что все они пользовались привилегиями хозяев, особенно находясь непосредственно в колониях. В Дакаре или в Момбасе самый скромный клерк чувствовал себя господином и пользовался уважением как «джентльмен» со стороны людей, которые, наверно, и не заметили бы его существования, будь это в Париже или в Лондоне, белый рабочий командовал черными. Дело заключалось в том, что если даже идеология государства требовала хотя бы потенциального равенства, то эти благие намерения отступали перед возможностью главенствовать. Так, во Франции провозглашали, что со временем все подданные государства станут «французами», духовными наследниками «наших предков — галлов» (это утверждали все школьные учебники, от Бордо до Тимбукту и Мартиники), тогда как в Британии считали, что бенгальцы и йоруба никогда не сравняются с англичанами. Даже наличие слоя местных «эволю» («приспособившихся») лишь подчеркивало отсутствие подлинной эволюции прав громадного большинства населения.

Только церковь преуспела в обращении язычников в истинную христианскую веру (в разных ее вариантах), за исключением тех мест, где она встретила противодействие местных властей (как в Индии) или где эта цель оказалась явно недостижимой (как в исламских странах).

Это было классическое время массовых миссионерских подвигов\*.

Миссионерство отнюдь не являлось проводником империа-

---

\* В период 1876—1902 годов было выполнено 119 переводов Библии, тогда как в предыдущие 30 лет — 74, а в период 1816—1845 годов — 40 переводов. С 1886 по 1895 год количество протестантских миссий в Африке достигло 23, что было в 3 раза больше, чем в любое из предыдущих десятилетий.

листической политики. Эти люди нередко противостояли колониальным властям, защищая в первую очередь интересы новообращенных. Однако сами успехи миссионерского движения зависели от империалистической экспансии. Всегда ли торговцы следовали за военными — это еще вопрос, но нет никаких сомнений в том, что колониальные завоевания открыли дорогу эффективным миссионерским действиям: в Уганде, в Родезии (теперь — Замбия и Зимбабве), в Ньясаленде (Малави). И если христианство провозглашало равенство душ, то при этом оно подчеркивало неравенство тел — даже тел, принадлежавших церкви. С помощью церкви белые кое-что сделали для местного населения. Но, хотя число верующих умножилось, все же не меньше половины священников были белыми. А чтобы в период 1880—1914 годов отыскался темнокожий епископ — так это уж была бы очень большая редкость! Католическая церковь впервые произвела в епископы уроженца Азии только в 1920-х годах, т. е. через 80 лет после первых заявлений о возможности и желательности такой меры.<sup>13\*</sup>

Что же касается политических движений, наиболее настойчиво выступавших за всеобщее равноправие людей, то их позиция была двойственной. Левые были антиимпериалистами по своим политическим убеждениям, а часто — и по своим практическим действиям. Британское лейбористское движение объявляло своей целью достижение свободы для Индии, Египта и Ирландии. Левые никогда не колебались в своем осуждении колониальных войн и завоеваний, нередко (как это было в случае с оппозицией англо-бурской войне) — даже ценой временной непопулярности. Левые радикалы рассказывали о злодеяниях, творившихся в Конго, об ужасных условиях работы на плантациях какао, расположенных на африканских островах и в Египте. Предвыборная кампания, обеспечившая британской Либеральной партии полную победу на выборах 1906 года, была основана, главным образом, на осуждении «современного рабства», царившего на рудниках Южной Африки.

Однако, за редчайшими исключениями (как, например, в Индонезии, являвшейся колонией Голландии), западные социалисты сделали очень мало для организации сопротивления коло-

ниальных народов своим угнетателям, пока не наступила эра Коммунистического интернационала. Конечно, те, кто искренне приветствовал империализм и считал его желательной (или, по крайней мере, временно необходимой) фазой исторического развития народов, «еще не готовых к самоуправлению», составляли меньшинство среди социалистических и лейбористских движений, представленное ревизионистским и фабианским правым крылом; однако многие профсоюзные лидеры считали споры по поводу колоний неуместными, а в «цветных» видели прежде всего дешевую рабочую силу, серьезно угрожавшую интересам белых рабочих. Известно, что движения за запрещение иммиграции «цветных», выступавшие под лозунгами «Калифорния — для белых!» и «Австралия — для белых!» в 1880-е годы и в 1914 году, опирались прежде всего на рабочий класс; а профсоюзы Ланкашира выступили вместе с хозяевами текстильных фабрик с требованием, чтобы в Индии не было собственной промышленности. В международном плане социализм до 1914 года оставался, в основном, политическим движением европейцев и белых эмигрантов (или их потомков) (см. гл. 5). Борьба с колониализмом почти не входила в круг их интересов. В определении и в анализе новой, «империалистической» фазы капитализма, принятых социалистами в конце 1890-х годов, колониальная аннексия и эксплуатация рассматривались просто как один из симптомов и особенностей этой новой фазы, которые, конечно, были нежелательными (как и другие черты империализма), но не такими уж важными. Лишь немногие социалисты обратили внимание, подобно Ленину, на «залежи горячего материала», накапливавшиеся на окраинах мира капитализма.

Поскольку социалистический (т. е. главным образом марксистский) анализ империализма рассматривал колониализм в составе более широкой концепции «новой фазы капитализма», он, безусловно, являлся правильным в принципе, хотя эта теоретическая модель имела некоторые неточности. К тому же марксисты иногда (подобно капиталистам того времени) были склонны преувеличивать экономическое значение колониальной экспансии для стран-метрополий. Империализм конца XIX века, несомненно, можно было назвать «новым». Он явился порождением

эры конкуренции между соперничавшими промышленно-капиталистическими национальными экономиками и рос благодаря стремлению сохранить и обезопасить рынки в период нестабильности в бизнесе (см. гл. 2); короче говоря, это была эра, когда «тарифы и экспансия стали общим требованием правящего класса»<sup>14\*</sup> Это явилось частью нового процесса отказа от политики свободной конкуренции (как среди частных предприятий, так и в государственном масштабе) и способствовало росту крупных корпораций и олигополий и усилению вмешательства государства в экономику. Все это происходило в период увеличения значения периферийной части мировой экономики. В 1900-е годы это явление стало столь же естественным, сколь неправдоподобным оно казалось в 1860-е годы. Однако для осуществления связи между капитализмом образца «после 1873 года» и экспансией в отсталые страны явление «социального империализма» вряд ли имело такое же значение, какое оно приобрело в области внутренней политики государств, стремившихся приспособиться к условиям ведения широкой предвыборной борьбы и агитации среди масс населения. Все попытки отделить объяснения сущности империализма от выявления особенностей развития капитализма в конце XIX века следует рассматривать лишь как упражнения в идеологической риторике, хотя нередко и поучительные, а иногда — не лишённые интереса.

## II

Остаются еще вопросы о влиянии западной (а с 1890-х годов — и японской) экспансии на остальной мир и о значении «имперских» особенностей империализма для стран-метрополий.

На первый вопрос ответить достаточно легко. Экономическое влияние империализма было, конечно, значительным, но самой важной особенностью этого влияния была его глубокая неравномерность, обусловленная крайней асимметричностью связей между метрополиями и зависимыми странами. Влияние метрополий было сильным и глубоким, даже если не осуществлялась прямая оккупация; обратное влияние зависимых стран было незначитель-



ным, во всяком случае — отнюдь не жизненно важным для метрополий. Например, Куба полностью зависела от цен на сахар и от желания США импортировать его, тогда как любая развитая страна, даже такая «малоразвитая», как Швеция, не испытала бы каких-то особых неудобств, если бы весь сахар карибских стран вдруг исчез с рынка, потому что ее импорт сахара был связан не только с этими странами. Практически весь импорт и экспорт любой из стран Центральной Африки был связан с небольшой группой западных метрополий, тогда как торговля последних с Африкой, Азией и Океанией в 1870—1914 гг. приобретала все более скромное значение, оставаясь для них второстепенным делом. Около 80 % европейской торговли (считая как импорт, так и экспорт) осуществлялось в XIX веке между самими развитыми странами; такое же положение было в области инвестиций европейских стран<sup>15</sup>. Капиталы, направляемые «за море», оседали главным образом в нескольких быстро развивавшихся странах, населенных, в основном, потомками переселенцев из Европы, т. е. в Канаде, в Австралии, Южной Африке, Аргентине и, конечно, в США. В этом смысле жизнь в век империализма выглядела совсем по-разному для жителей Германии и Франции и для населения Никарагуа и Малайи.

Среди стран-метрополий империализм имел наибольшее значение, конечно, для Британии, поскольку ее экономическое превосходство всегда зависело от ее особых связей с заморскими рынками и источниками профилирующих продуктов. Мнение о том, что после первой промышленной революции британские предприятия не встречали никакой конкуренции на рынках развивавшихся стран, является спорным (если не считать «золотые десятилетия» 1850—1870 годов). Поэтому сохранение привилегированного доступа на рынки неевропейских стран имело жизненно важное значение для экономики Британии<sup>16</sup>. В конце XIX века она добилась в этом деле очень больших успехов, расширяя раз за разом зону своего влияния путем военных захватов или путем фактического подчинения, так что под властью британской монархии оказалась четверть поверхности земного шара (которую в британских атласах гордо закрашивали красным цветом). Если же в состав империи включить так называемые «неофициальные

владения», состоявшие из зависимых стран, служивших экономическими придатками Британии, то она охватывала, пожалуй, треть земного шара, находившуюся под ее экономическим и культурным влиянием. Действительно, Британия поставляла, например, в Португалию даже свои почтовые ящики особой конструкции, а в Буэнос-Айресе строила универмаги типа своего «Харродс». Только к 1914 году значительная часть зоны ее владений (особенно в Латинской Америке) подверглась косвенному протекционизму других государств.

Однако не такая уж большая часть этих «операций по защите рынка» осуществлялась путем «новой имперской экспансии», если только не принимать во внимание крупную авантюру по захвату алмазов и золота Южной Африки. Благодаря ей очень быстро сколотили миллионные состояния «новые богачи» (в основном, германского происхождения) — разные Вернеры, Бейтсы, Экштейны, многие из которых так же «моментально» вошли в британское высшее общество, уже не принимавшее в дальнейшем в свой состав таких богачей в первом поколении. Она вызвала также крупнейший колониальный конфликт — войну в Южной Африке в 1899—1902 гг., сломившую сопротивление двух небольших местных республик белых поселенцев, занимавшихся сельским хозяйством.

Все же большая часть колониальных успехов Британии была обеспечена путем систематической эксплуатации ранее захваченных владений или благодаря использованию своего особого положения крупнейшего импортера и инвестора таких регионов, как Южная Америка. Кроме Индии, Египта и Южной Африки, объектами экономической деятельности Британии были, в основном, практически независимые страны типа «белых доминионов» или такие регионы, как США и Латинская Америка, где британское государство не могло (или не сумело) развернуть свои прямые действия. Например, оно не оказало эффективной поддержки своим инвесторам в Латинской Америке, несмотря на истошные крики о помощи со стороны Корпорации держателей зарубежных ценных бумаг (основанной во время Великой депрессии), столкнувшейся с известной в Америке практикой задержек платежей по долгам и расчетов девальвированной валютой; прави-

тельство Британии было просто не в состоянии что-либо сделать, чтобы справиться с латиноамериканцами. Особенно серьезным испытанием в этом отношении явилась Великая депрессия, вызвавшая (как и последующие мировые депрессии, например, 1970 и 1980 годов) крупнейший международный долговой кризис, поставивший банки метрополии в очень рискованное положение. Самое большее, что смогло сделать правительство — это помочь спасению крупного банка «Баринг» от неплатежеспособности во время кризиса 1890 года, когда этот банк опрометчиво увлекся сложными операциями по укреплению аргентинской финансовой системы. Если бы британское правительство поддержало инвесторов дипломатическим путем или военной силой (как оно все чаще делало после 1905 года), то были бы задеты интересы иностранных предприятий, поддерживаемых правительствами развитых стран, но не правительствами зависимых стран\*.

Как бы то ни было, но если взять картину в целом, т. е. учесть и хорошие и плохие годы, то британские капиталисты неплохо вели дела во всей своей «неофициальной» империи. Почти половина всех британских долгосрочных капиталовложений, оформленных в виде государственных ценных бумаг, размещалась в 1914 году в Канаде, в Австралии и в Латинской Америке. Более 50% всех британских накоплений после 1900 года инвестировались за границей.

Конечно, Британия получала свою долю и в регионах новой колонизации, где, благодаря своей силе и опыту, она захватила более лакомые куски, чем любой из ее соперников. Так, если Франция владела большей частью Западной Африки, то Британия имела там 4 колонии, содержавшие районы с наибольшей плотностью населения и располагавшие наибольшими производ-

---

\* Были и примеры «дипломатии канонерок», применявшейся для поддержки экономических интересов: в Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Мексике и на Гаити; но они не меняли общей картины. Конечно, британское правительство и капиталисты, не колеблясь, оказывали поддержку нужной стороне в случаях конфликтов между государствами и партиями, дружественно настроенными по отношению к британским экономическим интересам, и их врагами. Так, они поддерживали Чили в войне против Перу в 1879—1882 гг., а затем выступили в Чили против президента Бальмаседа в 1891 г. В обоих случаях причиной была заинтересованность в месторождениях селитры.

ственными торговыми возможностями<sup>17\*</sup> Однако Британия заботилась не столько об экспансии, сколько о защите от соперников тех территорий, где господствовали британские капиталисты и британская торговля.

Были ли прибыли других стран пропорциональны их колониальным захватам? Точно ответить невозможно, так как официальная колонизация составляла лишь одну сторону глобальной экономической экспансии и конкуренции, причем для некоторых стран (Германии и США) — не самую важную из всех. Более того, как мы уже видели, ни одна страна, кроме Британии (и, возможно, Нидерландов), не имела жизненно важных связей с «непромышленным» миром. Достаточно уверенно можно сказать лишь следующее. Первое: стремление к колониальным захватам было тем сильнее, чем менее динамичной была экономика страны-метрополии, являясь, до некоторой степени, потенциальной компенсацией за недостаток экономической и политической мощи по сравнению с соперниками, или, как в случае с Францией — за демографическую и военную неполноценность. Второе: всегда существовали особые экономические группы (в первую очередь, те, которые вели заморскую торговлю и занимались промышленностью, зависевшей от поставок заморского сырья), активно способствовавшие колониальной экспансии, которую они, конечно, оправдывали перспективами национальной выгоды. Третье: хотя некоторые из этих групп неплохо обогащались за счет экспансии (так, компания «Франсез де л'Африк оксиденталь» выплатила в 1913 г. 26 % дивидендов)<sup>18\*</sup>, большинство новых колоний привлекало мало капиталов, и их экономические достижения были разочаровывающими. (Франции даже не удалось объединить свои новые колонии в общей системе протекционизма, хотя в 1913 г. 53 % торгового оборота Французской империи приходилось на метрополию. Не сумев поломать установившиеся ранее экономические связи этих стран с другими регионами и метрополиями, Франция была вынуждена покупать значительную часть необходимых колониальных товаров — каучука, кожи, шкур, тропической древесины — через Гамбург, Антверпен и Ливерпуль.)

Короче говоря, новый колониализм был побочным продуктом политико-экономического соперничества конкурировавших национальных экономик, усиленного протекционизмом. Однако

поскольку торговля метрополий с колониями почти неизменно росла, составляя все большую часть их общего торгового оборота, то протекционизм не имел большого успеха.

Век империй был не только политико-экономическим, но и культурным явлением. Завоевание земного шара «развитым» меньшинством преобразовало идеи, идеалы и художественные образы коренного населения, изменившиеся под действием силы и новых государственных учреждений, под влиянием нового образа жизни и новых примеров поведения в быту. В зависимых странах все это мало затронуло население, кроме местных элит, хотя не стоит забывать, что в некоторых регионах (например, в районах Африки к югу от Сахары) именно империализм и связанное с ним христианское миссионерство создали возможности для выдвижения новых общественных слоев, получавших образование западного образца. В Африке до сих пор сохранилось деление государств на «англоговорящие» и «франкоговорящие», в соответствии с границами бывших британских и французских владений. (Германские колонии после 1918 года были поделены между Англией и Францией.) Не считая Африки и Океании, где христианские миссии иногда проводили массовое обращение в западную религию, основные массы населения колоний в общем мало отступали от привычного образа жизни, если это представлялось возможным. И, к досаде наиболее непреклонных миссионеров, коренное население восприняло не столько саму новую веру, привезенную с Запада, сколько некоторые ее элементы, отвечавшие их собственным верованиям, общественному устройству и понятиям. Подобно тому, как приобрели новые черты спортивные игры, завезенные на острова Тихого океана энтузиастами из британской администрации (которых нередко выбирали среди самых крепких и мускулистых представителей среднего класса), так и религиозные обряды в колониях часто выглядели совершенно необычно, как игра в крикет в исполнении жителей островов Самоа. И так было даже в тех местах, где верующие провозглашали свою приверженность ортодоксальным правилам христианского вероучения. Но, наряду с этим, было немало мест, где местное население желало создать свою разновидность христианской веры; особенно это наблюдалось в Южной Африке, где проводились действительно массовые обращения в христианство;

там образовалось «Эфиопское движение», которое отделилось от миссионерства еще в 1892 г. чтобы основать новую разновидность христианства, больше ориентированную на запросы темнокожего населения.

Что касается элитных слоев обществ зависимых стран, как уже существовавших, так и нарождавшихся, то им империализм принес «вестернизацию» образа жизни, которая, впрочем, началась задолго до его прихода. Дело в том, что правительства и правящие классы всех стран, оказавшихся перед угрозой завоевания или утраты независимости, ясно поняли за несколько десятилетий, что им придется либо принять «вестернизацию», либо уйти с политической сцены (см. «Век Капитала», гл. 7, 8 и 11). В эру империализма эти элиты руководствовались устаревшими идеологиями, созданными в период между Французской революцией и серединой XIX века, изложенными в стиле позитивизма Огюста Конта (1798—1857), модернизированная доктрина которого вдохновляла правительства Бразилии, Мексики и деятелей первых лет Турецкой революции (см. гл. 12). Элиты, сопротивляясь наступлению Запада, постепенно воспринимали его влияние, даже в тех случаях, когда они не принимали «вестернизацию» в целом, сохраняя свою религию, мораль, идеологию или политический прагматизм. Так, Махатма Ганди, признанный святым, носивший самую простую национальную одежду и защищавший национальные ремесла (вопреки наступлению индустриализации), не только получал деньги и поддержку от владельцев механизированных ткацких фабрик в Ахмадабаде, но и сам был юристом, получившим образование на Западе и явно воспринявшим западную идеологию. (Говорят, одна из его покровительниц однажды воскликнула: «Ах, если бы почтенный учитель знал, как дорого обходится его содержание в бедности!») Невозможно разобраться в его личности, если видеть в нем только традиционалиста, преданного идеалам индуизма.

Ганди представлял собой тот пример, который ярко иллюстрировал мощное воздействие эры империализма, свойственное только этому времени. Он родился в семье, относившейся к достаточно скромной касте торговцев и ростовщиков, не входившей в высший класс общества, который воспринял влияние Запада и осуществлял административное управление Индией, находившей-

ся под господством Британии; тем не менее он получил профессиональное и политическое образование в Англии. В конце 1880-х годов его пример оказался столь вдохновляющим для честолюбивых молодых людей его страны, что он начал писать книгу о жизни в Англии, ставшую руководством для будущих студентов из небогатых семей, подобных ему самому в молодости. Книга была написана на превосходном английском языке и содержала полный набор советов и пояснений, начиная от описания поездки из Индии в Лондон на пароходе и поисков квартиры по прибытии и кончая способами соблюдения диеты набожного индустра в условиях Англии, а также возможностями приспособления к странному обычаю европейцев бриться дома, а не ходить для этого к парикмахеру<sup>19\*</sup>. Ганди явно не считал себя ни независимым последователем, ни независимым противником всего британского. Находясь в метрополии, он вел себя так, как поступали потом многие пионеры борьбы за свободу колоний: он нашел в западном обществе круг людей, близких ему идеологически (в его случае — вегетарианцев), и стал общаться с ними, надеясь встретить благоприятное отношение и по другим вопросам.

Ганди разработал свои собственные способы мобилизации масс традиционалистов для достижения нетрадиционных целей с помощью пассивного сопротивления в обстановке, созданной «новым империализмом». Как можно легко понять, его учение представляло собой сплав элементов западной и восточной идеологии, поскольку он не скрывал своих интеллектуальных связей с работами Джона Раскина и Льва Толстого. (Заметим, что до 1880-х годов подобное перенесение на почву индийской политики новых идей из России было немыслимым, но к началу XX века это стало обычным делом для индийских радикалов, как и для их китайских и японских единомышленников.) В то время Южная Африка, ставшая страной бурного роста добычи золота и алмазов, привлекла массу небогатых эмигрантов из Индии, создавших там свою многочисленную общину, а затем, благодаря расовой дискриминации, создалась довольно редкая ситуация, когда индийцы, не принадлежавшие к элитным классам, обрели готовность к современной политической мобилизации. Ганди приобрел свой политический опыт и осознал свои стимулы к ведению политической борьбы именно в Южной Африке, где он воз-

главил борьбу индийцев за политические права. Вряд ли он смог бы это осуществить в самой Индии, куда он потом возвратился и где стал, после начала войны в 1914 году, ключевой фигурой индийского национально-освободительного движения.

Итак, век империй создал как условия для формирования лидеров антиимпериалистической борьбы, так и обстановку, в которой их идеи встретили сочувствие и понимание в обществе; хотя, конечно, было бы неверно представлять историю стран и народов как результат преобладающего влияния западных метрополий и рассматривать ее лишь с точки зрения сопротивления этому влиянию (см. гл. 12). Это было бы анахронизмом, так как (за некоторыми исключениями, рассмотренными ниже) эра мощных антиимпериалистических движений началась в большинстве регионов не ранее начала первой мировой войны и Русской революции; это было бы неверным и по существу, так как тем самым лозунги современного национализма: независимость, самоопределение наций, образование суверенных государств и т. п. (см. гл. 6) — были бы перенесены в иное историческое время, когда их еще не было в действительности, да и не могло быть. Фактически именно представители национальных элит, воспринявших вестернизацию, впервые познакомились с этими идеями во время своих поездок на Запад, или в учебных заведениях западного типа, так как происхождение этих идей было именно таким. Молодые индийские студенты, возвращавшиеся из Британии, могли привезти с собой лозунги Мадзини и Гарибальди, но лишь очень немногие жители Пенджаба, не говоря о таких странах, как Судан, имели хоть малейшее понятие о том, что они означают.

Таким образом, самое сильное культурное влияние империализма осуществлялось через образование западного типа, получаемое различными меньшинствами, т. е. теми немногими счастливыми, которые становились грамотными и открывали для себя (путем обращения в христианство, либо без этого) высокие цели и преимущества карьеры «белого воротничка»: священника, учителя, чиновника или работника офиса. В некоторых странах сюда входили также солдаты и полицейские, служившие новым властям, носившие новую форму и воспринявшие их взгляды на события, обстановку и местные дела. Именно в этой среде и за-



родились немногочисленные группы будущих «подвижников» и «потрясателей основ», благодаря которым эра колониализма, достаточно короткая по меркам человеческой жизни, имела столь долговременные последствия. Как ни удивительно, но на большей части Африки полный цикл колониализма, от оккупации до образования независимого государства, совершился на протяжении жизни одного человека, например, сэра Уинстона Черчилля (1874—1965).

Каким же было обратное влияние зависимых стран на метрополии? Уже начиная с XVI века, побочным продуктом европейской экспансии стало явление «экзотизма», хотя многие философы эпохи Просвещения были склонны относиться к странам, находящимся за пределами Европы и поселений европейцев, скорее как к своеобразному «барометру нравственности» европейской цивилизации. Там, где эти народы восприняли цивилизацию, на их примере выявились недостатки государственного и общественного устройства Запада (об этом говорил Монтескье в своих «Персидских письмах»); там же, где цивилизация не привилась, местные народы оставались, в представлении европейцев, своего рода «благородными дикарями», простота и естественность которых подчеркивали извращенность цивилизованного общества.

В XIX веке сложилась новая ситуация, когда на неевропейцев и на их государства стали все больше смотреть как на второстепенные, неуместные, слабые и отстающие, даже недоразвитые создания. Их стали считать подходящим объектом для завоевания или, по крайней мере, для перевоспитания и преобразования в духе ценностей единственной «настоящей» цивилизации, представителями которой выступали миссионеры, торговцы, доставлявшие «огненную воду», и военные, снабженные огнестрельным оружием. В такой обстановке традиционные ценности незападных обществ становились ненужными и обременительными для их выживания в век, когда принимались во внимание только сила и военная техника. Так, утонченные обычаи Пекина, столицы китайских императоров, не спасли его от западных варваров, не раз сжигавших и грабивших знаменитый Летний дворец. Так, высокая и элегантная культура пришедшей в упадок столицы Великих Моголов, красочно описанной в книге Сатъяджита Рау «Иг-

роки в шахматы», не сдержала наступление британцев. Средний европеец относился ко всем этим народам с презрением. Единственными чужеземцами, которых европейцы принимали на службу, были представители воинственных народностей, использовавшихся для формирования колониальных армий: сикхи, гурки, берберские горцы, афганцы, бедуины. Лишь Оттоманская империя пользовалась некоторым уважением (высказывавшимся сквозь зубы), потому что, несмотря на упадок, она располагала сухопутной армией, способной противостоять европейским войскам. К Японии стали относиться как к равной, когда она начала выигрывать войны.

Тем не менее плотность глобальных коммуникаций и доступность зарубежных земель способствовали, прямо или косвенно, усилению как противостояния, так и взаимопроникновения западных и экзотических стран. Людей, которые знали и понимали оба мира, было немного, хотя в эру империализма их число увеличилось за счет писателей, намеренно посвятивших себя посредничеству между цивилизациями; среди них были интеллектуалы и писатели, являвшиеся (по профессии или по призванию) моряками (как Пьер Лоти и Джозеф Конрад<sup>14</sup> — величайший из них); солдатами, чиновниками администрации (как Луи Массиньон, специалист по Востоку); или колониальными журналистами (как Редьярд Киплинг). Но еще большую долю экзотики доставляла развлекательная литература, вроде чрезвычайно популярных романов для юношества, написанных Карлом Мэем (1842—1912), вымышленный герой которых, родившийся в Германии, прошел весь Дикий Запад и Исламский Восток, совершил путешествия в Африку и в Латинскую Америку; сюда же относились литературные триллеры, рисовавшие похождения загадочных и зловещих негодяев, вроде доктора Фу Манчжу, описанного Саксом Ромером; а также рассказы для школьников, печатавшиеся в популярных британских журналах, героем которых был богатый индус, изрекавший общеизвестные истины на причудливом и напыщенном английском языке. Экзотика проникла и в повседневную культурную жизнь, например, в виде известной постановки о похождениях Буффало Билла на Диком Западе, с участием ковбоев и индейцев, покорившей Европу в 1837 году; или в виде искусно построенных «колониальных дере-

вень», демонстрировавшихся на крупных международных выставках. Эти мимолетные образы далеких стран не были документально точными, каким бы ни представлялось их назначение; но они несли определенную идеологическую нагрузку, состоявшую в укреплении чувства превосходства «цивилизованных» стран над «первобытными». Все это служило империализму, но лишь постольку, поскольку было связано с проникновением западного мира на Восток (как это показано в произведениях Джозефа Конрада), благодаря которому мир экзотики проникал в повседневность западного мира. Например, разговорный язык того времени, усваивавший разные жаргонные словечки, родившиеся в среде колониальных войск, тоже отразил презрительный «имперский» взгляд на аборигенов. Так, итальянские рабочие называли штрейкбрехеров «крумини», по имени одного из племен Северной Африки; а итальянские политики именовали избирателей южных областей, послушно и организованно шавших на выборы, чтобы проголосовать по указанию местных патронов, словом «аскари», обозначавшим колониальные войска, сформированные из местного населения. Словом «кастик» (вождь индейцев во владениях Испанской империи) называли политических воротил; словом «каид» (местный князек в Северной Африке) — главарей преступных шаяк во Франции.

Экзотика принесла и немало полезного. Среди администраторов и военных были такие, которые стремились осмыслить новую обстановку (бизнесмены как-то меньше интересовались такими материями), наблюдали различия между обществом своей страны и той, которой они управляли. Благодаря таким наблюдениям было написано немало интересных работ, особенно об исчезнувших империях индейцев, а также теоретических исследований, обогативших западные науки об обществе. Многие из работ были просто побочным продуктом колониального правления или же служили его укреплению, причем большая часть их основывалась на твердом убеждении в превосходстве западных знаний над всякими другими (за исключением, пожалуй, области религии, где превосходство, скажем, методистской церкви над буддизмом было не слишком очевидным для незаинтересованного наблюдателя). Кстати говоря, империализм вызвал на Западе заметный рост интереса (а иногда — и желания подра-

жать) к восточным формам духовной жизни (или к подделкам под них)<sup>20\*</sup> Все же, несмотря на последующую критику колониализма, всю эту часть западной литературы нельзя просто отложить в сторону, как пример высокомерного пренебрежения по отношению к неевропейским культурам. По крайней мере, в лучших из этих работ местная жизнь рассматривалась с полной серьезностью и уважением, а также с желанием сделать полезные выводы. В области искусства, особенно изобразительного, западный «авангард» относился к незападным культурам как к равным и даже вдохновлялся ими в то время. Причем это относилось к искусству не только изысканно сложных экзотических цивилизаций (как, например, японской, влияние которой на французских художников было заметным), но и «первобытных», особенно существовавших в Африке и в Океании. Конечно, главная привлекательность этих работ заключалась именно в их «примитивизме», но нельзя отрицать того, что «авангардисты» начала XX века научили европейцев относиться к ним именно как к искусству, и нередко — как к большому искусству, во всем его великолепии, независимо от его происхождения.

И, наконец, еще одна сторона империализма, которую необходимо отметить: его влияние на правящий и средний классы самих метрополий. Империализм, в определенном смысле, усилил и подчеркнул триумф этих классов и возглавлявшихся ими обществ и возвеличил их образ в глазах других народов в беспрецедентной степени. Горстка государств, расположенных, в основном, на северо-западе Европы, главенствовала на всем земном шаре. Некоторые империалисты, к негодованию латинских народов и славян, даже подчеркивали особые заслуги в осуществлении колониальных захватов наций тевтонского и англо-саксонского происхождения, которые, несмотря на взаимное соперничество, испытывали с тех пор уважение друг к другу, проявившееся, например, в ворчливой благожелательности Гитлера по отношению к Британии. Немногочисленный слой людей из высшего и среднего класса этих стран — офицеры, чиновники, бизнесмены, инженеры — эффективно осуществлял это господство. В 1890-е годы немногим более 6000 британских чиновников управляли почти 300 млн индийцев с помощью армии, в которой служили примерно 70 000 европейцев, рядовые солдаты из Евро-

пы (большинство которых составляли ирландцы, давно пополнявшие контингент завоевателей колоний), как и более многочисленные военнослужащие из местных, были наемниками, выполнявшими приказы своих командиров. Этот случай, хотя и крайний, отнюдь не был исключением. Разве его нельзя было считать доказательством полного превосходства?

Таким образом, количество людей, непосредственно управлявших империей, было сравнительно небольшим, но их символическое значение было огромным. Когда писатель Редьярд Киплинг, воспевающий в своих произведениях Индийскую империю, умер от воспаления легких в 1899 г., то скорбь выражали не только англичане и американцы (Киплинг как раз закончил стихотворение «Бремя белого человека», посвященное роли США на Филиппинах), но даже император Германии прислал телеграмму соболезнования<sup>21\*</sup>

Однако имперский триумф вызвал к жизни новые проблемы и принес с собой новые неясности. Проблемы были связаны с растущей неразрешимостью противоречий между методами управления, которые применяли господствующие классы метрополий по отношению к империям и по отношению к своим собственным народам. Внутри метрополий (как мы увидим далее) преобладала (или неизбежно должна была взять верх) политика укрепления демократии и выборной системы. Зато в колониальных империях правила автократия, основанная на физическом принуждении и подчинении, и ее безусловное господство выглядело вполне законным, так как нигде не встречало вызова. Колониальные наместники, обладавшие полной единоличной властью, управляли, с помощью солдат, обширными территориями размером с целое королевство, и эти порядки утвердились на многих континентах; а в это время на родине, в метрополиях, волновались непросвещенные и угнетенные массы трудящихся. Разве это не было уроком — жестоким уроком в духе Ницше, который непременно нужно было усвоить? (См. работу Фридриха Ницше «Воля к власти».)

Империализм принес с собой и новые сомнения. Прежде всего он противопоставил незначительное белое меньшинство массам черных, смуглых, желтых людей — тех самых «желтых дьяволов», против которых призывал заключить союз император

Германии Вильгельм II, чтобы защитить Запад; но при этом большая часть самой белой расы была обречена на положение людей «второго сорта», согласно неумолимым требованиям новой науки — «евгеники» (см. гл. 10)<sup>22\*</sup> При таком положении вещей: могли ли долго существовать мировые империи, так легко утвердившие свое господство и с такой легкостью управлявшие народами, благодаря преданности немногих и пассивности большинства, и все же — не имевшие широкой опоры для своего правления?

Киплинг, величайший и, наверное, единственный поэт империализма, приветствовал великое и славное событие в жизни Британской империи — «бриллиантовый» юбилей королевы Виктории в 1897 году — пророческими стихами, напоминавшими о закате империй прошлого:

В туманной дали растаяли огни маяков,  
Пропали огни костров, горевших на берегу и на холмах.  
Вот так и наши шумные торжества  
Уйдут в Вечность, как ушли Ниневия и Тир!  
Великий Судья, наблюдающий за жизнью народов,  
Смилуйся над нами, дай нам вечное забвение!<sup>23\*</sup>

Упоминая «шумные торжества», поэт имел в виду закладку и строительство громадной новой столицы Индии — города Нью-Дели. Наверное, Клемансо был не единственным скептиком, предвидевшим, что это будут последние руины в длинной череде разрушенных столиц исчезнувших империй. Разве не было господство над миром столь же шатким, как господство над массами населения в своей собственной стране?

Неопределенность была двоякой. Если власть империи (и господство правящих классов) над своими подданными казалась уязвимой для действий с их стороны (хотя непосредственной угрозы как будто не было), то еще более уязвимой и непрочной казалась сама воля к господству, стойкость в борьбе за выживание, разрушаемая внутренней неуверенностью. Похоже было на то, что именно богатство и роскошь, достигнутые благодаря мощи и предприимчивости, стали причиной слабости мускулов, которые прежде укреплялись под действием постоянных усилий. Ведь раньше уже бывало, и не раз, что паразитизм в центре империи приводил в конце концов к торжеству покоренных варваров.

Нигде подобные вопросы не звучали с такой роковой тревогой, как в этой величайшей из всех империй, превзошедшей размерами и славой империи прошлого, и в то же время — самой уязвимой и оказавшейся на краю упадка. Даже энергичные и трудолюбивые германцы понимали, что империализм идет рука об руку с «государством рантье», которое не имеет других перспектив, кроме саморазрушения. Вот что говорил, например, Дж. А. Хобсон в связи с подобными опасениями: «Если бы произошел раздел Китая, то большая часть Западной Европы приняла бы вид и характер, подобные тем, которые имеют Южная Англия, Ривьера и обжитые, освоенные туристами области Италии и Швейцарии, где находится множество поместий богатых аристократов, живущих на дивиденды и пенсии, получаемые с Дальнего Востока; население этих областей составляют слуги и обслуживающий персонал, торговцы и работники транспорта; рабочие заняты, в основном, конечной обработкой скоропортящихся продуктов, так как никакой промышленности нет; основные продукты питания и прочие товары поставляются из Африки и Азии»<sup>24\*</sup>

Так «прекрасная эпоха» буржуазии разрушила сама себя. Очаровательные, безобидные «элои», описанные в фантастической повести Герберта Уэллса, проводившие жизнь в играх на солнце, существовали по милости «морлоков», жителей темных подземелий, от которых были совершенно беззащитны<sup>25\*</sup>

«Европа, — писал германский экономист Шульце-Гаверниц, — переложила бремя тяжелого физического труда, сельскохозяйственных и горных работ и утомительного труда в промышленности на небелые расы, а себе оставила роль рантье, живущего на прибыли; тем самым она открыла путь к экономическому, а затем — и к политическому освобождению и равенству небелых народов»<sup>26\*</sup>

Таковы были мрачные видения, тревожившие сладкий сон «прекрасной эпохи». Империю преследовали кошмары, вызванные страхом перед демократией.

# ПОЛИТИКА ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

*Все те, кто, благодаря своему богатству, образованию, уму или хитрости, имеют склонность возглавлять сообщество людей и получают возможность делать это — иными словами, все клики правящего класса, — должны склониться перед властью всеобщего избирательного права, как только оно становится частью государственного устройства; хотя и могут, если того требуют обстоятельства, использовать подкуп и обманы.*

Гаэтано Моска, 1895 г.<sup>1\*</sup>

*Демократия все еще проходит испытательный срок, но пока не опорочила себя; верно и то, что она еще не показала всех своих возможностей, и тому есть две причины: одна — более или менее постоянная по своему действию, а другая — более преходящего характера. Прежде всего: сколько бы голосов или мест ни получили богатые — их власть все равно будет всегда несоизмеримо больше, чем обеспечивает полученное представительство. И во-вторых: плохая организация классов, лишь недавно получивших право голоса, препятствует решительному изменению установившегося баланса сил.*

Джон Мэйнард Кейнс, 1904 г.<sup>2\*</sup>

*Важно то, что ни одно из современных светских государств не отказалось от установления национальных праздников, дающих возможность проводить массовые собрания и мероприятия.*

Американский социологический журнал, 1896 г.<sup>3\*</sup>

---

## I

Исторический период, рассмотренный в этой книге, начался со вспышки истерии, охватившей правителей Европы и перепуганные средние классы, вызванной недолгим существованием Парижской Коммуны в 1871 г., установление которой стало причиной столь массовой гибели парижан, которая при обычных условиях казалась немыслимой в цивилизованном государстве де-



вятнадцатого века. Число погибших было значительным даже по более варварским меркам двадцатого века (см. «Век Капитала», гл. 9). Эта короткая, яростная и, казалось бы, несвойственная своему времени вспышка слепого террора, разразившегося в респектабельном обществе, отразила фундаментальную политическую проблему буржуазного общества, а именно: необходимость его демократизации.

Демократия, как сказал когда-то легендарный Аристотель, есть власть народных масс, состоящих, в основном, из бедных. Интересы бедных и богатых, привилегированных и непривилегированных людей, конечно, не одинаковы; если даже предположить, что они иногда совпадают (или могут совпадать), все равно — отношение народных масс к общественным делам вряд ли будет таким же (в смысле точки зрения и предъявляемых условий), как отношение буржуазии и аристократов, которых писатели викторианской Британии именовали «классами», полагая, что только им присущи политические действия классового характера. В этом и состояла главная дилемма либерализма XIX века, создавшего конституцию и суверенный выборный парламент, но делавшего все возможное, чтобы действовать в обход этих институтов, лишая права голосовать и избираться большую часть мужского населения страны, не говоря уже о женщинах (см. «Век Капитала», гл. 6). До самого начала рассмотренного здесь исторического периода в основе либерализма неизменно оставалось различие между, так сказать, «юридическим государством» и «реальным государством» (по терминологии одного французского любителя логики, жившего в эпоху Луи Филиппа). Как только «реальное государство» начало проникать в пределы «юридического» или «политического» государства, защищенные укреплениями в виде имущественного и образовательного ценза и существовавших в большинстве стран аристократических привилегий (вроде Палаты Лордов британского парламента, в которую попадали по наследству), — так общественный строй оказался под угрозой. Действительно, что стало бы с политикой, если бы массы людей, невежественных и грубых, неспособных понять элегантную и прагматичную логику свободного рынка, обрисованную Адамом Смитом, вдруг взяли бы в свои руки политичес-

кую судьбу страны? Скорее всего, они вступили бы на путь, ведущий к социальной революции, прообраз которой, ненадолго возникший в 1871 г., так напугал уважаемых граждан. Возможно, революция и не приняла бы старую форму народного мятежа, но кто знал, к каким последствиям могло бы привести наделение правом голоса не только богатых и образованных? Не привело ли бы это к коммунизму, как опасался позднее, в 1866 году, лорд Солсбери?

Однако после 1870 года стало ясно, что демократизации государственной политики не избежать. Массы были намерены вступить на политическую арену, не считаясь с тем, нравится это их правителям или нет. И это действительно произошло. Избирательная система, основанная на широком предоставлении права голоса и даже (теоретически) на всеобщем избирательном праве (для мужского населения), появилась в 1870-х годах во Франции, в Германии (по крайней мере, при выборах во Всегерманский парламент), в Швейцарии и в Дании. В Британии, в результате введения «Законов о реформе» в 1867 и в 1883 гг.<sup>15</sup>, электорат вырос почти в 4 раза, т. е. количество избирателей в возрасте более XX лет увеличилось с 8% до 29%. В Бельгии в 1894 году произошла реформа избирательного права, после проведения всеобщей забастовки с этим требованием; в результате количество избирателей выросло с 3,9% до 37,3 процента от всего взрослого населения. В Норвегии число избирателей в 1898 году удвоилось, с 16,6% до 34,8%. В Финляндии после революции 1905 года произошла беспрецедентная демократизация избирательного права: 76% взрослого населения получили право голоса. В Швеции в 1908 году электорат удвоился, так как там решили не отставать от Норвегии. В Австрии в 1907 году было введено всеобщее избирательное право (только в австрийской части империи). В Италии всеобщее избирательное право было введено в 1913 г. За пределами Европы США, Австралия и Новая Зеландия были демократическими странами. В 1912 г. такой же стала Аргентина. Если оценивать все по более поздним стандартам, то демократизация была пока неполной, так как электорат составлял лишь 30—40% взрослого населения, которое могло бы участвовать в выборах при условии введения всеобщего избирательного права; тем не менее

даже требование избирательного права для женщин перестало быть просто утопическим лозунгом. В 1890-е годы были приняты соответствующие законы в США (в штате Вайоминг), в Новой Зеландии и в Южной Австралии, т. е. на окраинах мира белых поселенцев, а в 1905—1913 гг. это произошло в демократической Финляндии и в Норвегии.

Все эти преобразования отнюдь не вызывали энтузиазма правительств, занимавшихся их проведением, даже если они совершались на основе идеологических убеждений в необходимости народного представительства. Читатели, вероятно, уже заметили, как поздно ввели широкие избирательные права даже такие страны, которые с давних пор считались глубоко демократическими, например, скандинавские страны; не говоря уже о Нидерландах, где, в отличие от Бельгии, систематическая демократизация встречала сопротивление вплоть до 1918 года (хотя электорат рос примерно такими же темпами). Политики довольствовались профилактическим расширением избирательного права до тех пор, пока они, а не крайние левые, могли контролировать ситуацию. Так было во Франции и в Британии. Среди консерваторов находились циники, подобные Бисмарку, не сомневавшиеся в традиционной «лояльности» (а на самом деле — в невежестве и глупости, как откровенно выражались либералы) массового электората, считая, что всеобщее избирательное право усилит правых, а не левых. Но даже Бисмарк предпочел не рисковать в Пруссии (которая доминировала в Германской империи), где он поддержал введение избирательного права только для трех классов, что обеспечивало прочное преимущество для правых. Такая предосторожность оказалась мудрой, так как массовый электорат вышел из-под контроля сверху. То в одной стране, то в другой политики отступали перед давлением и волнениями народных масс или перед возможностью внутренних политических конфликтов. В обоих случаях они страшились последствий того, что Дизраэли называл «прыжком в темноту», которые могли оказаться непредсказуемыми. Конечно, социалистическая агитация 1890-х годов, а также прямое и косвенное влияние первой русской революции ускорили демократизацию. Как бы то ни было, но в период 1830—1914 годов большинство западных стран было

вынуждено смириться с неизбежностью и принять демократизацию, каким бы путем она ни развивалась. Откладывать и дальше демократические преобразования было уже невозможно. Теперь проблема заключалась уже в том, чтобы уметь манипулировать ими.

И такая манипуляция, даже в самом примитивном виде, осуществлялась пока достаточно легко. Например, можно было наложить строгие ограничения на политическую деятельность народных собраний, избранных путем применения всеобщего избирательного права. Это был способ Бисмарка, по которому конституционные права германского парламента (Рейхстага) были сведены к минимуму. Другой способ состоял в том, что вторая палата парламента, составленная по праву наследования (как в Великобритании), или другие подобные органы тормозили работу народного собрания, избранного демократическим путем. Либо сохранялись, хотя бы частично, имущественные ограничения избирательного права, усиленные к тому же неравноправием по признаку образования: например, в Бельгии, в Италии и в Нидерландах давали дополнительные голоса гражданам с высшим образованием; в Британии оставляли места для выпускников университетов. В Японии парламентаризм с подобными же ограничениями был введен в 1890-е годы. Такое «маскарадное» избирательное право (как называли его в Британии) подкреплялось еще одним полезным изобретением: изменением границ избирательных округов (которые в Австрии называли «избирательной геометрией»), позволявшим либо увеличить, либо свести до минимума возможности определенных партий. Боязливые или просто осторожные избиратели подвергались давлению путем проведения открытого голосования, чтобы за процессом могли наблюдать могущественные лендлорды или другие хозяева: например, в Дании открытое голосование сохранялось до 1901 г.; в Пруссии — до 1913 года; в Венгрии — до 1930-х годов. Можно было повлиять на результаты выборов путем создания предвыборных блоков (этот способ любили применять американские политические боссы); в Европе таким мастером политики по принципу «чего изволите» оказался итальянский либерал Джованни Джолитти. Минимальный возраст

для получения права голоса тоже открывал возможности для манипуляций: в демократической Швейцарии он составлял 20 лет, а в Дании — 30 лет; нередко его повышали при расширении избирательного права по другим критериям. Наконец, всегда оставалась возможность для обыкновенного саботажа: например, путем усложнения процесса регистрации избирателей. По оценкам исследователей, в Британии в 1914 году в результате подобных ухищрений были фактически лишены права голоса примерно 50% всех рабочих.

Все же подобные «тормозные устройства» могли только замедлить движение «политического экспресса» к демократии, но они были не в состоянии его остановить. Западный мир, в который после 1905 года вошла даже царская Россия, явно продвигался к политической системе, основанной на все большем расширении электората, в котором доминировали простые люди.

Логическим следствием такой системы стала политическая мобилизация масс — для проведения выборов и с помощью выборов, с целью оказания давления на правительства своих государств. Это повлекло за собой организацию массовых движений, массовых партий и массовой пропаганды, а также развитие средств массовой информации, представленных на этом этапе так называемой «желтой прессой»; возникли и другие новые явления, создавшие опять-таки новые и серьезные проблемы для правительств и правящих классов. К сожалению для историков, в Европе эти проблемы перестали быть предметом открытых политических дискуссий, поскольку растущая демократизация сделала невозможным их откровенное публичное обсуждение. Никакой кандидат не мог сказать своим избирателям, что он считает их слишком глупыми и невежественными для того, чтобы как следует разбираться в политике, а также что их требования столь абсурдны, что могут быть опасны для будущего страны. Ни один государственный деятель не мог раскрыть свои намерения в окружении репортеров, доносивших его слова до самой отдаленной таверны. Политикам приходилось обращаться к массовому электорату; даже разговаривать с массами, общаясь с ними непосредственно или с помощью популярной прессы (включая газеты своих противников). Если вспомнить Бисмарка, то он, наверное, ни-

когда не выступал ни перед кем, кроме избранной публики. Гладстон в 1879 г. впервые в Британии и, наверное, в Европе, использовал приемы ведения массовой избирательной кампании. Британский «Закон о реформе» 1867 года обсуждался с такой открытостью и чувством реализма, каких уже больше никогда не встретишь в дискуссиях о значении демократии, разве что в высказываниях политических неудачников. Когда же люди, причастные к государственным делам, начали укрываться за риторическими фразами, серьезные политические дискуссии стали уделом интеллектуалов и образованного меньшинства, читавшего их труды. Эра демократизации оказалась золотым веком для новой политической социологии, которую создали: Дюркгейм и Сорель, Остроградский и Уэббс, а также Моска, Парето, Роберт Михельс и Макс Вебер (см. гл. II)<sup>4\*</sup>

Когда люди, облеченные властью, действительно хотели что-либо сказать, им приходилось делать это в сумраке «коридоров власти», в клубах, на частных приемах, на охоте или на отдыхе за городом в выходные дни, где люди элиты встречались в совсем иной обстановке, чем та, в которой происходили парламентские стычки и дебаты или публичные митинги. Таким образом, век демократизации перешел в эру публичного политического лицемерия и двуличности и стал объектом политической сатиры и карикатур, создававшихся такими авторами, как м-р Дули, и печатавшихся в таких журналах, как немецкий «Симплициссимус», французский «Асьетэ о бер» или «Факел» Карла Крауса, издававшийся в Вене. Ни один мыслящий наблюдатель не мог не обратить внимания на пропасть, возникшую между политической реальностью и речами, которые произносились для одурачивания публики, о чем Хилари Беллок высказался так в своей эпиграмме по поводу великой победы либералов, одержанной на выборах 1906 года:

Вы, темные приспешники Короны Британской,  
Что правите в пороке, средь карт и шампанского!  
Прочь, демократии грядет авангард,  
Чтоб править средь роскоши, шампанского и карт!<sup>5\*</sup>

Что же представляли собой массы, мобилизованные для политических действий? Прежде всего, это были классы и слои

общества, находившиеся до этого вне политической системы, причем некоторые из них входили в довольно разнородные союзы, коалиции и «народные фронты». Самую грозную силу представлял рабочий класс, организованный в партии и движения, сформированные по откровенно классовому признаку. (Эта тема будет рассмотрена в следующей главе.)

Существовала также большая и расплывчатая коалиция, состоявшая из промежуточных слоев общества, не знавших, кого им следует бояться больше: богатых или пролетариата? Это была старая мелкая буржуазия, состоявшая из ремесленников и торговцев, позиции которых были подорваны развитием капиталистической экономики, и быстро растущий нижний слой среднего класса, включавший рабочих, не занятых физическим трудом, и служащих — так называемых «белых воротничков» (именно этих людей имели в виду германские политики, обсуждавшие во время и после Великой депрессии «вопрос о положении ремесленников» и «вопрос о положении среднего класса»). Это был мир «маленьких людей», противостоявший миру «крупных» интересов; само слово «маленький» (или «мелкий») стало в нем и девизом и лозунгом («мелкий коммерсант», «маленький человек»). Многие радикально-социалистические журналы во Франции с гордостью включали это слово в свое название («Маленький Нико», «Маленький провинциал» и др.). Маленький — но не ничтожный; маленькая собственность так же нуждалась в защите от коллективизма, как и крупная; служащим приходилось защищать свои права от возможных притязаний со стороны квалифицированных рабочих, имевших почти такой же доход; тем более, что верхушка среднего класса не очень-то хотела относиться к своим собратьям из нижних слоев, как к равным.

Это была (по понятным причинам) благоприятная среда для всякого рода политической риторики и демагогии. В странах, где была сильна традиция радикального демократического якобинства, энергичная и цветистая риторика такого рода помогала удерживать «маленьких людей» на левом фланге политической жизни, хотя, например, во Франции она содержала изрядную долю национал-шовинизма и потенциальной ксенофобии. В странах же Центральной Европы национализм и особенно антисемитизм сред-

них классов просто не вмещался ни в какие рамки. Дело в том, что в представлении обывателей евреи олицетворяли собой капитализм; более того, они были теми яркими капиталистами (банкирами, владельцами универмагов и складов, дилерами), которые сильно потеснили мелких ремесленников и торговцев; хуже того: евреи часто были безбожниками-социалистами и вообще «умниками», подорвавшими старые традиции и поставившими под угрозу все нравственные и семейные ценности. Поэтому, начиная с 1880-х годов, антисемитизм стал главной составной частью организованных политических движений «маленьких людей» в странах Центральной Европы, от Германии и Австрии до России и Румынии; за пределами этих стран он также играл значительную роль. Приступы антисемитизма сотрясали Францию в течение всех 1890-х годов, ставших десятилетием скандалов вроде «Панамы»<sup>16</sup> и «дела Дрейфуса»\*; не так-то легко это понять, учитывая, что в стране с населением в 40 млн человек было в то время всего 60 000 евреев! (см. гл. 12).

Нужно сказать еще и о крестьянстве, все еще составлявшем большинство населения многих стран, а в других являвшемся самой крупной экономической группой. Начиная с 1880-х годов, т. е. с наступлением эры депрессии, крестьяне и фермеры стали объединяться в группы, выступавшие с различными экономическими требованиями, и вступать в кооперативы, занимавшиеся покупкой, продажей и переработкой сельскохозяйственной продукции, и также кредитованием хозяйств. Это происходило в массовых масштабах в разных странах: в США, в Дании, Новой Зеландии, Франции, Бельгии и Ирландии. Все же крестьянство редко выступало на политической сцене и в предвыборных кампаниях именно как класс — если только столь неоднородную массу вообще можно было назвать классом. Конечно, ни одно правительство не могло позволить себе пренебречь экономическими интересами столь внушительной массы избирателей, ка-

---

\* Дрейфус, капитан Французского Генерального штаба, был арестован по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии в 1894 году. После кампании в его защиту, потрясшей и расколовшей Францию, он был оправдан в 1899 г. и окончательно реабилитирован в 1906 году. «Дело Дрейфуса» оказало гнетущее воздействие на общественность всех европейских стран.



кой являлись производители сельскохозяйственной продукции в аграрных странах. Однако, когда крестьяне вступали в предвыборную борьбу, они объединялись под лозунгами, не имевшими отношения к сельскому хозяйству, хотя существовали политические движения и партии, влияние которых было основано именно на поддержке со стороны крестьян или фермеров: такой была Популистская партия в США в 1890-е годы, или социалисты-революционеры в России (после 1902 года)<sup>17</sup>

Политическая мобилизация социальных слоев происходила путем объединения граждан в отдельные группы, связанные определенным частным интересом: например, по религиозному или по национальному признаку. Группы, сформировавшиеся по религиозному признаку, всегда (даже в странах одной религии) объединялись в разные предвыборные блоки, противостоявшие другим таким же блокам религиозного или светского характера. Организации же избирателей, сформировавшиеся на основе национализма, почти всегда представляли какие-либо движения автономистов, существовавшие внутри многонациональных государств; в некоторых случаях, как например в Польше и в Ирландии, они одновременно представляли определенную религию. При этом они имели мало общего как с общенациональным патриотизмом, который пропагандировался государством (но иногда выходил из-под его контроля), так и с политическими движениями (обычно правого толка), претендовавшими на право представлять «нацию» против подрывных меньшинств (см. гл. 6).

Однако подъем массовых политико-конфессиональных движений в общем был сильно затруднен действиями такой ультраконсервативной организации, как Римская католическая церковь, обладавшая громадными возможностями для мобилизации и организации своих верующих. Политика, партии, выборы — все это были черты того греховного девятнадцатого века, который Рим пытался осудить устами папы еще в 1864 году, а затем — на Совете Ватикана в 1870 г. (см. «Век Капитала», гл. 14).

Согласие по этому вопросу не было достигнуто, о чем свидетельствовали высказывания ряда теоретиков католицизма, острожно предлагавших в 1390-е, а затем — в 1900-х годах найти

какой-то компромисс с современными идеями (этот «модернизм» был проклят папой Пием X в 1907 году). В свете сказанного понятно, какую позицию могла занять Католическая церковь в дьявольском мире светской политики: только позицию полного противостояния и твердой защиты религиозной деятельности, католического образования и других церковных институтов, которые могли пострадать от государства, постоянно вступавшего в конфликты с церковью.

Таким образом, хотя политический потенциал христианских партий был огромным (как показала европейская история после 1945 года\*, и явно возрастал при каждом расширении круга избирателей, церковь сопротивлялась образованию католических политических партий (хотя формально поддерживала их); при этом она признавала (с первой половины 1890-х годов) желательность отторжения рабочего класса от безбожной социалистической революции и, конечно, необходимость присмотра за своей главной опорой на выборах — крестьянством.

Однако, несмотря на данное папой благословение нового интереса католиков к социальной политике (в 1891 г. в энциклике «Рерум новарум»), предшественники и основатели современных христианско-демократических партий встречали со стороны церкви подозрительность и периодические вспышки враждебности; и не только из-за их склонности прийти к соглашению с нежелательными тенденциями развития этого суетного мира (подобно тому, как это предлагали «модернисты»), но и потому, что церковь опасалась их влияния на свои новые кадры, пришедшие из разных слоев среднего класса, городского и сельского, которые видели в этих партиях новое поле деятельности. Когда в 1890-х годах большой демагог Карл Люгер (1844—1910) сумел основать первую массовую христианско-социалистическую партию современного типа, то он сделал это вопреки сопротивлению австрийской церковной иерархии. Его партия представляла нижние слои среднего класса и твердо придерживалась антисемитских взгля-

---

\* После второй мировой войны христианские партии вновь возникли в Италии, Франции, Западной Германии и в Австрии и стали во всех этих странах (кроме Франции) главными правительственными партиями.

дов; она получила полную поддержку населения города Вены; партия существует до сих пор и называется «Народная партия»; она управляла независимой Австрией почти во все время ее существования, начиная с 1913 года.

Таким образом, церковь обычно поддерживала консервативные и реакционные партии разного направления и была в хороших отношениях с националистическими движениями католических наций, находившихся на подчиненном положении в многонациональных государствах, если эти движения не были заражены вирусом светскости. Вообще, церковь поддерживала всех, выступавших против социализма и революции. Подлинно массовые католические партии и движения были основаны в Германии (где они начали свою деятельность с борьбы против антиклерикальной кампании Бисмарка, проходившей в 1870-е годы)<sup>18</sup>; а также в Нидерландах, где все политические силы выступали в форме концессионных групп, в том числе протестанты и даже нерелигиозные организации, объединявшиеся в блоки «вертикального» типа; затем в Бельгии, где католики и антиклерикальные либералы сформировали двухпартийную систему задолго до эры демократизации.

Гораздо меньше было протестантских религиозных партий, и там, где они существовали, требования конфессий выдвигались обычно под другими лозунгами: национализма и либерализма (как в нонконформистском Уэльсе), антинационализма (как среди протестантов Ольстера, выступавших за союз с Британией и против местного ирландского самоуправления); просто либерализма (его придерживалась либеральная партия Британии, в которой усилился нонконформизм после присоединения к ней старой аристократии вигов и представителей крупного бизнеса, покинувших консервативную партию в 1880-е годы). (Нонконформизм — отделение протестантов от Церкви Англии, которое произошло в Англии и в Уэльсе.) В Восточной Европе религия в политике была неотделима от национализма, а в России — и от государства. Русский царь не просто был главой Православной церкви — он использовал ее для борьбы против революции. Другие великие мировые религии — ислам, индуизм, буддизм, конфуцианство (не говоря о культах небольших общин и народов) —

действовали пока еще в другом идеологическом и политическом пространстве, где западная демократическая политика была чуждой и неуместной.

Религия, конечно, имела большой политический потенциал, но национальная идентификация являлась не менее значительным, а практически — еще более эффективным средством политической мобилизации. Когда, после демократизации избирательного права в Британии в 1884 году, Ирландия голосовала за своих представителей, то Ирландская Националистическая партия захватила все места, выделенные для католиков этого острова. 65 из 103 депутатов составили дисциплинированную фалангу под руководством вождя ирландского протестантского национализма Чарльза Стюарта Парнелла (1846—1891)<sup>19</sup> Если выражение политических взглядов было связано с национальным самосознанием, то было заранее известно (где бы это ни происходило), что поляки будут голосовать именно как поляки (хоть в Германии, хоть в Австрии), чехи — как чехи и т. п. Поэтому, например, политическая жизнь австрийской части империи Габсбургов была парализована именно в результате такого разделения по национальным интересам. После восстаний немцев и чехов, выступавших друг против друга (1890-е годы), парламентская система потерпела полный крах, так как ни одно правительство не могло получить большинства в парламенте. Поэтому введение всеобщего избирательного права в 1907 году было не только уступкой соответствующим требованиям, но и отчаянной попыткой мобилизации масс избирателей, которые стали бы голосовать не по национальному признаку (например, за католиков или даже за социалистов), против непримиримых и вечно конфликтующих национальных блоков.

Крайняя форма политической мобилизации масс, т. е. в виде дисциплинированной массовой партии или движения — оставалась достаточно редким явлением. Даже среди новых рабочих и социалистических движений монолитная и всеохватывающая Германская Социал-Демократическая партия являлась исключением (см. гл. 5). Тем не менее элементы этого нового явления можно было найти почти повсеместно. В первую очередь, это были организации для ведения предвыборных кампаний, со-

ставлявшие основу партии. Типичная идеальная партия, возглавлявшая соответствующее движение, состояла из местных организаций или отделений, а также из комплекса специальных организаций, тоже имевших местные отделения и предназначенных для достижения более широких политических целей. Так, в 1914 году Ирландское национальное движение включало Объединенную Ирландскую лигу, являвшуюся основой движения и организованную по избирательным округам, т. е. имевшую отделения в каждом округе по выборам в парламент. Движение собирало национальный съезд избирателей, на котором председательствовал президент лиги и в котором участвовали, кроме делегатов, также представители трудовых советов, т. е. городских комитетов, состоявших из представителей профсоюзов; прибывали также делегаты от профсоюзов, от ассоциации «Земля и труд», представлявшей фермеров; от «Атлетической ассоциации»; от обществ взаимопомощи, таких как общество «Старинный закон ирландцев», поддерживавшее связи острова с американскими эмигрантами, и др. Таковы были кадры сторонников партии, служившие связующим звеном между националистическими лидерами в парламенте и вне его и массами избирателей, поддерживавших требование автономии Ирландии. Активисты, организованные таким образом, сами по себе представляли внушительную силу: в 1913 г. лига насчитывала 130 000 членов, тогда как все католическое население Ирландии насчитывало 3 млн человек<sup>6\*</sup>.

Следующей чертой новых массовых движений была их идеологическая направленность. Это были не просто группировки, выступавшие и действовавшие в поддержку каких-то частных требований, например, для защиты виноградарства. Конечно, было много и таких, потому что логика демократизированной политики требовала усиления давления на правительства и парламенты, которые должны были (теоретически) отвечать на это усилением своей работы. Однако организации, подобные «Союзу сельских хозяев» в Германии (который был основан в 1893 г., а в 1894 году уже насчитывал около 200 тысяч членов), могли быть и не связаны с какой-то определенной партией; «Союз сельских хозяев» тоже был независимой организацией, несмотря на явные симпатии к консервативным идеям и на почти полное пре-

обладание крупных землевладельцев. В 1898 году «Союз» опирался на поддержку 118 депутатов Рейхстага (из общего количества 397 депутатов), принадлежавших к 5 разным партиям<sup>7\*</sup> В отличие от подобных групп узкой идеологической направленности, хотя и достаточно мощных, новые партии и движения представляли пример широкого взгляда на мир. Именно общее мировоззрение, а не специализированная и непостоянная политическая программа, являлось для членов и сторонников партии чем-то вроде «гражданской религии», которая, по мнению Жан-Жака Руссо, Дюркгейма и других теоретиков новой социологии, должна была сплотить современное общество и послужить «цементом», скрепляющим его отдельные блоки. Религия, национализм, демократия, социализм, а также идеологии — предшественники фашизма — вот что сплачивало новые, политически мобилизованные массы, какие бы материальные интересы ни представляли их движения!

Парадокс, но в странах с сильными революционными традициями — во Франции, США да и в Англии — идеология минувших революций позволяла их старым или новым элитам приручать по меньшей мере часть новых масс, применяя для этого стратегию, давно известную ораторам-демагогам демократической Северной Америки. Британский либерализм, унаследовавший традиции Славной революции вигов (1688 года)<sup>20</sup> и призывающий (к радости потомков пуритан) к оправданию убийц, расправившихся с королем в 1649 г.<sup>21</sup>, сумел поддержать развитие массовой лейбористской партии в период до 1914 года и позже. (Премьер-министр от Либеральной партии лорд Розбери лично оплатил постройку памятника Оливеру Кромвелю, воздвигнутого перед зданием парламента в 1899 г.). Благодаря полученной поддержке, Лейбористская партия (основанная в 1900 г.) в тот период послушно следовала в кильватере либералов. Во Франции республиканские радикалы, чтобы устоять в схватках со своими противниками, пытались поглотить и ассимилировать движение народных масс, размахивая знаменами республики и революции — и имели успех. Лозунги: «У нас нет врагов среди левых!» и «За единство всех настоящих республиканцев!» — обеспечили центристам, правившим Третьей республикой, поддержку со стороны левых народных движений.

Третье, что нужно отметить: политическая мобилизация масс была глобальной. Они разбивали вдребезги прежние местные или региональные политические ограничения, либо отодвигали их в сторону, либо снимали, объединяясь в широкие и всеобъемлющие движения. В любом случае национальная политика демократизированных стран оставляла мало возможностей для чисто региональных партий, даже в государствах с ярко выраженными региональными различиями — таких, как Германия и Италия. Так, в Германии, в Ганновере (аннексированном Пруссией незадолго до того времени, в 1866 году) были сильны региональные и антипруссские настроения, наряду с симпатиями к прежней княжеской династии; но они привели лишь к довольно небольшому снижению количества голосов, отданных за общенациональные партии (85% по сравнению с 94—100%, полученными в других областях)<sup>8\*</sup> Подобные конфессиональные или этнические меньшинства, либо соответствующие общественные или экономические группы существовали обычно в пределах определенных географических районов и не определяли общую картину. В противоположность предвыборной политике старого буржуазного общества, новая массовая политика становилась все более несовместимой с прежними местными устремлениями, возглавлявшимися людьми местного масштаба и влияния, которых называли «нотаблями» (используя термин французского политического словаря). Было еще немало мест в Европе и в Америке (особенно в таких районах, как Пиренейский полуостров, Балканы, Южная Италия и Латинская Америка), где местные «князьки» или «патроны», т. е. люди местной силы и влияния, могли «сколачивать» предвыборные блоки в поддержку более сильных патронов или более богатых заказчиков. Подобно им, в демократической политике действовали «боссы», но им давала влияние только политическая партия; или, по крайней мере, спасала их от изоляции и политического бессилия, оказывая весомую поддержку. Старые элиты, сумевшие преобразоваться и приспособиться к демократии, могли создавать разнообразные политические комбинации, используя как политиков местного калибра, так и демократических деятелей. Последние десятилетия XIX века и начало XX века были полны сложных конфликтов между старомодной «знатью»

и новыми политическими деятелями, или между местными «боссами» и другими ключевыми фигурами, контролировавшими влияние партии.

Демократия, заменившая таким образом политику «нотаблей» или успешно продвигавшаяся по этому пути, сделала проводниками своей силы и влияния не «фигуры», а организации: партийные комитеты, состоявшие из немногих активистов, взявшие на себя роль «партийных нотаблей». В этом заключался определенный парадокс, который вскоре был замечен реалистически-аналитиками политики, указавшими на ключевое значение таких комитетов (или «кокосов», как их называли на англо-американском политическом жаргоне), ставших, по убеждению Роберта Михельса, «проводниками железной воли олигархии», роль которых он понял при изучении деятельности Германской Социал-Демократической партии (СДПГ). Он также отметил тенденцию новых массовых движений к благоговению перед фигурами лидеров, которому он, впрочем, придал преувеличенное значение<sup>9\*</sup>. Дело в том, что всеобщее восхищение, несомненно сопровождавшее лидеров массовых национальных движений и выражавшееся, например, в развешивании по стенам портретов Гладстона — «старого зубра либерализма», или Бебеля — лидера СДПГ, отражало в то время скорее веру в идею, а не преклонение перед самим человеком. Более того, существовало много массовых движений, не имевших харизматических вождей. Когда Чарльз Стюарт Парнелл пал в 1891 г. жертвой неурядиц своей личной жизни и объединенной враждебности католической и неконформистской морали, то ирландцы отвернулись от него без колебаний, хотя ни один вождь не пользовался таким горячим почитанием, благодаря которому миф о нем надолго пережил самого человека.

Таким образом, партия или движение являлись для своих сторонников силой, представлявшей их в обществе и защищавшей их интересы. Поэтому организация могла легко подменить собой своих членов и сторонников, а лидеры могли распоряжаться организацией. Следовательно, структуризованные массовые движения не являлись ни в коем случае «республиками равных». При этом наличие организации и поддержка масс обеспечивали



им огромное и довольно сомнительное влияние, так что они являлись потенциальными «государствами в государстве». Действительно, большая часть революций нашего века имела целью замену старого режима, старого государства и прежнего правящего класса на партию, стоявшую во главе движения, забиравшую в свои руки всю систему государственной власти. Такой потенциал весьма впечатлял, тем более что старые идеологические организации им не обладали. Например, западные религии того периода, казалось, утратили способность самопреобразования в теократию<sup>22</sup> и явно не ставили себе такой цели. (Последним примером подобного самопреобразования была, пожалуй, деятельность общины мормонов в штате Юта, в США, после 1848 года.) Победоносная церковь установила лишь (по крайней мере, в христианском мире) клерикальные режимы, действовавшие с помощью светских институтов власти.

## II

Демократизация, уже по мере своего продвижения, начала преобразовывать политику. Однако ее влияние, временами весьма отчетливое, создало ряд самых серьезных проблем для тех, кто управлял государствами, и для привилегированных классов, в интересах которых осуществлялось это правление. Такой оказалась проблема сохранения единства и даже самого существования государств, возникшая при проведении многонациональной политики, вступившей в конфликты с национальными движениями. Например, она стала главной государственной проблемой Австрийской империи; и даже в Британии появление массового ирландского национализма потрясло структуры государственной политики. Возник вопрос о сохранении постоянного разумного (с точки зрения государственной элиты) политического курса, прежде всего — в экономических делах. Должна ли демократия обязательно вмешиваться в дела капиталистов, и не приведет ли это к беде (как полагали бизнесмены)? Не возникнет ли угроза для свободной торговли, к которой все политические партии Британии относились с почти религиозным поклонением? И не пострадает ли от этого финансовая система и золотой стандарт, со-

ставлявшие основу всякой надежной экономической политики? Такая угроза возникла, например, в США, в результате широко-го развития движения популизма в 1890-х годах, вожди которого метали громы и молнии своей риторике против «распятия человечества на золотом кресте» (по выражению великого оратора популистов Уильяма Дженнингса Брайана). Более общей и самой главной проблемой явилась проблема гарантированного соблюдения законности, которая могла стать жизненно важной для государств, оказавшихся перед угрозой со стороны массовых движений, призывавших к социальной революции. Эти угрозы казались особенно опасными ввиду несомненной неэффективности парламентов, утонувших в демагогии и раздираемых непримиримыми партийными конфликтами и явной коррупцией политической системы, опиравшейся теперь не на независимых обеспеченных людей, а на субъектов, благосостояние и карьера которых зависели от их успехов на поприще политики.

Все эти явления просто бросались в глаза. В демократических государствах, построенных по принципу разделения властей (как в США), правительство (т. е. исполнительная ветвь власти, олицетворяемая президентом) являлось в определенной степени независимым от избранного парламента, хотя последний вполне мог остановить его деятельность своими мерами. (При этом система демократического избрания президента была тоже связана с опасностью, но уже иного рода.) В европейских странах действовали правительства представительского типа, зависевшие (теоретически) от избранных народных собраний (если они не находились под защитой монархии старого типа), и здесь трудности правительств казались прямо-таки непреодолимыми. Нередко они приходили и вскоре уходили, подобно группам туристов, периодически прибывавших в отель и покидавших его, — в зависимости от того, когда очередное парламентское большинство придет на смену предыдущему. Рекорд поставила Франция, мать европейских демократий, в которой за 39 лет (с 1875 года до начала войны) сменилось 52 кабинета, из которых только 11 действовали не меньше 12 месяцев (впрочем, в большинстве из них мелькали одни и те же имена). Неудивительно, что эффективность работы правительства и преемственность политики полностью

зависели от никому не известных, неизбираемых и постоянно сохранявших свои места функционеров бюрократической системы. Это благоприятствовало коррупции, расцвет которой пришелся на начало XIX века, когда правительства распределяли доходные синекуры среди своих родственников и знакомых (вроде должностей в «офисах прибылей Короны», в Британии). Новые политики, делавшие свою карьеру (и свое благополучие) своими руками, не забывали и о себе, оказывая поддержку (или противодействие) бизнесменам или другим заинтересованным лицам. И особенно громкий резонанс вызывали проступки старших чиновников администрации и судей, поскольку их неподкупность была вне подозрений, и они не зависели ни от выборов, ни от патронажа (по крайней мере, так было принято в странах Западной и Центральной Европы; США составляли исключение)\*.

Скандалы, связанные с коррупцией политических кругов, то и дело разражались не только в таких странах, как Франция, где сомнительные дела были у всех на виду («скандал Вильсона» в 1885 году<sup>23</sup>; скандал, связанный с Панамской аферой в 1892—1893 гг.); но и в таких, как Британия, где все делалось скрытно (скандал по «делу Маркони» в 1913 г.<sup>24</sup>, в котором были замешаны два таких деятеля, самостоятельно пробившиеся на высокие посты, как Ллойд Джордж и Руфус Исаак, ставший впоследствии лордом-канцлером юстиции и вице-королем Индии)\*\*.

Нет сомнений, что явления коррупции и парламентской нестабильности были связаны между собой, особенно там, где правительство сколачивало парламентское большинство, покупая

---

\* В США тоже была учреждена в 1883 г. Комиссия по гражданской службе, заложившая основы Федеральной гражданской службы, независимой от политического патронажа. Однако в большинстве стран патронаж остается более значительным явлением, чем это принято считать

\*\* Сомнительные дела политической элиты, вызывавшие удивление демократических наблюдателей и осуждение политических моралистов, не были исключительным явлением. Так, лорд Рэндольф Черчилль, отец сэра Уинстона, занимавший пост лорда-канцлера казначейства, находясь при смерти, занял у банкира Ротшильда 60000 фунтов стерлингов; видимо, банкир имел свои интересы в государственной финансовой системе. Чтобы представить размер займа, достаточно сказать, что в то время он составлял 0,4% всего национального подоходного налога Британии<sup>10\*</sup>.

голоса для политической поддержки проектов, связанных с финансовыми интересами. Мастером такой стратегии был уже упоминавшийся Джованни Джолитти в Италии.

Современники из верхних слоев общества вполне понимали опасности, связанные с демократизацией политики и, в более общем плане, с ростом централизации масс. Это было не обычное беспокойство по поводу состояния общественных дел, потому что с предупреждениями выступили такие люди, как, например, редактор газет «Ле Тан» и «Ла ревью дю монд», служивших оплотом респектабельного общественного мнения во Франции; он опубликовал в 1897 году книгу под характерным названием: «Организация всеобщего избирательного права или кризис современного государства»; или теоретик и крупнейший деятель Консервативной партии Британии, позднее — министр, Альфред Милнер (1854—1925), назвавший британский парламент (в частной беседе): «Этот сброд из Вестминстера»<sup>11, 12\*</sup> Всепроникающий пессимизм, поразивший буржуазную культуру в 1880-е годы (см. гл. 10, 11), несомненно, отражал горькие чувства лидеров общества, покинутых своими последователями из высших классов; подавленных напором масс; оставленных сторонниками из образованного и культурного меньшинства (обычно — выходцами из состоятельных семей), которых теснили новые люди, только что освободившиеся от варварства и невежества<sup>13\*</sup>, и отбрасывала в сторону новая волна цивилизации, служившей этим массами.

Новая политическая ситуация развивалась неравномерно и постепенно, в зависимости от исторических особенностей отдельных стран. По этой причине сравнительный обзор политической жизни 1870-х и 1880-х годов представляется трудным и почти бессмысленным делом. Внезапное появление на международной политической сцене массовых рабочих и социалистических движений (начиная с 1880-х годов) создало правительствам и правящим классам разных стран трудности примерно одного характера, хотя головную боль правительств вызывали не только политические движения. В более широком плане, в большинстве европейских государств, имевших «кущую» конституцию или урезанное избирательное право, политическое превосходство либеральной буржуазии, существовавшее в середине XIX века, было

сломлено в 1870-е годы, вследствие влияния Великой депрессии; это произошло в Бельгии в 1870-е годы; в Германии и Австрии — в 1879 г.; в Италии — в 1870-е годы; в Британии — в 1874 году (см. «Век Капитала», гл. 1, 6, 13). После этого она уже никогда не возвращала себе прежнее доминирующее положение, за исключением отдельных эпизодических случаев. С наступлением нового периода в Европе уже не существовало подобной политической силы, явно превосходившей своих соперников; только в США была Республиканская партия, которая привела северян к победе в Гражданской войне и после этого постоянно выигрывала президентские выборы, вплоть до 1913 года. До тех пор пока неразрешимые проблемы, связанные с возможностью революции или распада государства, не становились объектом парламентской политики, государственные деятели могли опираться на парламентское большинство, формируя его то в одном, то в другом варианте из набора политических деятелей, не желавших создавать какой-либо угрозы ни государству, ни общественному порядку. И в большинстве случаев эти неразрешимые проблемы удавалось отодвигать в сторону, хотя бывали и срывы; так, в Британии с появлением в 1880-х годах прочного и воинственного блока ирландских националистов, намеревавшихся нарушить работу Палаты Общин, чтобы изменить баланс сил в свою пользу, вся парламентская политика резко изменилась, как изменились и две главные партии, у которых до этого не было соперников. По крайней мере, это ускорило преобразование в 1886 году партии Виггов, состоявшей из потомков богачей и либеральных бизнесменов, в партию Тори, которая, вместе с Консервативной и Юнионистской партиями, постепенно сформировала единую партию богатых землевладельцев и крупных бизнесменов.

В других странах ситуация больше поддавалась контролю, хотя и развивалась иногда более драматично. В Испании, с восстановлением монархии (в 1874 году), осколки потерпевших поражение противников государственной системы (республиканцев — на левом фланге оппозиции и карлистов — на правом) не могли помешать Кановасу (1826—1897), находившемуся у власти большую часть периода 1874—1897 годов, манипулировать политиками и аполитичными сельскими избирателями. В Германии сла-

бость оппозиционных элементов позволяла Бисмарку достаточно уверенно управлять страной в 1680-е годы; так же помогло элегантному аристократу графу Тааффе уменьшение роли славянских партий в Австрийской империи (Тааффе: 1833—1898, у власти: 1879—1893). Французские правые, отказавшиеся принять республику, постоянно оказывались в меньшинстве на выборах, и армия сохраняла лояльность к гражданской власти; это позволило республике пережить многочисленные и разнообразные кризисы, не раз сотрясавшие ее (в 1877 году; в 1885—1887 гг.; в 1892—1893 и в 1894—1900 гг. — в связи с «делом Дрейфуса»). В Италии бойкот со стороны Ватикана по отношению к светскому антиклерикальному государству облегчил Депретису (1813—1887) проведение политики «трансформизма», т. е. превращения своих оппонентов в сторонников правительства.

По правде говоря, единственный реальный вызов существовавшей системе могло бы составить только чрезмерное усиление влияния парламентов; серьезной угрозы восстания низов в конституционных странах не было; армия, этот классический источник путчей, оставалась спокойной даже в Испании. Даже там, где восстания и вовлечение военных в политику оставались частью политической ситуации (Балканы, Латинская Америка) — они воспринимались скорее как элементы существовавшей системы, а не как потенциальная угроза для нее.

Однако такое положение не могло сохраняться долго. И когда правительства оказывались в противостоянии с растущими и явно непримиримыми политическими силами, то их первым побуждением было — действовать методом принуждения. И вот Бисмарк, этот мастер политических манипуляций с ограничениями избирательного права, вступил в конфликт с массами организованных католиков, сохранявших верность реакционному Ватикану (находившемуся «за горами» — отсюда название оппозиционеров — «ультрамонтаны»); итак, Бисмарк объявил антиклерикальную войну (так называемая «Культуркампф» — «война за культуру» 1870-х годов) — и проиграл. В другой раз, оказавшись перед угрозой со стороны растущей социал-демократии, он объявил партию вне закона в 1879 г. — и что же? Возврат к прямому абсолютизму оказался невозможным и поистине невысказанным,

так что запрещенным социал-демократам было разрешено выставить своих кандидатов на выборах; таким образом, Бисмарк проиграл во второй раз. Получалось, что рано или поздно (как в случае с социалистами после ухода Бисмарка в 1889 г.) правительству приходилось уживаться с новыми массовыми политическими движениями. Австрийский император, чью столицу «захватила» Христианско-Социальная партия, действовавшая на избирателей своими демагогическими призывами, три раза отказывался принять их лидера Люгера в качестве мэра Вены — и все же смирился с неизбежностью в 1897 году. В 1886 году бельгийское правительство подавило с помощью военной силы волну забастовок и мятежей своих рабочих (положение которых, надо признать, было одним из самых жалких в Западной Европе) и посадило за решетку социалистических лидеров, не глядя на то, участвовали они в беспорядках или нет. Однако семь лет спустя оно приняло закон о всеобщем избирательном праве (в одном из его вариантов) после успешной всеобщей забастовки. Итальянское правительство расстреляло сицилийских крестьян в 1893 г. и миланских рабочих — в 1898 году; однако после событий в Милане, когда погибло 50 человек, оно все-таки сменило курс. Подводя итог, можно сказать, что 1890-е годы были временем появления социализма в качестве массового политического движения, что явилось переломным моментом в истории. Началась эра новой политической стратегии.

Поколения читателей, выросших после первой мировой войны, могут удивиться тому, что ни одно правительство в то время не рассматривало серьезно возможностей отхода от конституционной и парламентской системы. Только после 1918 года конституционализм и представительская демократия были вынуждены отступить на широком фронте, восстановив свои позиции лишь после 1945 года. В конце XIX в. такого отступления не было. Даже в царской России поражение революции 1905 года не привело к полной отмене выборов парламента (Думы). В противоположность ситуации 1849 года не произошло никакого резкого поворота назад и наступления реакции, хотя в конце своего правления Бисмарк и носился с идеей отмены или приостановки действия конституции. Буржуазное общество, может быть, и было

обеспокоено направлением мирового развития, но чувствовало себя достаточно уверенно, и, в немалой степени, потому, что развитие мировой экономики вряд ли давало повод для пессимизма. Даже политически умеренные круги с нетерпением ожидали прихода революции в России (если не принимать во внимание мнение групп, имевших другие дипломатические и финансовые интересы), которая, как предполагалось, сотрет темное пятно с европейской цивилизации и обратит Россию в добропорядочное буржуазно-либеральное государство; в самой России революция 1905 года, в отличие от революции 1917 года, была с энтузиазмом поддержана средним классом и интеллигенцией. Прочие возможные восстания не имели особого значения. Правительства сохраняли удивительное спокойствие во время эпидемии анархистских покушений в 1890-е годы, жертвами которых стали два монарха, два президента и один премьер-министр\*; никто не был всерьез обеспокоен выходом анархизма за пределы Испании и некоторых районов Латинской Америки. С началом войны 1914 года министр внутренних дел Франции даже не побеспокоился об аресте революционеров (в основном, анархистов и анархо-синдикалистов) и прочих подрывных элементов, выступавших против войны и считавшихся опасными для государства, поскольку в полиции имелись на них обширные досье, заведенные как раз на чрезвычайный случай.

В общем, буржуазное общество (в отличие от периода после 1917 года) не чувствовало серьезной и близкой угрозы; так же не были серьезно подорваны исторические перспективы, идейные и культурные ценности XIX века. Считалось, что цивилизованные обычаи, власть закона и либеральные институты будут продолжать свое развитие и охранять свой всемирный характер. Конечно, в мире еще осталось немало варварства, в основном, в отсталых странах (как считали «респектабельные» наблюдатели) и среди «нецивилизованных» народов колоний (к счастью, завоеванных). Оставались страны, даже в Европе (царская Россия, Оттоманская

---

\* Король Умберто в Италии; императрица Елизавета в Австрии; президент Сади Карно во Франции; президент Мак-Кинли в США; премьер-министр Кановас в Испании.



империя), где свет разума едва мерцал или вовсе не был зажжен. Однако даже скандалы, потрясавшие общественное мнение в отдельных странах и во всем мире, показывали, как велики были надежды на цивилизованное развитие буржуазного общества в то мирное время («дело Дрейфуса», отказавшегося подчиниться несправедливому решению суда; «дело Феррера», состоявшее в несправедливом наказании в 1909 г. испанского просветителя, неправильно обвиненного в руководстве рядом мятежей в Барселоне; «дело Заберна», когда 20 демонстрантов были взяты под арест на одну ночь германской армией в эльзасском городе). Теперь, в конце двадцатого века, мы можем лишь с грустным недоверием вглядываться в тот исторический период, когда считалось, что убийства (происходящие в наше время почти ежедневно) возможны лишь у турок, вообще — «где-то там, у дикарей».

### III

Итак, правящие классы искали новую стратегию, стараясь при этом ограничить влияние общественного мнения и масс избирателей на свои собственные и государственные интересы, а также на формирование и традиции высокой политики. Их главной мишенью стали рабочие и социалистические движения, возникшие внезапно во многих странах и ставшие массовым явлением в 1890-е годы (см. гл. 5). Оказалось, однако, что с ними можно было легче найти общий язык, чем, например, с националистическими движениями, которые либо тоже появились в это время, либо уже существовали ранее, но вступали теперь в новую фазу воинственности, автономизма и сепаратизма (см. гл. 6.) Что касается католиков, то их (если они не были националистами-автономистами) можно было сравнительно легко склонить к интеграции, ввиду их социальной консервативности (свойственной даже христианско-социальным партиям, вроде партии Люгера) и приверженности к охране особых интересов церкви.

Вовлечение рабочих движений в обычные политические игры, происходящие в рамках государственной системы, было делом нелегким, поскольку работодатели, оказываясь перед лицом забастовок и профсоюзов, явно не были склонны отказываться от

применения грубой силы (в отличие от политиков, предпочитавших действовать более изощренно, так сказать, «облекая крепкий кулак в бархатную перчатку»); так было даже в странах Скандинавии, известных своим миролюбием. Растущая мощь большого бизнеса все больше не терпела никакого контроля. В большинстве стран, особенно в США и в Германии, работодатели, как класс, никогда не примирялись с профсоюзами (в период до 1914 года); даже в Британии, где профсоюзы были уже давно узаконены, как в принципе, так, зачастую, и на практике, работодатели предприняли в 1890-е годы контрнаступление на рабочие организации, хотя правительство проводило политику примирения, а лидеры Либеральной партии шли на все, чтобы заполучить голоса рабочих. Трудно было налаживать политическое сотрудничество и там, где новые партии отказывались от всяких соглашений с буржуазией своей страны и со своим государством, как это делали партии, вступившие в Коммунистический Интернационал, образовавшийся в 1889 г., в котором доминировали марксисты; хотя в отношениях с местными властями эти партии вели себя не столь несговорчиво. (Надо сказать, что лейбористские политики нереволюционного и немарксистского направления не знали подобных проблем.) Однако к 1900-м годам стало ясно, что во всех массовых социалистических движениях образовалось умеренное или реформистское крыло; даже среди марксистов эта идеология нашла своего выразителя в лице Эдуарда Бернштейна<sup>24</sup>, утверждавшего, что «движение — это все, конечная цель — ничто»; хотя его бестактные требования ревизии марксистской теории привели к скандалу и вызвали возмущение и споры среди социалистов после 1897 года. Несмотря на все это, политика вовлечения масс в избирательный процесс, к которой с энтузиазмом относились даже почти все марксистские партии (поскольку она делала наглядным рост их рядов), не могла все же обеспечить мирное вхождение этих партий в существовавшую систему.

Социалисты, конечно, пока еще не могли войти в состав правительств. Нечего было и думать, что они смогут примириться с «реакционными» политиками и правительствами. Однако неплохие шансы на успех имела политика привлечения хотя бы умеренных представителей трудящихся в расширенную коалицию,

имеющую целью поддержку реформ, т. е. в своего рода союз всех демократов, республиканцев, антиклерикалов и «людей из народа», противостоящий хорошо организованным противникам реформ. Над этим, начиная с 1899 года, постоянно работал во Франции Вальдек Руссо (1846—1904), создавший правительство Союза республиканцев, противостоявшее реакции, которая бросила ему открытый вызов в «деле Дрейфуса», в Италии в этом направлении работал Занарделли, правительство которого в 1903 г. опиралось на поддержку даже крайне левых; а затем — Джолитти, великий мастер уговоров и примирений. В Британии в 1903 г. либералы создали, преодолев некоторые трудности 1890 годов, предвыборный союз с молодым Комитетом представления лейбористского движения, который, благодаря этому, вошел в 1906 году в парламент в качестве Лейбористской партии. В других странах — общая заинтересованность в расширении избирательного права тоже привлекала социалистов к объединению с другими демократами; например, в Дании в 1901 г. впервые в Европе было создано правительство с участием социалистов, опиравшееся на поддержку Социалистической партии.

Причина всех этих мероприятий, захвативших все партии, от парламентского центра до крайне левых, заключалась обычно не в необходимости заручиться поддержкой социалистов, поскольку даже главные социалистические партии были партиями парламентского меньшинства, которых можно было легко выключить из парламентской игры, подобно тому, как это было сделано после второй мировой войны с небольшими коммунистическими партиями европейских стран. Самую мощную из всех этих партий — СДПГ — германское правительство сумело нейтрализовать с помощью политики «широкого союза», т. е. путем создания парламентского большинства из твердых антисоциалистов-консерваторов, католиков и либералов. Причина же заключалась, скорее, в желании приручить этих «диких зверей политических джунглей», которых разумные люди из правящих классов вскоре смогли определить. Стратегия «дружеских объятий» давала разные результаты; ее проведение затрудняла негибкость работодателей, приводившая к напряженности и к массовым конфликтам в промышленности; но в целом она работала; по

крайней мере, она помогала расколоть массовое движение трудящихся на умеренное и на радикальное крыло, включавшее непримиримых, составлявших обычно меньшинство, и изолировать последних.

Демократию было тем легче приручить, чем менее острым было недовольство народа. Поэтому новая стратегия предусматривала готовность к проведению социальных реформ и к принятию программ повышения общественного благосостояния, что явилось отступлением от классической позиции либералов, правительства которых (в середине XIX века) старались не вмешиваться в дела частного предпринимательства и социальной помощи. Британский юрист А. В. Дикей (1835—1922) говорил, что паровой каток коллективизма, приведенный в движение с 1870-х годов, раздавит свободу личности, на смену которой придет унылая централизованная тирания, связанная с бесплатными школьными завтраками, страхованием здоровья и пенсиями по старости. И, в определенном смысле, он был прав. Бисмарк, действовавший, как всегда, с железной логикой, решил в 1880-е годы выбить опору из-под социалистической агитации с помощью многообещающей программы социального страхования; за ним на этот путь вступили Австрия и правительство британских либералов 1906—1914 годов, которое ввело пенсии по старости, биржи труда, страхование от болезни и пособия по безработице. После некоторых колебаний к ним присоединилась Франция, которая в 1911 г. ввела пенсии по старости. Как ни странно, но скандинавские страны, известные в наше время как «государства всеобщего благосостояния», отнюдь не торопились пойти этим путем; другие страны ограничились лишь номинальными мерами; а США — страна миллионеров, всех этих Карнеги, Рокфеллеров и Морганов — не сделала вовсе ничего, оставаясь «раем свободного предпринимательства», где даже детский труд не контролировался федеральными законами, хотя к 1914 году законы, запрещавшие его (теоретически), уже существовали в Италии, в Греции и в Болгарии. Конгресс США не проявил интереса и к закону о компенсации рабочим при несчастных случаях; хотя такие законы к 1905 году уже были приняты во многих странах, в США судьи признали их неконституционными. Во многих странах,

кроме Германии, социальные программы оставались весьма скромными почти до 1914 года; в Германии они так и не смогли остановить рост Социалистической партии. Тем не менее тенденция, проявившаяся более сильно в европейских странах с протестантской религией и в Австралии, обрела существование.

Дикей был прав, подчеркивая неизбежный рост роли и значения государственного аппарата, поскольку идеал невмешательства государства в дела личности был отброшен. Правда, по современным меркам бюрократия еще оставалась в скромных пределах, хотя и росла быстрыми темпами, особенно в Великобритании, где аппарат правительства утроился за период с 1891 по 1911 год. В Европе около 1914 года чиновники составляли от менее 3% всей рабочей силы (во Франции) до 5,5—6% (в Германии, что довольно удивительно, и в Швейцарии, что вообще странно)<sup>14\*</sup>. Для сравнения скажем, что в странах Европейского союза в 1970-е годы чиновники составляли 10—13% всего занятого населения.

Лояльность масс невозможно было приобрести, не проводя дорогостоящую социальную политику, которая могла уменьшить прибыли предпринимателей — а ведь от них зависела экономика. Как мы уже говорили, считалось, что империализм не только сможет оплатить социальные реформы, но также завоюет популярность. Оказалось, что война, или хотя бы перспектива успешной войны, имела еще больший демагогический потенциал. Британское консервативное правительство использовало Южно-африканскую войну 1899—1902 годов, чтобы смести прочь своих либеральных оппонентов во время выборов 1900 года, названных «выборами в военной форме»; а американский империализм успешно использовал популярность победоносной войны, нанеся поражение Испании в 1898 году. Правящая элита США, возглавлявшаяся Теодором Рузвельтом (1858—1919, президент — с 1901 по 1909 год), как раз открывала новый символ Америки — ковбоя с револьвером, олицетворявшего настоящего патриота, верного свободе и традициям белых поселенцев, противостоявшего ордам деклассированных иммигрантов и разлагающему влиянию больших городов. С тех пор этот символ эксплуатируется и поныне.

Впрочем, вопрос стоял гораздо шире, а именно: смогут ли

правляющие режимы государств и правящие классы обрести новую легитимность во мнении народных масс, мобилизованных демократией. В тот период истории было сделано немало попыток найти ответ на этот вопрос. Задача стала актуальной, потому что древние механизмы социальной субординации часто оказывались совсем негодными. Так, германские консерваторы, являвшиеся партией, покровительствовавшей крупным землевладельцам и дворянам, потеряли в период 1881—1912 годов половину голосов своих избирателей по той простой причине, что 71 % их электората составляли жители деревень, насчитывавших менее чем по 2000 человек, население которых неуклонно уменьшалось, мигрируя в крупные города, где консерваторы собирали всего 5 % голосов. Верной опорой их оставались лишь юнкеры Померании, где за консерваторов голосовало 50 % всех избирателей, но по всей Пруссии в целом они могли собрать в свою пользу лишь 11—12 % голосов всех избирателей<sup>15\*</sup> Еще более острым было положение другого господствовавшего класса — либеральной буржуазии. Она совершила триумфальное восхождение к власти, вызвав социальные потрясения в среде старых иерархий и общин; свела все связи между людьми к простым рыночным отношениям, заменив понятие «общество людей» понятием «торговое общество»; и вот, когда массы вышли на политическую сцену, преследуя свои собственные интересы, они с враждебностью отвернулись от всех ценностей буржуазного либерализма. Это особенно ярко проявилось в Австрии, где к концу столетия либеральные убеждения были приняты лишь среди небольших разрозненных групп немцев и немецких евреев, проживавших в городах и представлявших собой лишь остатки процветающего среднего класса. Муниципалитет Вены, служивший им главной опорой в 1860-х годах, теперь был захвачен радикальными демократами и антисемитами из Христианско-Социальной партии и социал-демократами. Даже в Праге, где это буржуазное ядро могло претендовать на представительство интересов небольшого и сокращавшегося германоговорящего меньшинства (из состава всех классов), составлявшего около 30 000 человек или 7 % населения в 1910 г., — даже там они не смогли сохранить поддержку ни националистически настроенных студентов-немцев, ни мелкой

буржуазии, ни социал-демократов, ни политически пассивных немецких рабочих, ни даже части евреев<sup>16\*</sup>

Как же обстояли дела с самой государственной властью, которую все еще представляли, в основном, монархии? В некоторых странах она обновилась, утратив многие старые признаки, присущие ей еще с давних времен: так произошло в Италии и в Германии и особенно — в Румынии и в Болгарии. В других странах, таких как Франция и Испания, правящие режимы сильно изменились после революций, гражданских войн и военных поражений; изменения произошли в период после Гражданской войны; в республиках Латинской Америки изменения правящих режимов происходили постоянно. Даже в старых монархических государствах, таких, как Великобритания, агитация сторонников республики была (или казалась) в 1870-х годах отнюдь не шуточным делом. Все громче становились националистические призывы. В таких условиях государство, пожалуй, вряд ли могло рассчитывать на безусловную поддержку и верность всех своих субъектов и граждан.

Так настало время, когда правительства, интеллигенция и деловые люди открыли для себя политическую важность иррационализма. Интеллектуалы писали, а правительства — действовали. «Тот, кто для обоснования своего политического мышления прибегает к пересмотру значения действительного начала человеческой природы, должен начать с преодоления собственной привычки к преувеличению разумности человечества», — так писал британский ученый, специалист в области политики Грэхэм Уаллас в 1908 году, понимая, что его слова являются эпитафией либерализму девятнадцатого века<sup>17\*</sup> Теперь политическая жизнь стала переполняться ритуалами, символами и общественными призывами, откровенно обращенными к подсознанию. Поскольку старые (в первую очередь — религиозные) способы обеспечения чинопочитания, повиновения и верности пришли в негодность, возникла необходимость заменить их чем-то новым; так появились вновь изобретенные традиции, основанные на использовании как старых испытанных средств эмоционального возбуждения — блеска королевской власти, славы военных побед, так и новых — мощи империи и романтики колониальных завоеваний.

Дело это было непростое, и требовало, подобно выращиванию новых растений в саду, как постоянного ухода сверху, так и притока сил и роста — снизу. Правительства и правящие классы хорошо понимали, что они делали, учреждая новые национальные праздники — такие, как «День 14 июля» во Франции (с 1880 года) или церемонии чествования королевской власти в Британии, становившиеся все более сложными и пышными после их введения в 1880-х годах<sup>18\*</sup> Официальные комментарии британской конституции, изданные после расширения избирательного права в 1867 году, показывали четкое различие между ее «эффективными» статьями, с помощью которых правительство осуществляло свою деятельность, и ее «парадными» разделами, предназначенными для воодушевления масс, которые должны были быть счастливы, выполняя волю правительства<sup>19\*</sup> В городах (особенно в Германской империи) появилось множество каменных зданий и мраморных скульптур, с помощью которых власти стремились утвердить свою легитимность; эти творения отличались не столько художественными достоинствами, сколько помпезностью и дороговизной, обогащавшей архитекторов и скульпторов. Коронации монархов в Британии намеренно организовывались как политико-идеологические мероприятия, направленные на агитацию масс.

Все эти действия имели целью не просто создание впечатляющих ритуалов и символов, а скорее — заполнение пустоты, образовавшейся в результате применения политического рационализма либеральной эры, и удовлетворение новой потребности прямого обращения к массам, а также преобразование сознания масс. Одновременно с созданием новых традиций происходило открытие массового рынка и появление массовых зрелищ и развлечений. В полную силу заработала рекламная индустрия, впервые созданная в США после Гражданской войны. В 1880—1890-х годах был создан плакат в его современном виде. Тема «психологии толпы» стала излюбленной в устах французских профессоров социальной психологии и «духовных отцов» американской рекламы; один и тот же психологический стереотип вызвал к жизни такие разные мероприятия, как ежегодный «Королевский турнир» (основанный в 1880 г.), прославлявший британские воо-



руженные силы; праздники с иллюминациями, проводившиеся на морском побережье в Блэкпуле; спортивные площадки для населения, строившиеся новыми фирмами, зарабатывавшими на организации отдыха трудящихся; девушек, прославлявших королеву Викторию и продукцию фирмы «Кодак»; памятники Гогенцоллернам, воздвигнутые по указанию императора Вильгельма, и плакаты Тулуз-Лотрека, посвященные знаменитым артистам варьете.

Официальные инициативы имели наибольший успех там, где они использовали стихийные подсознательные чувства или массовые политические настроения. Так, праздник «14 июля» во Франции утвердился как подлинно народное торжество потому, что он был основан на приверженности населения воспоминаниям о Великой французской революции, но также и на желании иметь официально разрешенный карнавал<sup>20\*</sup> Германское правительство так и не смогло утвердить в сознании народа образ императора Вильгельма II как «отца нации», хотя и потратило на это бесчисленное количество камня и мрамора; зато сумело использовать стихийный националистический порыв населения, воздвигнув сотни «колонн Бисмарка» после смерти этого великого государственного деятеля, которого Вильгельм II (правивший с 1888 по 1918 год) отправил в отставку. Неофициальный немецкий национализм был привержен не императору, а Великой Германии (которую он прежде отвергал): ее военной мощи и глобальным амбициям, ее гимну «Германия — превыше всего», заменившему прежние более скромные гимны; ее новому прусско-германскому черно-бело-красному флагу, заменившему прежний — черно-красно-золотой флаг 1848 года (торжества по случаю принятия нового гимна и флага состоялись в 1890-е годы)<sup>21\*</sup>

Политические режимы вели скрытую борьбу за контроль над символами и национальными обрядами; над системой народного образования, особенно над начальными школами, служившими во времена демократии основной базой для «воспитания новых хозяев в правильном духе» (как выразился Роберт Лоу в 1867 году); и даже пытались взять под свой контроль церемонии рождения, брака и смерти, особенно там, где церковь не была достаточно надежной в политическом отношении. Из всех символов самое

мощное воздействие оказывали национальный гимн и военные марши, а также национальный флаг; гимны и марши часто исполнялись в те времена для всех желающих; в этой области прославились такие деятели, как Дж. П. Соса (1854—1932) и Эдвард Элгар (1867—1934). (В период 1890—1910 годов британский национальный гимн исполнялся очень часто, чаще, чем когда-либо раньше или потом.) При отсутствии монархии, как в США, флаг становился олицетворением и государства, и нации, и общества; ежедневное отдавание чести флагу было введено, как обязательный ритуал, сначала в сельских школах США, а затем распространилось по всей стране<sup>24\*</sup>

Счастлив был режим, который мог опереться на действенные и общепринятые национальные символы — такие, как британский монарх, который ежегодно посещал даже сугубо пролетарский праздник — финал розыгрыша кубка Британии по футболу, подчеркивая этим полное слияние массового общественного ритуала с массовым зрелищем. В то время стали множиться места, где можно было проводить и общественные и политические мероприятия; такие, как площадки перед памятниками в Германии, или новые спортивные залы и стадионы, которые можно было использовать для митингов и собраний. Читатели старшего поколения могут вспомнить речи Гитлера в берлинском дворце спорта «Спортпаласт». Счастлив был и тот режим, который мог отождествить себя с каким-либо великим историческим событием, вспоминаемым с симпатией народными массами, как например, революция и учреждение республики во Франции и в США. Государство и правительство могло и отобрать какой-нибудь яркий символ единства и верности у неофициального массового движения, как это случилось с «Марсельезой», которая сначала была гимном революции, а потом стала государственным гимном; пришлось революционерам придумывать свой контрсимвол, каким стал «Интернационал» социалистов<sup>25\*</sup>

Итак, государствам и правительствам приходилось соревноваться с неофициальными движениями. Обычно самыми яркими их примерами, представлявшими собой, по отношению к государству, нечто вроде отдельных общин (и даже контробществ и контркультур), считали Германскую и Австрийскую Социалис-

тические партии; однако сепаратизм этих партий был неполным, так как они сохраняли тесную связь с официальной культурой, благодаря приверженности системе государственного образования, вере в науку и вообще в силу разума, а также в ценность классического (т. е. буржуазного) искусства. Они тоже считали себя наследниками эпохи Просвещения. Националистические и религиозные движения — вот кто бросал настоящий вызов государству, создавая параллельную школьную систему, основанную на иной языковой или религиозной базе. Впрочем, как мы уже видели на примере Ирландии, все массовые движения стремились создать собственную централизованную систему ассоциаций и обществ, способную конкурировать с государственной системой.

#### IV

Могли ли государственные политические системы и правящие классы стран Западной Европы справиться с массовыми движениями, которые фактически (или потенциально) являлись подрывными? В целом, в период до 1914 года, им это удавалось; кроме Австрии, представлявшей собой конгломерат национальностей, каждая из которых по-своему представляла себе свое будущее, и которые удерживались вместе лишь благодаря долголетию своего престарелого императора Франца-Иосифа (правившего с 1848 по 1916 год), а также благодаря умелым действиям рационалистически настроенной бюрократической администрации, и вообще благодаря нежеланию многих национальных групп испытывать судьбу в новых условиях существования. Постепенно и понемногу, но они все-таки позволяли интегрировать себя в единую систему. Для большинства же остальных государств буржуазно-капиталистического Запада период с 1875 по 1914 год (особенно с 1900 по 1914 год) был, несмотря на тревоги и колебания, временем политической стабильности; при этом ситуация в других районах мира была, как мы далее увидим, совсем не такой (см. гл. 12).

Движения, подобные социализму, отвергавшие существовавшую систему, сами попали в ее сети, либо (если они были недо-

статочны мощными) были использованы ею в качестве «пугала» для достижения общественного согласия — ведь ничто не объединяет так сильно, как наличие общего врага! Именно так поступила «реакция» во Франции и антисоциалисты в имперской Германии. Даже на националистов нашли управу. Национализм Уэльса помог укреплению британского либерализма; вождь валлийцев Ллойд-Джордж стал министром в правительстве Британии и главным демагогом и соглашателем в лагере демократических радикалов и лейбористов. Ирландские националисты, пережив драматические события 1879—1891 годов, как будто бы успокоились, благодаря аграрной реформе и в силу политической зависимости от британского либерализма. Пангерманский экстремизм примирился с «Молодой Германией» благодаря милитаризму и империализму империи Вильгельма. Даже фламандцы в Бельгии оставались под влиянием Католической партии, которая не противодействовала сохранению унитарного двухнационального государства. Непримиримых ультраправых и ультралевых было нетрудно изолировать. Великие социалистические движения объявили о неизбежности революции, но пока что им хватало других дел. Когда в 1914 году разразилась война, большинство социалистов присоединились к своим правительствам и правящим классам в порыве патриотического единения. В Западной Европе была лишь одна политическая партия, составлявшая исключение из ряда перечисленных фактов, но она фактически только подтверждала общее правило. Это была Британская Независимая Лейбористская партия, продолжавшая оставаться в оппозиции к войне, согласно давней традиции британского нонконформизма и буржуазного либерализма; зато потом, в августе 1914 года, лейбористы повели дело так, что Британия оказалась единственной страной, в которой либералы — члены кабинета министров отказались от доводов пацифизма (по свидетельству Джона Морли, бывшего лейбористского лидера, автора биографий Гладстона и Джона Бернса).

Социалистические партии, принявшие войну, часто шли на это с неохотой и, в основном, из боязни растерять своих сторонников, которые в стихийном порыве устремились толпой под национальные знамена. В Британии, где не было всеобщей воин-

ской повинности, на военную службу добровольно записались 2 млн человек, за период с августа 1914 по июнь 1915 года, что послужило грустным доказательством успеха политики демократической интеграции. Только там, где правительства не постарались убедить простых граждан в том, что они и есть государство и нация (как в Италии), или где такая агитация провалилась (как в Чехии), народ остался равнодушным к войне. Массовое же антивоенное движение началось значительно позже.

Поскольку политическая интеграция шла успешно, правящие режимы были озабочены лишь отражением повседневной угрозы прямых противоправных действий, особенно распространившихся в последние годы перед войной. Однако это была, скорее, угроза общественному порядку, а не социальной системе, поскольку в главных буржуазных странах отсутствовала революционная и даже предреволюционная ситуация. Выступления виноградарей на юге Франции и мятеж 17-го полка, посланного на их усмирение (1907 год); бурные, почти всеобщие забастовки в Белфасте (1907 год), в Ливерпуле (1911 год) и в Дублине (1913 год); всеобщая забастовка в Швеции (1908 год) и даже «трагическая неделя» в Барселоне (в 1909 г.) сами по себе не могли потрясти основы политических режимов. Хотя они и были действительно серьезными и говорили об уязвимости экономического строя. В 1912 г. британский премьер-министр лорд Асквит, объявляя об уступках правительства, вызванных всеобщей забастовкой шахтеров, даже прослезился, вопреки представлениям о пресловутой сдержанности британских джентльменов.

Эти явления не стоит недооценивать. Современники, даже не зная о последовавших событиях, часто чувствовали в те предвоенные годы, что общество сотрясает внутренние толчки, подобные сейсмическим колебаниям, предшествующим крупному землетрясению. Это были годы, когда слухи о насилиях витали в воздухе и обсуждались повсюду, как в деревенских домах, так и в дворцах средиземноморского побережья. Они лишь подчеркивали неустойчивость и хрупкость политического строя «прекрасной эпохи».

Однако переоценивать эти события тоже не стоит. Если говорить об обстановке в главных буржуазных странах, то их ста-

бильности и миру угрожали ситуация в России, в империи Габсбургов и на Балканах, но не в самой Западной Европе и даже не в Германии. Политическую ситуацию в Британии накануне войны обостряли не выступления рабочих, а противоречия в правящей верхушке, конституционный кризис, вызванный противостоянием Палаты общин и ультрареакционной Палаты Лордов, и коллективный отказ офицеров выполнять приказы либерального правительства, согласившегося с предоставлением самоуправления Ирландии. Без сомнения, все эти кризисные явления были отчасти вызваны политической мобилизацией трудящихся, которой с тупым упорством сопротивлялись лорды и перед которой была бессильна интеллигентская демагогия Ллойд-Джорджа, имевшая целью удержать «народ» в рамках «системы» и в подчинении правителей. Последний и самый тяжелый кризис был вызван политическим соглашением либералов с католической Ирландией о предоставлении ей автономии и отказом консерваторов, поддерживавших вооруженное сопротивление ультраправых протестантов Ольстера, присоединиться к этому соглашению. Парламентская демократия, представляющая собой одну из разновидностей политической игры, была не в состоянии справляться с такими ситуациями, в чем мы убеждаемся и теперь, в 1980-е годы, т. е. много лет спустя.

Несмотря на это, в период 1680—1914 годов правящие классы убедились, что парламентская демократия, вопреки их опасениям, оказалась вполне совместимой с капиталистическими режимами и не нарушила их политической и экономической стабильности. Это открытие, как и сама система, несло с собой много нового, по крайней мере — в Европе. Прежде всего — разочарование для революционеров, стремившихся изменить общественный строй. Дело в том, что Маркс и Энгельс всегда смотрели на демократическую республику как на промежуточное образование, удобное для перехода к социализму (несмотря на ее явно буржуазный характер), поскольку она не мешала (и даже способствовала) политической мобилизации пролетариата как класса, возглавившего движение угнетенных народных масс. Таким образом, она могла способствовать, вольно или невольно, неизбежной победе пролетариата в его борьбе с эксплуататорами. И вот те-

перь, к концу обозреваемого периода, со стороны апостолов социализма стали слышны совсем иные высказывания. Так, Ленин в 1917 году заявил следующее: «Демократическая республика является наилучшей, из всех возможных, формой существования капитализма, и, поскольку капитализм осуществляет над ней полный контроль, она обеспечивает самое полное и надежное сохранение его мощи, так что никакие события, никакие личности или государственные институты, или партии, действующие в буржуазно-демократической республике, не могут угрожать его основам»<sup>26\*</sup> Как всегда, Ленина интересовал не столько общий политический анализ ситуации, сколько поиск актуальных и весомых аргументов в его борьбе против Временного правительства, с целью передачи власти Советам. Как бы то ни было, нас не слишком волнует ценность этого высказывания, весьма спорного по своей сути, в немалой степени потому, что в нем не делается различия между экономическими и социальными условиями, гарантирующими государство от социальных потрясений, и государственными и общественными институтами, использующими эти условия. Нас интересует его правильность. Ведь до 1880-х годов такое заявление посчитали бы неверным как сторонники, так и противники капитализма, посвятившие себя политической деятельности. Даже ультралевые сочли бы такое осуждение демократической республики почти невероятным. Так что высказывание Ленина, сделанное в 1917 году, опиралось на опыт поколения, прошедшего период демократизации Запада, в котором особенно ценными были последние 15 лет перед мировой войной.

Однако зададимся вопросом: не был ли этот союз политической демократии и процветающего капитализма просто иллюзией уходящей эры? Ведь если оглянуться назад, на эти годы с 1880 по 1914-й, то поражает хрупкость и ограниченность возможностей такой комбинации. Она оставалась принадлежностью меньшинства благополучных и процветавших экономик Запада, собственных государствам, имевшим длительный опыт конституционного правления. Оптимизм демократии, вера в неизбежность исторических преобразований создавали впечатление, что прогресс остановить нельзя. Однако демократия не является, в кон-

це концов, всеобщей и обязательной моделью будущего. Начиная с 1919 года, все государства Европы, расположенные к западу от границ России и Турции, систематически реорганизовывались по демократической модели. И что же, сколько демократий осталось в Европе к 1939 г.? По мере того как укреплялся фашизм и другие диктаторские режимы, правильность утверждений Ленина все больше подвергалась сомнению, и, в немалой степени, — именно его последователями. Некоторые пришли к выводу, что капитализм неизбежно должен расстаться с буржуазной демократией. Но и это оказалось неверным. Буржуазная демократия возродилась из пепла в 1945 году и с тех пор стала излюбленной системой общественного устройства тех капиталистических стран, которые, являясь достаточно прочными, экономически благополучными и социально неполяризованными и нерасколотыми, могли позволить себе столь выгодную модель. Однако эта социальная система эффективно работает лишь в очень немногих государствах из тех 150, которые входят в Организацию Объединенных Наций в конце XX века. Прогресс политики демократизации в период 1880—1914 годов не стал предвестником ни постоянства демократии, ни ее всеобщего и полного торжества.



---

## ГЛАВА 5

# РАБОЧИЕ МИРА

*Я как-то познакомился с сапожником по фамилии Шредер; он потом уехал в Америку. Он дал мне почитать несколько газет; я просмотрел их от скуки, а потом мне стало интересно. Там писали о страданиях рабочих, об их зависимости от капиталистов и хозяев, и все это было так верно и живо описано, что я был поражен. Как будто кто-то открыл мне глаза! Черт побери, ведь все это было правдой, все, что они там написали! Вся моя жизнь, весь мой опыт подтверждали это.*

Рабочий из Германии, 1911 г.<sup>1\*</sup>

*Они (европейские рабочие) чувствуют, что скоро должны произойти великие социальные перемены; что уже опущен занавес над финальной сценой человеческой комедии, в которой правящие классы сами, в своем кругу и в свою пользу, вершили все дела; что приход демократии не за горами; и что борьба трудящихся за свои права должна положить конец всем этим войнам между народами, которые являются не чем иным, как просто дракой рабочего люда между собой, от которой ему нет никакой пользы.*

Сэмюэл Гомперс, 1909 г.<sup>2\*</sup>

*Жизнь пролетария; смерть пролетария; и кремация, в духе культурного прогресса.*

Девиз Похоронного общества австрийских рабочих  
(из газеты «Пламя»)<sup>3\*</sup>

---

## I

Ввиду неизбежного расширения электората большинство избирателей стали составлять бедные, или необеспеченные, или недовольные жизнью люди, или те, кто вообще был и беден, и уязвим, и недоволен. Экономическое и социальное положение этих людей не давало им никаких преимуществ, наоборот, было связано с тяжелыми проблемами; иначе говоря, положение их класса было совершенно невыгодным. Этот класс, ряды которо-

го явно росли, по мере того, как волна индустриализации захлестывала Запад; присутствие которого становилось все более неизбежным, а классовое сознание — все более непосредственно угрожающим по отношению к социальной, экономической и политической системе современного общества — этот класс назывался пролетариат. Именно этих людей имел в виду молодой Уинстон Черчилль (в то время министр в кабинете либералов), предупреждая парламент о том, что если политика двухпартийной системы консерваторов и либералов рухнет, то ей на смену придет новая политика — политика классов.

Количество людей, зарабатывавших себе на жизнь физическим трудом, постоянно росло во всех странах, захваченных приливной волной западного капитализма, затопившей мир от ферм Патагонии и рудников Чили до золотых приисков холодной Сибири, ставших ареной мощных забастовок и расстрелов, случившихся накануне войны<sup>25</sup>. Рабочие требовались всюду: в современных городах — для строительства и обеспечения работы систем коммунального снабжения, ставших в XIX веке жизненно важными: газового хозяйства, водопровода и канализации; для обслуживания портов, железных дорог и телеграфных линий, связывавших воедино всю мировую экономику. На всех пяти континентах работали шахты и рудники. К 1914 году в широких масштабах эксплуатировались нефтяные месторождения Северной и Центральной Америки, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Среднего Востока. Рынки городов, даже в аграрных странах, получали все больше товаров, изготовленных путем промышленной переработки сырья: продуктов, напитков, лекарств, текстиля, поступавших из промышленных стран; в некоторых странах, таких как Индия, создавалась своя текстильная и даже металлургическая промышленность. Наиболее впечатляющим был рост численности наемных рабочих в странах Европы и Северной Америки, либо уже давно вступивших на путь индустриализации, либо приступивших к ней в период промышленной революции 1870—1914 годов; к последним относилась также Япония и заморские страны с белым населением; в каждой из этих стран происходило формирование своего рабочего класса, становившегося признанной частью экономической системы.

Рост рабочего класса происходил за счет пополнения его рядов из двух больших слоев прединдустриального общества: ремесленников и сельскохозяйственных, рабочих, которые до этого времени вообще составляли большинство человечества. К концу столетия особенно ускорился и усилился процесс урбанизации; поэтому значительную часть потока эмигрантов стало составлять городское население, даже выходцы из небольших городов, как например, евреи, покидавшие города Британии и Восточной Европы. Такие люди просто меняли один вид несельскохозяйственной деятельности на другой. Что же касается мужчин и женщин, уезжавших «от земли» и вливавшихся в так называемый «сельский поток» эмигрантов, то довольно немногие из них имели потом возможность снова заняться сельскохозяйственным трудом, даже если у них и было такое желание.

Дело в том, что модернизированное фермерское сельское хозяйство западных стран требовало значительно меньше постоянно занятых рабочих рук, чем раньше, хотя широко использовался труд рабочих, приезжавших на сезон, нередко издалека, перед которыми фермеры не несли никакой ответственности по окончании работ. Так, в Германию приезжали сезонные рабочие из Польши; в Аргентину — «перелетные ласточки» из Италии; в США на уборку урожая съезжались бродяги и безработные из других штатов и мексиканцы. (Говорят, что итальянцы не хотели ездить на уборку урожая в Германию, потому что поездка из Италии в Аргентину стоила дешевле, и оплата труда в Аргентине была более высокой.) В любом случае, совершенствование сельскохозяйственного производства вело к уменьшению количества работников. Яркий пример — Новая Зеландия, где в 1910 г. не было сколько-нибудь заметной промышленности и которая жила исключительно за счет чрезвычайно эффективного сельского хозяйства, специализированного на выращивании скота и производстве молочных продуктов: там 54% населения жили в городах, причем 40% населения составляли работники «третьего сектора» экономики, т. е. люди, не занимавшиеся физическим трудом (это было в 2 раза больше соответствующего показателя по Европе, без учета данных по России)<sup>5\*</sup>

При этом отсталое сельское хозяйство «неразвитых» регионов

не располагало достаточным количеством земли, чтобы обеспечивать ею всех желающих сельских жителей, количество которых росло. Когда они эмигрировали, то заветным желанием большинства из них было избавление, хотя бы со временем, от тяжелого физического труда. Они отправлялись «покорять Америку» (или другую страну) с надеждой, проработав несколько лет, скопить денег, чтобы купить дом и участок земли где-нибудь в деревне: на Сицилии, в Польше или в Греции, и жить на положении «человека со средствами», пользуясь уважением соседей. И кое-кто возвращался, но большинство оставалось, чтобы трудиться на стройках, в шахтах, на сталеплавильных заводах и в других подобных местах в городах и на предприятиях, где требовались прежде всего рабочие руки для выполнения тяжелого труда. Дочери и невесты выполняли надомные работы.

В то же самое время механизация труда и фабричное производство лишали средств к существованию значительные массы трудящихся, которые до конца XIX века выполняли самые необходимые и широко распространенные работы по обслуживанию населения: шили одежду, изготавливали или чинили обувь, делали мебель и другие вещи, применяя методы ручного производства, существовавшего в самых разных видах: от ювелирной или часовой мастерской до кузницы или небольшого швейного заведения, ютившегося где-нибудь под крышей. И хотя само количество работников этих производств не слишком сократилось, их доля, в процентах от общего количества трудящихся, резко уменьшилась, несмотря на то, что общий выпуск продукции заметно возрос. Так, в Германии в 1882—1907 гг. количество людей, занятых в производстве обуви, уменьшилось незначительно: с 400 000 до 370 000 человек; а расход кожи для изготовления обуви вырос вдвое в 1890—1907 гг. Ясно, что большая часть прироста выпуска обуви пришлось на крупные предприятия, которых в те годы было около 1500 (их количество с 1882 г. утроилось, а количество их наемных рабочих выросло в 6 раз), а не на мелкие мастерские, не имевшие наемных рабочих или использовавшие менее 10 рабочих, так как их количество сократилось на 20%, а доля рабочей силы (в процентах от общего количества работников обувного производства) уменьшилась до 63%, по сравнению

с 93% в 1882 г.<sup>6\*</sup> Таким образом, в странах, где индустриализация шла быстрыми темпами, сектор прединдустриального производства поставлял промышленности не очень большое, но все же существенное количество людей, пополнявших новый рабочий класс.

Численность пролетариев в промышленных странах росла благодаря безграничному спросу на рабочие руки, возникшему в этот период экономической экспансии; причем требовалось немало работников, уже обладавших навыками труда, полученными в ремесленном производстве, и готовых применить их в соответствующих отраслях промышленности. Рост промышленности все еще происходил на основе применения квалифицированного ручного труда и новой техники «века пара», либо вообще без серьезного усовершенствования производства (как в строительстве); поэтому существовал спрос на старые ремесленные специальности, либо на специальности, полученные на основе старых ремесел: например, специальности кузнеца или слесаря находили спрос в машиностроении. Это имело определенное значение, поскольку бывшие опытные ремесленники составляли тот привилегированный слой класса наемных рабочих, из которого выделялись самые активные, образованные и сознательные представители пролетариата первых индустриальных стран: так, лидером Германской Социал-Демократической партии стал Август Бебель — бывший токарь-краснодеревщик, а Испанскую Социалистическую партию возглавлял бывший печатник Иглесиас.

Поскольку промышленный труд был немеханизированным и не требовал высокой квалификации, он был доступен большинству необученных рабочих, но при этом оставался интенсивным, так что увеличение выпуска продукции требовало увеличения количества работников. Вот два ярких примера: строительное производство, с помощью которого создавалась инфраструктура для промышленности, транспорта и быстро растущих городов-гигантов; и угледобывающая промышленность, дававшая сырье для получения основного вида энергии того времени — энергии пара; обе эти отрасли использовали целые армии рабочих. Численность строительных рабочих в Германии выросла с 500 тысяч в 1875 году до 1,7 млн в 1907 году, т. е. с 10% до почти 16% всей

рабочей силы страны. В 1913 г. в Британии не менее 1,25 млн человек (в Германии в 1907 году — 800 тысяч человек) были заняты на подземных работах: добыче, погрузке и транспортировке угля и подъеме его на поверхность; так добывался этот «хлеб промышленности», питавший всю мировую экономику. (Для сравнения: в 1985 году в Британии было 197 000, а в Германии — 137 500 шахтеров.) С другой стороны, механизация производства, вытеснявшая труд квалифицированных и опытных рабочих путем замены его комплексом специализированных машин или специальным производственным процессом, тоже приводила к использованию более или менее неквалифицированной рабочей силы, т. е. низкооплачиваемых «зеленых» новичков; так было прежде всего в США, где старые ремесленные производства не имели большого распространения и не пользовались уважением. Как говорил Генри Форд: «Отнюдь не все хотят быть высококвалифицированными»<sup>7\*</sup>

По мере того как XIX век приближался к концу, не осталось ни одной страны, осуществлявшей (или закончившей) индустриализацию и урбанизацию, в которой не образовались бы эти исторически беспрецедентные, безликие, безродные массы трудящихся, составлявшие неуклонно увеличивавшуюся часть ее населения, которая, в недалеком будущем, могла стать подавляющим большинством. Ситуация обострялась вследствие того обстоятельства, что еще не получил развития процесс диверсификации экономики промышленных стран, результатом которого должен был стать рост количества рабочих мест в «третьем секторе» экономики, т. е. в офисах, магазинах и на предприятиях коммунального обслуживания; только в США численность трудящихся «третьего сектора» уже превышала количество промышленных рабочих. В некоторых странах, казалось, преобладала даже обратная тенденция. Города, население которых в прединдустриальную эру состояло, в первую очередь, как раз из работников «третьего сектора» (поскольку ремесленники были, как правило, и владельцами магазинов) — теперь стали промышленными центрами. Так что к концу XIX века около 70% трудящегося населения крупных городов (т. е. имевших более 100 000 жителей) было занято в промышленности<sup>8\*</sup>

Когда люди конца XIX века сравнивали свое настоящее с не столь далеким прошлым, то их поражали две вещи: громадный рост армии промышленных рабочих и, не менее того, рост специализации промышленности, наблюдавшийся в пределах каждого промышленного района и даже каждого города. Типичный промышленный город, т. е. город с населением от 30 до 300 тысяч человек (тогда как в начале века город с населением более 100 тысяч человек считался очень крупным!) имел, так сказать, «однотонную окраску», в лучшем случае — с двумя или тремя «оттенками; так в Лодзи, Рубэ, Данди и Лоуэлле царствовала текстильная промышленность; в Эссене и Мидлсборо — уголь, чугун и сталь, и по отдельности, и в разных сочетаниях; в Ярроу и Барроу — производство вооружений и судостроение; в Людвигсгафене и Виднесе — химия. В этом отношении от всех перечисленных городов сильно отличались новые многомиллионные мегалополисы, имевшие огромные размеры и насыщенные разнообразными промышленными предприятиями, причем — независимо от того, являлись ли они столицами государств или нет. Хотя некоторые великие столицы служили и важными промышленными центрами (например, Берлин, Петербург, Будапешт), обычно столицы все же не играли главной роли в промышленности своей страны.

Еще более удивительным казалось то, что массы трудящихся, неоднородные по своему составу и характеру, стремились все, в первую очередь, получить работу в крупных разветвленных фирмах, предприятия которых насчитывали от нескольких сот до многих тысяч рабочих и выпускали разнообразную продукцию (особенно те из них, которые находились в новых центрах тяжелой промышленности). На заводах Круппа в Эссене, Виккерса — в Барроу, Армстронга — в Ньюкасле трудились десятки тысяч рабочих. При этом общая численность работников этих гигантов составляла меньшинство от всей армии промышленных рабочих. Даже в Германии среднее количество работников одного предприятия составляло в 1913 г. всего 23—24 человека\* (если даже брать только предприятия, имевшие более 10 рабочих); однако меньшинство, трудившееся на сверхкрупных предприятиях, привлекало к себе все большее внимание и представляло со-

бой потенциально грозную силу. Что бы там ни говорили впоследствии историки, но для современников эти скопления рабочих казались непомерной, неотвратно растущей и внушительной силой, отбрасывавшей мрачную тень на весь установившийся общественный порядок и на политическую жизнь. Стоило только задуматься над тем, что произойдет, если они осознают себя как класс, способный к единым политическим действиям!

Именно так и произошло, причем, если оценивать события в масштабе всей Европы, случилось это внезапно и чрезвычайно быстро. Везде, где только позволяла демократизация политики и избирательной системы, на политическую сцену выходили и начинали расти с поразительной быстротой массовые партии, опиравшиеся на рабочий класс и руководствовавшиеся идеологией революционного социализма (хотя любой социализм по самой своей сути считался революционным); их возглавляли люди, преданные такой идеологии (это были не только мужчины, но, иногда, и женщины). В 1680-е годы все эти партии еще только появились (кроме Германской Социал-Демократической партии, созданной в 1875 году путем объединения и уже представлявшей собой внушительную силу на арене предвыборной борьбы). Уже в 1906 году их существование стало настолько привычным, что один германский исследователь счел возможным выпустить книгу под названием: «Почему в США нет социализма?»<sup>10\*</sup> Существование массовых рабочих и социалистических партий стало нормой жизни, а их отсутствие вызывало удивление. В действительности, к 1914 году массовые социалистические партии существовали даже в США, где кандидат социалистов собрал на выборах почти 1 млн голосов; а также в Аргентине, где Социалистическая партия собрала в 1914 году 10% голосов избирателей; а в Австралии Лейбористская партия (по правде говоря, довольно далекая от социализма) сформировала в 1912 г. федеральное правительство. Что же касается Европы, то там социалистические и рабочие партии имели внушительный электорат почти во всех странах, где это позволяли условия. Они оставались в меньшинстве, но в некоторых государствах, в первую очередь, в Германии и в странах Скандинавии, они уже являлись крупнейшими национальными партиями, за которых голосовало 35—40% из-



бирателей, и каждое новое расширение электората показывало готовность масс промышленных рабочих голосовать за социализм. И они не только голосовали, но и организовывались в гигантские армии: так, Рабочая партия Бельгии насчитывала в 1911 г. 276 тысяч членов (в такой небольшой стране!); великая Германская Социал-Демократическая партия (СДПГ) насчитывала более 1 млн человек; при этом рабочие организации, связанные с партиями, но имевшие меньшую политическую направленность (профсоюзы, кооперативные общества) были еще более массовыми и многочисленными.

Конечно, не все армии трудящихся были такими большими, прочными и дисциплинированными, как социалистические партии стран Северной и Центральной Европы. Но даже там, где рабочие партии представляли собой просто плохо организованные группы активистов или местных радикалов, готовых возглавить при случае массовое движение, к ним все же приходилось относиться со всей серьезностью. Они стали важным фактом национальной политики. Так, Французская Социалистическая партия, насчитывавшая в 1914 году 76 000 членов, не была ни слишком крупной, ни вполне единой, и, тем не менее, получила на выборах 1,4 млн голосов и провела в парламент 103 депутата. Итальянская Социалистическая партия, имевшая еще более скромную численность — 50 000 тысяч человек, собрала на выборах почти 1 млн голосов. Короче говоря, рабочие и социалистические партии росли почти повсеместно с такой скоростью, которая казалась современникам (в зависимости от их точки зрения) либо пугающей, либо чудесной. Их лидеры поздравляли друг друга с триумфальными рекордами роста, перекрывавшими показатели прошлых лет. Достаточно было просто увидеть промышленные районы Британии и познакомиться с результатами переписей, чтобы убедиться в одном: пролетариат вскоре будет составлять огромное большинство населения. Ну а пролетариат объединялся вокруг своих партий. Согласно систематическим подсчетам германских социалистов, склонных к статистике, было лишь вопросом времени достижение этой партией магического показателя в 51 % голосов всех избирателей, которое в демократическом государстве стало бы поворотным историческим событием. А даль-

ше, как говорилось в новом гимне социалистов: «С Интернационалом воспрянет род людской!»

Нам нет необходимости разделять этот оптимизм, который оказался неуместным. Тем не менее перед 1914 годом было ясно, что даже самые преуспевающие политические партии имеют еще широкие потенциальные резервы, способные оказать им дальнейшее пополнение и поддержку, и что эти партии еще продолжают расти. Поэтому вполне естественно, что необыкновенный рост социалистических рабочих партий, происходивший с 1880-х годов, приводил в возбуждение их членов и сторонников, как и их лидеров, и порождал у них радужные надежды на историческую неизбежность их торжества. Никогда прежде не было такого «времени надежд» для тех, кто трудился на фабриках, в мастерских, в шахтах, зарабатывая себе на жизнь собственными руками. Как говорили слова одной песни русских социалистов: «Черные дни миновали, час искупленья пробил!».

## II

Этот замечательный рост партий рабочего класса казался, на первый взгляд, просто удивительным. Их сила заключалась, главным образом, в элементарной простоте их политических призывов. Это были партии, состоявшие из рабочих, зарабатывавших деньги физическим трудом. Они представляли рабочий класс в его борьбе против капиталистов и их государства; а их целью было создание нового общества, которое должно было начать свою деятельность с эмансипации рабочих, выполняемой ими самими, а затем осуществить эмансипацию всего человечества, за исключением ничтожной кучки эксплуататоров. В идеологии большинства новых партий занимала все большее место марксистская доктрина, сформулированная в период после смерти Маркса и до конца столетия; она привлекала ясностью изложения новых программных истин, которым она придавала огромную силу политического воздействия. Следуя ей, достаточно было просто знать, что все рабочие должны вступить в новые партии или поддержать их, а потом история сама обеспечит им победу в будущем.

Согласно этой доктрине, предполагалось, что класс рабочих является достаточно многочисленным и однородным, чтобы осознать себя в виде «пролетариата» (в марксистском понимании этого термина), убежденного в правильности социалистического понимания ситуации и текущих задач, первой из которых была задача создания пролетарских партий с целью участия в политической борьбе. (Заметим, что не все революционеры соглашались с принципом первоочередности политической борьбы, но мы оставим на время в стороне мнение этого меньшинства, вдохновлявшегося идеями анархизма, хотя и не связанного с ним.)

Однако практически все аналитики-специалисты по изучению деятельности рабочего класса соглашались с тем, что так называемый «пролетариат» отнюдь не был однородной массой, даже в пределах одной нации. Само выражение «рабочий класс» употреблялось до создания новых партий обычно во множественном («рабочие классы»), а не в единственном числе.

Фактически различия внутри той массы, которую социалисты называли одним словом «пролетариат», были столь велики, что могли воспрепятствовать практическому утверждению в ней единого классового сознания.

Пролетариат (в классическом смысле этого слова), т. е. рабочие современных фабрик и заводов, часто представлял собой лишь небольшое, хотя и быстро растущее меньшинство, далекое от основной массы рабочих, трудившихся в мастерских, на фермах, на улицах городов и в системе коммунального обслуживания, словом, во всех уголках огромного лабиринта, который представляло собой хозяйство малых и больших городов, вмещавшее массу наемной рабочей силы. При этом рабочие, трудившиеся в разных отраслях промышленности, на мелких предприятиях и в других местах, нередко отделенных и изолированных друг от друга, по-разному оценивали свое положение и свои проблемы. Действительно, много ли было общего между, например, рабочими котельных (в Британии), где трудились одни мужчины, и женщинами-работницами текстильных фабрик; или между трудившимися в одних и тех же портовых городах квалифицированными рабочими судоверфей и докерами, грузчиками и строителями. Различия шли не только по вертикали, но и по горизонта-

ли: между простыми рабочими и десятниками; между рабочими привилегированных профессий и остальными; между рабочей аристократией, люмпен-пролетариатом и промежуточными слоями; и даже между разными слоями квалифицированных рабочих, где типографский наборщик презирал каменщика, а тот, в свою очередь, свысока смотрел на маляра. Были не только различия, но и соперничество между группами рабочих за определенные виды работ; причиной могло послужить совершенствование технологических процессов, преобразившее старые отрасли и стиравшее традиционную разницу между, например, слесарем и кузнецом, так что высокая квалификация и опыт вдруг теряли свое значение. Там, где работодатели были сильны, а рабочие плохо организованы, они покорно трудились на своих местах, определенных самой технологией и организацией производства; в других случаях возникали «пограничные конфликты» между квалифицированными рабочими разных специальностей (как, например, на верфях Британии в 1890-е годы), что приводило к стихийным и никому не нужным забастовкам.

В добавление ко всему этому существовали еще более явные различия социального и географического характера, а также различия по национальности, языку, культуре и религии, возникавшие именно потому, что расширяющаяся промышленность формировала свои быстро растущие трудовые армии, рекрутируя людей из всех уголков страны и из-за рубежа, благодаря международной и трансокеанской миграции населения. Поэтому то, что, по мнению одних, выглядело как процесс сосредоточения людей (и мужчин, и женщин) в единый рабочий класс, по мнению других представляло собой рассеивание и разброс обломков общин и диаспор, принявшее гигантские масштабы. Поскольку указанные различия разделяли рабочих, они явно служили на пользу работодателям (нередко поощрявшим их), особенно это было заметно в США, где пролетариат состоял, в основном, из разного рода иммигрантов. Даже такой боевой отряд американских рабочих, как «Западная федерация шахтеров Скалистых гор», оказалась на грани раскола, вызванного стычками между квалифицированными рабочими, выходцами с Корнуолла, приверженцами методистской церкви, и менее квалифициро-

ванными ирландцами-католиками; первых ценили на рудниках всего мира, как специалистов по тяжелым горным работам, а вторые трудились на всех окраинах англоговорящей зоны земного шара, где только требовалась физическая сила и тяжелый труд.

Каково бы ни было действие внутренних различий рабочего класса, но различия по национальности, религии и языку определенно разделяли их. Трагическую известность получил пример Ирландии. Но даже в Германии было больше противников социальной демократизации среди рабочих-католиков, чем среди протестантов, а рабочие-чехи в Богемии не хотели вступать в общевосточное движение, где доминировали германоговорящие рабочие. Маркс говорил: «У рабочих нет отечества, у них есть только свой рабочий класс». Социалисты настойчиво призывали рабочие движения к интернационализму не только под влиянием своих идеалов, но и потому, что интернационализм нередко являлся существенным предварительным условием их деятельности. Ведь как иначе можно было организовать рабочих, например, в таком городе, как Вена, где третью часть их составляли иммигранты из Чехии; или в Будапеште, где квалифицированные рабочие были немцы, а остальные — словаки и мадьяры. Пример крупного промышленного центра, Белфаста, показал (и показывает до сих пор), что может произойти, когда рабочие видят в себе прежде всего католиков, или протестантов, а уж потом — вообще трудящихся, или хотя бы — вообще ирландцев.

К счастью, призыв к интернационализму или к интеррегионализму (что для больших стран представляло почти то же самое) имел определенный эффект. Различия в языке, национальности и религии не могли, сами по себе, предотвратить формирование единого классового сознания, особенно когда группы рабочих разных национальностей не вступали в конфликты между собой, занимая каждая свою нишу на рынке труда. Эти различия создавали трудности только тогда, когда выражали или символизировали жестокие групповые противоречия внутри класса рабочих, либо разногласия, мешавшие объединению всех рабочих. Рабочие-чехи с подозрительностью относились к германским рабочим не потому, что те тоже были трудящимися, а потому,

что они представляли нацию, смотревшую на чехов как на людей второго сорта. Ирландцы-католики в Ольстере не верили призывам к классовому единству, потому что они видели в 1870—1914 гг., как католиков вытесняли с хорошо оплачиваемых рабочих мест в промышленности, которые, с одобрения профсоюзов, практически стали монополией протестантов. Но даже при таких обстоятельствах сила классового опыта была такова, что национальное или религиозное самосознание рабочих могло только сузить их классовое самосознание, но не могло заменить его. Человек чувствовал себя рабочим, хотя и рабочим-чехом, поляком или католиком.

Католическая церковь, несмотря на глубокую враждебность к идеям деления общества на классы и противостояния классов, чувствовала себя обязанной помогать (или хотя бы не мешать) формированию союзов рабочих (даже католических профсоюзов, бывших в этот период, как правило, небольшими), хотя все же предпочитала иметь дело с совместными организациями работодателей и наемных работников. Чего она действительно не терпела — так это не классового самосознания рабочих как такового, а именно их политической классовой сознательности. Поэтому даже в Ольстере, раздиравшемся религиозной враждой, допускалось существование профсоюзов и формирование партии трудящихся обычного типа. При этом, однако, единство рабочих было возможно лишь в ограниченных пределах, пока не затрагивались два жизненно важных вопроса: религия и самоуправление Ирландии, так как по этим проблемам католики и протестанты, «оранжевые» и «зеленые» рабочие никак не могли договориться. В этих условиях могло существовать какое-то профсоюзное движение и борьба трудящихся за свои права, но не могла действовать партия рабочих, основанная на классовом самосознании — разве что в пределах каждой из религиозных общин или в виде какой-то слабой организации промежуточного типа.

К факторам, затруднявшим организацию рабочих и формирование их классового самосознания, следует добавить также неоднородность структуры самой индустриальной экономики, связанную с неравномерностью ее развития. Это не касалось лишь Британии, в которой давно существовали лейбористские органи-

зации и действовало сильное чувство классовой солидарности, не имевшее политической окраски. В этой стране индустриализация начиналась в архаичных, поистине средневековых условиях, допускавших формирование профсоюзов в виде довольно примитивных, большей частью децентрализованных тред-юнионов, создававшихся на базе союзов ремесленников; после этого профсоюзы укоренились в основных отраслях промышленности этой страны; причем промышленность, по ряду причин, развивалась не столько путем замены ручного труда машинным, сколько путем сочетания ручных операций с использованием энергии пара. Во всех главных отраслях промышленности Британии, являвшейся «мастерской мира», — в текстильной промышленности, в горном деле, в металлургии, в машиностроении и в судостроении (в котором Британия играла ведущую роль) — существовали профсоюзные организации в виде «ядра активистов», распространявшие свою деятельность, в основном, на людей одной профессии или одного производства, потом они послужили основой для создания массовых профсоюзов. В период 1867—1875 годов профсоюзы добились юридического оформления своих прав и получили такие привилегии, которые воинственно настроенные работодатели, консервативные правительства и судьи едва сумели уменьшить или отменить только в 1980-е годы. Организации трудящихся не только существовали и стали общепринятыми; они имели большие права и влияние, особенно во всем, что касалось условий труда на каждом рабочем месте. Это исключительное, можно сказать, уникальное влияние профсоюзных организаций создало впоследствии немалые (и постоянно возрастающие) трудности для промышленной экономики Британии; фактически даже в наше время оно создает проблемы предпринимателям, внедряющим механизацию или новые методы организации производства без учета существующих условий. В период до 1914 года хозяевам пришлось уступать в большинстве случаев при возникновении конфликтов по принципиально важным вопросам; впрочем, здесь мы упоминаем обо всем этом только для того, чтобы подчеркнуть исключительное положение Британии в этом вопросе. Вывод такой: рабочие, действуя политическими методами, могут способствовать усилению своих профсоюзов; однако по-

литическое давление, по своим результатам, не может полностью заменить влияние профсоюзов.

В других местах положение с правами трудящихся складывалось по-разному. В общем можно сказать, что профсоюзы в то время эффективно действовали лишь «на окраинах» современной, особенно крупной, промышленности: в мастерских, на строительных площадках, на мелких и средних предприятиях. Организации, которые, теоретически, должны были быть общенациональными, на практике были децентрализованы и крайне локализованы. В таких странах, как Франция и Италия, эффективно действовали объединения мелких местных профсоюзов, группировавшихся вокруг местных профсоюзных клубов. По правилам французской национальной федерации профсоюзов («ССТ»), для создания профсоюзной организации национального масштаба требовалось, чтобы она объединяла не менее трех профсоюзов<sup>12\*</sup>. На крупных модернизированных промышленных предприятиях с профсоюзами никто не хотел считаться. В Германии, в районах тяжелой промышленности Рейнланд и Рур, не чувствовалось влияния «Свободных немецких профсоюзов» и социальной демократизации. В США в 1890-х годах профсоюзное движение в крупной промышленности было практически ликвидировано и не возрождалось до 1930-х годов, хотя и сохранялось в мелкой промышленности и в небольших строительных организациях, благодаря определенной ограниченности рынка труда крупных городов, в которых политика муниципальных контрактов и расцвет взяточничества открывали для профсоюзов широкое поле деятельности. Деятельность местных объединений небольших ячеек организованных рабочих и профессиональных трудовых объединений (охватывавших, как правило, квалифицированных рабочих) иногда перемежалась забастовками, которые на время объединяли массы трудящихся; но эти выступления носили обычно случайный и ограниченный характер.

Лишь отдельные забастовки привлекали внимание своим размахом; среди них выделялись выступления шахтеров, которые в этом отношении резко отличались от рабочих других профессий: плотников, слесарей, рабочих табачных фабрик, печатников и ремесленников, составлявших вместе обычный рабочий



класс, поставлявший кадры для новых пролетарских движений. Шахтеры, часто жившие вместе с семьями в отдельных поселках, таких же грязных и неустроенных, как и их шахты, были крепко связаны между собой узами совместного опасного труда и тяжелой жизни и отличались готовностью к коллективной борьбе; даже во Франции и в США у них имелись мощные профсоюзные организации (хотя бы действовавшие периодически). Об особенностях шахтерского труда говорилось так в одной простой песенке германских шахтеров, даваемой в примерном переводе:

Пекарь сам выпекает свой хлеб,  
Столяр сделает табурет;  
Только шахтеры в шахте сырой  
Смело встают друг за друга стеной!<sup>13\*</sup>

Учитывая большую численность шахтеров и их концентрацию в районах угледобычи, допустимо сказать, что они могли сыграть важную роль в рабочем движении (особенно в Британии).

Заслуживало внимания профсоюзное движение еще двух отраслей: на транспорте и на государственных предприятиях; здесь профсоюзы были организованы не по профессиям и иногда включали работников смежной отрасли. Работники государственных предприятий не имели права создавать профсоюзные организации; так было даже во Франции, которая позже стала оплотом профсоюзного движения работников государственных служб. Этот закон сильно тормозил создание профсоюзов на железных дорогах, часто являвшихся собственностью государства. Впрочем, на частных железнодорожных линиях тоже было трудно создавать рабочие организации из-за того, что их персонал был рассеян на больших пространствах, и по причине особого положения некоторых работников, особенно паровозных машинистов и членов паровозных бригад, работа которых имела стратегическое значение для государства. Железные дороги были крупнейшими предприятиями капиталистической экономики, и было практически невозможно создать профсоюзную организацию дороги, проходящей через всю страну; например, в 1890-х годах Лондон-

ская и Северо-Западная компания железных дорог имела 65 000 рабочих, обслуживавших 7000 км путей и 800 станций.

Другой важный вид транспорта, морской, был привязан к портам, имевшим тесные связи со всей экономикой. Любая забастовка в доках или в порту могла перерасти в общую забастовку на транспорте и даже во всеобщую забастовку. Не зря всеобщие забастовки, охватывавшие промышленность и происходившие особенно часто в первые годы XX века\*, начинались всегда в портовых городах: в Триесте, Генуе, Марселе, Барселоне, в Амстердаме. (Эти забастовки вызвали горячие идеологические споры среди социалистов.)

Всеобщие забастовки были гигантскими битвами трудящихся за свои права, но они вряд ли могли послужить основой для создания массового постоянного профсоюзного движения из-за неоднородности массы неквалифицированных рабочих, участвовавших в них.

Как ни отличались между собой морской и железнодорожный транспорт, но у них была общая черта: их важное стратегическое значение для национальной экономики, которая могла быть парализована в результате прекращения их работы. По мере роста рабочего движения правительства все больше понимали возможность такого удара и продумывали вероятные ответные меры; так, французское правительство сумело прервать всеобщую забастовку железнодорожников в 1910 г. путем призыва на военную службу 150 000 железнодорожников, подчинив их тем самым действию военной дисциплины<sup>14\*</sup>

Частные работодатели тоже понимали стратегическое значение транспорта. Когда в Британии началось в 1889—1890-х годах массовое расширение профсоюзного движения, вызванное забастовками моряков и докеров, то хозяева предприняли ответные меры, начав борьбу против железнодорожников Шотландии и против многочисленных, но слабых профсоюзов крупных морских портов. С другой стороны, профсоюзы перед войной плани-

---

\* Наряду со всеобщими забастовками экономического характера происходили краткие всеобщие забастовки в поддержку демократизации избирательного права, имевшие политическое значение.

ровали стратегический маневр в виде создания Тройственного союза шахтеров, железнодорожников и портовых рабочих. Таким образом, транспорт явно становился ключевым элементом классовой борьбы.

Еще более очевидным было возникновение другой зоны классовой конфронтации, приобретающей все большее значение: это были огромные и продолжавшие расти металлургическая и металлообрабатывающая отрасли промышленности. Здесь сила организованных трудящихся в виде традиционно крепких профсоюзов, объединявших квалифицированных рабочих старой ремесленной закалки, столкнулась с препятствием в виде новых крупных промышленных предприятий, на которых роль рабочих сводилась к управлению сложными специализированными машинами и агрегатами, не требовавшему высокой квалификации. Технический прогресс быстро сдвигал границы применения новых методов организации труда, обостряя конфликты классовых интересов. В мирное время ситуация еще находилась под контролем, но после 1914 года усилились и обострились трудовые конфликты на всех крупных заводах по производству вооружений. Решительный поворот к революции, совершенный рабочими металлообрабатывающей промышленности в годы войны и после нее, был подготовлен трудовыми конфликтами 1890—1900-х годов.

Итак, рабочие классы разных стран не были однородными, и было нелегко сформировать из них социальные группы, объединенные общими интересами, даже не привлекая в них сельскохозяйственный пролетариат, который рабочие движения тоже пытались организовать и мобилизовать, однако без большого успеха\*.

И все же рабочие объединились. Но каким образом?

---

\* Организация и мобилизация сельскохозяйственного пролетариата имела успех в Италии, где Федерация сельскохозяйственных рабочих была крупнейшим профсоюзом, который стал в дальнейшем основой коммунистического влияния в Центральной и, отчасти, Южной Италии. В Испании подобное же распространение среди безземельных сельскохозяйственных рабочих время от времени получал анархизм.

## III

Первым мощным средством объединения была идеология, которую несла с собой организация. Социалисты и анархисты обращали свои проповеди к массам, которых никто до этого не удостоивал своим вниманием, кроме хозяев и их прислужников, убеждавших их в одном: быть всегда тихими и покорными; даже в начальных школах (если удавалось в них попасть) больше всего говорили о значении религии в обществе; и сама церковь, имевшая мощную организацию, не спешила (кроме нескольких плембейских сект) осваивать новую область — сознание пролетариата, либо просто не умела справляться с воспитанием новых групп населения, столь сильно отличавшихся от структурированных общин прежних сельских и городских приходов. Таким образом, рабочие, представлявшие собой многочисленную новую социальную группу, оказались для общества незнакомыми и забытыми людьми. То, что общество их не знало, подтверждают десятки трудов, написанных исследователями из среднего класса; а насколько они были забыты, можно понять, например, прочитав письма Ван-Гога, служившего проповедником евангелистской церкви в одном из шахтерских районов Бельгии. Так что социалисты нередко оказывались первыми, кто к ним обращался. Там, где условия были подходящими, агитация социалистов воздействовала на самые разные слои рабочих: от ремесленников до шахтеров, пробуждая в них мысль о принадлежности к одному и тому же классу — классу пролетариата. Так, работники надомных производств, жившие в Бельгии, в долинах вокруг Льежа, и занимавшиеся по традиции изготовлением ружей, не знали до 1886 года никакой политики. Мужчины зарабатывали мало и тратили время на разведение голубей, рыбалку и петушинные бои. Все изменилось с того момента, как только на сцену вышла «Рабочая партия». Большинство населения (80—90%) стали голосовать за социалистов; позиции местного католицизма оказались подорванными. Население Льежа поняло, что оно разделяет убеждения ткачей Рента (хотя те даже говорили на другом языке — фламандском); к ним присоединились все, кто верил в идеалы единого и всемирного рабочего класса. Этот призыв к единству

всех, кто трудился и был беден, был донесен агитаторами и пропагандистами социализма до самых отдаленных уголков всех стран. Социалисты принесли с собой также понятие об организации, т. е. о планомерных комплексных действиях, без которых трудящиеся не смогли бы существовать как класс; кроме того, благодаря организации, рабочие приобрели кадры ораторов, выражавших чувства и надежды людей, не умевших этого делать. Агитаторы знали или находили слова правды, которую они чувствовали. Без организации, без коллектива рабочие были просто бедным трудящимся людом. Прежняя мудрость, закрепленная в пословицах, легендах и песнях, на основе которой формировалось мировоззрение бедняков в доиндустриальную эпоху, теперь оказалась недостаточной. Рабочий класс стал новой общественной реальностью, требовавшей нового отражения. Это началось с того момента, когда они поняли призыв своих ораторов: «Вы — это класс, и вы должны это показать!» Поэтому новым партиям было достаточно хотя бы просто обозначить свое имя: «рабочая партия». Кроме активистов новых движений, никто не доносил до рабочих идеи классового сознания. Эта идея объединяла всех, кто был готов признать ее истинность, несмотря на все трудности и различия, существовавшие между рабочими. Люди были готовы признать эту идею, потому что пропасть, отделявшая рабочих от остального общества и даже от других слоев «маленьких людей», становилась все глубже, так как мир рабочих становился все более обособленным; а главное — потому, что главной и определяющей чертой существовавшей реальности все больше становились противоречия между работодателями, платившими зарплату, и рабочими, которые на нее жили. Именно эти противоречия определяли суть ситуации в таких городах, как Бохум (в Германии), имевший в 1842 г. всего 4200, а в 1907 году — уже 120 000 жителей, из которых 78% были рабочие, а 0,3% — капиталисты; или как Мидлсборо (в Англии), где в 1841 г. было 6000, а в 1911 г. — 105 000 жителей. В этих центрах угольной и тяжелой промышленности, выросших во второй половине XIX века всюду, как грибы после дождя, люди, мужчины и женщины, могли подолгу даже не встречать представителей другого класса, кроме

своих хозяев и начальников (владелец предприятия; управляющий; чиновник администрации; учитель; священник); да еще, может быть, мелких ремесленников, лавочников и владельцев пивных, которые удовлетворяли скромные нужды бедняков и сами почти слились с пролетарским окружением\*, так как полностью зависели от своей клиентуры. Это напоминало жизнь в текстильных городах, бывших типичными промышленными центрами более ранней эпохи, но, пожалуй, теперь картина была еще тяжелее.

В городе Бохум среди предприятий общественного обслуживания, помимо обычных булочных, мясных лавок и пивных, имелось также несколько сот швейных мастерских, 48 мастерских по изготовлению дамских шляп и всего 11 прачечных, а также 6 мастерских по изготовлению мужских головных уборов и 8 меховых ателье, и, что интересно, — ни одной мастерской по пошиву перчаток, считавшихся, надо сказать, непременной принадлежностью и символом общественного положения людей среднего и высшего классов<sup>15\*</sup>

В крупных же городах, с их развитой и разносторонней системой общественного обслуживания и многочисленным населением, разнообразным по социальному положению, существовала функциональная специализация городских районов, дополнявшаяся системой планирования городского развития и строительства, которая разделяла территорию города по классовому признаку, оставляя в общем пользовании только парки, деловые кварталы и вокзалы. Старые «народные кварталы» городов исчезали по мере развития новой общественной сегрегации. Так, в Лионе район Ла Круа-Русс, бывший в старые времена оплотом мятежных ткачей и рабочих шелкопрядильного производства, угрожавших оттуда центру города, в 1913 г. уже представлял собой квартал «мелких служащих», покинутый своими прежними многочисленными обитателями<sup>16\*</sup> Рабочие перебрались на другой берег Роны, поближе к фабрикам. Унылые и однообразные новые рабочие квар-

---

\* На примере многих стран известна роль таверн как мест проведения собраний профсоюзов и организаций социалистов, а также роль содержателей таверн как профсоюзных и социалистических активистов.

талы отодвигались подальше от центра города и занимали целые районы крупных городов: таковы были Веддинг и Нойкельн в Берлине; Фавориттен и Оттакринг в Вене; Поплар и Вест-Хэм в Лондоне; они составляли полную противоположность отделенным от них быстро выраставшим кварталам и пригородам, населенным представителями среднего класса.

Происходивший на этом фоне кризис традиционного ремесленного производства, ставший в Германии предметом всеобщего обсуждения, заставил там некоторых владельцев ремесленных предприятий перейти в лагерь правых радикалов, настроенных враждебно по отношению и к капиталистам, и к пролетариям; а во Франции среди ремесленников усилились антикапиталистические настроения якобинства и республиканского радикализма. Что касается подмастерьев и разъездных ремесленников, то их было нетрудно убедить в том, что они стали теперь обыкновенными пролетариями. Понятно, что и работники надомных производств, например, ткачи, работавшие на ручных станках, на подраде у ткацких фабрик, — тоже легко осознали себя как часть пролетариата. Замкнутые общины такого типа, распространенные, например, в холмистых местностях центральной Германии, в Богемии и в других районах, стали естественным оплотом новых движений.

У всех рабочих было достаточно причин считать несправедливым существовавший общественный порядок в целом, но главным в их жизни были отношения с работодателями. Новые социалистические и рабочие движения использовали недовольство рабочих условиями труда на рабочих местах, выражавшееся нередко в виде забастовок или, более организованно, через деятельность профсоюзов. Местные организации социалистических партий имели успех то в одном, то в другом районе, так как способствовали мобилизации и организации местных отрядов рабочего класса. Так, в Руане (Франция) местные ткачи составили ядро «Рабочей партии»; когда в этом районе было организовано в 1889—1891 гг. ткацкое производство, то бывшие «реакционные» сельские кантоны быстро обратились к социализму, и производственные конфликты привели к организации политических действий и предвыборной деятельности. Однако, как показал опыт

британских трудящихся середины XIX века, те, кто хотел бастовать, не обязательно хотели вступать в организацию и считать класс работодателей (т. е. капиталистов) своим главным политическим противником. По традиции, те, кто работал и производил, т. е. рабочие, лавочники, буржуазия, — всегда выступали единым фронтом против бездельников и «привилегированных»; так же те, кто верил в прогресс (а в эту коалицию тоже попадали люди разных классов) — выступали против «реакционеров». Однако эти альянсы, благодаря которым либерализм и получил, в основном, свою первоначальную историческую и политическую силу («Век Капитала», гл. 6), потом распались; и не только потому, что электоральная демократия выявила расхождение интересов союзников (см. гл. 4), но и потому, что класс работодателей, все больше характеризовавшийся своей подавляющей величиной и концентрацией («большой бизнес»; «крупная промышленность»; «крупные предприниматели»)¹⁷\*, явно обретал, во всей своей массе: благосостояние, государственную власть и привилегии. Он соединился с «плутократией» (которую так любили покритиковать демагоги в Британии времен короля Эдуарда) — с той самой плутократией, которая начала все больше выставлять себя напоказ: и непосредственно перед публикой, и через средства массовой информации, когда эра депрессии открыла пути для головокружительного всплеска экономической экспансии. Главный специалист по вопросам труда в британском правительстве отметил, что личный автомобиль и внимание газет, ставшие в Европе монополией богачей, ярко подчеркивали непреодолимость пропасти между богатыми и бедными¹⁸\*

Пока выявлялись возможности объединения борьбы за рабочие места и за улучшение условий труда с политической борьбой против «привилегий», класс рабочих все больше отделялся от стоявшего непосредственно над ним слоя мужчин и женщин, которые могли работать, «не пачкая рук»; этот слой рос во многих странах с поразительной быстротой, благодаря развитию так называемого «третьего сектора» экономики (считая, что первыми двумя были промышленность и сельское хозяйство — прим. пер.). В отличие от прежней мелкой буржуазии, состоявшей из лавочников и ремесленников и составлявшей промежуточный



слой или своего рода «переходную зону» между трудящимися и буржуазией, новый слой, ставший нижним слоем среднего класса, сразу разделил буржуазию и рабочих; и хотя экономическое положение этих людей было скромным и не слишком отличалось от положения высокооплачиваемых рабочих, они всегда подчеркивали свое отличие от рабочего класса и те общие черты с вышестоящими классами, которые они (по их мнению) имели или надеялись иметь. Таким образом, новый «нижний слой среднего класса» стал «изолирующим слоем» по отношению к рабочему классу, располагавшемуся еще ниже.

Итак, нормированию классового сознания у всех работников физического труда способствовали как экономическое, так и социальное развитие общества; был и еще один, третий фактор, содействовавший усилению их единства: это была сама национальная экономика, а также национальное государство, которое все больше вмешивалось в дела общества. Государство не только устанавливало общие рамки и параметры жизни своих граждан, определяло конкретные условия и географические пределы борьбы рабочих; но его политическое, юридическое и административное регулирование жизни рабочих определяло, все в большей степени, само существование рабочего класса. Экономика все больше действовала как единая система, в пределах которой профсоюзы уже не могли оставаться простыми объединениями местных ячеек, слабо связанных между собой и занятых, в первую очередь, борьбой за улучшение местных условий труда; теперь профсоюзы были вынуждены действовать с учетом национальной перспективы, хотя бы в рамках своей отрасли промышленности. В Британии новое явление организованных трудовых конфликтов национального масштаба возникло впервые в 1890-е годы, а полный набор общенациональных забастовок на транспорте и в угольной промышленности стал суровой реальностью в 1900-х годах. В результате таких событий стали проходить переговоры в разных отраслях промышленности и заключаться общенациональные трудовые соглашения, которых до 1889 года не было и в помине. В 1910 г. они считались уже вполне обычным явлением. Профсоюзы, особенно находившиеся под руководством социалистов, стали стремиться к организации рабочих в пределах

целой отрасли национальной промышленности, что также явилось отражением явления общей интеграции экономики. Создание отраслевых профсоюзов явилось подтверждением того факта, что понятие «промышленность» перестало быть просто статистическим и экономическим термином и обрело смысл концепции общенациональных стратегических и оперативных действий, которая стала определять общие рамки экономической борьбы профсоюзов, действовавших на местах. Даже британские шахтеры, бывшие всегда рьяными приверженцами автономии своего района, а то и своей шахты, поглощенные исключительно своими проблемами и разделенные обычаями своих областей (Южного Уэльса, Нортумберленда, Стаффордшира), теперь, в 1888—1908 годы, объединились вместе и создали свою общенациональную организацию.

Что касается государства, то проводившаяся в его рамках демократизация избирательной системы способствовала укреплению внутриклассового единства, которое так не нравилось правителям. Борьба за расширение гражданских прав неизбежно принимала классовый характер, если в ней участвовали рабочие, поскольку главным вопросом в этой области (по крайней мере, для мужчин) было обеспечение права голоса неимущих граждан. Имущественный ценз, даже не очень строгий, лишал права голоса значительную часть рабочих. Поэтому там, где еще не было обеспечено всеобщее избирательное право (хотя бы теоретически), во главе борьбы неизбежно становились новые социалистические движения, организуя гигантские политические всеобщие забастовки в его защиту (или просто угрожая их возможностью); так было в Бельгии в 1893 г. и еще дважды после того; в Швеции в 1902 г.; в Финляндии в 1903 г., где эти забастовки укрепляли и пропагандировали возможности социалистов по мобилизации новых масс своих сторонников. Введение или расширение избирательного права, осуществленное даже в виде явно антидемократических законов (как было, например, в России в 1905 году, где рабочие-избиратели были выделены в специальную «рабочую курию», для которой было урезано число кандидатов в депутаты), — все же способствовало усилению национального классового сознания. При этом борьба за избирательные права, кото-

рой были увлечены социалистические партии (к ужасу анархистов, видевших в ней лишь приманку, отвлекавшую массы от революции), могла также способствовать наделению рабочего класса национальным самосознанием, хотя он оставался разделенным по другим признакам.

Более того, государство способствовало унификации рабочего класса, поскольку любая социальная группа, преследуя свои политические цели, должна была оказывать давление на одно и то же национальное правительство, действуя согласно (или вопреки) духу и букве одних и тех же национальных законов. Ни один класс не испытывал такой постоянной неотложной нужды в проведении государством экономических и социальных мер в его пользу, дополнявших скромные результаты его собственных коллективных действий; и чем многочисленнее становился национальный пролетариат, тем более чувствительными к его требованиям оказывались политические деятели, стремившиеся не упустить связей с такой крупной массой избирателей (хотя и вызывавшей немалые опасения).

В Британии в 1880-е годы произошел раскол между старыми тред-юнионами, образовавшимися в середине викторианской эпохи, и новыми лейбористскими движениями, требовавшими, чтобы восьмичасовой рабочий день был установлен национальным законодательством, а не путем заключения коллективных договоров. То есть на повестку дня встал вопрос о принятии закона, одинаково применимого ко всем рабочим; общенационального по своему характеру (и даже международного, как требовал того Второй интернационал, понимавший важность проблемы). Социалисты призывали также к введению ежегодного «праздника 1 мая» (провозглашенного впервые в 1890 г.)<sup>26</sup>, который должен был стать днем международной солидарности трудящихся. Их агитация имела такой успех, что русские рабочие, получившие в 1917 году возможность свободно отмечать этот день, даже изменили старый календарь своей страны, чтобы выходить на демонстрации в один и тот же день с рабочими всего мира\*<sup>19\*</sup>

---

\* До 1917 года в России действовал Юлианский календарь, отстававший на 13 дней от Григорианского, принятого в Европе; отсюда произошла и путаница с названием русской революции, которая именуется Октябрьской, но празднуется 7 ноября.

Все же унификация рабочего класса в пределах своей нации неизбежно вытесняла идеи и теоретические установки рабочего интернационализма, оставляя его достоянием избранного меньшинства активистов и радикалов. Как показало поведение рабочих большинства государств в августе 1914 года, идеи государства и нации, определившихся в политическом отношении, оставались действенной составной частью их классового сознания, несмотря на кратковременные отступления в периоды революций.

#### IV

Здесь нет ни возможности, ни необходимости делать полный обзор всех географических, идеологических, национальных, местных и других особенностей как актуального, так и потенциального характера, относящихся к явлению формирования рабочего класса разных государств в период 1870—1914 годов в качестве сознательных и организованных общественных групп. Можно отметить, что это явление не имело места (в сколько-нибудь значительных масштабах) среди той части человечества, которая отличалась от европейцев цветом кожи; даже в тех случаях, когда развитие промышленности становилось неоспоримой реальностью (как в Индии и, конечно, в Японии). Зато в передовых странах завершение организации рабочего класса стало только вопросом времени, причем в течение двух коротких периодов этот процесс сильно ускорялся. Первый большой скачок вперед происходил с конца 1880 до начала 1890 годов, когда состоялось возрождение Интернационала рабочих (названного «Вторым», в отличие от первого, организованного Марксом и существовавшего в 1864—1872 гг.); а также установление празднования «Дня 1 мая», ставшего символом надежд рабочего класса. Это были годы, когда социалисты впервые появились в парламентах нескольких стран в значительном числе; причем в Германии, где Социал-Демократическая партия и так была уже сильна, ее представительство в парламенте удвоилось (с 10,1 до 23,3%) в период 1887—1893 годов. Второй период быстрого роста организованности рабочего класса имел место между 1905 и 1914 годами, после первой рус-

ской революции и под ее влиянием. Массированный рост электората рабочих и социалистических партий теперь облегчался демократизацией избирательной системы, позволявшей этим партиям эффективно проявлять себя на политической сцене. Подъем рабочего движения обеспечил одновременное и значительное укрепление организованных профсоюзов. Два указанных периода быстрого роста рабочего движения наблюдались, в том или ином виде, почти повсюду, хотя имели свои особенности в каждой стране, в зависимости от национальных условий.

Однако нельзя полностью отождествлять формирование классового сознания трудящихся с ростом организованного рабочего движения, хотя и были примеры, когда рабочие, почти в полном составе, следовали за своей партией и движением; особенно это было характерно для стран Центральной Европы и некоторых районов с ярко выраженной специализацией по отраслям промышленности. Так, в 1913 г. один обозреватель, анализирувавший итоги выборов в Центральной Германии (область Наумбург-Мерзебург), высказал удивление по поводу того, что за СДПГ голосовали только 88 % рабочих; понятно, что нормой считалась ситуация, отвечающая формуле: «рабочий = социал-демократ»<sup>20\*</sup> Однако подобные случаи не были типичными и встречались не слишком часто.

Что было обычным и распространялось все шире (независимо от того, что думали рабочие по поводу поддержки партий) — так это неполитизированное классовое сознание, состоявшее в понимании принадлежности к отдельному миру рабочих, который, конечно, включал и свою «классовую партию», но выходил далеко за рамки ее идеологии. «Мир рабочих» был основан на особом жизненном опыте и отличался собственным образом жизни и стилем поведения, проявлявшимися (с определенными вариациями, обусловленными местными особенностями речи и обычаями) в склонности к определенным формам общественной деятельности (например, к занятиям определенными видами спорта, считавшимися чисто пролетарскими: вроде футбола, распространившегося в Британии с 1880-х годов); и даже в приверженности к определенным новым видам одежды, подчеркивавшим классовую

принадлежность ее обладателя (вспомним вошедшую в поговорку рабочую кепочку, надвинутую на козырек).

Все же классовое сознание рабочих не было полным и даже вообще не мыслилось без принадлежности их к своему политическому движению, даже при наличии в нем некоторых неполитических признаков; дело в том, что только «движение» могло выковать рабочий класс страны, выделив его из общей массы рабочих классов всего мира. В свою очередь, политические движения, становясь массовыми, обретали присущее рабочим инстинктивное недоверие (неполитического характера) ко всем посторонним, у кого «не было мозолей на руках». Такой всепроникающий «увриеризм» (как называли это явление французы)<sup>27</sup> отражал настроения, царившие в массовых партиях, которые, в отличие от мелких или нелегальных организаций, состояли из рабочих, занимавшихся физическим трудом. Так, в местной организации СДПГ в Гамбурге состояло в 1911—1912 гг. 61 000 человек, из которых только 36 человек были «авторами печатных работ и журналистами» и всего 2 человека имели профессии еще более высокого ранга. Всего 5% от общего количества членов организации не были пролетариями, причем половину из них составляли официанты<sup>21\*</sup>. При этом общее недоверие к «нетрудящимся» не исключало преклонения перед «великими учителями» из других классов, каким был сам Карл Маркс, как и уважения к признанным основоположникам, национальным вождям и ораторам (последние две функции были обычно неразделимы), а также к «теоретикам», составлявшим горстку социалистов буржуазного происхождения. Надо сказать, что социалистические партии в начале своего существования имели в своих рядах немало высокоодаренных и действительно достойных восхищения личностей, происходивших из среднего класса; такими были; Виктор Адлер в Австрии (1852—1918); Жорес во Франции (1859—1914); Турати в Италии (1857—1932); Брантинг в Швеции (1860—1925).

Что же вообще представляли собой «движения», которые иногда (в крайних случаях) были почти такими же многочисленными, как и сам рабочий класс? В их состав повсеместно входили профсоюзы, являвшиеся основными и универсальными органи-

зациями рабочих; существовавшие в разных формах и обладавшие разнообразным влиянием, в зависимости от условий. Нередко в них входили кооперативы, обычно — в виде лавок для рабочих, хотя иногда они являлись главной опорой движения\*.

В странах, где существовали массовые социалистические партии, в движение входили практически все ассоциации, в которых рабочие участвовали в течение всей своей жизни, от рождения до гроба, или, точнее, если учитывать настроения антиклерикализма — до крематория, который был в почете в развитых странах, так как соответствовал веку науки и прогресса<sup>22\*</sup>. Такие ассоциации насчитывали иногда 200 000 человек (как «Германская федерация рабочих — любителей хорового пения» в 1914 году); или 130 000 человек (как клуб рабочих-велосипедистов «Солидарность» в 1910 г.); либо были небольшими, как, например, «Ассоциация рабочих-коллекционеров почтовых марок» или «Объединение рабочих-кролиководов», которые, впрочем, иногда как-то действуют до сих пор, например, в пригородах Вены. Все они, как правило, были связаны, или находились в подчинении, или прямо состояли в своей политической партии, которая выражала их основные интересы и которая почти всегда называлась «социалистическая», «социал-демократическая» и/или просто «рабочая» либо «трудовая» партия. Движения трудящихся, не имевшие своих организованных классовых партий или вовсе не занимавшиеся политикой (некоторые из таких относились к старомодным приверженцам утопических или анархистских взглядов левого толка), были почти всегда слабыми. Обычно они представляли собой довольно неустойчивые собрания воинствующих одиночек, евангелистов, агитаторов и потенциальных рабочих лидеров, но не массовые организации. Заметим, что кроме стран Пиренейского полуострова, всегда находившихся в стороне от процесса общеевропейского развития, анархизм нигде в Европе не стал

---

\* Рабочая кооперация была обычно тесно связана с движением трудящихся и представляла собой своего рода «мост», связывавший утопические идеалы социализма периода до 1848 года с идеями нового социализма; однако это не относится к большей части преуспевавших кооперативов крестьян и фермеров, не считая, впрочем, кооперативных организаций некоторых районов Италии.

основной идеологией даже слабых движений трудящихся. Нигде (кроме стран латинской культуры и России после 1917 года) анархизм не являлся серьезной политической силой.

Почти все партии рабочего класса (кроме партий стран Азии и Австралии) предвидели возможность фундаментальных общественных перемен и потому называли себя «социалистическими», либо собирались принять такое название (как например, Лейбористская партия Британии). До 1914 года они старались, по возможности, не вмешиваться в политику правящих классов и тем более в политику правительств, ожидая того дня, когда они сами смогут сформировать свое собственное правительство и приступят, без помех, к великим преобразованиям. Лидеры рабочих партий постоянно испытывали искушение вступить в соглашение с партиями среднего класса и их правительствами, пока, наконец, Дж. Р. Макдональд, лидер британских лейбористов, пошел на заключение предвыборного союза с либералами, в результате которого его партия впервые получила в 1906 году значительное представительство в парламенте. (При этом отношение рабочих партий к местным администрациям было, по понятным причинам, более позитивным).

Главной причиной, по которой столь многие из рабочих партий спешили встать под красный стяг Карла Маркса, была, пожалуй, та, что он более убедительно, чем кто-либо другой, объяснил им три главных принципа, ставших обоснованием их борьбы: 1) Никакие предсказуемые улучшения в рамках существовавшей системы не изменят коренным образом положение рабочих, которые так и останутся рабочими, т. е. будут всегда подвергаться эксплуатации. 2) Природа капиталистического развития, рассмотренного им на всем его протяжении, не дает возможности серьезно надеяться на свержение (в его рамках) существующего общественного строя и на замену его новым и лучшим обществом. 3) Рабочий класс, организуемый и руководимый своими партиями, станет создателем своего светлого будущего и будет пользоваться его плодами. Маркс дал рабочим твердое убеждение (подобное вере, которую дает религия) в том, что сама наука доказала историческую неизбежность их триумфа. В этих вопросах логика марксизма действовала столь эффективно, что даже оппо-



ненты Маркса, находившиеся в рядах рабочих движений, соглашались, в основном, с его анализом капитализма.

Таким образом, как пропагандисты и идеологи рабочих партий, так и их внутрипартийные оппоненты считали само собой разумеющимся то, что они хотят свершения социальной революции или, по крайней мере, что их деятельность подтверждает такое желание. Считалось, что приход революции будет означать не что иное, как замену капитализма на социализм и переход от общества частной собственности и предпринимательства к обществу, основанному на «совместном владении средствами производства, распределения и обмена»<sup>23\*</sup>, что и позволит действительно изменить жизнь...; хотя природа и характер социалистического будущего почти не обсуждались, оставаясь в общем-то неясными; ясно было одно: то, что сейчас плохо — тогда будет хорошо! Главным предметом дебатов, посвященных политике пролетариата в тот период, была природа грядущей революции.

Вопросы, связанные с полным преобразованием общества, не находились в центре внимания хотя бы потому, что многие лидеры и активисты были слишком заняты текущей борьбой, чтобы проявлять интерес к отдаленному будущему. По старой традиции левого движения, восходившей ко временам предшественников Маркса и Бакунина, т. е. к 1789 и даже к 1776 году, все склонялись к тому, что революция обеспечит осуществление фундаментальных социальных изменений путем внезапного насильственного перераспределения власти с помощью восстания. При этом, рассуждая обобщенно, так сказать, «с точки зрения вечности», говорили, что «великие перемены», неизбежность которых в историческом плане уже доказана, станут со временем более актуальными, чем в теперешнем индустриальном мире, чем в 1880-е годы — годы депрессии и недовольства, или в 1890-е годы, когда появились новые надежды. Энгельс, этот ветеран революционного движения, помнивший Век Революции, когда через каждые 20 лет можно было ожидать появления новых баррикад; который сам участвовал в революциях с оружием в руках — и он говорил, что дни памятного 1848 года безвозвратно ушли в прошлое. Как мы уже видели, утверждение о неминуемом крушении капитализма казалось в середине 1890-х годов совершенно

неправдоподобным. Что же оставалось в таком случае делать многомиллионным армиям пролетариата, мобилизованным под красные знамена социализма?

Некоторые представители правого крыла рабочих движений советовали сосредоточить усилия на достижении возможных и близких улучшений и на проведении тех реформ, осуществления которых рабочий класс мог добиться в ближайшем будущем от работодателей и от правительств, отложив пока заботы о более далеких перспективах. Во всяком случае, вопрос о восстании или о вооруженных выступлениях не стоял на повестке дня. Все же среди рабочих лидеров, родившихся примерно после 1860-х годов, находилось мало таких, кто был готов отказаться от идеи «светлого будущего». Эдуард Бернштейн (1850—1932), социалист-интеллектуал, добившийся самостоятельно образования и общественного положения, имел неосторожность заявить, что ввиду продолжавшегося процветания капитализма нужно не только подвергнуть пересмотру теорию Карла Маркса, но и принять тот принцип, что важна не победа социализма сама по себе, а реформы, осуществления которых можно добиться на пути к социализму; за это он был дружно осужден всеми политиками рабочих движений, которые, по сути, почти не были заинтересованы в свержении капитализма. Убеждение в том, что существовавший общественный строй невыносим для пролетариата, глубоко укоренилось в сознании рабочих, тогда как активисты движений были не прочь добиться каких-либо уступок от капитализма (как писал, например, обозреватель конгресса германских социалистов, состоявшегося в 1900-х гг.)<sup>24\*</sup> Дело заключалось в том, что именно идеал нового общества давал надежду рабочему классу.

Как же предполагалось осуществить переход к новому обществу, когда крушение старой системы казалось довольно сомнительным делом? Суть подхода к решению проблемы выражена в довольно путаном высказывании Каутского о том, что «Германская Социал-Демократическая партия — это партия, которая, являясь революционной, не совершает революцию»<sup>25\*</sup> Но было ли достаточно просто сохранять верность идее социальной революции в теоретическом плане (как это делала СДПГ) и, оставаясь неизменно в оппозиции режиму, периодически проверять расту-

щие силы движения путем участия в выборах, положившись всецело на действие объективных сил исторического развития, которые и должны были привести партию к неизбежному триумфу? Не означало ли это (как часто и бывало на практике), что политическое движение, приспособившееся к существованию в рамках системы, уже не сможет ее свергнуть? И не окажутся ли напрасными все эти жертвы: упорное подавление радикалов и непримиримой оппозиции; скрытые компромиссы; вынужденная пассивность; нежелание двинуть в бой мобилизованные армии трудящихся; приглушение стихийных вспышек борьбы масс — и все это под жалким предлогом сохранения партийной дисциплины?

Получилось так, что все разношерстные, но сильно умножившиеся после 1905 года элементы: радикально-левацкие сторонники вооруженных выступлений, непримиримые профсоюзные деятели старой закалки, интеллигенты-диссиденты и революционеры — отвергли массовые партии пролетариата, считая, что те погрязли в реформизме и бюрократизме ради участия в определенных политических мероприятиях. При этом против пролетарских партий использовались как лозунги ортодоксального марксизма (как на европейском континенте), так и антимарксистские и фабианские призывы (как в Британии). Теперь радикальные левые решили опираться не на пролетарские партии, а непосредственно на выступления пролетариата, обходя таким путем трясины политической борьбы и стремясь возглавить действия кульминационного характера, например, всеобщие забастовки. Такой «революционный синдикализм», процветавший в последние десятилетия перед 1914 годом, был основан (как это следует из самого его названия) на союзе между социал-революционерами всех оттенков и радикальными участниками нецентрализованного профсоюзного движения, связанными, в той или иной степени, с идеями анархизма. Это движение, зародившись в Испании, расцвело за ее пределами, в основном как идеология немногочисленных профсоюзных радикалов, вступивших в союз с некоторыми интеллигентами; и совпало со второй фазой роста и радикализации рабочих движений, сопровождавшейся интернационализацией и расширением интересов трудящихся, а также

ростом настроений неопределенности в социалистических партиях по поводу их планов на будущее.

В период 1905—1914 годов типичный революционер Запада представлял собой какую-то разновидность революционного синдикалиста, отвергавшего (как это ни странно) марксизм как идеологию партий, использовавших его для оправдания своего отказа от революции. Это было, пожалуй, несколько несправедливо по отношению к наследникам Маркса, потому что самой поразительной особенностью западных массовых пролетарских партий, выступавших под знаменем марксизма, была незначительность фактического влияния марксизма на их деятельность. Политические убеждения их лидеров и радикальных деятелей часто не отличались, в своей основе, от взглядов немарксистов из рабочего класса и левых якобинцев. Все они в равной мере верили в борьбу разума против невежества и суеверий (т. е. против клерикализма); в борьбу прогресса против темного прошлого; в науку, образование, в демократию и во всемирное торжество Свободы, Равенства и Братства. Даже в Германии, где почти каждый третий из городских жителей голосовал за СДПГ, официально заявившей в 1891 г., что она является марксистской партией, «Коммунистический манифест» был издан до 1905 года всего в 2000-3000 экземпляров, а самой распространенной книгой по вопросам идеологии (среди имевшихся в рабочих библиотеках) был труд под названием, которое говорит само за себя: «Дарвин против Мозеса»<sup>26\*</sup> Фактически на родине Маркса почти не было интеллигентов-марксистов. Ведущие «теоретики» социализма прибыли в Германию либо из империи Габсбургов (Каутский, Гильфердинг), либо из царской империи (Парвус, Роза Люксембург). Дело в том, что к востоку от Вены и Праги марксизм был в почете, а интеллигентов-марксистов хватало в избытке. В этом регионе марксизм сохранял свое революционное значение, и связь между ним и революцией была очевидной, возможно, потому, что революция казалась близкой и реальной.

Здесь, фактически, и лежит ключ к пониманию типа рабочих и социалистических движений, существовавших в последние 50 лет перед 1914 годом. Эти движения возникли в странах, переживших двойную революцию, т. е. в странах Западной и Цент-

ральной Европы, где каждый разбиравшийся в политике человек помнил о величайшей из революций — Французской революции 1789 года; а любой гражданин, родившийся в год сражения при Ватерлоо<sup>28</sup>, пережил, как правило, две или даже три революции, происходившие либо в его стране, либо в соседних. Рабочие и социалистические движения считали себя прямыми продолжателями этой традиции. Австрийские социал-демократы отмечали день 1 марта (в память о жертвах Венского восстания 1848 года) еще до того, как утвердилось празднование дня 1 мая. Однако затем идея социальной революции стала быстро отступать из этой зоны, где она зародилась и окрепла. Это отступление было в какой-то мере ускорено самим образованием массовых организованных и, сверх того, дисциплинированных партий рабочего класса. Массовые организованные митинги, тщательно спланированные массовые демонстрации и шествия, предвыборные кампании — все это не подготовило, а заменило собой мятеж и восстание. Неожиданное появление «красных» партий на политической сцене развитых стран вызвало тревогу их правителей, но, конечно, они не были настолько напуганы, чтобы ожидать немедленных народных восстаний и расправ. Они признали эти партии, как группы радикальной оппозиции, существовавшие внутри системы, оставив возможности для улучшений и компромиссов. Так что общественный строй этих стран, что бы ни говорили его противники в пылу красноречия, уже не был (или был, но не вполне) таким, при котором проливаются потоки крови.

И все же новые партии оставались приверженными идее всеобъемлющей революции в обществе (по крайней мере, теоретически), а массы простых рабочих оставались приверженными этим партиям — почему? Конечно, не потому, что капитализм был неспособен как-то улучшить их жизнь. Причина заключалась в том, что большинство рабочих, надеявшихся на улучшения, считало, что всякое значительное совершенствование существовавших порядков в их пользу может быть достигнуто, в первую очередь, благодаря их классовым действиям и их классовой организованности. Решение о выборе пути коллективных улучшений лишило их, в какой-то мере, других возможностей. Например, в тех районах Италии, где бедные безземельные рабочие, трудив-

шиеся на фермах, вступали в профсоюзы и в кооперативы, они уже не вливались в поток массовой эмиграции. Чем большим было чувство классового единства и солидарности рабочих, тем крепче были общественные узы, удерживавшие их вместе, хотя некоторые из них, особенно такие как шахтеры, были не прочь дать своим детям образование, чтобы им не пришлось работать в шахте.

Не зря социалисты порицали рабочих активистов за их амбиции и хвалили поведение рабочих масс: причина была в том, что новый пролетариат испытывал на себе влияние разделенного мира. Между тем все надежды рабочих были связаны с их политическим движением, которым они гордились. Если известная «американская мечта» была идеалом индивидуалистов, то европейские рабочие в своем большинстве были сторонниками коллективных достижений.

Были ли такие настроения революционными? Почти с полной уверенностью можно сказать, что нет (если иметь в виду подготовку восстания); об этом можно судить по поведению большинства членов СДПГ, самой сильной из всех революционных социалистических партий. Однако в Европе существовал широкий пояс бедных и неблагополучных стран, в которых революция была требованием времени и вскоре действительно разразилась, по крайней мере, в некоторых из них. Она началась в Испании, охватила крупные районы Италии и Балканского полуострова, а затем и Российскую империю. Революция двигалась по Европе с запада на восток. Особенности революционной зоны европейского континента и всего мира мы рассмотрим позже. Здесь мы отметим только, что на Востоке марксизм сохранил присущий ему взрывчатый смысл. После революции в России он вернулся на Запад и распространился дальше на Восток, как идеология, сосредоточившая в себе главную суть и значение социальной революции, и сохранил такой характер на протяжении почти всего XX века. Тем временем пропасть, разделившая разные группы социалистов, расширилась, так что им стало трудно понимать друг друга, хотя они объяснялись на одном и том же теоретическом языке и даже не осознавали происходившего размежевания; наконец, разразившаяся в 1914 году мировая война

обнажила всю глубину разногласий, когда Ленин, бывший давним почитателем ортодоксального течения в германской социал-демократии, вдруг обнаружил, что ее главный теоретик является предателем.

## V

Хотя социалистические партии большинства стран, независимо от своих национальных и религиозных различий, определенно вступили на путь мобилизации своих рабочих классов, было ясно, что пролетариат этих стран (кроме Британии) не был готов следовать за ними (или, как осторожно выражались социалисты, «еще не был готов»), как не было готово к этому и большинство населения. По мере того как социалистические партии переставали быть замкнутыми группами агитаторов и пропагандистов и обретали опору в массах, становилось очевидным, что они не могут посвящать все свое внимание рабочему классу. В середине 1890-х годов среди марксистов прошли интенсивные дебаты по «аграрному вопросу», подтвердившие сказанное выше. Крестьянство, без сомнения, должно было сильно уменьшиться в своем количестве (как правильно предсказывали марксисты и как это действительно произошло в конце 20 столетия); что же могли (или должны были) предложить социалисты этим людям, составлявшим 36 % населения Германии; 43 % населения Франции и подавляющее большинство населения многих других стран, еще остававшихся аграрными? Обозначилась необходимость расширить общественный призыв социалистических партий таким образом, чтобы он не был чисто пролетарским; она объяснялась и подтверждалась различными причинами: от простых соображений предвыборной борьбы и подготовки к революции до учета требований общей теории, главившей: «Социал-демократия представляет собой партию пролетариата; но, одновременно, партию социального развития, предусматривающую возможность преобразования всего общества, находящегося пока на стадии капитализма, в более высокую форму»<sup>27\*</sup> С этим нельзя было не согласиться, поскольку пролетариат почти повсюду был ограничен в избирательных пра-

вах, изолирован от общества и даже подавлялся соединенными усилиями других классов.

Однако социалистические партии настолько отождествлялись с пролетариатом, что это затрудняло их обращение к другим слоям общества и мешало политическим прагматикам, реформистам и ревизионистам марксизма расширить базу социализма и превратить классовые партии в «народные»; и даже партийные активисты, занимавшиеся практической политикой, были готовы расстаться со строгой доктриной, утверждавшей, что только опора на рабочих и именно на рабочих способна дать партии социалистов ее настоящую силу; такие почти экзистенциалистские взгляды разделялись уже лишь немногими теоретиками партийного строительства. При этом политические требования и лозунги, выдвинутые специально в угоду пролетариату (например, требование восьмичасового рабочего дня или требование установления общественной собственности), не вызывали особого сочувствия других слоев общества и даже пугали их угрозой возможной экспроприации. Социалистические рабочие партии лишь в редких случаях умели выйти из обширного, но изолированного круга проблем и обстоятельств, свойственных только рабочему классу; их активисты, да, как правило, и рядовые члены, чувствовали себя на месте только среди рабочих.

Тем не менее призывы социалистических партий иногда находили сторонников далеко за пределами рабочего класса; и эти партии, решительно отождествлявшие себя с классом пролетариата, встречали даже явную поддержку других слоев населения. Например, были страны, где социализм, несмотря на недостаточное понимание его идеологии сельским населением, охватил обширные аграрные районы и получил поддержку многих людей, а не только тех, кто считался «сельским пролетариатом»; так было в Южной Франции, в Центральной Италии и в США, где самым прочным оплотом социалистов стало, как это ни удивительно, белое фермерское население штата Оклахома, чтившее всегда заповеди Библии; на выборах президента в 1912 г. кандидат социалистов получил 25% голосов в 25 «самых сельских» округах этого штата. Интересно также, что в рядах Итальянской Социалистической партии состояло много мелких ремес-



ленников и лавочников, так что их относительное количество в партии явно превосходило их долю в населении страны.

Все эти явления имели свои исторические причины. Там, где существовала давняя и прочная левая политическая традиция — республиканская, демократическая, якобинская или подобная им, — социализм мог показаться ее логическим продолжением, современным вариантом «символа веры» в вечном ряду великих примеров левых учений. Во Франции социализм был главной политической силой; его горячими сторонниками стали учителя начальных школ — эти рядовые сельские интеллигенты, истинные борцы за республиканские ценности; в знак уважения идеалов такого электората французские социалисты называли в 1901 г. свою партию «Радикальной Республиканской и Радикально-Социалистической партией» (хотя она, определенно, не была ни радикальной, ни социалистической). Социалистические партии черпали силы в этих традициях и подкрепляли ими свои политические устремления, хотя и понимали их недостаточность. В государствах, где избирательное право все еще было ограниченным, решительные и эффективные действия социалистов за его демократизацию получали поддержку других демократов. Партии социалистов выступали от имени наименее привилегированных слоев населения; поэтому общество справедливо считало их передовым отрядом в борьбе против неравенства и «привилегий», составлявшей суть политического радикализма со времен американской и французской революций (хотя, признаться, немалое число их рьяных активистов сумело примкнуть к привилегированным слоям, как это сделали до них представители либерального среднего класса).

Еще большую общественную поддержку имели социалистические партии благодаря своей полной оппозиции по отношению к богатым классам. Они выступали как представители класса, состоявшего только из бедных, хотя и не самых бедных, по меркам того времени. Они неустанно обличали эксплуатацию, богатство и его возрастающую концентрацию в руках немногих. Поэтому многие — те, кто был беден и подвергался эксплуатации, хотя и не относился к пролетариату, могли считать эти партии своими.

Далее, социалистические партии, уже благодаря своему названию, считались сторонниками и защитниками идеи прогресса, которая была ключевой концепцией XIX века. Они провозглашали (особенно те из них, кто руководствовался марксистским учением) неуклонное поступательное движение истории — вперед, к лучшему будущему, которое, правда, было неясным по своему точному содержанию, но в котором, конечно, должно было состояться быстрое и полное торжество разума, образованности, науки и техники. Не зря в утопических картинах будущего, которые рисовали тогда, например, испанские анархисты, непременно присутствовали электричество и высокопроизводительные автоматические машины. Прогресс был синонимом надежды для тех, у кого в настоящем не было почти ничего; поэтому возникавшие в среде буржуазной и патрицианской культуры сомнения в его реальности или желательности только увеличивали его привлекательность среди плебейских и радикально настроенных слоев общества, по крайней мере, в Европе (см. гл. 9). Поэтому идеи прогресса и их высокий авторитет, несомненно, действовали в пользу социалистов, помогая им находить новых сторонников, особенно среди тех, кто верил в традиции либерализма и просвещения.

И, наконец, как это ни парадоксально, постоянное пребывание социалистов в стане оппозиции и отвергнутого меньшинства (по крайней мере, до революции) тоже приносило им определенную пользу. Их статус «чужаков», не признанных обществом, обеспечивал им заметно большее число сторонников, чем можно было бы предполагать на основе статистических данных о возможной поддержке со стороны групп меньшинства, отличавшихся аномальной общественной позицией: например, со стороны евреев, поддерживавших социалистов в большинстве стран, даже там, где они вели благополучную жизнь среди буржуазии; или со стороны протестантов, как во Франции. Их репутация «оппозиционеров», постоянных противников существовавшего строя, которая еще усиливалась благодаря явной неприязни к ним со стороны правящих классов, привлекала на их сторону также угнетенные нации многонациональных империй, для которых красное знамя социализма было знаменем борьбы за национальную

независимость. Именно это случилось в царской России, где особенно ярким примером в этом отношении была Финляндия. Как только позволил закон о выборах, Финская Социалистическая партия собрала 37% голосов избирателей, а в 1916 году она получила уже 47% голосов, став фактически национальной партией своей страны.

Таким образом, партии, называвшие себя «партиями пролетариата», получали поддержку значительно более широких слоев населения. Это позволяло им, при благоприятных обстоятельствах, легко становиться партиями правительственного большинства, как это и произошло в 1918 году. Однако принятие правил формирования правительства, узаконенных в буржуазном государстве, означало отказ от статуса революционеров и даже радикальных оппозиционеров. В период до 1914 года такую ситуацию можно было представить себе теоретически, но общественность, конечно, сочла бы ее недопустимой. Первый же социалист, присоединившийся к «буржуазному» правительству под предлогом обеспечения единства левых сил с целью защиты республики от неминуемого наступления реакции — им был Александр Мильеран (1899 г.), ставший впоследствии президентом Франции<sup>29</sup>, — был единодушно исключен из рядов национально-го и международного социалистического движения. До 1914 года среди социалистов не нашлось больше политиков достаточно крупного масштаба, которые рискнули бы повторить его поступок. (Так, во Франции Социалистическая партия не участвовала в правительстве до 1936 года.) По этой причине социалистические партии сохраняли свою идеологическую чистоту и бескомпромиссность до начала первой мировой войны.

Остается, однако, еще один вопрос. Будет ли история рабочего класса того периода полной и правдивой, если ограничиться описанием деятельности его классовых организаций (даже и не только социалистических) и особенностей его классового сознания, сформировавшегося под влиянием тяжелых условий его жизни и труда? Возможно, что и да; но она будет таковой лишь настолько, насколько эти люди чувствовали и вели себя именно как представители класса. Конечно, классовое сознание распространилось широко и проявляло себя порой в совершенно нежиз-

данной форме: например, в виде забастовки ткачей, изготавливавших еврейские шали для молитвы в одном из глухих уголков Галиции, в Коломые, когда они выступили против хозяев под руководством местных социалистов-евреев. И все же очень многие бедняки, особенно самые бедные, не считали себя «пролетариатом»; вели себя не так, как это было свойственно пролетариату; не состояли в рабочих организациях и не участвовали в мероприятиях, проводившихся рабочими движениями или связанными с ними организациями. Они относили себя просто к вечной категории бедняков, изгоев общества, неудачников, вообще просто «мелких людей». Если они покидали сельскую местность или свою родную страну и приезжали в большой город, то они обычно жили в гетто, рядом с рабочими трущобами, находя работу на рынке или на улице, используя всякие законные или незаконные пути, чтобы удержать душу в теле и кое-как содержать семью; лишь немногие из них имели постоянную и регулярно оплачиваемую работу. Им не было дела до профсоюзов и партий; их круг составляли: семья, соседи, знакомые, которые могли подсказать, где найти работу; еще — представители власти, которых они старались обходить подальше; а также священник и соотечественники, помогавшие выжить на новом месте. Если они принадлежали к низам коренного городского населения, то они не интересовались ни политикой, ни делами пролетариата (хотя анархисты возлагали на них свои надежды). Это был мир, такой же простой, как содержание песенок Аристиды Брюана («Бельвиль-менильмонтан») или рассказов Артура Моррисона («Ребенок Яго», 1896 г.), не имевших никакого классового содержания, кроме неприязни к богатым. В те годы были также очень популярны ироничные и лишенные всякой политической окраски песенки, исполнявшиеся в мюзик-холлах; видимо, их незатейливые слова — о жене и теще, о нехватке денег — говорившие о жизни городской бедноты XIX века, были близки и сознательным рабочим. Вот одна из таких песенок, которую исполняла Гас Элен:

Очки большие надевай,  
Наверх по лестнице влезай,  
Увидишь вдалеке болото,

А по болоту бродит кто-то.  
Смотри получше, чтобы что-то  
Не заслонило вдруг болото.

Право же, не стоит забывать этот мир простых чувств. Почему-то он привлекал внимание людей искусства того времени больше, чем внушительный, но такой бесцветный и провинциальный мир классического пролетариата. Впрочем, не стоит противопоставлять эти два мира друг другу. Ведь они существовали рядом и влияли друг на друга. Там, где было много сознательных рабочих и где была сильна их партия, как например, в Берлине и в Гамбурге, пестрый мир обитателей городских низов относился к ним с уважением. Эти люди не могли внести никакого существенного вклада в рабочее движение (хотя анархисты думали иначе). У них явно отсутствовал боевой дух, не говоря уже о чувстве долга, свойственном активистам; впрочем, любой активист мог бы сказать то же самое о большинстве рабочих любой страны. Радикалы и воинствующие элементы рабочих движений всегда жаловались на этот тяжелый груз пассивности и скептицизма. По мере того как сознательный рабочий класс, выражавший себя в своих движениях и партиях, выдвигался на политическую арену, бедняки и плебеи предындустриальной эпохи попадали под его влияние. Там же, где этого не происходило, их историческая жизнь заканчивалась, потому что они были жертвами истории, а не ее творцами.

---

## ГЛАВА 6

# НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМ: ПОДНЯТЫЕ ЗНАМЕНА

*Беги скорей — патриоты идут!*

Итальянская крестьянка — своему сыну<sup>1\*</sup>

*Не просто они стали говорить: читать, видите ли, научились. Все книги читают, да только так: кое-что — из одной, кое-что — из другой. Говорят разные слова из книг, и произносят их — как в книгах, а не по-местному.*

Герберт Уэллс, 1901 г.<sup>2\*</sup>

*Национализм... нападает на демократию, громит антиклерикализм, воюет против социализма, подрывает пацифизм, гуманизм и интернационализм. Он объявляет, что времена либерализма закончились.*

Альфредо Рокко, 1914 г.<sup>3\*</sup>

---

## I

Если рост партий рабочего класса был первым важным результатом политики демократизации, то ее вторым таким же результатом стал рост национализма в политике. Сам по себе национализм, конечно, не был новым явлением (см. «Век Революции», «Век Капитала»). Однако в период 1880—1914 годов национализм сделал поразительный скачок вперед, причем его идеологическое и политическое содержание сильно изменилось. Важность этих лет отразила сама терминология национализма. Дело в том, что слово «национализм» появилось впервые в конце XIX века и применялось для обозначения взглядов правых идеологов во Франции и в Италии, любивших размахивать национальным флагом, пугая этим иностранцев, либералов и социалистов и оправдывая агрессивную экспансию своего собственного государства, которое из-за таких сторонников приобретало до-

вольно сомнительный авторитет. Это было время, когда песня «Германия — превыше всего» («Дойчланд юбер аллес») стала национальным гимном Германии, оттеснив несколько других сочинений на эту тему. Вначале термин «национализм» употреблялся только для обозначения определенной идеологии правых, но затем, примерно с 1830 года, он вошел в словарь европейской политики, заменив неуклюжее выражение «принцип национальности»; и с тех пор стал употребляться для обозначения всех политических движений, для которых «национальный вопрос» был первостепенным в политике, т. е. для всех, кто требовал «права на самоопределение», иначе говоря, добивался возможности создания независимого государства для некоторой группы населения, определенной по национальному признаку. Количество подобных движений, или, по крайней мере, количество лидеров, заявлявших о своем праве выступать от их имени, резко выросло в рассматриваемый период, как выросло и их политическое влияние. Национализм любого вида имеет одинаковую основу, которая состоит в готовности людей эмоционально отождествлять себя со «своей нацией» и защищать политические интересы только чехов, только немцев, или только итальянцев, или только кого-то другого; известно, что такая готовность легко поддается эксплуатации в политических целях. Демократизация политики, особенно в области избирательного права, открыла много возможностей для мобилизации таких людей. Когда с подобными призывами выступало государство, оно называло их «патриотическими»; поэтому суть национализма правых, возникшего в уже сформировавшихся национальных государствах, состояла в утверждении их монополии на патриотизм, тогда как все прочие объявлялись предателями. Это было новым явлением в политике, потому что в течение почти всего XIX века национализм связывали скорее с либеральными и радикальными движениями и с традициями Французской революции. Но тогда национализм не отождествлялся с каким-либо цветом политического спектра, и среди национальных движений, не имевших своего собственного государства, можно было найти такие, которые относили себя кто — к правым, кто — к левым, а кто — ни к кому из них. Существовало немало политических движений, причем достаточно

сильных, которые мобилизовывали людей на основе национальных требований, но при этом делали упор прежде всего на социальное освобождение; потому что было бы ошибкой считать национальный призыв несовместимым с другими политическими призывами, хотя национальные интересы становились в тот период важным фактором политики государств.

Националистические политики (как, впрочем, и их оппоненты) хотели, конечно, доказать несовместимость разных политических призывов, высказываясь в том смысле, что, мол, надев одну шляпу, нужно ее и носить, а не надевать на нее другую. Однако история и опыт показали неправильность такого сравнения. В тот период было вполне возможно быть одновременно и сознательным революционером-марксистом и патриотом своей страны, например, патриотом Ирландии, подобно Джеймсу Коннолли, возглавившему восстание в Дублине весной 1916 года. Хотя, конечно, следовало учитывать и тот факт, что широта политической борьбы вынуждала партии вербовать сторонников из ограниченного круга населения, так что людям приходилось делать один определенный выбор, исключавший прочие варианты.

Как бы то ни было, но новые рабочие движения, вербовавшие своих сторонников по классовому признаку, вскоре осознали то обстоятельство (свойственное обычно многонациональным странам), что им приходится соревноваться с партиями, призывавшими пролетариев и потенциальных социалистов поддержать их только по той причине, что они являются чехами, или поляками, или словенами. Это заставляло рабочие движения, как только они приобретали действительно массовый характер, обращать внимание на «национальный вопрос». Практически каждый теоретик марксизма, являвшийся деятелем достаточно крупного калибра, от Каутского и Розы Люксембург до австрийских марксистов, а затем — до Ленина и молодого Сталина, принимал в тот период участие в горячих спорах по национальному вопросу, что указывало на остроту и важность проблемы<sup>4\*</sup>

Там, где национальное самосознание становилось политической силой, оно приобретало вид своего рода общей политической основы многих движений. Довольно трудно определить все многообразные проявления национализма, хотя все они назывались



истинно национальными или патриотическими. Как мы увидим далее, идентификация по национальному признаку широко распространилась в тот период и значение национальных лозунгов в политической борьбе еще больше выросло. Однако самым важным стало появление обширного набора мутаций политического национализма, что имело глубокие последствия для XX века.

Рассмотрим 4 вида таких мутаций. Первый вид, как мы уже говорили, образовался от слияния национализма и патриотизма и стал идеологией правых. Его крайним выражением явился фашизм, расцвет которого пришелся на период между двумя мировыми войнами, но предшественников которого следует искать именно в XIX веке.

Второй вид возник на основе предположения (совершенно несвойственного либеральной фазе национальных движений) о том, что принцип национального самоопределения вплоть до (и включая) образования независимых суверенных государств, может быть применен не только к нациям, сумевшим проявить экономическую, политическую и культурную жизнеспособность, но и ко всем (и к любым) группам населения, объявившим себя «нациями». Разница между старым и новым толкованием хорошо видна на примере различия между концепцией Джузеппе Мадзини, великого проповедника национализма XIX века, и принципом президента Вильсона. Согласно Мадзини, «Европа наций» должна была состоять в 1857 году всего из 12 довольно крупных образований, тогда как по принципу национального самоопределения, провозглашенному Вильсоном в конце первой мировой войны, в «Европе должно было быть 26 независимых государств (или 27, с учетом Ирландии) (см. «Век Капитала», гл. 1 и 5).

Третий вид национализма был основан на требовании предоставления полной государственной независимости той нации, которая сама применяет к себе принцип «национального самоопределения»; объявлялось, что какая бы то ни было форма автономии является недостаточной; тогда как требования автономии, выдвигавшиеся в XIX веке, не содержали условия предоставления полной независимости. Под влиянием этого условия возникла в конце концов новая тенденция определять нацию по этническому и особенно по языковому признаку.

До середины 1870-х годов в Европе было 2 вида государств (с точки зрения их национального состава). Государства Западной Европы (Франция, Британия, Германия, Италия) считали себя представителями определенных «наций»; другие европейские государства были основаны на ином политическом принципе, но все же можно было допустить, что они представляют основную массу своего населения, объединенную в некую общность наподобие нации; так, русские цари являлись национальными правителями русского народа и ортодоксальными правителями Российской империи. Многочисленные нации, существовавшие внутри таких европейских государств (за исключением только империи Габсбургов и Османской империи), не были слишком озабочены проблемой политической независимости, особенно после объединения Германии и Италии. Только поляки, разделенные между Россией, Германией и Австрией, не оставляли надежд на восстановление независимости своей страны; и о том же думали ирландцы, входившие в Соединенное Королевство. Еще в разных местах существовали большие группы населения, состоявшие из представителей одной нации и оказавшиеся, по тем или иным причинам, за границами государства, представлявшего эту нацию, к которому они, естественно, хотели бы принадлежать; однако лишь немногие из таких групп создавали определенные политические проблемы; как, например, жители Эльзас-Лотарингии, аннексированной Германией в 1871 г. (А вот области Ницца и Савойя, отошедшие к Франции в 1860-х годах от территории будущего итальянского государства, не проявляли никаких признаков недовольства).

Начиная с 1870-х годов, число националистических движений в Европе значительно увеличилось, однако при этом в Европе за сорок лет перед 1914 годом было создано гораздо меньше новых национальных государств, чем в предыдущие сорок лет (отмеченных созданием Германской империи); да и созданные после 1870 года государства были не слишком значительными: Болгария (1878 г.); Норвегия (1907 г.); Албания (1913 г.). Тогда как в период 1830—1871 годов были созданы или получили международное признание такие государства, как Германия, Италия, Бельгия, Греция, Сербия, Румыния; кроме того, в соответ-

ствии с так называемым «Компромиссным соглашением» 1867 года были гарантированы права широкой автономии Венгрии, входившей в состав империи Габсбургов. Теперь национальные движения появились не только у народов, считавшихся прежде «неисторическими» (т. е. никогда раньше не имевших независимого государства, или своего правящего класса, или своей культурной элиты), как, например, у финнов и словаков, но также и у таких народов, о которых едва ли кто-нибудь помнил, кроме, может быть, знатоков фольклора: например, у эстонцев и македонцев. Стало политически мобилизовываться население отдельных регионов, расположенных внутри давно существовавших национальных государств; теперь эти группы объявляли себя «нациями»; так случилось в Уэльсе, где в 1890-х годах организовалось движение «молодых валлийцев», возглавленное местным юристом по имени Дэвид Ллойд-Джордж, получившим потом широкую известность; так произошло в Испании, где в 1894 году сформировалась Национальная партия басков. Примерно в те же годы Теодор Герцль дал начало распространению сионизма среди евреев, до этого не интересовавшихся национализмом, заключенным в этом учении, и не знавшим его.

Многие из таких движений не встречали большой поддержки среди людей, к которым они обращались, хотя явление массовой эмиграции создавало благоприятную почву для отклика, так как пробуждало в сердцах сильное чувство сожаления по оставленной родине, открывая их для восприятия новых политических идей. Тем не менее массовое национальное сознание росло, и политическая проблема национализма стала создавать все больше трудностей для государств и движений, не имевших национального характера.

Большинство наблюдателей европейских событий начала 1870-х годов были, пожалуй, согласны с тем, что после объединения Италии и Германии и австро-венгерского «компромисса» принцип «самоопределения наций» несколько утратил свою взрывчатую силу. Этого не отрицали даже власти Австрии, согласившиеся (хотя и без особой охоты) учесть рекомендации Международного статистического конгресса 1873 года и включить в анкеты переписи населения вопрос о родном языке. Они пола-

гали, что за предыдущие десять лет национальные страсти достаточно поостыли, и этот вопрос можно спокойно учесть при проведении переписи 1880 года. События показали, что они допустили явную ошибку<sup>5\*</sup>

Оказалось, что в долгосрочном плане сыграла большую роль не степень поддержки национальных требований теми или иными группами населения, а трансформация самого определения и программы национализма. В настоящее время мы настолько привыкли к этническо-лингвистическому определению нации, что уже не вспоминаем, что оно было разработано, в основном, в конце XIX века. Не вдаваясь в подробности, напомним только, что идеологи ирландского национального движения не связывали ирландский вопрос с защитой гэльского языка даже спустя несколько лет после основания «Лиги защиты гэльского языка» в 1893 г. что примерно до того же срока баски основывали свои требования не на существовании своего языка, а на своих исторических привилегиях; что участники горячих споров о судьбе Македонии меньше всего думали о сходстве македонского языка с болгарским или сербско-хорватским, решая вопрос о присоединении Македонии к одному из этих государств. Что касается сионистов, то они нашли хороший выход, объявив национальным языком иврит, т. е. язык, которым ни один еврей не пользовался в быту со времен вавилонского рабства, а может быть и с более древних. В 1880-е годы этот язык был приспособлен для повседневного общения и одновременно продолжал использоваться для целей богослужения и богословия как язык религиозных ритуалов и науки, который стал символом единства сионистского движения; переработка языка сопровождалась составлением его словаря, в который включили и термин «национализм», переведенный на древнееврейский язык.

Все сказанное не означает, конечно, что до указанного времени язык не считался важным национальным признаком. Он оставался критерием определения нации, наряду с другими признаками; но, вообще говоря, чем меньшее значение ему придавали, тем крепче было коллективное самосознание массы людей. Язык не был полем идеологической борьбы для людей, которые на нем разговаривали; к тому же было практически невозможно

проконтролировать, на каком языке говорили матери со своими детьми, жены — с мужьями, соседи — между собой. Язык, на котором разговаривало большинство евреев, называвшийся «идиш», не имел никакого идеологического значения до тех пор, пока большинство евреев, использовавших его, а также левые (которые вовсе не были сионистами) не обнаружили, что власти многих государств (включая и империю Габсбургов) отказываются признавать его самостоятельным языком. Другой пример: миллионы людей стали членами американской нации, которая явно не имела этнического базиса; они учили английский язык по необходимости или для удобства общения, не стремясь воспринять английский национальный характер или национальную принадлежность. Лингвистический национализм создали люди пишущие и читающие, а не те, для кого язык был средством общения. «Национальный язык», в котором теоретики находили яркое и существенное выражение характера данной нации, был, как правило, артефактом, который они классифицировали, стандартизировали, модернизировали и унифицировали, для удобства устного общения и литературного употребления, исключая из него «странности», внесенные местными диалектами и жаргонами, свойственные подлинно живому разговорному языку. Основные национальные языки, издавна принятые в своих государствах и применявшиеся и в письменности, и в литературе, прошли эту фазу собирания и «исправления» еще в давние времена: немецкий и русский — в XVIII веке; французский и английский — в XVII веке; итальянский и кастильский — еще раньше. Для большинства языков малых лингвистических групп девятнадцатый век явился периодом великого «упорядочения», когда были созданы их словари и даны рекомендации «правильного» употребления идиоматических выражений. Многие другие языки — каталонский, баскский, балтийские — проходили эту фазу уже на рубеже XIX—XX веков.

Письменные языки были всегда более тесно (если не сказать — обязательно) связаны с определенной территорией и институтами. Национализм, утвердившийся в качестве стандартного варианта национальной идеологии и программы, имел, как правило, территориальный характер и использовал в качестве модели го-

сударственного устройства территориальное государство времен Французской революции (или подобный образец), позволявшее осуществлять полный политический контроль над территорией, имевшей четкие границы, и над ее обитателями, доступными такому контролю. Исключение, или своего рода крайность представлял сионизм, имевший явно заимствованную программу, не подкрепленную ни прецедентом, ни связью с действительной традицией, обеспечивавшей в течение тысячелетий постоянное существование, цельность и нерушимость национального сознания еврейского народа. Сионизм предписывал евреям приобрести территорию (пусть даже заселенную другим народом); считалось необязательным, чтобы евреи имели какие-то исторические связи с этой территорией — подобно тому, как им рекомендовался язык, на котором они не говорили уже тысячи лет.

Идентификация нации по строго определенной территории создала такие проблемы в регионах массовой миграции, да и в других районах мира, что пришлось разрабатывать другое определение национальности; это было актуальным в первую очередь для империи Габсбургов и для еврейской диаспоры. Предлагалось считать национальной территорией не тот участок земли, к которому люди были привязаны в своем сознании, а землю, на которой, волей обстоятельств, оказались люди, считающие себя членами данной нации. На этой земле они должны пользоваться правами «культурно-национальной автономии». Таким образом, появились «географическая» и «человеческая» теории нации, сторонники которых увязли в бесконечных озлобленных спорах, столкнувших между собой социалистов разных стран и даже евреев-сионистов с евреями — сторонниками Бунда<sup>30</sup>. Ни одна из теорий не была признана удовлетворительной, хотя «человеческая» теория принесла меньше вреда. Она, по крайней мере, не предписывала своим сторонникам сначала завладеть территорией, а потом привести ее население в должное состояние по национальному признаку; как говорил Пилсудский, ставший главой новой независимой Польши в 1918 году: «Государство делает нацию, а не нация делает государство»<sup>6\*</sup>

Сторонники нетерриториальной теории были почти полностью правы и с точки зрения социологии. Конечно, люди, мужчи-

ны и женщины (не считая членов кочевых племен и диаспор), бывают обычно глубоко привязаны к определенному участку земли, который они называют «родиной»; особенно если учесть, что в течение почти всего исторического времени большая часть человечества занималась сельским хозяйством, т. е. была тесно осязана с землей. Но выражение «родная земля» уже не обозначает, в прямом смысле, территорию обитания нации, подобно тому как слово «отечество» не обозначает больше место, где живут родители. Раньше «отечество» было местом обитания реального общества людей, связанных между собой реальными отношениями, а теперь это слово обозначает вообще страну с определенным населением, насчитывающим десятки, а то и сотни млн человек. Подтверждение этому можно найти в любом словаре. Так, в испанском языке слово «патриа» («родина») не было тождественно слову «Испания» до конца XIX века. В XVIII веке оно обозначало просто место или город, где родился человек<sup>7\*</sup> В итальянском языке слово «паэзе» («страна», «деревня»), а в испанском — слово «пуэбло» («люди», «народ») до сих пор обозначают и деревню, и территорию страны, и жителей деревни, и народ страны. (Здесь можно отметить, что сила воздействия немецкого телевизионного сериала «Родина» была основана именно на отождествлении «большой родины» — Германии с «малой родиной» — горной местностью Хунсрюк.) Национализм и государство стремились использовать чувства людей, связанные с понятиями «родные и близкие», «дом», «соседи», относя их к территории и населению совсем других размеров и масштабов, что превращало эти искренние слова в отвлеченные метафоры.

Обесценивание понятий и ценностей, которые всегда были дороги людям (связанных со словами «деревня», «родные», «церковный приход» и т. п.), обусловленное утратой их связи с реальным содержанием и реальными чувствами людей, требовало какой-то замены. Появившуюся пустоту постарались заполнить с помощью отвлеченного понятия «нация».

Это понятие неизбежно оказалось связанным с таким характерным явлением XIX века, как «национальное государство». Дело в том, что с точки зрения политики Пилсудский был совершенно прав: государство не только делало нацию — оно было вынужде-

но ее делать. Правительство теперь общалось с каждым своим гражданином непосредственно на месте его проживания, через своих скромных, но вездесущих представителей: от почтовых служащих и полицейских до учителей и железнодорожных каскиров. Эти люди могли потребовать от гражданина (как и от гражданки!) активного личного содействия государству, т. е. фактически — проявления «патриотизма». В эру растущей демократизации жизни власти уже не могли больше полагаться на традиционные способы исполнения «социального заказа» правящих классов и действовать без определенной системы, опираясь только на религию, служившую во все времена эффективным средством обеспечения гражданского повиновения; теперь они нуждались в новых средствах сплочения граждан, с целью противостояния подрывной деятельности и выступлениям диссидентов. Идея «нации» стала новой религией государств. Она стала «цементом», скрепившим граждан с государством, и обеспечила возможность прямого обращения государства к своим гражданам, для противодействия прочим призывам: религиозным, национальным или этническим, а прежде всего — классовым, поскольку они не были связаны с государством и имели в виду не его интересы, а чьи-то иные. Ведь чем больше вовлекались массы населения конституционных государств в политическую борьбу посредством выборов — тем больше слышалось подобных призывов, обращенных к ним со всех сторон.

Да и неконституционные государства поняли политическую действенность обращения к гражданам на основе национальной идеи, которая стала для них чем-то вроде идеи демократизации, но при этом не была связана с опасностями, присущими демократии; наряду с этим они продолжали призывать граждан повиноваться властям согласно воле Бога. В 1880-е года даже русский царь, оказавшись перед лицом революционной агитации, обратился к политике, которую безуспешно пытался проводить в 1830-е годы его дед, т. е. стал опираться в своем правлении не только на принципы автократии и ортодоксии, но и на национальную идею, мобилизовавшую национальные чувства русского народа<sup>8\*</sup>. Надо сказать, что практически все монархи XIX века были вынуждены, так сказать, рядиться в национальные одеж-



ды, поскольку лишь немногие из них имели национальность той страны, которой они правили. Германские принцы и принцессы (их было больше всех), становясь правителями (или супругами правителей) Британии, Греции, Румынии, России, Болгарии или любой другой страны, где требовалась очередная «голова, увенчанная короной», отдавали дань уважения местной нации, превращаясь в британцев (как королева Виктория), греков (как Отто Баварский), или обучаясь какому-то другому языку, на котором они говорили с акцентом; хотя у них было гораздо больше общего с другими членами этого международного «профсоюза» принцев и принцесс, или, скорее, с членами этого обширного международного семейства (потому что все они были родственниками), — чем со своими подданными.

Экономика эры новых технических достижений и характер государственных и частных систем управления экономикой требовали осуществления массового начального образования, или хотя бы широкого распространения грамотности; и это обстоятельство тоже способствовало укреплению «государственного национализма». Дело в том, что прежние способы коммуникаций, основанные на устной речи, потеряли в XIX веке свое значение, так как увеличилось расстояние между властями и подданными государства, а массовая миграция разделила семьи, так что матерей и сыновей, женихов и невест разделяли иногда дни, а то и недели пути. Школа же могла учить детей не только грамотности, но и правильному поведению, свойственному хорошим подданным и гражданам, и государство придавало школе большое значение. До наступления эры телевидения ни один способ ведения пропаганда не имел такого значения, как школьный.

Вследствие сказанного, период 1870—1914 годов был для большинства европейских стран, помимо всего прочего, «эрой начальной школы». Сильно возросло количество учителей начальной школы, даже в тех государствах, где школьное образование и так было поставлено достаточно хорошо. Например, в Швеции этот показатель утроился; и в Норвегии он вырос почти в три раза. Страны, допустившие отставание, стремились наверстать упущенное. В Нидерландах количество учеников начальных школ выросло вдвое; в Соединенном Королевстве (где до 1870-х годов не

было государственной системы школьного образования) оно утроилось; в Финляндии выросло в 13 раз! Даже в балканских странах, где неграмотность была массовым явлением, количество учеников начальных школ выросло в 4 раза, а количество учителей почти утроилось. Понятно, что национальная, а это значило — организуемая и управляемая государством система школьного образования требовала укрепления национального языка, на котором можно было также издавать инструкции для населения. К системе государственного образования были подключены суды и государственный аппарат, составившие вместе внушительную силу, которая утвердила язык среди первостепенных признаков национальности (см. «Век Капитала», гл. 5).

Так государства «создавали нации», т. е. укрепляли национальный патриотизм и формировали однородную массу граждан, гомогенизированную (по меньшей мере) в лингвистическом и административном отношении; и делали они это с настойчивостью и рвением. Французская республика сделала из «крестьян» — «французов». Итальянское королевство, следуя лозунгу Д'Азелио, старалось изо всех сил (правда, с переменным успехом) «создать итальянцев» с помощью школ и военной службы, после того как удалось «создать Италию». США сделали знание английского языка условием получения американского гражданства и начали с конца 1880-х годов вводить фактическое поклонение новой «гражданской религии» (единственной, которая не противоречила агностицизму американской конституции) — в виде ежедневного ритуала отдания почестей национальному флагу во всех американских школах. Венгерское государство не жалело сил, чтобы превратить всех своих разноплеменных обитателей в «мадьяр»; русское государство проводило руссификацию малых наций, насаждая обучение на русском языке. Повсюду, где был признан принцип многонационального государства, хотя бы в такой степени, что можно было получить начальное (а то и среднее) образование на родном языке (как в империи Габсбургов), все же существовал государственный язык, имевший решающие преимущества на всех высших уровнях государственной системы. Это побудило народы, язык которых не был признан государственным, к борьбе за созда-

ние собственных университетов, как произошло в Богемии, Уэльсе и во Фландрии.

Государственный национализм, реальный или изобретенный для удобства (как в случае с монархами), был опасным оружием для тех, кто им пользовался. Мобилизуя в политическом отношении одних жителей страны, он способствовал отчуждению других — тех, кто не принадлежал (или не хотел принадлежать) к нации, признанной «государственной». Другими словами, он способствовал формированию национального сознания у людей, исключенных из официально признанной национальности путем выделения общин, сопротивлявшихся, по тем или иным причинам, утверждению официального государственного языка и идеологии.

## II

Почему же одни сопротивлялись национализму, а другие — нет? В конце концов, крестьяне, а особенно их дети, становясь «французами», получали вполне определенные существенные преимущества — как всякий, приобретающий в дополнение к своему диалекту или национальному языку знание государственного языка, удобного для профессионального и культурного развития. В 1910 г. 70% иммигрантов, прибывших в США из Германии после 1900 года, имея всего 41 доллар в кармане, стали гражданами Америки, говорившими на английском языке; при этом они вовсе не собирались забывать свой немецкий<sup>9, 10\*</sup> (Сказать по правде, лишь немногие государства действительно пытались прекратить употребление национального языка и соблюдение национальных обычаев в личной жизни, если их использование не имело вызывающего характера по отношению к официальному государственному языку и обычаям.) Нередко бывало так, что национальный язык не мог составить серьезную конкуренцию государственному языку и употреблялся только в религии, в поэзии и в кругу семьи. Сегодня трудно в это поверить, но находились, например, валлийцы, преданные национальным чувствам, но смилившиеся с упадком их древнего кельтского языка в век прогресса и предвидевшие его естественное постепенное отмира-

ние. (Использованный здесь термин «отмирание» — «эутаназия» — взят из речи свидетеля-валлийца, дававшего показания на заседании парламентского комитета по обучению на валлийском языке, состоявшемся в 1847 году.) Многие эмигранты, покидая свою страну, желали изменить не только свою классовую принадлежность, но и национальность или, по крайней мере, язык. В Центральной Европе появилось множество германских националистов, носивших явно славянские фамилии, или мадьяр, фамилии которых представляли собой буквальный перевод с немецкого, либо адаптированные словацкие фамилии. Американская нация с ее английским языком была не единственным примером общества, более или менее открытого для приема новых членов в эпоху либерализма и подвижности населения. И находилась масса людей, охотно откликавшихся на такую возможность, тем более что никто по-настоящему и не считал, что, отправляясь в эмиграцию, они отказываются от своего происхождения. Слово «ассимиляция» в XIX веке отнюдь не имело дурного смысла и означало цель, к которой стремились очень многие, особенно среди желавших влиться в средний класс.

Самая очевидная причина отказа людей некоторых национальностей от ассимиляции состояла в том, что им не давали возможности стать полноправными членами официально признанной нации. Яркий пример этого рода представляла верхушка коренного населения европейских колоний, получившая образование на языке метрополии, усвоившая культуру своих хозяев и допущенная ими к управлению своими соотечественниками, и все же остававшаяся на положении людей «второго сорта». Здесь была явная причина для конфликта, который мог разразиться рано или поздно, тем более что западное воспитание и образование давали возможность четко высказать свои требования. Так, один индонезийский интеллигент писал в 1913 году (между прочим, по-голландски): «С какой стати, скажите, должны индонезийцы праздновать годовщину освобождения Нидерландов от Наполеона? Будь я голландцем, я бы не стал организовывать празднование Дня независимости Нидерландов в другой стране, у которой голландцы украли независимость!»<sup>11\*</sup>

Конечно, население колоний представляло собой крайний

случай невозможности ассимиляции, поскольку здесь с самого начала было ясно, что, учитывая всепроникающий расизм буржуазного общества, никакие усилия не могли превратить человека с темной кожей в «настоящего» англичанина, бельгийца или голландца, пусть даже у него была масса денег, знатное происхождение и даже большая любовь к спорту — как раз такими были индийские раджи, приезжавшие учиться в Британию. И все-таки, даже в странах с белым населением существовало поразительное несоответствие между предлагавшейся возможностью ассимиляции для любого, проявившего желание и способности присоединиться к «главной» нации, — и отказом в предоставлении равных возможностей для некоторых групп людей. Особенно драматический характер имело указанное несоответствие для тех, кто с полным основанием считал, что имеет все возможности для ассимиляции: т. е. для евреев — представителей среднего класса, усвоивших западную культуру и обычаи. Вот почему «дело Дрейфуса» во Франции, когда был принесен в жертву один офицер французского Генерального штаба только потому, что он был евреем, вызвало столь непропорционально широкую реакцию ужаса, и не только среди евреев, но и среди всех либералов, и непосредственно привело к утверждению сионизма, ставшего идеологией государственного национализма для евреев.

Пятьдесят лет, предшествовавшие 1914 году, были классическим периодом ксенофобии и вызванного ею проявления националистической реакции, потому что (даже без учета явления глобального колониализма) это был период массовой подвижности и миграции населения, а также (особенно в десятилетия Великой депрессии) — скрытого и явного напряжения в обществе. Вот пример: к 1914 году территорию Польши (считая в границах периода между двумя мировыми войнами) покинуло около 3,6 млн человек (или почти 15% населения), уехавших на постоянное место жительства; да еще полмиллиона человек уезжали каждый год на сезонные работы<sup>12\*</sup>. Отсюда и возникла ксенофобия, которая шла не только снизу. Ее наиболее неожиданные проявления, отразившие кризис буржуазного либерализма, исходили от respetабельных средних классов, которые практически даже не встречались с людьми вроде тех, что проживали, например, в Нью-

Йорке, в районе Ист-Сайд, или в Саксонии, в бараках для сезонных рабочих. Например, Макс Вебер, ученый, гордость германских буржуазных научных кругов, отличавшийся непредвзятыми взглядами, выступил с такой яростной враждебностью против поляков (которых, как он правильно понимал, германские землевладельцы использовали, без зазрения совести, в качестве дешевой массовой рабочей силы), что его с распростертыми объятиями приняли в 1890-х годах в ультранационалистическую Пангерманскую лигу<sup>13\*</sup>. Среди потомков первых белых переселенцев в Америку, особенно среди протестантов английского происхождения, из среднего и высшего классов общества США, существовала целая система расовых предрассудков по отношению к «славянам; жителям Средиземноморья и семитам»; они даже сложили собственную героическую мифологию о приключениях белых ковбоев англосаксонского происхождения (к счастью — не обязательно членов профсоюза!), покорявших широкие пространства прерий, так не похожие на прогнившие трущобы враждебных больших городов\*.

Фактически, для буржуазии нашествие бедных чужеземцев обостряло и подчеркивало проблемы, вызванные широким ростом рядов городского пролетариата; эти люди объединяли в себе худшие черты внутренних и внешних «варваров», массы которых грозили захлестнуть цивилизацию, как предупреждали авторитетные предсказатели (см. гл. 2). Это явление ярко показывало (особенно в США) очевидную неспособность общества справиться с проблемой стихийных социальных перемен, а также нежелание новых масс признать превосходство уже утвердившихся верхних классов общества, которые, конечно, не могли с этим смириться. Поэтому именно в Бостоне, который был центром белой буржуазии, хранившей англосаксонские и протестантские тра-

---

\* Созданию мифов о ковбоях больше других поспособствовали три представителя аристократии северо-восточных штатов США: писатель Оуэн Унстер, автор романа «Человек из Виргинии», вышедшего в 1902 г.; художник Фредерик Ремингтон (1861—1909) и Теодор Рузвельт, ставший впоследствии президентом США<sup>14\*</sup>. Между прочим, этот миф отодвинул в тень людей, в среде которых родились на самом деле обычаи и язык ковбоев — т. е. мексиканцев.

диции, и к тому же богатой и образованной, была основана в 1893 г. «Лига за ограничение иммиграции». В политическом отношении ксенофобия средних классов была, почти наверное, более эффективной, чем ксенофобия трудящихся, возникавшая из-за ссор между соседями, державшимися разных обычаев, либо из-за страха потери рабочего места. Но тут существовала одна важная особенность! Именно сопротивление рабочего класса вытесняло иностранцев с рынков труда, тогда как работодатели испытывали почти непреодолимое искушение по поводу импорта дешевой рабочей силы. Там, где «чужие» не допускались вовсе (как в Калифорнии в 1880-е годы и в Австралии в 1890-х годах, где действовали запреты на прием небелых иммигрантов), — там не было никаких межнациональных и межобщинных трений; зато там, где осуществлялась дискриминация каких-то групп населения, как, например, африканцев в Южной Африке или католиков в Северной Ирландии, — там, конечно, возникали противоречия. Однако ксенофобия со стороны рабочего класса в период до 1914 года редко была эффективной. Если по-настоящему разбираться, то самая большая в истории международная миграция населения вызвала (даже в США) на удивление мало выступлений против иностранных рабочих; а в Аргентине и в Бразилии таких выступлений практически не было вовсе.

Массовое прибытие иммигрантов в чужие страны способствовало пробуждению в их среде национальных чувств, независимо от того, встречали ли они на новом месте неприязнь, или нет. Поляки, словаки и другие вспоминали о своей национальности, потому что, покинув родные места, все равно сознавали свою национальную принадлежность; действовало и то, что за границей их воспринимали как жителей определенной страны, так что те, кто на родине называл себя, например, сицилийцем или неаполитанцем, в Америке все получали прозвище «итальянцев». Кроме того, иммигранты нуждались в помощи со стороны своей национальной общины. Разве могли мигранты, прибывшие в чужую и непонятную страну, ожидать помощи от кого-то другого, кроме родных и друзей, или хотя бы земляков? (Ведь даже мигранты, покинувшие какой-то район, но не выехавшие из страны, стараются держаться вместе!) Кто на новом месте мог хотя

бы выслушать их, особенно женщин? И кто мог организовать их, хотя бы на первых порах, кроме представителей своей национальной церкви, руководивших местными церковными общинами? Ведь церковь, хотя она и считается общей для всех, на практике является национальной, потому что священники имеют ту же национальность, что и их прихожане; так что, например, словакам нужен священник, говорящий по-словацки. В этом смысле «национальность» обозначала целую сеть связей личности с обществом, а не просто отвлеченное название группы людей; например, словенец, встретивший вдали от родины другого словеница, фактически не будет для него чужим человеком.

Если требовалось как-то организовать этих людей для целей общества, где они очутились, то для этого нужно было налаживать между ними определенные связи. Рабочие и социалистические движения (как мы видели) исповедовали интернационализм и даже мечтали (как в свое время либералы) о будущем, в котором все говорят на одном всемирном языке (эта мечта до сих пор живет среди небольших групп эсперантистов). По мнению социалистов, со временем все образованное человечество «переплавится» в одну нацию, говорящую на одном языке (об этом писал Каутский в 1908 году)<sup>15\*</sup> Однако в реальности им пришлось столкнуться с проблемой, помешавшей еще строителям Вавилонской башни: например, профсоюзы на фабриках в Венгрии печатали призывы к забастовке на 4 языках<sup>16\*</sup>! Вскоре выяснилось, что профсоюзные ячейки не могут хорошо работать, если они состоят из людей разной национальности, не владеющих хотя бы двумя языками. Международные организации рабочих приходилось создавать, комбинируя группы людей по языку и по национальности. В США Демократическая партия, ставшая массовой рабочей партией, начинала, по необходимости, свою работу как «коалиция», построенная по этническому принципу.

Чем шире развертывалась миграция, чем быстрее шло развитие городов и промышленности, сталкивавшее друг с другом массы людей, сорванных со своих мест, — тем шире была база становления национального сознания этих масс. Поэтому многие новые национальные движения выросли именно вдали от родины. Так, президент Масарик подписал соглашение о созда-



нии союзного государства чехов и словаков (Чехословакии) не где-нибудь, а в Питтсбурге (США), потому что базу для создания массовой организации словацких националистов удалось найти в штате Пенсильвания, а не в Словакии. Что же касается отсталой горной народности, проживавшей в Карпатах, которую в Австрии называли «рутены», и которые тоже были в составе Чехословакии с 1918 по 1945 год, то у них вообще не существовало никакой национальной организации, кроме общества эмигрантов, проживавших в США.

Взаимопомощь и взаимная поддержка эмигрантов могли, конечно, способствовать росту национализма среди них, но такое объяснение было бы неполным. Если для эмигрантов эта взаимопомощь служила лишь поводом для воспоминаний о родине, то там, на самой родине, она питала национализм, особенно среди малых наций. Так появился неотрадиционализм, ставший защитной или сдерживающей реакцией на разрушение старых общественных порядков нахлынувшей волной модернизации, капитализации, урбанизации и индустриализации, сопровождавшейся ростом пролетарского социализма, явившегося логическим результатом этих явлений.

Элемент традиционализма был хорошо замечен в действиях католической церкви, оказывавшей поддержку движениям басков и фламандских националистов, представлявших собой проявления национализма малых народов, отвергнутых в свое время националистами-либералами, посчитавшими их (уже из-за того, что они были «малыми») неспособными к созданию жизненно стойких национальных государств. Правые идеологи, ряды которых к тому времени умножились, тоже стремились развивать привязанность к регионализму, имевшему традиционные культурные корни в местной среде (вроде движения «фелибридж» в Провансе). Фактически именно тогда, в период перед 1914 годом, и появились в среде правой интеллигенции идеологические предшественники почти всех движений сепаратизма и регионализма, развернувшихся в полную силу в конце XX века, вроде тех, что действуют в Уэльсе и в Бретани. И наоборот, ни буржуазия, ни пролетариат обычно не находили себе сторонников среди небольших националистических движений малых народов. В

Уэльсе подъем лейбористского движения подорвал позиции националистов из организации «Молодой Уэльс», выступавших против Либеральной партии. Что же касается новой промышленной буржуазии, то она предпочитала действовать на рынках крупного государства и всего мира, а не терпеть ограничения малой страны или района. Ни в русской части Польши, ни в Стране Басков (представлявших собой районы высокого развития промышленности крупных непромышленных государств) местные капиталисты не проявляли слишком горячих национальных чувств; а, например, в Генте буржуазия демонстративно симпатизировала Франции, вызывая этим озлобление фламандских националистов. Хотя такое отсутствие интереса к национализму со стороны буржуазии наблюдалось не везде, все же оно было достаточно широким явлением; так что Роза Люксембург даже сделала ошибочное заключение о том, что польский национализм не имел опоры среди буржуазии.

Наиболее неприятным явлением для националистов-традиционалистов было отношение крестьянства, которое всегда придерживалось традиций больше, чем любой другой класс, но проявляло лишь слабый интерес к национализму. Так, крестьяне-баски почти не интересовались делами Национальной партии басков, основанной в 1894 году для защиты местных старинных обычаев от наглых испанцев и безбожников-рабочих. Подобно большинству таких движений, она опиралась в первую очередь на средние и нижние слои городского среднего класса<sup>17\*</sup>

Фактически продвижение национализма осуществлялось в те годы в основном силами средних слоев общества, что давало повод социалистам называть его «мелкобуржуазным». Связь национализма с этими слоями позволяет объяснить три его особенности, о которых уже говорилось: непримиримость в вопросах языкознания; требование полной независимости, а не автономии; правую и ультраправую политическую окраску.

Для представителей нижнего слоя среднего класса, вышедших из народных масс, вопросы профессионального роста и применения родного языка были неотделимы друг от друга. С того момента, как общество стало опираться на массовую грамотность, обычный разговорный язык должен был приобрести функции

официального языка, годного для написания инструкций и прочих бюрократических процедур; либо превратиться в род жаргона, пригодного только для устного общения, обреченного со временем выйти из употребления и занять место в музее фольклора. Главным средством проверки жизнеспособности языка стало массовое (т. е. начальное) образование; поскольку оно само было возможно только при употреблении такого языка, который могло понять большинство населения. (Между прочим, запрет на употребление в школе валлийского или какого-то другого местного языка или наречия, оставивший столь тяжелый след в памяти местной (валлийской) интеллигенции и ученых, был вызван не тоталитарными замашками господствовавшей нации, а, скорее всего, искренней верой в то, что полноценное образование можно получить только с помощью официального государственного языка; и что человек, знающий только свой национальный язык (не являющийся государственным), неизбежно столкнется с трудностями в своей профессиональной деятельности в общественной жизни.) Обучение же на иностранном языке («живом» или вышедшем из употребления) было доступно только для небольших групп людей, способных уделять ему достаточно много времени, средств и усилий, обеспечивающих получение достаточно хороших навыков.

Следующим ключевым средством применения языка была бюрократическая система, так как, во-первых, от нее зависело решение о придании языку официального статуса; а во-вторых, именно она содержала в себе самую большую группу работников, которым требовалась грамотность. Отсюда все эти бесконечные мелкие стычки, разъедавшие политику империи Габсбургов с 1890-х годов: на каком языке делать надписи на знаках, регулирующих уличное движение в местах проживания людей разных национальностей, да какой национальности должны быть помощники почтмейстера и железнодорожные служащие.

Только политическая сила могла изменить статус малого языка или наречия (которые, как известно, отличаются тем, что на них не говорит армия и полиция). Это обстоятельство и было причиной разных политических мер и контрмер, предпринимавшихся за кулисами переписей населения, проводившихся в тот период

(в Бельгии и в Австрии — в один и тот же год, 1910-й, что само по себе являлось достаточно примечательным обстоятельством); переписи были посвящены вопросам распространения национальных языков и проводились по сложным анкетам; от их результатов зависело политическое значение национальных языков. При этом политическая мобилизация националистов, связанная с судьбой национальных языков, происходила в тот самый момент, когда, например, в Бельгии очень быстро росло число фламандцев, говоривших как на своем родном, так и на государственном языке; а в Стране Басков практически прекратилось использование языка басков в быстро выраставших крупных городах<sup>18\*</sup>. Так что если и можно было обеспечить национальному языку место в обществе с помощью политических мер, то он сам при этом мог оказаться «неконкурентоспособным» в качестве средства обучения и письменных коммуникаций. Этой, и только этой причиной объяснялось существование в Бельгии системы двух официальных государственных языков (с 1870 года); фламандский язык изучался во Фландрии, в средних школах, где он был обязательным предметом до 1883 года. Как только национальный язык получал официальный статус, он сразу создавал значительный круг своих политических сторонников из числа грамотных людей этой национальности. Так, в Австрии Габсбургов значительно увеличилось количество учеников начальных школ: с 2,2 млн в 1874 году до 4,8 млн в 1912 г.; и это означало, конечно, увеличение числа националистов; количество учителей возросло за то же время на 100 000 человек; о них можно сказать то же самое, поскольку это были люди, преподававшие на разных национальных языках.

При этом те, кто получал образование на национальном языке и мог использовать это образование для своего профессионального роста, чувствовали себя в подчиненном и второстепенном положении. Конечно, благодаря знанию двух языков у них было больше возможностей получить работу — если это была низкооплачиваемая работа, которой пренебрегали снобы, говорившие только на одном, но зато привилегированном государственном языке и выигрывавшие при получении высокооплачиваемой и престижной работы. Поэтому возникали требования

расширить общение на национальных языках и создать средние школы и даже университеты с преподаванием на национальном языке, чтобы существовала полная система национального образования. Требования создания национальных университетов выдвигались и в Уэльсе, и во Фландрии; в основе их лежали исключительно политические мотивы. В Уэльсе национальный университет был создан в 1893 г.; он оказался в то время первым и единственным национальным учреждением народа небольшой области, не имевшей в пределах своей страны административных или каких-либо других особенностей. Те, для кого главным языком был их родной язык, не являвшийся государственным, практически не имели возможностей пробиться к высшим местам в системе государственной, культурной и общественной деятельности, так как это противоречило порядкам, принятым в обществе. Короче говоря, сам тот факт, что определенный представитель нового нижнего слоя среднего класса (и даже самого среднего класса) получил образование на словенском или на фламандском языке, уже подчеркивал и предопределял другой факт: что лучшие места и высший статус получают те, кто говорит на французском или на немецком, даже если они не потрудились выучить дополнительно какой-либо национальный язык.

Чтобы преодолеть эту неизбежную несправедливость, заложенную в самих общественных порядках, нужно было продолжать политическую борьбу: т. е. требовалась определенная политическая сила. Говоря откровенно, нужно было заставить людей использовать национальный язык в тех случаях, в которых они обычно предпочитали пользоваться другим языком. Поэтому, например, националисты в Венгрии настаивали на ведении преподавания в школах на венгерском языке, хотя любой образованный человек, живший в Венгрии, хорошо понимал, что для получения хоть какого-то положения в обществе ему нужно знать хотя бы один из основных иностранных языков. В конце концов, ценой принудительных мер со стороны правительства, венгерский язык стал языком литературы и письменности в стране, обслуживая все современные потребности общества, хотя за пределами страны ни один человек не понимал ни слова по-венгерски. Только политическая сила, а в данном случае — сила при-

нуждения со стороны государства — могла привести к таким результатам. Националисты, особенно те из них, у которых карьера и благополучие были связаны с родным языком, не очень-то задавались вопросами о других возможных путях развития и процветания национального языка.

Лингвистический национализм обычно не переходил определенных пределов и не требовал раздела страны. Зато подлинные националисты, требовавшие государственно-территориальной независимости, подчеркивали свою преданность национальному языку; поэтому, например, все участники ирландского национального движения должны были с 1890-х годов официально подтверждать свое обязательство пользоваться гэльским языком, несмотря на то (а может, как раз потому), что большинство ирландцев было не против обходиться английским; а сионисты вводили иврит в качестве повседневного языка, потому что ни один из других языков, которыми пользовались евреи, не годился, по мнению сионистов, для создания независимого еврейского государства. Можно было бы порассуждать о судьбе всех этих попыток осуществления лингвистического развития с помощью политических средств; некоторые из них потерпели неудачу (как например, попытка восстановления пользования гэльским языком вместо современного ирландского); другие удались наполовину (как попытка усовершенствования норвежского языка путем усиления его национальных особенностей и получения таким путем истинно норвежского — «нинорского» языка); а некоторые имели успех. Можно отметить, что в 1916 году общее число людей, использовавших иврит в качестве повседневного языка, составляло во всем мире всего 16 000 человек.

Национализм имел и другие связи со средним классом, содействовавшие сдвигу вправо как националистов, так и самого среднего класса. Дело в том, что массой торговцев, ремесленников и, отчасти, фермеров овладели настроения ксенофобии, которые особенно усилились в годы депрессии. Иностранцы стали символом разрушения старого образа жизни и развития капитализма, подавлявшего мелкую буржуазию. В связи с этим Запад оказался охваченным политическим антисемитизмом, широта распространения которого совсем не соответствовала действитель-

ному количеству евреев, против которых он был направлен: например, он ярко проявился во Франции, где из общего населения в 40 млн человек всего 60 000 были евреи; в Германии, где было 500 000 евреев, при населении в 65 млн человек; и в Австрии, где евреи составляли (в Вене) 15% населения. (При этом в Будапеште, где евреи составляли 25% населения, антисемитизм не имел серьезного политического влияния.) Главной мишенью антисемитизма стали банкиры, предприниматели и другие, подобные им личности, олицетворявшие в сознании «маленьких людей» бедствия капитализма. Типичный карикатурный образ капиталиста, существовавший в «прекрасную эпоху», представлял не в виде толстяка в цилиндре и с сигарой в зубах, а в виде хищной личности с крючковатым еврейским носом, потому что именно евреи достигли больших успехов в экономике, конкурируя с мелкими лавочниками, давая или отказывая в кредитах мелким ремесленникам и фермерам.

Не зря германский социалист Август Бебель говорил: «Антисемитизм — это социализм идиотов». Но больше всего поражали не утверждения типа «еврей — значит рьяный капиталист» (лишенные смысла во многих странах Центральной и Восточной Европы), сопровождавшие подъем политического антисемитизма в конце XIX века, а тесная связь антисемитизма с правым национализмом. Причина заключалась не только в росте социалистических движений, боровшихся против скрытой или явной ксенофобии националистов, благодаря чему глубоко укоренившаяся неприязнь к евреям и иностранцам постепенно пошла на убыль. Скорее, дело было в том, что в идеологии националистов крупных государств, особенно в 1890-х годах, произошел явный сдвиг вправо; например, в Германии старая массовая организация националистов «Турнер», объединявшая гимнастические ассоциации, совершила поворот от либерализма (унаследованного еще от революции 1848 года) к агрессивному милитаризму и антисемитизму. Сложилась такая обстановка, что патриотизм стали отождествлять только с правыми взглядами, а левым оказалось трудно называть себя патриотами, даже в тех странах, где патриотизм всегда считался делом народа и такой же неременной принадлежностью революции, как трехцветное знамя во Фран-

ции. Теперь левые, защищая национальное достоинство, могли получить обвинения в симпатиях к ультраправым. Например, французские левые не могли, до наступления эпохи Гитлера, использовать в своей пропаганде традиции якобинского патриотизма.

Патриотизм стал принадлежностью правых не только потому, что потерял свою прежнюю опору в лице идеологических сторонников — буржуазных либералов, переживавших период разброда; но и потому, что изменилось международное положение, и национализм не мог больше уживаться с либерализмом. Дело в том, что до 1870-х годов (точнее, до Берлинского конгресса 1878 года) считалось, что приобретения какого-либо национального государства не обязательно бывают связаны с потерями для других государств. В этот период политическая карта Европы заметно изменилась, ввиду образования двух крупных новых государств — Германии и Италии, а также появления нескольких небольших государств на Балканах, причем это произошло без войн и не вызвало разрушения сложившейся системы международных отношений. До самой Великой депрессии существование системы мировой свободной торговли, пусть даже с определенным преимуществом для Британии, устраивало все государства. Однако после 1870-х годов этот принцип потерял свою убедительность; стали говорить о серьезной, и даже близкой угрозе конфликта мирового масштаба, что привело к появлению национализма особого рода, рассматривавшего все нации либо как носителей, либо как жертв угрозы потенциальной агрессии.

Эта идеология вдохновлялась и поддерживалась правыми политическими движениями, возникшими в результате кризиса либерализма. Люди, первыми назвавшие себя новым именем «националистов», нередко приходили в политику после военных поражений, понесенных их страной: такими были Морис Баррес (1862—1923) и Поль Дерулед (1846—1914), включившиеся в политическую борьбу после победы Германии над Францией в войне 1870—1871 годов; Энрике Коррадини (1865—1931) — после болезненного поражения Италии в войне с Эфиопией в 1896 году. Основанные этими деятелями политические движения, благода-



ря которым слово «национализм» стало общеупотребительным, совершенно сознательно противопоставляли себя именно демократии, а не правительствам, т. е. выступали против парламентской политики)<sup>19\*</sup>. Движения этого рода, возникшие во Франции, оставались малозначительными (как, например, движение «Аксон франсез», основанное в 1898 году), потеряв авторитет из-за политически неуместных связей с монархистами и мелкой политической грызни. Итальянские националисты после первой мировой войны объединились в конце концов с фашистами. Все они были представителями нового вида политических движений, основанных на шовинизме, ксенофобии и (в растущей степени) на идеализации национальной экспансии, завоеваний и самой войны. Такой национализм очень хорошо выражал коллективное недовольство людей, не умевших как следует объяснить причину неурядиц своей жизни. Проще всего было сказать, что во всем виноваты иностранцы. Во Франции в период «дела Дрейфуса» особенно обострился антисемитизм, и не только потому, что обвиняемым оказался еврей (а что это за дела могли быть у еврея во французском Генеральном штабе?), но прежде всего потому, что его подозревали в шпионаже именно в пользу Германии. При этом у «истинных» германцев кровь застывала в жилах при мысли о том, что их страна со всех сторон окружена врагами, заключившими союз между собой, как об этом постоянно твердили их правители. Тем временем англичане, готовые (как и другие воинственные народы) начать мировую войну, были охвачены националистической истерией, когда звучали проклятия в адрес чужеземцев и даже предложения о том, чтобы королевская семья поменяла свою немецкую фамилию на англосаксонскую «Виндзор». Кроме меньшинства, состоявшего из социалистов-интернационалистов, горстки интеллигентов, космополитичных бизнесменов и членов международного сообщества аристократов и монархических семейств — все коренные жители любой страны, несомненно, были, в какой-то степени, подвержены шовинизму. Нет сомнений и в том, что почти все население, включая даже многих социалистов и интеллигентов, настолько глубоко прониклось чувством расового превосходства, присущего всей цивилизации XIX века, что не могло отказаться от соблазнительной

мысли о врожденных преимуществах своей нации или своего класса по отношению к другим. Империализм только усилил эти настроения среди населения многих государств (см. гл. 10 и «Век Капитала», гл. 14). При этом так же уверенно можно сказать, что больше других усердствовали в разжигании националистических страстей не высшие классы общества, так же, как не крестьянство и не пролетариат.

Именно широкие слои среднего класса наиболее полно и непосредственно восприняли призыв национализма, благодаря которому они осознали себя «истинными защитниками» нации, т. е. получили некий особый статус, которого они не имели как класс или как претенденты на полный набор привилегий буржуазии, которых они так жаждали. Так чувство патриотизма послужило компенсацией среднему классу за второразрядность его положения в обществе. Поэтому в Британии, где не было обязательной военной службы, нашлось достаточно много добровольцев из нижних слоев среднего класса и из молодежи слоя «белых воротничков», которые согласились участвовать в империалистической Южноафриканской войне 1899—1902 годов, откликнувшись на призыв патриотической пропаганды. Были и добровольцы из рабочего класса, но их количество просто отражало экономическую ситуацию в стране, возрастая и уменьшаясь в зависимости от уровня безработицы. К тому же для представителей среднего класса патриотизм, подкрепленный военной службой, мог принести определенные социальные выгоды. В Германии он обеспечивал получение звания офицера резерва для юношей, обучавшихся в средней школе до 16 лет, даже если они не продолжали потом учебу. В Британии, с началом мировой войны, даже торговцы и служащие, пошедшие в армию, могли получить офицерское звание и стать в связи с этим (согласно грубой, но открытой терминологии британского высшего общества) — «временными джентльменами».

### III

Однако национализм периода 1870—1914 годов не был только идеологией недовольных средних классов, а также антилибе-

ралов и антисоциалистов, ставших предшественниками фашистов. Причина его усиления была и в том, что правительства и партии, выступавшие в то время с националистическими призывами, могли получить определенные социальные преимущества, а их противники, не умевшие или не хотевшие этого делать, оказывались в проигрыше. Известно точно, что начало войны в 1914 году вызвало вспышку неподдельного, хотя и недолгого патриотизма во всех странах, вступивших в войну. При этом в рабочих движениях многонациональных государств, организовавшихся в масштабах всей страны, начались конфликты, и они распались на отдельные движения, состоявшие из рабочих одной национальности. Так, рабочее и социалистическое движение империи Габсбургов распалось еще до того, как это случилось с самой империей.

Все же существовала большая разница между национализмом — идеологией националистических движений и ура-патриотических правительств, и более широкой идеологией, обращенной к национальному чувству. Национализм первого вида ограничивался требованием утверждения или возвеличения «нации». Его программа сводилась к сопротивлению, изгнанию, нанесению поражения, завоеванию, подчинению или уничтожению «чужих». Все остальное не имело значения. Достаточно было, чтобы ирландцы, или германцы, или хорваты создали свои собственные независимые государства, принадлежащие исключительно им, а затем объявили о движении к славному будущему и стали приносить любые жертвы во имя его достижения — и все; в этом и была цель.

Такая идеология вполне удовлетворяла как преданных теоретиков и активистов национализма, так и аморфные средние классы общества, озабоченные обеспечением классовой цельности и самоутверждения; и вообще всех тех (в основном, воинственно настроенных «маленьких людей»), кто все свои несчастья приписывал проискам «проклятых иностранцев»; и, конечно, она устраивала правительства, приветствовавшие национализм как идеологию, утверждавшую, что патриотизм дает ответы на все вопросы.

Однако большинство людей такой национализм не удовлет-

ворял. Как ни странно, но это проявлялось особенно ярко на примере тех наций, которые еще не обеспечили себе самоопределения. Национальные движения, пользовавшиеся в то время подлинно народной поддержкой (и, конечно, те, которые стремились ее получить), не ограничивались, как правило, призывами к национальным чувствам и требованиям, связанным с национальным языком, а использовали еще одну мощную мобилизующую силу, столь же древнюю, сколь и современную. Такой силой была религия, религиозные чувства и интересы. Без опоры на католическую церковь движения басков и фламандцев не имели бы серьезного политического значения, и, несомненно, именно католицизм придавал последовательность и силу национализму ирландцев и поляков, находившихся под властью правителей иной веры. Фактически именно в тот период национализм ирландских фениев, имевший вначале характер светского и даже антиклерикального движения, обращавшегося к ирландцам через границы церковных общин, стал крупной политической силой исключительно благодаря тому, что принял союз с католической церковью; так что ирландский национализм стал, по сути, отождествляться с ирландским католицизмом.

Еще более удивительным было то, что (как мы уже говорили) партии, главной и первоочередной целью которых было международное классовое и социальное освобождение, со временем тоже оказались проводниками и орудиями национального освобождения. Так, восстановление независимости Польши было достигнуто не под руководством многочисленных партий того времени, занимавшихся только борьбой за независимость страны, а под руководством Польской Социалистической партии, участвовавшей во Втором интернационале. Подобным же образом развивались события в Армении; так же утверждался еврейский территориальный национализм. Израиль создали не Герцль или Вейцман, а рабочее Сионистское движение (получавшее идейную поддержку из России). Некоторые из этих партий подвергались заслуженной критике со стороны международного социалистического движения за то, что они ставили цели национализма выше целей социального освобождения; но этого отнюдь нельзя было сказать о многих других социалистических и просто марксист-

ских партиях, которые, к своему собственному удивлению, оказались главными представителями своих наций: такими были Финская Социалистическая партия, грузинские меньшевики, еврейский Бунд (во многих районах Восточной Европы) и даже латвийские большевики, всегда твердо выступавшие против национализма. В связи с этим националистические движения поняли желательность выдвижения четкой программы социальных требований или хотя бы проявления озабоченности экономическими и социальными проблемами. Ярким примером такой борьбы стало положение в промышленной Богемии, где спорили за влияние две социал-демократические партии: Чешская и Германская, возглавлявшие свои рабочие движения, именовавшиеся национал-социалистическими. (На первых демократических выборах, состоявшихся в Богемии в 1907 году, Чешская Социал-Демократическая партия собрала 38% голосов избирателей и стала сильнейшей.) Чешские национал-социалисты стали в конце концов главной партией независимой Чехословакии и выдвинули из своих рядов ее последнего президента — Бенеша. Германские национал-социалисты вдохновили молодого австрийца — Адольфа Гитлера, которому понравилось название их партии и ее программа, представлявшая собой симбиоз антисемитизма с ультра-национализмом, с добавлением расплывчатой популистской социальной демагогии.

Таким образом, национализм только тогда приобретал настоящую популярность, когда он, так сказать, подавался в виде «коктейля», т. е. в сочетании с другими идеями, его привлекательность заключалась не в его собственном «аромате», а в способности давать характерные сочетания с одним или несколькими другими компонентами, что в результате могло хорошо удовлетворить духовную и материальную жажду потребителей такого «напитка». Однако такой национализм, будучи в достаточной степени подлинным, не был ни воинствующим, ни слишком односторонним, и, конечно, не был таким реакционным, как того хотели бы правые ура-патриоты.

Хорошей иллюстрацией ограниченности национализма являлась, как это ни парадоксально, империя Габсбургов, стоявшая накануне развала под действием различных национальных дви-

жений. Хотя в начале 1900-х годов большинство ее подданных, безусловно, помнило о своей принадлежности к той или иной нации, но лишь немногие из них считали, что их национальная принадлежность не позволяет им поддерживать монархию Габсбургов. Даже после начала войны национальная независимость отнюдь не стала главной проблемой, и явную враждебность к государству выказывали только 4 нации, из которых 3 имели своих соплеменников в соседних национальных государствах: это были итальянцы, румыны, сербы и чехи. Большинство национальностей не обнаруживали явного желания разрушить свое государство, которое фанатики из среднего класса называли «тюрьмой народов». И когда в ходе войны действительно произошел подъем народного недовольства и революционных чувств, то он принял вначале форму социальной революции, а не движений за национальную независимость<sup>20\*</sup>

Что же касается других государств Запада, продолжавших войну, то в них постоянно росли антивоенные настроения и социальное недовольство, не разрушившие, однако, патриотизма воевавших армий. Чрезвычайно сильное международное влияние русской революции 1917 года можно понять, только учитывая следующее: те, кто охотно, и даже с энтузиазмом пошли воевать в 1914 году, были движимы идеей патриотизма, не ограниченной националистическими лозунгами, а вмещающей чувства, свойственные подлинным гражданам своей страны. Армиями двигали не любовь к сражениям, не страсть к насилию, не героизм и не безграничный национальный эгоизм и экспансионизм, присущие правому национализму. И, конечно, не враждебность к либерализму и демократии.

Напротив: пропаганда каждой воевавшей страны подчеркивала, что дело не в славе и не в завоеваниях, а в том, что «мы» стали жертвами агрессии (или политики агрессии); что «они» представляют смертельную угрозу ценностям свободы и цивилизации, которые «мы» защищаем. Более того, мужчины и женщины воевавших стран не поддерживали бы войну, если бы не чувствовали, что это было не просто вооруженное столкновение, а борьба за победу, после которой, как говорил Ллойд-Джордж, «наша страна будет достойна своих героев». Поэтому британское

и французское правительства заявляли, что они защищают демократию и свободу от монархизма, милитаризма и варварства современных «гуннов»; а германское правительство заявляло, что оно защищает закон, порядок и культуру от русских автократов и варваров. Цели завоевания территорий и величия нации можно было провозглашать в колониальных войнах, но не в глобальном конфликте, даже если именно их и имели в виду министры, дергавшие за ниточки военных действий.

Немцы, французы, англичане отправились на войну в 1914 году не как воины и искатели приключений, а как граждане своих стран и защитники цивилизации. Однако сам этот факт показывал и необходимость учета патриотизма для правительства, управлявшего демократическим обществом, и силу патриотизма. Потому что эффективно мобилизовать народные массы может только сознание того, что судьба страны действительно является их собственной судьбой; и такое понимание было у немцев, французов и англичан в 1914 году. Они сражались с сознанием правоты своего дела до тех пор, пока три года беспримерного истребления людей и пример революции в России не показали им, что они — заблуждались.

---

## ГЛАВА 7

# КТО ЕСТЬ КТО, ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ БУРЖУАЗИИ

*В самом широком и наиболее возможном смысле слова, человеческое «Мое» обозначает полную совокупность всего, что человек может назвать своим, т. е. не только свое тело, свои физические возможности; но и свою одежду, свой дом, свою жену и детей; предков, друзей, репутацию, работу; свою землю и своих лошадей, а также свою яхту и свой счет в банке.*

Уильям Джеймс<sup>1\*</sup>

*Аппетиты разыгрались, и они начали покупать. Они увлеклись покупками, забросив все другие дела; как класс, они только и говорят, и думают, и мечтают что о приобретениях.*

Герберт Уэллс, 1909 г.<sup>2\*</sup>

*Колледж был основан по совету и при участии любимой жены Основателя, чтобы давать образование и воспитание женщинам из высшего и среднего классов.*

Из истории основания колледжа Холлоуэй, 1883 г.

---

## I

Теперь давайте обратимся к тем, кого демократизация, пожалуй, напугала. В течение девятнадцатого века, бывшего веком буржуазных завоеваний, члены преуспевавших средних классов верили в достоинства своей цивилизации, были вообще уверены в себе и в своей жизни и не испытывали, как правило, недостатка в деньгах; но только в конце столетия они стали жить, как говорят, «комфортабельно», имея в виду физические удобства. До этого времени они тоже жили достаточно хорошо, в окружении красивых и прочных вещей, имевшихся у них в изобилии; хоро-



шо одевались, и вообще, могли позволить себе все, что, по их мнению, было необходимо людям их положения, но не нищетолюбивым; потребляли немало (пожалуй, даже в избытке) еды и напитков. И еда, и напитки (по крайней мере, в некоторых странах) были превосходными: выражение «буржуазная кухня» было во Франции похвалой гастрономическим вкусам. Да и в других странах жилось неплохо. Правда, дома были устроены неудобно и непрактично, но этот недостаток восполнялся обилием прислуги. Все же буржуазия не была вполне довольна. Только в самом конце XIX века буржуазное общество создало такое материальное обеспечение и такой стиль жизни, которые действительно удовлетворяли потребности класса, составлявшего его основу и состоявшего из деловых людей, из людей свободных профессий, из высших государственных чиновников и из членов семей всех этих людей, которые не стремились (или не надеялись) занять положение аристократов или получать слишком большое вознаграждение за свой труд, но которые, конечно, занимали гораздо более высокое общественное положение, чем те, для кого покупка одной какой-либо вещи означала, что нужно надолго забыть о приобретении других.

Парадоксы «самого буржуазного» столетия заключались в том, что принятый образ жизни стал «буржуазным» сравнительно поздно; что он был принят сначала на окраинах, а лишь потом — в центре капиталистического мира; и что в своем истинно буржуазном виде он существовал лишь в течение коротких периодов. Возможно, что эти обстоятельства объясняют, почему еще живущие современники того периода с грустью вспоминают о нем, как об ушедшей «прекрасной эпохе». Поэтому стоит начать обзор событий, случившихся в то время в жизни средних классов, именно с рассмотрения указанных парадоксов.

Первой принадлежностью нового образа жизни являлся загородный дом с садом, служивший в течение долгого времени типичным показателем буржуазных привычек его хозяев (либо свидетельством их социальных устремлений). Подобно многим другим предметам буржуазного общества, он появился сначала в Британии, являвшейся классической страной капитализма. Первые образцы таких домов, построенных, например, архитекто-

ром Норманом Шоу в 1870-х годах, возникли в зеленых пригородах больших городов (таких, как Бедфорд-парк под Лондоном) и служили удобными, хотя и не слишком богатыми жилищами для людей среднего класса. Целые поселки таких домов, предназначенных для более богатых хозяев, чем в Британии, были выстроены в пригородах многих европейских столиц: например, в районах Грюневальд и Далем в Берлине или Коттедж-фиртель — в Вене. Постепенно такими домами были застроены пригороды и окраины больших городов, где жили люди средних классов, занимавшие невысокое общественное положение; затем, стараниями строителей, гнавшихся за прибылью, и архитекторов, идущих на поводу у моды, они заполнили улицы небольших городов и городков; а позднее, уже в XX веке, образовали кварталы муниципальных домов для хорошо оплачиваемых рабочих. В идеале дом для людей среднего класса представлял собой не городской особняк, выходящий фасадом на оживленную улицу, а деревенский дом, приспособленный для проживания в городе, или, скорее, за городом, окруженный небольшим парком или садом; т. е. своего рода «виллу» или хотя бы «коттедж», обсаженный деревьями. Такое жилище было мечтой очень многих людей, хотя оно и не отвечало особенностям жизни в городах, находящихся за пределами англосаксонских стран. Подобная «вилла» отличалась от своего прообраза, т. е. загородного дома дворян или знати, одной важной особенностью (помимо, конечно, более скромных размеров и цены, которые можно было варьировать по обстоятельствам), а именно: она предназначалась для удобного частного проживания, а не являлась символом богатства и общественного положения ее хозяина. Поселки, состоявшие из таких домов, располагались обособленно и предназначались для людей одного класса, что облегчало устройство всех необходимых удобств. Изолированность таких озелененных городков и пригородов традиционно сохранялась стараниями идеалистически настроенных архитекторов-планировщиков англосаксонской школы, создававших для своих заказчиков из среднего класса отдельные районы, где их не беспокоили люди более низкого общественного положения. Жизнь буржуазии в таких обособленных поселках являла собой нечто вроде «массового бегства» от

общества и показывала, сама по себе, желание буржуазии отстраниться в какой-то степени от роли правящего класса. Вот как напутствовал своего сына один богач в Америке в 1900-е годы: «В Бостоне ничего хорошего нет; он славится разве что чрезмерными налогами да политическими скандалами. Когда женишься — строй дом в пригороде и там живи: вступай в местный клуб и организуй свою жизнь так, чтобы у тебя было три основных занятия — твой клуб, твой дом и твои дети»<sup>3\*</sup>

Такой дом представлял собой полную противоположность традиционному дворянскому загородному особняку или дворцу, или роскошным виллам, построенным крупной буржуазией, желавшей соперничать с прежними богачами или хотя бы подражать им; здесь можно вспомнить виллу Хюгель, принадлежавшую семейству Круппов; или дворцы Банкфилд и Бель Вю английских богачей, возвышавшиеся над дымными городками сукновалов в графстве Галифакс. Такие постройки олицетворяли власть. Их назначением было показать огромные возможности и престиж членов правящей элиты и их превосходство над другими членами общества и над низестоящими классами; а также служить центрами организации деловых связей и процесса управления. Граф Джон Кроссли пригласил в свой особняк 49 своих коллег из Административного совета графства Галифакс, чтобы отметить свое пятидесятилетие, которое праздновали 3 дня; там же он принимал принца Уэльского по случаю ввода в эксплуатацию здания городского управления в городе Галифакс. В таких домах частная жизнь была неотделима от общественной, включавшей дипломатические, политические и социальные мероприятия, устройство которых требовало иногда поступиться домашним покоем. Особняк Акройдов имел большую парадную лестницу, поднимавшуюся вдоль стены, украшенной росписями на темы античной мифологии; банкетный зал, с художественной росписью по стенам; столовую, библиотеку и девять комнат для гостей, и целую пристройку для слуг; вряд ли все это предназначалось только для семейного пользования<sup>4\*</sup> И если дома землевладельцев демонстрировали согражданам богатство и влияние их хозяев, то им не уступали и жилища промышленных магнатов в городах. Облик и одежда буржуа, жившего в городе, долж-

ны были соответствовать его общественному положению, которое подтверждалось и подчеркивалось выбором места жительства, размером квартиры, ее этажом, количеством слуг и кругом знакомых. Один бизнесмен, живший во времена короля Эдуарда и зарабатывавший на биржевых сделках, вспоминал, что дом его семьи, расположенный по соседству с Кенсингтон-гарден, уступал дому графов Форсайт, потому что из его окон был плохо виден парк; все же место его расположения было достаточно престижным. В доме не проводились мероприятия лондонского зимнего светского сезона, но все же мать семейства регулярно принимала гостей и устраивала вечерние приемы, на которых играл венгерский оркестр, приглашенный из универмага Уитли, а в мае и в июне почти ежедневно устраивались обеды с приглашением гостей<sup>5\*</sup> Так частная жизнь тесно переплеталась с общественной.

Люди средних классов доиндустриального периода жили гораздо более скромно, соответственно своему скромному общественному положению, либо по причине религиозных убеждений, не говоря уже о необходимости делать сбережения. Безудержный экономический рост, пришедшийся на середину XIX века, дал им возможность преуспеть, но при этом заставил следовать нормам общественного поведения, свойственным прежним элитам. Однако существовали обстоятельства (мы разберем 4 из них), способствовавшие укреплению менее формального, частного образа жизни, больше отвечавшего потребностям личности.

Первым из этих явлений была демократизация политики, подорвавшая общественное и политическое влияние буржуазии вообще, и особенно ее самых выдающихся и самых могущественных фигур. В некоторых случаях буржуазия (особенно либеральная) была вынуждена уменьшить свое непосредственное участие в политических делах, где стали доминировать массовые политические движения или массы избирателей, отказывавшиеся признавать ее влияние и отстаивавшие собственные интересы. Хороший пример представляла буржуазия Вены конца XIX века, точнее, ее еврейскими средний класс, потерявший свое влияние на германоговорящее население и не обеспечивший себе поддержку со стороны либеральной буржуазии нееврейской национально-

сти<sup>6\*</sup> Подобную ситуацию описал Томас Манн в своем романе «Семья Будденброков»; он сам происходил из аристократии старинного ганзейского города и рассказал о том, как буржуазия теряла свое влияние в политических делах. Другой пример: известные семьи Кэботов и Лоуэллов в Бостоне сохранили большое влияние на государственную политику, но потеряли контроль над политикой властей Бостона по отношению к ирландцам. В 1890-х годах рухнула политика патерналистской «фабричной культуры» в Северной Англии, в рамках которой рабочим разрешалось вступать в профсоюз, но они должны были разделять политические взгляды своих работодателей и праздновать их юбилеи. Одной из причин укрепления Лейбористской партии после 1900 года была та, что местная буржуазия, контролировавшая положение в рабочих избирательных округах, отказывалась уступить кому-либо право назначения местных «нотблей», выдвигая людей из своей среды, проходивших в 1890-е годы в парламент и в советы округов. Получалось, что когда буржуазия пыталась сохранить свое политическое влияние, она способствовала скорее мобилизации своих соперников, а не сплочению своих сторонников.

Второе явление заключалось в ослаблении привязанности буржуазии, пожинавшей плоды своего успеха, к прежним британским ценностям, которые были так полезны ей в прошлом, в период накопления капитала, и так помогли ей утвердить свое классовое самосознание, путем противопоставления как праздным и безвольным аристократам, так и ленивым пьяницам-рабочим. К тому времени, которое мы здесь разбираем, настоящие буржуа уже сколотили себе хорошие состояния. Деньги поступали не обязательно в качестве прибылей от какого-то производства; это могли быть регулярные выплаты по «ценным бумагам», подтверждавшим сделанные «инвестиции», природа которых бывала довольно туманной, даже если они относились не к какому-то отдаленному району земного шара, а к графствам, расположенным вблизи Лондона. Нередко эти бумаги наследовались или передавались неработавшим сыновьям или родственникам. Значительная часть буржуазии в конце XIX века представляла собой «класс отдыхающих», по выражению аме-

риканского социолога Торстена Веблена, описавшего это явление в своем труде «Теория»<sup>7\*</sup> Тем же, кто действительно «делал деньги», не приходилось тратить на это слишком много времени, особенно если они работали в банках, финансовых учреждениях или занимались игрой на бирже. По крайней мере у тех, кто жил в Британии, оставалась еще масса времени для других занятий. Короче говоря, многие были озабочены не тем, как заработать деньги, а тем, как их потратить. Конечно, не все могли тратить так много, как сверхбогачи, для которых то время было поистине «прекрасной эпохой». Но и не слишком состоятельные люди могли позволить себе наслаждаться удобствами и радостями жизни.

Третьим важным явлением, характеризовавшим жизнь буржуазии, было ослабление семейных связей, которое выразилось в виде определенной эмансипации женщин (см. гл. 8). Кроме того, оформился достаточно обособленный и независимый общественный слой «молодежи», составленный из людей, перешагнувших возраст подростков, но еще не женившихся (не вышедших замуж); появление этого слоя оказало мощное воздействие на литературу и искусство (см. гл. 9). С этого времени слова «молодой» и «современный» стали почти синонимами, а слово «современность» стало подразумевать прежде всего перемены: обновление вкусов, обстановки, образа жизни. Указанные явления стали заметными среди процветавших слоев среднего класса во второй половине XIX века, особенно в 1880—1890-х годах. Они вызвали к жизни новые формы досуга (туризм, загородные поездки), как показано, например, в фильме Висконти «Смерть в Венеции»; в результате появились громадные отели, построенные в курортных местах, у моря или в горах, которые посещали и женщины, хотя наиболее подходящим местом для женщины в буржуазной семье оставался домашний очаг.

Четвертое явление этого рода состояло в существенном росте количества людей, принадлежавших (фактически, или только на словах) или желавших принадлежать к классу буржуазии; т. е. в росте рядов всего среднего класса. Всех его членов связывала, помимо прочего, определенная привязанность к домашнему уюту или по преимуществу домашний образ жизни.

## II

В то же самое время демократизация, рост сознательности рабочего класса и явление «социальной мобильности» вызвали к жизни проблему формирования классового самосознания тех, кто принадлежал (или хотел принадлежать) к тому или иному слою среднего класса. Известно, что определение класса буржуазии является довольно трудным делом; к тому же демократизация и рост рабочего движения заставили тех, кто принадлежал к этому классу, отрицать публично само его существование и даже существование классов вообще, потому что слово «буржуазия» приобрело со временем ярко отрицательную окраску (см. «Век Капитала», гл. 13). По этой причине во Франции некоторые говорили, что революция вообще отменила существование классов; а в Британии — что классы не являются замкнутыми кастами и не существуют с точки зрения социологии, поскольку строение общества является настолько сложным, что не допускает подобных упрощений. В Америке видели опасность не в том, что народные массы осознают себя как класс трудящихся и противопоставляют себя классу эксплуататоров, а в том, что они, согласно конституционному праву равенства, могут объявить себя принадлежащими к среднему классу, уменьшив тем самым преимущества элиты, и поставить под сомнение правильность распределения богатства. Социология, являясь академической наукой, созданной в период 1870—1914 годов, до сих пор страдает от бесконечных и безрезультатных споров по поводу классов общества и классовой принадлежности, вызванных стремлением практиков к классификации населения в соответствии со своими политическими убеждениями.

Кроме того, возросшая социальная мобильность и уменьшение роли традиционных иерархий затрудняли точное определение того, кто принадлежал, а кто не принадлежал к среднему классу и «состоятельным слоям» общества, и делали весьма зыбкими границы промежуточных общественных слоев. В некоторых странах, например, в Германии, придерживались старой классификации, по которой буржуазия делилась на 2 вида: на обладателей

собственности и на тех, кто получил буржуазный статус с помощью высшего образования; затем шел средний класс (или «состоятельные слои общества»), а еще ниже — мелкая буржуазия. В других странах Западной Европы было немало любителей обыкновенного манипулирования терминами «крупный» и «мелкий», «верхний» и «нижний», в сочетании с терминами «класс» и «буржуазия», без четкого определения границ между этими категориями, что не давало возможности разобраться, кто же к чему, собственно говоря, принадлежит.

Главная трудность заключалась в том, что увеличивалось число желавших приписать себе буржуазный статус, поскольку буржуазия, в конце концов, была высшим слоем общества. При этом социальный статус старой землевладельческой знати в развитых капиталистических странах заметно понизился, даже там, где она не была лишена своих юридических привилегий (как во Франции), или где ее вообще оставили в покое (как в Америке). Даже в Британии, где в середине XIX века она сохраняла выдающееся политическое влияние и громадные богатства, ее значение все-таки уменьшилось. Так, в 1858—1879 гг. в Британии из всех миллионеров, умерших за это время, помещики составили 80% (117 человек); в 1880—1899 гг. их было несколько больше 30%; в 1900—1914 гг. их доля еще уменьшилась<sup>8\*</sup>. До 1890 года аристократы составляли в Британии большинство всех правительственных кабинетов. После 1893 года их не было в правительстве ни одного. При этом аристократические титулы оставались в почете, даже в тех странах, где от них официально отказались: так, богатые американцы, которые не могли приобрести их для себя, стали «покупать» их в Европе, выдавая своих дочерей замуж с большим приданым за аристократов — обладателей титулов; например, дочь Зингера, известного фабриканта швейных машин, стала принцессой де Полиньяк. Тем временем монархии, даже самые древние и разветвленные, пришли к убеждению, что деньги стали таким же весомым признаком знатности, как и само аристократическое происхождение. Германский император Вильгельм Второй считал удовлетворение страсти миллионеров к орденам и титулам одной из своих обязанностей как главы государства, но



ставил при этом условием пожертвования на благотворительные цели. Возможно, он брал пример с Британии<sup>9\*</sup> Там в период 1901—1920 годов звание лорда-пэра получили 159 человек (не считая военных); из них 66 человек были бизнесмены (из которых около половины — промышленники); 34 человека — люди разных профессий, в основном юристы; и только 20 человек были связаны с земельной собственностью<sup>10\*</sup>

Итак, границы между буржуазией и аристократией были нечеткими; но такими же были и границы между буржуазией и нижестоящими классами. Это не относилось к «старым» нижним слоям среднего класса, состоявшим из независимых ремесленников, мелких торговцев и т. п. людей, объединявшимся общим названием — «мелкая буржуазия». Масштабы их деятельности четко определяли их низкий социальный уровень, что противопоставляло их настоящей буржуазии. В связи с этим, например, программа французской Радикальной партии представляла собой серию вариаций на тему: «мелкий — это замечательно!»; слово «мелкий» то и дело звучало с трибуны съездов этой партии<sup>11\*</sup> Ее врагами были «крупные»: крупный капитал, крупная промышленность, крупные финансисты и торговцы. Сходную позицию, только с националистическим антисемитским правым уклоном, занимали их германские коллеги, которых с 1870-х годов подстегивала быстрая и неотвратимо наступавшая индустриализация их страны. Если поглядеть со стороны, то представителей мелкой буржуазии отделяла от буржуазного статуса не только их «мелкость», но и сам характер их занятий (даже если они владели достаточно большим состоянием). Но тут (в 1880-х годах) произошли коренные преобразования в системе общественного распределения товаров, и это внесло коррективы в социальную обстановку. Например, слово «бакалейщик» имело всегда презрительный оттенок в устах представителей верхних слоев среднего класса; но как раз в тот период сэр Томас Липтон (сделавший состояние на продаже фасованного чая), лорд Ливергульм (разбогатевший на продаже мыла) и лорд Вестэй (продажа мороженого мяса) купили себе титулы и паровые яхты.

Определение границ между классами стало еще более труд-

ным делом с появлением «третьего сектора» экономики, в котором трудились наемные работники государственных и частных контор и учреждений; их положение носило явно подчиненный характер, и работали они за зарплату (хотя она и называлась «денежным содержанием» или «окладом»); но при этом их труд также явно не требовал тяжелых физических усилий, основывался на применении специального образования (хотя и скромного), а главное — эти люди (мужчины, нередко — и женщины) совершенно не признавали себя частью рабочего класса и старались (иногда — ценой материальных жертв) вести респектабельный образ жизни, присущий среднему классу. Попытки отграничения этого нового «нижнего слоя среднего класса», состоявшего из конторских служащих, от слоев, включавших представителей высокооплачиваемых профессий и бизнесменов, пользовавшихся услугами менеджеров и других наемных работников, приводили к новым социальным проблемам.

Оставляя в стороне сам факт появления нового «нижнего слоя среднего класса», можно было ясно видеть, что вообще стало быстро расти число людей, вступающих (или желавших вступить) в средний класс; в связи с чем возникли новые проблемы разграничения социальных слоев и определения статуса их представителей; и это было нелегко сделать ввиду неопределенности соответствующих теоретических критериев. Трудно было установить, что же определяет принадлежность к буржуазии — легче было определить принадлежность к знати (родственные связи, наследственный титул, владение землей) или к рабочему классу (физический труд, получение зарплаты от нанимателя). Все же критерии, действовавшие в середине XIX века, были достаточно четкими (см. «Век Капитала», гл. 13). Так, к буржуазии относились: высшие государственные служащие, получавшие крупные оклады; обладатели капитала или доходов от капиталовложений и/или те, кто действовал в качестве независимых предпринимателей, использовавших труд наемных работников; затем — представители «свободных профессий», имевшие собственное «дело». Важно отметить, что согласно британскому налоговому законодательству и «прибыль» и «гонорар» подпадали под один и тот же

параграф. Однако ввиду перемен, описанных выше, указанные критерии стали менее полезными для определения (в экономическом и в социальном смысле) настоящих представителей класса буржуазии, растворившихся в массе средних классов, которая еще расширилась за счет претендентов на этот статус. Взять тот факт, что не все люди среднего класса имели капитал; но ведь капиталом (по крайней мере, в начале карьеры) не обладали и люди истинно буржуазного статуса, использовавшие в качестве начального ресурса высшее образование; и число таких людей постоянно росло. Так, во Франции в 1866—1886 гг. было около 12 000 врачей (с небольшими колебаниями по годам), а к 1911 г. их стало около 20 000; в Британии в 1881—1901 гг. количество врачей выросло с 15 000 до 22 000 человек; а количество архитекторов — с 7000 до 11 000 человек; в обеих странах темпы роста указанных групп опережали темпы роста взрослого населения. Отнюдь не все эти люди были предпринимателями и работодателями (разве что использовали слуг)<sup>12\*</sup> Но кто же мог сказать, что, например, менеджеры, получавшие крупные оклады (и составлявшие существенную часть крупного бизнеса того времени), не относятся к классу буржуазии; тогда как владельцев незначительных устаревших частных предприятий уже никак нельзя было отнести к категории буржуа (как подтверждал германский эксперт в 1892 г.)<sup>13\*</sup>

Большая часть всех слоев среднего класса имела одну общую черту, а именно: социальную мобильность в прошлом или в настоящем (не зря они были порождением эры, наступившей после «двойной революции» (см. «Век Революции», Введение). Как заметил один французский аналитик: «В социологическом отношении средние классы состояли, в основном, из семей, находившихся в процессе социального подъема, тогда как класс буржуазии состоял из тех, кто уже «прибыл на вершину своих возможностей или на удобное ровное место»<sup>14\*</sup> Однако подобные высказывания дают представление лишь об отдельных фазах процесса, правильный образ которого может передать лишь подробное исследование. Люди нового социального слоя, в котором один из его представителей, Гамбетта<sup>31</sup>, видел главную опору режима Французской Третьей республики, не прекращали движения впе-

ред даже после своего «прибытия». Гамбетта был одним из них и сделал карьеру, не имея ни собственности, ни своего бизнеса; он добился и влияния, и доходов с помощью средств демократической политики<sup>15\*</sup> В свою очередь, разве не изменился характер буржуазии ввиду ее «прибытия»? Ведь типичными представителями этого класса стали люди, жившие праздно на унаследованные семейные богатства и отвергавшие иногда те ценности и род деятельности, которые все еще составляли сущность их класса.

Впрочем, не эти проблемы волновали тогда экономистов. Экономика развитых стран Запада, основанная на частных предприятиях, работавших с целью получения прибыли, обеспечивала их полное превосходство; поэтому не имели большого значения рассуждения о том, кто именно входит в класс буржуазии. Например, с точки зрения экономистов, принц Хенкель фон Доннерсмарк, бывший вторым по богатству человеком Германии (после Круппа), являлся, по своей социальной функции, капиталистом, потому что 90% своих доходов он получал от принадлежавших ему угольных шахт, промышленных предприятий и банков и от сделок с недвижимостью, не говоря уже о прибылях с капитала, которых набегало на 12—15 млн марок. Этому не противоречил его статус потомственного аристократа, который тоже составляли за ним историки и экономисты. Проблема определения буржуазии как известной группы людей, а также проблема определения границы между буржуазией и «нижними слоями среднего класса» не была прямо связана с анализом капиталистического развития того периода (хотя некоторые экономисты полагали, что экономическая система зависит от личных мотиваций индивидуумов, являющихся частными предпринимателями, отражая при этом, конечно, и структурные изменения капитализма; поэтому изучение буржуазии могло бы пролить свет и на формы организации экономики). (Были и такие теоретики, которые утверждали, что растущая бюрократизация и непопулярность ценностей частного предпринимательства, наряду с другими подобными фактами, могут подорвать роль предпринимателей и капитализма вообще. Этих взглядов придерживались Макс Вебер и Джозеф Шумпетер.)

## III

Определение четких критериев принадлежности к буржуазии и к среднему классу было настоящей необходимостью для тех, кто являлся или хотел стать членом этих классов; и особенно для тех, кто не имел достаточно денег, чтобы приобрести гарантированный статус уважаемого и привилегированного гражданина для себя и для своих детей. В рассматриваемый период существовало три таких основных критерия, значение которых возрастало, особенно в тех странах, где уже возникла неопределенность по вопросу о том, «кто есть кто?»\*

Применение всех трех критериев должно было обеспечивать выполнение двух главных условий: 1) четкого указания отличий людей среднего класса от рабочих, крестьян и других лиц, занимавшихся физическим трудом; 2) четкого определения места в иерархии привилегированности, предусматривавшей возможность передвижения по лестнице социального успеха.

Первый критерий состоял в определении соответствия образу жизни и уровню культуры среднего класса; второй указывал на способ использования свободного времени; особое значение при этом имели занятия спортом и вид спорта (хотя спорт вошел в употребление сравнительно недавно); третьим и самым главным критерием было наличие официально принятого образования.

Главный смысл получения образования заключался не в его практическом использовании, хотя усилия, затраченные на приобретение общих и специальных знаний, хорошо окупались в эру расширения применения новой техники и технологий, разработанных на научной основе; к тому же образование открывало большие возможности профессионального роста, например, в самой системе обучения, которая постоянно расширялась. Однако прежде всего учеба должна была показать, что семья может позволить подростку учиться, а не принуждает его побыстрее начать

---

\* В этот период началась публикация справочной литературы о личностях национального масштаба (тогда как раньше существовали только описания состава королевских и аристократических семейств, например, «Готский альманах»). Британский справочник «Кто есть кто» начал выходить с 1897 года и был, вероятно, первым изданием такого рода.

зарабатывать на жизнь. Само содержание образования имело второстепенное значение: ведь знание латинского и греческого языков, на которые тратили массу времени ученики государственных школ в Британии, не имело почти никакого профессионального значения; не много практической пользы приносило и изучение философии, истории, географии и письма, на которые отводилось 77% времени обучения во французских лицеях. Даже в Пруссии, граждане которой отличались практическим складом ума, в гимназиях, имевших «классическую» программу обучения, было в 1885 году в 3 раза больше учеников, чем в «реальных гимназиях» и в «реальных высших школах», которые считались более современными и уделяли больше внимания технике. Кроме того, сама стоимость получения образования являлась показателем социального положения семьи ученика. Один прусский чиновник, подсчитавший с немецкой тщательностью все свои расходы на обучение детей, определил, что он потратил 31% своих доходов за 31 год, чтобы дать образование трем своим сыновьям<sup>16\*</sup>

До наступления периода, который мы здесь рассматриваем, получение официального образования, подтвержденное специальным дипломом, не являлось обязательным условием успешной карьеры отпрысков буржуазных семей; кроме тех, кто поступал на государственную службу или должен был сам обеспечивать себя с помощью полученной профессии; соответствующее обучение обеспечивали университеты, где для юных джентльменов были созданы все условия, чтобы они могли пьянствовать, распевать хором песни и заниматься спортом, не слишком заботясь о сдаче экзаменов. В XIX веке лишь очень немногие люди, занимавшиеся бизнесом, оканчивали хоть какое-нибудь учебное заведение. Существовавшая тогда во Франции Политехническая школа не особенно привлекала молодых людей из буржуазной элиты. В 1884 году один немецкий банкир, наставляя молодого, подававшего надежды промышленника, отзывался об университетском образовании и прочих «теориях» с полным пренебрежением, назвав их «забавой для ума, или средством развлечения в часы досуга, вроде хорошей сигары после обеда». Его совет состоял в том, чтобы сразу же заняться практическим бизнесом, и чем ско-

рее, тем лучше; подыскать людей, способных оказать финансовую поддержку; познакомиться с деловой жизнью в США и набраться опыта; а получение высшего образования оставить для «технических специалистов», которых предприниматель сможет нанять, если сочтет это нужным. С точки зрения бизнеса это было проявлением здравого смысла, хотя такое отношение принижало значение специалистов. Поэтому, например, германские инженеры выступали с требованием обеспечения «достойного положения в обществе для инженеров, в соответствии с реальным значением их в жизни страны»<sup>17\*</sup>

Школьное образование служило своего рода «пропуском» в средние и высшие слои общества и узаконенным средством обозначения границ между ними и низшими классами. В некоторых странах даже простое пребывание в учебном заведении до возраста не менее чем 16 лет являлось основанием для присвоения юноше в будущем звания офицера. Дети из семей средних классов были обычно заняты получением среднего образования до 18—19 лет, а затем, как правило, продолжали учиться в университете или в высшем специальном учебном заведении. Общее число учащихся оставалось небольшим, хотя в течение периода все же увеличилось количество учеников средних школ и резко возросла численность студентов высших учебных заведений. Так, в Германии за период 1875—1912 годов количество студентов более чем утроилось, а во Франции — выросло более чем в 4 раза за период с 1875 по 1910 год. Однако при этом во Франции в 1910 г. посещало среднюю школу менее 3% всей молодежи в возрасте от 12 до 19 лет (или 77 500 человек), причем заканчивали школу только 2%, и только 1% успешно сдавали выпускные экзамены<sup>18\*</sup>. Германия, население которой насчитывало 65 млн человек, вступила в первую мировую войну, имея в корпусе резерва всего примерно 120 000 офицеров, т. е. около 1% мужского населения в возрасте от 20 до 45 лет<sup>19\*</sup>

И все же, какими бы скромными ни были эти цифры, они намного превосходили количество людей, входивших в состав правящих классов; так, в 1870-е годы в Британии было 7000 человек, которым принадлежало 80% всех земель, находившихся в частном владении; представители всего 700 семей имели ти-

тул лорда-пэра. Таким образом, количество образованных людей явно превышало количество людей, необходимое для формирования всемирной сети неформальных и личных связей, с помощью которой буржуазия в XIX веке поддерживала определенный общий порядок в своей деятельности; причина такого положения состояла, во первых, в высокой степени локализации экономики, а во-вторых, в том, что религиозные и этнические меньшинства (французские протестанты; квакеры; унитарии; а также греки, евреи и армяне), для которых капитализм стал необходимой жизненной средой, создали свои собственные сети взаимного доверия, родственных связей и деловых операций, которые охватывали целые страны и даже континенты и океаны\*.

Такие неформальные сети охватывали самые верхушки национальной и мировой экономики и действовали весьма эффективно, поскольку количество участвовавших в них людей было очень незначительным, а такие отрасли экономики, как банковское дело и финансы, все больше сосредоточивались в немногих финансовых центрах, находившихся, как правило, в столицах главных капиталистических государств. В 1900-е годы сообщество британских банкиров, контролировавшее «де факто» весь мировой финансовый бизнес, включало в себя всего несколько десятков фамилий, обосновавшихся в небольшом районе Лондона: все они были знакомы между собой, посещали одни и те же клубы и светские приемы и все состояли в семейном родстве<sup>20\*</sup> Синдикат «Рейн-Вестфалия», сосредоточивший в своих рамках почти всю сталеплавильную промышленность Германии, состоял всего из 28 фирм. Крупнейший из всех трестов, «Юнайтед стейтс стил», был образован путем неофициальных переговоров горстки лю-

---

\* Причины «срастания» некоторых групп населения с капитализмом не раз становились предметом обсуждения; в рассматриваемый период этим занимались германские исследователи Макс Вебер и Вернер Зомбарт. Общим для всех указанных групп было свойственное им осознание себя как неких особых меньшинств в обществе. Каким бы ни было объяснение этого явления, но факт состоит в том, что небольшие группы такого рода (например, квакеры в Британии) сумели почти в полном составе стать банкирами, торговцами и промышленниками.



дей, оформивших его создание во время послеобеденной беседы и игры в гольф.

Таким образом, настоящая крупная буржуазия, как старая, так и новая, не испытывала трудностей в деле самоорганизации своего слоя как элиты общества, пользуясь методами, освоенными до нее аристократией, либо прямо используя аристократию в этих целях (как это было в Великобритании). Там, где было возможно, успех в делах закреплялся вступлением в ряды знати; если же не удавалось заполучить аристократический титул для себя или своих детей, то можно было утешиться, ведя аристократический образ жизни. Было бы ошибкой видеть в этом просто капитуляцию буржуазии перед старыми аристократическими идеалами. Причина заключалась в необходимости укрепления социального престижа, что было необходимо как для буржуазии, так и для аристократии. Этой цели служило обучение детей в элитных учебных заведениях (как в Британии), с помощью которого обеспечивалось сращивание аристократических идеалов с ценностями буржуазной морали, служившими и обществу, и государству. Далее, приверженность и принадлежность к аристократии определялась, в возрастающей степени, возможностью вести блестящий и дорогой образ жизни, требовавший денег (не обращая внимания на характер их происхождения). Деньги стали критерием знатности. Даже родовитый и по-настоящему знатный землевладелец, если он не мог вести принятый образ жизни и заниматься подобающей деятельностью, оказывался на задворках общественной жизни либо коротал свои дни в глухой провинции, где никому не было дела до его заслуг и потомственной знатности. Подобная ситуация и герои составили сюжет известного романа Теодора Фонтане «Der Stechlin» (1895 год), ставшего потрясающей элегией, посвященной жизни и идеалам старой аристократии княжества Бранденбург (в Германии).

Крупная буржуазия использовала в своих целях как сам институт аристократии, так и разработанный аристократами механизм отбора элиты. Школы и университеты служили средствами общественного отбора для тех, кто был вынужден из всех сил карабкаться вверх по социальной лестнице, а не для тех, кто уже сидел на вершине. Система иногда позволяла, например,

сыну садовника из Сэйлсбери поступить в Кембриджский университет и получить ученую степень, а его сыну — окончить школу в Итоне и Королевский колледж и стать известным экономистом: именно такова была судьба Джона Мэйнарда Кейнса, вошедшего в самую избранную и изысканную общественную элиту, о котором и подумать было невозможно, что его мать выросла в провинции среди баптистов — но все же стала потом достойным членом своего класса, который ее сын называл «образованной буржуазией»<sup>21\*</sup>

Поэтому не было ничего удивительного в том, что система образования, позволявшая получить буржуазный статус (иногда даже обеспечивавшая его получение), постоянно росла, чтобы принять больше учащихся, среди которых были те, кому требовалось, в первую очередь, богатство, а не положение; а также те, кто уже имел буржуазный статус, но должен был его сохранить, получив образование (как, например, сыновья бедных протестантских священников или дети родителей, имевших «свободные профессии», или просто дети не слишком респектабельных, но не лишенных честолюбия родителей). Таким образом, система среднего образования постоянно росла и расширялась, подобно воротам, раскрывавшимся пошире, чтобы пропустить больше претендентов. За рассматриваемый период численность учащихся средних школ выросло где вдвое (в Бельгии, Франции, Норвегии, в Нидерландах), а где — и в пять раз (в Италии). Количество студентов университетов (обеспечивавших вступление в средний класс) выросло в европейских странах примерно втрое за период 1870—1913 годов. (В предыдущие десятилетия оно оставалось более или менее постоянным. Так что к 1880-м годам политики в Германии уже беспокоились, что университеты начнут выпускать больше специалистов, чем мог принять сектор экономики, использовавший людей среднего класса.)

Такое развитие событий создало проблему для людей, прочно занимавших место в «верхнем слое среднего класса», состоявшую в том, что из-за расширения системы обучения образование перестало быть признаком исключительного, действительно привилегированного положения. (К таким людям относились, например, крупные промышленники из Бохума (в Германии)<sup>22\*</sup>, ко-

торые были в своем городе самыми крупными налогоплательщиками; их количество выросло за период 1895—1907 годов с 5 до 68 человек). При этом крупная буржуазия не могла официально отделиться от «новых пришельцев», поскольку ее структуры нуждались в притоке свежих сил и потому должны были оставаться открытыми, так как от этого зависело ее существование; к тому же ей было необходимо обеспечить политическую поддержку или хотя бы лояльность среднего класса перед лицом усиливавшейся мобилизации рабочего класса. Все это создавало благоприятный фон для рассуждений аналитиков-несоциалистов о том, что средний класс «не просто растет, но принимает громадные размеры». Так, Густав фон Шмеллер, самый авторитетный из германских экономистов, осторожно полагал, что средний класс составляет 25% населения; однако он включал в его состав не только новых чиновников, менеджеров и работников, получавших хорошие, но все же скромные оклады, но и мастеров и квалифицированных рабочих<sup>23\*</sup>. Другой экономист, Зомбарт, оценивал численность среднего класса в Германии в 12,5 млн человек (а численность рабочего класса — в 35 млн человек<sup>24\*</sup>). Такова была численность потенциальных противников социалистов на очередных выборах. Для сравнения: в Британии в последние годы правления королевы Виктории и в эпоху короля Эдуарда<sup>32</sup> насчитывалось немногим более 300 000 человек, являвшихся «держателями вкладов»<sup>25\*</sup>. Как бы то ни было, но численность среднего класса уже была достаточно велика, так что они не собирались встречать «с распростертыми объятиями» пришельцев из нижних слоев общества, даже если те носили галстуки и белые воротнички. Один английский обозреватель презрительно сказал по этому поводу, что в составе «нижнего слоя среднего класса» оказалось немало рабочих, прошедших не «школы-пансионы», а «школы-бараки»<sup>26\*</sup>.

Средний класс, представлявший собой «систему с открытым входом», имел и свой неофициальный, но вполне определенный «верхушечный слой» Это было хорошо видно на примере Англии, где государственная система начального школьного обучения отсутствовала до 1870-х годов (а посещение школы не являлось обязательным и в последующие 20 лет); государственного

среднего образования не было до 1902 года; а серьезное университетское образование можно было получить только в двух старинных учебных центрах, находившихся в Оксфорде и в Кембридже. (Более благоприятные условия получения образования были в Шотландии, но тем, кто хотел серьезно преуспеть в своей профессии, рекомендовалось продолжить обучение или сдать квалификационные экзамены в Оксфорде или в Кембридже, как это сделал отец Кейнса после завершения учебы в Лондоне.) Многочисленные государственные, или, как их называют в Англии, «публичные» школы (хотя они отнюдь не предназначены для широкой публики), предназначенные для среднего класса, начали создаваться там с 1840-х годов, по типу девяти старейших учебных заведений, признанных в 1870 г. образцовыми (среди них особенно выделялась школа в Итоне) и воспитавших не одно поколение дворян и знати. К началу 1900 годов их количество увеличилось, так что постоянно существовало от 64 до 160 школ, претендовавших на статус «государственной школы» (отличавшихся между собой по степени исключительности или снобизма) и предназначенных специально для обучения и воспитания будущих членов правящего класса страны<sup>27\*</sup> В США (в основном, на северо-востоке страны) существовало несколько частных школ подобного типа, дававших среднее образование детям знатных или, по крайней мере, богатых семей и готовивших их для поступления в элитные частные университеты.

Среди учащихся этих школ, а также среди студентов многих германских университетов, существовали особые ассоциации и общества для избранных: в Германии это были студенческие «Korps» и еще более престижное «Братство любителей античной словесности»; в Англии это были колледжи с полным пансионом для студентов, входившие в состав старых университетов. Таким образом, буржуазия получала образование с помощью довольно странной системы, в которой сочетались принципы открытости и закрытости: система была открытой, поскольку имела доступ для всех, у кого были деньги или хотя бы личные способности (так как существовали стипендии и другие виды помощи бедным студентам); в то же время она была закрытой, поскольку (и это всем было понятно), при общем равенстве воз-

можностей, представители некоторых кругов были, так сказать, «более равными», чем все остальные. Исключительность положения этих «некоторых» подчеркивалась чисто социальными средствами. Немецкие студенты, члены общества «Korps», шумели в пивных и получали шрамы на дуэлях, демонстрируя, что они — благородного происхождения, а не плебеи — в отличие от представителей низших классов. Незначительные различия в статусе британских частных школ выражались в том, какие школы могли участвовать в определенных спортивных соревнованиях (а это значило: в каком кругу будут студенты выбирать себе невест из сестер своих коллег). В Америке группа элитных университетов отличалась от прочих тем, что в них культивировались изысканные виды спорта; студенты состояли в спортивной «Лиге плюща» и играли только между собой.

Действие этих механизмов социальной классификации обеспечивало безусловное членство в высших кругах студентам из семей, бывших на пути к вступлению в ряды крупной буржуазии. Для девушек академическое образование имело второстепенное значение и было принято только в семьях, относившихся к либеральным или прогрессивным слоям общества. В любом случае женское образование тоже давало заметные практические преимущества его обладательницам.

С 1870-х годов получили быстрое распространение различные «Общества старых друзей» (объединявшие бывших студентов); их появление показало, что на основе привилегированного слоя людей, созданного с помощью системы обучения, сформировалась сеть личных связей национального и международного масштаба, в которой участвовали представители и старших и младших поколений. Говоря коротко, эти общества обеспечивали цельность разнородного общественного слоя. Формально объединяющим средством служил спорт. Таким образом, школы, колледжи, студенческие общества и «братства», сохраняя связи и нередко пользуясь финансовой помощью своих бывших питомцев, формировали нечто вроде мафии («общества друзей моих друзей»), члены которой оказывали помощь друг другу, и не только в бизнесе; в свою очередь, связанные между собой «выдающиеся семейства», занимавшие высокое экономическое и социальное положение, обеспечивали надежные контакты в среде

деловых людей и политиков в пределах определенной местности или района. Как отмечалось в справочнике, посвященном студенческим обществам американских колледжей, ассоциации бывших выпускников быстро росли; одна из них, называвшаяся «Бета-тэта-фи», имела в 1889 г. отделения в 16, а в 1912 г. — в 110 городах; таким образом, эти общества формировали «круг избранных людей, которые не могли бы иным путем познакомиться друг с другом»<sup>28\*</sup>

Значение этого «круга избранных» в мире национального и международного бизнеса было велико; это подтверждается фактом, что одно из американских обществ бывших выпускников учебных заведений (называвшееся «Дельта-каппа-эпсилон») имело к 1889 г. в своих рядах: 6 сенаторов США; 40 конгрессменов, а также таких деятелей, как Генри Кэбот Лодж и президент США Теодор Рузвельт; в 1912 г. в нем состояли: 18 банкиров из Нью-Йорка (в их числе — Дж. П. Морган); 9 влиятельных политиков из Бостона; 3 директора компании «Стандард ойл»; а также деятели такого же масштаба со Среднего Запада США. Так что студенту, учившемуся в каком-нибудь обычном американском городе, например, в Пеории, и собиравшемуся стать предпринимателем, было бы отнюдь не бесполезно вступить в какую-нибудь «Лигу плюща», а потом и в такое вот «Дельта-каппа-эпсилон»,

Эти явления имели большое экономическое и общественное значение, поскольку с развитием капиталистической концентрации экономики местная и региональная промышленность теряла связь с внешним миром, как это произошло, например, с «деревенскими банками» в Великобритании. Механизм формирования официальных и неофициальных связей с помощью системы обучения и образования был удобен для признанной экономической и социальной элиты; а для тех, кто собирался в нее вступить или продвигал туда своих детей, он имел самое существенное значение. Что же касается детей из скромных семей среднего класса, то им предстояло просто попытаться взобраться наверх по лестнице, которую представляла собой школьная система; и лишь немногие дети крестьян и совсем немногие дети рабочих могли подняться даже на самые нижние ступени этой лестницы, какой бы демократичной ни была система образования и как бы ни старалась она учитывать личные способности учащихся.

## IV

Сравнительная легкость, с которой «верхние десять тысяч» (как их стали называть) смогли обеспечить свое исключительное положение, не решала проблемы следующих за ними «верхних ста тысяч», занимавших нечетко определенное пространство между высшими классами и народом; не решалась и проблема еще более обширного «нижнего слоя среднего класса», который по своему финансовому положению едва-едва поднимался над слоем хорошо оплачиваемых квалифицированных рабочих. Британские социологи называли этот слой общества — «класс людей, которые держат слуг»; в провинциальных городах, таких как Йорк (Британия), они составляли до 22% населения. Дело в том, что хотя общее количество домашней прислуги, начиная с 1880-х годов, не увеличивалось, и даже стало уменьшаться, никак не поспевая за ростом среднего класса, люди из среднего класса (даже из его нижних слоев) по-прежнему не мыслили своего существования без слуг (кроме среднего класса США). В этом смысле средний класс продолжал оставаться «классом хозяев», точнее, хозяек над девушками-служанками (см. «Век Капитала»). Кроме того, семьи из среднего класса обязательно давали своим сыновьям (и все чаще — дочерям) среднее образование. Получение среднего образования обеспечивало мужчинам статус офицера резерва (и в связи с этим — положение «временного джентльмена», как говорили в британской армии после 1914 года), что укрепляло их престиж как будущих хозяев. Однако значительное и все большее число этих людей не были «материально независимыми» даже формально, поскольку получали зарплату от своих нанимателей (хотя зарплата именовалась из вежливости каким-либо другим словом). Так рядом со старой буржуазией, состоявшей из предпринимателей и независимых профессионалов, получавших приказы «только от господ Бога» и от государства, выросал новый средний класс, состоявший из менеджеров, исполнительных работников и технических специалистов, получавших оклады и служивших новому капитализму государственных корпораций и «высоких технологий»; это была государственная бюрократия и служащие частных предприятий, о которых говорил Макс

Вебер. Одновременно рядом с прежней мелкой буржуазией, состоявшей из независимых ремесленников и мелких торговцев, вырастала, подавляя ее, новая мелкая буржуазия, состоявшая из служащих контор и магазинов и мелких чиновников. Этот слой общества был очень многочисленным, причем его дальнейшему росту способствовал обозначившийся постепенный сдвиг экономики в сторону преимущественного развития «третьего сектора» (а не первого и второго, как было раньше). Так, в США к 1900 г. новая мелкая буржуазия уже превосходила по численности рабочий класс (хотя этот пример еще являлся исключительным).

Новый средний класс (и его нижний слой) был очень многочисленным и состоял из людей незначительного положения, действовавших в безликой социальной среде, лишенной внутренних связей и структур; их личное и семейное влияние на экономику и политику было небольшим и не выдерживало сравнения с деятельностью личностей и семей из «верхнего среднего класса» крупной буржуазии. Конечно, в больших городах такое положение существовало всегда, но дело в том, что, например, в Германии в 1871 г. только 5% населения жили в городах, насчитывавших 100 000 человек и более, а в 1910 г. этот показатель составлял уже 21% населения. В силу указанных причин средние классы определялись все больше уже не столько как собрания личностей, отмеченных определенными достоинствами, а скорее по коллективным признакам: по качеству полученного образования; по месту проживания; по образу жизни и поведения, указывавшим на их отличие от других общественных групп, столь же безликих в индивидуальном отношении. Человек среднего класса, в общепринятом понимании, оценивался обычно по доходу и образованию и по признакам, отделявшим его от простого народа: например, по умению и привычке пользоваться национальным литературным языком и по манере произношения, подчеркивавшей его классовую принадлежность; по умению вести себя в обществе. Нижний слой среднего класса, как старого, так и нового состава, занимал явно отдельное и подчиненное положение, ввиду недостаточных доходов и невысокого уровня воспитания, вообще из-за близости к народу<sup>29\*</sup> Главной целью новой мелкой буржуазии было как можно более четкое отделение от рабочего класса, и



такие устремления заставляли ее занимать обычно радикальные правые политические позиции. Реакционные взгляды были для них формой проявления снобизма.

Ядро настоящего среднего класса было немногочисленным: так, в начале 1900 годов в Соединенном Королевстве лишь менее 4 % умерших людей оставили после себя собственность (дом, мебель и т. п.) стоимостью более 300 фунтов стерлингов. Однако даже ежегодный доход в 700—1000 фунтов, считавшийся очень неплохим для людей среднего класса (и превышавший доход хорошо оплачиваемого рабочего в 10 раз), не выдерживал никакого сравнения с доходами действительно богатых людей, не говоря о сверхбогачах. Так что людей уважаемого признанного и процветавшего верхнего слоя среднего класса отделяла от plutократии настоящая пропасть; по словам аналитика конца викторианской эпохи, plutократия являла собой яркий пример «полного стирания существовавших ранее различий между родовой аристократией и аристократией денежного мешка»<sup>30\*</sup>

В обществе существовали разные способы структурирования массы благополучных людей среднего класса путем разделения их на социальные группы, например, с помощью «жилищной сегрегации», т. е. по месту проживания, например, в районах разного уровня удобств и престижности. Другим критерием этого рода служило качество образования. Оба критерия были связаны между собой с помощью еще одного фактора — спорта, получившего признание общества в основном в последней четверти XIX века.

Примерно в этот период в Британии были разработаны и оформлены основные спортивные принципы и правила и терминология, а затем увлеченность спортом быстро и широко распространилась по многим странам. Вначале занятия спортом, в его современном виде, были приняты, в основном, у людей среднего класса; высшие классы были не слишком подвержены этому увлечению. Молодые аристократы, например, в Британии, иногда пробовали силу и ловкость в разных физических упражнениях, отдавая предпочтение занятиям, связанным с верховой ездой и умением убивать животных и людей (или хотя бы нападать на них): т. е. охоте, стрельбе в цель, рыбной ловле, скачкам, фехто-

ванию и т. п. Именно такие занятия в Британии в старину и называли «спортом», а теперешние спортивные игры и физические упражнения тогда называли «забавами» или «развлечением на досуге». Буржуазия, как всегда, не только усвоила, но и переняла способы времяпрепровождения, заимствованные у аристократов. После этого аристократы стали, как правило, отдавать предпочтение дорогостоящим видам спорта, например, езде на автомобилях, которые в Европе в 1905 году называли «игрушками миллионеров» и «повозками для богачей»<sup>31\*</sup>

Новые виды спорта распространились и среди рабочих, которые стали с энтузиазмом осваивать некоторые из них уже в период перед 1914 годом; так, в Британии в то время насчитывалось примерно полмиллиона игравших в футбол, и еще больше людей посещали соревнования и мечтали участвовать в них. Это привело к введению в спорте классового критерия, которым стал статус «спортсмена-любителя», подразумевавший запрет или строгое ограничение участия «профессионалов». Понятно, что трудящиеся не могли добиться в спорте превосходных результатов, так как не имели для этого времени (если только не получали деньги за спортивные выступления — но тогда они становились «профессионалами»). Все виды спорта, к которым были особенно привержены средние классы: теннис (на травяных кортах); регби; американский футбол, считавшийся, несмотря на физические нагрузки, студенческой игрой; и зимние виды, еще плохо развитые в то время, — все это стали упорно ограждать от участия «профессионалов». Идеалом любительского спорта стали Олимпийские игры, так как они позволили собрать вместе представителей и среднего класса и знати; это мероприятие было восстановлено в 1896 году стараниями Пьера де Кубертена, французского почитателя британской системы школьного обучения, использовавшей спортивные занятия как неотъемлемую часть учебного процесса.

Спорт стал рассматриваться как важный элемент формирования представителей нового правящего класса (по образу британского буржуазного джентльмена, прошедшего обучение и получившего спортивную закалку в школах своей страны); это подтверждалось примером школ стран европейского континента, где

тоже стали его насаждать. (Заметим, что основой будущих профессиональных футбольных клубов стали команды, собранные из сотрудников зарубежных филиалов британских фирм.) Развитие спорта сразу же получило патриотическую и даже милитаристскую окраску. Однако главное было в том, что спорт стал чертой нового образа жизни среднего класса и служил его консолидации.

Теннис на травяных площадках, изобретенный в 1873 г., стал скоро самой распространенной и любимой игрой буржуазных пригородов, прежде всего потому, что допускал участие игроков разного пола, позволяя молодежи среднего класса находить себе достойного партнера, минуя процедуру официального представления. Иначе говоря, эта игра расширила круг занятий и знакомств людей среднего класса и создала поле социальных связей, не ограниченное узкими семейными рамками, так как образовалась целая сеть клубов «любителей игры в теннис на траве». Как говорили в то время, «домашние стены перестали быть крепкой клеткой»<sup>32\*</sup> Заметим, что успех тенниса был бы невозможен без развития буржуазных пригородов и без эмансипации женщин среднего класса. Развитие альпинизма, велосипедного спорта (ставшего в Европе первым массовым видом спорта рабочего класса, соревнования по которому собирали множество зрителей), а затем и зимних видов спорта, в первую очередь лыжного, тоже ускорились благодаря привлекательности их как для мужчин, так и для женщин и сыграло немалую роль в эмансипации женщин (см. гл. 8).

Столь же важную роль (в англоязычных странах) сыграли гольф-клубы, объединявшие мужчин из среднего класса, занимавшихся бизнесом или профессиональной деятельностью. Выше уже приводился пример значения игры в гольф для ведения деловых переговоров. Эта игра производится на просторных, дорогостоящих площадках, представляющих собой специально оборудованные и ухоженные участки земли (обычно в загородных поместьях), на которых могут играть только члены клуба, так что присутствие каких бы то ни было нежелательных чужаков (вроде лиц низкого общественного или финансового положения) полностью исключается; понятно, что связанные с этим широ-

кие возможности явились настоящим откровением для среднего класса. Поэтому, если до 1889 года во всем Йоркшире было только 2 «кружка гольфа», то в 1890—1895 гг. их стало уже 29<sup>33\*</sup> Пора-зительная быстрота, с которой все виды организованного спорта распространились в буржуазном обществе в период 1870—1900 годов, заставляет предполагать, что это явление отвечало гораздо более важной общественной необходимости, чем просто удов-летворение потребности в физических упражнениях на открытом воздухе. Интересно отметить, что промышленный пролетариат и новый буржуазный средний класс, оформившиеся тогда как социальные группы, наделенные самосознанием, определяли и отличали себя (по крайней мере, в Британии) именно через кол-лективный образ жизни и стиль поведения. Одним из главных признаков классовой принадлежности и различий стал спорт, созданный вначале стараниями среднего класса, а потом четко разделившийся на два разных течения, каждое из которых было присуще только своему классу.

## V

Итак, социальное развитие средних классов в период перед 1914 годом происходило по трем главным направлениям. Во-пер-вых, рос количественно нижний слой, требовавший себе полно-правного положения в пределах класса. Это были служащие, не занимавшиеся физическим трудом и отличавшиеся от рабочих (зарабатывавших столько же денег) только своей рабочей одеж-дой (так называемый «пролетариат в черных костюмах») и обра-зом жизни, свойственным людям среднего класса. Во-вторых, в верхнем слое среднего класса становилась все более неопре-деленной граница между нанимателями (работодателями) и людь-ми профессиональных занятий, менеджерами, исполнительны-ми работниками и администраторами. Все эти люди относились к «I классу» согласно переписи населения Британии, состоявшей-ся в 1911 г. В-третьих, одновременно происходил количествен-ный рост той части класса буржуазии, которая состояла из муж-чин и женщин, живших на доходы от унаследованной собствен-ности (именовавшиеся, согласно «Британской классификации

доходов жителей метрополии» и по давней пуританской традиции — «нетрудовыми доходами»). Лишь относительно меньшая часть буржуазии была занята настоящим «зарабатыванием денег», причем возможности получения и накопления прибылей сильно возросли. Заметным стал слой сверхбогачей или плутократов. В начале 1890-х годов в США было больше 4000 человек, состояние которых превышало 1 млн долларов.

Для большинства людей из класса буржуазии предвоенные десятилетия были благоприятными; а для счастливицов они и вообще стали исключительно изобильными. Люди из «нового нижнего слоя среднего класса» получали, в денежном выражении, не слишком много; их доходы не превышали доходов высококвалифицированных ремесленников, хотя назначались в расчете на год, а не на месяц и не на неделю, как у рабочих; при этом им приходилось тратить «на поддержание достойного внешнего вида» гораздо больше денег, чем рабочим. Тем не менее их общественное положение было, разумеется, выше, чем у рабочих масс. В Британии мужчины из этого общественного слоя могли даже считать себя «джентльменами» (как называли себя раньше только дворяне-землевладельцы), поскольку этот термин потерял свой первоначальный смысл и стал применяться ко всем, кто не занимался физическим трудом. (В частности, так никогда не называли рабочих.) Большинство этих людей считало, что дела у них обстоят лучше, чем у их родителей, и надеялось, что их детей ожидают еще лучшие времена. Все же это не уменьшало характерного для них чувства недовольства и возмущения по отношению к выше- и нижестоящим классам.

Тем, кто принадлежал к миру буржуазии, было поистине почти не на что жаловаться, потому что всякий, имевший годовой доход в несколько сот фунтов, мог вести вполне обеспеченную жизнь в достойных условиях, причем указанная сумма была далеко не предельной для богатых людей. Великий экономист Маршалл писал в своем труде «Принципы экономики», что профессор мог вести достойную жизнь на 500 фунтов в год<sup>34\*</sup>; эту цифру подтверждал его коллега, отец Дж. М. Кейнса, имевший ежегодный доход в 1000 фунтов (оклад плюс доход с наследства), из которых он откладывал по 400 фунтов в год; на оставшиеся день-

ги он содержал дом с тремя постоянными слугами и гувернанткой (комнаты были оклеены лучшими обоями от фирмы «Моррис»!); имел два отпуска в год (в 1891 г. месячный отдых в Швейцарии стоил для супружеской пары 68 фунтов) и еще удовлетворял свои увлечения: собирание марок, охоту на бабочек, занятия логикой и, конечно, пристрастие к игре в гольф<sup>35\*</sup> При этом не составляло особого труда найти возможности потратить в сотни раз больше, так что сверхбогачи «прекрасной эпохи» — американские мультимиллионеры, русские великие князья, южноафриканские золотые магнаты и разные международные финансисты соревновались между собой в мотовстве. Но для того, чтобы вполне наслаждаться радостями жизни, вовсе не надо было быть сверхбогачом, потому что, например, в 1896 году обеденный сервиз из 101 предмета, украшенных монограммой владельца, можно было купить в Лондоне меньше чем за 5 фунтов (и это была розничная цена). В последние 20 лет перед 1914 годом стали популярными крупные международные отели, строительство которых началось еще в середине XIX века, в период массовой прокладки железных дорог. Многие из них до сих пор носят имя их тогдашнего владельца, знаменитого Цезаря Ритца. В них нередко останавливались очень богатые люди, но предназначались они не специально для богатых, строивших для себя или арендовавших собственные резиденции. Эти отели были рассчитаны на просто богатых и состоятельных людей. Так вот, лорд Розбери как-то обедал в отеле «Сесиль», и этот обед, отнюдь не стандартный, обошелся по 6 шиллингов с человека. Обслуживание весьма богатых людей оплачивалось по другим расценкам. Так, в 1909 г. набор клюшек для гольфа, вместе с сумкой, стоил в Лондоне 1,5 фунта, а базовая цена нового автомобиля фирмы «Мерседес» была равна 900 фунтов. (Леди Уимборн с сыном имели 2 таких машины, еще 2 «Даймлера», 3 «Даррака» и 2 «Напье».)<sup>36\*</sup> Так что нет ничего удивительного в том, что в фольклоре буржуазии те предвоенные (до 1914 год) времена получили название «золотых дней». Как не удивительно и то, что существовал «класс бездельников», привлекавший общее внимание «безумными тратами», предпринимавшимися для того, чтобы блеснуть своим богатством и положением (конечно, не перед низшими классами, о

которых никто и не думал), а перед другими толстосумами. Характер того времени показывают некоторые замечания богачей, ставшие хрестоматийными; например, ответ Дж. П. Моргана на вопрос о том, во сколько обходится содержание яхты: «Если Вы спрашиваете, значит, Вы не сможете себе этого позволить»; или замечание Джона Д. Рокфеллера по поводу известия о том, что Дж. П. Морган оставил после своей смерти 80 миллиардов долларов: «Вот так так, а мы-то думали, что он был богат!». Такие настроения были типичными для эпохи «золотых дней», когда, например, дельцы от искусства, вроде Джозефа Дювина, убеждали миллиардеров, что только коллекция работ старых мастеров сможет поддержать их престиж; когда преуспевавший торговец бакалеей не мыслил своей жизни без роскошной яхты, а ловкий биржевой игрок — без нескольких скаковых лошадей и загородного дворца с охотничьим угодьем; когда за один уик-энд расходовалось непомерное количество разнообразной еды, поразившее воображение.

Жены, сыновья и дочери преуспевавших бизнесменов составляли обширный контингент людей, не зарабатывавших, а тративших деньги. Это было (как мы увидим далее, в гл. 8) необходимым элементом эмансипации женщин: Вирджиния Вульф говорила, что у нее должно быть «собственное гнездышко» стоимостью в 500 фунтов в год; а великое сотрудничество Беатрис и Сиднея Вэббов, участвовавших в делах фабианского общества, стоило 1000 фунтов в год, назначенных ей в день ее свадьбы. Безвозмездная помощь и денежные субсидии обеспечивали благотворительность: кампаний «за мир» и «за трезвость» и акций помощи беднякам (это было время «походов в народ» активистов из среднего класса) — до поддержки некоммерческого искусства, примерами которой полна вся история искусства и литературы начала XX века; так, поэзия Рильке существовала благодаря щедрости его дяди и участию поклонниц из высшего общества; стихи Стефана Джорджа и работы по критической социологии Карла Крауса, как и философские труды Джорджа Лукаса — за счет доходов от семейного бизнеса; так же как и литературные произведения Томаса Манна (пока он не разбогател). Еще один соискатель частных пожертвований, Е. М. Форстер, говорил так:

«Я получаю всего лишь деньги, а выдаю возвышенные мысли». Такие люди постоянно увивались вокруг богачей в их загородных виллах и городских апартаментах, обставленных дорогой мебелью ручной работы, изготовленной по методам средневековых ремесленников для тех, кто мог за это заплатить; их принимали и в гостиницах «избранного общества», где стали «любить искусство», служившее фоном их богатства, хотя прежде оно не относилось к числу «респектабельных» занятий. Удивительной кажется готовность бывших пуритан из среднего класса, проявленная ими в конце XIX века, позволять своим сыновьям и дочерям выступать на профессиональной сцене, не избегая публичной известности и признания. Так и вышло, что сэр Томас Бихэм, наследник фирмы «Бихэм», стал профессиональным дирижером и выступал в концертах, где исполнялась музыка Делиуса (сына торговца шерстью из Брэдфорда) и Моцарта (который не удостоился подобной чести).

## VI

Возникает вопрос: могло ли и дальше продолжаться процветание буржуазии, если ее широкие слои отказывались трудиться и создавать богатства и быстро забывали строгие правила пуританской этики, веру в ценность созидания, старания, самоограничения, преданности долгу и высокой морали, которые обеспечили этому классу его самосознание, классовую гордость и неукротимую энергию? Выше мы видели (гл. 3), что буржуазия испытывала страх, или, скорее, стыд за свое паразитическое будущее. Конечно, досуг, культура и удобства были неплохими вещами. (Поколения, воспитанные на чтении Библии, были не прочь щегольнуть богатством, помня о поклонении золотому тельцу.) Но опасность была в том, что класс, для которого XIX век стал веком его господства, мог теперь забыть о своем историческом долге. Это не соответствовало его прошлым и современным ценностям.

Подобные проблемы почти не наблюдались в США, где класс предпринимателей сохранял свою динамичность и не испытывал заметных приступов неопределенности и неуверенности, хотя



некоторые представители буржуазии все же были озабочены своими отношениями с обществом. Только люди из старых семей Новой Англии, окончившие университеты и состоявшие на государственной службе, либо занимавшиеся профессиональной деятельностью (вроде известных Джеймсов и Адамсов), чувствовали себя неловко в том обществе, которое их окружало. О других же американских капиталистах можно сказать лишь то, что некоторые из них умудрялись «делать деньги» с поистине ошеломляющей быстротой и в астрономических количествах, так что им приходилось, в конце концов, задумываться над целью своей деятельности, и возникала мысль о том, что простое накопление денег не является достойным оправданием существования человека, даже представителя буржуазии. В результате можно было услышать даже вот какие высказывания: «Накопление денег представляет собой одну из наихудших разновидностей идолопоклонства, и ни один идол так не унижает людей, как идол богатства. Если человек постоянно погружен только в заботы о делах, и все его мысли заняты только одной целью — побыстрее заработать как можно больше денег, то он деградирует как личность, даже без надежды на выздоровление». Это сказал Эндрю Карнеги<sup>37\*</sup>. Однако большая часть американских бизнесменов все же думала не так, как Карнеги, истративший 350 млн долларов на разные благородные дела и на выдающихся людей, рассеянных по всему миру; или как Рокфеллер, последовавший его примеру и создавший собственный благотворительный фонд, в который он вложил еще больше денег перед своей смертью в 1937 году. Благотворительность таких масштабов, как и собирание предметов искусства, имеют для бизнесмена одну несомненно привлекательную сторону: они создают во мнении последующих поколений его благопристойный образ, затмевающий тот лик безжалостного хищника, который запечатлелся в представлении его подчиненных и его соперников. Для большинства предпринимателей американского среднего класса целью и оправданием всей их жизни, как и существования всего класса и даже всей цивилизации было — разбогатеть! Или хотя бы добиться благополучного существования.

В малых западных странах, таких, как Норвегия, не было яр-

ких проявлений кризиса уверенности буржуазии в своих целях; подтверждением служат образы «столпов общества» небольшого провинциального промышленного города в Норвегии, созданные в известной пьесе Генрика Ибсена (1877 г)<sup>33</sup>. В отличие от них капиталисты России имели определенные основания чувствовать, что против них настроены все слои традиционного общества — от великих князей до мужиков, не говоря уже о рабочих, которых они нещадно эксплуатировали. Некоторые преуспевавшие капиталисты чувствовали неловкость от своего преуспевания: таким был Лопухин в пьесе Чехова «Вишневый сад»; а известный текстильный магнат Савва Морозов покровительствовал искусству и давал деньги большевикам; впрочем, быстрая и успешная индустриализация вдохновляла капиталистов России и укрепляла их уверенность в себе. Так что среди русских предпринимателей в последние два десятилетия перед 1917 годом укрепилось убеждение в том, что «в России не может быть никакого иного экономического строя, кроме капитализма», и что русские капиталисты достаточно сильны для того, чтобы быстро поставить на место своих рабочих; поэтому приход Октябрьской революции, сменившей в 1917 году Февральскую буржуазную революцию, оказался достаточно странным и неожиданным событием. (Один из лидеров русских промышленников, разделявший умеренные политические взгляды, заявил 3 августа 1917 года: «Мы утверждаем, что происходящая революция — это буржуазная революция (возгласы в зале: «Правильно!»); что буржуазный строй необходим и неизбежен; а отсюда следует вполне обоснованное заключение: люди, управляющие страной, обязаны думать и действовать в соответствии с делами и образом мыслей буржуазии»<sup>38\*</sup>

Таким образом, в развитых странах было достаточно много преуспевавших деловых людей и профессионалов, чувствовавших, что ветер истории все еще надувает паруса «корабля капитализма»; хотя вызывало опасения состояние двух главных «мачт»: частных фирм, управлявшихся их владельцами, и семей, в которых центром существования был мужчина — владелец фирмы. Передача управления делами крупного бизнеса в руки функционеров, работавших за оклады, и потеря независимости предпри-

нимателями, объединявшимися в картели, создали новую ситуацию, которая все же, как заметил с облегчением один германский историк-экономист того времени, «была пока очень далека от социализма»<sup>39\*</sup> Однако сам факт того, что частный бизнес и социализм могут оказаться в определенной связи между собой, показывал, что новая экономика уже далеко ушла от общепринятой идеи частного предпринимательства. Что же касается эрозии буржуазной семьи, вызванной во многом эмансипацией женщин, то она, конечно, могла подрвать идейную стойкость класса, для которого прочная семья служила одной из главных опор, поддерживавших его респектабельность, связанную с соблюдением моральных норм, и который сильно зависел от поддержки и разумного поведения своих жен (см. «Век Капитала», гл. 13).

Особенно обострял все проблемы и подрывал твердую уверенность буржуазии кризис ее идеологии и убеждений, охвативший многих, за исключением некоторых сознательных и набожных католических слоев. Ведь буржуазия верила не только в индивидуализм, респектабельность и собственность, но и в прогресс, реформы и умеренный либерализм. В вечной политической битве, которая в XIX веке шла в верхних слоях общества между партиями «движения» или «прогресса» и «партиями порядка», средние классы, в абсолютном большинстве, были, безусловно, на стороне «движения вперед», хотя и не отвергали порядок. Однако прогресс, реформы и либерализм — все это переживало кризис (мы еще поговорим об этом ниже). Правда, прогресс науки и техники не вызывал сомнений; столь же надежными казались перспективы развития экономики, особенно после сомнений и колебаний, возникших в годы депрессии; но прогресс экономики породил организованные рабочие движения, возглавлявшиеся подрывными элементами. Политический же прогресс казался гораздо более проблематичным явлением в свете происходившей демократизации. Что же касается области культуры и нравственности, то здесь ситуация выглядела все более запутанной. Общество 1900-х годов не могло понять, что ему делать с философией Фридриха Ницше (1844—1900) и Мориса Барреса (1862—1923), ставших духовными наставниками для людей, отцы которых руководствовались в плаваниях по житейским морям идеями Герберта Спенсера (1820—1903) и Эрнеста Ренана (1820—1892).

Ситуация в интеллектуальном мире стала еще более неясной с подъемом и выдвиганием Германии, так как культура среднего класса этой страны никогда не воспринимала ясную простоту рационализма эпохи Просвещения, свойственного философии либерализма Франции и Великобритании, ставших родиной двойной революции. Германия, несомненно, была страной-гигантом в области науки, образования, техники, экономики, государственных институтов, культуры и искусства и располагала, наконец, немалой военной мощью. К тому же ее развитие в XIX веке явилось собой самый впечатляющий пример национального успеха. Ее история стала олицетворением прогресса. Но была ли эта страна либеральной? И если была, то как согласовывался германский либерализм с общепринятыми истинами XIX века? В германских университетах даже не изучали экономику в том виде, в каком этот предмет понимали всюду в мире (см. гл. II). Другой пример: германский социолог Макс Вебер, вполне усвоивший идеологию либерализма и всю жизнь считавший себя либералом (каким он и был в понимании немцев), являлся преданным сторонником милитаризма и империализма, да к тому же очень благосклонно относился (по крайней мере, в течение некоторого времени) к идеям правого национализма, так что даже вступил в Пангерманскую лигу. Или вспомним еще литературную войну между двумя знаменитыми братьями: Генрихом и Томасом Маннами; первый из них являл собой классический пример рационалиста, франкофила и человека левых взглядов; а второй горячо критиковал западную цивилизацию и либерализм, которым противопоставлял, выступая в известной тевтонской манере, «истинно германскую культуру». И при этом вся деятельность Томаса Манна и его отношение к взлету и торжеству Гитлера показали, что он и умом и сердцем был привержен либеральной традиции XIX века. Так что и не поймешь: кто же из двух братьев был истинным либералом? И кто из них был ближе «бюргеру» т. е. германскому буржуа?\*

Более того, сама политика буржуазии становилась (как мы

---

\* Генрих Манн, вероятно, больше известен за пределами Германии (хотя это и не вполне справедливо), потому что он написал книгу, по которой был поставлен фильм «Голубой ангел» с участием Марлен Дитрих.

видели) все более сложной и противоречивой, по мере того, как либеральные партии с трудом преодолевали годы Депрессии. Либералы то склонялись к консерватизму (как в Британии); то размежевывались и приходили к упадку (как в Германии); то теряли поддержку и слева и справа (как в Бельгии и в Австрии). И что вообще означало быть в такой обстановке настоящим либералом или просто человеком либеральных взглядов? Ведь к 1900-м годам было уже довольно много стран, в которых типичные предприниматели и люди профессиональных занятий открыто объявляли себя сторонниками правого центризма. А рядом с ними (точнее — ниже их) в обществе множились ряды представителей нового среднего класса и его низших слоев, которые с негодованием отвергали всякую близость к правым антилибералам.

Между тем существовали еще две великие проблемы, актуальность которых все возрастала и которые обостряли и выявляли эрозию старых идеалов: проблема национализма-империализма и проблема войны. Либеральная буржуазия явно не приветствовала империалистические завоевания, хотя (как ни странно) ее интеллигенция несла ответственность за способ управления крупнейшим приобретением империалистов — Индией (см. «Век Революции, гл. 8). Империалистическая экспансия могла примириться с буржуазным либерализмом, но их сосуществование было, как правило, недружественным. Почти все горячие сторонники колониальных завоеваний придерживались обычно более правых взглядов. Сама же либеральная буржуазия принципиально отвергала и национализм и войну. Она рассматривала нацию (в том числе и свою собственную) как временную фазу существования общества на пути его эволюции к истинно всемирной цивилизации и потому скептически относилась к призывам о национальной независимости, которую она откровенно считала уделом нежизнеспособных и малых народов. Войну она считала необходимым избегать (хотя без нее иногда невозможно было обойтись), полагая, что воинственность — это черта знати и дикарей. Поэтому реалистическое замечание Бисмарка о том, что проблемы Германии следует решать «железом и кровью», шокировало либеральную буржуазную общественность середины XIX века, хотя в 1860-е годы все так и произошло.

Очевидно, что в эру империй, распространения национализма и приближения войны подобные сентименты уже не соответствовали мировой политической реальности. Человек, который в 1900-е годы стал бы повторять то, что считалось простым проявлением буржуазного здравого смысла в 1860-х или даже в 1880-х годах, растерял бы к 1910 г. уважение всех своих современников. (Кстати, на таких сопоставлениях построен комический эффект многих пьес Бернарда Шоу.)<sup>40\*</sup> Можно было ожидать, что при таких обстоятельствах реалистически мыслявшие либералы из среднего класса либо скорректируют свои рационалистические взгляды, либо будут вынуждены помалкивать. Так и поступили министры-либералы британского правительства, втянувшие страну в мировую войну и убеждавшие и других, и себя, что они тут не при чем. Существовали и другие интересные особенности общественно-политической ситуации.

По мере того как буржуазная Европа, находясь в обстановке материального комфорта, двигалась прямо к мировой катастрофе, наблюдалось любопытное явление, охватившее буржуазию, или, по крайней мере, значительную часть ее молодежи и интеллигенции, которые с полной охотой и даже с энтузиазмом устремились к пропасти. Известны случаи, когда молодые люди (среди девушек, кажется, не возникало подобного сумасшествия) приветствовали разразившуюся первую мировую войну с пылкостью влюбленных. Так, поэт Руперт Брук, духовный кумир Кембриджского университета, слывший всегда уравновешенным социалистом-фабианцем, выразился так: «Боже, благодарю тебя за то, что ты позволил нам дожить до такого часа!» Продолжил эту мысль итальянский футуролог Маринетти: «Только война может обновить, ускорить и обострить разум человечества, наполнить радостным возбуждением и нервы и воздух, освободить от бремени повседневной рутины, дать жизни аромат и расцветить обыденность!» Им вторил французский студент: «В окопах, под огнем мы покажем превосходство французской мощи, переполняющей нас!»<sup>41\*</sup> Многие интеллигенты старшего возраста тоже приветствовали войну выражениями радости и гордости, вызывавшими позднее чувство сожаления. В период перед 1914 годом распространилась мода на осуждение идеалов мира, разума и

прогресса и на приветствия идеям насилия, торжества грубых инстинктов и разрушения. Приобрела популярность книга по истории Британии, называвшаяся «Странная гибель либеральной Англии».

Этот заголовок можно было бы распространить и на всю Западную Европу. Средние классы Европы чувствовали странную неловкость своего существования среди комфорта и достижений цивилизации (это не относилось к деловым людям Нового Света). Они утратили представление о своем историческом предназначении. Слова похвалы разуму, науке, образованию, просвещению, свободе, демократии и прогрессу человечества, которые прежде с гордостью провозглашала буржуазия и которые всегда увлекали людей своей искренностью и глубиной, стали теперь напоминанием об ушедшей эпохе. И не к буржуазии, а к рабочему классу было обращено предупреждение, заключенное в заглавии книги Жоржа Сореля<sup>34</sup>, блестящего и эксцентричного интеллектуала, прославившегося своим мятежным умом: «Иллюзии прогресса».

Несмотря ни на что, интеллигенция, молодежь и политики буржуазии, оглядываясь на свое прошлое и всматриваясь в будущее, приходили к выводу, что все, что ни случилось, было к лучшему (хотя могло быть и по-другому).

Впрочем, существовала одна важная часть населения Европы, которая сохраняла твердое убеждение в будущем прогрессе, основанное на недавнем наглядном улучшении своего положения: это были женщины из среднего и высшего классов, особенно те из них, которые родились после 1860 года.

---

## ГЛАВА 8

# НОВАЯ ЖЕНЩИНА

*По мнению Фрейда, женщина ничего не выигрывает, получая образование, да и вообще судьба женщин не станет лучше, если они будут учиться. Более того, женский пол не может на равных соревноваться с мужчинами.*

Записки Венского общества психоанализа, 1907 г.<sup>1\*</sup>

*Моя мать бросила школу в 14 лет. Ей пришлось сразу же идти работать, на ферму. Потом она поехала в Гамбург и устроилась там работать служанкой. Но ее брату дали доучиться, и он стал слесарем. Когда же он потерял работу, ему разрешили поступить учеником к художнику, чтобы получить другую специальность.*

Грета Аппен — о своей матери, родившейся в 1888 г.<sup>2\*</sup>

*Суть феминистского движения состоит в том, чтобы вернуть женщинам уважение к себе. Любые, самые важные политические достижения не имеют такой ценности, как решение этой задачи; нужно, чтобы женщины научились ценить себя.*

Кэтрин Антони, 1915 г.<sup>3\*</sup>

---

## I

На первый взгляд может показаться странным и неправильным решение рассмотреть историю целой половины человечества того периода на примере только женщин среднего класса, составлявших относительно малую часть населения стран развитого и развивавшегося капитализма. Тем не менее такая попытка является вполне правомерной, поскольку историкам нужно сосредоточить внимание на изменениях и преобразованиях в жизни женщин, из которых самым выдающимся было явление их эмансипации, затронувшее в тот период в первую очередь именно женщин среднего класса и охватившее их почти в полном составе; это относится также и к женщинам высших классов, которых, однако, было значительно меньше, и потому их пример



представляет меньший интерес, по крайней мере, с точки зрения статистики.

Эмансипация, имевшая вначале довольно скромные масштабы, сразу же выдвинула ряд женщин (пусть немногих), сумевших проявить себя и даже добиться выдающихся результатов в таких областях, где прежде действовали только мужчины: имена Розы Люксембург, мадам Кюри и Беатрис Вэбб приобрели широкую известность. Однако важность явления заключалась даже не в том, что выдвинулась горстка выдающихся личностей, ставших пионерами эмансипации, а в том, что в буржуазной среде возникла «новая женщина», по поводу которой наблюдатели-мужчины стали рассуждать и спорить, начиная с 1880-х годов, и которая стала героиней произведений прогрессивных авторов: в образе Норы (Генрика Ибсена), Ребекки (Уэста) и еще многих, например, героинь (или, скорее, антигероинь) пьес Бернарда Шоу. При этом не произошло никаких перемен в положении огромного большинства женщин мира, проживавших в Азии, Африке, Латинской Америке, в странах Южной и Восточной Европы, т. е. в большинстве районов мира, где преобладало сельское население. Положение женщин рабочих классов изменилось незначительно, хотя здесь возник новый момент, имевший ключевое значение: с 1870 года женщины развитых стран стали иметь заметно меньше детей, чем прежде.

Это означало, что развитый мир явно вступил в состояние так называемого «демографического перехода» от старого варианта жизни населения, описываемого в общих чертах формулой: «Высокая рождаемость, уравновешенная высокой смертностью», к новому, более современному варианту: «Низкая рождаемость, уравновешенная низкой смертностью». Как и почему совершается такой переход — остается одной из главных загадок, над которыми ломают головы специалисты по истории населения. С точки зрения же истории вообще, резкое уменьшение количества детей в семьях развитых стран стало совершенно новым явлением. Кстати говоря, одновременное уменьшение многодетности и смертности в большинстве стран мира привело к глобальному демографическому взрыву, случившемуся после второй мировой войны, поскольку резкое падение смертности (вызванное, отчасти, повышением уровня жизни и, частично, революцией в меди-

цине) сопровождалось сохранением высокого уровня рождаемости в большинстве стран третьего мира (где снижение уровня рождаемости произошло с запаздыванием на период, равный жизни одного поколения). На Западе процесс снижения рождаемости и смертности протекал сбалансированно. Снижение обоих показателей заметно повлияло на жизнь и чувства женщин; ведь общее падение смертности было обусловлено прежде всего резким уменьшением смертности детей в возрасте менее 1 года, которое, без сомнения, происходило в последнее десятилетие перед 1914 годом. Так, в Дании в 1870-е годы детская смертность составляла 140 случаев на 1000 человек населения, а в период 1908—1913 годов — 96 случаев на 1000 человек; в Нидерландах соответствующие значения были такие: около 200 и несколько больше 100 случаев. (Для сравнения, в России детская смертность составляла около 260 случаев на 1000 человек в 1870-е годы; а затем — около 250 случаев на 1000 человек, в начале 1900-х годов.) Как бы то ни было, но можно полагать, что более значительной переменой в жизни женщин было уменьшение общего количества детей в семье, а уж потом — увеличение числа детей, оставшихся в живых.

Снижение рождаемости могло быть вызвано более поздним вступлением в брак; увеличением количества незамужних женщин (конечно, при отсутствии у них детей); а также усилением контроля над рождаемостью, который в XIX веке осуществлялся, главным образом, путем полового воздержания или способом «прерванного сношения». (В Европе не были широко распространены способы прерывания беременности.) Все указанные факторы (особенно первые два) были обусловлены тем довольно странным способом вступления в брак, который существовал в Западной Европе в течение нескольких столетий. В отличие от брачных обычаев других стран, где девушки выходили замуж молодыми и почти ни одна не оставалась незамужней, женщины Запада (в доиндустриальный период) стремились выйти замуж попозже, иногда уже в возрасте под тридцать лет, и процент женщин, дожидавшихся замужества или вообще оставшихся холостыми, был высоким. Поэтому, даже в период быстрого роста населения, происходившего в XVIII и XIX веках, уровень рождаемости в «развитых» и «развивавшихся» странах Запада был ниже,

чем в странах «третьего мира» в XX веке, а соответственно и рост населения, хотя и очень большой по меркам прошлого, был на самом деле довольно скромным. Все же постепенно замужних женщин становилось относительно больше, и они стали стремиться выходить замуж в более раннем возрасте; однако уровень рождаемости понизился, так как распространились способы контроля над рождаемостью. Эта проблема, волновавшая многих, вызвала горячие публичные дебаты, более или менее откровенные в разных странах; но, независимо от их результатов, масса супружеских пар волей-неволей приходила к выводу о необходимости ограничивать размер семьи.

В прошлом решение о количестве детей зависело почти всегда от общих планов сохранения и улучшения благосостояния семьи, связанного с размером земельного надела, передававшегося от одного поколения к другому (поскольку большинство европейцев были сельскими жителями). В XIX веке наиболее яркие примеры способов регулирования численности потомства были связаны с ситуацией во Франции (после революции) и в Ирландии (после голода), где крестьяне и фермеры стремились предотвратить дробление семейных наделов, сокращая число наследников, имевших право на получение своей доли; во Франции для этого старались уменьшить число детей; а набожные ирландцы стремились сделать так, чтобы поменьше женщин и мужчин состояли в браке; с этой целью был увеличен возраст, при котором разрешалось вступать в брак (так что этот показатель стал самым высоким в Европе за все времена ее истории); поощрялся религиозный обычай celibата, считавшегося престижным; и, конечно, часть потомства отправлялась за океан, в эмиграцию. В результате таких мер население Франции оставалось постоянным, а население Ирландии даже уменьшалось, хотя во всех других странах происходил рост населения.

Применение новых способов регулирования размера семьи было обусловлено различными причинами. В городах это было связано с желанием повысить уровень жизни, особенно в семьях многочисленного нижнего слоя среднего класса, которые могли себе позволить лишь что-либо одно: иметь много детей или тратить деньги на товары и услуги, выбор которых стал соблазнительно широким; потому что в XIX веке никто, даже самые не-

счастливые старики, не был так беден, как супружеские пары, имевшие низкий доход и полный дом детей. Но еще тяжелее становилось обеспечивать общение детей в школе и помогать им в приобретении профессии, так как в связи с переменами в жизни период обучения все удлинялся. Урбанизация жизни и запреты на детский труд уменьшали или вовсе ликвидировали возможности получения экономических выгод от детей, существовавшие прежде, когда родители использовали детей на фермах и в хозяйстве.

Одновременно контроль рождаемости был связан с важными культурными переменами, охватившими как детей, так и взрослых, поскольку у людей менялось общее представление о жизни. Многие считали, что дети должны жить лучше, чем их родители; однако в прединдустриальную эру большинство людей было не в состоянии, либо просто не желало добиваться этого на деле; те же, кто хотел обеспечить детям лучшие возможности, понимали, что это осуществимо лишь в небольшой семье, где каждому ребенку достается больше внимания, средств и времени. Сама жизнь учила мужчин и женщин тому, что их судьба не должна быть простым повторением судьбы их родителей, поскольку век всеобщих перемен и прогресса открывал каждому новому поколению людей новые возможности для улучшения социального и профессионального положения. Люди строили семью согласно требованиям времени, как бы ни осуждали их строгие моралисты, качавшие головами по поводу того, что, например, французы имеют не более одного-двух детей в семье. (Примеру французов последовали и сицилийцы, решившие, по опросам 1950 и 1960 годов, перейти к ограничению количества детей, как сообщили об этом социологи-антропологи П. и Дж. Шнейдер.)

Таким образом, явление контроля над рождаемостью указывало на определенное проникновение новых структур, ценностей и социальных перспектив в сферу жизни и деятельности трудящихся женщин Запада. Многие из женщин были лишь отчасти задеты этими переменами. Причина заключалась в том, что большинство женщин, занятых домашним трудом в семье, находилось, так сказать, «вне экономики», которая, по общепринятому определению, включает в себе наемных работников и людей, имеющих определенное «занятие» (помимо домашнего труда).

Согласно этому принципу, в 1890-х годах примерно 70% всех мужчин развитых стран Европы и США считались по статистике «занятыми», тогда как примерно 75% всех женщин (а в США — 87%) считались «не занятыми на работе». (Впрочем, существовали разные способы классификации, которые давали и разные цифровые результаты. Так, в австрийской части империи Габсбургов, согласно местной статистике, насчитывалось 47,3% «занятых» женщин, а в венгерской части, не слишком отстававшей в экономическом развитии, — 25%, причем указанные процентные данные были получены в расчете от численности всего населения, включая детей и стариков.<sup>4\*)</sup> Более точные данные свидетельствовали, что в 1890-х годах 95% всех женатых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (в Германии) были «заняты на работе», тогда как только 12% замужних женщин считались «занятыми»; среди незамужних было 50% «занятых», а среди вдов — 40%.

Общество доиндустриального периода не было вполне «периодически повторяющимся» по условиям жизни поколений (даже в аграрных странах). Условия и образ жизни женщин изменялись от поколения к поколению, хотя за период в 50 лет как будто бы и не происходило резких перемен, если, конечно, не принимать во внимание случаи политических и природных катастроф; но когда началась индустриализация, то ее влияние стало значительным.

Это влияние очень мало ощущалось за пределами зоны «развитых» стран. Здесь главной особенностью жизни женщин было полное и нераздельное слияние труда и занятий семьей. Жизнь протекала в одной и той же обстановке, где у мужчин и женщин были свои задачи — «ведение домашнего хозяйства» и «производство продукции» (если выражаться современным языком). Жены фермеров участвовали в сельскохозяйственных работах, а также готовили еду и ухаживали за детьми; жены ремесленников и торговцев тоже помогали мужьям в их работе. И если существовали чисто мужские занятия, когда мужчины подолгу жили без женщин (солдаты, моряки), то чисто женских занятий, да еще не связанных с ведением домашнего хозяйства, просто не существовало (если не говорить о проституции и связанной с ней сфере развлечений); потому что даже холостые мужчины и женщины, работавшие слугами или на сельскохозяйственных рабо-

тах, жили и трудились рядом. И если так продолжала жить масса женщин, скованных двойными оковами — тяжелым трудом и подчиненностью мужчине, то что же можно сказать о положении тех остальных, которые жили еще как во времена Конфуция, Магомета или «Ветхого завета». Они хотя и не были вне истории, но жили не в обстановке XIX века.

Среди трудящихся женщин было немало и таких (и их число росло), жизнь которых изменилась под влиянием экономической революции (хотя и не всегда к лучшему). Первое, что принесла с собой промышленная революция, была так называемая «первичная индустрия», вызвавшая резкий рост надомного и «выездного» производства, продукция которого имела широкий спрос. Поскольку эти работы сочетались с ведением домашнего хозяйства, то они не привели к изменению положения женщин, хотя появились такие виды надомных работ, при которых использовался исключительно женский труд (плетение кружев, соломенных шляп), так что сельские женщины получили редкую возможность иметь небольшой независимый заработок. Но главным результатом надомного производства было общее «сглаживание граней» между женским и мужским трудом, а также преобразование структуры и стратегии семьи. Теперь два человека, мужчина и женщина, могли вступать в брак и обзаводиться хозяйством, как только они становились взрослыми и были в состоянии работать; можно было сразу заводить детей, ставших ценной дополнительной рабочей силой, и не ожидать получения по наследству земельного надела, от которого полностью зависела жизнь крестьян. Так оказался сломанным сложный старинный механизм поддержания равновесия между количеством людей и объемом средств производства, от которых они зависели, основанный на регулировании возраста и количества людей, вступавших в брак, размера семьи и размера наследства. Мы не будем рассматривать здесь значение этого явления для демографического роста, поскольку этот вопрос обсуждался во многих работах; нас интересует его непосредственное влияние на образ жизни и судьбу женщин.

Случилось так, что в конце XIX века протоиндустрия (или «первичная промышленность»), основанная на мужском, на женском или на комбинированном труде, стала жертвой развития более

крупного производства, основу которого представляли предприятия ручного труда, появившиеся в промышленных странах (см. гл. 5). Правда, «домашняя промышленность» еще оставалась заметным явлением в масштабах всего мира, и ее проблемы по-прежнему занимали социологов и правительства. Так, в Германии в 1890-е годы в ней было занято 7% от общего числа промышленных рабочих; в Швейцарии — 19%, а в Австрии — 34%<sup>5\*</sup> Были случаи, когда она даже получала новое развитие за счет интенсификации труда (не зря ее называли «промышленностью потных спин») и внедрения малой механизации (например, швейных машин), которая изменила характер труда, сделав его еще более интенсивным и дешевым. Однако эти производства теряли характер «семейных предприятий», так как на них трудились почти исключительно женщины, а труд детей, бывший всегда необходимым подспорьем, перестал применяться из-за введения принудительного школьного обучения. Традиционные виды домашнего производства (ручное ткачество, вязание и т. п.) постепенно совсем исчезли, и большая часть «домашней промышленности» утратила характер «семейного производства», превратившись просто в разновидность низкооплачиваемых побочных работ, которыми женщины занимались дома или во дворе.

Как бы то ни было, но «домашняя промышленность» позволяла женщинам сочетать ведение хозяйства и надзор за детьми с оплачиваемой работой. Поэтому многие замужние женщины, нуждавшиеся в деньгах, но привязанные к кухне и детям, продолжали ею заниматься, в том или ином виде. Но наступавшая индустриализация оказала и другое важное влияние на положение женщин: она разделила домашний очаг и место работы. Когда это произошло, большинство женщин оказалось исключенным из общественно признанной экономической деятельности, т. е. такой, за которую платили зарплату; так что теперь, помимо своей традиционной подчиненности мужчинам, они оказались в полной экономической зависимости от них, в результате чего возникла новая общественная ситуация. Всегда было так, что, например, крестьяне не могли вести хозяйство без помощи жен, и на фермах женщины трудились вместе с мужчинами. Было бы абсурдным считать, что домашний доход заработан кем-то одним, независимо от того, кто считался главой семьи. Однако при

новых экономических порядках сложилось такое положение, что весь домашний доход (почти всегда и в растущей степени) зарабатывал один человек, регулярно ходивший на работу и приносящий деньги, распределявшиеся между другими членами семьи, которые их не зарабатывали, хотя их вклад в общее хозяйство оставался существенным. Деньги приносил не обязательно мужчина, но именно он, как правило, был «главным кормильцем» семьи, а замужним женщинам обычно не удавалось находить работу вне дома.

Полное отделение места работы от дома обусловило новые экономические различия в положении мужчин и женщин. Для женщин это означало, что их роль в семье свелась к умению распорядиться семейным заработком, что было нелегко, если он был небольшим и нерегулярным. Появилось много жалоб на неравноправное положение женщин в рабочих семьях, тогда как раньше, в доиндустриальную эру, об этом не было слышно. В общем, новая ситуация создала дополнительные сложности в семейных отношениях. Как бы то ни было, но женщины перестали непосредственно участвовать в создании семейного дохода.

«Главный кормилец» должен был зарабатывать достаточно денег, чтобы содержать всех, кто от него зависел. Обычно это был мужчина, и его заработок должен был достигать такой величины, чтобы не требовалось искать других источников для пополнения семейного бюджета. Доходы других членов семьи редко имели существенное значение, поэтому создалось постоянное и твердое убеждение в том, что женский (и, тем более, детский) труд может быть только второстепенным и низкооплачиваемым. Ведь, в конце концов, женщине можно было платить меньше, потому что она не должна была содержать семью. Поскольку низкооплачиваемый женский труд составлял конкуренцию высокооплачиваемому мужскому труду, что вело к уменьшению зарплаты мужчин, то для мужчин лучшим выходом было, чтобы женщины не работали, оставаясь в экономической зависимости от них, а если уж работали бы, то только на самых низкооплачиваемых местах. Для женщин сохранение их экономической зависимости тоже казалось самым разумным выходом, поскольку возможность получения хорошо оплачиваемой работы была минимальной, так что приходилось соединять свою судь-



бу с мужчиной, который мог хорошо зарабатывать. Таким образом, для женщин самым перспективным способом устроить свою жизнь было замужество; можно было заняться проституцией, что тоже давало высокие заработки, но стать проституткой в те времена было не легче, чем в наше время стать звездой Голливуда. Однако выйти замуж — значило потерять практически всякую возможность самостоятельно зарабатывать деньги, потому что муж, дети и домашнее хозяйство привязывали женщину к дому; да к тому же существовало общее убеждение в том, что замужней женщине и не следует работать, поскольку ее и так обеспечивает муж. Тот факт, что женщина работает, мог повредить репутации семьи, так как это означало бы, что семья бедствует. Таким образом, все обстоятельства были за то, чтобы замужние женщины не работали, оставаясь экономически зависимыми. Обычно женщины работали до замужества или когда оставались вдовами либо одинокими. Выходя замуж, они, как правило, бросали работу. В 1890-х годах в Германии только 12,8% замужних женщин имели работу; в Британии в 1911 г. их было около 10%<sup>6\*</sup>

Все же взрослые мужчины нередко не могли заработать столько денег, чтобы хватало семье, и тогда труд женщин и детей был существенным средством пополнения семейного бюджета. К тому же капиталистическая экономика поощряла использование труда женщин, потому что женский и детский труд был самым дешевым; их было легче всего запугать, особенно молодых девушек, которые составляли большинство среди работающих; так что женщин принимали на работу везде, где разрешал закон, позволяли условия труда и характер работы и где не было препятствий со стороны родных и близких. Немало замужних женщин продолжало работать, вопреки результатам всех переписей, которые, как правило, занижали их число, потому что работодатели часто не хотели сообщать об их работе; либо их работа носила характер домашнего занятия и тоже не включалась в статистические сводки: например, работа уборщиц, прачек, содержательниц пансионатов и т. п. В Британии в 1880—1890 гг. числились «занятыми на работе» 34% женщин и девушек в возрасте свыше 10 лет (соответственно — 83% мужчин); количество женщин, занятых в промышленности, составляло от 18% (в Германии) до 31% (во Франции)<sup>7\*</sup> Женская рабочая сила в начале

того периода была, в основном, сконцентрирована в нескольких чисто женских отраслях промышленности, особенно в текстильной и в швейной, но также (в растущей степени) — в пищевой. Женщины, занимавшиеся индивидуальным трудом, работали, в основном, в секторе обслуживания. Интересны цифры, показывающие количество домашних слуг в разных странах. Больше всего их было в Британии: примерно в 2 раза больше, чем во Франции и в Германии; но с конца столетия их число стало уменьшаться. Там же, в Британии, количество слуг увеличилось за период 1851—1891 годов с 1,1 млн до 2 млн и оставалось на этом уровне до конца периода.

Итак, подводя итог, можно сказать, что результатом индустриализации (в широком смысле этого слова) стало вытеснение женщин (особенно замужних) из официально признанной экономики, охватывавшей работников, которые получали за свой труд индивидуальную оплату наличными деньгами и считались «занятыми»; интересно, что такая экономика считала заработки проституток частью национального дохода (по крайней мере, теоретически), но не признавала работой исполнение замужними женщинами своих семейных обязанностей, поскольку они не получали за это зарплату; так же и нанятые слуги считались «занятыми», а домашние хозяйки — «незанятыми».

Индустриализация привела к определенному увеличению роли мужчин, как вообще в труде, так и, особенно, в бизнесе, поскольку среди буржуазии существовало чрезвычайно сильное и широкое предубеждение против женского труда, тогда как в доиндустриальную эпоху женщины, управлявшие поместьем или предприятием, представляли собой обычный, хотя и не слишком частый пример. В XIX веке все больше распространялся взгляд на женщину, как на некую «ошибку природы»; только в подчиненных слоях общества, где всеобщая бедность и приниженность уравнивала всех между собой, существование женщин-продавцов и рыночных торговек, хозяек пансионов и трактиров, лавочниц и владелиц ссудных касс считалось вполне естественным (см. «Век Капитала», гл. 13).

Итак, в экономике господствовали мужчины; в политике было то же самое. Как ни наступала демократизация, как ни расширялся после 1870 года круг людей, наделенных правом голоса,

но женщины каждый раз оказывались обойденными. Так что политика оставалась по преимуществу мужским делом; мужчины говорили о политике в кафе и трактирах и выступали на митингах (где их слушали одни мужчины), а женщины посвящали себя той части жизни, которую называют «частной» или «личной» и для которой они и были предназначены самой природой (по крайней мере, таково было общее мнение). Такая ситуация стала новым явлением в жизни общества. До этого, в прединдустриальную эпоху, женщины бедных классов не просто участвовали, но играли признанную роль в народной политике: от крестьянских мятежей в защиту старой «нравственной» экономики до революций и боев на баррикадах. Именно женщины Парижа в годы Французской революции пошли маршем на Версаль, чтобы передать королю требование народа о введении контроля над ценами на хлеб. И вот теперь, в эпоху партий и всеобщих выборов, их оттеснили в задние ряды, так что они могли сообщить о своем мнении только через мужей.

Понятно, что все эти явления больше всего затронули женщин среднего и рабочего классов, так как это были новые классы, лучше всего отражавшие дух и значение XIX века. Что же касается крестьянок и жен и дочерей ремесленников и лавочников, то они продолжали жить прежней жизнью, если только в их судьбу и в судьбу их мужей не вторгалась новая экономика. Понятно также, что разница между жизнью женщин, оказавшихся в новой экономической зависимости от мужчин, и положением женщин, живших по-старому, в подчинении у своих мужей, оказалась небольшой. В обоих случаях командовали мужчины, а женщины были людьми «второго сорта»: действительно, их даже нельзя было назвать «гражданами второго сорта», потому что они не имели никаких гражданских прав. И в обоих случаях большинство женщин работало, хотя не все они получали зарплату.

Зато положение женщин среднего и рабочего классов стало в эти десятилетия существенно меняться в связи с развитием экономики. Структурные изменения в экономике и появление новой техники изменили и сильно расширили область применения наемного женского труда. Самой очевидной переменной (помимо уменьшения числа домашних слуг) стало увеличение количества рабочих мест для женщин: продавщиц в магазинах, служащих в

конторах и учреждениях и т. п. Так, численность женщин-продавцов в Германии увеличилось с 32 000 в 1882 г. (что составляло менее 20% от общего количества продавцов) до 174 000 в 1907 году (т. е. 40% от общего количества). В Британии на службе у местной и государственной администрации состояло в 1801 г. 7000 женщин, а в 1911 г. — 76 000; количество женщин-служащих торговых и деловых контор и учреждений выросло за те же года с 6000 до 146 000 человек (в немалой степени из-за увеличения числа машинисток)<sup>8\*</sup> Рост начального образования вызвал увеличение количества учителей, и эта профессия (не требовавшая высокой квалификации) стала во многих странах (например, в США и, постепенно, в Британии) — сугубо женской. Во Франции в 1891 г. количество женщин на этой работе впервые превысило количество мужчин; это была целая армия послушных государству работниц, которых так и называли в шутку «черные гусары Республики»<sup>9\*</sup> Мужчины не очень-то стремились на эту работу, так как среди учеников становилось все больше девочек, с которыми им не хотелось возиться; а женщины соглашались обучать и девочек и мальчиков. Некоторые из новых рабочих мест удавалось занять девушкам — дочерям рабочих и даже крестьян; но большей частью они доставались девушкам из среднего класса, в том числе — из его нижних слоев (старых и новых), которых эта работа привлекала своей респектабельностью в глазах общества и возможностью заработать немного денег «на карманные расходы» (зарботки женщин были низкими). (Вот что говорилось, например, в одной из статей того времени: «Девушки и юноши, работавшие на таможне, обычно происходили из хороших семей и получали денежную помощь от родителей. Возникло новое общественное явление: девушки-машинистки, конторские служащие и продавцы, работавшие, чтобы иметь немного денег на мелкие расходы».<sup>10\*</sup>)

Особенно очевидными стали изменения социального положения и перспектив женщин в последние десятилетия XIX века, причем самые явные признаки эмансипации наблюдались, в основном, в массе женщин среднего класса. Всеобщее внимание привлекла кампания за предоставление женщинам избирательного права, развернувшаяся во многих странах; в некоторых из них накал страстей достиг поистине драматического уровня, как

это случилось в Британии (где женщин — участниц движения называли «суфражистками»<sup>35</sup>). Впрочем, суфражизм не стал массовым политическим движением женщин и не приобрел нигде широкого влияния (кроме нескольких стран, особенно США и Британии, но и там он начал добиваться ощутимых результатов только после первой мировой войны). Там, где он все же стал заметным явлением (как в Британии), он привлекал внимание прежде всего как свидетельство роста силы и авторитета организованного движения женщин за свои права — «феминизма» и не мог приобрести большого размаха, поскольку его призыв был обращен прежде всего к женщинам среднего класса. Тем временем требование о предоставлении женщинам права голоса, как и о решении других проблем эмансипации, твердо поддерживали новые рабочие и социалистические партии, для которых это направление борьбы стало важной частью их политики; при этом рабочее и социалистическое движение оказалось благоприятной средой, в которой эмансипированные женщины могли развернуть общественную деятельность (по крайней мере, так было в Европе). В результате новые социалистические левые движения восприняли цели феминизма и суфражизма и иногда сотрудничали с ними (в отличие от этого часть старых радикально-демократических и левых антиклерикальных движений, объединявших, в основном, мужчин, не пошла по этому пути). Однако ни социалисты, ни суфражистки из среднего класса не обращали должного внимания на положение женщин рабочего класса, озабоченных многими трудностями и несправедливостями, имевшими для них более насущное значение, чем получение права голоса, которое не могло сразу решить их проблемы.

## II

Если оценивать движение за эмансипацию женщин с позиций нашего времени, то его возникновение кажется вполне оправданным, а его усиление в 1860-е годы не вызывает особого удивления. Наряду с демократизацией политики, идеология либеральной буржуазии предусматривала расширение прав и улучшение положения женщин, в направлении достижения их равноправия с мужчинами, хотя такая перспектива не очень привлека-

ла их мужей. Преобразования, охватившие жизнь буржуазии после 1870 годов, расширили социальные возможности женщин, особенно незамужних; появился целый слой материально независимых женщин, замужних и незамужних, что создало спрос на подходящие для них виды общественной деятельности. Бизнесмены, занятые делами, были не прочь переложить общественные обязанности на своих жен; появилось и немало обеспеченных мужчин, не озабоченных необходимостью зарабатывать деньги, так что они могли заняться культурной деятельностью; это привело к определенному сглаживанию граней, разделявших мужчин и женщин.

Кроме того, отнюдь не все семьи среднего класса (и, практически, ни одна из семей нижнего слоя среднего класса) имели достаточно средств, чтобы хорошо обеспечивать своих неработающих дочерей, еще не вышедших замуж; поэтому эмансипация, хотя бы в какой-то степени, стала необходимой. Этим объяснялось согласие многих отцов семейств среднего класса давать образование своим дочерям (что обеспечивало им некоторую независимость), хотя они и не разрешали своим женам посещать женские клубы и вступать в профессиональные организации. Главы семейств либеральной буржуазии продолжали отрицательно относиться к идее равноправия женщин.

Подъем рабочих и социалистических движений, целью которых была эмансипация всех бесправных и обездоленных, вдохновил женщин на поиски свободы; поэтому, когда, например, в 1883 г. было основано Фабианское (социалистическое) общество, то женщины составили 25 % его членов. Развитие сферы услуг и увеличение числа рабочих мест в третьем секторе экономики открыло для женщин много рабочих вакансий; а развитие производства потребительских товаров сделало их главной и желанной целью капиталистического рынка, предлагавшего эти товары.

Здесь нет необходимости тратить много места на выяснение причин появления «новой женщины», хотя не стоит и забывать, что эти причины были не такими простыми, как может показаться на первый взгляд. Например, нет оснований полагать, что положение женщин улучшилось в связи с усилением их роли в эко-

номике, как непосредственных распорядительниц содержанием семейной «потребительской корзины», хотя рекламная индустрия, вступившая в эру своего расцвета, с полным реализмом оценила и использовала этот факт. С развитием экономики потребительский рынок стал массовым, охватив и бедные слои населения; ввиду этого женщины оказались в центре внимания рекламы, поскольку они распоряжались домашними покупками. Так капиталистическое общество, точнее, его рекламная индустрия, повысили общий уровень внимания и уважения к женщинам. Это внимание укрепились в связи с новым развитием системы общественного распределения; рекламы, выставки и объявления льстили женщинам и зазывали их в многочисленные магазины и универмаги, вытеснившие мелкие лавки и уличных разносчиков; предлагали приобретать товары даже по почте, с помощью каталогов.

Конечно, наибольшим вниманием пользовались дамы из общества, совершавшие дорогие покупки, тогда как небогатые и просто бедные покупали лишь то, что требовала семейная традиция или повседневная необходимость. Список вещей, применяемых в домашнем хозяйстве, расширился, однако предметы личной роскоши, вроде туалетных приборов и модной одежды, были доступны, в основном, женщинам из среднего класса. В общем, женщины стали ценным объектом внимания потребительского рынка, но это не слишком повлияло на их общественное положение (особенно на положение женщин среднего класса, для которых все эти явления не были совершенно новыми). Разве что (как утверждали некоторые) наиболее эффектные рекламные находки журналистов и дизайнеров наложили на женщин определенный внешний отпечаток, создав некоторые стереотипы поведения. Все же расширение рынка женских товаров создало много новых рабочих мест для женщин, имевших специальность; и многие из них, по понятным причинам, стали поддерживать феминизм.

Как бы трудно ни проходил процесс эмансипации, но определенные и достаточно заметные изменения положения и устремлений женщин все же имели место в тот период.

Первая и самая очевидная перемена состояла в расширении

возможностей получения среднего образования для девочек. Так, во Франции за весь период почти не изменилось количество лицеев для мальчиков, оставаясь на уровне 330—340 учебных заведений; тогда как количество лицеев для девочек увеличилось до 138 в 1913 г. (в 1880 г. не было ни одного); причем количество учащихся-девочек достигло в 1913 г. 33 000 человек, что составляло 30% от количества учащихся-мальчиков. В Британии, где до 1902 года не было государственной системы среднего образования, количество школ для мальчиков увеличилось с 292 (в 1904—1905 гг.) до 397 (в 1913—1914 гг.); а количество школ для девочек — с 99 до 349. (При этом количество школ совместного обучения, являвшихся менее престижными, увеличилось со 184 до 281.) К 1907—1908 годам в Йоркшире (Британия) количество девочек — учащихся средних школ было примерно равно количеству мальчиков; но интересно, что к 1913—1914 годам количество девочек, продолжавших учебу в средней школе после 16 лет, намного превосходило количество мальчиков, продолжавших учебу<sup>11\*</sup>

Стремление к созданию системы среднего образования для девочек наблюдалось не во всех странах. Например, в Швеции этот процесс протекал медленнее, чем в других скандинавских странах; в Нидерландах тоже дело едва двигалось; мало достижений было в Бельгии и в Швейцарии; в Италии было всего 7500 девочек — учащихся средних школ, т. е. совсем немного. Напротив, в Германии к 1910 г. в средних школах училось 250 000 девочек (намного больше, чем в Австрии); и, что удивительно, в России к 1900 г. тоже училось в средних школах около 250 000 девочек. В Шотландии этот показатель рос намного медленнее, чем в Англии и в Уэльсе.

Что касается университетского образования для женщин, то оно было развито примерно одинаково во всех европейских странах, за исключением царской России, показавшей выдающийся пример развития: с 2000 девушек-студенток в 1905 году — до 9300 человек в 1911 г.; а в США в 1910 г. было 56 000 девушек-студенток (вдвое больше, чем в 1890 г.); так что США намного обогнали Европу по этому показателю. В 1914 году в Германии, Франции и Италии насчитывалось по 4500—5000 студенток уни-



верситетов (в каждой из стран), а в Австрии — 2700. Отметим также, что университетское образование для девочек было разрешено в России, США и в Швейцарии с 1860-х годов, а в Австрии — только с 1897 года; в Германии — с 1900—1908 годов (в Берлине). В Германии больше всего женщин училось на медицинских факультетах университетов; по другим специальностям к 1908 году закончили университет только 103 женщины; в том же 1908 году, впервые в истории этой страны, женщина, окончившая университет, получила должность преподавателя в Коммерческой академии в Маннгейме. Особенности развития образования женщин в других странах пока что не изучены достаточно хорошо<sup>12\*</sup>

Беспрецедентным стал сам тот факт, что получение официального среднего образования женщинами среднего класса стало во многих странах обычным (кое-где — даже общепринятым) делом; пусть даже оно отставало от мужского по объему и по качеству; однако в университетах обучалось еще очень немного женщин.

Следующий, второй, признак изменения положения женщин (особенно молодых) состоял в том, что они получили большую социальную свободу, выразившуюся в расширении их индивидуальных прав и в получении возможности более свободного общения с мужчинами. Это было особенно важно для девушек из «респектабельных» семейств, жизнь которых была ограничена жесткими правилами и условностями. Наконец-то девушкам разрешили ходить на танцы в общественные места, тогда как раньше можно было танцевать только дома или на балу, устроенному по какому-то особому случаю; это говорило об ослаблении общественных условностей. К 1914 году многие из раскованной молодежи западных больших городов и курортов уже познакомились с ритмичными сексуально провокационными танцами сомнительного, но экзотического происхождения: такими, как аргентинское танго и синкопированные «стены» американских чернокожих; их танцевали в ночных клубах и в ресторанах, и этот обычай многим еще казался неприличным.

Это способствовало свободе поведения не только в социальном, но и в буквальном смысле.

Правда, женская мода не отразила веяний эмансипации и не претерпела слишком уж резких изменений, но участь сложных сооружений из материи и китового уса уже была предрешена с появлением нарядов свободного покроя из струящихся и ниспадающих тканей, созданных мастерами новых направлений (интеллектуального эстетизма 1880-х годов, «нового искусства» и «высокой моды» предвоенного времени) и быстро входившими в известность. Женщины вышли из замкнутого мирка буржуазных квартир на открытый воздух; поэтому из одежды исчезли неудобные предметы, затруднявшие движение (такие, как корсеты) и появились новые (такие, как бюстгальтер, получивший распространение с 1910 года). Не случайно в пьесе Ибсена символом освобождения героини стало широко распахнутое окно, открывшее доступ в дом свежему воздуху.

Спорт открыл девушкам и юношам новые возможности знакомиться и встречаться за пределами узкого круга, ограниченно-го семейными и родственными связями. Женщины (хотя и немногие) посещали клубы туризма и альпинизма, а велосипед стал поистине первой машиной, послужившей освобождению женщин и доставившей им еще больше пользы, чем мужчинам, поскольку их организм особенно нуждается в движении. Радость свободного движения была еще большей, чем у аристократок, занимавшихся верховой ездой, потому что они, храня женскую скромность, сидели на лошади боком, подвергая опасности свою жизнь.

Немало свободы принес женщинам среднего класса новый обычай отдыхать летом на курорте, вдали от мужей, занятых работой в своих офисах; зимой можно было покататься на лыжах вдвоем. (Читатели, интересующиеся психоанализом, могут узнать о влиянии летнего отдыха на развитие личности из книг Зигмунда Фрейда.) Места летнего купания стали общими, а тело все больше освобождалось от одежды, вопреки ворчанию сторонников приличий, унаследованных от строгой викторианской эпохи.

Трудно сказать, насколько все эти явления способствовали сексуальному освобождению женщин среднего класса. Секс без брака был принят меньшинством девушек этого класса, имевших раскрепощенное сознание и искавших разные способы осво-

бождения, например, путем политической деятельности. Одна из них, женщина из России, вспоминала о своей молодости (где-то после 1905 года): «Было трудно слыть «прогрессивной» и отвергать, без долгих объяснений, притязания поклонников. Дома, в провинции, парни не требовали слишком многого, ограничиваясь поцелуями; но студентов столичного университета было не так-то легко отвадить. Обычно следовал вопрос: «Вы что, девушка, старомодная что ли?» Ну а кому же хотелось быть старомодной?»<sup>13\*</sup> Остается неизвестным, насколько широко распространилась эмансипация подобного рода среди молодых женщин разных стран; хотя можно с большой долей уверенности сказать, что больше всего это явление расцвело в России; и в государствах Северо-Западной Европы (включая Британию), а также в городах империи Габсбургов оно приняло значительные размеры; меньше всего такое поведение было принято в средиземноморских странах. (Этим можно объяснить чересчур выдающуюся роль русских женщин-эмигранток в прогрессивных и рабочих движениях таких стран, как Италия.) Наиболее широко распространенной формой внебрачного секса была для женщин среднего класса супружеская неверность, но она не обязательно была связана с ростом чувства уверенности в себе. Неверность мужу могла быть выражением утопической мечты об освобождении от условностей заурыдной действительности; но существовала и «легкость поведения», принятая среди жен и мужей среднего класса во Франции, заводивших любовников при каждом удобном случае, что составляло излюбленный сюжет бульварных пьес того времени; страдания же героини в тисках буржуазного общества описаны во многих произведениях XIX века, образцом которых стал роман «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера. (Интересно, кстати, что и серьезные романы и легкомысленные пьесы писали, в основном, мужчины.) Однако распространенность явления супружеской неверности в XIX веке, подобно другим аспектам сексуальных отношений того времени, не поддается точным количественным оценкам. Все, что можно с уверенностью сказать по этому поводу — то, что указанная форма поведения была принята в аристократических и модных кругах, и вообще в крупных городах, где можно было легко поддерживать знакомство, ис-

пользуя для этого, например, отели. (Заметим, что приведенные оценки относятся исключительно к средним и высшим классам общества и не применимы для описания до- и послебрачного сексуального поведения женщин из крестьянства или из городского рабочего класса, составлявших, конечно, большинство всех женщин).

Однако если историк, изучающий количественную сторону явлений, оказывается здесь в проигрыше, то исследователь, оценивающий их качественную сторону, не может не поражаться шумным заявлениям мужчин того времени по поводу женской чувственности. Многие такие заявления представляли собой попытки обосновать, с помощью научной и литературной терминологии, превосходство мужчин в интеллектуальной и разного рода активной деятельности, а также пассивную и вторичную роль женщин в отношениях двух полов. Были ли эти выступления связаны с опасениями установления господства женщин, о котором говорилось в произведениях шведского драматурга Стриндберга и в работе «Пол и характер» (1903 год), написанной неуравновешенным молодым австрийцем Отто Вейнингером и выдержавшей 25 изданий за 22 года, — это уже другой вопрос. Беспрепятственно цитируемое высказывание Ницше насчет того, что мужчина, подходя к женщине, должен держать в руке хлыст («Так говорил Заратустра», 1883 г.), является не более пристрастным, чем похвалы в адрес женщин, расточавшиеся их почитателем Карлом Краусом, современником Вейнингера<sup>14\*</sup>. Если согласиться с высказыванием Крауса о том, что «женщины, в отличие от мужчин, не могут извлекать пользу из своих даров»<sup>15\*</sup>, или с утверждением психиатра Мебиуса о том, что «культурный человек отчужден от природы» и нуждается в женщине, поведение которой отличается естественностью, для уравновешивания своих устремлений, то придется признать (согласившись с Мебиусом), что для женщин высшее образование вредно и что его система подлежит уничтожению; либо что оно будет им недоступно (согласно Краусу). Обе позиции во многом сходны. Они содержат новое и характерное утверждение о том, что женщиной в ее поступках руководит мощный эротический интерес: так, по Краусу, именно «чувственность женщин является источником, к которому муж-

чина припадает для обновления своей интеллектуальности». Самое изощренное и свободное толкование женской сексуальности прозвучало в конце XIX века из Вены, этой лаборатории современной психологии. Портрет венских дам того времени представил Климт: они, по его словам (как и женщины вообще), представляют собой людей, отягощенных мощной общей эротической озабоченностью, а не сексуальными мечтами о конкретных мужчинах. Подобные высказывания отражали, с определенной долей вероятности, какие-то реальные особенности нравов среднего и высшего классов империи Габсбургов того периода.

Третьим признаком изменения положения женщин было заметное увеличение внимания общества к женщинам как к социальной группе, имеющей особые личные интересы и цели. Первыми, кто почуял новые возможности, связанные с формированием чисто женского потребительского рынка, были, конечно, всякого рода бизнесмены; в ежедневных изданиях появились разделы и целые страницы, предназначенные для женщин нижнего слоя среднего класса, и стали выходить специальные периодические издания для женщин; при этом, даже с точки зрения рынка, женщины представляли общественную ценность не только как покупатели, но и как создатели продукции, как творцы. Например, устроители крупной англо-французской международной выставки 1908 года, следуя духу времени, построили первый олимпийский стадион (созданный частными фирмами) и обеспечили рекламу товаров, воспользовавшись юбилеем империи; но центральное место занял Дворец достижений женщин, содержащий историческую экспозицию, посвященную выдающимся женщинам, умершим до 1900-х годов и происходившим из королевских и аристократических семейств и из простого народа. Там были представлены портретные зарисовки королевы Виктории в юности; рукопись романа «Джен Эйр»; экипаж Флоренс Найтингейл, в котором она ездила по Крыму, а также шитье, вышивки, художественные и ремесленные поделки, книжные иллюстрации, фотографии и т. п. (Характерным было, однако, то, что «женщины-художницы предпочитали выставлять свои работы во Дворце искусств». При этом Женский промышленный совет жаловался газете «Таймс» на невыносимые условия работы тысячи с лиш-

ним женщин, обслуживавших выставку.)<sup>16\*</sup> Нельзя забывать и о появлении женщин, добившихся выдающихся личных результатов в разного рода соревновательной деятельности, ярким примером которой был тот же спорт. В наше время трудно оценить, каким революционным новшеством было решение (принятое в 1880-х годах) о выступлениях женщин в одиночном разряде Уимблдонского теннисного турнира (это произошло через 6 лет после начала выступлений мужчин-одиночек); тогда же женщины-теннисистки начали выступать и в национальных чемпионатах США и Франции. Ведь еще за 20 лет до этого было просто невозможно представить, что респектабельные (замужние?) дамы могут выступить перед публикой в таком виде, оставив дома свои семьи и мужей.

### III

Вполне понятно, что можно достаточно легко восстановить документально историю сознательной коллективной борьбы за эмансипацию и описать личности женщин, успешно освоивших те области жизни, которые считались мужскими. Они происходили из среднего и высшего класса; их было немного; но их деятельность была хорошо известна, описана и даже отражена в документах, потому что их немногочисленность, их усилия, а иногда и сам факт их деятельности вызывали сопротивление и споры. Яркая жизнь этого меньшинства заслоняла исторические перемены в общественном положении многих женщин, которые историки могут оценить лишь косвенно. Так что у нас нет возможности дать полное описание развития сознательного движения за эмансипацию, поскольку все внимание очевидцев было приковано к его боевым активисткам и агитаторшам. Важный вклад в борьбу, особенно за пределами Британии, Америки и, пожалуй, Скандинавии и Нидерландов, вносили не чисто феминистские движения, а те, для которых освобождение женщин было только частью широкой программы всеобщей эмансипации, т. е. рабочее и социалистические движения. Тем не менее нас интересуют именно феминистки, о которых надо рассказать здесь хотя бы кратко.

Как уже говорилось, собственно феминистские движения были небольшими: во многих странах континентальной Европы их организации насчитывали по несколько сот, в крайнем случае — одну-две тысячи человек. Их участницы были почти сплошь из среднего класса, сознавали свою принадлежность к буржуазии и провозглашали верность буржуазному либерализму, который, по их мнению, был идеологией не только мужчин, но и женщин; и это придавало им достаточно сил для политических действий. Надо сказать, что общественные слои, не относившиеся к процветавшей и образованной буржуазии, не проявляли большого пыла по поводу требований права голоса для женщин, доступа их к высшему образованию, права на работу и на получение престижных профессий и в пользу юридического равноправия с мужчинами (особенно в области прав на собственность) — ведь существовали и более насущные проблемы. Важно и то, что женщины среднего класса (по крайней мере, в Европе) имели достаточно свободного времени для ведения общественно-политической деятельности, так как бремя домашнего труда лежало на плечах другой, гораздо более многочисленной группы женщин — их слуганок.

Западный феминизм среднего класса общества был ограничен не только социальными и экономическими, но и культурными рамками. Дело в том, что эмансипация, составлявшая цель этого движения, была направлена на то, чтобы общество относилось к женщинам (в юридическом и политическом смысле) так же, как к мужчинам; чтобы женщина могла принимать участие в делах общества как личность, независимо от особенностей своего пола — но осуществление таких требований привело бы к перестройке всей общественной жизни, вопреки традиционным представлениям о «месте женщины». Один пример: мужчины в Бенгалии, воспринявшие идеи эмансипации, желая показать свою приверженность западным обычаям, захотели избавить своих жен от изоляции и «ввести их в общество»; но это неожиданно вызвало негодование всего «женского племени», не желавшего расставаться со своим собственным, пусть подчиненным, но зато гарантированным и автономным местом в домашнем хозяйстве<sup>17\*</sup>. В обществе существовала четко очерченная сфера «женских дел»,

как в области домашнего хозяйства, так и в социальных отношениях; поэтому и прогрессивно настроенные мужчины могли продолжать удерживать женщин на второстепенных ролях; так было всегда и продолжало повторяться по мере ослабления традиционных социальных структур.

Нелишне напомнить, что в пределах указанной «сферы деятельности» женщины располагали немалыми и достаточно важными индивидуальными и коллективными возможностями: например, они формировали и закрепляли в общественном сознании язык, представления о культурных и социальных ценностях; они же, в основном, создавали «общественное мнение»; они были признанными инициаторами определенных общественных акций (вроде выступлений в защиту «нравственной экономики»); и наконец (что немаловажно), они не только умели манипулировать своими мужьями, но и пользовались (в определенных ситуациях и по определенным поводам) неслучайным уважением и почитанием со стороны мужчин. Власть мужчин над женщинами была абсолютной лишь теоретически, но на практике она вовсе не была произвольной и неограниченной, подобно тому как власть монарха над своими подданными, которыми он управлял «по праву, данному ему Богом», не являлась неограниченным деспотизмом. Это замечание не направлено ни на оправдание монархии, ни в защиту мужчин; оно лишь помогает понять, почему многие женщины, желая лучшей участи, продолжали от поколения к поколению поддерживать «работу системы» и относились довольно безразлично к требованиям либерального среднего класса, не обещавшим немедленной практической пользы. Например, француженки (из либеральной буржуазии, среднего класса и из мелкой буржуазии) — женщины далеко не глупые и не склонные к пассивному терпению, не спешили откликнуться на призывы суффражисток и так и не оказали им массовой поддержки.

Но времена менялись, а подчиненность женщин оставалась всеобщей и при этом открыто, даже с гордостью, подчеркивалась мужчинами, что создавало благоприятные возможности для движений, требовавших эмансипации. Однако массовую поддержку женщин того времени получили не феминистские движения, а движения, требовавшие общей эмансипации человечества,



и в ее составе — эмансипации женщин. Успех в обществе имел призыв новых революционных и социалистических движений. Они провозгласили эмансипацию женщин необходимым и важным делом; не зря работа лидера СДПГ Августа Бебеля, содержащая самое известное описание социализма, называлась: «Женщина и социализм». Социалистические движения обещали всем женщинам (кроме деклассированных и кроме самых избранных представительниц буржуазной элиты) самые благоприятные возможности для развития своей личности и талантов. Более того, они давали надежду на полное преобразование общества, которое, как понимали реалистически мыслявшие женщины, руководствовалось устаревшими принципами отношения полов, подлежащими изменению. (Это, конечно, не значит, что женщины желали преобразования общества путем социальной революции, к которой стремились социалистические и анархистские движения.)

Фактически женщины Европы должны были сделать выбор не между феминизмом и движениями смешанного характера, а между социализмом и церковью (прежде всего — Католической церковью). В тот период церковь предприняла ряд мощных оборонительных политических кампаний, стремясь нейтрализовать идею прогресса, олицетворением которой был весь XIX век; в соответствии с этим она выступила на защиту традиционных прав женщин; тем более, что женщины составляли самую послушную часть ее паствы и самую верную часть ее кадров, поскольку к концу XIX века существовало намного больше женщин, профессией которых было служение церкви, чем в любые годы после Средневековья. Наверное, не было случайностью и то, что самыми известными католическими святыми второй половины XIX века были женщины: Святая Бернадетта из Лурда и Святая Тереза из Лизье (обе были канонизированы в самом начале XX века); тогда же Католическая церковь особенно поощряла культ Девы Марии. В католических странах именно церковь давала женщинам самую надежную защиту от притеснений со стороны мужей. Поэтому многие антиклерикальные движения (во Франции, в Италии) имели и антифеминистскую окраску. Со своей стороны, церковь поддерживала и поощряла женщин, видя в них

набожных сторонниц традиционной системы общественной субординации и призывая их к осуждению эмансипации, как выдумки безбожников-социалистов.

Женщины, выбравшие орудием защиты своих прав религию, намного превосходили количеством тех, которые надеялись на эмансипацию. Действительно, социалистические движения привлекли в свои ряды только авангард женских масс, представленный самыми способными женщинами из среднего и высшего классов; но широкого наплыва женщин в рабочие и социалистические партии не отмечалось до самого 1905 года. Так, Рабочая партия Франции имела в своем составе всего 2—3 % женщин (т. е. не более 50 человек в некоторые годы)<sup>18\*</sup> В других случаях их было больше (как в Германии после 1905 года), но это были жены, дочери и даже (как в известном романе Горького) матери мужчин-социалистов. Положение изменилось только позже, уже в XX веке: например, Австрийская Социал-Демократическая партия имела в своих рядах 30 % женщин (в середине 1920-х годов), в Лейбористской партии Британии женщины составляли около 40 % от общей численности индивидуальных членов (в 1930-х годах)<sup>19\*</sup> Мало женщин было и в профсоюзах: в 1890-х годах во всех странах (кроме Британии) количество женщин — членов профсоюза было незначительным, а в 1900-х годах не превышало 10 % от общей численности. (В 1913 г. количество женщин — членов профсоюза в разных странах было следующим<sup>20\*</sup>: Великобритания — 10,5%; Германия — 9%; Бельгия — 8,4% (1923 г); Швеция — 5%; Швейцария — 11%; Финляндия — 12,3%.) Однако, поскольку в большинстве стран женщины не имели права голоса, то нет возможности оценить их политические симпатии, и дальнейшие рассуждения на эту тему могут носить лишь весьма приблизительный характер.

Итак, большинство женщин оставалось за рамками движений, выступавших за эмансипацию. Более того, даже многие из тех, чья жизнь, карьера и взгляды подтверждали необходимость разрушения традиционной клетки — «сферы женской деятельности», не проявляли желания поддержать ортодоксальные кампании феминисток. В начале периода борьбы за эмансипацию выдвинулось немало выдающихся женщин, но некоторые, наиболее

проницательные из них (например, Роза Люксембург, Беатрис Вэбб) не видели смысла в том, чтобы отдавать свой талант на пользу только одного какого-то пола. К тому же женщинам стало легче получить общественное признание: с 1891 года британский справочник «Люди нашего времени» стал называться «Мужчины и женщины нашего времени»; получила общественное признание деятельность, направленная на решение проблем женщин, и вообще вопросов, затрагивавших их интересы (например, проблем укрепления здоровья детей). Все же путь женщины в мир, где действовали и распоряжались мужчины, оставался тернистым; успех давался ценой больших жертв, и количество добившихся успеха было небольшим.

Гораздо больше женщин продолжали заниматься делами, не противоречившими традиционным представлениям о женственности: выступали на сцене, писали книги (особенно этим отличались замужние женщины среднего класса); были и такие, как Колетта (1873—1954) во Франции, которые преуспели и в литературе, и на сцене. Большинство женщин, отмеченных в британском справочнике как «выдающиеся женщины нашего времени» за 1895 год, были писательницами (48) или артистками (42)<sup>21\*</sup>. Нашлась и женщина, сумевшая получить Нобелевскую премию по литературе — Селма Лагерлеф из Швеции (в 1909 г.). Открылись новые возможности для профессиональной деятельности: в журналистике, в образовании — в связи с крупным ростом количества средних школ и высших учебных заведений для девушек. Другой доступной и перспективной областью стала общественная и политическая деятельность в рядах левых; в связи с этим 30% «выдающихся женщин Британии» за 1895 год составляли женщины, перечисленные в справочнике под заголовком: «Реформы, филантропия и т. п. деятельность». Социалистическая и революционная деятельность открывала женщинам действительно широкие возможности, которых они не находили в других областях; это подтверждается примером многих женщин из России (действовавших и в других странах): имена Розы Люксембург, Веры Засулич, Александры Коллонтай, Анны Кулешовой, Анжелики Балабановой, Эммы Гольдман вошли в историю, как и имена Беатрис Вэбб (из Британии) и Генриетты Роланд-Хольст (из Нидерландов).

В этом отношении от социалистов отличались консервативные политики, которые в Британии (как нигде больше) встречали полную лояльность со стороны аристократических леди-феминисток, но сами не предлагали им возможностей для сотрудничества; оставалась в стороне от женских проблем и Либеральная партия, состоявшая в то время в основном из мужчин. (Интересные данные, касающиеся социального состава движения феминисток, содержит справочник «Женщины года в Англии» за 1905 год, издававшийся именно этим движением. В нем указаны имена 158 титулованных дам, среди которых были: герцогини, маркизы, графини и виконтессы (таких было 30). В справочник вошли имена 25 % всех герцогинь Британии того времени.<sup>22\*</sup>) Несмотря на сопротивление консервативных сил, женщины умели достаточно легко добиваться успехов в общественной деятельности, что подтвердило присуждение одной из них — Берте фон Саттнер, Нобелевской премии мира за 1905 год. Особенно трудная задача стояла перед женщинами, осмелившимися вторгнуться в область чисто мужских профессий, где они, преодолевая упорное сопротивление официальных организаций и неофициальных кругов, сумели захватить важные плацдармы и быстро расширяли их: например, в Англии и в Уэльсе в 1881 г. было 20 женщин-врачей; в 1901 г. — 212; а в 1911 г. — 447. Впечатляют достижения Марии Склодовской-Кюри (еще одной замечательной женщины из царской России), получившей 2 Нобелевских премии за успехи в науке (в 1903 и в 1911 гг.). Эти блестящие примеры не отражают в полной мере размеров вторжения женщин в мир мужчин, которое принесло внушительные победы, особенно если учесть малочисленность наступавших: достаточно вспомнить роль, которую сыграла горстка эмансипированных британских женщин в возрождении лейбористского движения после 1888 года: Анни Бесант и Элеонор Маркс и еще группа пропагандисток, разъезжавших по стране (Энид Стэйси, Кэтрин Конвэй, Кэролайн Мартин), много сделали для формирования Независимой Лейбористской партии Британии. Все же, несмотря на то, что все они боролись за права женщин и оказали сильную поддержку феминистскому движению (особенно в Британии и в США), они не смогли привлечь к нему широкого общественного внимания.

Участницы движения занимались, прежде всего, политической агитацией, поскольку обеспечение прав женщин, например, права голоса, требовало политических и юридических изменений существовавшей системы. Однако они не встречали желаемой поддержки со стороны политических партий: консервативные и конфессиональные партии не сочувствовали их целям; с либеральными и радикальными партиями отношения иногда налаживались с трудом, особенно в Британии, где именно правительства либералов становились на пути сильного движения суфражисток в 1906—1914 гг., несмотря на то, что все идеологические симпатии феминизма были обращены именно к либералам и радикалам. Иногда (в Чехии, в Финляндии) феминистки были связаны с оппозиционными движениями, боровшимися за национальное освобождение. Рабочие и социалистические движения поручали женщинам, состоявшим в их рядах, работу, связанную в первую очередь именно с решением проблем освобождения и равноправия женщин, и многие социалистки-феминистки воспользовались этой возможностью, чтобы бороться против эксплуатации женщин из рабочего класса, положение которых требовало немедленных и решительных действий; а также чтобы обеспечить права и интересы женщин внутри самих социалистических движений, которые хотя и провозглашали всеобщее равенство, но не достигли его в своей среде. Дело в том, что очень велика была разница между небольшим авангардом прогрессивных или революционных активистов — и массой участников рабочего движения, состоявшей, в основном, из мужчин (поскольку организованный класс наемных рабочих был почти сплошь мужским по своему составу. Рабочие-мужчины придерживались по отношению к женщинам традиционных взглядов и к тому же видели в них конкуренток за рабочие места (поскольку труд женщин был низкооплачиваемым); поэтому профсоюзы (состоявшие из мужчин) старались не допускать женщин в ряды рабочего класса. Все это вело к тому, что женщины соглашались на самую низкую оплату своего труда и на самую невыгодную работу. Только благодаря созданию и увеличению в числе женских организаций и комитетов эти несправедливости стали сглаживаться, а противоречия — регулироваться (хотя бы до некоторой степени), особенно после 1905 года.

Самой главной политической задачей в программе феминизма было обеспечение права голоса для женщин и их участия в парламентских выборах. До 1914 года этот вопрос не был решен в общегосударственном масштабе почти нигде (кроме Австралии, Финляндии и Норвегии; также в некоторых штатах США женщины имели право голоса и участия, с некоторыми ограничениями, в правительстве штата). Борьба за право голоса не относилась к первоочередным проблемам, волновавшим женщин, и никак не могла собрать их под свои знамена в массовом количестве; а потому этот вопрос и не играл большой роли в государственной политике большинства стран, кроме США и Британии, где его решения добивались многие женщины среднего и высшего классов, многие политические лидеры и активисты социалистических движений. Порой агитация принимала драматические формы, из-за тактики «прямых действий», применявшейся суфражистками из британского «Союза женщин за социальные и политические права» в 1906—1914 гг. Однако не суфражистские, а другие политические организации женщин преуспели в проведении широких акций, выходявших за рамки чисто женских проблем: таких как кампания против торговли «белыми рабами», завершившаяся принятием в США в 1910 г. специального «закона Манна»; а также выступления за мир и кампании по борьбе против алкоголизма. Отстоять мир, к сожалению, не удалось, но зато антиалкогольная кампания завершилась решительным успехом и увенчалась принятием восемнадцатой поправки к конституции США, провозгласившей запрет на спиртное (знаменитая «Прогибишен»<sup>36</sup>, вошедшая в историю США). Однако за пределами США, Британии, Скандинавии и Нидерландов политическая деятельность женщин имела незначительные масштабы.

## IV

Движение феминизма привлекло общее внимание и к другой проблеме — сексуальному освобождению женщин. Это был большой вопрос, и женщины, публично выступавшие за введение контроля над рождаемостью, пострадали за свою деятельность, несмотря на важное общественное значение этой проблемы: напри-

мер, Анни Бесант по этой причине была лишена родительских прав в 1877 году; позже Маргарет Сангер и Мэри Стоупс тоже имели неприятности. Беда была еще в том, что эта проблема не вписывалась в программу ни одного политического движения. Высшее общество (такое, как описал в своем великом романе Марсель Пруст<sup>37</sup>) — эти независимые и богатые парижанки, вроде Натали Барни (грешившие и лесбиянством), принимали и с легкостью использовали все виды сексуальной свободы, но при условии соблюдения внешних приличий. При этом (как свидетельствовал Пруст) они не связывали обретение сексуального освобождения с возможностями достижения личного или общественного процветания или преобразования общества и отнюдь не приветствовали возможность такого преобразования (в отличие от «богеми», состоявшей из писателей и артистов, т. е. людей гораздо более низкого общественного положения, видевших в сексуальной свободе путь к освобождению общества). В противоположность буржуазии, социалисты и революционеры считали, что женщина должна иметь право свободного выбора форм сексуального поведения (как проповедовалось в утопиях Фурье, которыми восхищались Энгельс и Бебель); и такие взгляды привлекали на их сторону всех противников условностей: утопистов, богему, разношерстных пропагандистов «контркультуры» и просто любителей переспать с кем угодно и когда угодно. В результате, например, в Британии в 1880-х годах в орбиту не слишком значительного социалистического движения оказались вовлеченными: гомосексуалисты, вроде Эдварда Карпентера и Оскара Уайлда, борцы за умеренность в сексе вроде Хэвлока Эллиса; свободные женщины разных наклонностей, такие как Анни Бесант и Олив Шрейнер. В этой среде свободное сожителство (без всяких брачных свидетельств) не только одобрялось, но практически считалось обязательным, как подтверждение антиклерикальных взглядов. Однако мнения в среде социалистов по вопросу о том, что означает «свободная любовь» и насколько важное место она должна занимать в программе движения, вскоре разделились: это подтвердили столкновения Ленина с женщинами — товарищами по партии, которые слишком увлеклись решением вопросов сексуальных отношений. Существовали и сторон-

ники неограниченной свободы сексуальных инстинктов, такие как психиатр Отто Гросс (1877—1920) — любитель наркотиков и почитатель Фрейда, известный в интеллигентских и артистических кругах Гейдельберга, Мюнхена, Берлина и Праги, соблазнивший множество женщин, среди которых были известные личности и жены известных людей, симпатизировавший и Ницше и Марксу. Анархисты и богема превозносили его до небес; другие осуждали, как врага нравственности; сам он приветствовал все, что помогало разрушению существовавшего строя, но оставался представителем элиты и не вписывался ни в какие политические рамки. Короче говоря, программа сексуального освобождения поднимала много вопросов, но давала мало решений; ее мобилизующее политическое значение было небольшим (если не принимать в расчет круги богемы и «авангарда»).

Большое внимание привлекал к себе вопрос о том, каким же станет положение женщин в будущем обществе равных прав, равных возможностей и всеобщего уважения к личности. Ключевое значение имела здесь судьба семьи, зависевшей от женщины-матери. Женщины из высших и средних классов (особенно в Британии) легко соглашались расстаться с бременем домашних забот, потому что у них было много слуг, а детей они отсылали с раннего возраста в школы-пансионаты. Женщины Америки (где ощущалась нехватка слуг) выступили за другое решение: полное преобразование и техническое оснащение домашнего хозяйства, обеспечивающее экономию времени и труда, — и сумели добиться успехов на этом пути. В 1912 г. Кристин Федерик поместила в журнале «Дамы и домашний уют» программу научной организации домашнего труда (см. гл. 2). Но уже с 1880-х годов постепенно стали входить в обиход бытовые газовые плиты; а в предвоенные годы распространились и электрические плиты. В 1903 г. впервые появились пылесосы (раньше и не слышали такого слова), а в 1909 г. на суд скептиков был представлен электрический утюг, ставший популярным позже, после войны. Появились механизированные прачечные (пока — вне дома), и выпуск стиральных машин для них вырос в США в 1880—1910 гг. в 5 раз<sup>23\*</sup> Социалисты и анархисты, одинаково горячо приветствовавшие технологические утопии, одобряли меры коллективного обслужива-



ния: такие как детские сады, предприятия общественного питания, школьные завтраки; все это должно было помочь женщинам совмещать выполнение семейных дел с работой и другой деятельностью; но полного решения проблемы так и не было.

Возникал и такой вопрос: не приведет ли эмансипация женщин к замене семьи — «ячейки общества» какой-то другой группой людей? Наука этнография, переживавшая в ту пору небывалый расцвет, показала, что современная семья — далеко не единственный тип организации отношений людей разного пола, известный истории; в этой области появились и свои фундаментальные труды: «История брачного союза у людей» финского антрополога Вестермарка, выдержавшая к 1921 г. 5 изданий и переведенная на французский, немецкий, шведский, итальянский, испанский и японский языки; и работа Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884 г.). содержащая революционные выводы. Однако, несмотря на все революционно-утопические эксперименты с новыми формами «коммун» и «общин» (из которых самыми жизнеспособными оказались «кибуцы» еврейских поселенцев в Палестине), можно спокойно утверждать, что большинство социалистических лидеров, как и подавляющее большинство их сторонников, не говоря уже о прочих, не столь «передовых» личностях», представляли себе будущее общество только основанным на семье, как на его ячейке (даже если семья подвергнется каким-то преобразованиям). Только по вопросу о том, что должно быть для женщины самым главным — ее отношения с мужем, домашнее хозяйство или материнские обязанности — мнения сильно разошлись. Как показал Бернард Шоу в пьесе об эмансипированной женщине-корреспондентке, преданной делу освобождения женщин: эмансипация женщин — это ведь главным образом освобождение самих женщин — или все-таки кого-то другого<sup>24\*</sup>? Левые теоретики в общем склонялись к тому, что эмансипация женщины будет осуществляться путем востребования обществом ее способностей и развития ее интересов, которые они призывали поощрять; хотя умеренные социалисты (вроде «ревизионистов» в Германии) выступали в защиту домашнего очага и семейных связей. Как бы то ни было, но проблему сочетания эмансипации с материнством оказалось не так-то легко решить.

Многие эмансипированные женщины из среднего класса (возможно, даже большинство таких), избравшие в то время своей целью карьеру в мире мужчин, добивались успеха ценой отказа от детей, замужества, а часто (как в Британии) — и путем фактического celibата. Это было не просто проявлением инстинктивной враждебности к мужчинам, вызванной чувством женского превосходства над существами «грубого пола», что было свойственно некоторым ретивым суфражисткам из англосаксонских стран. Не было это и следствием демографической ситуации, когда избыток женщин (например, в Британии их было на 1,3 млн больше, чем мужчин, в 1911 г.) стал причиной невозможности замужества для многих из них. Для большинства работавших женщин замужество было желанной перспективой, позволявшей оставить работу школьной учительницы или конторской служащей чуть ли не в день свадьбы, даже не дожидаясь удобного момента. Причина же одиночества работавших женщин была связана с реальными трудностями сочетания двух дел: работы и семьи, выполнять которые в то время можно было, только получая помощь со стороны или имея другие дополнительные ресурсы. Если же помощи не было, то приходилось поступать так, как, например, сделала рабочая-феминистка Амалия Рибей-Сейдл (1876—1952), которая, чтобы родить и растить трех детей (вместе с мужем), оставила на пять лет (1895—1900) свой многолетний пост активистки Австрийской Социалистической партии; или как Берта Филпотс-Ньюволл (1877—1932), выдающийся историк (незаслуженно забытая в наше время), которая уволилась из колледжа «Гиртон» в 1925 году, чтобы ухаживать за отцом (что по современным меркам кажется необычным): «Я почувствовала, что он во мне нуждается, и я решила уйти»<sup>25\*, 26\*</sup>. Так что карьера стоила немалых жертв, и женщины, выбиравшие этот путь, подобно, например, Розе Люксембург, прекрасно понимали, какую цену им придется заплатить за свой выбор, и все же шли на это<sup>27\*</sup>.

Как же изменилось положение женщин за 50 лет, окончившихся в 1914 году? Мы будем говорить не о количественной, а о качественной оценке перемен в жизни многих (возможно, большинства) женщин, живших в городах индустриальных западных стран, для которых перемены были существенными (или даже

драматическими, как для женщин среднего класса, составлявших меньшинство). (Напомним еще раз, что эти женщины, все вместе, составляли только небольшую долю всего женского населения.) Уместно воспользоваться простым и ясным свидетельством одной из участниц движения за равноправие женщин, Мэри Уоллстонкрафт, подтвердившей, что за эти годы произошел настоящий прорыв в деле доступа женщин к профессиям и рабочим местам, бывшим раньше монополией мужчин, существовавшей иногда даже вопреки здравому смыслу и только в угоду буржуазным условностям, когда, например, гинеколог-мужчина доказывал особую непригодность женщин к работе врача по женским болезням. К 1914 году немногим женщинам удалось преодолеть этот барьер, но в общем путь уже существовал и был доступен. Женщины добились успехов в своей долгой борьбе за гражданские права, общим символом которых было право голоса, и, несмотря на все трудности, уже приблизились к полной победе в этой области. Вопреки всем предсказаниям скептиков, звучавшим до 1914 года, уже менее чем через 10 лет женщины впервые приняли участие в выборах общегосударственного масштаба в Австрии, Чехословакии, Дании, Германии, Ирландии, в Нидерландах, Норвегии, Польше, России, Швеции, Великобритании и в США. В Европе того времени женщины не получили право голоса только в странах латинской культуры, включая Францию; а также в Венгрии; в большинстве отсталых стран Восточной и Юго-Восточной Европы и в Швейцарии. Совершенно очевидно, что эта замечательная победа была достигнута в результате борьбы, происходившей в конце XIX века. Что же касается вопроса равноправия с мужчинами (в юридическом отношении), то здесь, несмотря на ликвидацию самых вопиющих несправедливостей, общий итог был не таким благоприятным для женщин. Так же не было достигнуто особых успехов и в вопросе о равной оплате за равный труд (по сравнению с мужчинами). За очень редкими исключениями, женщины получали намного меньше мужчин за выполнение одинаковой работы, а сугубо «женские» работы вообще оплачивались плохо.

Все же можно сказать, что столетие спустя после времен Наполеона права мужчин, завоеванные в ходе Французской рево-

люции, распространились и на женщин. Женщины вот-вот должны были получить равные гражданские права с мужчинами; перед ними (хотя и с трудом, и не в полной мере) открылись возможности получения профессии и проявления личных способностей. Конечно, в ретроспективе, с позиций нашего времени, видна ограниченность этих успехов, как это было и с правами мужчин в их первоначальном виде. Успехи обнадеживали, но не удовлетворяли большинство женщин, остававшихся в зависимости от бедности и связанных семей.

Хотя для женщин процветающего среднего класса (замужних и незамужних) прогресс эмансипации был неоспорим (в отличие от женщин из мелкой буржуазии, новой и старой, и из нижнего слоя среднего класса), но он принес с собой и одну важную проблему. Это была проблема сохранения женственности в мире, устроенном для мужчин; женственности, которая была не просто вынужденной ролью, навязанной им мужчинами, а частью их самих, и была обращена в сферу семьи, домашнего хозяйства и личных связей — и вот пришла эмансипация, открывавшая выход из этой сферы, — но куда? Или, говоря иначе: как могли женщины, оставаясь верными своей природе, работать и соревноваться в обществе, приспособленном для мужчин, т. е. для людей другого пола?

На этот вопрос, пожалуй, нет общего и постоянного ответа, поскольку он по-новому встает перед каждым поколением, обращающимся к проблеме положения женщин в обществе. Так что ответ (или набор ответов) может быть удовлетворительным только в конкретных исторических условиях. Теперь можно поинтересоваться, каким был ответ первых поколений западных женщин, принадлежавших к городской цивилизации и вступивших в эру эмансипации. Здесь нам многое известно о жизни передового отряда женщин, проявивших себя в политике и в культуре; но вот об остальных, не проявивших себя и не прославившихся, мы знаем мало. Известно, например, что женская мода, распространившаяся в эмансипированных кругах общества после первой мировой войны, усвоившая идеи, рожденные в «авангардной» среде в период до 1914 года (т. е. в среде артистической богемы больших городов), содержала два разных элемента. Первый со-

стоял в том, что послевоенное «поколение джаза» демонстративно использовало косметику, которая прежде была отличительной чертой женщин, служивших для удовлетворения и развлечения мужчин, т. е. проституток и прочих работниц сферы развлечений. Наряду с этим девушки и женщины стали смело выставлять напоказ разные части тела, прежде всего — ноги, которые раньше, согласно правилам женской скромности XIX века, следовало наглухо закрывать от похотливых взглядов мужчин.

С другой стороны, послевоенная мода делала все возможное, чтобы свести до минимума внешние проявления вторичных половых признаков женщин, отличавших их от мужчин: волосы укорачивали или коротко подстригали (раньше они были длинными!); грудь старались сделать плоской — насколько это было возможно физически. Это были черты свободы — как и короткие юбки и отказ от корсетов, и новые раскованные движения — в них были не только признаки свободы, но и призыв к ней. Представители старшего поколения — отцы, мужья и другие хранители традиций и патриархальной власти — уже ничего не могли с этим поделать! Что же все это означало? Возможно, это были проявления новых настроений женщин, желавших сочетать в одежде и во внешности требования удобства, раскованности и элегантности, подобные тем, с которыми выступила в XX веке Коко Шанель, предложившая свою знаменитую «очень короткую черную юбочку», имевшую оглушительный успех. Но об этом можно только гадать. Здесь ясно одно: эмансипированная мода содержала разнородные элементы и признаки, имевшие иногда прямо противоположное назначение.

Подобно многим другим явлениям послевоенного времени, мода периода, наступившего после 1918 года, отображавшая освобождение женщин, зародилась во времена предвоенного авангарда. Если говорить более точно, то она расцвела в больших городах, в кварталах богемы, таких как Гринвич Вилледж, Монмартр и Монпарнас, Челси, Швабинг. Идеи буржуазного общества и его идеологические кризисы и противоречия находили в искусстве характерное, иногда забавное, а иногда озадачивающее выражение.

# ПРЕОБРАЖЕННОЕ ИСКУССТВО

*Они (французские политические деятели левых) были очень неосведомлены относительно искусства... но все они более или менее претендовали на некоторое его знание, и часто они действительно любили его... Один из них выкапывал претензию быть драматургом; другой — играть на скрипке; кто-то быть пылким поклонником Вагнера. И все они собирали картины импрессионистов, читали декадентские книги и гордились пристрастием к некоему ультрааристократическому искусству.*

Ромен Роллан, 1915 г.<sup>1\*</sup>

*Это обычное дело среди таких людей, с вращенным интеллектом, чувствительными нервами и плохим пищеварением, что мы находим пророков и учеников евангелия Пессимизма... Следовательно Пессимизм — это не кредо, которое, вероятно, оказывает большое влияние на сильную, практичную англосаксонскую расу, и мы можем только различать слабые следы его в тенденции несомненно весьма ограниченных клик так называемого Эстетизма восхищаться болезненными и самоуверенными идеалами, как в поэзии, так и в живописи.*

С. Лэнг, 1885 г.<sup>2\*</sup>

*Прошлое неизбежно находится в худшем положении по отношению к будущему. Именно таким мы желаем видеть его. Как могли бы мы признавать какое-либо достоинство в нашем наиболее опасном враге?.. Именно так мы отрицаем захватывающий блеск мертвых столетий, и так мы сотрудничаем с победоносной Механикой, которая держит опору мира в своей паутине скорости.*

Ф. Т. Маринетти, футурист, 1913 г.<sup>3\*</sup>

---

## I

Возможно, ничто не иллюстрирует кризис идентичности, через который буржуазное общество прошло в этот период, лучше, чем история искусств с 1870-х по 1914 год. Это была эра, когда и творческие искусства и публика по отношению к ним лишились

привычных ориентиров. Первые отреагировали на эту ситуацию бегством вперед в новшество и эксперимент, все более и более связанный с утопизмом или псевдотеорией. Последняя, если не измененная модой и обращением к снобизму, бормотала в свою защиту, что она «не знала об искусстве, но знала то, что ей нравится», или отступила в сферу «классических» трудов, чье превосходство гарантировалось освященной веками традицией. Все же сама концепция такого согласия была уязвима для критики. С шестнадцатого до конца девятнадцатого столетия около сотни древних скульптур воплощали то, что по всеобщему мнению должно было быть высшими достижениями искусства пластики, их имена и репродукции знакомы каждому образованному западному человеку: Лаокоон, Аполлон Бельведерский, Умирующий Гладиатор, Мальчик, удаляющий занозу, Плачущая Ниобея, и многие другие. Фактически все были забыты за время двух поколений после 1900 года, за исключением, возможно, Венеры Милосской, отобранной после открытия в начале девятнадцатого века консерватизмом властей Луврского музея в Париже, который сохранил свою популярность до сегодняшнего дня.

Кроме того, с конца девятнадцатого столетия традиционное царство высокой культуры было подорвано даже более значительным врагом: искусствами, апеллирующими к заурядным людям и (за небольшим исключением литературы) революционизированными комбинацией технологии и открытия массового рынка. Кино, наиболее экстраординарное новшество в этой области, вместе с джазом и его различными ответвлениями, еще не праздновало победу: но к 1914 г. оно было весьма значимым и готовым покорить земной шар.

Конечно, глупо преувеличивать расхождения между общественными и творческими художниками в высокой или буржуазной культуре в этот период. Во многих отношениях согласие между ними продолжало существовать, и труды людей, которые рассматривали себя новаторами и которые как таковые воспринимались с сопротивлением, находились в составе того, что было как «хорошим», так и «популярным» среди культурной публики, но также, в растворенной или отобранной форме, и среди более широких слоев населения. Принятый репертуар концертного зала

конца двадцатого столетия включает произведения композиторов этого периода, также как и «классиков» восемнадцатого и девятнадцатого столетий, которые образуют его главный запас: Малер, Рихард Штраус, Дебюсси, и различных личностей, в основном известных на национальном уровне (Эльгар, Воган Уильямс, Рeger, Сибелиус). Международный оперный репертуар по-прежнему был более широким (Пуччини, Штраус, Масканьи, Леонкавалло, Яначек, не говоря уже о Вагнере, чей триумф начинается за тридцать лет до 1914 г.). Фактически большая опера процветала чрезвычайно, и даже впитывала *avant garde* в угоду фешенебельной публике в форме русского балета. Великие имена того периода все еще легендарны: Карузо, Шаляпин, Мельба, Ножинский. «Легкая классика» или популярные оперетты, песни и короткие композиции были весьма популярны, как в Габсбургской оперетте (Легар, 1870—1948), так и в «музыкальной комедии». Репертуар оркестров Палм-Корта, эстрады и даже современной музыки свидетельствует о ее привлекательности.

«Серьезная» проза в литературе того времени нашла и удерживала свое место, хотя и не всегда свою современную популярность. Если репутация Томаса Гарди, Томаса Манна или Марселя Пруста (справедливо) выросла — большинство их трудов было издано после 1914 года, хотя романы Гарди появились главным образом между 1871 и 1897 годами, — то успехи Арнольда Беннета и Г. Дж. Уэллса, Романа Роллана и Роже Мартена дю Гара, Теодора Драйзера и Сельмы Лагерлеф были более спорными. Ибсен и Шоу, Чехов и (в своей собственной стране) Гауптман пережили начальный скандал, чтобы стать частью классического театра. Что касается этого, то революционеры визуальных искусств конца девятнадцатого века пришли, чтобы быть принятыми в двадцатом столетии скорее как «великими мастерами», чем как индикаторами современности своих поклонников.

Подлинная разделительная линия проходит через сам период. Это экспериментальный *avant garde* последних предвоенных лет, который, вне малого сообщества «передовых» — интеллектуалов, художников, критиков и модно-мыслящих людей — никогда не признавался подлинным, принимался среди широкой публики спонтанно. Они должны были утешать себя мыслью,



что за ними будущее, но для Шенберга будущее должно прийти не так как для Вагнера (хотя можно и поспорить, что оно пришло для Стравинского); для кубистов оно должно прийти не так как для Ван Гога. Утверждать это не значит судить о трудах, по-прежнему принижая таланты их создателей, которые могли быть чрезвычайно впечатлительными. Все еще трудно отрицать, что Пабло Пикассо (1881—1973), человеком необычайного гения и необъятной плодовитости, в основном скорее восхищаются как феноменом, чем (за исключением дюжины картин, в основном из его до-кубистского периода) за глубину впечатления, или даже нашего простого наслаждения, мастерством его произведений. Он вполне может быть первым художником среди равных талантов со времен Ренессанса, о которых это может быть сказано.

Поэтому бессмысленно рассматривать искусства этого периода, поскольку историк испытывает соблазн сделать это для первых лет девятнадцатого века, в рамках их достижений. Все же следует подчеркнуть, что они очень процветали. Явное увеличение в размере и богатстве городского среднего класса, способного уделять все больше своего внимания культуре, также как и заметное увеличение грамотных и испытывающих культурный голод нижних средних классов и групп рабочего класса, было бы достаточным подтверждением этому. Число театров в Германии между 1870 и 1896 годами увеличилось втрое, с двух сотен до шести<sup>4\*</sup> Это был период, когда в Англии начались проводиться «прогулочные концерты» (1895) (т. е. концерты в местах для прогулок публики — парки, набережные, и т. д.), когда новое «Общество Медичи» (1908) производило в массовом количестве дешевые репродукции великих мастеров живописи в целях распространения культуры, когда Хэвлок Эллис, лучше известный как сексолог, издавал недорогую серию «Русалка» елизаветинских и якобитских драматургов, когда такие серии, как «Мировая классика» и «Библиотека для каждого», доносили произведения мировой литературы до небогатых читателей. На вершине шкалы богатства, цены на произведения старых мастеров и другие символы больших денег, определяемые конкурентоспособной закупкой американскими мультимиллионерами, пользовавшимися советами дилеров и связанных с ними экспертов подобно Бернарду

Беренсону, и где и те и другие хорошо зарабатывали на этой торговле, достигали постоянного пика в реальные сроки. Культурные группы богатых, и иногда самых богатых людей, в подходящих областях, и хорошо финансируемые музеи, в основном Германии, закупали не только лучшее из старого, но также и лучшее из нового, включая произведения крайнего *avant gardes*, который оставался в живых экономически в основном благодаря патронажу горстки таких коллекционеров, как московские бизнесмены Морозов и Щукин. Менее культурные господа заказывали свои портреты, или, что еще чаще, это продельвали их жены, у Джона Сингера Сарджента или Болдини, и их дома строились модными архитекторами.

Таким образом, нет никакого сомнения, что публика для искусств, более богатая, более культурная и более демократичная, была восторженной и восприимчивой. Это был, в конце концов, период, когда активность культуры, являясь долгое время индикатором положения среди более богатых средних классов, нашла конкретные символы для выражения честолюбия и скромных материальных возможностей более широких слоев населения, как в случае с пианино, которое, став материально доступным с помощью платежа взносов в рассрочку, теперь проникло в гостиные клерков, хорошо оплачиваемых рабочих (по крайней мере в англосаксонских странах) и зажиточных крестьян, которые стремились продемонстрировать свою современность. Кроме того, культура представляла не только индивидуальные, но и коллективные устремления, и особенно сильно в новых массовых рабочих достижениях. Искусства также символизировали политические цели и достижения в век демократии, к материальной выгоде архитекторов, которые возводили гигантские памятники национальному самовосхвалению и имперской пропаганде, заполнившим новую Германскую империю и эдвардианскую Англию и Индию массами каменных строений, и скульпторов, которые снабжали этот золотой век того, что было названо «статуеманией»<sup>5\*</sup> предметами от гигантских (как в Германии и США) до скромных бюстов Марианны и памятников местного значения во французских сельских общинах.

Искусства не подлежат измерению в точных цифрах, ни одно

их достижение не является простой функцией расхода и спроса рынка. Все же нельзя отрицать, что в этот период было больше людей, пытающихся заработать на жизнь как творческие художники (или более заметная пропорция таких людей среди рабочих). Даже предполагалось, что различные движения, отколовшиеся от официальных художественных учреждений, контролировавших официальные общественные выставки (Новый английский клуб искусств, откровенно названные так «Расколы» Вены и Берлина, и т. д., преемники Французской выставки импрессионистов начала 1870-х годов), произошли главным образом из-за переполнения профессии и ее официальных институтов, которые естественно имели тенденцию доминировать с помощью более старых и признанных художников<sup>6\*</sup>. Может быть даже оспорено, что теперь стало легче чем когда-либо прежде зарабатывать на жизнь профессиональным авторам ввиду поразительного роста ежедневной и периодической прессы (включая иллюстрированные издания) и появления рекламной индустрии, а также потребительских товаров, разрабатываемых художниками-ремесленниками или другими знатоками с профессиональным положением. Реклама создала по крайней мере совершенно новую форму визуального искусства, которая пережила свой короткий золотой век в 1890-х годах: постер (афиша, плакат, эмблема). Без сомнения, это быстрое увеличение числа профессиональных авторов произвело большое количество «топорной работы», или было обижено как таковое своими ремесленниками от литературы и музыки, которые мечтали о симфониях, когда писали оперетты или песни-хиты, или подобно Джорджу Гиссингу, о больших романах и стихах, когда производили в большом числе обзоры и «очерки» или *фельетоны*. Но это была оплачиваемая работа, и она могла быть разумно оплаченной: честолюбивые женщины-журналистки, возможно, самая большая группа новых женщин-профессионалов, были уверены, что 150 фунтов в год могли быть заработаны работой только в австралийской прессе<sup>7\*</sup>.

Кроме того, никто не отрицает, что во время этого периода художественное творчество как таковое процветало весьма, и на более широкой области западной цивилизации, чем когда-либо прежде. В самом деле, теперь оно стало интернационализирован-

ным как никогда прежде, если мы опустим музыку, которая уже вошла в основной международный репертуар, главным образом австро-германского происхождения. Обогащение западных искусств благодаря экзотическим влияниям — из Японии с 1860-х годов, из Африки в начале 1900-х — уже упоминалось в связи с империализмом (см. выше). В народных искусствах влияние из Испании, России, Аргентины, Бразилии и прежде всего из Северной Америки распространилось по всему западному миру. Но культура в принятом элитном смысле слова была также заметно интернационализированна явной легкостью передвижения людей в пределах широкой культурной зоны. Любой человек не так много думает о фактической «натурализации» иностранцев, привлеченных престижем некоторых национальных культур, которые заставили греков (Мореас), американцев (Стюарт Мерилл, Фрэнсис Вьеле-Гриффин) и англичан (Оскар Уайлд), писать символистские сочинения на французском; проворных поляков (Иозеф Конрад) и американцев (Генри Джеймс, Эзра Паунд) утверждаться в Англии; и убедиться, что в Эколь де Пари в отношении художников французов было меньше, чем испанцев (Пикассо, Грис), итальянцев (Модильяни), русских (Шагал, Липшиц, Сутин), румын (Бранкузи), болгар (Паскин) и голландцев (Ван Донген). В известном смысле это был просто один аспект той экспансии интеллигенции, которая в этот период распространялась по городам земного шара в виде эмигрантов, препровождающих время путешественников, поселенцев и политических беглецов или через университеты и лаборатории, чтобы обогащать мировую политику и культуру\*. Каждый думает скорее о западных читателях, которые открыли русскую и скандинавскую литературу (в переводе) в 1880-х годах, центральноевропейцах, которые нашли вдохновение в английском движении искусства-и-ремесла, в русском балете, который покорила фешенебельную Европу до 1914 года. Высокая культура, начиная с 1880-х, опиралась на сочетание родного производства и импорта.

---

\* Роль таких эмигрантов из России в политике других стран знакома: Люксембург, Гельфанд-Парвью и Радек в Германии, Куличев и Балабанов в Италии, Раппопорт во Франции, Доброгеану-Герее в Румынии, Эмма Голдман в США.

Однако национальные культуры, по крайней мере в своих менее консервативных и обычных проявлениях, явно были в здоровом состоянии — если это подходящее слово для некоторых искусств и творческих талантов, которые в 1880-х и 1890-х гордились тем, что их рассматривали как «декадентские». Оценочные суждения в пределах этой неопределенной территории чрезвычайно трудны, ибо национальному чувству свойственно преувеличивать достоинства культурных достижений на своем собственном языке. Кроме того, как мы уже видели, теперь имелись процветающие письменные литературы на языках, понимаемых немногими иностранцами. Для подавляющего большинства нас величие прозы и особенно поэзии на гэльском, венгерском или финском должно оставаться вопросом веры, как величие поэзии Гете или Пушкина для тех, кто вовсе не знает немецкого или русского языков. Музыка более удачлива в этом отношении. В любом случае не было никаких имеющих силу критериев суждения, кроме, возможно, включения в признанный *avant garde*, для выделения некоей национальной фигуры из его или ее современников для международного признания. Был ли Рубен Дарио (1867—1916) лучшим поэтом, чем любой из его латиноамериканских современников? Он вполне мог быть им, но все мы можем быть уверены в том, что этот сын Никарагуа получил международное признание в испанском мире как влиятельный поэтический новатор. Эта трудность в установлении международных критериев оценочного суждения в литературе сделала выбор Нобелевской премии по литературе (учреждена в 1897 г.) предметом постоянного недовольства.

Расцвет культуры, возможно, был менее заметным в странах признанного престижа и ненарушенного достижения в высоких искусствах, хотя даже там каждый замечал оживление активности культуры в Третьей французской республике и в Германской империи после 1880-х (по сравнению с десятилетиями середины столетия) и рост новой листвы на бывших до сих пор голыми ветвях творческих искусств: драма и музыкальное сочинение в Англии, литература и живопись в Австрии. Но то, что особенно впечатляет, — это неоспоримое процветание искусств в малых или окраинных странах или регионах, не очень заметных до сих

пор или долго пребывавших в сонном состоянии: в Испании, Скандинавии или Богемии. Это весьма очевидно в международной моде на примере разных названий нового искусства (*Jugendstil*, *stile liberty*) последнего столетия. Его эпицентры находились не только в некоторых главных культурных столицах (Париж, Вена), но также, и фактически прежде всего, в более или менее периферийных: в Брюсселе и Барселоне, Глазго и Гельсингфорсе (Хельсинки). Бельгия, Каталония и Ирландия являются поразительными тому примерами.

Возможно, ни в какое другое время начиная с семнадцатого столетия остальной мир не испытывал потребности в проявлении такого пристального внимания к культуре южных Нидерландов, как в последние десятилетия девятнадцатого столетия. Это когда Метерлинк и Верхарн быстро стали главными именами в европейской литературе (один из них все еще знаком как автор *«Пеллеаса и Мелизанды»* Дебюсси), Джеймс Энсор стал известным именем в живописи, в то время как архитектор Хорта давал ход новому искусству, Ван де Вельде привнес открытый в Англии «модернизм» в немецкую архитектуру, а Константин Менье изобрел международный стереотип пролетария в скульптуре. Что касается Каталонии, или скорее Барселоны *модернизма*, среди архитекторов и художников которой Гауди и Пикассо являются лишь наиболее известными в мире, можно с уверенностью сказать, что только наиболее самоуверенные каталонцы могли бы предвидеть такую культурную славу, скажем, в 1860 г. Ни один обозреватель ирландской сцены в том же году не предсказал бы необычайного расцвета таланта (в основном протестантских) писателей, которые появились с того острова в поколении после 1880 года: Джордж Бернард Шоу, Оскар Уайлд, великий поэт У. Б. Йитс, Джон М. Синдж, юный Джеймс Джойс, и другие менее известные.

Все же это не определит историю искусств в наш период просто как историю успеха, которой она, конечно, была в пределах экономики и демократизации культуры, и, на уровне несколько более скромном чем шекспировский или бетховенский, в широко распространенном творческом достижении. Даже если мы останемся в сфере «высокой культуры» (которая уже сделалась тех-

нологически устаревшей), ни творцы в искусствах, ни публика для того, что было классифицировано как «хорошая» литература, музыка, живопись, и т. д., не видели ее в этих пределах. По-прежнему, особенно в пограничной зоне, где художественное творчество и технология перекрещивались, имели место выражения доверия и триумфа. Те общественные дворцы девятнадцатого столетия, большие железнодорожные станции, все еще строились как массивные памятники изящным искусствам: в Нью-Йорке, Сент-Луисе, Антверпене, Москве (необычайный Казанский вокзал), Бомбее и Хельсинки. Явное достижение технологии, продемонстрированное в Эйфелевой башне и новых американских небоскребах, изумило даже тех, кто отвергал их эстетическую привлекательность. Для честолюбивых и особенно грамотных масс простая досягаемость высокой культуры, по-прежнему видевшаяся как продолжение прошлого и настоящего, «классического» и «современного» («модерна»), сама была триумфом. (Английская) «Библиотека для каждого» публиковала свои достижения в томах, чей дизайн повторил Вилльям Моррис, в диапазоне от Гомера до Ибсена, от Платона до Дарвина<sup>8\*</sup> И, конечно, общественная скульптура и чествование истории и культуры на стенах общественных зданий — как в парижской Сорбонне и венских Городском театре, университете и Музее истории искусства — процветали как никогда раньше. Начинаясь борьба между итальянским и немецким национализмом в Тироле выкристаллизовалась вокруг возведения памятников соответственно Данте и Вальтеру фон дер Фогельвайде (средневековый лирик).

## II

Однако конец девятнадцатого столетия не наводит на мысль о широко распространившейся победе и культурной самоуверенности, и привычные значения термина *fin de siècle*<sup>38</sup> являются скорее вводящими в заблуждение значениями «упадка», которым так много известных и честолюбивых художников — на память приходит молодой Томас Манн — гордились в 1880-х и 1890-х годах. Вообще, «высокие» искусства чувствовали себя дискомфорт-

но в обществе. Так или иначе, в области культуры, как и где-нибудь еще, достижения буржуазного общества и исторический прогресс, давно задуманные как скоординированное продвижение вперед человеческого разума, были отличны от того, что ожидалось. Первый великий либеральный историк немецкой литературы, Гервинус, оспаривал до 1848 года то, что (либеральный и национальный) порядок немецких политических дел был обязательным предварительным условием для нового процветания немецкой литературы<sup>9\*</sup>. После того как фактически возникла новая Германия, учебники по истории литературы уверенно предсказывали неминуемость этого золотого века, но к концу столетия такие оптимистические прогнозы превратились в прославление классического наследия в пику современному писательству, рассматриваемому как нечто разочаровывающее или (в случае с «модернистами») нежелательное. Для больших умов, чем зацикленные педагоги, уже казалось ясным, что «немецкий дух 1888 года отмечает отход назад от немецкого духа 1788 года» (Ницше). Культура казалась борьбой посредственности, объединяющей непосредственно против «господства толпы и эксцентриков (тоже оба главным образом в союзе)»<sup>10\*</sup>. В европейской битве между поклонниками старины и модернистами, начавшейся в конце семнадцатого столетия и так очевидно выигранной модернистами в Век Революции, поклонники старины — теперь больше не существовавшие в классической старине — снова были побеждающей стороной.

Демократизация культуры посредством массового образования — даже посредством численного роста испытывающих тягу к культуре средних и нижних средних классов — была достаточной сама по себе, чтобы заставить элиты искать более исключительный культурный статус — символы. Но затруднение кризиса искусств лежит в растущем расхождении между тем, что было современно, и тем, что было «модерном».

Во-первых, это расхождение не было очевидным. В самом деле, после 1880 года, когда «современность» стала лозунгом и термин *«avant garde»*, в его современном смысле, впервые прокрался в разговор французских живописцев и писателей, разрыв между публикой и более смелыми искусствами, казалось,



фактически начал сужаться. Отчасти это происходило, особенно во времена десятилетий экономической депрессии и социальной напряженности, из-за «передовых» взглядов на общество и культуру, появившихся, чтобы естественно объединиться, и частично — возможно, через общественное признание эмансипированных женщин (среднего класса) и молодежи как группы и посредством более раскрепощенной и ориентированной на досуг стадии буржуазного общества (см. главу 7 выше) — потому что важные сектора вкуса среднего класса становятся куда более гибкими. Крепость установившейся буржуазной публики, Гран-опера, которая была потрясена популизмом оперы Бизе «Кармен» в 1875 г., в начале 1900-х годов приняла не только Вагнера, но и любопытную комбинацию арий и социального реализма (*verismo*) в отношении менее талантливых произведений («*Cavalleria Rusticana*» Москаньи, 1890 год; «*Louise*» Шарпантье, 1900). Это было подготовлено, чтобы обеспечить успех композитора подобного Рихарду Штарусу, чья «*Саломея*» (1905) соединяла все созданное, чтобы шокировать буржуазию 1880 года: символическое либретто основывалось на труде воинственного и скандального эстета (Оскара Уайлда) и на бескомпромиссной пост-вагнеровской музыкальной идиоме. На другом, и коммерчески более существенном, уровне враждебный условиям вкус меньшинства становится теперь рыночным, о чем свидетельствуют успехи лондонских фирм Хилса (изготовители мебели) и Либерти (ткани). В Англии, эпицентре этого землетрясения стилей, уже в 1881 г., представитель недолгого соглашения, оперетта Джилберта и Салливена «Терпение», высмеяла один персонаж Оскара Уайлда и обрушилась на новое предпочтение юных леди (одобряющих «эстетические» одежды, вдохновленные художественными галереями), отданное поэтам-символистам с лилиями более, нежели неотесанным офицерам-драгунам. Вскоре после этого Уильям Моррис и движение «Искусства-и-ремесла» создали модель вилл, сельских коттеджей и интерьеров для привыкшей к комфорту и образованной буржуазии («мой класс», как позднее назвал ее экономист Дж. М. Кейнс).

Действительно, тот факт, что использовали те же самые

слова, чтобы описывать социальное, культурное и эстетическое новшество, подчеркивает сходство. Клуб новых английских искусств (1886 год), новое искусство и «*Neue Zeit*», главный журнал международного марксизма, использовали то же самое определение как прилагательное к словосочетанию «новая женщина». Молодежь и весенний рост были метафорами, которые определяли немецкую версию нового искусства (*Jugendstil*), артистических мятежников «Юной Вены» (1890) и изобретателей образов весны и роста для первомайских демонстраций трудящихся. Будущее принадлежало социализму — но «музыка будущего» (*Zukunftsmusik*) Вагнера имела осознанное социополитическое измерение, в котором даже политические революционеры левых (Бернард Шоу; Виктор Адлер, лидер австрийских социалистов; Плеханов, пионер русского марксизма) думали, что они различали социалистические элементы, которых большинство из нас избегает сегодня. Анархисты (хотя, возможно, меньше социалистов) фактически отбрасывали даже обнаруженные идеологические достоинства в великом, но политически далеко не «прогрессивном» гении Ницше, который, при его любых других характерных особенностях, был несомненно «современным» мыслителем<sup>11\*</sup>

Естественно, не было никакого сомнения в том, что «передовые» идеи должны развивать близость к художественным стилям, вдохновленным «народом», или которые, способствуя развитию реализма (см. «*Век Капитала*») вперед в «натурализм», превращали угнетенных, эксплуатируемых и даже борьбу рабочих в сюжеты своих произведений. И другой путь вокруг. В социально сознательной эре депрессии было много такой работы, большая часть которой — например, в живописи — производилась людьми, которые не подписывались ни под каким манифестом артистического восстания. Было естественно, что «передовые» слои должны восхищаться авторами, которые разрушили буржуазные устои относительно того, что было «надлежащим», чтобы писать об этом. Они одобряли великих русских романистов, в значительной степени открытых и популяризованных на Западе «прогрессивными», Ибсена (а в Германии других скандинавов подобно молодому Гамсуну и — более неожиданный выбор — Стринберга), и прежде всего

писателей-«натуралистов», обвиненных почтенной публикой в том, что они интересуются более всего грязным дном общества, и часто, порой временно, привлеченных к демократически левым различного толка, подобно Эмилю Золя и немецкому драматургу Гауптману.

Не кажется странным, что художники должны были выражать свое страстное обязательство страдающему человечеству способами, которые шли вне «реализма», чья модель была беспристрастной научной записью: Ван Гог, тогда все еще совершенно неизвестен; норвежец Мунх, социалист; бельгиец Джеймс Энсор, чей «Вход Иисуса Христа в Брюссель в 1889 г.» символизировал собой знамя для Социальной Революции; или немецкий фотоэкспрессионист Кете Кольвиц, напоминающая о мятеже ткачей. По-прежнему воинственные эстеты и сторонники искусства ради спасения искусства, защитники «упадка» и школ, созданных для защиты от массового проникновения различных течений, таких как «символизм», тоже объявили о сочувствии социализму, подобно Оскару Уайлду и Метерлинку, или по крайней мере выразили интерес к анархизму. Гюисманс, Леконт де Лилль и Маларме были среди подписавшихся за *La Revolte*<sup>39</sup> (1894)<sup>12\*</sup> Коротко говоря, до начала нового столетия не было вообще никакого разрыва между политической и художественной «современностью».

Возникшая в Англии революция в архитектуре и прикладных искусствах иллюстрирует связь между обоими, также как и их возможную несовместимость. Английские корни «модернизма», которые привели к движению «Bauhaus» (дом строительства), были, как ни парадоксально, готическими. В дымной мастерской мира, обществе эгоизма и эстетических вандалов, где мелкие ремесленники, такие заметные где-нибудь в другом месте в Европе, больше не могли быть видимы в фабричном дыму, средневековые крестьян и ремесленников долго казалось моделью общества, и социально и художественно более удовлетворительной. Породив необратимую промышленную революцию, она неизбежно несла в себе тенденцию стать моделью, вдохновляющей скорее мечту о будущем, чем что-то, что могло бы быть сохранено, оставляя в покое восстановленное. Уильям Моррис

(1834—1896) демонстрирует собой полную траекторию продвижения от последнего романтического поклонника средневековья до некоего вида марксистского социал-революционера. То, что сделали Моррис и ассоциированное движение «искусства-и-ремесла», такого замечательно влиятельного, было скорее идеологией, чем его удивительными и разносторонними талантами дизайнера, декоратора и ремесленника. Это движение художественного обновления определенно стремилось восстанавливать нарушенные связи между искусством и рабочим на производстве, и преобразовывать скорее окружающую среду повседневной жизни — от внутренней обстановки до дома, и, фактически, деревни, города и пейзажа, — чем замкнутую сферу «изящных искусств» для богатых и скучающих. Движение «искусства-и-ремесла» было непропорционально влиятельным, потому что его воздействие автоматически вышло за рамки маленьких кружков художников и критиков и потому что оно вдохновляло тех, кто желал изменить человеческую жизнь, не говоря уже о практиках, заинтересованных в создании структур и предметов пользования и в уместных отраслях образования. Не в последнюю очередь оно привлекало очень прогрессивно мыслящих архитекторов, задействованных в новых и срочных задачах «городского планирования» (термин стал известным после 1900 года) утопической мечтой, так охотно ассоциированной с их профессией и ее пропагандистами: «город-сад» Эбенезера Говарда (1898), или по крайней мере, «пригород-сад».

С помощью движения «искусства-и-ремесла» художественная идеология таким образом стала более чем модой среди созидателей и знатоков, потому что ее обязательство внести социальные перемены связало ее с миром общественных учреждений и реформирующими общественными властями, которые могли бы перевести ее в общественную действительность художественных школ и переконструировать или расширить города и общины. И она связала мужчин и — в значительно увеличившейся степени — женщин, занятых в ней, с производством, потому что ее целью по существу должно было быть производство «прикладных искусств», или искусств, находящих применение в реальной жизни. Наиболее долговечным памятником Уильяму Моррису

является набор изумительных обоев и разработки текстиля, которые коммерчески все еще были доступны в 1980-х годах.

Кульминацией этого социо-эстетического брака между ремеслами, архитектурой и реформой был стиль, который — в значительной степени, хотя и не полностью, распространился благодаря английскому примеру и его пропагандистам — охватил Европу в конце 1890-х годов под различными названиями, из которых новое искусство является наиболее знакомым. Он был преднамеренно революционным, антиисторическим, антиакадемическим и, как никогда не переставали повторять его защитники, «современным». Он соединил необходимую современную технологию — ее наиболее заметными памятниками были станции системы муниципального транспорта Парижа и Вены — с союзом ремесленников, изготавливающих украшения и занимающихся художественным оформлением; настолько сильно, что сегодня он предлагает прежде всего обилие переплетенно-изогнутых (витых) художественных украшений, в основе которых лежат стилизованные, главным образом биологические мотивы, ботанические или женские. Они были метафорами природы, молодости, роста и движения, столь характерных для этого времени. И в самом деле, даже за пределами Англии, художники и архитекторы в этой сфере деятельности были связаны с социализмом и рабочими — подобно Берлаже, который построил штаб-квартиру профсоюза в Амстердаме, и Хорта, который возвел «Maison du Peuple» в Брюсселе. По существу, новое искусство одержало победу с помощью мебели, мотивов художественного оформления интерьера и неисчислимых малых предметов для дома в диапазоне от дорогих предметов роскоши от Тиффани, Лалик и Венских мастерских до настольных ламп и столовых приборов, которые механическая имитация распространила по скромным пригородным домам. Это был первый всепокоряющий «современный» стиль («модерн»)\*.

Все же в сущности нового искусства имелись недостатки, которые, отчасти, могут быть повинны в его быстром исчезновении,

---

\* Как это и написано, автор размешивает свой чай ложкой, сделанной в Корее, мотивы художественного оформления которой явно исходят от нового искусства.

по крайней мере со сцены высокой культуры. Это были противоречия, которые привели *avant garde* к изоляции. В любом случае трения между элитизмом и популистскими устремлениями «передовой» культуры, т. е. между надеждой на всеобщее обновление и пессимизмом образованных средних классов, столкнувшихся лицом к лицу с «массовым обществом», были незаметны лишь некоторое время. С середины 1890-х годов, когда стало ясно, что большая передовая волна социализма вела не к революции, а к созданию организованных массовых движений, занятых безнадёжной, но повседневной работой, художники и эстеты почувствовали себя менее вдохновленными. В Вене Карл Краус, вначале прельщенный социальной демократией, отошел от нее в новом столетии. Выборные кампании не волновали его, культурная политика движения за социальную демократию должна была принимать во внимание традиционные вкусы своих пролетарских бойцов и фактически потерпела неудачу в борьбе против влияния бесформенных триллеров, романов и других форм *Schundliteratur*<sup>40</sup>, против которых социалисты (особенно в Скандинавии) проводили жестокие кампании. Мечта об искусстве для народа по существу противопоставила реальность публике из высших и средних классов для «прогрессивного» искусства, принимая лишь немногих личностей, темы для сюжетов произведений которых казались им политически приемлемыми, и для бойцов из рабочих. В отличие от авангардистов 1880—1895 годов, авангардисты нового столетия, кроме оставшихся из старшего поколения, не испытывали тяги к радикальной политике. Они были аполитичными или даже, в некоторых школах, подобно итальянским футуристам, перемещались вправо. Только война, Октябрьская революция и апокалипсическое настроение, которое они обе принесли с собой, должны были снова соединить революцию в искусствах и в обществе, разбрасывая таким образом ретроспективный огненный жар над кубизмом и «конструктивизмом», которые не имели таких связей до 1914 года. «Большинство художников сегодня, — сетовал старый марксист Плеханов в 1912—1913 гг., — следуют буржуазным взглядам и всемерно сопротивляются великим идеалам свободы в наше время»<sup>14\*</sup>. И во Франции было замечено, что художники-авангардисты пол-

ностью погрузились в свои технические дебаты и уступили путь другим интеллектуальным и социальным движениям<sup>15\*</sup>. Разве кто ожидал этого в 1890 г.?

### III

Все же существовали более фундаментальные противоречия в пределах *авангардных* искусств. Они касались природы двух вещей, для которых слова девиза «Венского Раскола» («Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit») звучали так — «Нашему времени его искусство, искусству—его свободу», или «Современность» и «реальность». «Природа» (характер) оставалась предметом созидательных искусств. Даже в 1911 г. живописец, позднее рассматриваемый как глашатай чистой абстракции, Василий Кандинский (1866—1944) отказался разорвать всю связь с ней, так как это должно просто производить образцы «подобно галстуку или ковру (выражаясь грубо)»<sup>16\*</sup>. Но, как мы увидим, искусства просто повторили новую и фундаментальную неуверенность относительно того, что было природой (характером) (см. главу 10 ниже). Они столкнулись с тройной проблемой. Допускаемая ее объективная и описательная действительность — дерево, лицо, событие — как описание могло бы зафиксировать действительность? Трудности сделать действительность «реальной» в «научном» или объективном смысле слова уже завели, например, художников-импрессионистов далеко за пределы визуального языка, используемого между художниками по представительному соглашению (см. «Век Капитала», гл. 15, IV), хотя, как показали события, не за пределы понимания обывателей. Она завела своих последователей значительно дальше, в пуантилизм Сера (1859—1891) и поиск основной структуры как ответ на появление визуальной действительности, которую кубисты, заявляя об авторитете Сезанна (1859—1906), думали, что они смогут различать в некоторых трехмерных формах геометрии.

Во-вторых, имел место дуализм между «природой» (характером) и «воображением», или искусством как связи описаний и идей, эмоций и ценностей. Трудность лежит не в выборе между

ними, так как немногие, даже среди ультрапозитивистских «реалистов» или «натуралистов», видели себя полностью беспристрастными людьми-фотоаппаратами. Она лежит в кризисе ценностей девятнадцатого столетия, диагностированных мощным видением Ницше, и, следовательно, обычным языком, изобразительным или символическим, для перевода идей и ценностей в созидательные искусства. Поток официальных собраний скульптур и зданий, выполненных в традиционной форме, который наводнил западный мир между 1880 и 1914 годами, от статуи Свободы (1886) до памятника Виктору Эммануилу (1912), представлял умирание, а после 1918 года был определенно мертвым, прошлым. Все же поиск других идиом, часто экзотических, которые заимствовались начиная от древних египтян и японцев и до островов Океании и скульптур Африки, отражал не только неудовлетворенность старым, но и неуверенность в новом. В сущности новое искусство было по этой причине изобретением новой традиции, которая, как случилось, не сработала.

В-третьих, существовала проблема соединения действительности и субъективности. Что касается части кризиса «позитивизма», который будет более подробно обсужден в следующей главе, декларировалось, что «действительность» не просто присутствовала *там* (в позитивизме), чтобы быть обнаруженной, но была чем-то воспринятым, принявшим форму, даже созданным с помощью ума наблюдателя. В «слабой» версии этого представления, действительность объективно была там, но постигалась исключительно посредством состояния ума индивидуума, который постигает и восстанавливает ее, как в видении французского общества Прустом, как побочного продукта продолжительной попытки любого человека исследовать свою собственную память. В «сильной» версии, от нее ничего не оставалось, кроме «я» его создателя и его происхождения в словах, звуке или краске. У такого искусства неизбежно было огромное количество трудностей в общении. Оно неизбежно делало уступки (и несочувствующие критики переставали думать о нем как таковом) чистому субъективизму, граничащему с солипсизмом<sup>41</sup>.

Но *авангардное* искусство, конечно, хотело передавать что-то другое, чем состояние ума художника или его технические уп-



ражнения. Однако «современность» стремилась выразить это, удерживая противоречие, которое оказалось фатальным для Морриса и нового искусства. Социальное обновление искусств по линии Пушкин — Моррис не имело никакого реального места для машины, ядром которой был капитализм, который был, переделывая фразу из Уолтера Бенджамина, эрой, когда технология училась воспроизводить произведения искусства. В самом деле, *авангардисты* конца девятнадцатого столетия пытались создать искусство новой эры продлением методов старой эпохи, чьи формы рассуждения они все еще разделяли. «Натурализм» расширил сферу литературы как некое представление «действительности» расширением ее предмета, особенно включая в него темы жизни бедных людей и сексуальности. Установившийся язык символизма и аллегории был изменен или приспособлен для выражения новых идей и устремлений, как в социалистических движениях новой иконографии Морриса, и фактически в другой главной *авангардистской* школе — «символизма». Новое искусство было кульминацией этой попытки высказать новое посредством старого языка.

Но как можно было бы точно выразить то, чего не любила традиция «искусств-и-ремесел», а именно общество машины и современной науки? Разве не было само массовое производство ветвей, цветов и женских образов — мотивы ремесленного художественного оформления и идеализма, которых породила коммерческая мода на новое искусство, — *reductio ad absurdum* выражением мечты Морриса о возрождении ремесла? Как чувствовал Ван де Вельде — вначале он был защитником Морриса и тенденций нового искусства, — разве сентиментализм, лиризм, романтизм не должны быть несовместимы с современным человеком, который жил в новой рациональности машинного века? Разве искусство не должно выражать новую человеческую рациональность, отражая рациональность технологической экономики? Разве не было противоречия между простым, утилитарным функционализмом, вдохновленным старыми ремеслами, и радостью мастера в художественном оформлении, из которого новое искусство развивало свои декоративные джунгли? «Орнамент — это преступление», — провозгласил архитектор Адольф Лоос (1870—

1933), одинаково вдохновленный Моррисом и ремеслами. Примечательно, что архитекторы, включая личностей, с самого начала связанных с Моррисом или даже новым искусством, подобно Берлаже в Голландии, Салливену в США, Вагнеру в Австрии, Макинтошу в Шотландии, Огюсту Перре во Франции, Беренсу в Германии, даже Хорта в Бельгии, теперь двигались в направлении новой утопии функционализма, возвращения к чистоте линии, формы и материала, незамаскированного украшением, и приспосабливались к технологии, больше не идентифицирующей с каменщиками и плотниками. Об этом один из них (Мутезиус) — такой же типичный энтузиаст английского «местного (туземного) стиля» — дискутировал в 1902 г.: «Результатом машины может быть только неукрашенная, фактическая форма»<sup>17\*</sup> Мы — уже в мире «Bauhaus» и Ле Корбюзье.

Для архитекторов, теперь занимающихся зданиями, структуре которых перестали соответствовать употреблявшиеся ранее способы и методы строительного ремесла и где художественное оформление являлось прикладным украшением, привлекательность такой рациональной чистоты была понятна; даже если она жертвовала стремлением к роскоши всего союза структуры и художественного оформления, скульптуры, живописи и прикладных искусств, которые Моррис произвел на свет из своего восторга готическими соборами как некий вид визуального эквивалента для «общего произведения искусства» Вагнера, или Gesamtkunstwerk. Искусства, достигающие кульминации в новом искусстве, все еще пытались достичь такого согласия. Но каждому, если кто и сможет понять привлекательность строгой простоты форм выражения новых архитекторов, следует также заметить, что нет абсолютно никакой убедительной причины тому, почему использование революционной технологии в строительстве должно повлечь за собой украшенный лентами «функционализм» (особенно когда, и как часто, он стал антифункционально эстетическим), или почему что-либо кроме машин должно стремиться выглядеть как машины.

Таким образом, было вполне возможным, и действительно более логичным, приветствовать триумф революционной технологии полным двадцатиоднопушечным салютом традиционной

архитектуры, произведенным в образе больших железнодорожных вокзалов девятнадцатого века. Не было никакой принудительной логики для движения архитектурного «модернизма». То, что оно выражало, было прежде всего эмоциональным убеждением, что традиционный язык визуальных искусств, базирующийся на исторической традиции, был так или иначе несоответствующим или неадекватным современному миру. Чтобы быть более точным, они чувствовали, что такой язык не мог бы, вероятно, *выразить*, а мог лишь затенять новый мир, который породило девятнадцатое столетие. Машины, как таковые, выросшие до гигантских размеров, раскололи фасад изящных искусств, за которым они скрывались. Старая идиома не смогла бы, чувствовали они, выразить кризис человеческого понимания и ценностей, которые этот век революции произвел и теперь был вынужден столкнуться с ними лицом к лицу.

В сущности *авангардисты* одинаково обвиняли традиционалистов и модернистов *fin de siècle* за то, в чем Маркс обвинил революционеров 1789—1848 годов, — за их поступки, а именно «вызывание духов прошлого на свою службу и заимствование у них имен, боевых лозунгов и костюмов, чтобы представлять новое место действия мировой истории в этих освященных веками одеждах и на этом заимствованном языке»<sup>18\*</sup> Только у них не было нового языка, или они не знали, каким он должен быть. Чем был язык, чтобы выразить на нем новый мир, особенно (технология отдельно) когда его единственным заметным аспектом была дезинтеграция старого? Такой была дилемма «модернизма» в начале нового столетия.

То, что вело художников-*авангардистов* вперед, не было поэтому видением будущего, а перевернутым видением прошлого. Действительно, часто, как в архитектуре, так и в музыке, они были выдающимися деятелями стилей, выведенных из традиции, от которой они отказались только лишь потому, как ультравагнерианец Шенберг, что чувствовали их неспособными к дальнейшей модификации. Архитекторы отказались от орнамента, когда новое искусство подтолкнуло его к его крайним проявлениям, композиторы от тональности, когда музыка утонула в поствагнеровском хроматизме. Художники долго были обеспокоены несо-

ответствием более старых форм для изображения внешней действительности и своих собственных чувств, но — за исключением очень немногих, кто прокладывал путь совершенной «абстракции» накануне войны (особенно среди русских *авангардистов*) — они находили трудным отказаться рисовать *что-либо*. *Авангардисты* действовали во многих направлениях, но, говоря шире, занимались или тем, что казалось наблюдателям подобно Максу Рафаэлю превосходством цвета и формы над содержанием, или работой необычного содержания в форме эмоции («экспрессионизм»), или различными способами демонстрирования традиционных элементов обычной действительности и новом составлении их в различном порядке или беспорядке («кубизм») <sup>19\*</sup> Только писатели, скованные своей зависимостью от слов с известными значениями и звуками, по-прежнему считали трудным провести революцию форм эквивалентов их значений, хотя некоторые начали пробовать. Эксперименты по отказу от традиционных форм литературного сочинения (например, от рифмованных стихов и размера (ритма), не были ни новыми, ни честолюбивыми. Авторы растягивали, крутили и манипулировали содержанием, т. е. тем, что могло бы быть сказано обычными словами. К счастью, поэзия начала двадцатого столетия была скорее линейным, чем мятежным, развитием символизма конца девятнадцатого столетия: поэтому она произвела Рильке (1875—1926), Аполлинера (1880—1918), Джорджа (1868—1933), Йитса (1865—1939), Блока (1880—1921) и великих испанцев.

Современники, со времен Ницше, не сомневались, что кризис искусств отражает кризис общества — либерального буржуазного общества девятнадцатого столетия, — которое, так или иначе, находилось в процессе разрушения основ своего существования, систем ценностей, обычая и интеллектуального понимания, которые создали и упорядочили его. Более поздние историки проследили этот кризис в искусствах в общем и в специфическом случаях, типа «*Vena fin de siècle*». Здесь нам нужно взять на заметку только две вещи относительно этого. Во-первых, видимый разрыв между художниками *fin de siècle* и *авангардистами* двадцатого столетия происходил некоторое время между 1900 и 1910 годами. Любители дат могут выбрать другие, но рождение

кубизма в 1907 г. такая же удобная, как и любая другая. В последние несколько лет до 1914 года фактически все то, что является характеристикой различных видов «модернизма» после 1918 года, уже является настоящим. Во-вторых, до сих пор *авангардисты* находили себя идущими в направлениях, которым основная масса публики не желала и не была способна следовать. Рихард Штраусс, который, как композитор, шел по далекому от тональности пути, после провала «*Электры*» (1909) решил, как поставщик коммерческой гранд-опера, что публика больше не пойдет за ним, и вернулся (с огромным успехом) к более доступной идиоме «*Rosenkavalier*»<sup>42</sup> (1911).

Поэтому открылась широкая пропасть между основными представителями «культурных» вкусов и различными небольшими меньшинствами, которые утверждали свой статус инакомыслящих антибуржуазных мятежников демонстрацией восхищения стилями художественного творчества, неприемлемого и скандального для большинства. Только три главных моста пересекали эту пропасть. Первым был патронаж горстки тех, кто был как просвещенным, так и достаточно гибким, как немецкий промышленник Вальтер Ратенау, или дилеры подобные Канвайлеру, который сумел оценить коммерческий потенциал этого малого, но финансово прибыльного рынка. Вторым была часть фешенебельного высшего общества, более чем когда-либо восторгалась переменами, но поддерживавшая небуржуазные стили, предпочтительно экзотические и шокирующие. Третьим, как ни парадоксально, был бизнес. Испытывая недостаток эстетических предвзятых мнений, промышленность смогла признать революционную технологию строительства, и экономика функционального стиля — она всегда поступала так — и бизнес смогли разглядеть, что технологии *авангарда* были эффективны в производстве рекламы. «Модернистские» критерии имели практическую ценность для промышленного дизайна и механизировали массовое производство. После 1918 года патронаж бизнеса и индустриальный дизайн должны были стать главными агентствами для ассимиляции стилей, с самого начала связанных с высококультурным *авангардом*. Однако до 1914 года он оставался заключенным в пределах изолированных анклавов.

Поэтому будет заблуждением уделять слишком много внимания «модернистскому» *авангарду* до 1914 года, разве что только как предку последующего авангарда. Большинство населения, даже среди высококультурных людей, возможно, никогда не слышали, скажем, о Пикассо или Шенберге, тогда как новаторы последней четверти девятнадцатого столетия уже стали частью культурного багажа образованных средних классов. Новые революционеры соприкасались друг с другом, принадлежали к ведущим споры группам инакомыслящей молодежи в кафе определенных городских кварталов, были критиками и авторами манифестов для новых «измов» (кубизм, футуризм, вортицизм), принадлежали к небольшим журналам и небольшому числу импресарио и коллекционеров, обладавших талантом и вкусом к новым работам и их создателям: Дягилев, Алма Шиндлер, — которые, даже до 1914 года, двигались вперед начиная с Густава Малера до Кокошка, Гропиуса и (менее удачная инвестиция в культуру) экспрессиониста Франца Верфеля. Они были приняты секцией высокой моды. Это было все.

Все равно, *авангардное искусство* предшествующих 1914 г. лет является фундаментальной брешью в истории высоких искусств начиная с эпохи Возрождения. Но то, чего они *не* достигли, фактически и было культурной революцией двадцатого столетия, на которую они нацеливались, которая одновременно была и побочным продуктом демократизации общества при посредстве предпринимателей, чьи взгляды были устремлены на совсем не буржуазный рынок. Плебейские искусства собирались завоевать мир, как в своей собственной версии искусств-и-ремесла, так и посредством высокой технологии. Это завоевание составляет наиболее важный итог в культуре двадцатого столетия.

#### IV

Его ранние стадии не всегда легко проследить. В какой-то момент в конце девятнадцатого столетия массовая миграция в быстрорастущие большие города породила как прибыльный рынок для популярных зрелищ и развлечений, так и специализированные городские кварталы для них, которые богема и художни-

ки также находили привлекательными: Монмартр, Швабинг. Следовательно, традиционные формы популярного развлечения изменялись, преобразовывались и становились профессиональными, порождая оригинальные версии популярного художественного творчества.

Мир высокой культуры, или скорее верхушка богемы, был, конечно, хорошо осведомлен о мире популярных театральных зрелищ, которые множились в кварталах развлечений больших городов. Предприимчивая молодежь, *авангардисты* или художники *богеми*, лица нетрадиционной сексуальной ориентации, беспутные элементы из высших классов, которые всегда оказывали покровительство людям вроде боксеров, жокеев, танцовщиков и балерин, чувствовали себя непринужденно в этом необычном окружении. Действительно, в Париже эти легкомысленные элементы формировали основу программ в кабаре и шоу-культуре Монмартра в основном в угоду публике, туристам и интеллектуалам и были увековечены на плакатах и литографиях их величайшего натурализовавшегося иностранца, аристократического живописца Тулуз-Лотрека. Культура *авангардного* буржуазного вульгарного (низкого) образа жизни также продемонстрировала признаки развития в Центральной Европе, но в Англии мюзик-холл, который обращался к интеллектуальным эстетам начиная с 1880-х годов и далее, был более искренне обращен к массовой аудитории. Восторг был оправдан. Кино должно было вскоре превратить одного человека из мира развлечений английской бедноты в приводящего в восторг весь мир артиста первой половины двадцатого столетия: Чарли Чаплина (1889—1977).

На значительно более скромном уровне популярного развлечения, или развлечения для бедных — таверны, танцевальные залы, кафе-шантаны и публичные дома — международный диапазон музыкальных новшеств проявился ближе к концу столетия, перешагнув через границы и океаны частично с помощью туризма и средств музыкальных подмостков, в основном посредством новой практики общественного танца у публики. Некоторые, подобно неаполитанским *canzone*, тогда в своем золотом веке, оставались достоянием местной публики. Другие выказали большие силы для расширения, подобно андалузскому *фламен-*

ко, восторженно принятому с 1880-х годов демократической испанской интеллигенцией, или танго, продукт кварталов публичных домов Буэнос-Айреса, которое добралось до европейского *бомонда* к 1914 г. Ни одному из этих экзотических и плебейских созданий не суждено было иметь более триумфального и глобального будущего, чем музыкальной идиоме североамериканских негров, которая — снова с помощью сцены, коммерческой популярной музыки и общественного танца — уже пересекла океан к 1914 г. Они соединились с искусствами плебейского *demi-monde*<sup>43</sup> больших городов, иногда усиленного деклассированными представителями богемы и приветствуемого чиновниками высшего общества. Они были городским эквивалентом народного искусства, которое теперь формировало основу коммерческой индустрии развлечений, хотя их способ творчества ничего не задолжал их способу эксплуатации. Но, прежде всего, они по существу были искусствами, которые не задолжали ничего из сущности буржуазной культуре, или в форме «высокого» искусства, или в форме легкого развлечения среднего класса. Наоборот, они намеревались преобразовывать буржуазную культуру снизу.

Реальное искусство технологической революции, основанное на массовом рынке, развивалось тем временем с быстротой, которая не имела себе равных в прошлой истории. Два из этих технологико-экономических средств имели пока еще небольшое значение: механическая передача звука и пресса. Воздействие фотографии было ограничено стоимостью требующихся для нее приборов, которая все еще ориентировала их владельцев на относительно богатых людей. Воздействие прессы было ограничено ее опорой на старомодное печатное слово. Ее содержание было разбито на мелкие и отдельные куски в угоду классу читателей менее образованных и менее готовых к вдумчивому чтению, чем солидные элиты средних классов, которые читали «The Times», «Journal des Debats» и «Neue Freie Presse», и ничего больше. Ее чисто визуальные новшества — жирные заголовки, оформление страницы, смесь текста и иллюстрации, и особенно размещение рекламы — были явно революционными, как признавали кубисты, включая фрагменты газет в свои картины, но, возможно, единственно искренними новаторскими формами, оживленными



ми прессой, были карикатуры, и даже ранние версии современных штриховых карикатур, которые они заимствовали из популярных брошюр и стенных газет в формах, упрощенных по техническим причинам<sup>20\*</sup> Массовая пресса, которая в 1890-х годах начала достигать тиражей в миллион и более экземпляров, изменила среду печати, но не ее содержание или ассоциации — вероятно, потому что люди, которые основали газеты, были, возможно, образованны и, конечно, богаты и поэтому чувствительны к ценностям буржуазной культуры. Кроме того, не случилось ничего, в принципе, нового относительно газет и периодических изданий.

С другой стороны, кино, которому (в конечном счете также через телевидение и видео) суждено было доминировать и преобразовать все искусства двадцатого столетия, было чрезвычайно ново, по своей технологии, способу производства и способам представления действительности. Здесь действительно было первое искусство, которое не могло бы существовать кроме как в индустриальном обществе двадцатого столетия и которое не имело никакой параллели или прецедента в более ранних искусствах — даже не все в той же фотографии, которая могла бы рассматриваться не более чем альтернативой эскизам или живописи (см. *«Век Капитала»*, глава 15, IV). В первый раз в истории визуальное представление движения было освобождено от непосредственного, живого исполнения. И впервые в истории драма или спектакль были освобождены от ограничений, наложенных временем, пространством и физической природой наблюдателя, не говоря уже о предыдущих ограничениях сценической иллюзии. Движение камеры, разнообразие ее фокуса, неограниченные возможности фотографических трюков и, прежде всего, способность кроить полосу пленки, которая записывала все это в подходящие части, и собирать или повторно пересобирать их по желанию, были совершенно очевидны и непосредственно эксплуатировались постановщиками фильмов, которые редко проявляли какой-нибудь интерес или симпатию к *авангардным* искусствам. Все же еще ни одно искусство не представляет требований, непреднамеренного триумфа, крайне нетрадиционного художественного модернизма более драматично, чем кино.

И триумф кино был весьма экстраординарным и не сравним ни с чем другим по своей скорости и масштабу. Фотография в движении не была технически выполнима приблизительно до 1890 года. Хотя французы являлись первопроходцами показа этих двигающихся картинок, короткие фильмы сначала демонстрировали в 1895—1896 гг. проведение выставок или водевильные новинки почти одновременно в Париже, Берлине, Лондоне, Брюсселе или Нью-Йорке<sup>21\*</sup> Только спустя дюжину лет насчитывалось 26 млн американцев, которые ходили смотреть двигающиеся картинки *каждую неделю*, наиболее вероятно в 8000—10 000 маленьких «пятицентовых кинотеатрах»; то есть, грубо говоря, их число составляет 20 процентов всего населения США<sup>22\*</sup> Что касается Европы, даже в отсталой Италии к тому времени имелось почти пятьсот кинотеатров в главных городах, сорок из них только в одном Милане<sup>23\*</sup> К 1914 г. американская киноаудитория выросла почти до 50 млн человек<sup>24\*</sup> Фильмы превратились теперь в большой бизнес. Была изобретена система кинозвезд (в 1912 г. Карлом Лэммлем для Мэри Пикфорд). И киноиндустрия начала селиться там, что уже было на пути, чтобы стать ее всемирной столицей — на склонах холмов в Лос-Анджелесе.

Это экстраординарное достижение состоялось благодаря, в первую очередь, общему недостатку интереса пионеров кино ко всему, кроме как только лишь к приносящему грибиль развлечению для массовой публики. Они вошли в промышленность как шоумены, иногда как шоумены короткометражных фильмов о выставках, подобно первому моголу кино, Шарлю Пате (1863—1957) из Франции — хотя он был не типичен для европейских предпринимателей. Куда чаще они были, как в США, бедными, но энергичными еврейскими иммигрантами — мелкими торговцами, которые охотно занимались продажей одежды, перчаток, мехов, скобяных товаров или мяса, если они выглядели одинаково прибыльными. Они двинулись в производство, чтобы заполнить свои шоу. Они решительно ориентировались на менее образованных, менее мыслящих, менее искушенных, менее самосовершенствующихся, тех, которые заполняли дешевые кинотеатры, где около 1905 года начинали Карл Лэмбль («Юниверсал Филмз»), Луис Б. Мейер («Метро-Голдвин-Мейер»), братья

Уорнер и Уильям Фоке («Фоке Филмз»). В «The Nation» (1913) американская популистская демократия приветствовала этот триумф более низких по качеству фильмов посредством входной платы в пять центов, в то время как европейская социальная демократия, заинтересованная донести до рабочих более возвышенные вещи в жизни, считала фильмы диверсией люмпен-пролетариата в поисках бегства от действительности<sup>25\*</sup> Фильм поэтому развивался согласно формулам — сорвать аплодисменты наверняка, испытанным и проверенным со времен древних римлян.

Более того, фильм обладал одним непредвиденным, но абсолютно решающим преимуществом. С тех пор он мог, до конца 1920-х годов, воспроизводить только образы, а не слова, он был вынужден молчать, и его тишина нарушалась только лишь звуками музыкального аккомпанемента, который увеличил возможности занятости второразрядных инструменталистов. Освобожденные от ограничений, порождаемых Вавилонской башней, кинофильмы поэтому развивали универсальный язык, который, в действительности, позволил им эксплуатировать мировой рынок независимо от языка.

Нет никакого сомнения, что революционные новшества фильмов как искусства, которые практически все развились в США к 1914 г., стали возможными благодаря его потребности адресоваться потенциально универсальной публике исключительно через — технически манипулируемый — глаз, а также и то, что новшества, которые оставили высококультурный *авангард* далеко позади по своей смелости, охотно принимались массами, потому что это было искусство, которое изменяло все, кроме своего содержания. То, что видела и любила в фильмах публика, являлось именно тем, что восхищало, волновало, развлекало и возбуждало публику с тех пор как только оно стало профессиональным развлечением. Парадоксально, это происходило там, где высокая культура оказала свое единственно существенное воздействие на американскую киноиндустрию, которая к 1914 г. находилась в пути, чтобы завоевать и экстремально господствовать на мировом рынке.

В то время как крупные американские шоумены собирались стать миллионерами с помощью пятицентовых монеток иммиг-

рантов и рабочих, другие театральные предприниматели и постановщики водевилей (не говоря уже о некоторых владельцах мелких кинотеатров) мечтали о том, чтобы заполучить большее число потребителей, и о «классе» respectable семейной публики, особенно о потоке наличности от «новой женщины» Америки и ее детей. До 75% публики в эру дешевых кинотеатров составляли взрослые мужчины. Они требовали дорогих и престижных постановок («экранная классика»), которые анархия снижения цен американской киноиндустрии не желала подвергать риску провала. Но они могли быть импортированы от инициатора — французской индустрии, которая по-прежнему являлась господствующей, производя третью часть мирового выпуска фильмов, — или от других европейских кинопроизводителей. В Европе ортодоксальный театр, с его установившимся рынком среднего класса, был естественным источником для более честолюбивых киноразвлечений, и если драматические обработки библейских историй и светской классики (Золя, Дюма, Доде, Гюго) имели успех, почему нельзя было этого сделать и для кино? Импорт детально разработанного производства костюмов с известными актрисами подобных Саре Бернар, или сложного эпического снаряжения, в котором специализировались итальянцы, оказался коммерчески успешным в последние предвоенные годы. Стимулируемые драматическим поворотом от документальных фильмов к художественным фильмам и комедиям, который, кажется, ощутили в 1905—1909 гг., они побуждали американских производителей делать свои собственные кинематографические романы и эпические поэмы. Они, в свою очередь, предоставили в других отношениях неинтересным мелким литературным талантам здоровой породы американских служащих подобно Д. В. Гриффиту возможность преобразовать движущуюся картинку в главную и оригинальную форму искусства.

Голливуд возник на стыке между популизмом дешевого кинотеатра и культурно и нравственно полезной драмой и чувством, одинаково ожидаемым большой массой средних американцев. Его сила и его слабость заключаются именно в его однонаправленной концентрации на театральной кассе массового рынка. Сила,

прежде всего, заключалась в экономике. Европейское кино, не без некоторого сопротивления со стороны популистских шоуменов\*, работало на образованную публику за счет необразованной. Иначе кто сделал бы знаменитые фильмы 1920-х годов немецкой фирмы «UFA»? Тем временем американская промышленность могла полностью эксплуатировать массовый рынок, ориентируясь на население, которое, на бумаге, было не более чем на треть многочисленнее населения Германии. Это позволяло ей покрывать затраты и зарабатывать вполне приличные деньги дома и, следовательно, завоевывать остальной мир, продавая продукцию по более низким ценам. Первая мировая война должна была укрепить это решающее преимущество и сделать американскую позицию неоспоримой. Безграничные ресурсы также должны были бы позволить Голливуду скупать таланты по всему миру, особенно в Центральной Европе после войны. Он не всегда находил адекватное применение этому. Одинаково очевидны были и слабости Голливуда. Он создал экстраординарную среду с экстраординарным потенциалом, но с художественно отрицательным содержанием, по крайней мере до 1930-х годов. Число американских немых фильмов, которые находятся в действующем репертуаре или которые могут вспомнить даже образованные люди, является ничтожным, исключая комедии. Учитывая огромный темп, в котором производились кинофильмы, они образуют совершенно незначительный процент от их общего выпуска. Идеологически, на самом деле, их содержание было далеко от неэффективного или отрицательного. Едва ли кто-либо назовет основную массу немых фильмов, их ценности должны были переместиться в американскую высокую политику в конце двадцатого столетия.

Однако промышленное массовое развлечение реконструировало искусства двадцатого столетия и сделало это отдельно и

---

\* «Наша промышленность, которая продвигалась вперед с помощью своей популярности среди широких слоев населения, нуждается в поддержке всех социальных классов. Она не должна стать фаворитом лишь зажиточных классов, которые могут позволять себе платить за билеты в кино почти столько же, сколько и за билеты в театр». — Vita Cinematografica (1914)<sup>26\*</sup>

независимо от *авангардных искусств*. Почти до 1914 года искусство *авангарда* никоим образом не задействовалось в фильмах, и казалось, ничуть не интересовалось им, кроме одного русского кубиста в Париже, который, как говорили, размышлял о совместимости абстракции и фильма в 1913 г.<sup>27\*</sup> Серьезное обсуждение такой возможности было предпринято только в середине войны, когда она уже фактически созрела. Типичной формой *авангардного* шоу-бизнеса до 1914 года был русский балет, в который великий импресарио Сергей Дягилев привлек наиболее революционных и экзотических композиторов и живописцев. Но русский балет был предназначен для элиты богатых или аристократических снобов от культуры — так же несомненно, как американские производители фильмов ориентировались на самый низкий допустимый общий знаменатель человечества.

Так «модерновое», истинно «современное» искусство этого столетия развивалось непредсказуемо, ускользнувшим от внимания стражей культурных ценностей, и со скоростью, которую нужно ожидать от подлинной культурной революции. Но оно больше не было и не могло быть искусством буржуазного мира и буржуазного столетия, кроме как в одном критическом отношении: оно было глубоко капиталистическим. Было ли оно «культурой» в буржуазном смысле вообще? Конечно, почти все образованные люди в 1914 г. подумали бы, что нет. И все же это новое и революционное средство масс было намного более сильным, чем элитарная культура, чей поиск нового способа выражения мира составляет содержание большинства историй искусств двадцатого столетия.

Немногие персоны представляют старую традицию, в ее обычных и революционных версиях, более отчетливо, чем два венских композитора до 1914 года: Эрих Вольфганг Корнгольд, чудодитя музыкальной сцены, уже начинающий пробовать себя в симфониях, операх и в остальных жанрах; и Арнольд Шенберг. Первый закончил свою жизнь как очень удачливый композитор звуковых дорожек для голливудских кинокартин и музыкальным директором компании «Уорнер Бразерс». Второй, после революционизирующей классической музыки девятнадцатого столетия,

закончил свою жизнь в том же самом городе, по-прежнему без публики, но пользуясь восхищением и субсидируемый более способными приспособливаться к конъюнктуре рынка и значительно более преуспевающими музыкантами, которые зарабатывали деньги в киноиндустрии, не применяя уроков, которые они брали у него.

Искусства двадцатого столетия, следовательно, были переделаны, но не теми, кто взял на себя задачу сделать это. В этом отношении они резко отличались от наук.

---

## ГЛАВА 10

# НАУКИ ПОКОЛЕБЛЕННАЯ УВЕРЕННОСТЬ

*Из чего состоит материальная вселенная? Эфира, Материи и Энергии.*

С. Лэнг, 1885 г.<sup>1\*</sup>

*Все согласны, что в течение прошлых пятидесяти лет имел место большой прогресс в нашем знании фундаментальных законов наследственности. В самом деле, справедливо может быть сказано, что в пределах этого периода было познано больше, чем за всю предыдущую историю этой области знания.*

Рэймонд Перл, 1913 г.<sup>2\*</sup>

*Пространство и время прекратили свое существование, для физики относительно, как часть голых костей мира, и теперь признаются конструкциями.*

Бертран Расселл, 1914 г.<sup>3\*</sup>

---

## I

Бывают времена, когда весь человеческий путь предчувствия и структурирования вселенной преобразуется в справедливо краткий период времени, и десятилетия, которые предшествовали первой мировой войне, были одним из них. Это преобразование по-прежнему было понято, или даже наблюдалось, относительно небольшим числом мужчин и женщин в горстке стран, и иногда только меньшинством даже в пределах сфер интеллектуальной и творческой деятельности, которые находились в процессе преобразования. И ни в коем случае преобразование производилось во всех таких сферах или они были преобразованы подобным образом. Более полное изучение должно бы быть предпринято, чтобы провести различия между сферами, в которых люди сознавали скорее линейный прогресс, чем преобразования (как в меди-



цинских науках), и теми сферами, которые реконструировались (типа физики); между старыми реконструируемыми науками и науками, которые непосредственно из себя представляли новшества, так как они были рождены в наш период (такие как генетика); между научными теориями, предназначенными быть основой нового согласия или ортодоксии, и другими, которые должны были оставаться в пределах своих дисциплин, такие как психоанализ. Также это должно было провести различие между принятыми теориями, спорными, но успешно восстановленными в более или менее измененной форме, такими как дарвинизм, и другими частями интеллектуального наследия середины девятнадцатого столетия, которое исчезло, оставшись только в менее прогрессивных учебниках, типа физики лорда Кельвина. И оно, конечно же, должно было бы провести различия между естественными науками и социальными науками, которые, подобно традиционным сферам учености в человеческом обществе, все более и более отклонялись от них — создавая расширяющуюся пропасть, в которой главная часть того, что девятнадцатое столетие рассматривало как «философию», выглядела исчезающей. Однако мы по-прежнему придаем значение глобальному утверждению, оно остается истинным. Интеллектуальный пейзаж, на котором теперь могли быть видимы возникновение пиков по имени Планк, Эйнштейн и Фрейд, не говоря уже о Шенберге и Пикассо, четко и принципиально отличался от того, который, как верилось интеллигентным наблюдателям, они видели, скажем, в 1870 г.

Преобразование имело два вида. Интеллектуально оно подразумевало конец понимания вселенной в образе архитектора или инженера: здание еще не закончено, но завершение строительства которого не было бы задержано на очень долгое время; здание основывается на «фактах», удерживаемых вместе устойчивой структурой причин, определяющих влияния и «законы природы», и построено надежными инструментами причины и научного метода; создание интеллекта, но такого, который также выражал бы в когда-либо более точном приближении, объективные реалии космоса. В умах ликующего буржуазного мира гигантский статический механизм вселенной, унаследованный из сем-

надцатого столетия, но с тех пор усиленный проникновением в новые сферы, производил не только постоянство и предсказуемость, но также и преобразование. Он производил развитие (эволюцию) (которая легко могла бы быть идентифицирована со светским «прогрессом», по крайней мере в человеческих делах). Он был этой моделью вселенной и образом человеческого мысленного ее понимания, которое теперь разрушилось.

Но это разрушение имело критический психологический аспект. Интеллектуальное структурирование буржуазного мира устранило древние силы религии из анализа вселенной, в которой сверхъестественное и удивительное никоим образом не могло участвовать, и оставило мало места анализу эмоции, исключительно как продуктов законов природы. Однако, за крайними исключениями, интеллектуальная вселенная, казалось, приновилась и к интуитивному человеческому постижению материального мира (к «опыту чувства»), и «интуитивным, или по крайней мере вековым, концепциям действия человеческого рассудка. Таким образом, по-прежнему было возможным думать о физике и химии в механических моделях («модель атома, сделанная из бильярдных шаров»)\*. Но новое структурирование вселенной все более и более попадало в зависимость от интуиции, похожей на выбрасываемый за борт груз при угрозе аварии, и «здорового смысла». В известном смысле «природа» стала менее «естественной» и более непостижимой. Действительно, хотя все из нас сегодня живут рядом и с помощью технологии, которая опирается на новую научную революцию, в мире, визуальный внешний вид которого был преобразован ею, и в котором светская беседа образованных людей могла повторять ее концепции и словарь, далеко не ясно, до какой степени эта революция просочилась в общие процессы мышления светской публики даже сегодня. Одно можно сказать, что она была поглощена скорее экзистенциально, чем интеллектуально.

Процесс развода науки и интуиции, возможно, может быть

---

\* Когда это случилось, атом, вскоре разделенный на более мелкие частицы, вернулся в этот период в качестве основного строительного блока физических наук после периода относительного пренебрежения им.

проиллюстрирован по крайней мере в области математики. Некоторое время в середине девятнадцатого столетия прогресс математической мысли начал производить не только (как он уже сделал ранее — см. «*Век Революции*») результаты, которые конфликтовали с реальным миром как понимаемые разумом, такие как неевклидова геометрия, но и результаты, которые казались шокирующими даже для математиков, которые находили, подобно великому Джорджу Кантору, что «*Je vois mais ne le stois pas*»<sup>44</sup>.<sup>4\*</sup> Произошло то, что Бурбаки называет «патологией математики»<sup>5\*</sup>. В геометрии, одной из двух динамичных границ математики девятнадцатого столетия, появляются все способы, поскольку они были невероятными, феноменов, такие как кривые без тангенсов. Но самым решающим и «невозможным» достижением было, возможно, исследование бесконечных величин Кантором, который создал мир, в котором интуитивные концепции «больше» или «меньше» использовались не долго и правила арифметики больше не давали ожидаемых от них результатов. Это был захватывающий прогресс, новый математический «рай», используя фразу Гилберта, из которого *авангард* математиков отказался быть изгнанным.

Одно решение — впоследствии принятое большинством математиков — состояло в том, чтобы освободить математику от всякого соответствия реальному миру и превратить ее в разработку постулатов, *любых* постулатов, от которых требовалось единственно быть точно определенными и при необходимости соединяться, чтобы не противоречить друг другу. Впредь математика была основана на строгой приостановке веры во все, кроме правил игры. По словам Бертрана Расселла — главного вкладчика в переосмысление основ математики, которая теперь становилась центром места действия событий, возможно, в первый раз в своей истории, — математика была предметом, в котором никто не знал то, о чем он говорил, или было ли истинным то, что он сказал<sup>6\*</sup>. Ее основы были повторно сформулированы при строгом исключении любого обращения к интуиции.

Это создавало огромные психологические трудности, так же как и некоторые интеллектуальные. Принадлежность математики к реальному миру была бесспорной, даже если, с точки зре-

ния математических формалистов, она не соответствовала ему. В двадцатом столетии «чистейшая» математика, раз за разом, нашла некоторое соответствие в реальном мире и, действительно, служила, чтобы объяснить этот мир или господствовать над ним посредством технологии. Даже Дж. Х. Харди, чистый математик, специализирующийся в теории чисел — и, кстати, автор блестящего труда об автобиографическом самоанализе, — человек, который с гордостью утверждал, что ничто из сделанного им не имело никакого практического применения, пожертвовал теоремой, которая лежит в основе генетики современного населения (так называемый закон Харди-Вайнберга). Какой была природа отношений между математической игрой и структурой реального мира, которая соответствовала ей? Возможно, это не имело значения для математиков как математиков, но фактически даже многие из формалистов, такие как великий Гилберт (1862—1943), казалось, верили в объективную математическую правду, т. е. в то, что это было неуместным, чтобы математики думали о «природе» математических объектов, которыми они манипулировали, или об «истинности» своих теорем. Вся школа «интуиционистов», предвосхищенная Анри Пуанкаре (1854—1912) и руководимая, с 1907 года, голландцем Л. Е. Дж. Броувером (1882—1966), резко отвергала формализм, если необходимо, ценой отказа даже от тех триумфов математического рассуждения, чьи буквально невероятные результаты привели к повторному рассмотрению основ математики, и особенно собственной работы Кантора по теории комплектования, поставленной на обсуждение, вопреки страстной оппозиции некоторых ученых, в 1870-х годах. Страсти, вызванные этим сражением в стратосфере чистой мысли, показывают всю глубину интеллектуального и психологического кризисов, которые произвел крах старых связей между математикой и пониманием мира.

Кроме того, непосредственное переосмысление основ математики было весьма проблематичным, попытки обосновать ее на строгих определениях и не-противоречии себе (которое также стимулировало развитие математической логики) столкнулись с трудностями, которые должны были превратить период между 1900 и 1930 годами в «великий кризис основ» (Бурбаки)<sup>7\*</sup>. Безжа-

лостное исключение интуиции непосредственно было возможно только посредством некоторого сужения горизонта математика. Вне этого горизонта размещались парадоксы, которые математики и математические логики открыли теперь — Бертран Расселл сформулировал некоторые из них в начале 1900-х годов — и которые вызвали наиболее серьезные трудности\*. В конечном счете (в 1931 г.) австрийский математик Курт Гедель доказал, что для некоторых фундаментальных целей противоречие не может быть устранено вообще: мы не можем доказать, что аксиомы арифметики согласуются конечными шаговыми числами, которые не ведут к противоречиям. Однако к тому времени математики привыкли жить с сомнениями своего предмета. Поколения 1890-х и 1900-х годов были пока еще далеки от примирения с ними.

За исключением горстки людей, кризис в математике мог бы пройти незамеченным. Намного большее число ученых, так же, как в конечном счете и наиболее образованных людей, видели себя вовлеченными в кризис физики вселенной Галилея или Ньютона, чье начало может по справедливости датироваться 1895 годом и который должен был быть заменен эйнштейновской теорией вселенной относительности. Она встречалась с меньшим сопротивлением в мире физиков, чем математическая революция, возможно, потому что она еще не показала себя готовой бросить вызов традиционным убеждениям в уверенность и законы природы. Это должно было произойти лишь в 1920-х годах. С другой стороны, она встретила огромное сопротивление со стороны мирян. В самом деле, даже в 1913 г. образованный и безус-

---

\* Простым примером (Берри и Расселл) является утверждение, что «класс целых чисел, чье определение может быть выражено менее чем в шестнадцати словах, является конечным». Это невозможно без противоречия, чтобы определить целое число как «малейшее целое число, не определяемое менее чем в шестнадцати словах», так как второе определение содержит только десять слов. Наиболее значимым из этих парадоксов является «Парадокс Расселла», который спрашивает, является ли набор всех наборов, что не являются членами самих себя, членом самого себя. Это аналогично древнему парадоксу греческого философа Зенона относительно того, можем ли мы верить жителю Крита, который говорит «Все жители Крита — лгуны».

ловно ни в коем случае не глупый немецкий автор четырехтомной истории и обзора науки (который, как признано, не упомянул ни о Планке — кроме как об эпистомологе, — ни об Эйнштейне, ни о Дж. Дж. Томсоне, ни о ряде других, которые теперь едва ли остались бы незамеченными) отрицал, что в науках произошло что-либо исключительно революционное: «Это признак предубеждения, когда наука представлена так, как если бы ее основы теперь стали нестабильными и наша эра должна приступить к их реконструкции»<sup>8\*</sup> Как мы знаем, современная физика по-прежнему далека для большинства обывателей, даже тех, кто пытается следовать часто блестящим попыткам объяснить ее им, число которых увеличилось со времени первой мировой войны, так же как лучше постигшие схоластическую теологию люди были наибольшими сторонниками христианства в Европе четырнадцатого века. Левые идеологи должны были отклонить относительность как несовместимую с их идеей науки, а правые осуждали ее как еврейскую. Короче говоря, наука впредь стала не только чем-то, что могли понимать немногие люди, но и кое-чем, что многими осуждалось при все более значительном признании того, что эти многие зависят от нее.

Шок от убеждения на опыте, здравый смысл и принятые концепции вселенной могут, возможно, лучше всего быть проиллюстрированы проблемой «светоносного эфира», теперь уже почти забытого, как и эфира воспламенения, которым объяснялось сгорание в восемнадцатом веке до начала революции в химии. Не было никакого доказательства эфиру, верили, что что-то эластичное, негнущееся, несжимаемое и свободное наполняет вселенную, но оно должно было существовать, в картине мира, который, по существу, был механическим и исключал любое так называемое «действие на расстоянии», в основном потому что физика девятнадцатого столетия была полна волн, начиная со световых (чья фактическая скорость была определена впервые) и пополнилась за счет прогресса исследований в электромагнетизме, который, начиная с Максвелла, казалось, включал световые волны. Но в механически задуманной физической вселенной волны должны были бы быть волнами в *чем-то*, совсем как морские волны на воде. Поскольку волновое движение заняло более

чем когда-либо центральное место в картине физического мира (ни в коем случае не цитируя наивного современника), «эфир был открыт в этом столетии, в том смысле, что все известные доказательства его существования были собраны в этой эпохе»<sup>9\*</sup> Коротко говоря, он был изобретен, потому что, как придерживались мнения все «авторитетные физики» (за исключением только редкостно расходящихся с ними во мнениях ученых подобно Генриху Герцу (1857—1894), открывателю радиоволн, и Эрнсту Маху (1836—1916), наиболее известного как философ науки), «мы ничего не должны знать о свете, испускающей лучи теплоте, об электричестве или магнетизме; без этого, вероятно, не было бы такой вещи, как тяготение»<sup>10\*</sup>, так как картина механического мира также нуждалась в нем, чтобы проявлять свою силу через некую материальную среду.

Все же, если он существовал, он должен был иметь механические свойства, были ли они или нет выработаны посредством новых электромагнетических концепций. Они создавали значительные трудности, поскольку физика (со времен Фарадея и Максвелла) оперировала двумя концептуальными схемами, которые нелегко состыковывались и фактически имели тенденцию развиваться собственным путем: физика дискретных частиц («материи») и таковая непрерывных средств «полей». Это казалось очень легко приемлемым — теория была разработана Х. А. Лоренцом (1853—1928), одним из выдающихся голландских ученых, которые превратили наш период в золотой век голландской науки, сопоставимой с семнадцатым столетием, что эфир был постоянен по отношению к материи в движении. Но это теперь могло быть проверено, и двое американцев, А. А. Михельсон (1852—1931) и Е. У. Морли (1838—1923), попытались проделать это в знаменитом и впечатляющем эксперименте в 1887 г., который произвел результат, казавшийся глубоко загадочным, настолько необъяснимым и настолько несовместимым с глубоко укоренившимися представлениями, что он периодически повторялся со всевозможными предосторожностями до 1920-х годов: всегда с одним и тем же результатом.

Какова была скорость движения Земли сквозь постоянный (неподвижный) эфир? Луч света был разделен на две части, ко-

торые передвигались вперед и назад по двум равным дорожкам под прямыми углами друг к другу, и затем снова соединялись. Если Земля передвигалась через эфир в направлении одного из лучей, движение прибора во время прохождения света должно было бы сделать дорожки лучей неравными. Это можно было обнаружить. Но этого не случилось. Казалось, что эфир, «каким бы он ни был, двигался с Землей, или, возможно, с чем-нибудь еще, что измерялось. Эфир, казалось, не имел никаких физических характеристик вообще или был за рамками любой формы материального понимания. Альтернативой было отказаться от установившегося научного образа вселенной.

Читателей, знакомых с историей науки, не удивит то, что Лоренц предпочитал теории факту и поэтому попытался найти оправдание эксперименту Михельсона-Морли и таким образом спасти тот эфир, который рассматривался в качестве «точки опоры современной физики»<sup>11\*</sup>, с помощью экстраординарного труда по теоретической акробатике, который должен был превратить его в «Иоанна Крестителя относительности»<sup>12\*</sup>. Предполагается, что время и пространство могли простирались слегка обособленно, так что тело могло бы оказаться короче, будучи обращенным в направлении своего движения, чем оно было бы, находясь в покое или находясь поперек к направлению движения. Тогда сжатие прибора Михельсона-Морли могло бы скрыть неподвижность эфира. Эта гипотеза (она оспаривалась) фактически была очень близка к особой теории относительности Эйнштейна (1905), но делом Лоренца и его современников было то, что они разбили яйцо традиционной физики в отчаянной попытке сохранить его неповрежденным, тогда как Эйнштейн, который был ребенком, когда Михельсон и Морли пришли к своему удивительному выводу, был готов просто отказаться от древних убеждений. Не было никакого абсолютного движения. Не было никакого эфира, или если он и был, то не представлял никакого интереса для физиков. Так или иначе старые представления в физике были обречены.

Из этого поучительного эпизода могут быть сделаны два вывода. Первый, который удовлетворяет рациональный идеал, унаследованный наукой и ее историками от девятнадцатого столетия,



состоит в том, что факты сильнее теорий. Сделав открытия в электромагнетизме, обнаружив новые виды излучения — радиоволны (Герц, 1883), рентгеновские лучи (Рентген, 1895), радиоактивность (Беккерель, 1896), породив потребность все более и более распространять ортодоксальную теорию на любопытные формы, породив эксперимент Михельсона-Морли, раньше или позже теория должна была бы быть фундаментально изменена, чтобы прийти в соответствие с фактами. Не удивительно, что это не произошло немедленно, но это случилось достаточно скоро; преобразование может быть датировано с определенной точностью десятилетием с 1895 по 1905 год.

Другой вывод совершенно противоположен. Образ физической вселенной, который разрушился в 1895—1905 гг. основывался не на «фактах, а на а priori предположениях вселенной, основанных частично на механической модели семнадцатого столетия, частично на даже еще более древних интуициях опыта, чувств и логики. Никогда не существовало никакой большей трудности по части применения относительности к электродинамике или чему-нибудь еще, чем к классической механике, где она считалась само собой разумеющимся элементом со времен Галилея. Все, что физики могут сказать о двух системах, в пределах каждой из которых имеют силу законы Ньютона (например, два железнодорожных поезда), есть то, что они движутся относительно друг друга, а не то, что одна находится в каком-либо абсолютном смысле «в покое». Эфир изобрели потому, что принятая механическая модель вселенной требовала чего-нибудь подобного ему и потому что казалось интуитивно невообразимым, что в некотором смысле не было никакого различия между абсолютным движением и абсолютным покоем *где-нибудь*. Будучи изобретенным, он устранил распространение теории относительности на электродинамику или на законы физики вообще. Короче говоря, то, что произвело революцию в физике столь решительно, не являлось открытием новых фактов, хотя это, конечно, имело место, а представляло собой нежелание физиков пересматривать свои парадигмы. Как всегда, это не являлось искушенными сведениями, которые были подготовлены, чтобы признать, что «король был совсем голый»: они проводили свое время, изобретая тео-

рии, чтобы объяснить, почему эти одежды были столь роскошными и столь невидимыми.

Теперь оба вывода правильны, но второй намного более полезен для историков, чем первый. Первый действительно не объясняет должным образом того, как произошла революция в физике. Старые парадигмы обычно не препятствуют и не препятствовали тогда прогрессу исследования или формированию теорий, которые, казалось, были и согласующимися с фактами, и интеллектуально плодотворными. Они просто производили то, что может быть увидено в ретроспективе (как в случае с эфиром), будучи ненужными и недостаточно усложненными теориями. Наоборот, революционеры в физике — главным образом, принадлежащие к той «теоретической физике», которая все еще едва признавалась областью, по праву расположенной где-нибудь между математикой и лабораторным прибором, — явно не испытывали какого-либо большого желания выяснить непоследовательности между наблюдением и теорией. Они шли своим собственным путем, иногда побуждаемые чисто философскими или даже метафизическими мыслями подобно поиску Максом Планком «Абсолюта», который ввел их в физику против мнения учителей, которые были убеждены, что все еще оставалось небольшое число углов для связи с этой наукой, и в отделы физики, которые другие расценивали как неинтересные<sup>13\*</sup>. Ничто не является более удивительным в кратком автобиографическом очерке, написанном в пожилом возрасте Максом Планком, чья квантовая теория (открытая в 1900 г.) ознаменовала первое общественное крупное достижение новой физики, чем чувство изоляции, боязни быть непонятым, почти неудачи, которое, очевидно, никогда не покидало его. В конце концов, немного физиков были более уважаемы в своей собственной стране и в мире, чем он в течение своей жизни. Многое из описанного им в этом очерке безусловно было результатом работы двадцати пяти лет, начинающихся с его диссертации в 1875 г., во время которых молодой Планк безуспешно пытался получить признание своих старших коллег — включая людей, которых он в конечном счете обратил в другую веру, — чтобы понять, дать ответы, даже прочитать труд, который он представил им на рассмотрение: труд, о чьей

убедительности, по его мнению, не было возможности никакого сомнения. Мы оглядываемся назад и видим ученых, признающих наличие серьезных нерешенных проблем в своих областях и приступающих к их решению; некоторые шли правильным путем, большинство — неправильным. Но фактически, как напоминают нам историки науки, по крайней мере со времени Томаса Куна (1962), это не является способом, которым оперируют научные революции.

Что же тогда объясняет преобразование математики и физики в этот период? Для историка это серьезный вопрос. Кроме того, для историка, который не исследует исключительно специализированные дебаты среди теоретиков, вопрос состоит не просто в изменении научного образа вселенной, а в отношении этого изменения к остальной части того, что случилось в этот период. Процессы интеллекта не автономны. Как бы то ни было, природа отношений между наукой и обществом, в которой она выражена, и специфическая историческая конъюнктура, в которой она существует, и есть такое отношение. Проблемы, которые распознают ученые, методы, используемые ими, типы теорий, которые они расценивают как удовлетворительные вообще или адекватные в частности, идеи и модели, которые они используют в решении их, являются таковыми для тех мужчин и женщин, чья жизнь, даже в настоящее время, является отчасти ограниченной пределами лаборатории или предмета изучения.

На первый взгляд некоторые из этих отношений являются простыми. Существенная часть импульса к развитию бактериологии и иммунологии была функцией империализма, произведенной, чтобы империи дала толчок для одоления тропических болезней, таких как малярия и желтая лихорадка, которые сдерживали действия белых людей в колониальных областях<sup>14</sup>. Прямая линия, таким образом, связывает Джозефа Чемберлена<sup>45</sup> и (сэра) Рональда Росса<sup>46</sup>, нобелевского лауреата в 1902 г. Национализм сыграл роль, которая далека от того, чтобы пренебречь ею. Вассерманн, чей тест на сифилис обеспечил сильный стимул развитию серологии, подгонялся с 1906 года и далее немецкими властями, которые стремились догнать то, что они расценивали как чрезмерный прогресс французского исследования по сифи-

лису<sup>15\*</sup> В то время как было бы неразумным пренебрегать такими прямыми связями между наукой и обществом, осуществляемых ли в форме патронажа правительства или бизнеса и в форме оказания давления или в менее тривиальной форме научного труда, стимулированные или возникшие из практических достижений промышленности или ее технических требований, — эти отношения не могут быть удовлетворительно проанализированы в такие сроки, и менее всего за период с 1873 по 1914 год. С одной стороны, отношения между наукой и практическими применениями ее результатов были далеко не близкими, за исключением химии и медицины. Так, в Германии 1880-х и 1890-х годов — немногие страны принимали практические применения достижений науки более серьезно — технические академии (Technische Hochschulen) сетовали, что их математики не ограничивались только преподаванием математики, необходимой инженерам, и профессора инженерного дела противостояли таковым математикам в открытой битве в 1897 г. Действительно, большая часть немецких инженеров, хотя и вдохновленных американским примером оборудовать технологические лаборатории в 1890-х годах, не находились в тесном контакте с современной наукой. Промышленность, наоборот, жаловалась, что университеты не интересовались ее проблемами и проводили свои собственные исследования — хотя не торопились делать даже это. Крупп (который не разрешал своему сыну посещать техническую академию до 1882 года) не проявлял интереса к физике, в отличие от химии, до середины 1890-х годов<sup>16\*</sup> Коротко говоря, университеты, технические академии, промышленность и правительство были далеки от того, чтобы координировать свои интересы и усилия. Спонсируемые правительствами исследовательские институты действительно возникали, но они по-прежнему развивались едва ли успешно: Общество кайзера Вильгельма (сегодня Общество Макса Планка), которое финансировало и координировало основные исследования, было основано после 1911 г., хотя оно негласно финансировало исследования и до 1911 г. Кроме того, в то время как правительства несомненно начинали поручать и даже подталкивать те исследования, которые они рассматривали как значимые, мы пока еще едва можем говорить о

правительствах как о главной силе, заказывающей «фундаментальные» исследования, больше чем мы можем сказать о промышленности, возможно, за исключением лабораторий Белла. Кроме того, единственной наукой, за исключением медицины, в которой чистое исследование и его практические применения были одинаково интегрированы в это время, являлась химия, которая, конечно, не испытала никаких фундаментальных или революционных преобразований в течение нашего периода.

Эти научные преобразования не были бы возможны, но технические достижения в индустриальной экономике, типа тех, которые сделали электричество свободно доступным, обеспечили отвечающие требованиям вакуумные насосы и точные измерительные приборы. Но любой необходимый элемент во всяком объяснении не является сам по себе достаточным объяснением. Мы должны смотреть вперед. Сможем ли мы понять кризис традиционной науки, анализируя социальные и политические заботы ученых?

Они были очевидно доминирующими в социальных науках; и даже в тех естественных науках, которые, казалось, имели прямую связь с обществом и его интересами, социальный и политический элемент часто был решающим. В наш период это было безусловно тем случаем в областях биологии, которые напрямую касались социального человека и всех тех, которые могли быть связаны с концепцией «эволюции» и сильно политизированным именем Чарльза Дарвина. Оба несли высокую идеологическую нагрузку. В форме расизма, чья центральная роль в девятнадцатом столетии не может иметь слишком большого значения, биология была значимой в теории буржуазной идеологии, так как она перекладывала вину за видимые неравенства между людьми с общества на «природу» (см. *«Век Капитала»*, глава 14, II). Бедные были бедными потому, что родились худшими. Следовательно, биология потенциально была не только наукой политического права, но и наукой тех, кто подозрительно относился к науке, причине и прогрессу. Немногие мыслители были настроены более скептически по отношению к истинам середины девятнадцатого столетия, включая науку, чем философ Ницше. Все

же его собственные труды, и особенно его наиболее амбициозная работа «*Воля к Власти*»<sup>17</sup> («The Will to Power»), могут восприниматься как вариант социального дарвинизма, беседа, ведущаяся на языке «естественного отбора», в данном случае отбора, предназначенного произвести новую расу «сверхчеловека», который будет господствовать над низшими расами, как человек в природе господствует над животными и эксплуатирует их. И связи между биологией и идеологией в самом деле особенно заметны во взаимодействии между «евгеникой» и новой наукой «генетикой», которая фактически возникла около 1900 года, получив свое название вскоре после этого от Уильяма Бейтсона (1905).

Евгеника являлась программой применения способов размножения с помощью селекции, известных людям в сельском хозяйстве и выращивании домашнего скота задолго до генетики. Название датируется 1883 годом. Она, по существу, была политическим движением, преимущественно охватывавшем членов буржуазии или средних классов, убеждая правительства в программе позитивных или негативных действий по улучшению генетического состояния человеческой расы. Чрезмерные евгенисты полагали, что состояние человека и общества могло быть улучшено *только* генетическим совершенствованием человеческой расы — концентрируясь на поощряемых ценных человеческих наследственных чертах (обычно идентифицируемых с буржуазией или, соответственно, с цветом кожи людей определенных рас, такими как «нордическая»), и устраняя нежелательные черты (обычно идентифицируемые с бедными, колонизированными или непопулярными чужестранцами). Менее экстремистски настроенные евгенисты оставляли некоторую надежду социальным реформам, образованию и изменению окружающей среды вообще. В то время как евгеника могла бы стать фашистской и расистской псевдонаукой, которая обратилась к преднамеренному геноциду при Гитлере, до 1914 года она ни в коем случае исключительно не идентифицировалась с любой отраслью политики среднего класса, ничуть не больше, чем широко популярные расовые теории, в которых она была скрыта. Евгенические темы появляются в идеологической музыке либералов, социальных реформа-

торов, социалистов-фабианцев и некоторых других секций левых в тех странах, в которых движение было модным\*, хотя в битве между наследственностью и окружающей средой, или, во фразе Карла Пирсона «природа» и «питание», левые едва ли могли бы ратовать *исключительно* за наследственность. Отсюда, кстати, и заметный недостаток энтузиазма к генетике среди медицинских профессий в этот период. Большими победами медицины в это время были достижения в борьбе за сохранение и улучшение окружающей среды, как с помощью способов нового лечения вирусных заболеваний (которые, со времени Пастера и Коха, дали рост новой науке бактериологии), так и с помощью общественной гигиены. Врачи, как и социальные реформаторы, отказывались верить вслед за Пирсоном, что «1 500 000 фунтов, потраченные на поощрение здоровой линии родства, должны бы сделать больше, чем учреждение санатория в каждом городке», чтобы побороть туберкулез<sup>18\*</sup>. Они были правы.

То, что сделало евгенику «научной», было именно появление науки генетики после 1900 года, которая наводила на мысль, что влияние окружающей среды на наследственность могло быть совершенно исключено и что большинство или все характерные черты определялись отдельным геном, т. е. что выборочное размножение человека по линиям Менделя было возможным. Было бы непозволительным спорить, что генетика выросла из проблем евгеники, даже если и были ученые, которые были вовлечены в изучение наследственности «как *последствия* предшествующего обязательства по отношению к расовой культуре», особенно такие, как сэр Фрэнсис Гелтон и Карл Пирсон<sup>19\*</sup>. С другой стороны, связи между генетикой и евгеникой в период между 1900 и 1914 годами были весьма тесными, и как в Англии, так и в США ведущие личности в науке ассоциировались с движением по изучению причин наследственности, хотя даже до 1914 года, по крайней мере и в Германии, и в США, граница между наукой и расистской псевдонаукой была далеко не четкой<sup>20\*</sup>. Между войнами это побудило серьезных генетиков к выходу из организации по-

---

\* Движение за ограничение рождаемости было тесно связано с евгеническими аргументами.

следовательных евгенистов. Во всех событиях «политический» элемент в генетике был очевиден. Будущий нобелевский лауреат Х. Й. Мюллер вынужден был заявить в 1918 г.: «Я никогда не интересовался генетикой чисто как абстракцией, но всегда из-за ее фундаментального отношения к человеку — его черт характера и способов самосовершенствования»<sup>21\*</sup>

Если развитие генетики должно было видеться в контексте чрезвычайно необходимого занятия социальными проблемами, которым, как утверждали евгенисты, они обеспечат биологические решения (иногда как альтернативы социалистическим), развитие эволюционной теории, к которой она относилась, тоже имело политическое измерение. Развитие «социобиологии» в последние годы снова привлекло внимание к этому. Это было очевидным с самого начала действия теории «естественного отбора», чья ключевая модель, «борьба за существование», была прежде всего выведена из социальных наук (Мальтус). Наблюдатели на стыке столетий отмечали «кризис в дарвинизме», вызвавший различные альтернативные предположения — так называемые «витализм», «неоламаркизм» (как он был назван в 1901 г.), и другие. Это произошло благодаря не только научным сомнениям по поводу формулировок дарвинизма, который стал чем-то вроде биологического православия к 1880-м годам, но также благодаря сомнениям относительно его более широкого применения. Заметный энтузиазм социальных демократов к дарвинизму был достаточен, чтобы гарантировать, что он не будет обсуждаться исключительно в научных условиях. С другой стороны, в то время как господствующая политико-дарвинистская теория в Европе рассматривала его как укрепление представления Маркса, что эволюционные процессы в природе и обществе происходят независимо от воли и сознания людей — и каждый социалист знал, куда они неизбежно ведут, — в Америке «социал-дарвинизм» выделил свободную конкуренцию как основной закон природы и триумф наиболее подходящих (т. е. успешных бизнесменов) над непригодными (т. е. бедными). Выживание наиболее подходящих также могло быть обозначено, и фактически обеспечено, покорением низших рас и народов или войной против конкури-



рующих государств (о чем немецкий генерал Бернгарди намекал в 1913 г. в своей книге *«Германия и следующая война»*)<sup>22</sup>

Такие социальные темы непосредственно стали предметом дебатов ученых. Таким образом, первые годы генетики были опутаны постоянной и озлобленной ссорой между менделианцами (наиболее влиятельными в США и среди эксперименталистов) и так называемыми биометриками (относительно более сильные в Англии и среди математически развитых статистиков). В 1900 г. долго пренебрегаемые результаты исследований Менделя по законам наследственности были одновременно и независимо получены в трех странах, и — вопреки противодействию биометрической оппозиции — должны были лечь в основу современной генетики, хотя делался намек, что биологи 1900 года вычитали теорию генетических детерминант в старых отчетах о выращивании сладкого горошка, о которой Мендель и не помышлял в своем монастырском саду в 1865 г. Ряд причин для этого спора был предложен историками науки, и один набор таких причин имеет ясное политическое измерение.

Главным новшеством, вместе с генетикой Менделя, восставившей заметно модифицированный «дарвинизм» в его статусе научно правильной теории биологической эволюции, было введение в него непредсказуемых и прерывистых генетических «скачков», отклонений от нормального роста или уродцев, главным образом нежизнеспособных, но иногда имеющих потенциальные эволюционные преимущества, которые должен использовать естественный отбор. Они были названы «мутациями» Гюго де Врие, названными именем одного из нескольких современных первооткрывателей забытых исследований Менделя. Де Врие и сам находился под влиянием главного английского менделианца, изобретателя слова «генетика», Уильяма Бейтсона, чьи исследования разновидности (1894) проводились «с особым отношением к прерывистости в происхождении разновидностей». Все же непрерывность и прерывность не были вопросом только разведения растений. Глава биометриков, Карл Пирсон, отверг прерывность даже прежде чем сам стал интересоваться биологией, потому что «никакая большая социальная реконструкция, которая будет приносить пользу любому классу сообщества, никогда

не является порождением революции... человеческий прогресс, подобно Природе, никогда не скачет»<sup>23</sup>

Бейтсон, его величайший антагонист, также был далеко не революционером. Все же, если хотя бы одна вещь относительно взглядов этой любопытной личности ясна, то это — его отвращение к существующему обществу (вне пределов Кембриджского университета, который он желал оградить от всех реформ, за исключением допуска женщин), его ненависть к индустриальному капитализму, «противной полезности владельца магазина», и его ностальгия по разумному феодальному прошлому. Коротко говоря, и для Пирсона, и для Бейтсона изменение разновидностей было вопросом идеологии столько же, как и вопросом науки. Бессмысленно, и в самом деле как правило невозможно, уравнивать специфические научные теории и специфические политические отношения, меньше всего в таких областях, как «эволюция», которая представляет собой разнообразие различных идеологических метафор. Почти бессмысленно анализировать их в пределах социального класса, где они употребляются некоторыми людьми, фактически все из которых, в этот период, принадлежали почти точно к профессиональным средним классам. Однако в таких областях как биология, политика, идеология и наука, где они не могли держаться обособленно, их связи были слишком очевидны.

Несмотря на тот факт, что теоретические физики и даже математики тоже люди, эти связи не очевидны в их случае. Сознательные или неосознанные политические влияния могут просматриваться в их дебатах, но без большой пользы. Империализм и подъем массовых рабочих движений могут помочь объяснить достижения в биологии, но едва ли это достижимо с помощью символической, логической или квантовой теории. События в мире за пределами их исследований в годы начиная с 1875 и по 1914 не были настолько катастрофичными как прямое вмешательство в их работу, как они должны были поступать после 1914 года и как они могли поступать в последние годы восемнадцатого и в начале девятнадцатого столетий. Революции в мире интеллекта в этот период едва ли могут быть выведены по аналогии из революций во внешнем мире. И все же каждый историк

поражается тем фактом, что революционное преобразование научного представления мира в эти годы формирует часть более общего, и решительного, отказа от установившихся и часто уже давно принятых ценностей, истин, путей видения мира и структурирования его концептуально. Это может быть чистой случайностью или произвольным выбором, что квантовая теория Планка, открытие заново Менделя, «*Logische Untersuchungen*» Хуссерля, «*Толкование снов*» Фрейда и «*Натюрморт с луковицами*» Сезанна могли все датироваться 1900 годом — было бы одинаково возможным открыть новое столетие «*Неорганической химией*» Оствальда, «*Тоской*» Пуччини, первым романом «*Клодин*» Колетт и «*L'Aiglon*» («*Орленком*») Ростана — но совпадение драматического новшества в нескольких областях деятельности остается поразительным.

Один ключ к разгадке преобразования уже был предложен. Он был скорее негативным, чем положительным, поскольку он заменял то, что было расценено, правильно или ложно, как последовательное, потенциально всестороннее научное представление о мире, в котором причина не противоречила интуиции, безо всякой равнозначной альтернативы. Как мы видели, теоретики сами были озадачены и дезориентированы. Ни Планк, ни Эйнштейн не были готовы отказаться от рациональной, причинной, определенной вселенной, для разрушения которой их работа сделала так много. Планк, как и Ленин, враждебно относился к неопозитивизму Эрнста Маха. Мах, в свою очередь, хотя и будучи одним из редких ранних скептиков по отношению к физической вселенной ученых конца девятнадцатого столетия, в равной степени скептически относился к теории относительности<sup>24\*</sup>. Маленький мир математики, как мы видели, раздирали баталии по поводу того, могла ли быть математическая истина больше чем формальной. По крайней мере, натуральные числа и время были «реальными», думал Брауер. Истина состоит в том, что теоретики находились стоящими перед лицом противоречий, которые они не могли разрешить, даже из-за «парадоксов» (эвфимизм для противоречий), которые символические логики так усердно пытались преодолеть, не были достаточно устранены — даже, как вынужден был признать Расселл, с помощью его и Уайтхеда

фундаментальных трудов *«Принципы математики»* (1910—1913). Наименее хлопотным решением было отступление к тому неопозитивизму, который должен был стать ближайшей теорией к принятой в двадцатом столетии научной философии. Поток неопозитивизма, появившийся к концу девятнадцатого столетия, с авторами подобными Дьюхему, Маху, Пирсону и химику Оствальду, не следует смешивать с позитивизмом, господствовавшим над естественными и социальными науками в канун новой научной революции. Этот позитивизм верил, что смог отыскать последовательное представление о мире, которое намеревалось оспорить истинные теории, основанные на проверенном и систематизированном опыте (идеально экспериментальных) наук, т. е. на «фактах природы» как обнаруженных с помощью научного метода». В свою очередь эти «позитивные науки, как отличающиеся от неупорядоченных размышлений теологии и метафизики, должны были бы обеспечить устойчивую основу для закона, политики, этики и религии—короче говоря, для обычаев и привычек, которыми люди жили вместе в обществе и выражали свои надежды на будущее.

Ненаучные критики, подобные Хуссерлю, указывали на ту «исключительность, с которой общее представление о мире современного человека во второй половине девятнадцатого столетия позволило себе определиться с помощью позитивных наук и позволило ослепить себя: «процветание», которое они произвели, означало безразличное отворачивание от вопросов, имевших решающее значение для настоящего человечества»<sup>25\*</sup>. Неопозитивисты сосредоточили внимание непосредственно на концептуальных дефектах позитивных наук. Стоя лицом к лицу с научными теориями, которые, теперь рассматриваемые как не адекватные, могли также рассматриваться как «принуждение языка и растяжение (фильтрование) определений»<sup>26\*</sup>, и с иллюстративными моделями (подобно модели «атома, сделанной с помощью бильярдных шаров»), которые были неудовлетворительны, они выбрали два связанных между собой пути для выхода из этого затруднения. С одной стороны, они предложили реконструкцию науки на безжалостной эмпиристской и даже феномениалистской основе, с другой стороны, строгую формализацию и аксиомизацию основ

науки. Это устраняло предположения относительно отношений между «реальным миром» и нашими пониманиями его, т. е. в отношении «истины» как отличной от внутренней последовательности и полноценности суждений, не мешая актуальной практике науки. Научные теории, как категорично заявил Анри Пуанкаре, не бывают «ни истинными, ни ложными», а просто полезными.

Внушали, что подъем неопозитивизма в конце столетия сделал возможным научную революцию с помощью позволения физическим идеям преобразовываться, не беспокоя предшествующие предвзятые суждения о вселенной, причинной связи и естественных законах. Это, несмотря на восхищение Эйнштейна Махом, должно было вызвать большое доверие у научных философов — даже у тех, кто просил ученых не беспокоиться по поводу философии — и недооценивать сам общий кризис принятых в девятнадцатом столетии идей в этот период, когда неопозитивистский агностицизм и переосмысление математики и физики являлись лишь отдельными его аспектами. Если мы должны видеть это преобразование в его историческом контексте вообще, оно должно быть частью этого общего кризиса. И если мы должны найти общий знаменатель для множественных аспектов этого кризиса, который фактически воздействовал в различной степени на все стороны интеллектуальной деятельности, нужно, чтобы все было противопоставлено друг другу после 1870-х годов с помощью неожиданных, непредсказуемых и часто непостижимых результатов Прогресса. Или, чтобы быть более точным, с помощью рожденных им противоречий.

Используя метафору, подходящую самонадеянному Веку Капитала, созданные человечеством железнодорожные линии, как ожидалось, должны будут вести к предназначениям, которых путешественники могли бы и не знать, еще не прибыв туда, но в отношении существования и общей природы которых они ничуть не сомневались. Точно так же путешественники на Луну Жюль Верна ничуть не сомневались относительно существования этого спутника или относительно того, что, прибыв туда, они уже должны будут знать все о ней и о том, что оставалось открыть при более близком осмотре ее поверхности. Двадцатое столетие мог-

ло быть предсказано экстраполяцией в качестве улучшенной и более роскошной версии середины девятнадцатого\*. И все же, поскольку путешественники выглядывали из окон поезда человечества во время его неуклонного продвижения вперед в будущее, мог ли ландшафт, который они видели, непредвиденный, загадочный и беспокоящий, действительно быть таким на пути к месту назначения, указанному в их билетах? Разве они сели не в свой поезд? Хуже: они сели в нужный поезд, который так или иначе вез их в направлении, им нужном и им не нравившемся? Если так, то как возникла эта кошмарная ситуация?

Интеллектуальная история десятилетий после 1875 года наполнена ощущением ожиданий не только разочарованных — «какой красивой была Республика, когда у нас еще был император», как шутил один разочарованный француз — но и так или иначе превращающихся в им противоположные. Мы видели это ощущение беспокойства по поводу перемен как у идеологов, так и у политиков в это время (см. главу 4 выше). Мы уже наблюдали в сфере культуры, где оно породило небольшой, но процветающий жанр буржуазной литературы об упадке и гибели современной цивилизации, начиная с 1880-х годов. *Вырождение* на примере будущего сиониста Макса Нордау (1893) является хорошим, и соответственно истеричным, примером. Ницше, красноречивый и грозный пророк надвигающейся катастрофы, чью точную природу он не смог точно определить, выразил этот кризис ожиданий лучше чем кто-либо еще. Сама его манера литературного описания, посредством смены поэтических и пророческих афоризмов, содержащих призрачные намеки или бесспорные истины, казалась совершенно противоречащей рационалистской системообразующей философской беседе, которую, по его утверждению, он практиковал. Начиная с 1890 года увеличивалось число его восторженных поклонников у молодежи средних классов.

Для Ницше упадок *авангарда*, пессимизм и нигилизм 1880-х годов был и больше чем модой. Они были «логическим конеч-

---

\* За исключением того, что второй закон термодинамики предсказывал возможную гибель вселенной от оледенения, заражая таким образом здоровый викторианский базис пессимизмом.

ным продуктом наших великих ценностей и идеалов»<sup>27\*</sup> Естественная наука, спорил он, вызвала свой собственный распад, породила своих собственных врагов, антинауку. Результаты образа действия мысли, принятые политикой и экономикой девятнадцатого столетия, были нигилистскими<sup>28\*</sup> Культуре века угрожали ее собственные культурные достижения. Демократия породила социализм, фатальную подмену гения посредственностью, силу слабостью — замечание, также выделяемое, в более прозаичном и позитивистском ключе, евгенистами. В этом случае не было нужды пересматривать все эти ценности и идеалы и систему идей, частью которых они являлись, ибо в любом случае произошла ли «переоценка всех ценностей»? Такие проявления множились, поскольку старое столетие шло к своему концу. Единственной идеологией серьезного калибра, которая исповедовала веру девятнадцатого столетия в науку, причину и прогресс, был марксизм, не затронутый разочарованием по поводу настоящего, потому что он надеялся на будущий триумф именно тех «масс», чей подъем вызвал так много беспокойства в рядах мыслителей среднего класса.

Достижения в науке, нарушившие почву установленного объяснения, сами были непосредственно частью этого общего процесса преобразованных и обратимых ожиданий, который происходил в это время повсюду среди мужчин и женщин, на общественном или частном уровне, противопоставляясь настоящему и сравнивая его со своими собственными или своих предков ожиданиями (надеждами). Мог ли кто предположить, что в такой атмосфере мыслители больше чем в другие времена были готовы подвергнуть сомнению установленные образы действия интеллекта, обдумывать, или по крайней мере рассматривать до сих пор невероятные? В отличие от начала девятнадцатого столетия, революции, нашедшие отклик, в некотором смысле, в продуктах разума, фактически не имели места, но были скорее ожидаемыми. Они были имплицированы в кризис буржуазного мира, который просто не мог больше пониматься в своих собственных старых границах. Взглянуть на мир по-новому, изменить перспективу было не намного легче. Это было то, что так или иначе

большинство людей фактически должны были сделать в своей жизни.

Однако это ощущение интеллектуального кризиса было только феноменом меньшинства. Среди научно образованных людей, можно было бы предположить, он ограничивался немногими людьми, прямо вовлеченными в крах образа видения мира в девятнадцатом столетии, и далеко не все из них остро ощущали его. Круг заинтересованных людей был крошечным, даже там, где научное образование резко расширилось, — как в Германии, где число изучающих науки студентов увеличилось в восемь раз между 1880 и 1900 годами — их можно было все еще скорее исчислять в тысячах, чем в десятках тысяч<sup>29\*</sup>. И многие из них ушли в промышленность или поистине рутинное учительство, где они вряд ли были слишком обеспокоены по поводу краха установившегося образа вселенной. (Одна треть английских дипломированных специалистов в 1907—1910 гг. были учителями начальных школ)<sup>30\*</sup>. Химики, самая многочисленная группа профессиональных ученых того времени, все еще находились лишь на окраинах новой научной революции. Те, которые почувствовали интеллектуальное землетрясение непосредственно, относились к числу математиков и физиков, чьи ряды пока еще росли не очень быстро. В 1910 г. Немецкое и Английское физические общества вместе насчитывали только около 700 членов в сравнении с в десять раз большим числом членов вместе взятых Английского и Немецкого ученых обществ по химии<sup>31\*</sup>.

Кроме того, даже в наиболее расширенном определении, современная наука оставалась географически сосредоточенным сообществом. Распределение новых нобелевских премий показывает, что ее главные достижения все еще находились в традиционной области научного прогресса — в Центральной и Северо-Западной Европе. Из первых 76 нобелевских лауреатов<sup>32\*</sup> все, кроме десяти, были уроженцами Германии, Англии, Франции, Скандинавии, Нидерландов, Австро-Венгрии и Швейцарии. Только трое были из Средиземноморья, двое из России и трое из быстро растущего, но пока еще второстепенного, научного сообщества США. Остальная часть неевропейской науки и математики завывала свою известность — иногда чрезвычайно выдающуюся



известность, как в случае с новозеландским физиком Эрнестом Резерфордом, — в основном работая в Англии. Фактически научное сообщество было более концентрированным, чем даже подразумевают эти числа. Более 60% всех нобелевских лауреатов были представителями немецких, английских и французских научных центров.

Западная интеллигенция, которая пыталась выработать альтернативы либерализму девятнадцатого столетия, образованная буржуазная молодежь, приветствовавшая Ницше и иррационализм, снова оказались всего лишь малыми меньшинствами. Их представители, исчисляемые несколькими дюжинами, и их аудитория по существу принадлежали к новым поколениям выпускников университетов, которые являлись, вне США, творческой образованной элитой. В 1913 г. в Бельгии и Нидерландах из общего населения в 13—14 млн насчитывалось 14 000 студентов, 11 400 в Скандинавии (без Финляндии) из почти 11 млн, и даже среди старательных немцев только 77 000 из 65 млн.<sup>33\*</sup> Когда журналисты говорят о «поколении 1914 года», то, что они подразумевают под этим, было обычно столиком в кафе, за которым сидело много молодых людей, говорящих от имени всех своих друзей, появившихся, когда они поступили в *Ecole Normale Supérieure* в Париже, или от имени некоторых самозваных лидеров интеллектуальной моды в университетах Кембриджа или Гейдельберга.

Это не должно побуждать нас недооценивать воздействие новых идей, ряд из которых вовсе не являлись проводником интеллектуального влияния. Общее количество членов, избранных в малое кембриджское дискуссионное общество, обычно известных под именем «Апостолы», между 1890 годом и войной, насчитывало только тридцать семь человек; но среди них были философы Бертран Расселл, Дж. Э. Мур и Людвиг Виттгенштейн, будущий экономист Дж. М. Кейнс, математик Дж. Х. Харди и ряд людей, пользующихся заслуженной известностью в английской литературе<sup>34\*</sup> В кругах русской интеллигенции воздействие революции на физику и философию уже в 1908 г. было таким, что Ленин почувствовал необходимость написать большую книгу, направленную против Эрнста Маха, чье политическое воздей-

ствие на большевиков он считал и заметным, и вредным одновременно: *«Материализм и эмпириокритицизм»*. Что бы мы ни думали по поводу суждений Ленина о науке, его оценка политических фактов была в высшей степени реалистичной. Кроме того, в мире, который уже был сформирован (как оспаривал Карл Краус, сатирик и враг прессы) современными средствами информации, искаженным и вульгарным понятиям главных интеллектуальных перемен не потребовалось бы много времени, чтобы проникнуть в сознание широкой публики. В 1914 г. имя Эйнштейна едва ли было известно за пределами собственного дома великого физика, но к концу мировой войны «относительность» уже была предметом фривольных шуток в кабаре Центральной Европы. В пределах нескольких лет первой мировой войны Эйнштейн, несмотря на недоступность его теории для большинства обывателей, стал, возможно, единственным ученым со времен Дарвина, чье имя и образ были повсеместно признаны в кругах образованной светской публики во всем мире.

---

## ГЛАВА 11

# ПРИЧИНА И ОБЩЕСТВО

*Они верили в Причину как католики верили в Деву Марию.*

Ромен Роллан, 1915 г.<sup>1\*</sup>

*В невротическом мы видим инстинкт запрещенной агрессии, в то время как классовое сознание освобождает его; Маркс показывает, как оно может быть удовлетворено в соответствии с сохранением значения цивилизации; пониманием истинных причин агрессии и соответствующей организацией.*

Альфред Адлер, 1909 г.<sup>2\*</sup>

*Мы не разделяем устаревшее убеждение в том, что общее число культурных феноменов может быть выведено как продукт или функция созвездий «материальных» интересов. Однако мы полагаем, что с научной точки зрения было бы творческим и плодотворным анализировать социальные феномены и культурные события в особом свете их распространенности, для которой они экономически обусловлены. Это будет оставаться таким в течение обозримого будущего, пока этот принцип применяется с осторожностью и не скован догматическими пристрастиями.*

Макс Вебер, 1904 г.<sup>3\*</sup>

---

## I

Возможно, здесь следует упомянуть о другой форме конфронтации интеллектуального кризиса. Ибо один способ размышления, тогда невероятный, всецело должен был исключать причину и науку. Трудно измерить силу этого противодействия интеллекту в последние годы старого столетия, или даже, ретроспективно, оценить его силу. Многие из наиболее ратующих за него сторонников принадлежали к преступному миру или *demi-monde* интеллигенции и сегодня забыты. Мы склонны опустить моду «на оккультизм, некроманию, магию, парапсихологию» (которая занимала умы некоторых ведущих английских интеллек-

туалов) и различные версии восточного мистицизма и религиозности, которые находились на периферии западной культуры. Незвестное и непостижимое пользовалось большей популярностью, чем со времен начала романтической эры (см. «*Век Революции*», гл. 14, II). Мимоходом мы можем заметить, что мода на такие предметы, однажды распространившись в основном среди занимающихся самообразованием левых, теперь имела тенденцию двигаться резко в направлении политически правых. Ибо различные дисциплины больше не являлись, как они уже однажды были, потенциальными науками типа френологии, гомеопатии, спиритуализма, и другими формами парапсихологии, одобряемыми теми, которые скептически относились к обычному обучению истеблишмента, а представляли собой отказ от науки и всех ее методов. Однако в то время как эти формы обскуратизма и сделали некоторый вклад в сущность *авангардных* искусств (как, например, через живописца Кандинского или поэта В. Б. Йитса), их воздействие на естественные науки было незначительным.

В самом деле, они не оказали заметного воздействия на широкую публику. Для широкой массы образованных людей, и особенно для тех, кто получил образование недавно, старые интеллектуальные истины не рассматривались. Наоборот, они были триумфально подтверждены мужчинами и женщинами, для которых «прогресс» имел большое значение. Главным интеллектуальным достижением лет начиная с 1875 года по 1914 год был впечатляющий прогресс народного образования и самообразования и широкой читающей публики. Фактически, самообразование и самоусовершенствование были одной из главных функций новых движений рабочего класса и одной из главных притягательных сил для его бойцов. И то, что поглощали массы недавно получивших образование светских людей, и приветствовали, если они по своим политическим убеждениям находились на демократическом или социалистическом левом фланге, было рациональными несомненными фактами науки девятнадцатого столетия, враждебными суеверию и привилегиям, пронизанными духом образования и просвещения, доказывающими и утверждающими прогресс и эмансипацию простых людей. Одним из реша-

ющих достоинств марксизма по сравнению с другими разновидностями социализма было то, что он являлся «научным социализмом». Дарвин и Гутенберг, изобретатель печатного прессы, были кем-то вроде почетных членов среди радикалов и социальных демократов, как Томас Пейн и Маркс. Выражение Галилея «И все же она вертится» постоянно цитировалось в социалистической риторике, чтобы указать на неизбежность триумфа рабочего класса.

Массы находились как в процессе развития, так и в процессе получения образования. Между серединой 1870-х годов и войной число учителей начальных школ выросло где-то на одну треть в странах, подобно Франции, располагавших достаточным числом школ, до семи или даже тринадцати раз по сравнению с количеством учителей в 1875 г. в формально имевших малое число школ странах, таких как Англия и Финляндия; число учителей средних школ могло увеличиться в четыре или пять раз (Норвегия, Италия). Сам факт, что массы находились как в процессе развития, так и в процессе получения образования, выдвигал фронт старой науки вперед даже тогда, когда ее база обеспечения в тылу готовилась к реорганизации. Для школьных учителей, по крайней мере в романоязычных странах, занятия наукой подразумевали внушение духа энциклопедистов, прогресса и рационализма, того, что французский учебник (1898) называл «освобождением духа», легко идентифицированного со «свободной мыслью» или освобождением от Церкви и Бога<sup>4\*</sup>. Если и был какой-нибудь кризис для мужчин и женщин, он не был кризисом науки или философии, а кризисом представлений тех, кто жил привилегией, эксплуатацией и суеверием. И в мире вне западной демократии и социализма наука подразумевала силу и прогресс даже в менее метафорическом смысле. Она означала идеологию модернизации, направленную на отсталые и суеверные сельские массы учеными, просвещенными политическими элитами олигархов, вдохновленных позитивизмом — как в Бразилии времен Старой республики, так и в Мексике Порфирио Диаса. Она означала тайну западной технологии. Она означала социальный дарвинизм, который узаконил американских мультимиллионеров.

Наиболее поразительным доказательством этого прогресса простого евангелия науки и причины был решительный разрыв с традиционной религией, по крайней мере в европейской глубинке буржуазного общества. Нет нужды говорить, что большинство человеческой расы собирались стать «свободными мыслителями» (используя современное выражение). Великое множество людей, включая фактическое общее число его членов женского пола, оставалось преданным вере в богов или духов чего бы то ни было, что было религией или где бы они не находились и в каком сообществе, и в свои обряды. Как мы уже видели (см. выше), христианские церкви заметно феминизировались впоследствии. Примечательно, что все главные религии не доверяли женщинам и твердо настаивали на их подчиненном положении, и некоторые, подобно иудаизму, фактически исключили их из формального религиозного поклонения, женская лояльность богу казалась непостижимой и удивительной для мужчин-рационалистов и часто рассматривалась как еще одно доказательство подчиненного положения их рода. Таким образом боги и антибоги устроили заговор против них, хотя сторонники свободной мысли, теоретически преданные равенству полов, делали это со стыдом на лицах.

Снова, над большей частью не-белого мира, религия по-прежнему оставалась единственным языком для разговора о космосе, природе, обществе и политике, и как формулировала, так и санкционировала то, о чем люди думали и что они делали. Религия была тем, что мобилизовало мужчин и женщин для целей, которые западные люди выражали в светских терминах, но которые на деле не могли быть полностью переведенными в светскую идиому. Британские политические деятели могли желать низвести значение Махатмы Ганди до простого антиимпериалистического агитатора, использующего религию с целью пробуждения суеверных масс, но для Махатмы святая и духовная жизнь была больше чем политическим инструментом завоевания независимости. Каким бы ни было ее значение, религия была вездесущей. Молодые бенгальские террористы 1900-х годов, рассадник того, что позже выросло в индийский марксизм, были вна-

чале вдохновлены бенгальским аскетом и его преемником Свами Вивекананда (чья доктрина Веданта, возможно, лучше всего известна через менее болезненную калифорнийскую версию), учение которого они толковали, вероятно, как призыв к восстанию страны, теперь подчиненной иностранной власти, но предназначенной дать человечеству универсальную веру\*. Говорили, что «не через светскую политику, а через квазирелигиозные общества образованные индийцы впервые усвоили привычку думать и организовываться в национальном масштабе»<sup>6\*</sup> Как поглощение Запада (через группы подобно Брахмо Самадж — смотри «Век Революции», гл. 12, II), так и отрицание Запада местными средними классами (через группу Арья Самадж, основанную в 1875 г.) приняли эту форму; не говоря уже о Теософическом обществе, чьи связи с индийским национальным движением будут отмечены ниже.

И если в странах, подобных Индии, эмансипированные, образованные слои населения, приветствовавшие современность, нашли таким образом свои идеологии, неотделимые от религии (или, если они находили их отделимыми, должны были быть осторожными, чтобы скрывать этот факт), то тогда является очевидным, что привлекательность чисто светского идеологического языка у масс была незначительной, и чисто светская идеология непостижимой. Там, где они поднимали восстание, оно вполне вероятно должно было происходить под знаменами их богов, как они по-прежнему все еще продолжали выступать под этими знаменами после первой мировой войны против англичан из-за свержения турецкого султана, который ex officio был калифом, или главой всех правоверных мусульман, или против мексиканской революции за Господа Христа. Коротко говоря, в мировом масштабе, было бы абсурдно думать, что религия была значительно слабее в 1914 г., чем в 1870 или в 1780 г.

---

\* «О Индия... поймешь ли ты, посредством своей изыщной трусости, что свобода заслуживается только храбрым и героическим?... О Ты, Мать силы, заberi мою слабость, заberi мою немужественность, и сделай меня мужчиной» (Вивекананда)<sup>5\*</sup>.

Все же в буржуазных глубинках, хотя, возможно, не в США, традиционная религия теряла значение с беспрецедентной быстротой, как интеллектуальная сила, так и как влиятельная сила среди масс. До некоторой степени это было почти автоматическим последствием урбанизации, так как на деле существовало убеждение, что, при всех прочих равных условиях, город, возможно, нарушает благочестие больше, чем деревня, а большой город больше, чем маленький город. Но даже большие города становились менее религиозными, когда иммигранты из набожной сельской местности ассимилировались в антирелигиозных или скептических от рождения горожан. В Марселе половина населения в 1840 г. еще посещала воскресные богослужения, но к 1901 г. это делали только 16 процентов жителей<sup>7\*</sup> Кроме того, в римско-католических странах, которые охватывали 45 процентов европейского населения, вера отступала особенно быстро в наш период перед объединенным наступлением (цитируя французскую духовную жалобу) рационализма среднего класса и социализма школьных учителей<sup>8\*</sup>, но особенно комбинации эмансипированных идеалов и политического расчета, который сделал борьбу против церкви ключевым вопросом политики. Слово «антиклерикальный» впервые появилось во Франции в 1850-х годах, и антиклерикализм стал главным в политике французского центра и левых начиная с середины столетия, когда свободное масонство перешло под антиклерикальный контроль<sup>9\*</sup>

Антиклерикализм стал центральным вопросом политики в католических странах по двум главным причинам: потому что римская церковь склонялась к общему отказу от идеологии причины и прогресса и таким образом идентифицировалась с политическими правыми, и потому что борьба против суеверия и обскурантизма скорее объединяла буржуазию и рабочий класс, чем отделяла капиталиста от рабочего. Проницательные политические деятели не преминули внушить эту мысль в своих воззваниях за единство всех хороших людей: Франция пережила дело Дрейфуса с помощью такого объединенного фронта и немедленно поколебала католическую церковь.

Одним из побочных продуктов этой борьбы, которая, таким



образом, вела к отделению церкви от государства во Франции в 1905 г., было резкое усиление воинствующей дехристианизации. В 1899 г. только 2,5 процента детей в епархии Лиможа не были крещены; в 1904 г. — на пике движения — их количество составляло 34 процента. Но даже там, где борьба церкви и государства не находилась в центре политики, организация массовых рабочих движений, или вступление обычного мужчины (ибо женщины были более лояльны к вере) в политическую жизнь, имело тот же самый эффект. В набожной долине реки По в Северной Италии жалобы по поводу падения влияния религии умножились в конце столетия. (В городе Мантуя две трети жителей воздержались от празднования Пасхи в 1885 г.). Итальянские чернорабочие, приехавшие на сталелитейные заводы в Лотарингию до 1914 года, уже были атеистами. В Испании (или скорее в Каталонии) в епархии Барселоны и Вича пропорция детей, крещенных в их первую неделю жизни, сократилась наполовину между 1900 и 1910 годами<sup>11\*</sup> Короче говоря, для большинства жителей Европы прогресс и переделка жизни на светский манер шли рука об руку. И они оба развивались все быстрее, потому что церкви все более и более теряли тот официальный статус, который давал им преимущества монополиста. Университеты Кембриджа и Оксфорда, которые исключали или подвергали дискриминации неангликанцев до 1871 года, скоро перестали быть убежищами для англиканских священнослужителей. Если в Оксфорде (1891) большинство глав колледжей все еще состояли в святых орденах, ни один из профессоров уже не был их членом<sup>12\*</sup>

В самом деле, немного вихрей дуло в противоположном направлении: англиканцы из высшего класса, которые перешли в более полнокровную веру римского католицизма, эстеты *fin de siècle*, привлеченные красочным ритуалом, и, возможно, особенно иррационалисты, для которых сама интеллектуальная нелепость традиционной веры доказывала свое превосходство над простой причиной, и реакционеры, которые поддерживали оплот древней традиции и иерархию даже тогда, когда они не верили в них, как это было во Франции в случае с Шарлем Моррасом, интеллектуальным лидером роялистов и ультракатолической орга-

низации «Action Française». Действительно было много таких людей, которые практиковали свою религию, и этим занимались даже некоторые пылкие верующие среди образованных людей, ученых и философов, но религиозная вера лишь у немногих из них могла подразумеваться из их трудов.

Коротко говоря, интеллектуальная западная религия никогда больше не подвергалась более сильному давлению, чем в начале 1900-х годов, и с политической точки зрения она полностью отступила, по крайней мере, за конфессиональные ограды, забаррикадировавшись от нападения извне.

Единственным, кто выгадал от этой комбинации демократизации и переделки жизни на светский манер, была политика и идеология левых, и это произошло в тех кварталах, где старая буржуазия верила в науку, причину и процветающий прогресс.

Самым замечательным наследником (политически и идеологически преобразованных) прежних убеждений был марксизм, вместилище теории и доктрины, выработанное после смерти Карла Маркса из его и Фридриха Энгельса трудов, в основном в пределах Германской Социал-Демократической партии. Многими способами марксизм, по версии Карла Каутского (1854—1938), определявшего его ортодоксию, был последним триумфом научного доверия позитивизму девятнадцатого столетия. Он был материалистичным, определяющим, неизбежным, эволюционистским и твердо идентифицировал «законы истории» с «законами науки». Каутский сам начинал с восприятия Марксовой теории истории как «ничего, кроме применения дарвинизма к социальному развитию», и в 1880 г. придерживался мнения, что дарвинизм в социальной науке учит, что «переход от старой к новой концепции мира происходит бесповоротно»<sup>13\*</sup>. Парадоксально, для теории, так крепко привязанной к науке, марксизм выглядел в общем скорее довольно подозрительным из-за драматических современных новшеств в науке и философии, возможно потому что они, казалось, прилагались для ослабления материалистических (т. е. свободомыслящих и решающих) убеждений, которые были такими привлекательными. Только в австро-марксистских кружках интеллектуальной Вены, где встречалось так мно-

го новшеств, марксизм взаимодействует с этими достижениями, хотя он мог бы сделать больше среди революционных русских интеллектуалов, и для более воинственного приложения к материализму его марксистских гуру\*. Ученые-натуралисты этого периода, следовательно, имели мало профессиональных причин интересоваться Марксом и Энгельсом, и, хотя некоторые были левыми в политике, как во Франции в деле Дрейфуса, немногие интересовались ими. Каутский даже не опубликовал *«Диалектику природы»* Энгельса, по совету единственного профессионального физика в партии, ради которого Германская империя пропустила так называемый Закон Аронса (1898), который запрещал назначать ученых-социал-демократов на университетские должности<sup>15\*</sup>

Однако Карл Маркс, каковой бы ни была его личная заинтересованность в прогрессе естественных наук в девятнадцатом столетии, посвятил свое время и интеллектуальную энергию преимущественно социальным наукам. И на них, также как и на историю, марксистские идеи повлияли очень существенно.

Их влияние было как прямым, так и косвенным<sup>16\*</sup>. В Италии, Восточной и Центральной Европе и прежде всего в Царской империи, регионам, которые, казалось, были на грани социальной революции или развала, Маркс немедленно оказывал большую, блестящую, но иногда временную, интеллектуальную поддержку. В таких странах или регионах имели место времена, например в течение 1890-х годов, когда фактически все молодые интеллектуалы с высшим образованием были в некоем роде революционерами или социалистами, и большинство думало о себе как о марксистах, как это часто случалось в истории стран третьего мира. В Западной Европе немногие интеллектуалы были истинными марксистами, несмотря на массовость рабочих движений, приверженных марксистской социальной демократии, —

---

\* Например, Зигмунд Фрейд занимал квартиру австрийского лидера социал-демократов Виктора Адлера на Берггассе, где Альфред Адлер (совсем не родственник Виктора), преданный социал-демократ среди психоаналитиков, читал в 1909 г. научный доклад по «Психологии марксизма». В то же время сын Виктора Адлера Фридрих был ученым и поклонником Эрнста Маха<sup>14\*</sup>.

кроме, как ни странно, Нидерландов, вступающих тогда в свою раннюю промышленную революцию. Германская Социал-Демократическая партия импортировала свои марксистские теории из Габсбургской империи (Каутский, Гильфердинг), и из Царской империи (Роза Люксембург, Парвус). Здесь марксизм оказывал влияние в основном через людей, достаточно впечатленных его интеллектуальным, равно как и его политическим вызовом критиковать свои теории или искать альтернативные несоциалистические ответы на интеллектуальные вопросы, которые он поднимал. В случае как с его сторонниками, так и с его критиками, не говоря уже об эксмарксистах или постмарксистах, которые начали появляться в конце 1890-х годов, такими, например, как выдающийся итальянский философ Бенедетто Кроче (1866—1952), политический элемент явно преобладал: в странах подобных Англии, которая не должна была беспокоиться относительно сильного марксистского рабочего движения, никто не был очень обеспокоен Марксом. В странах, в которых существовали сильные движения подобного рода, весьма знаменитые профессора подобно Ойгену фон Бем-Баверку (1851—1914) в Австрии выкраивали время из своих занятий преподавательской деятельностью и загруженностью работой как членов кабинета министров, чтобы опровергать марксистскую теорию<sup>17\*</sup> Но, конечно же, марксизм едва ли столь же существенно и полновесно стимулировал литературу, за и против марксизма, если его идеи не представляли значительного интеллектуального интереса.

Воздействие Маркса на социальные науки иллюстрирует трудность сравнения их развития с воздействием на развитие естественных наук в этот период. Ибо они по существу имели дело с поведением и проблемами людей, которые были далеко не нейтральными или бесстрастными наблюдателями своих собственных дел. Как мы уже видели, даже в естественных науках идеология становится более заметной, когда мы движемся от неодушевленного мира к жизни, и особенно к проблемам биологии, которые напрямую затрагивали и касались людей. Социальные и гуманитарные науки полностью, и по определению, действовали во взрывной зоне, где все теории имели прямое политическое значение и где воздействие идеологии, политики и ситуации, в

которой находились мыслители, является первостепенным. В наш (или любой другой) период было вполне возможно являться как выдающимся астрономом, так и революционным марксистом, подобно А. Паннекоку (1873—1960), коллеги по профессии которого думали о его политике как несоответствующей его астрономии, поскольку его товарищи чувствовали, что его астрономия была классовой борьбой. Будь он социологом, никто не стал бы расценивать его политику как несоответствующую его теориям. Социальные науки развивались зигзагообразно, пересекая вдоль и поперек одну и ту же территорию или превращались в круги часто лишь по этой причине. В отличие от естественных наук, они испытывали недостаток в общепринятой основной массе совокупного знания и теории, структурированной области исследования, в которой прогресс мог требоваться, чтобы приводить от регулирования теории к новым открытиям. И в течение нашего периода расхождение между двумя отраслями «науки» стало особенно заметным.

По образу это было новым. В течение расцвета либеральной веры в прогресс это выглядело как если бы большинство социальных наук — этнография (антропология, филология), лингвистика, социология и несколько важных школ экономики — имели одну общую основную структуру исследования и теорию с естественными науками в форме эволюционизма (см. *«Век Капитала»*, гл. 14, II). Ядром социальной науки было изучение подъема человека от примитивного до его нынешнего состояния и рационального понимания настоящего состояния. Этот процесс обычно мыслился как прогресс человечества через различные «стадии», через оставление на его окраинах выживших из более ранних стадий рас и племен, скорее подобных живущим ископаемым. Изучение человеческого общества было позитивной наукой подобно любой другой эволюционной дисциплине от геологии до биологии. Для автора совершенно естественным казалось писать научный труд об условиях прогресса под названием *«Физика и Политика, Или мысли о применении принципов «естественного отбора» и «наследственности» к политическому обществу»*, и такая книга издавалась в Лондоне в 1880-х годах в издательской «Международной научной серии», наряду с изданиями «Со-

*хранение энергии», «Исследования по спектральному анализу», «Изучение социологии», «Общая физиология мышц и нервов» и «Деньги и механизм обмена»<sup>18\*</sup>*

Однако этот эволюционизм не был благоприятен ни для новых веяний в философии и неопозитивизме, ни для тех, кто начал сомневаться по поводу прогресса, который напоминал движение в неправильном направлении и, следовательно, двигался в неправильном направлении и по отношению к «историческим законам», которые сделали его очевидно неизбежным. История и наука, так триумфально объединенные в теории эволюции, теперь разделились. Немецкие академические историки отвергали «исторические законы» как часть генерализирующей науки, которая не имела никакого места в гуманитарных дисциплинах, особенно посвященных уникальному и неповторимому, даже «субъективно-психологическому способу взгляда на вещи», который отделялся такой «обширной пропастью от незрелого объективизма марксистов»<sup>19\*</sup> Ибо тяжелая артиллерия теории, мобилизованная в солидном европейском историческом периодическом журнале в 1890-х годах, «Historische Zeitschrift» («Исторический журнал») — хотя первоначально и нацеленная против других историков, слишком склонных к социальной или любой другой науке — могла быть вскоре замеченной стреляющей прежде всего против социальных демократов<sup>20\*</sup>

С другой стороны, такие социальные и гуманитарные науки как могущие стремиться к строгому или математическому аргументу или к экспериментальным методам естественных наук, тоже отказывались от исторического развития, иногда со вздохом облегчения. Даже те из них, которые ни к чему не стремились, поступали так, подобно психоанализу, который был описан одним восприимчивым историком как «неисторическая теория человека и общества, которая могла сделать терпимым (для коллег-либералов Фрейда в Вене) сдвинутый с орбиты и неуправляемый политический мир»<sup>21\*</sup> Конечно, в экономике жестко ведущаяся «борьба методов» в 1880-х годах перекинулась на историю. Побеждающая сторона (во главе с Карлом Менгером, другим венским либералом) представляла не только вид научно-

го метода — как дедуктивный метод против индуктивного метода — но и преднамеренное сужение до сих пор широких перспектив экономической науки. Исторически мыслящие экономисты были, подобно Марксу, либо изгнаны в стан чудаков и агитаторов, либо, подобно «исторической школе», которая тогда господствовала в немецкой экономике, их просили переклассифицироваться в кое-что другое, например, экономических историков или социологов, оставляя реальную теорию аналитикам неоклассического равновесия. Это подразумевало, что вопросы исторической динамики, экономического развития и фактически экономических колебаний и кризисов были в основном вытеснены из областей новой академической ортодоксии. Экономика, таким образом, стала единственной социальной наукой в наш период, не затронутой проблемой иррационального поведения, с тех пор как она была предопределена исключить все взаимодействия, которые не могли быть описаны как существующие в некотором смысле рационально.

Похоже, лингвистика, которая (наряду с экономикой) была первой и наиболее заслуживающей доверия из социальных наук, теперь, казалось, потеряла интерес к модели лингвистического развития, которая была ее самым большим достижением. Фернан де Соссюр (1857—1913), посмертно вдохновивший все веяния структуралистов после второй мировой войны, сосредоточивался на абстрактных и статических коммуникативных структурах, вместо которых слова, случалось, были единственно возможным средством общения. Там, где деятели социальных или гуманитарных наук могли, они ассимилировались с экспериментальными учеными, как особенно в одной области психологии, которая ворвалась в лабораторию продолжать свои исследования по восприятию, обучению и экспериментальной модификации поведения. Это породило русско-американскую теорию «бихевиоризма» (И. Павлов, 1849—1936; Дж. Б. Уотсон, 1878—1958), которая едва ли является достаточным руководством для человеческого разума. Ибо сложности человеческих обществ, или даже обычные человеческие жизни и отношения не поддавались редукционизму лабораторных позитивистов, пусть выдающихся, также и исследование преобразований над временем тоже не

могло проводиться экспериментально. Наиболее далеко идущим практическим последствием экспериментальной психологии, тестирования ума (впервые начатое Бине во Франции с 1905 года), по этой причине нашло более легким определить пределы интеллектуального развития личности посредством постоянного «КР», чем природой того развития, или как это происходило, или куда это могло бы привести.

Такие позитивистские или «суровые» социальные науки росли, создавая университетские отделения и профессии, но не настолько, чтобы сравниться со способностью удивлять и шокировать, которую мы находим в революционных естественных науках периода. В самом деле, там, где они были преобразованы, инициаторы преобразования уже сделали свою работу в более ранний период. Новая экономика наивысшей полезности и равновесия оглядывались на В. С. Джевонса (1835—1882), Леона Вальраса (1834—1910) и Карла Менгера (1840—1921), чья первоначальная работа была проделана в 1860-х и 1870-х годах; экспериментальные психологи, даже если их первый журнал носил то же название, что и журнал русского Бехтерева в 1904 г., оглядывались на немецкую школу Вильгельма Вундта, организованную в 1860-х годах. Среди лингвистов по-прежнему был известен только революционный Соссюр, за пределами Лозанны, так как его репутация опиралась на лекционные заметки, опубликованные после его смерти.

Более кардинальные и спорные достижения в социальных и гуманитарных науках были тесно связаны с интеллектуальным кризисом *fin de siècle* буржуазного мира. Как мы уже видели, это приобрело две формы. Общество и политика, казалось, непосредственно требовали своего переосмысления в эре масс, и особенно проблем социальной структуры и социального согласия, или (в политических терминах) лояльности граждан и законности правительства. Возможно, было фактом, что капиталистическая экономика на Западе, казалось, стояла перед не одинаково серьезными проблемами — или по крайней мере только временными — которые уберегали экономику от больших интеллектуальных конвульсий. Более обобщенно, возникали новые сомнения относительно предположений девятнадцатого столетия в



части человеческой рациональности и естественного порядка вещей.

Наиболее очевидным является кризис причины в психологии, по крайней мере насколько он пытался прийти к соглашению не с экспериментальными ситуациями, а с человеческим разумом в целом. Что оставалось от солидного гражданина, преследующего рациональные цели максимизации личной полезности, если это преследование основывалось на наборе «инстинктов», подобно таковому у животных (Мак-Дугалл)<sup>22\*</sup>, если рациональный разум был только лодкой, брошенной в волны и потоки подсознательного (Фрейд), или даже если рациональное сознание было лишь особым видом сознания «хотя все, что касалось его, отделенное от него тончайшими экранами, содержало потенциальные формы создания, совершенно отличного от него» (Уильям Джеймс, 1902)<sup>23\*</sup>? Такие наблюдения были, конечно, знакомы каждому читателю серьезной литературы, каждому любителю искусства или большинству подверженных самоанализу зрелых взрослых. Все же такого не было теперь и прежде, что они стали частью того, что претендовало быть научным изучением человеческой души. Они не вписывались в рамки психологии лаборатории или оценочных критериев, и две отрасли исследования человеческой души сосуществовали непросто. В самом деле, наиболее революционный новатор в этой области, Зигмунд Фрейд, создал дисциплину, психоанализ, которая отделилась от остальной психологии и чьи требования к научному статусу и терапевтической ценности с тех пор рассматривались с подозрением в научных кругах. С другой стороны, ее воздействие на небольшую группу эмансипированных интеллектуальных обывателей — мужчин и женщин было быстрым и значительным, включая некоторых, занимающихся гуманитарными и социальными науками (Вебер, Зомбарт). Незаметно фрейдистская терминология должна была проникнуть в обычную беседу образованного обывателя после 1918 года, по крайней мере в областях немецкой и англосаксонской культуры. Наряду с Эйнштейном, Фрейд, возможно, является единственным ученым периода (ибо он сам видел себя таковым), чье имя повсюду знакомо людям на улице. Без сомнения, это произошло благодаря удобству теории, кото-

рая позволяла мужчинам и женщинам отбросить вину за свои действия кое в чем, чему они не могли помочь, вроде их подсознания, но даже больше тому факту, что Фрейд мог справедливо рассматриваться как разрушитель сексуальных табу и, совершенно неверно, как сторонник свободы от сексуального подавления. Ибо сексуальность, предмет, ставший доступным для публичного обсуждения и исследования в наш период и совершенно незамаскированной темой в литературе (стоит только подумать о Прусте во Франции, Артуре Шнитцлере в Австрии и Франке Ведекинде в Германии)\*, была центральной в теории Фрейда. Конечно, Фрейд не был единственным или даже первым автором, чтобы исследовать ее во всей полноте. Реально он не принадлежал к растущему числу сексологов, которые появились после публикации «*Psychopathia Sexualis*» Рихарда фон Краффт-Эбинга, изобретшего термин «мазохизм». В отличие от Краффт-Эбинга, большинство из них были реформаторами, стремившимися обеспечить общественную терпимость в отношении к различным формам нетрадиционных («ненормальных») сексуальных наклонностей, обеспечить информацией и снять вину с тех, кто принадлежал к таким сексуальным меньшинствам (Хэвлок Эллис (1859—1939), Магнус Хиршфельд (1868 — 1935)\*\*). В отличие от новых сексологов, Фрейд апеллировал не столько к публике, особенно заинтересованной сексуальными проблемами, как ко всем читающим мужчинам и женщинам, достаточно свободным от иудео-христианских табу, чтобы принять то, что они давно подозревали, а именно огромную силу, вездесущность и многообразие сексуального импульса.

Фрейдистское или не-фрейдистское, индивидуальное или общественное, то, что интересовало психологию, было не то, как

---

\* Пруст — как за мужской, так и за женский гомосексуализм, Шнитцлер — человек медицины — за откровенное лечение случайной разнородности (*Райген*, 1903, первоначально написано в 1896—1897 гг.); Ведекинд («*Пробуждение весны*», 1891) за подростковую сексуальность.

\*\* Эллис начал издавать свои «*Исследования по психологии секса*» в 1897 г.; доктор Магнус Хиршфельд начал издавать свой «*Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen*» (Ежегодник по проблемам сексуальных промежуточных случаев) в том же самом году.

рассуждали люди, а как мало их способность рассуждать воздействовала на их поведение. При этом склонялись отразить эру политики и экономики масс двумя способами, оба из них критические, посредством сознательно антидемократической «психологии толпы» Ле Бона (1841—1931), Тарда (1843—1904) и Троттера (1872—1939), которые утверждали, что все люди в толпе отказываются от рационального поведения, и посредством рекламной индустрии, чей энтузиазм в отношении психологии был печально известен, и которая давно открыла, что мыло не продашь с помощью аргумента. Труды по психологии рекламы появились до 1909 года. Однако психология, которая в основном имела дело с отдельной личностью, не пришла к соглашению с проблемами изменяющегося общества. А вот преобразованная наука социология сделала это.

Социология, возможно, была наиболее оригинальным продуктом социальных наук в наш период; или, более точно, наиболее значительной попыткой схватиться в интеллектуальной борьбе с историческими преобразованиями, которые являются главным предметом этой книги. Ибо фундаментальные проблемы, которые занимали умы ее наиболее значительных представителей, были проблемами политическими. Как согласовывались общества, когда не удерживались больше вместе обычаем и традиционным принятием космического порядка, повсюду санкционированного некой религией, которая однажды оправдала социальную субординацию и государство? Как функционировали общества как политические системы в таких условиях? Короче говоря, как могло общество справляться с непредсказуемыми и хлопотными последствиями демократизации и массовой культуры; или, более обобщенно, с последствиями эволюции буржуазного общества, которая казалась ведущей к некоему другому виду общества? Этот набор проблем является тем, что отличает людей, рассматриваемых теперь как отцов-основателей социологии, от большей части теперь забытых позитивистских эволюционистов, вдохновленных Контом и Спенсером (см. *«Век Капитала»*, гл. 14, II), которые до сих пор представляли этот предмет.

Новая социология не была установленным или даже четко определенным академическим предметом, или предметом, ко-

торый с этих пор преуспел в установлении международного согласия относительно своего содержания. Самое большее, что-то типа академической «области» появилось в этот период в европейских странах, вокруг нескольких человек, периодических изданий, обществ и даже одной или двух университетских кафедр; наиболее заметно во Франции вокруг Эмиля Дюркхейма (1858—1917) и в Германии вокруг Макса Вебера (1864—1920). Только в обеих Америках, и особенно в США, социологи существовали под этим названием в значительном количестве. Действительно, большое количество того, что теперь должно классифицироваться как социология, было работой людей, которые все еще продолжали расцениваться как кое-что другое — Торстейн Веблен (1857—1929) как экономист, Эрнст Трельч (1865—1923) как теолог, Вильфредо Парето (1848—1923) как экономист, Гаэтано Моска (1858—1941) как политолог, даже Бенедетто Кроче как философ. То, что придавало области некий вид единства, было попыткой понять общество, которое теории политического и экономического либерализма не могли, или не могли больше, понимать. Однако, в отличие от моды на социологию в некоторых из ее более поздних фазах, ее главным интересом в этом периоде было скорее как сдерживать изменение чем, как преобразовать, оставить в покое революционирующееся общество. Отсюда ее неоднозначное отношение к Карлу Марксу, который теперь часто ставился в один ряд с Дюркхеймом и Вебером как отец-основатель социологии двадцатого столетия, но чьи ученики не всегда доброжелательно относились к этому ярлыку. Как излагал современный немецкий ученый: «Совершенно независимо от практических последствий своих доктрин и от организации своих последователей, совершенно преданных им, Маркс, даже с научной точки зрения, завязал узлы, чтобы развязать которые мы должны приложить усилие».<sup>24\*</sup>

Некоторые деятели новой социологии сосредоточивались на том, как фактически работали общества, в отличие от того, как либеральная теория предполагала оперировать ими. Отсюда изобилие публикаций о том, что сегодня должно называться «политической социологией», в основном базирующейся на опыте новой выборно-демократической политики, массовом движении, или

на том и другом (Моска, Парето, Михельс, С. и Б. Вебб). Некоторые сосредоточились на том, что, по их мнению, объединяет общества против разрушения конфликтом классов и групп внутри их и тенденции либерального общества уменьшать человечество до рассеивания дезориентированных и безродных индивидуумов («аномия»). Отсюда озабоченность ведущих и почти всегда мыслителей-агностиков или атеистов вроде Вебера или Дюркгейма феноменом религии, и, следовательно, убеждения, что все общества нуждаются или в религии или в ее функциональном эквиваленте, чтобы поддерживать свою структуру, и что элементы всей религии должны быть найдены в обрядах австралийских аборигенов, тогда обычно рассматривавшихся как выжившие со времен раннего детства человеческой расы (см. *«Век Капитала»*, гл. 14, II). Наоборот, примитивные и варварские племена, которые империализм разрешил, а иногда и требовал, антропологам изучать в непосредственном соприкосновении — «полевая работа» стала регулярной частью социальной антропологии в начале двадцатого столетия, — рассматривались теперь прежде всего не как экспонаты прошедших эволюционных стадий, а как эффективно функционирующие социальные системы.

Но какой бы ни была природа структуры и связи обществ, новая социология не могла избежать проблемы исторической эволюции человечества. В самом деле, социальная эволюция по-прежнему оставалась сутью антропологии, и для таких людей, как Макс Вебер, проблема того, откуда возникло буржуазное общество и как оно развивалось, оставалась серьезной, точно так же как и для марксистов, и по аналогичным причинам. Ибо Вебер, Дюркгейм и Парето — все трое либералы, находившиеся на различных ступенях скептицизма, — были озабочены новым социальным движением и сделали его своим занятием, чтобы опровергнуть Маркса или скорее его «материалистическую концепцию истории», разрабатывая более обширную перспективу социального развития. Они излагают ее, какой она была, давая немарксистские ответы на марксистские вопросы. Наименее заметно это у Дюркгейма, ибо во Франции Маркс не был влиятелен, кроме как деятель, обеспечивающий слегка более красный оттенок старой якобино-коммунарской революционности. В Италии

Парето (лучше всего вспоминаемый как блестящий экономист-математик) принимал факт существования классовой борьбы, но спорил, что она должна вести не к ниспровержению всех правящих классов, а к замене одной правящей элиты другой. В Германии Вебер был назван «буржуазным Марксом» потому, что он принимал так много вопросов Маркса, потому что ставил свой метод ответа на них («исторической материализм») во главу угла.

То, что мотивировало и определяло развитие социологии в наш период, было, таким образом, смыслом кризиса в делах буржуазного общества, сознанием потребности делать что-то для того, чтобы предотвратить его дезинтеграцию или преобразование в другой, и без всякого сомнения, менее привлекательный вид общества. Перестраивало ли это социальные науки, или даже создало ли адекватную основу для общей науки общества, которую изложили ее инициаторы, чтобы создать ее? Мнения различаются, но большинство их, вероятно, скептические. Однако на другой вопрос относительно них можно ответить с большей долей уверенности. Обеспечили ли они средства ухода от революции и дезинтеграции, которых они надеялись не допустить или дать им обратный ход?

Нет. Ибо с каждым годом соединение революции и войны приближалось все ближе. Теперь мы должны проследить ее.

---

## ГЛАВА 12

# НА ПУТИ К РЕВОЛЮЦИИ

*Слышал ли ты о Шин Фейн в Ирландии?.. Это — одно из интереснейших движений, очень напоминающее так называемое Экстремистское движение в Индии. Линия их поведения заключается не в том, чтобы молить об одолжениях, а в том, чтобы вырвать их силой.*

Джавахарлал Неру (в возрасте 18 лет) в беседе с отцом  
12 сентября 1907 г.<sup>1\*</sup>

*В России и монарх, и его подданные принадлежат к славянам, но вследствие того простого факта, что народ не в состоянии более мириться с ядом самодержавия, он готов пожертвовать миллионами жизней, чтобы купить свободу... Но, когда я обращаю взгляд на свою собственную страну, мне трудно оставаться беспристрастным. И не только из-за того, что у нас такое же самодержавие, как и Россия, но и потому, что вот уже 200 лет нас топчут иноземные варвары.*

Китайский революционер, 1903—1904 гг.<sup>2\*</sup>

*Вы не одиноки, рабочие и крестьяне России! Если вы сумеете свергнуть, сокрушить и уничтожить тиранов феодальной, терзаемой жандармами, помещичьей и царской России, ваша победа послужит сигналом к всемирной борьбе против засилья капитала.*

В. И. Ленин, 1905<sup>3\*</sup>

---

## I

До сих пор мы рассматривали бабье лето капитализма XIX в. как период социальной и политической стабильности тех режимов, которым удалось не только выстоять, но и пойти в рост. И, несомненно, если бы мы сосредоточились только на странах «развитого» капитализма, такой подход был бы оправдан. В экономической сфере развеялись сумерки Великой депрессии, освобождая путь бурному росту и процветанию 1900-х гг. Политические системы, которые понятия не имели о том, что делать с со-

циальными потрясениями 1880-х гг. с внезапным появлением массовых партий рабочего класса, одержимых революцией, или с массовыми выступлениями граждан против государства по другим поводам, вдруг обнаружили наличие гибкой системы путей сдерживания и интегрирования одних и изоляции других. Почти пятнадцатилетний отрезок времени между 1899 и 1915 гг. был славной эпохой не только потому, что был эрой процветания и жизнь была чрезвычайно привлекательна для имевших деньги и богатства, но и потому, что властители большинства западных стран, вероятно, были более обеспокоены будущим, чем реально напуганы настоящим. Их общества и режимы в целом казались достаточно управляемыми.

Тем не менее в мире сохранялись значительные регионы, на которые эти тенденции явным образом не распространялись. В этих регионах промежуток между 1880 и 1914 гг. был эрой либо постоянно возможной, либо надвигающейся, либо даже реально осуществляемой революции. Хотя некоторым из этих стран было суждено стать ввергнутыми в мировую войну, даже в этих странах 1914 г. не был таким уж очевидным рубежом, отделяющим спокойствие, стабильность и порядок от эры разрушения. В некоторых странах, например, в Османской империи, мировая война сама по себе явилась лишь одним эпизодом в череде военных конфликтов, начавшихся за несколько лет до нее. В других — отчасти в России и совершенно определенно — в империи Габсбургов — мировая война стала следствием нерешенности проблем внутренней политики. В другой группе стран — Китае, Иране, Мексике — война 1914 года вообще не сыграла сколько-нибудь значительной роли. Коротко говоря, для значительной части земного шара, составившей таким образом то, что Ленин в 1908 г. метко назвал «горючим материалом в мировой политике», — идея о том, что, если бы не непредвиденная и во многом случайная катастрофа 1914 года, то стабильность, процветание и либеральный прогресс продолжились, не имеет даже видимости правдоподобия. Наоборот. После 1917 года стало очевидно, что стабильные и процветающие страны западного буржуазного сообщества сами по себе, так или иначе, были бы вовлечены в глобальные революционные потрясения, которые начались на периферии еди-



ной взаимозависимой мировой системы, созданной этим сообществом.

Буржуазный век дестабилизировал периферию двумя основными способами: за счет расшатывания старых экономических структур и равновесия своих сообществ, а также за счет разрушения жизнеспособности своих сложившихся политических режимов и институтов. Последствия первого оказались более глубокими и разрушительными. Это объясняется различием исторических последствий Русской и Китайской революций с одной стороны, и Персидской и Турецкой — с другой. Но последствия второго пути оказались более наглядными. Поскольку, за исключением Мексики, зона глобального политического землетрясения 1900—1914 гг. охватила в основном великий географический пояс древних империй, некоторые из которых были отброшены во мглу античности, и который протянулся от Китая на востоке до Габсбургов и, возможно, Марокко на западе. По стандартам западных буржуазных национальных государств и империй, эти устаревшие политические структуры были неустойчивы и архаичны и, как отметили бы многие современные последователи социального дарвинизма, обречены на вымирание. Именно их упадок и распад обрамляли революции 1910—1914 гг., а в Европе — и надвигающуюся мировую войну и Русскую революцию. Империи, рухнувшие за эти годы, находились в ряду самых древних политических сил в истории. Китай, хотя и подвергавшийся иногда расколу и завоеванию, оставался великой империей и центром цивилизации по меньшей мере на протяжении двух тысячелетий. Большие имперские экзамены на государственной службе, на которых избирались ученые мужи, руководившие ею, проводились, за редкими исключениями, ежегодно, на протяжении более двух тысяч лет. Когда они были отменены в 1900 г., закат империи был предreshен. (Фактически, он и произошел шесть лет спустя.) Персия оставалась великой империей и центром культуры не меньше времени, хотя и прошла через более суровые испытания. Она пережила своих великих антагонистов — Римскую и Византийскую империи, вновь возродилась после нашествий Александра Великого, исламского мира, монголов и турок.

Османская империя, будучи гораздо моложе их, явилась последней в том ряду завоевателей-кочевников, которые совершали набеги из Центральной Азии со времен гунна Аттилы, чтобы в итоге опрокинуть и захватить восточные и западные царства: аваров, монголов, различные турецкие племена. Бывшая Византия со столицей в Константинополе, города Цезаря (Царьград), была прямой наследницей Римской империи, чья западная половина распалась в 5 в. н. э. но чья восточная половина просуществовала вплоть до нашествия турок еще тысячу лет. Хотя Оттоманская империя была остановлена в своих захватнических притязаниях с конца 17 столетия, она все еще оставалась грозной силой, раскинувшейся на трех континентах. Более того, султан, ее абсолютный правитель, рассматривался большинством мусульман мира в качестве своего халифа, главы своей религии, а, стало быть, и преемника пророка Мухаммеда и его последователей — завоевателей XVII века. Шесть лет, на протяжении которых произошла трансформация всех этих трех империй в конституционные монархии или республики по западному буржуазному образцу, с очевидностью ознаменовали собой завершение главной фазы мировой истории. Россия и Габсбурги, две великие и непрочные многонациональные европейские империи, также находившиеся на грани распада, имели не так уж много общего, за исключением, пожалуй, того, что обе представляли собой один тип политической структуры — страны, управляемые подобно семейной собственности, — который все более напоминал доисторический пережиток, сохранившийся до XIX века. Более того, обе претендовали на титул Цезаря (царь, кайзер), причем первая через средневековых варварских предков считалась Римской империей востока, а последняя — через таких же предков — возрождала память о Римской империи запада. По сути дела, в качестве империй и европейских держав обе были относительно молоды. Более того, в отличие от империй древности они располагались в Европе на границах между зонами экономического роста и отсталости, частично интегрировавшись таким образом с самого начала в экономически развитый мир, а в качестве «великих держав» полностью интегрировавшись в политическую систему Европы, континента политического по определению<sup>46</sup>. По-

этому, между прочим, колоссальные отзвуки Русской революции, в несколько ином плане, развала империи Габсбургов на европейской и мировой политической сцене, сравнимы с относительно скромными или чисто региональными последствиями, скажем, Китайской, Мексиканской или Иранской революции.

Проблема дряхлеющих империй Европы заключалась в том, что они одновременно принадлежали к обоим лагерям: развитых и отсталых, сильных и слабых, волков и овец. Империи древности просто числились среди жертв. Они казались обреченными на развал, завоевание или зависимость, если только им не удавалось каким-то образом перенять у западных империалистов нечто такое, что делало их столь грозными. К концу XIX в. это стало совершенно очевидным, и большинство крупных государств и правителей империй древности попытались, правда, в разной степени, поучиться у Запада, как они это себе представляли, но лишь Япония преуспела в решении этой сложной задачи и к 1900 г. стала равной среди равных.

## II

Без воздействия империалистической экспансии революция в древней, но к XIX в. обветшавшей Персидской империи, была бы маловероятной, еще в большей степени, чем в самом западном испанском королевстве, Марокко, где правительство султана пыталось с переменным успехом расширить свою зону управления и установить своего рода контроль над анархичным и грозным миром воюющих кланов берберов. (Несомненно нет никакой уверенности в том, что события 1908 г. в Марокко заслуживают милостивого титула революции.)

Персия находилась под двойным гнетом России и Британии, из-под которого она отчаянно пыталась вырваться, призывая в советники и помощники представителей других западных государств — Бельгии, по образцу которого должна была строиться персидская конституция, США и после 1914 г. Германии — которые никоим образом не были в состоянии обеспечить реальный противовес. Иранская политика уже включала в себя те 3 силы,

объединению которых было суждено привести к еще более грандиозной революции в 1979 г.: эмансипированная и вестернизированная интеллигенция, ясно осознающая слабость и социальную несправедливость, царящую в стране, рыночные торговцы, ясно осознающие иностранную экономическую конкуренцию, и сообщество мусульманского духовенства, представляющее шиитскую ветвь ислама, которое функционировало в качестве национальной персидской религии, способной мобилизовать традиционалистские массы. Они, в свою очередь, ясно осознавали несовместимость западного влияния и Корана. Союз радикалов, Базари (bazaris)<sup>48</sup> и духовенства уже показали свою силу в 1890—1892 гг., когда была отменена генеральная лицензия на табачную монополию для одного британского бизнесмена, чему предшествовали волнения, бунты и чрезвычайно успешный национальный бойкот продажи и использования табака, поддержанный даже женами шаха. Русско-японская война 1904—1905 гг. и Первая русская революция временно устранили одного из мучителей Персии и дали персидским революционерам поддержку и программу действий. Поскольку держава, которая нанесла поражение европейскому императору, была не только азиатской, но также конституционной монархией, постольку конституция могла рассматриваться не только (эмансипированными радикалами) в качестве очевидного требования, но также (широкими слоями общественного мнения) в качестве своего рода «секрета силы».

Фактически массовая депортация духовных лидеров в священный город Кум и массовое бегство рыночных торговцев в британскую дипломатическую миссию, что, между прочим, привело деловую жизнь Тегерана к застою, обеспечили выборный парламент и конституцию в 1906 г. На практике, соглашение 1907 г. о мирном разделе Персии между Британией и Россией предоставило персидской политике небольшой шанс. Де-факто первый революционный период закончился в 1911 г., хотя Персия номинально оставалась под действием своего рода конституции 1906—1907 г. вплоть до революции 1979 г.

С другой стороны, тот факт, что ни одна империалистическая держава не была в состоянии бросить вызов Британии и России, возможно, спасло существование Персии как государства и ее

монархии, не имевшей достаточных собственных сил, за исключением казачьей бригады, командующий которой после первой мировой войны стал основателем последней императорской династии Пехлеви (1921—1979).

В этом отношении Марокко повезло еще меньше. Расположенная в стратегически выгодном районе на карте мира, в северо-западном углу Африки, эта страна казалась легкой добычей для Франции, Германии, Британии, Испании и любого другого государства в пределах военно-морского похода. Внутренняя слабость монархии делала ее особенно уязвимой для иностранных амбиций, а международные кризисы, разразившиеся из-за ссор между различными хищниками, особенно 1906—1911 г., сыграли главную роль в возникновении первой мировой войны. Франция, Испания разделили ее с учетом международных (т. е. Британских) интересов, учредив свободный порт в Танжере. С другой стороны, по мере утраты Марокко своей независимости, отсутствие контроля со стороны ее султана над воюющими кланами берберов, делало реальную французскую и, тем более, испанскую военную оккупацию территории трудной и продолжительной.

### III

Внутренние кризисы великой Китайской и Османской империй были одновременно и более древними и более глубокими. Китайская империя вступила в полосу глубокого общественного кризиса в середине 19 столетия. Она преодолела только революционную угрозу тайпинов ценой буквальной ликвидации имперской центральной административной власти и передачи ее функций на милость иностранцев, которые учредили экстратерриториальные анклавные и буквально прибрали к рукам основной источник имперских финансов — управление китайской таможней. Дряхлеющей империи во времена царствования вдовы-императрицы Цыси (1835—1908 гг.), которую больше боялись внутри страны, чем за ее пределами, казалось, было суждено исчезнуть под коллективным натиском империализма. Россия наступала в Маньчжурии, откуда ей предстояло быть выбитой своим

соперником — Японией, которая отделила Тайвань и Корею от Китая после победоносной войны 1894—1895 гг. и была готова отхватить еще больше. Между тем британцы расширили свою колонию в Гонконге и практически отделили Тибет, который они рассматривали в качестве зависимой территории своей Индийской империи; Германия добилась для себя баз в северном Китае; Французы оказывали некоторое влияние по соседству со своей Индокитайской империей (в свою очередь, отделенной от Китая) и расширили свои позиции на юге; и даже слабые португальцы добились передачи прав на Макао (1887). В то время как волки были готовы сформировать союз против жертвы, как они уже делали, когда Британия, Франция, Россия, Германия, США, Италия, Япония объединились для оккупации и разграбления Пекина в 1900 г. под предлогом подавления боксерского восстания, они не смогли договориться о разделе огромной туши. Тем более, что одна из самых молодых держав — Соединенные Штаты, все более утверждающиеся в западной части Тихого океана, которая давно была зоной американских интересов, настаивали на открытых дверях в Китае, т. е. на том, что они имеют столько же прав на трофеи, что и империалисты со стажем. Так же как и в Марокко, эти тихоокеанские распри над слабеющим телом Китайской империи способствовали возникновению первой мировой войны. Более того, это сохранило номинальную независимость Китая и привело к окончательному распаду самой древней из сохранившихся политических систем мира. В Китае существовало 3 основные силы сопротивления. Первая — императорский суд и конфуцианские старшие госслужащие достаточно ясно понимали, что только модернизация согласно западной модели (или, точнее, вдохновленной западом японской модели) могла спасти Китай. Но это означало бы разрушение как раз той моральной и политической системы, которую они представляли. Консервативная реформа была обречена на провал, даже если бы ей не мешали судебные интриги и раздоры, даже если бы она не ослаблялась технической неграмотностью и не подрывалась каждые несколько лет очередной иностранной агрессией. Вторая сила, древняя и мощная традиция народного восстания тайных обществ, пропитанная идеологией

сопротивления, оставалась такой же мощной, как и всегда. Фактически, несмотря на поражение тайпинов, все объединились, чтобы укрепить его, когда 9—13 млн умерло от голода на севере Китая и голода 1870 г., и были прорваны плотины Желтой реки, символизируя крах империи, долгом которой было защитить их. Т. н. боксерское восстание 1900 г. несомненно было массовым выступлением, авангард которого был сформирован организацией кулачных бойцов за справедливость и единство, которая являлась ветвью большого древнего буддийского тайного общества, известного как «Белый Лотос». Тем не менее по очевидным причинам, режущее лезвие этих восстаний было воинственно-ксенофобским и антисовременным. Оно было направлено против иностранцев, христианства и машин. И хотя это придало некоторые силы китайской революции, оно не могло предоставить ей ни программы, ни перспектив. Только на юге Китая, где предпринимательство и торговля всегда играли важную роль и иностранный империализм заложил основу для некоторого развития местной буржуазии, существовала основа, пусть еще узкая и не стабильная, для такой трансформации. Местные правящие группы были уже без особого шума удалены из Маньчжурской династии и только древние тайные общества оппозиции объединялись для создания некоего подобия современной и конкретной программы китайского возрождения. Отношения между тайными обществами и мощным южным движением республиканских революционеров, среди которых в качестве главного вдохновителя I фазы революция было суждено появиться Сунь Ятсену (1866—1925 гг.), долгое время были предметом споров и некоторой неопределенности, но нет никакого сомнения в том, что они были достаточно тесными и существенными.

Китайские республиканцы в Японии, которая являлась базой для их агитации, даже сформировали специальную ложу Триад в Йокогаме для своих собственных нужд<sup>6\*</sup> Оба движения разделяли идеологию укоренявшейся оппозиции по отношению к Маньчжурской династии — Триады были все еще привержены идее восстановления старой династии Минь (1368—1644) — ненависть к империализму, которая могла быть сформулирована в терми-

нах традиционной ксенофобии или современного национализма, позаимствованного у западной революционной идеологии, и концепции социальной революции, которую республиканцы из стержня древнего, антидинастического восстания сделали стержнем современной, западной революции. Знаменитые «3 принципа» Сунь Ятсена — национализм, республиканизм и социализм (или, точнее, аграрная реформа), могли быть сформулированы в терминах, позаимствованных у Запада, а именно у Джона Стюарта Милля, но фактически даже китаец, которому не хватало западного образования (как ученику миссионеров и много путешествующего лекаря), мог рассматривать их в качестве логического продолжения знакомых антиманьчжурских суждений. А для горстки республиканских городских интеллигентов тайные общества были естественным способом проникновения в городские и особенно сельские массы. Они возможно также содействовали организации поддержки среди зарубежных общин китайских иммигрантов, которые движение Сунь Ятсена первым мобилизовало в политическом отношении для достижения национальных задач.

Тем не менее тайные общества (как позднее поняли и коммунисты) едва ли были лучшим фундаментом для нового Китая, а западнически или полузападнически настроенные радикальные интеллигенты с южного побережья были все еще недостаточно многочисленны, влиятельны или организованны для того, чтобы взять власть в свои руки. Как не смогли и западные либеральные модели, вдохновлявшие их, предоставить рецепт управления империей.

Империя распалась в 1911 г. в результате (южного и центрального) восстания, которое сочетало в себе элементы военного мятежа, республиканского бунта, отказа мелкопоместного дворянства от лояльности и народного протеста. Однако на практике она была заменена на какое-то время не новым режимом, а массой нестабильных и неустойчивых региональных и властных структур, находившихся главным образом под контролем военных. Стабильному новому национальному режиму не суждено было появиться еще почти сорок лет — вплоть до триумфа коммунистической партии в 1949 г.



## IV

Османская империя распадалась долго, хотя, в отличие от других древних империй, сохранила значительную военную мощь, с которой приходилось считаться даже армиям великих держав. С конца XVII в. ее северные границы были отодвинуты вглубь Балканского полуострова и Закавказья из-за наступления Российской и Габсбургской империй. Порабощенные христианские народы Балкан все активнее расправляли плечи и при поддержке и содействии соперничавших держав уже превратили большую часть Балкан в средоточие более или менее независимых государств, которые откусывали и отщипывали по кусочку от того, что осталось от Османской империи. Большинство отдаленных регионов империи в Северной Африке и на Ближнем Востоке уже давно вышли из-под непосредственного Османского правления. Они все в большей степени, хотя и не вполне официально, переходили из рук в руки британских и французских империалистов. К 1900 г. стало ясно, что вся территория от западных границ Египта и Судана до Персидского залива, вероятнее всего, перейдет под британское управление или влияние, за исключением Сирии от Ливана на севере, где свои претензии выдвигали французы, и большей части Аравийского полуострова, который, за отсутствием нефти или еще чего-либо ценного, можно было оставить для разборок вождям местных племен и исламским возрожденческим движениям бедуинских проповедников. Фактически к 1914 г. Турция почти полностью ушла из Европы, будучи целиком вытеснена из Африки, и поддерживала статус пусть хиреющей, но империи лишь на Ближнем Востоке, где она так и не пережила мировую войну. И все-таки, в отличие от Персии и Китая, Турция располагала очевидной потенциальной альтернативой распадающейся империи: огромным массивом этнически и лингвистически турецкого населения в Малой Азии, который мог бы явиться основой чего-то вроде «национального государства» по испытанной западной модели XIX века.

Почти наверняка это не сразу осознали офицеры и госслужащие, настроенные прозападно, вкуче с представителями новых

светских профессий: таких как правоведение и журналистика\*, которые решили возродить империю посредством революции, поскольку собственные вялые попытки самой империи провести модернизацию, не ранее как в 1870 г., не увенчались успехом. Комитет «Единение и Прогресс», более известный под названием «Младотурки» (основан в 1890 г.), который захватил власть в 1908 г. на волне Русской революции, был нацелен на возрождение всеосманского патриотизма, который стер бы этнические, лингвистические и религиозные различия на основе светских идеалов (Французского) Просвещения XVIII века. Интерпретация Просвещения, идеи которого, в основном, они отстаивали, основывалась на позитивизме Огюста Конта, который объединил страстную веру в науку и неизбежную модернизацию со светским эквивалентом религии, недемократическим прогрессом («порядок и прогресс» — таков был лозунг позитивистов) и планируемых специальным управлением, осуществляемым сверху. По объективным причинам эта идеология была обращена к мелким реформаторским элитам, находящимся у власти в отсталых, традиционалистских странах, которые они пытались силой втащить в XX век. Вероятно, она никогда не была столь влиятельна, как в конце XIX века в неевропейских странах.

В этом, как и в других отношениях, турецкая революция 1908 г. провалилась. Несомненно, она ускорила распад того, что осталось от Турецкой империи, при этом обрекая государство классической либеральной конституцией, многопартийной парламентской системой и всем остальным, что обычно для буржуазных стран, в которых правительства особенно и не были предназначены для того, чтобы много править, поскольку все общественные деяния находились под незримым контролем динамичной и саморегулируемой капиталистической экономики. И тот факт, что режим младотурок также продлил экономическую и военную приверженность империи к Германии, вместе с которой Турция попала в число проигравших в первой мировой войне, оказалось

---

\* Исламский закон не предусматривал какой-либо особой юридической профессии. С 1875 по 1900 г. уровень грамотности утонул, что обеспечило рынок большому числу периодических изданий.

для них фатальной. Таким образом, турецкая модернизация переориентировалась с либерально-парламентского направления на военно-диктаторское, а основные надежды были перенесены со светско-имперской политической благонадежности на приверженность чисто турецкому национализму. Неспособная более игнорировать предпочтения отдельных групп населения или активно воздействовать на нетурецкие общины, Турция после 1915 года вынуждена была сделать выбор в пользу этнически однородного государства, что подразумевало насильственную ассимиляцию тех греков, армян, курдов и других народов, которые не были еще ни выселены, ни подвергнуты геноциду. Этнолингвистический турецкий национализм даже допускал имперские мечтания на светской националистической основе, поскольку большая часть Западной и Центральной Азии, главным образом в России, была заселена народами, говорящими на различных тюркских языках, и которым Турцией была уготована судьба объединиться в единый «Пантюркский» союз.

Таким образом, внутри движения младотурок баланс сил распределялся между транснациональными реформаторами-западниками и реформаторами-западниками с этническим, или даже расистским, уклоном, такими, как национальный поэт и идеолог Зиа Гекалп (1876—1924 гг.). Подлинная Турецкая революция, начавшаяся с фактического упразднения империи как таковой, произошла в этих условиях после 1918 г., но ее содержание было заявлено уже в установках движения младотурок. В отличие от Персии и Китая, Турция не только не ликвидировала старый режим, но очень скоро приступила к строительству нового. Турецкая революция заложила, возможно, первый из современных реформаторских режимов третьего мира: страстно приверженный прогрессу и просвещению в противовес традиции, «развитию» и своего рода популизму, неотягощенному либеральными разглагольствованиями. Отсутствие революционного среднего класса, и вообще любого другого революционного класса, были призваны компенсировать интеллигенты и, особенно после войны, военные. Их лидер, Кемаль Ататюрк, суровый и преуспевающий генерал, осуществил реформаторскую программу младотурок без колебаний: была провозглашена республика, упразднен статус

ислама в качестве государственной религии, арабский алфавит был заменен латинским, женщинам разрешили снять паранджу и посещать школу, турецких мужчин, при необходимости с помощью силы, переодевали в котелки или другие западные головные уборы вместо тюрбанов. Слабость Турецкой революции, особенно в экономике, заключалась в ее неспособности охватить широкие массы крестьянства или изменить структуру аграрного сектора. Тем не менее историческое значение данной революции было велико, хотя и недостаточно признано историками, чье внимание концентрировалось до 1914 года на непосредственных международных последствиях Турецкой революции: распаде империи и его влиянии на возникновение первой мировой войны, а после 1917 года — на величайшей Русской революции. По объективным причинам это событие затмило собой обстоятельства современной турецкой истории.

## V

Еще более недооцененная революция нашего времени началась в Мексике в 1910 г. Она не привлекла большого внимания за пределами Соединенных Штатов, отчасти из-за того, что в дипломатическом плане Центральная Америка являла собой исключительно задворки Вашингтона («Бедная Мексика, — воскликнул как-то один ее свергнутый диктатор, — ты так далека от бога, и так близка к США!»), а также потому, что значение революции было достаточно неоднозначным. Казалось, не существует совершенно очевидного различия между этой и 114 прочими насильственными сменами правительств в Латинской Америке XIX века, которые все еще составляют крупнейший пласт событий, известных как революция. Более того: ко времени проявления Мексиканской революции в качестве значительного социального переворота, первого такого рода в крестьянской стране третьего мира, ей тоже было суждено остаться в тени событий в России.

И все же Мексиканская революция — событие важное, т. к. она родилась непосредственно из противоречий внутри общественных групп империи и была первой из великих революций в колониальном и зависимом мире, в которой трудящиеся массы сыг-

рали ведущую роль, поскольку, хотя антиимпериалистические и то, что позднее стало называться колониальные освободительные движения несомненно набирали силу внутри старых и новых колониальных империй метрополий, они все же вряд ли могли серьезно угрожать имперскому правлению.

В общем, колониальными империями управляли с той же легкостью, с какой их заполучили — за исключением тех горных районов боевых действий, в таких странах как Афганистан, Марокко и Эфиопия, которые все еще сопротивлялись иностранным завоевателям. «Местные выступления» подавлялись без особого труда, хотя иногда — как в случае с гереро в немецкой юго-западной Африке (нынешней Намибии) — с чрезмерной жестокостью. Антиколониальные или автономистские движения несомненно начинали проявляться в более развитых в социально-политическом отношении колониях: но обычно не добивались того единства между образованным западничеством меньшинством и ксенофобскими сторонниками древней традиции, которое бы позволило им стать реальной политической силой. Обе группы не доверяли друг другу по объективным причинам на радость колониальным властям. Во французском Алжире сопротивление концентрировалось в среде мусульманского духовенства, которое уже находилось в процессе становления, в то время как светские «эволюционисты» пытались стать французами-республиканцами левого толка. В протекторате Тунис оно концентрировалось в кругах образованных западников, уже сформировавших партию, требующую конституцию (Дестур) и явившуюся прародительницей партии Нео-Дестур, лидер которой, Хабиб Бургиба, стал главой независимого Туниса в 1954 г.

Из великих колониальных держав лишь старейшая и величайшая Британия имела серьезные предчувствия временности своего статуса. Она неохотно признала фактическую независимость колоний белых поселенцев (называемых с 1907 г. «доминионами»). Поскольку этому никто не сопротивлялся, проблем было ждать неоткуда, даже в Южной Африке, где буры, недавно аннексированные после поражения в тяжелой войне<sup>47</sup>, казалось, были умиротворены великодушным либеральным соглашением, а также совместным выступлением британцев и белых буров про-

тив небольшого большинства. Достаточно перечитать «Путь в Индию» Е. М. Форстера, чтобы понять, почему уже возникло автономистское движение. Его главная организация — Индийский Национальный Конгресс (основан в 1885 г.), которой предстояло стать партией национального освобождения, первоначально отражала и недовольство среднего класса, и попытку интеллигентных британских чиновников типа Аллана Октавиана Хьюма (который фактически и основал организацию) сгладить волнения путем признания достойного протеста. Однако к началу двадцатого столетия Конгресс начал все больше избегать британской опеки, отчасти благодаря влиянию явно неполитической идеологии теософии. Будучи поклонниками восточного мистицизма, западные адепты этой философии были склонны сочувствовать Индии, а некоторые, подобно экс-мирянке и экс-социалистке воинственной Анни Безант, не имели никаких сложностей с превращением в поборников индийского национализма. Образованные индийцы и, несомненно, цейлонцы естественно почитали за благо западное признание своих собственных культурных ценностей. Однако Конгресс, хотя и являясь растущей силой, к стати будучи при этом строго светским и прозападным движением, оставался элитной организацией. Тем не менее на западе Индии уже развернулась агитация, направленная на мобилизацию полуграмотных масс с упором на традиционную религию. Бал Гангхадар Тилак (1856—1920 гг.) не без общественного успеха защищал священных коров индуизма от внешней угрозы.

Более того, к началу XX в. сложилось еще два очага индийской народной агитации. Индийская эмиграция в Южной Африке начала спланиваться против расизма в этом регионе, а главным представителем ее успешного движения массового сопротивления, построенного на принципах пассивности и ненасилия, как мы видим, был молодой адвокат Гуджерати, которому по возвращении в Индию в 1915 г., было суждено стать вождем, возглавившим мобилизацию индийских масс на борьбу за национальную независимость: Ганди. Он придал современному политику величайший статус почти святого. В то же время более радикальная освободительная практика складывалась в Бенгалии, с ее утонченной национальной культурой, влиятельным средним

классом индусов, обширным пластом образованного, но скромно востребованного, класса ниже среднего, и ее интеллигенцией. Британский план вычленения этой обширной провинции в преимущественно мусульманский район позволил антибританской агитации развиваться огромными темпами в 1906—1909 гг. (От плана отказались.)

Бенгальское националистическое движение, располагавшееся левее Конгресса с самого начала и никогда не считавшееся вполне интегрированным в него, объединило на этом этапе религиозно-идеологическую востребованность индуизма с намеренной имитацией подходящих западных революционных движений — таких как Ирландское или движение русских народников.

Оно породило первое серьезное террористическое движение в Индии — накануне войны появились и другие в северной Индии, сформировавшиеся на базе пенджабских эмигрантов, вернувшихся из Америки (партия Гхадр) — и к 1905 г. представляла серьезную проблему для полиции. Более того, первые индийские коммунисты (например, М. Н. Рой (1887—1954)), вышли из рядов бенгальского террористического движения во время войны<sup>8\*</sup> В то время, как британский контроль над Индией оставался достаточно жестким, для многих разумных чиновников стала очевидной неизбежность своего рода перехода, пусть и постепенного, к некой более умеренной степени автономии. Несомненно, первое из подобных предложений должно было прозвучать из Лондона во время войны.

Где глобальная система империализма была наиболее уязвима, так это в мрачной зоне скорее неформальной, чем формальной, империи, или в системе, которая после второй мировой войны будет названа «неоколониализмом». Мексика несомненно была страной экономически и политически зависимой от своего великого соседа, но чисто технически это было независимое суверенное государство со своими институтами и политическими решениями. Это было государство, скорее напоминающее Персию, чем колонию подобную Индии. Более того, экономический империализм не был так уж неприемлем для ее национальных правящих классов, поскольку являл собой потенциально модернизирующую силу. По всей Латинской Америке землевладельцы,

торговцы, предприниматели и интеллигенция, составлявшие основу местных правящих классов и групп, мечтали лишь о достижении такого уровня прогресса, который дал бы их странам, в их глазах столь отсталым, немощным, не пользующимся уважением и прозябающим на окраинах западной цивилизации, неотъемлемой частью которой они себя видели, шанс исполнить свое историческое предназначение. Прогресс означал Великобританию, Францию и, все в большей степени, США. Правящие классы Мексики, особенно на севере, где влияние соседней американской экономики было в высшей степени сильно, не имели ничего против собственной интеграции в мировой рынок и, таким образом, в мир прогресса и науки, презирая при этом беспардонную грубость «гринго»<sup>48</sup> (американских бизнесменов и политиков). Фактически после революции сформировалась группа «Сонора», составленная из лидеров экономически наиболее честолюбивого аграрного среднего класса этого самого северного мексиканского штата, группа, ставшая самой решительной политической силой в стране. С другой стороны, огромным препятствием на пути модернизации была обширная масса сельского населения, инертного и бесстрастного, частично или полностью индейского или черного, погрязшего в невежестве, скованного традициями и предубеждениями. Бывали моменты, когда правящие круги и интеллигенция в Латинской Америке, как и в Японии, просто теряли веру в собственный народ. Под влиянием повсеместного расизма в буржуазном мире (см. *«Век Капитала»*, глава 14, II) они мечтали о биологической трансформации своего населения, позволившей бы приспособить его к прогрессу: за счет массовой иммиграции европейцев в Бразилию и на южную оконечность Южной Америки, а также за счет смешанных браков с белыми в Японии.

Правители Мексики не были в особом восторге от перспективы массовой иммиграции белых, большую часть которых наверняка составляли бы североамериканцы, а их борьба за независимость уже была узаконена в апелляции к независимому и, в основном, выдуманному доиспанскому прошлому, отождествляемому с ацтеками. Мексиканская модернизация, таким образом, оставляла другим биологические мечтания, а делала упор непосредственно на прибыльность, науку и прогресс в качестве связу-



ющего звена между иностранными инвестициями и философией Огюста Конта. Группа так называемых спентификос сосредоточилась исключительно на этих вопросах. Ее неоспоримым лидером и политическим руководителем страны с 1870-х гг. т. е. в течение всего периода после великого скачка мировой империалистической экономики, был президент Порфирио Диас (1830—1915). Несомненно, экономическое развитие Мексики за годы его президентства было впечатляющим, не говоря уже о благосостоянии, которого многие мексиканцы добились на волне общего подъема экономики, особенно те, кому удалось переиграть конкурирующие группы европейских предпринимателей (таких как «Бритиш Ойл» и строительного магната Уитмена Пирсона) в их борьбе друг с другом и все еще наиболее влиятельными североамериканцами.

Затем стабильности режимов, уместившихся от Рио-Гранде до Панамы, стала угрожать утрата Вашингтоном доброй воли, проводившим воинственно империалистический курс и придерживавшимся того взгляда, «что Мексика отныне представляет не что иное, как доминион американской экономики». Попытки Диаса сохранить независимость своей страны путем сраживания европейского и североамериканского капитала не снискали ему особой популярности к северу от границы. Страна была слишком велика для военной интервенции, которую США охотно применяли по отношению к более мелким государствам Центральной Америки в то время, но к 1910 г. Вашингтон уже не был склонен препятствовать доброжелателям, подобным «Стандард Ойл», раздраженной британским влиянием в одной из ведущих нефтедобывающих стран, которые могли бы поспособствовать свержению Диаса. Нет никакого сомнения в том, что мексиканским революционерам была оказана существенная помощь из-за дружественной северной границы, а позиция Диаса становилась все более уязвимой, поскольку после прихода к власти в качестве военного лидера он позволил довести армию до развала, т. к. он справедливо полагал, что военные перевороты представляли гораздо большую опасность, чем народные восстания. Ему не повезло в том, что он оказался перед лицом грандиозной вооруженной народной революции, которую его армия, в отличие от

большинства латиноамериканских сил, была не в состоянии подавить.

То, что он оказался перед лицом революции, как раз и явилось следствием тех поразительных экономических преобразований, которые он так успешно осуществлял. Режим благоприятствовал предприимчивым, латифундистам (асендадос), тем более, что глобальный бум и значительное расширение сети железных дорог превратили прежде недоступные земельные участки в потенциальные «острова сокровищ». Свободные деревенские общины, главным образом в центре и на юге страны, сохраненные по указу испанского двора и окрепшие за первые поколения независимости, систематически лишались своих земель. Им было суждено стать стержнем аграрной революции, которая обрела своего лидера и глашатая в лице Эмильяно Санаты (1879—1919). Два из тех районов, в которых крестьянские волнения были наиболее интенсивными, — штаты Морелос и Гуэрреро, находились в непосредственной близости к столице, и, таким образом, были в состоянии влиять на события в стране.

Вторая зона волнений находилась на севере, который быстро превращался (особенно после поражения индейского племени Апачей) из индейского пограничного района в экономически динамично развивающийся приграничный район, живущий во взаимовыгодном симбиозе с соседними районами США. Здесь находилась масса потенциально недовольных мятежников из бывших общин жителей пограничной полосы, сражающихся индейцев, ныне лишенных своих земель, индейцев племени Якуи, возмущенных собственным поражением, представителей нового и растущего среднего класса, и значительное число свободных и уверенных в себе мужчин, часто с собственными ружьями и лошадьми, которых можно было встретить в пустой фермерской и шахтерской деревне. Типичным их представителем был Панчо Вилья<sup>49</sup>, бандит, угонщик скота, а впоследствии — революционный генерал. Существовали также и группы мощных и богатых латифундистов, таких, как Мадерос — возможно, богатейшая семья в Мексике, — которые соперничали за контроль над своими штатами с центральным правительством или его союзниками из числа местных хасендадос.

Многие из этих потенциально оппозиционных групп немало получили за время Порфирианской политики иностранных инвестиций и экономического роста. Что сделало их оппозиционными, или, точнее, что превратило рутинную политическую борьбу за преобразование или возможную отставку президента Диаса в революцию, так это, вероятно, все возрастающая интеграция мексиканской экономики в мировую (а точнее американскую) экономику. Случилось так, что спад в американской экономике 1907—1908 гг. оказал катастрофическое влияние на Мексику: он непосредственно привел к краху собственных рынков Мексики и финансовому давлению на мексиканские предприятия, опосредованно в виде потока мексиканских рабочих без гроша в кармане, возвращавшихся домой после потери своих рабочих мест в США. Современный и древний кризис совпали: циклический спад и погибший урожай со взлетом цен на продукты питания выше черты бедности.

Именно в этих условиях выборная кампания превратилась в землетрясение. Диас, ошибочно разрешив оппозиции проведение открытой предвыборной кампании, легко «выиграл» выборы у своего основного оппонента — Франциско Мадеро, но заурядный бунт проигравшего кандидата превратился, ко всеобщему удивлению, в социальный и политический взрыв в северном приграничье и восставшем крестьянском центре, вышел из-под какого-либо контроля. Диас был низвергнут. Власть перешла к Мадеро, который вскоре был убит в результате покушения. США искали, но так и не нашли среди оппозиционных генералов и политиков фигуру в равной степени стоворчивую и продажную, и способную установить прочный режим. Сапата перераспределил землю в пользу своих сторонников среди крестьян на юге, Виллья экспроприировал поместья на севере, когда подошло время расплатиться со своей революционной армией, и заявил, как выходец из бедных слоев, что позаботится о себе сам. К 1914 г. ни у кого не было ни малейшего представления о том, что же произойдет в Мексике, но не могло быть и ни малейшего сомнения в том, что страну сотрясает социальная революция. Контуры постреволюционной Мексики так и не прояснились вплоть до 1930-х годов.

## VI

Среди историков существует мнение о том, что Россия, будучи примером самой быстро развивающейся экономики в конце XIX века, могла бы продолжить поступательное и эволюционное движение в сторону процветающего либерального общества, если бы это движение не было бы прервано революцией, которой в свою очередь можно было избежать, если бы не первая мировая война. Ни одна из возможных перспектив развития не удивила бы современников больше, чем эта. Если и существовало государство, в котором революция считалась не только желательной, но и неизбежной, так это империя царей. Гигантская, громоздкая и неэффективная, экономически и технологически отсталая, населенная 126 млн людей (1897), из которых 80 % были крестьянами, а 1 % — наследными дворянами, она была организована в таком виде, что представлялась всем образованным европейцам доисторической к концу XIX века, — в виде забюрократизированного самодержавия. Сам этот факт делал революцию единственным способом изменить государственную политику не иначе, чем взяв царя за ушко и приведя государственную машину в действие сверху: первое вряд ли было доступно многим и не обязательно подразумевало второе. Поскольку необходимость перемен того или иного рода ощущалась повсеместно, буквально каждый — от тех, кого на западе сочли бы за умеренных консерваторов, до крайне левых — просто обязаны были стать революционерами. Вопрос заключался лишь в том, какого типа революционерами.

Царским правительствам со времен Крымской войны (1854—1856) было известно, что статус России в качестве великой державы не может более мирно покоем лишь на признании ее размеров, значительного населения и, как следствие, ее многочисленных, но допотопных вооруженных сил. Она нуждалась в модернизации. Отмена крепостного права в 1861 г. — Россия, наряду с Румынией, была последним оплотом крепостного хозяйства в Европе — имела целью втащить российское сельское хозяйство в девятнадцатый век, но она не дала ни сносного крестьянства, ни модернизированного сельского хозяйства. Средний

урожай зерновых в Европейской России (1898—1902) составлял чуть меньше 9 бушелей с акра в сравнении с примерно 14 бушелями в США и 35,4 — в Британии. И тем не менее включение обширных территорий страны в производство зерна на экспорт превратило Россию в одного из крупнейших поставщиков зернового хлеба в мире.

Урожай зерновых (за вычетом семян, использованных для посева) вырос на 160% за период между началом 1860-х годов и началом 1900-х годов, объемы экспорта возросли в 5—6 раз, но при этом российские крестьяне попали в жесткую зависимость от уровня цен на мировом рынке, который (по пшенице) понизился почти наполовину во время мирового аграрного кризиса.

Поскольку крестьян, как объединенной силы, не было ни видно, ни слышно за пределами своих деревень, недовольство почти 100 млн из них было очень легко проигнорировать, хотя голод 1891 года и привлек к себе внимание. И все-таки это недовольство не просто усугублялось бедностью, обезземелением, высокими пошлинами и низкими ценами на зерно, но проявлялось в значимых формах потенциальной организованности через коллективные деревенские коммуны, чье положение в качестве официально признанных институтов, как это ни парадоксально, улучшилось с освобождением крепостных и еще более усилилось в 1880-х гг., когда некоторые бюрократы рассматривали общину как бесценный оплот традиционалистской благонадежности против социальных революционеров. Другие, основываясь на противоположных идеологических воззрениях экономического либерализма, настаивали на быстрой ликвидации общин и передаче общинных земель в частную собственность. Аналогичные споры разделили и революционеров. Народники (см. *«Век Капитала»*, гл. 9) или популисты — надо заметить, при неопределенной и колеблющейся поддержке самого Маркса, считали, что революционная крестьянская община могла бы послужить основой для непосредственной социалистической трансформации России, минуя ужасы капиталистического развития; русские марксисты уже не считали это возможным, т. к. община была расколота на два враждебных лагеря — буржуазию и пролетариат. Обе стороны в этих спорах ссылались на

важность крестьянских общин, которым принадлежало 80 % земель в пятидесяти губерниях Европейской России на правах общинной собственности, — земель, подлежащих периодическому перераспределению по усмотрению общины. Община, несомненно, распадалась в более коммерциализированных южных регионах, но медленнее, чем полагали марксисты: на севере и в центре она повсеместно оставалась прочной. Там, где она оставалась сильной, это было сообщество, озвучивающее всеобщее согласие в деревне по вопросу о революции, а также в иных обстоятельствах, о царе и Святой Руси.

Там где она разрушалась, большинство крестьян спланивалось для ее решительной защиты. По сути дела, и к счастью для революции, «классовая борьба в деревне», предсказанная марксистами, зашла не так далеко, чтобы реально угрожать появлению массового движения всего крестьянства, богатого и бедного, против помещиков и государства.

Независимо от взглядов, почти все участники общественной жизни России соглашались, что царское правительство провалило аграрную реформу и игнорировало нужды крестьян. Фактически оно усугубило их недовольство как раз в то время, когда оно и так достигло своего апогея, за счет перераспределения средств сельского населения в пользу широкомасштабной индустриализации в 1890-х гг. при поддержке государства. Поскольку сельское население составляло основной массив российских налогоплательщиков, то высокие налоги, вкупе с высокими протекционистскими тарифами и огромными объемами импорта капиталов, играли существенную роль в повышении мощи царской России с помощью экономической модернизации. Результаты, достигнутые за счет объединения частного и государственного капитализма, были впечатляющими. За период между 1890 и 1904 годами протяженность железных дорог удвоилась (частично за счет строительства Транссибирской магистрали), а выпуск угля, железа и стали вырос в два раза за последнее пятилетие века. Но обратной стороной медали было то, что царская Россия оказалась перед лицом быстрого роста промышленного пролетариата, сконцентрированного, как правило, на крупных промышленных комплексах в нескольких ведущих центрах, и, как следствие, перед

лицом набирающего силу рабочего движения, стремящегося конечно же к социальной революции.

Третьим итогом ускоренной индустриализации явилось ее непропорциональное развитие в регионах на западной и южной окраинах империи — в Польше, на Украине и в Азербайджане (нефтяная промышленность). Усиливались социальные и национальные конфликты, особенно по мере того, как царское правительство попыталось укрепить свое политическое положение за счет систематической политики русификации, начиная с 1880-х годов. Как мы уже видели, комбинация социального и национального недовольства проявляется в том факте, что среди многочисленных, а возможно, в большинстве, политически мобилизованных этнических меньшинств в царской империи, разновидность нового социал-демократического (марксистского) движения фактически оформились в «национальные» партии. То, что грузин (Сталин), стал правителем революционной России — не меньшая историческая случайность, чем то, что правителем революционной Франции стал корсиканец (Наполеон).

Все европейские либералы, начиная с 1830 г., сочувствовали, дворянскому в своей основе, национально-освободительному движению Польши в его борьбе против царского правительства, которое оккупировало большую часть и без того разделенной страны, хотя с момента подавления восстания 1863 года революционный национализм здесь был не слишком заметен. А начиная с 1870 года они свыклись и поддержали новую идею о надвигающейся революции в самом сердце империи, управляемой «самодержцем всея Руси», и потому, что сам царизм выказывал признаки внутренней и внешней слабости, и потому, что появилось заметное революционное движение, первоначально черпавшее кадры почти исключительно из рядов т. н. «интеллигенции»: сыновей и, в беспрецедентно высокой степени, дочерей дворян, среднего и других образованных слоев, в т. ч., впервые в истории, значительной части евреев. Их первое поколение составили, главным образом, народники (популисты), с надеждой взиравшие на крестьян, которые в свою очередь их совершенно не замечали. Зато они преуспели в террористической деятельности, осуществляемой мелкими группами, и в 1881 г. им удалось покуше-

ние на царя Александра II. В то время как терроризм оказался неспособным существенно ослабить царизм, он придал российскому революционному движению его международный профиль и помог кристаллизовать буквально повсеместное единодушие, за исключением крайне правых, в том, что Русская революция была и необходима, и неизбежна.

Народники были разбиты и разогнаны после 1881 года, хотя и возродились в виде «Социал-Революционной» партии в начале 1900-х годов, но к этому времени крестьяне были готовы к ним прислушаться. Им было суждено стать главной крестьянской партией левого толка, хотя было восстановлено и террористическое крыло, которое на этот раз было наводнено тайными агентами полиции. Как и все замышлявшие Русскую революцию, они были прилежными учениками подходящих западных теорий, особенно самого яркого и, благодаря Первому Интернационалу, выдающегося теоретика социальной революции, Карла Маркса. В России даже люди, которые за ее пределами были бы либералами, являлись до 1900 года марксистами, наделенными неправдоподобными идеями западных либеральных решений, поскольку марксизм по крайней мере предсказал фазу капиталистического развития на пути его свержения пролетариатом.

Не удивительно, что революционные движения, выросшие на руинах популизма 1870-х годов, были марксистскими, хотя они и не были организованы в Российскую Социал-Демократическую партию, а скорее — в некий комплекс соперничающих, а иногда и сотрудничающих, социал-демократических организаций под общей крышей Интернационала — вплоть до конца 1890-х годов. К тому времени идея о партии на базе промышленного пролетариата обрела реальную основу, хотя наибольшую массовую поддержку социал-демократы того времени все еще находили в среде полунищих кустарей и надомных рабочих в северной части черты оседлости, оплоте еврейского Бунда (1897). Обычно особое внимание обращают на становление особой группы революционеров-марксистов, которая впоследствии заняла доминирующие позиции, а именно — группы Ленина (В. И. Ульянов, 1870—1924 гг.), брат которого был казнен за участие в покушении на



царя. Следует не забывать о трех существенных моментах, помимо того факта, что Ленин обладал гениальной способностью соединения революционной теории и практики. Большевики представляли собой лишь одно из многих направлений внутри и вокруг российской социал-демократии (которая в свою очередь отличалась от других национальных социалистических партий империи). В сущности, они оформились в самостоятельную партию лишь к 1912 г. когда они в действительности приобрели большинство в рядах организованного рабочего класса. В-третьих, с точки зрения зарубежных социалистов и, возможно, простых русских рабочих, различия между разного рода социалистами были не вполне понятны или казались второстепенными, но все они в равной степени заслуживали поддержки и симпатии, как враги царизма. Главное отличие большевиков заключалось в том, что соратники Ленина были лучше организованы, более эффективны и надежны.<sup>13\*</sup>

То, что социально-политическое напряжение становилось все более сильным и опасным, стало для царских правительств очевидным, хотя крестьянские волнения несколько стихли на ряд десятилетий после отмены крепостного права.

Царизм не только не препятствовал, но порой и поощрял массовый антисемитизм, для которого существовала благодатная почва, как показала волна погромов после 1881 года, хотя и без особого энтузиазма прокатившаяся в Великороссии в отличие от Украины и Прибалтики, где была сосредоточена основная масса еврейского населения. Ввиду возрастающей дискриминации, евреев все больше привлекали идеи революционных движений. С другой стороны, режим, зная о потенциальной опасности социализма, манипулировал трудовым законодательством и даже организовал контрпрофсоюзы под прикрытием полиции в начале 1900-х годов, которые стали настоящими профсоюзами. Именно кровавое подавление демонстрации, организованной этими кругами, приблизило революцию 1905 года. Однако начиная с 1900 года становится все более очевидным, что социальная напряженность быстро нарастает. Крестьянские волнения, долгое время носившие вялый характер, явно стали нарастать, начиная где-то с 1902 года, в то самое время, когда и

рабочие организовали всеобщие забастовки в Ростове-на-Дону, Одессе и Баку (1902—1903).

Непрочным режимам частенько рекомендуют избегать авантюрной внешней политики. Царская Россия просто погрязла в ней, хотя и в качестве великой державы (пусть и на глиняных ногах), которая настаивала, как ей это виделось, на подобающей ей роли в империалистических авантюрах. Местом приложения своих амбиций она избрала Дальний Восток — Транссибирская магистраль как раз и была построена для проникновения в этот регион. Здесь русская экспансия натолкнулась на экспансию японскую — и все в ущерб Китаю. Как и бывает в подобных империалистических коллизиях, темные и, надо полагать, выгодные сделки сомнительных дельцов лишь усугубляли общую картину. Несчастный Китай вел войну с Японией, а Русской империи было суждено стать первой в двадцатом веке страной, испытавшей на себе всю прелесть недооценки этого грозного государства. Русско-японская война 1904—1905 годов, в которой было убито 84 000 и ранено 143 000 японцев<sup>14\*</sup>, закончилась быстрым и унижительным поражением России, подтвердившим слабость царизма. Даже либералы из рядов среднего класса, начавшие организовываться как политическая оппозиция с 1900 года, решались на проведение массовых демонстраций. Царь, осознавая то, что вал революции нарастает, ускорил мирные переговоры. Революция разразилась в январе 1905 года до их завершения.

По словам Ленина, революция 1905 года была и буржуазной революцией, совершенной «посредством пролетариата». «Посредством пролетариата» — пожалуй, слишком сильно сказано, но именно массовые стачки рабочих в столице и стачки солидарности в большинстве промышленных городов империи вызвали уступки правительства и позднее послужили толчком к дарованию некоего подобия конституции 17 октября<sup>50</sup>. Более того, именно рабочие, несомненно с деревенским прошлым, немедленно сорганизовались в «Советы», среди которых был организован Санкт-Петербургский Совет рабочих депутатов 13 октября, выступивший не просто в роли парламента рабочих, но на короткий период — в роли наиболее эффективной и реальной властной структуры в столице. Социалистические партии быстро признали важ-

ность таких собраний, и некоторые из этих партий сыграли существенную роль в их работе — например, молодой Л. Д. Троцкий (1879—1940) в Санкт-Петербурге. Решающим фактором, наряду с участием рабочих, сконцентрированных в столице и других политических центрах, как и в 1917 г., был взрыв крестьянских восстаний огромных масштабов в черноземном районе, Поволжье, на Украине, а также развал вооруженных сил, усугубленный восстанием на броненосце «Потемкин», которое сломило хребет царского сопротивления<sup>57</sup>. Не менее важной была и одновременная мобилизация революционных сил сопротивления среди нацменьшинств. «Буржуазный» характер революции мог быть и был принят, как нечто само собой разумеющееся. Не только средние классы единодушно поддерживали революцию, и не только студенты (в отличие от октября 1917 г.) повсеместно поднялись на борьбу, но ее приняли, почти без разногласий, и либералы и марксисты, согласившись с тем, что революция в случае успеха могла привести исключительно к установлению западной буржуазной парламентской системы со свойственными ей гражданскими и политическими свободами, в рамках которой проходили бы последующие этапы Марксовой классовой борьбы. Коротко говоря, сложилось единое мнение о том, что строительство социализма не стоит в повестке дня текущей революционной ситуации только из-за большой отсталости России. Ни экономически, ни социально она не была готова к социализму.

По этому пункту наблюдалось единство мнений, за исключением социалистов-революционеров, которые все еще вынашивали мечты в отношении все более невероятной перспективы трансформации крестьянских общин в социалистические ячейки — перспективы, как это ни парадоксально, реализованной лишь в палестинских кибуцах, созданных самыми нетипичными мужиками в мире — социалистическо-националистическим городским еврейством, представители которого эмигрировали в землю обетованную из России после поражения революции 1905 года.

И все-таки Ленин, так же как и царские власти, ясно понимал, что либеральная, и любая другая, буржуазия слишком слаба численно и политически, чтобы взять власть из царских рук, так же как и российское частное капиталистическое предприятие

было слишком немощным, чтобы модернизировать страну без иностранного предпринимательства и государственной инициативы. Даже в самый разгар революции власти решились лишь на скромные политические уступки даже по меркам буржуазно-либеральной конституции — парламент (Дума), избираемый непрямым голосованием и с ограниченными полномочиями в сфере финансов и их полным отсутствием в отношении правительства и «фундаментальных законов», и в 1907 г., когда волна революции пошла на убыль, а махинации с избирательным правом так и не позволили сформировать достаточно безвредную Думу, большая часть конституции была отменена. Возврата к самодержавию уже быть не могло, но на практике царизм самоутвердился еще больше.

Но он мог быть и свергнут, что доказал 1905 г. Новизна ленинской позиции в противовес его основным оппонентам, меньшевикам, состояла в том, что при всей слабости или отсутствии буржуазии, буржуазную революцию следовало совершать без участия буржуазии. Ее необходимо осуществить рабочему классу, организованному и направляемому дисциплинированной авангардной партией профессиональных революционеров, что явилось выдающимся вкладом Ленина в политику XX века, при опоре на безземельное крестьянство, чей политический вес в России был решающим и чей революционный потенциал был так ярко продемонстрирован. Такова в общем была ленинская позиция вплоть до 1917 года. Идея о том, что рабочие в отсутствие буржуазии могли бы и сами взять власть в свои руки и перейти непосредственно к следующему этапу социальной революции («парламентская революция»), всплыла на короткое время в ходе революции — хотя бы для того только, чтобы подтолкнуть пролетарскую революцию на западе, без чего долгосрочные перспективы российского социалистического режима были ничтожны. Ленин рассматривал такой вариант, но все же отверг его как неосуществимый.

Ленинский план основывался на росте численности рабочего класса, на сохранении крестьянства в качестве революционной силы — и, конечно же, на мобилизации, союзе или, по крайней мере, нейтрализации сил национального освобождения, находив-

шихся в революционном активе постольку, поскольку они являлись врагами царизма (отсюда настойчивое требование Ленина на праве на самоопределение, даже выходе из состава России, хотя большевики были организованы как единая всероссийская национальная партия). Наблюдался очевидный рост пролетариата по мере того, как Россия вошла в очередную полосу широкомасштабной индустриализации в годы, предшествовавшие 1914; молодые выходцы из села устремляясь в Москву и Санкт-Петербург, следовали скорее за радикальными большевиками, чем за умеренными меньшевиками, не говоря уже о жалких провинциальных поселениях, полных дыма, угля, железа, текстиля и грязи — в Донбассе, на Урале, в Иваново — которые всегда были склонны к большевизму. После нескольких лет деморализации, последовавшей после поражения революции 1905 года, снова поднялась новая огромная волна пролетарского недовольства после 1912 года, усугубленная расстрелом 200 бастующих рабочих на отдаленных Сибирских золотых приисках (принадлежащих британцам) на реке Лена.

Но могли ли крестьяне сохранить свою революционность? Реакция царского правительства на 1905 год, при способном и решительном министре Столыпине<sup>58</sup>, заключалась в попытке создать значительную и консервативную массу крестьян, с одновременным повышением производительности сельскохозяйственного производства. Крестьянской общине предстояло систематическое разделение на частные наделы в пользу класса хозяйственно мыслящих предприимчивых крестьян — «кулаков». Если бы ставка Столыпина на «сильных и трезвомыслящих» оправдала себя, социальная поляризация между деревенскими богачами и безземельной беднотой, классовое расслоение на селе, о котором говорил Ленин, действительно имели бы место; но, столкнувшись с реальностью такой перспективы, он признал со свойственным ему чутьем на политические реалии, что все это не будет работать на дело революции. Могли ли законодательные инициативы Столыпина достичь ожидаемого политического результата, нам неизвестно. Они легли на благодатную почву в более деловитых южных губерниях, особенно на Украине, но на остальной территории не пользовались такой поддержкой. Однако, по-

скольку сам Столыпин был выведен из царского правительства в 1911 г. и вскоре застрелен<sup>51</sup>, а сама империя имела лишь восемь лет передышки с 1906 г., вопрос носит совершенно отвлеченный характер.

Очевидно, что поражение революции 1905 года ни породило потенциальной «буржуазной» альтернативы царизму, ни предоставило ему достаточной отсрочки. К 1912—1914 годам страна была снова охвачена общественными волнениями. Вновь назревала революционная ситуация, в чем был убежден Ленин. К лету 1914 года все, что ее сдерживало, были стойкость и глубокая преданность царской бюрократии, полиции и вооруженных сил, которые, в отличие от 1904—1905 годов, не были ни деморализованы, ни связаны какими-либо иными ограничениями<sup>16\*</sup>; и, возможно, пассивность русской интеллигенции среднего класса, которая, будучи деморализована поражением 1905 года, большей частью отказалась от политического радикализма в пользу иррационализма и культурного авангарда. Как и во многих других европейских государствах, развивавшаяся война ослабила накопившееся социально-политическое напряжение. Когда война началась, стало совершенно ясно, что царизм был обречен. В 1917 г. он рухнул.

К 1918 г. революция стряхнула с глобуса все древние империи от границ Германии до Китайских морей. Как показали Мексиканская революция, египетские восстания и индийское национальное движение, революция разрушала новые империи, формальные и неформальные. Однако нигде ее итоги не были ясными, а значение искр, мерцающих в ленинском «горючем материале мировой политики», было легко недооценить. Все еще не было ясно, что Русская революция породит коммунистический режим, первый в истории, и станет центральным событием мировой политики XX века, как Французская революция стала центральным событием политики века XIX.

Очевидно, что из всех потрясений зоны глобальных социальных катастроф, Русская революция явилась величайшим международным событием, ибо даже незавершенная и промежуточная схватка 1905—1906 годов имела роковые последствия. Она ускорила свершение Персидской и Турецкой революций, вероят-

но, и Китайской, а за счет подталкивания австрийского императора к введению всеобщего избирательного права, она трансформировала и сделала еще более неустойчивой неблагоприятную политику Габсбургской империи. Поскольку Россия была «великой державой», одним из пяти столпов евроцентристской международной системы, и принимая во внимание только внутреннюю территорию, крупнейшей, многочисленной и богатой ресурсами страной, социальная революция в такой стране просто обязана была иметь долгосрочные глобальные последствия по тем же причинам, что и, наряду с бесчисленными революциями конца XVIII века, имела Французская революция — в то время самое значительное международное событие.

Но скрытые отзвуки Русской революции были еще глубже, чем революции 1789 года. Одна лишь физическая протяженность и многонациональный состав империи, протянувшейся от Тихого океана до границ Германии, означали, что последствия ее краха затронут гораздо более широкий круг стран на двух континентах, чем окраинное или изолированное государство в Европе или Азии. И тот решающий факт, что Россия одновременно относилась и к миру завоевателей, и к миру их жертв, стран развитых и отсталых, придал ее революции огромный скрытый резонанс в обоих мирах. Она являла собой одновременно и ведущую промышленную державу, и технологически средневековое крестьянское хозяйство; суверенную державу и полуколонию; общество, чьи интеллектуальные и культурные достижения не имели равных себе в самых просвещенных западных странах, и одновременно государство, чьи крестьянские дети в солдатских шинелях с изумлением разглядывали новейшую амуницию японских захватчиков. Одним словом, русская революция могла оказаться уместной одновременно и для западных лидеров рабочего движения и для революционеров Востока, в Германии и в Китае.

Царская Россия олицетворяла все противоречия мирового общества в Век Империи, что и привело к мировой войне, которую с нарастающей тревогой ожидала Европа и была не в силах предотвратить.

# ОТ МИРА К ВОЙНЕ

*В ходе дебатов (27 марта 1900 г.) я объяснил... что под мировой политикой я понимаю лишь поддержку и выдвижение тех задач, которые вытекают из расширения нашей промышленности, нашей торговли, рабочей силы, активности и интеллектуального уровня нашего народа. У нас нет никаких намерений проводить агрессивную политику экспансии. Мы хотели только защитить наши жизненные интересы, обретенные в ходе естественного развития, по всему миру.*

Канцлер Германии, фон Бюлов, 1900 г.<sup>1\*</sup>

*Нет никакой уверенности в том, что мать потеряет сына, если тот отправится на фронт; на самом деле, угольная шахта или железнодорожное депо гораздо опаснее, чем военный лагерь.*

Бернард Шоу, 1902 г.<sup>2\*</sup>

*Мы восславим войну — единственную гигиену в мире — милитаризм, патриотизм, деструктивный жест несущих свободу, прекрасные идеи, за которые стоит умереть, и презрение матери.*

Ф. Т. Маринетти, 1909 г.<sup>3\*</sup>

---

## I

Жизни европейцев, начиная с августа 1914 г, были окружены, пропитаны и растревожены мировой войной. Ко времени написания этой книги большинство семидесятилетних людей и старше на этом континенте прошли, по крайней мере, две войны за свою жизнь; все пятидесятилетние, за исключением шведов, швейцарцев, южных ирландцев и португальцев, испытали на себе по меньшей мере одну. Даже родившиеся после 1945 года, когда грохот орудий смолк на границах Европы, не знали ни одного мирного года, когда война не велась бы где-нибудь в мире, и прожили целые жизни в страшном ожидании третьего ядерного



всемирного конфликта, которого, как заверяли буквально все их правительства, удалось избежать лишь за счет бесконечной гонки вооружений по обеспечению взаимного уничтожения. Как можно называть эту эпоху мирным временем, даже если удалось избежать глобальной катастрофы на протяжении такого же периода, как и промежуток между большой войной европейских держав, начиная с 1871 по 1914 год? Потому что, как заметил великий философ Томас Гоббс: «Война заключается не только в битвах или в акте сражения, но в непрерывном периоде, в течение которого достаточно ясно осознается желание соперничать посредством битвы»<sup>4\*</sup>. Кто может отрицать, что именно этим и жил весь мир после 1945 года?

Но до 1914 года это было не так: мир был естественным и привычным каркасом европейской жизни. С 1815 года не было ни одной войны с участием всех европейских держав. С 1871 года ни одна европейская держава не отдавала приказа своим солдатам стрелять в солдат любой другой державы. Великие державы выбирали себе жертв из числа слабых государств за пределами европейского мира, хотя часто недооценивали степень сопротивления своих противников; буры доставили англичанам гораздо больше неприятностей, чем ожидалось, а японцы добились статуса великой державы за счет победы над Россией в 1904—1905 гг., которая досталась им с поразительной легкостью. На территории ближайшей и крупнейшей, из числа потенциальных жертв, мучительно долго распадавшейся Османской империи, война была перманентной возможностью для подчиненных ею народов обрести самостоятельность в качестве независимых государств, впоследствии начавших воевать друг с другом, вовлекая попутно в свои конфликты великие державы. Балканы были известны как пороховая бочка Европы, и именно здесь начался глобальный пожар 1914 года. Но «Восточный вопрос» всегда оставался знакомой темой в повестке дня международной дипломатии, и хотя он породил постоянную череду международных кризисов на протяжении целого столетия и даже один довольно существенный международный конфликт (Крымскую войну), он никогда полностью не ускользал из-под контроля. В отличие от Ближнего

Востока после 1945 года, Балканы для большинства европейцев, которые никогда там не жили, принадлежали к царству приключенческих рассказов или оперетты.

Конечно, возможность общеевропейской войны предвидели не только правительства и их генеральные штабы, но и широкая общественность. С начала 1870-х годов в художественной литературе и футурологии, главным образом в Англии и во Франции, появились совершенно нереальные прогнозы будущей войны. В 1880-х годах Фридрих Энгельс уже проанализировал вероятность мировой войны, в то время как философ Ницше с безумством пророка приветствовал милитаризацию Европы и предсказал войну, которая «скажет да варварскому, даже дикому животному внутри нас»<sup>5\*</sup>. В 1890-х годах озабоченность по поводу войны выросла настолько, что стали проводиться Всемирные конгрессы мира — двадцать первый должен был состояться в Вене, в сентябре 1914 года; были учреждены Нобелевские премии мира (1897), состоялась первая из Конференций по проблеме мира в Гааге (1899), международное собрание по большей части скептиков из состава правительств, впервые заявивших о своей непоколебимой, но теоретической приверженности идеалам мира. В 1900-х годах все отчетливее чувствовалось приближение войны, а в 1910-х годах ее неизбежность воспринималась как неоспоримый факт.

И все же ее начало было достаточно *неожиданным*. Даже в последние отчаянные дни июля 1914 года государственные мужи, совершая фатальные шаги, не верили, что тем самым начинают мировую войну. Решение было бы найдено и, как нередко бывало, в анналах прошлого. Противники войны тоже не могли поверить, что катастрофа, которую они уже давно предсказывали, вдруг обрушилась на их головы. В самом конце июля, уже после того, как Австрия объявила войну Сербии, социалистические лидеры собрались на встречу, будучи глубоко обеспокоенными, но все еще уверенными в том, что всеобщая война была невозможна и что будет найдено мирное решение кризиса. «Лично я не верю, что будет всеобщая война», — заявил Виктор Адлер, лидер габсбургской социал-демократии 29 июля<sup>6\*</sup>.

Даже те, кто оказался у спускового крючка катастрофы, не могли остановиться, и не потому, что не хотели, а потому, что уже не могли не совершить этот роковой шаг, как император Вильгельм, спросивший у своих генералов в последний момент, нельзя ли в конце концов локализовать войну где-нибудь в Восточной Европе, отказавшись от нападения на Францию, а также на Россию, — и ему ответили, что, к сожалению, это неосуществимо. Сами создатели этой гигантской мельницы войны, запустившие ее механизм, вдруг с изумлением увидели, как начали вращаться ее жернова. Родившимся после 1914 года трудно себе представить, насколько глубоко была вплетена в ткань повседневной жизни до катастрофы убежденность в том, что «настоящая» мировая война просто невозможна.

Для большинства западных государств в промежуток между 1871 и 1914 годами европейская война была, таким образом, неким экскурсом в историю или теоретическим явлением для неопределенного будущего. Основной функцией армии в этих странах и в этот период была функция чисто гражданская. Обязательная воинская служба — повинность — стала нормой во всех крупных державах, за исключением Англии и США, хотя на деле далеко не все молодые люди подлежали призыву; а с ростом социалистических массовых движений генералы и политики, как оказалось, без всяких на то оснований, подчас опасались передавать оружие в руки потенциально революционных пролетариев. Для обыкновенных призывников, лучше знакомых с каторжным трудом, чем с красотами воинской службы, вступление в армию становилось своего рода обрядом посвящения юношей в мужчины, а затем следовали 2—3 года муштры и трудовых будней, скрашиваемых разве что повышенным вниманием девушек к военной форме. Для профессиональных офицеров без лицензии на чин армия была просто работой. Для офицеров это было детской игрой в исполнении взрослых, символом их превосходства над штатскими, мужского величия и социального статуса. Для генералов армия была, как обычно, ареной для политических интриг и карьерных амбиций, в изобилии задокументированных в мемуарах военачальников.

Для правительств же и правящих классов армия была не только силой, направленной против внутренних и внешних врагов, но также и средством обеспечения лояльности, или даже активного энтузиазма граждан, имевших слабость симпатизировать массовым движениям, подрывавшим общественный и политический порядок. Наряду с начальной школой, воинская служба являлась, пожалуй, наиболее действенным механизмом, имеющимся в распоряжении государства, по внедрению достойного общественно-го поведения и по превращению селянина в патриота страны. Школа и воинская служба обучали итальянцев пониманию, если уж не использованию в речи, официального «национального» языка, а армия превратила спагетти, некогда региональное блюдо нищего юга, во всеитальянский атрибут. Что касается гражданской публики, многоцветное уличное театральное действие военного шоу стало частым явлением к ее удовольствию, вдохновению к патриотической идентификации: парады, торжества, флаги и музыка. Для штатского населения Европы между 1871 и 1914 годами самым знакомым аспектом армии был, вероятно, вездесущий военный оркестр, без которого трудно было себе представить общественные парки и мероприятия.

Естественно, солдаты и, несколько реже, матросы выполняли также время от времени свои прямые обязанности. Их могли мобилизовать для подавления беспорядков и акций протеста во время волнений и социальных кризисов. Правительства, особенно те, которые заботились об общественном мнении и своих избирателях, обычно были очень осторожны, когда возникал риск пальбы по своим согражданам: политические последствия того факта, что солдаты стреляли по гражданским, были бы явно негативными, а последствия отказа стрелять были бы еще худшими, что и было доказано в 1917 г. в Петрограде. Тем не менее военных довольно часто мобилизовали, а число местных жертв военных репрессий за этот период никак не назовешь ничтожным, даже в центральных западноевропейских государствах, отнюдь не находившихся в предреволюционном состоянии, таких как Бельгия и Нидерланды. В странах подобных Италии число таких жертв действительно могло быть очень существенным.

Для солдат местные репрессии были совершенно безвредным занятием, а вот периодические войны, особенно в колониях, были гораздо рискованнее. Риск, правда, был скорее медицинского свойства, чем военного. Из 274 000 американских солдат, мобилизованных на испанско-американскую войну 1898 года, только 379 было убито и 1 600 ранено, но более 5 000 погибло от тропических болезней. Не удивительно поэтому, что правительства охотно поддерживали медицинские исследования, которые уже в наше время позволили достичь некоторого контроля над желтой лихорадкой, малярией и другими напастями территорий, все еще известных как «кладбища для белых». Франция теряла в колониальных операциях 1871—1903 годов в среднем по восемь офицеров в год, включая единственную зону серьезных столкновений, Тонкин, где была убита почти половина из 300 офицеров, погибших за эти 37 лет<sup>7\*</sup> Не стоит недооценивать серьезность таких кампаний, тем более, что потери у противников были непропорционально велики. Даже для стран-агрессоров эти войны не были легкой прогулкой. Британия послала в Южную Африку 450 000 человек в 1899—1902 гг., потеряв при этом 29 000 убитыми и умершими от ран и 16 000 — от болезней и истратив на войну 220 млн фунтов стерлингов. Такие затраты впечатляли. Тем не менее солдатский труд в западных странах был, в общем-то, гораздо менее опасен, чем труд отдельных групп гражданских рабочих — на транспорте (особенно морском) и на шахтах. За последние три года долгих десятилетий мира каждый год в среднем погибало 1 430 британских шахтеров, а 165 000 (или более 10% рабочей силы) получали увечья. Уровень аварийности на британских угольных шахтах, будучи выше, чем в Бельгии или Австрии, был несколько ниже, чем во Франции, приблизительно на 30% ниже, чем в Германии и не превышал 1/3 от американского уровня<sup>8\*</sup> Самый большой риск лишиться жизни или получить увечье не носил униформы.

Таким образом, если не принимать в расчет британскую войну в Южной Африке, жизнь солдата и матроса великой державы была достаточно спокойной, хотя это не относилось к армии царской России, участвовавшей в серьезных войнах против турок в

1870-х годах и в катастрофической войне с Японией 1904—1905 гг.; не относилось это и к японской армии, успешно воевавшей и с Китаем, и с Россией. Это по-прежнему узнаваемо во всех небоевых воспоминаниях и приключениях бессмертного бывшего члена знаменитого 91-го полка имперской и королевской австрийской армии бравого солдата Швейка (созданного своим автором в 1911 г.). Естественно, генштабы готовились к войне, поскольку это было их обязанностью. Как обычно, большинство из них подготавливали улучшенную версию последней крупной войны, основываясь на опыте и воспоминаниях начальников военных школ. Британцы, что было естественно для величайшей морской державы, рассчитывали на скромное участие в боевых действиях на суше, хотя генералам, готовившим почву для союза с Францией, становилось все очевиднее, что этим их участие не ограничится. Но, в целом, именно гражданские, а не военные лица предсказывали ужасные повороты в ходе войны благодаря развитию военных технологий, что с трудом понимали генералы и даже некоторые довольно грамотные в техническом отношении адмиралы. Фридрих Энгельс, старый любитель военного искусства, частенько обращал внимание на эту несуразицу, но именно еврейский финансист Иван Блох в 1898 г. опубликовал в Петербурге свой шеститомный труд *«Технические, экономические и политические аспекты грядущей войны»* — пророческую книгу, в которой предсказал тупиковость окопной войны, которая приведет к затяжному конфликту и таким невыносимым экономическим и людским потерям, что воюющие державы будут просто истощены или ввергнуты в социальную революцию. Книга мгновенно была переведена на множество языков, правда, никто не обратил особого внимания на военное планирование.

В то время как лишь некоторые гражданские наблюдатели осознавали катастрофический характер будущей войны, недалековидные правительства с энтузиазмом бросились запасаться вооружениями, технологическая новизна которых была призвана ее гарантировать. Технология убийства в условиях индустриализации середины столетия существенно усовершенствовалась в 1880-х годах не только за счет настоящей революции в скоро-

стрельности и огневой мощи мелкого огнестрельного оружия и артиллерии, но также за счет переоборудования военного флота более эффективными турбиновыми двигателями, более эффективным оборонительным вооружением и способности нести гораздо больше пушек. Кстати, даже технология гражданского убийства претерпела превращения после изобретения «электрического стула» (1890), хотя за пределами США исполнители смертных приговоров оставались верными старым и испытанным способам, таким, как повешение и обезглавливание.

Очевидным следствием этого стало то, что подготовка к войне стала гораздо более дорогостоящим занятием, особенно учитывая то обстоятельство, что государства старались опередить или, по крайней мере, не отстать друг от друга. Эта гонка вооружений началась исподволь в конце 1880-х годов и усилилась в начале нового века, особенно в годы, непосредственно предшествовавшие войне. Британские военные расходы оставались на одном уровне в 1870—1880 гг. и в процентном отношении к бюджету в целом, и в пересчете на душу населения.

Но они возросли с 32 млн фунтов в 1887 г. до 44,1 млн в 1898—1899 гг. и превысили 77 млн в 1913—1914 гг. И не удивительно, что расходы именно в военно-морском флоте, высокотехнологическом секторе военного хозяйства, соответствовали современному уровню расходов в ракетных войсках и выросли особенно высоко. В 1885 г. это обошлось государству в 11 млн фунтов стерлингов — сумму того же порядка, что и в 1860 г. В 1913—1914 гг. аналогичные расходы выросли еще в 4 раза. Между тем военно-морские расходы Германии возросли еще более заметно: с 90 млн марок ежегодно в середине 1890-х годов до почти 400 млн.<sup>9\*</sup>

Одним из последствий таких гигантских расходов явилось то, что они требовали либо повышения налогов, либо инфляционных займов, или того и другого. Но не менее очевидным, хотя часто игнорируемым, последствием было то, что эти расходы сделали смерть побочным продуктом гигантской отрасли промышленности. Альфред Нобель и Эндрю Карнеги, два капиталиста, хорошо знавших, что сделало их миллионерами в сфере произ-

водства взрывчатых веществ, и стали соответственно, пытаясь уравновесить чаши весов, направлять часть своего богатства на дело мира. В этом они были нетипичны. Симбиоз войны и военного производства с неизбежностью трансформировал отношения между правительством и промышленностью, поскольку, как отметил Фридрих Энгельс в 1892 г.: «...когда война стала отраслью *гигантской индустрии*... *гигантская индустрия* стала политической необходимостью»<sup>10\*</sup>. И наоборот, государство стало существенным фактором для определенных отраслей промышленности, ибо кто, как не государство, обеспечивало потребителей вооружениями? Объем и характер производства определялся не рынком, а бесконечным соревнованием правительств за самообеспечение самым совершенным, а потому и самым эффективным оружием. Более того, правительства нуждались не столько в реальном выпуске вооружений, сколько в способности производить их в объемах военного времени, если возникнет такая необходимость; другими словами, им необходимо было убедиться в том, что их промышленность в состоянии выпускать гораздо больше продукции мирного времени.

Так или иначе, государства были обязаны гарантировать существование мощных национальных военных отраслей, нести большую часть расходов по их техническому совершенствованию и следить за тем, чтобы они оставались прибыльными. Другими словами, им приходилось оберегать эти отрасли от штормов, угрожавших флагманам капиталистического предпринимательства в их плавании по непредсказуемым морям свободного рынка и свободной конкуренции. Они, конечно же, могли бы и сами заняться производством вооружений, чем, кстати, давно и занимались. Но это был как раз тот момент, когда они — или, по крайней мере, либеральное британское государство — предпочли договориться с частным сектором. В 1880-х годах частные производители оружия взяли на себя более трети контрактов на поставки для армии, в 1890-х годах — 46%, в 1900-х годах — 60%: правительство, между прочим, было готово гарантировать им 2/3 заказов<sup>11\*</sup>. Неудивительно поэтому, что компании по производству вооружений входили в число промышленных гигантов: война и



концентрация капиталов шли рука об руку. В Германии Крупп, пушечный король, давал работу в 1873 г. — 16 000, в 1890 г. — 24 000, в 1900 г. — 45 000, и в 1912 г. — почти 70 000 рабочих, когда была выпущена из цехов предприятия 50 000-ая знаменитая пушка Круппа. В Англии на предприятиях Армстронга и Уитуорта работало 12 000 человек на головном заводе в Ньюкасле, затем это число возросло до 20 000 — или свыше 40% всех металлургов на Тайнсайде — к 1914 г. не считая тех, кто работал в 1 500 небольших фирмах, бравшихся за подряд. Они тоже были очень прибыльными.

Подобно современному «военно-промышленному комплексу» США, эти гигантские промышленные конгломераты были бы никем и ничем без гонки вооружений. Таким образом, возникает соблазн сделать именно этих «торговцев смертью» (фраза, ставшая популярной среди борцов за мир) ответственными за «войну стали и золота», как назвал ее английский журналист. Разве не было логичным со стороны военных промышленников подталкивать гонку вооружений, хотя бы за счет изобретения новых национальных комплексов неполноценности или «окон уязвимости», которые легко закрывались с помощью выгодных контрактов?

Одной немецкой фирме, специализировавшейся на выпуске пулеметов, удалось тиснуть заметку в газету «Фигаро» о том, что французское правительство планирует удвоить количество своих пулеметов. Немецкое правительство в свою очередь заказывает в 1908—1910 гг. этих вооружений на 40 млн марок, что увеличивает дивиденды фирмы с 20 до 32%<sup>12\*</sup> Одна английская фирма, утверждая, что ее правительство серьезно недооценивает программу перевооружения немецкого флота, зарабатывала по 250 000 фунтов за каждый новый «дредноут», построенный по заказу британского правительства, что удвоило ее военно-морское строительство. Элегантные и сомнительные личности подобно греку Василию Закароффу, который работал на Викерсов (и позднее был возведен в дворянское звание за свои услуги союзникам в первой мировой войне), следили за тем, чтобы военная промышленность великих держав сбывала неходовой или устаревший товар в госу-

дарства Ближнего Востока и Латинской Америки, которые всегда были готовы закупать такое оружие. Одним словом, современная международная торговля смертью процветала.

И все же мы не можем объяснять возникновение мировой войны заговором оружейных магнатов, хотя технари конечно же старались убедить генералов и адмиралов, более знакомых с военными парадами, чем с наукой, что, если они срочно не закажут новейшую пушку или боевой корабль, то все пропало. Конечно, наращивание вооружений, достигшее угрожающих масштабов за последнее перед 1914 годом пятилетие, делало ситуацию еще более взрывоопасной. Конечно, настал тот момент, по крайней мере, летом 1914 года, когда неумолимая машина мобилизации сил смерти не могла не сработать. Европу ввергла в войну не столько гонка вооружений как таковая, сколько международная ситуация, подтолкнувшая к ней европейские державы.

## II

Споры об истоках первой мировой войны никогда не прекращались с августа 1914 года. Немало чернил утекло, немало срублено деревьев на бумагу, немало задействовано машинисток, чтобы ответить на этот вопрос, возможно, как ни на какой другой в истории, не исключая даже дебатов о Французской революции. По мере смены поколений, по мере трансформации национальной и интернациональной политики, эти споры время от времени вспыхивают с новой силой. Вряд ли когда в своей истории Европа прежде, чем ввергнуться в очередную катастрофу, не задавала себе самой вопрос о том, почему международная дипломатия не смогла ее предотвратить, а воюющие стороны не пытались бы возложить друг на друга ответственность за войну. Противники войны незамедлительно начинали свой собственный анализ. Русская революция 1917 года, обнародовавшая секретные документы царизма, обвиняла империализм в целом. Победившие союзники обнародовали тезис об исключительно немецкой «вине за войну» и сделали его краеугольным камнем Вер-

сальского мирного договора 1919 года, вызвав целый поток документов и исторических пропагандистских публикаций в пользу, а чаще против, этого тезиса. Вторая мировая война естественно подхлестнула эти споры, вдохнув в них жизнь еще на несколько последующих лет, когда в Федеративной Республике Германии вновь возродилась историография левого толка, озабоченная необходимостью размежеваться с консерваторами и патриотическими ортодоксами нацистской Германии, настаивая на собственной версии немецкой ответственности. Споры по поводу угроз миру во всем мире, которые по объективным причинам никогда не прекращались после Хиросимы и Нагасаки, с неизбежностью подталкивали к возможным параллелям между причинами мировых войн прошлого и перспективами современного международного развития. В то время как пропагандисты предпочитали сравнение с годами, предшествовавшими второй мировой войне («Мюнхен»), историки находили все больше сходства между треволениями 1980-х и 1910-х годов. Таким образом, истоки первой мировой войны вновь стали вопросом сиюминутного и непосредственного интереса. В этих обстоятельствах любой историк, пытающийся объяснить причины возникновения первой мировой войны, отправляется в очень нелегкое плавание.

И все-таки, мы можем облегчить ему задачу простым устранением вопросов, на которые ему и не нужно отвечать. Главным из них будет вопрос «кто виноват?», относящийся скорее к сфере морально-политических оценок, но не являющийся центральным вопросом для историка. Если мы задаемся вопросом, почему мирное европейское столетие уступило место эпохе мировых войн, то вопрос, по чьей вине это произошло, будет столь же тривиальным, как и вопрос, имел ли Вильгельм Завоеватель законные основания для вторжения в Англию при решении вопроса о том, почему воины из Скандинавии вдруг вознамерились покорить многочисленные европейские земли в X—XI веках.

Конечно, мера ответственности за развязывание войн вполне поддается определению. Никто не станет отрицать, что в 1930-х годах позиция Германии была весьма агрессивной и экспансионистской, а позиция ее противников в значительной мере оборо-

нительной. Никто не будет отрицать и того факта, что войны империалистической экспансии в новой истории, такие как испано-американская война 1898 года и Южно-Африканская война 1899—1902 годов, были спровоцированы США и Британией, а не их жертвами. Во всяком случае, общеизвестно, что все правительства в XIX веке, независимо от того, насколько они были озабочены своим имиджем в глазах общественности, рассматривали войну в качестве естественного поворота международной политики и имели достаточно мужества признать, что в состоянии взять военную инициативу на себя. Военные министерства еще не были повсеместно переименованы в министерства обороны.

Совершенно очевидно и то, что ни одно правительство ни одной великой державы до 1914 года не желало общеевропейской войны или даже в отличие от 1850—1860-х годов — ограниченного военного конфликта с другой европейской великой державой. Это убедительно доказывается тем фактом, что в тех регионах, где непосредственно сталкивались политические амбиции великих держав, а именно в заморских территориях колониальных завоеваний и разделов, их бесконечные конфликты всегда разрешались мирным путем. Даже самые серьезные кризисы, например, Марокко в 1906 и 1911 гг., успешно разрешились. Накануне 1914 года колониальные конфликты не создавали более тупиковых ситуаций для различных соперничающих держав — факт, который вполне логично был использован для отстаивания той точки зрения, что империалистические конкуренты не имеют отношения к развязыванию первой мировой войны.

Конечно, державы были довольно далеки от дружелюбия, не говоря уже о пацифизме. Они готовились к европейской войне — иногда в неверном направлении\* — даже тогда, когда их собственные министры иностранных дел старались изо всех сил предотвратить то, что они единодушно считали катастрофой. Ни одно правительство в 1900-х годах не преследовало целей, достиже-

---

\* Адмирал Редер даже заявлял, что в 1914 г. военно-морской штаб Германии не имел никаких планов войны против Британии<sup>13\*</sup>.

ние которых могло быть связано с войной или с постоянной военной угрозой, как гитлеровское правительство в 1930-х годах. Даже Германия, генштаб которой тщетно умолял об упреждающем нападении на Францию в то время, как ее союзница Россия была парализована войной, а позднее поражением в ней и революцией 1904—1905 годов, воспользовалась удачным моментом, временной слабостью и изоляцией Франции для того, чтобы активно заявить о своих имперских претензиях на Марокко, т. е. возникла достаточно управляемая ситуация, по поводу которой никто не собирался начинать большую войну, и так и не начал. Ни одно правительство крупной державы, даже самой амбициозной и безответственной, не хотело большой войны. Старый император Франц Иосиф, объявляя о ее начале своим обреченным подданным в 1914 г., совершенно искренне сказал: «Я не хотел, чтобы это произошло», хотя именно его правительство, по большому счету, и спровоцировало ее.

В определенный момент медленного сползания в пропасть война показалась столь неизбежной, что некоторые правительства решили, что лучше уж выбрать самый благоприятный, или наименее неподходящий, момент для начала военных действий. Утверждают, что Германия ждала этого момента с 1912 года, но вряд ли он мог наступить раньше. Конечно, на заключительном этапе развития кризиса 1914 года, который ускорило совсем не обязательное покушение на австрийского эрцгерцога, совершенное студентом-террористом в провинциальном городке в глубине Балкан<sup>52</sup>, Австрия знала, что рискует запустить механизм мировой войны, страшая Сербию, а Германия, решив оказать полную поддержку своей союзнице, сделала ее совершенно неизбежной. «Баланс сил складывается не в нашу пользу», — сказал австрийский военный министр 7 июля. И не лучше ли было начать самим, не дожидаясь дальнейшего ухудшения ситуации? Германия следовала той же логике. Только в этом узком смысле вопрос «кто виноват?» имеет какое-то значение. Но, как показали события, летом 1914 года, в отличие от прежних кризисов, на мирном решении поставили крест все державы — даже англичане, от которых немцы без особой надежды ожидали нейтралите-

та и которые тем самым увеличивали шансы и Франции, и России проиграть эту войну\*. Ни одна из великих держав не нанесла бы миру *coup de grace*<sup>53</sup> даже в 1914 г., если они не были согласны, что его раны уже были смертельны.

Проблема определения истоков первой мировой войны, таким образом, не сводится к определению «агрессора». Ее решение следует искать в самом характере последовательно ухудшающейся международной ситуации, которая во все большей степени выходила из-под контроля правительств. Постепенно Европа оказалась разделенной на два противоборствующих блока великих держав. Такие блоки вне войны сами по себе были явлением новым, возникшим вследствие появления на европейской арене объединенной Германской империи, созданной благодаря дипломатии и войне за счет других стран в 1864—1871 гг. (см. «*Век Капитала*», гл. 4) и стремившейся защитить саму себя от главной неудачницы, Франции, благодаря альянсам мирного времени, впоследствии породившим контральянсы. Такие союзы государств сами по себе, хотя и предполагали возможность войны, вовсе не гарантировали ее развязывание и даже не делали ее вероятной. Канцлер Германии Бисмарк, остававшийся бесспорным чемпионом мира в игре по многосторонним дипломатическим шахматным партиям на протяжении почти двадцати лет после 1871 года, целиком, и не без успеха, посвятил себя делу поддержания мира в отношениях между державами. Блоковая система государств только тогда стала представлять угрозу миру, когда противостоящие друг другу блоки объединялись слишком уж прочно, и тогда, когда споры между ними переходили в неуправляемую конфронтацию. Этому было суждено случиться в новом столетии. Главный вопрос — почему?

Однако есть одна существенная разница между глобальными конфликтами, приведшими к возникновению первой мировой войны, и конфликтами, лежащими в основе угрозы третьей миро-

---

\* Германская стратегия (план Шлиффена 1905 года) предусматривала блицкриг против Франции, сопровождаемый быстрым ударом против России. Первый подразумевал вторжение в Бельгию, извиняя таким образом вступление Британии в войну, к которой она была давно и хорошо подготовлена.

вой войны, которой народы все еще надеются избежать в 1980-е годы. С 1945 года ни у кого не было сомнения по поводу принципиальных противников в третьей мировой войне: США и СССР. Но в 1980 г. расклад сил по отношению к 1914 г. был достаточно непредсказуем. Конечно, некоторых потенциальных союзников и противников можно было легко определить. Германия и Франция были бы на противоположных сторонах, хотя бы потому, что Германия аннексировала значительную территорию Франции (Эльзас-Лотарингию) после своей победы в 1871 г. Как не составляло бы большого труда предсказать прочность альянса Германии с Австро-Венгрией, инициатором которого выступил Бисмарк после 1866 года, поскольку внутривосточное равновесие новой Германской империи сделало необходимым поддержать существование империи Габсбургов. Ее распад на национальные осколки не только привел бы к коллапсу государственной системы Центральной и Восточной Европы, что было хорошо известно Бисмарку, но также разрушил бы основу «малой Германии», где доминировала Пруссия. На самом деле все это произошло уже после первой мировой войны. Самой постоянной дипломатической величиной периода с 1871 по 1914 год был «Тройственный союз» 1882 года, который по сути являлся немецко-австрийским альянсом, поскольку третий участник, Италия, вскоре вышла из Союза и позднее присоединилась к антигерманскому блоку в 1915 г.

Снова очевидным было и то, что Австрия, увязнув в бурных событиях на Балканах, из-за своих многонациональных проблем, и еще глубже после присоединения в 1878 г. Боснии и Герцеговины, оказалась противостоящей России в этом регионе\*. Хотя Бисмарк делал все возможное для сохранения тесных отношений с Россией, можно было предположить, что рано или поздно Германии придется выбирать между Веной и Петербургом, и этот

---

\* Южные славянские народы были частично наполовину под властью австрийской Габсбургской империи (словенцы, далматинцы, хорваты), наполовину венгерской частью (хорваты, часть сербов), частично под главенством общей имперской администрации (Босния и Герцеговина), остальные — в малых независимых королевствах (Сербия, Болгария и мини-княжество Черногория) и под властью турков (Македония).

выбор будет за Веной. Более того, после того как Германия пренебрегла Россией, как это произошло в конце 1880-х годов, было логично, что Россия и Франция установят союзные отношения; это и случилось в 1891 г. Даже в 1880-е годы Фридрих Энгельс уже предвидел такой альянс, направленный, естественно, против Германии. Таким образом к началу 1890-х годов сложилось противостояние двух групп государств в Европе.

Хотя все это усложнило международные отношения, но не могло сделать общеевропейскую войну неизбежной, лишь потому, что спорные вопросы между Францией и Германией (а именно, Эльзас-Лотарингия) не интересовали Австрию, а вопросы, способные привести к конфликту между Австрией и Россией (а именно, степень российского влияния на Балканах), не особенно заботили Германию. Балканы, как заметил Бисмарк, не стоят и костей одного померанского гренадера. У Франции не было никаких особых претензий к Австрии, а у России — к Германии. По этой причине большинство французов не считало проблемы, разделяющие Францию и Германию, заслуживающими войны, хотя они и носили постоянный характер, а напряжение в отношениях между Австрией и Россией, хотя потенциально и более серьезное, как показал 1914 год, возникало лишь время от времени. Три фактора превратили систему альянсов в бомбу замедленного действия: состояние международного половодья, усугубленное новыми проблемами и амбициями внутри великих держав, логика совместного военного планирования, которая прочно сцементировала противостоящие блоки, и интеграция пятой великой державы, Британии в один из альянсов. (Никто особенно не переживал по поводу отступничества Италии, которая была «великой державой» лишь номинально, по милости международного сообщества.) Между 1903 и 1907 годами ко всеобщему, в том числе своему собственному, удивлению Британия присоединилась к антигерманской коалиции. Первопричины первой мировой войны можно лучше понять, проследив за развитием этого англо-немецкого противостояния.

Тройственный союз удивлял и врагов, и союзников Британии. В прошлом Британия не имела ни традиций, ни каких-либо постоянных причин для трений с Пруссией, как впрочем, и с су-



пер-Пруссией, известной как Германская империя. С другой стороны, Британия почти автоматически была противником Франции чуть ли не в каждой войне в Европе, начиная с 1688 года. Несмотря на то, что этого больше не наблюдалось, хотя бы потому, что Франция утратила свое превосходство на континенте, трения между двумя странами были достаточно заметны, так как обе соперничали за одну и ту же территорию и влияние, как великие державы. Так, их отношения оставались холодными из-за Египта, на который претендовали обе, но к рукам прибрали британцы (вместе с Суэцким каналом, построенным на французские деньги). Во время Фашодского кризиса 1898 года, казалось, вот-вот польется кровь, когда пути британских и французских колониальных войск пересеклись в центре Судана. При разделе Африки одна сторона приобретала за счет потерь другой. Что касается России, то Британская и Царская империи всегда были антагонистами на Балканах и в Средиземноморье — зоне действия т. н. «восточного вопроса», а также в слабо разграниченных, но ожесточенно оспариваемых районах Центральной и Западной Азии, располагавшихся между Индией и царскими землями: Афганистан, Иран и регионы, ведущие к Персидскому заливу. Перспектива лицедреть русских в Константинополе, а следовательно и в Средиземноморье, а также возможность продвижения России к Индии являлись британским секретарям по иностранным делам в ночных кошмарах. Обе страны столкнулись лишь в единственной европейской войне XIX века с участием Британии (Крымской войне), и еще в 1870-х годах существовала реальная угроза русско-британской войны.

Учитывая установленный образ действий британской дипломатии, война против Германии казалась столь маловероятной, что ее вероятность практически сводилась к нулю. *Постоянный* союз с какой-либо континентальной державой никак не вязался с поддержанием постоянного баланса сил, что и было основной целью британской внешней политики. Если союз с Францией мог считаться невероятным, то альянс с Россией — просто невысказанным. И все же невероятное стало очевидным: Британия установила прочные связи с Францией и Россией против Германии, урегулировав все споры с Россией — вплоть до фактического при-

знания российской оккупации Константинополя — согласия, испарившегося с приходом Русской революции 1917 года. Как и почему произошла подобная метаморфоза?

А произошло это потому, что изменились как сами игроки, так и правила традиционной игры международной дипломатии. Прежде всего, гораздо больше стал игральный стол. Зона соперничества, прежде ограниченная, в основном, Европой и соседними с ней регионами (за исключением англичан), значительно расширилась, захватив обе Америки, предназначенные исключительно для американской экспансии по вашингтонской доктрине Монро. Международные споры, которые надо было разрешить, если они не скатывались к войне, вероятнее происходили бы скорее по поводу Западной Африки и Конго в 1880-е годы, Китая в конце 1890-х годов, и Магриба<sup>54</sup> (1906, 1911), чем по поводу распадающейся Османской империи и, тем более, по поводу каких-либо вопросов в Европе за пределами Балкан. Более того, появились и новые игроки: США, старавшиеся избегать европейской неразберихи, а также Япония активно продвигались в Тихоокеанском регионе. По сути дела, британский альянс с Японией (1902) явился первым шагом к Тройственному союзу, поскольку существование этой новой державы, которая очень скоро продемонстрировала свою способность нанести поражение Царской империи в войне, уменьшило российскую угрозу для Британии и, таким образом, укрепило положение Британии, что в свою очередь сделало возможным разрешение различных старинных русско-британских споров.

Эта глобализация международной игры великих держав автоматически изменила положение страны, которая на то время оставалась единственной державой с политическими целями поистине мирового масштаба. Вряд ли будет преувеличением сказать, что на протяжении почти всего XIX века в британских дипломатических расчетах Европе отводилась скромная роль молчаливой наблюдательницы британской активности, главным образом, в экономической сфере, по всему земному шару. Именно в этом заключалась сущность столь характерного сочетания европейского баланса сил с глобальным миром Британской империи, обеспечиваемого единственным военным флотом глобального

масштаба, который контролировал океаны и морские пути всего мира. В середине XIX века все флоты мира, собранные вместе, вряд ли превысили бы по объему один британский флот. Но к концу столетия положение кардинально изменилось.

Во-вторых, с подъемом мировой промышленности капиталистической экономики изменились и ставки в международной игре. Это не означает, что, перефразируя знаменитое изречение Клаузевица, война впредь будет лишь продолжением экономической конкуренции иными средствами. Таков был взгляд, к которому склонялись исторические детерминисты того времени, хотя бы потому, что наблюдали множество примеров экономической экспансии посредством пулеметов и канонерских лодок. Тем не менее это было свехупрощением вопроса. Если на капиталистическое развитие и империализм возложить ответственность за бесконтрольное сползание к всемирному конфликту, невозможно не признать, что многие капиталисты сами были сознательными поджигателями войны. Любой беспристрастный анализ деловой прессы, частной и коммерческой переписки предпринимателей, их публичных выступлений в банковских, коммерческих и промышленных кругах показывает вполне определенно, что большинство бизнесменов воспринимали международный мир как благо. Несомненно, война как таковая была приемлемой лишь в той степени, в какой она не мешала «привычному бизнесу», а главное возражение войне со стороны молодого экономиста Кейнса (тогда еще не ставшего радикальным реформатором своей науки) сводилось не только к тому, что она убивает его друзей, но также делает невозможной экономическую политику, основанную на принципах «привычного бизнеса». Естественно, существовали и воинствующие экономические экспансионисты, но либеральный журналист Норман Энджел выразил единое мнение предпринимателей: вера в то, что война выгодна капиталу, есть «Великая иллюзия», что и дало название его книге в 1912 г.

И в самом деле, с какой стати капиталисты, пусть даже промышленники, за возможным исключением фабрикантов оружия, должны были желать взорвать мир и спокойствие во всем мире — основу их процветания и развития, если весь каркас международ-

ного бизнеса и финансовых сделок базировался на этом? Очевидно, что те, кто наживался за счет международной конкуренции, не имели никаких поводов для жалоб. Точно так же, как свобода проникновения на мировые рынки не наносит никакого ущерба современной Японии, так и немецкая промышленность могла бы спокойно наслаждаться ею до 1914 года. Те, кто терял на этом, естественно были склонны требовать экономической защиты у своих правительств, хотя, впрочем, это не означало того, чтобы требовать войны. Более того, крупнейшая из потенциальных неудачниц, Британия воспротивилась даже этим требованиям, и ее экономические интересы оставались направленными на мирное развитие, несмотря на постоянные опасения конкуренции со стороны Германии, которые резко проявились в 1890-х годах, и не взирая на реальное проникновение немецкого и американского капитала на британский внутренний рынок. Что касается англо-американских отношений, здесь мы можем зайти еще дальше. Если бы одна лишь экономическая конкуренция сулила войну, англо-американское соперничество, по логике вещей, должно было бы подготовить почву для военного конфликта, как считали некоторые марксисты межвоенных времен. И все же именно в 1900-е годы Британский имперский генеральный штаб отменил даже самые гипотетические условные планы в отношении англо-американской войны. С тех пор такая возможность была полностью исключена.

Тем не менее развитие капитализма с неизбежностью толкало мир в направлении межгосударственного соперничества, империалистической экспансии, конфликтов и войн. После 1870 года, как указывали историки: «...переход от монополизма к конкуренции был, вероятно, самым важным фактором в создании благоприятных условий для европейского промышленного и коммерческого предпринимательства. Экономический рост был еще и экономической борьбой — борьбой, призванной отделить сильного от слабого, сломить одних и укрепить других, поддержать новые, голодные страны за счет старых. Оптимизм по поводу будущего неограниченного прогресса уступил место неуверенности и ощущениям агонии в самом классическом понимании этого слова»<sup>14\*</sup>.

Проще говоря, экономический мир более не являл собой, как это было в середине столетия, солнечную систему, обращавшуюся вокруг единственной звезды: Великобритании.

Если финансовые и коммерческие сделки по всему миру по-прежнему проходили через Лондон, Британия уже явно не была ни «мастерской мира», ни основным рынком сбыта. Наоборот, ее относительное увядание было явным и нескрываемым. Множество конкурирующих национально-промышленных экономических систем сталкивались друг с другом.

В этих условиях экономическая конкуренция была замысловатым образом вплетена в политическую и даже военную практику государств. Возрождение протекционизма во время Великой депрессии явилось первым следствием этого слияния. С точки зрения капитала, политическая поддержка могла впредь играть существенную роль в недопущении иностранной конкуренции и в тех регионах мира, где предприятия национально-промышленного сектора конкурировали друг с другом. С точки зрения государств, экономика становилась и самой основой интернациональной мощи и ее критерием. Теперь было невозможно представить себе «великую державу» без «великой экономики» — трансформация, наглядно иллюстрируемая подъемом США и относительным ослаблением Царской империи.

И наоборот, разве не подвижки в экономической иерархии, автоматически изменившие баланс военно-политических сил, повлекли за собой перераспределение ролей на международной арене? Просто это была популярная точка зрения в Германии, чей впечатляющий промышленный подъем придал ей несравнимо больший международный вес, чем в свое время Пруссии. И далеко не случайно, что среди немецких националистов 1890-х годов старая патриотическая песня «Дозор на Рейне», направленная исключительно против французов, быстро уступила место глобальным амбициям «Германии превыше всего», которая по существу стала национальным, хотя и неофициальным гимном Германии.

Такое отождествление экономической и военно-политической власти столь опасным сделало не только национальное соперничество за мировые рынки и материальные ресурсы, но и за конт-

роль над такими регионами, как Ближний и Средний Восток, где часто переплетались экономические и стратегические интересы. Задолго до 1914 года нефтяная дипломатия уже была решающим фактором на Среднем Востоке, принося победы Британии и Франции, западным (но еще не американским) нефтяным компаниям и армянскому посреднику Талусту Гульбекьяну, который оставлял себе 5%. И наоборот, немецкое проникновение в экономическом и стратегическом плане в Османскую империю уже беспокоило англичан и помогло привлечь Турцию в войну на стороне Германии. Но новизна ситуации заключалась в том, что в условиях слияния экономики и политики даже мирный раздел спорных районов на «зоны влияния» уже не смог бы удержать международное соперничество под контролем. Ключом к его контролируемости, о чем хорошо знал Бисмарк, которому это удавалось с неподражаемым мастерством в 1871—1889 гг., являлось намеренное ограничение целей. Пока государства были в состоянии точно определить свои дипломатические задачи — заданное перемещение границ, династический брак, определяемая «компенсация» за авансы, сделанные другими государствами, — возможны были и расчеты, и подсчеты. Ни то, ни другое, конечно же, не исключало контролируемый военный конфликт, что сам Бисмарк доказал между 1862 и 1871 гг.

Но характерной чертой капиталистического накопления как раз и было то, что оно не знало пределов. «Естественные границы» интересов «Стандард Ойл», Дойче Банка, алмазной корпорации Де Бирс простирались до границы вселенной или до границ собственной способности к расширению. Именно этот аспект новых моделей мировой политики дестабилизировал структуры традиционной мировой политики. В то время как равновесие и стабильность оставались фундаментальным принципом европейских держав в их взаимоотношениях друг с другом, повсеместно даже самые миролюбивые из них, не колеблясь, развязывали войну против слабых. Конечно, как мы уже видели, они тщательно следили за тем, чтобы удержать свои колониальные конфликты под контролем. Эти конфликты никогда не казались способными стать *casus belli* (поводом к войне), но несомненно, они ускорили образование международных, а впоследствии военных бло-

ков: то, что в итоге стало Англо-Франко-Российским блоком, начиналось с Англо-Французского «сердечного согласия» 1904 года — по существу, империалистической сделки, по которой французы отказывались от своих притязаний на Египет в обмен на британскую поддержку французских претензий к Марокко — жертве, на которую положила глаз и Германия. Тем не менее все без исключения державы были настроены агрессивно и воинственно. Даже Британия, чья позиция была сугубо оборонительной, поскольку главной ее заботой было отстаивание неоспоримого глобального превосходства от новых конкурентов, напала на Южно-Африканские республики; и без всяких колебаний договаривалась с Германией о разделе колоний другого европейского государства — Португалии. Во всемирном океане все государства были акулами, и все политики об этом знали.

Но что сделало мир еще более опасным местом — было негласное уравнивание неограниченного экономического роста и политической мощи, что и было как-то бессознательно всеми принято. Так, император Германии в 1890-х годах требовал «места под солнцем» для своего государства. Бисмарк мог бы потребовать не меньше — и, несомненно, добился бы гораздо более влиятельного положения в мире для Германии, чем в свое время добивалась Пруссия. И все же, если Бисмарк еще мог определить границы своих амбиций, тщательно избегая вторгаться в зоны неконтролируемости, то для Вильгельма эта фраза стала просто лозунгом, лишенным конкретного содержания. Она просто формулировала принцип пропорциональности: чем мощнее экономика страны, чем больше ее население, тем прочнее ее международные позиции. Не существовало теоретических пределов в отношении этих позиций, которых, по ее мнению, она заслуживала. Как гласило националистическое высказывание: «Сегодня Германия, завтра — весь мир». Такой неограниченный динамизм мог найти свое выражение в политической, культурной и националистически-расистской риторике. Но общим знаменателем для всех трех был императив расширения массивной капиталистической экономики с отслеживанием ее статистических кривых, рвущихся вверх.

На практике опасность заключалась не в том, что Германия

рассчитывала занять место Британии в качестве мировой державы, хотя риторика немецкой националистической пропаганды с готовностью подхватила антибританскую ноту. Дело заключалось в том, что мировой державе требовался мировой флот, и поэтому Германия начала (1897) строительство мощного боевого флота, который имел то преимущество, что представлял не старые германские государства, а исключительно новую единую Германию с офицерским корпусом, представленным не прусскими юнкерами или прочими аристократическими воинскими традициями, а новыми средними классами, т. е. представлял новую нацию. Сам адмирал Тирпиц, сторонник военно-морской экспансии, отрицал, что он планировал создать военно-морской флот, способный нанести поражение британскому, а лишь хотел провести одну акцию устрашения для того, чтобы заставить их поддерживать германские глобальные, и особенно колониальные, притязания. Кроме этого, разве могла страна такого значения, как Германия, не иметь военно-морского флота, соответствующего ее величию?

Но с британской точки зрения строительство германского флота было не просто еще одной попыткой обуздать и без того всеохватный британский флот, который численно уже превзошли объединенные флоты соперничающих держав (хотя такое объединение было весьма маловероятным), и вряд ли побудило бы британский флот выполнить хотя бы более скромную задачу обойти по силе два следующих крупнейших флота вместе взятых. В отличие от других флотов, немецкие военно-морские базы размещались целиком в Северном море, напротив Британии. Их целью не могло быть ничто иное, как возможный конфликт с британским флотом. Как это виделось Британии, Германия была чисто континентальной державой, а, как указывал влиятельный геополитик сэр Хэлфорд Маккиндер (1904), такие крупные державы располагали значительными преимуществами по сравнению с небольшим островом. Законные интересы Германии на море не претендовали на глобальность, в то время как Британская империя всецело зависела от своих морских коммуникаций, а континентальную часть (за исключением Индии) оставила армиям тех государств, чьим приоритетом была суша. Даже если бы



германский боевой флот не предпринимал никаких действий, он все равно ограничивал бы деятельность британских судов и, таким образом, затрудняя или даже делая невозможным британский военно-морской контроль над водами, считавшимися жизненно важными — Средиземноморье, Индийский океан и морские пути в Атлантике. То, что для Германии было символом ее международного статуса и безмерных глобальных амбиций, для Британии было вопросом жизни и смерти. Американские воды можно было оставить (что и было сделано в 1901 г.) дружественным США, Дальневосточные воды — США и Японии, поскольку обе эти державы в то время имели чисто региональные интересы, которые, во всяком случае, не казались несовместимыми с интересами Британии. Германский военный флот, даже в качестве регионального, каковым он оставаться не собирался, представлял угрозу и Британским островам, и глобальным позициям Британской империи. Британия выступала за максимальное сохранение статус-кво, Германия за его изменение неизбежно, даже если и ненамеренно, для того, чтобы потеснить Британию. В этих условиях экономического соперничества между промышленными комплексами двух стран неудивительно было, что Великобритания стала рассматривать Германию в качестве самого вероятного и опасного из потенциальных противников. Вполне логичным было ее сближение с Францией, и, поскольку русская угроза была сведена к минимуму Японией, с Россией, тем более, что ее поражение впервые на памяти поколения разрушило то равновесие сил на европейском континенте, которое британские секретари иностранных дел так долго принимали за должное. Такова была подоплека удивительного Англо-Франко-Российского тройственного союза.

Процесс разделения Европы на два враждебных лагеря занял почти четверть столетия, с момента образования Тройственного альянса (1882 года) до заключения Тройственного союза (1907 г.). Нам нет нужды проследивать весь этот процесс или последующие события во всех деталях. Они лишь демонстрируют то, что международная напряженность в эпоху империализма носила глобальный и эндемический характер, и что никто, а менее всего англичане, не представлял себе, куда их заведет переплетение

интересов, страхов и амбиций тех или иных держав, и, хотя повсеместно ощущалось сползание Европы к глобальной войне, ни одно правительство не знало, что в связи с этим делать. Время от времени предпринимались безуспешные попытки разрушить блоковую систему или, по крайней мере, нейтрализовать ее за счет сближения государств из разных лагерей: Британии с Германией, Германии с Россией, Германии с Францией, России с Австрией. Блоки, сцементированные планами в отношении стратегии и мобилизации, становились все более жесткими, и континент неконтролируемо сползал к войне в ходе международных кризисов, которые после 1905 года все чаще разрешались с помощью угрозы войны.

Начиная с 1905 года дестабилизация международной обстановки вследствие новой волны революций на окраинах буржуазного сообщества прибавила нового горючего материала тому самому миру, который и без этого уже был готов сгореть в пламени военного пожара. Русская революция 1905 года временно вывела из строя Царскую империю, подтолкнула Германию к предъявлению своих претензий в Марокко и напугала Францию. Берлин был вынужден уступить Франции при поддержке Британии на алжирской конференции (январь 1906 г.), отчасти из-за того, что крупная война по чисто колониальному поводу была политически малопривлекательна, отчасти потому, что германский флот был недостаточно силен, чтобы воевать с британским флотом. Два года спустя Турецкая революция разрушила тщательно выстроенные договоренности по поддержанию международного баланса сил на постоянно взрывоопасном Ближнем Востоке. Австрия формально воспользовалась возможностью аннексировать Боснию-Герцеговину (которой она ранее лишь управляла), что ускорило обострение отношений с Россией, улаженное только путем угрозы военной поддержки Австрии со стороны Германии. Третий крупный международный кризис из-за Марокко в 1911 г., по общему мнению, имел мало общего с революцией, но много — с империализмом и сомнительными сделками вороватых дельцов, которые сразу признали его многообразные возможности. Германия послала канонерку для захвата южnomарокканского порта Агадир с тем, чтобы получить своего

рода «компенсацию» от французов за их неизбежный «протекторат» над Марокко, но была вынуждена отступить ввиду британской угрозы вступить в войну на стороне Франции. Вопрос о том, действительно ли существовали подобные намерения, сейчас уже не столь важен.

Агадирский кризис доказал, что любая конфронтация между двумя великими державами была способна поставить их на грань войны. Когда распад Турецкой империи еще продолжался, Италия напала и оккупировала Ливию в 1911 г., а Сербия, Болгария и Греция принялись за вытеснение Турции с Балканского полуострова в 1912 г., все державы были парализованы либо нежеланием вызывать противодействие потенциального союзника в Италии, которая в тот момент была свободна от каких-либо обязательств по отношению к обеим сторонам, либо опасением быть втянутыми в неконтролируемые проблемы Балканских государств. 1914 год доказал, насколько они были правы. Словно парализованные, наблюдали они, как Турцию практически вытолкнули из Европы, а вторая война между победившими балканскими карликовыми государствами перекроила всю карту Балкан в 1913 г. Все, чего они смогли достичь, — это образование независимого государства в Албании (1913) — под привычной опекой немецкого принца, хотя албанцы предпочли бы бездомного английского аристократа, который позже вдохновил автора приключенческих романов Джона Бучана. Следующий Балканский кризис разразился 28 июня 1914 года, когда австрийский наследник престола, эрцгерцог Франц Фердинанд прибыл в столицу Боснии, Сараево.

Что делало ситуацию еще более взрывоопасной — это то, что именно в этот период внутренняя политика великих держав толкала внешнюю политику в опасную зону. Как мы уже видели, после 1905 года политические механизмы стабильного управления режимами начали работать со скрипом. Становилось все труднее контролировать, а еще сложнее поглощать и объединять в единое целое мобилизацию и контрмобилизацию подданных в процессе их превращения в демократических граждан. Демократическая политика сама по себе содержала элемент риска, даже в таком государстве, как Британия, очень аккуратной, когда дело

касалось сохранения действительной внешней политики в тайне не только от парламента, но и от части либерального кабинета. Агадирский кризис превратился из благоприятной возможности для потенциальной закупки лошадей в пустяковую конфронтацию благодаря речи Ллойда Джорджа, которая, казалось, не оставляла Германии иного выбора, кроме войны или отступления. Недемократическая политика была еще хуже. Можно ли было не утверждать, «что главной причиной трагического падения Европы в июле 1914 года была неспособность демократических сил в центральной и восточной Европе взять под контроль милитаристские элементы общества и отречение самодержцев не в пользу демократических верноподданных, а в пользу своих безответственных военных советников<sup>15\*</sup>? И что хуже всего, разве не те страны, которые столкнулись с неразрешимыми внутренними проблемами, поддались искушению сыграть в авантюрную рулетку, чтобы их разрешить с помощью иностранного триумфа, особенно, когда их военные советники говорили им, что, поскольку война уже неизбежна, то лучшее время как раз подошло?

Это правило было явно неприемлемо для Британии и Франции, несмотря на все их неприятности. Оно, возможно, сработало в случае с Италией, хотя к счастью итальянский авантюризм сам по себе не мог привести к началу мировой войны. Может, все дело в Германии? Историки продолжают спорить о воздействии ее внутренней политики на внешнюю. Кажется очевидным, что, как и во всех прочих великих державах, стихийно возникшая в народе агитация правого толка поощряла и содействовала конкурентной гонке вооружений, особенно на море. Утверждалось, что рабочие волнения и предвыборное наступление социал-демократов заставили правящие элиты решать проблемы дома, а лавры снискать за рубежом. Конечно, было и много консервантов, которые, подобно герцогу Ратибору, полагали, что война необходима для того, чтобы вернуть старый порядок, как это было в 1864—1871 годы<sup>16\*</sup>. Работало ли это правило применительно к России? Да, в той степени, в какой царизм, воспрянувший после 1905 года при скромных уступках политическому либерализму, вероятно, видел свою наиболее перспективную стратегию возрождения и укрепления в обращении к великорусскому национализ-

му и прославлению военной силы. И несомненно, если бы не беззаветная верность армии, ситуация 1913—1914 годов была бы ближе к революционной, чем в любой промежуток между 1905 и 1917 годами. Все-таки в 1914 г. Россия наверняка не хотела войны. Но, благодаря нескольким годам военного строительства, которого опасались немецкие генералы, Россия уже могла подумать об участии в войне в 1914 г., чего она не могла себе позволить еще несколько лет назад.

Однако была страна, которая не могла не поставить войной на карту само свое существование, т. к. без нее была обречена: Австро-Венгрия, раздираемая с середины 1890-х годов все более неуправляемыми национальными противоречиями, среди которых проблемы южных славян казались самыми опасными по трем причинам. Во-первых, они не просто причиняли беспокойство, как и другие политически организованные народности в многонациональной империи, отталкивая друг друга в борьбе за жизненные блага, но дело усложнялось тем, что они одновременно принадлежали и к лингвистически терпимому правительству Вены и к жестко мадьяризированному правительству Будапешта. Волнения среди южных славян в Венгрии не только перекинулись на Австрию, но и ухудшили и без того сложные отношения между двумя частями империи. Во-вторых, проблема австрийских славян не могла быть решена в рамках балканской политики и несомненно лишь усугубилась после 1878 года с оккупацией Боснии. Более того, уже существовало независимое южнославянское государство Сербия (не говоря уже о Черногории, небольшим, гомеровском горном государстве козопасов, воинов и княжеских епископов с примесью родовой вражды и сочинением героического эпоса), которое могло склонить на свою сторону славянских диссидентов в империи. В-третьих, распад Османской империи предопределил судьбу Габсбургской империи, но вне всякого сомнения она была все еще великой державой на Балканах.

До конца своих дней Гаврило Принцип, убийца эрц-герцога Франца Фердинанда, так и не мог поверить, что своими руками с помощью маленькой спички он разжег мировой пожар. Завершающий кризис 1914 года был столь неожидан, столь травматичен

и, в ретроспективе, столь навязчив, поскольку по существу он был частным явлением в австрийской политике, требовавшим, по мнению Вены, «преподать Сербии урок». Международная обстановка казалась спокойной. Ни одно внешнеполитическое ведомство не ожидало беды в июне 1914 года, а покушения на общественных деятелей совершались с завидной регулярностью на протяжении десятилетий. В принципе, никто особенно и не возмущался, когда какая-нибудь великая держава наваливалась всей тяжестью на мелкого и беспокойного соседа. С тех пор написано около 5 тысяч книг, объясняющих заведомо необъяснимое: как за более чем через пять недель после Сараево Европа оказалась ввергнутой в войну\*. Непосредственный ответ кажется сейчас и ясным, и тривиальным: Германия решила оказать полную поддержку Австрии, т. е. не разблокировать ситуацию. Остальные неумолимо последовали за ней. Поскольку к 1914 г. *любая* конфронтация между блоками, в которой уступить могла та или иная сторона, могла поставить их на грань войны, достигнув определенной точки, жесткая мобилизация военной силы, без которой такая конфронтация не была бы вполне «вероятной», уже не могла быть свернутой обратно. «Сдерживание» уже не могло сдерживать, а лишь разрушать. К 1914 г. *любой* инцидент, сколь случайным он ни был — даже выходка недоучившегося студента-террориста в забытом богом углу континента, — мог вызвать такую конфронтацию, если при этом любая отдельно взятая держава, загнанная в систему блоков и контрблоков, предпочла воспринимать это совершенно серьезно. Так и началась война, а в подобных обстоятельствах могла начаться еще не раз.

Одним словом, международный и внутренний кризисы слились воедино накануне 1914 года. Россия, которой снова угрожала социальная революция, Австрия с перспективой дезинтеграции политически более неконтролируемой огромной империи, даже Германия, поляризованная под угрозой полного паралича своих политических структур, — все страны обратили взор на во-

---

\* За исключением Испании, Скандинавии, Нидерландов и Швейцарии, все европейские государства, а также Япония и США, оказались вовлеченными в нее.

енных и ждали их решения. Даже Франция, сплоченная нежеланием платить налоги и таким образом финансировать массированное перевооружение (легче было продлить срок срочной службы до 3-х лет), избрала в 1913 г. президента, который призывал отомстить Германии, делал воинственные заявления, вторя генералам, которые с убийственным оптимизмом забросили оборонительную стратегию ради перспективы стремительного броска через Рейн. Британцы предпочли солдатам боевые корабли: военно-морской флот всегда был популярен, а национальная доблесть — вполне приемлема для либералов в качестве покровительницы торговли. Немногие, даже из числа политиков, осознали, что планы совместной с Францией войны предусматривали наличие огромной армии и последующей мобилизации и, разумеется, они серьезно не рассматривали развитие ситуации дальше морской и торговой войны. И все-таки, хотя британское правительство осталось приверженным миру до последнего момента — или, по крайней мере, отказалось занять какую-либо позицию из опасения раскола правительства либералов — оно не могло считаться находящимся вне пределов войны. К счастью, немецкое вторжение в Бельгию, давно подготавливаемое по плану Шлиффена, обеспечило Лондону моральное оправдание дипломатической и военной неизбежности.

Но как должны были реагировать европейские массы на войну, которая не могла не быть войной масс, поскольку все воюющие стороны готовились вести ее с помощью огромных армий призывников? В августе 1914 года еще до начала военных действий в противостояние на границах было вовлечено 19 млн вооруженных людей, а потенциально их могло быть 50 млн<sup>17\*</sup> Каким могло быть отношение этих масс, поставленных под ружье, и каково было бы воздействие войны на гражданское население, если бы, как проницательно заметили некоторые военные, но слабо учли это в своих планах, — война не закончилась быстро? Британцы особенно беспокоились по этому поводу, т. к. они полагались исключительно на добровольцев при пополнении своей скромной профессиональной армии в 20 дивизий (для сравнения, у французов было 74 дивизии, у немцев — 94, у русских — 108), и потому, что снабжение трудящихся продовольствием осуще-

ствлялось за счет поставок из-за рубежа, что делало положение весьма уязвимым с учетом возможной блокады, а также потому, что в предвоенные годы правительство столкнулось с проявлениями социальной напряженности — самыми мощными на памяти поколения, а также взрывоопасной ситуацией в Ирландии. «Атмосфера войны, — размышлял либеральный министр Джон Морли, — не может содействовать порядку в демократической системе, которая граничит с комичностью порядка [18]48 года»\*. Но внутренняя атмосфера в других державах не могла не беспокоить их правительства. Ошибкой было бы полагать, что в 1914 г. правительства кинулись в войну для разрешения своих внутренних социальных кризисов. В лучшем случае они рассчитывали на то, что патриотический подъем сведет к минимуму серьезное сопротивление и проявления гражданского неповиновения.

В этом они оказались правы. Либеральная, гуманитарная и религиозная оппозиционность войне никогда не была значительной на практике, хотя ни одно правительство (возможно за исключением британского) не было готово признать правомочность отказа от прохождения военной службы по убеждениям. Организованное рабочее и социалистическое движение яростно противостояло милитаризму и войне, а Трудовой и Социалистический Интернационал даже взялся за проведение в 1907 г. международной всеобщей забастовки против войны, но твердолобые политики не восприняли все это всерьез, хотя один необузданный из числа правых совершил покушение на великого французского социалистического лидера и оратора Жана Жореса, отчаянно пытавшегося сохранить мир за несколько дней до войны. Основные социалистические партии были против такой забастовки, некоторые считали ее возможной, во всяком случае, как признал сам Жорес, «если война все-таки вспыхнет, дальше нам нечего будет делать»<sup>20\*</sup> Как мы уже видели, французский министр внутренних дел даже не потрудился арестовать опасных

---

\* Парадоксально, но страх возможных последствий голода британских рабочих внушил военно-морским стратегам мысль о возможности дестабилизации Германии с помощью блокады, которая привела бы ее народ к голоду. На деле это было проведено со значительным успехом во время войны<sup>19\*</sup>.



антивоенных активистов, на которых полиция завела тщательные списки на этот случай. Националистическое диссидентство не стало непосредственно серьезным фактором. Одним словом, правительственные призывы к оружию не встретили должного противодействия.

Но правительства ошибались в одном решающем отношении: они были захвачены врасплох, так же как и противники войны, невиданной волной патриотического подъема, с которым люди ринулись в схватку, в которой, по крайней мере, 20 млн из них будет убито и ранено, не считая неродившихся и умерших от голода и болезней. Французским властям приходилось считаться с 5—13% дезертиров: фактически лишь 1,5% уклонилось от призыва в 1914 г. В Англии, где политическое противодействие войны не было самым сильным, где оно глубоко укоренилось в либеральных рабочих и социалистических традициях, 750 000 записались добровольцами за первые восемь недель, а еще миллион — за последующие восемь месяцев<sup>21\*</sup>. Немцы, как и ожидалось, даже представить себе не могли неподчинение приказам. «Как сможет некто заявить, что мы не любим свое отечество, когда после войны многие тысячи наших славных партийцев скажут: «мы награждены за храбрость». Так писал немецкий социал-демократический активист, только получивший орден Железного Креста в 1914 г.<sup>22\*</sup> В Австрии не только правящая верхушка была потрясена коротким всплеском патриотизма. Как подтвердил австрийский социалистический лидер Виктор Адлер: «даже в борьбе наций война казалась своего рода освобождением, надеждой на перемены к лучшему»<sup>23\*</sup>. Даже в России, где ожидали 1 млн дезертиров, все из 15 млн, за исключением нескольких тысяч, откликнулись на призыв стать под боевые знамена. Массы последовали за знаменами соответствующих государств и отвернулись от тех лидеров, которые противодействовали войне. Однако такие все же были среди представителей общественного мнения. В 1914 г. народы Европы, хоть и ненадолго, преисполнились желанием с легким сердцем отправиться на всемирную бойню в качестве пушечного мяса. После первой мировой они уже никогда не повторяли подобных желаний.

Их удивил момент, но не сам факт войны, с которым Европа

уже свыклась, подобно людям, наблюдающим приближающийся шторм. Ее приближение повсеместно воспринималось как избавление и облегчение, особенно молодежью средних классов, мужчинами в большей степени, чем женщинами, хотя и в меньшей — рабочими, и еще в меньшей — крестьянами. Подобно грозе, она развеяла духоту ожидания и очистила воздух. Она означала конец поверхностности и легкомысленности буржуазного общества, унылой постепенности улучшений XIX века, спокойствия и мирного порядка — всем этим утопиям XX столетия, пророчески разоблаченным Ницше вместе с «бледным лицемерием с китайскими болванчиками во главе»<sup>24\*</sup>. После долгого ожидания в зрительном зале это означало подъем занавеса великой и волнующей исторической драмы, в которой зрители оказались актерами. Это означало решимость.

Было ли это признано в качестве пересечения некоего исторического рубежа — одной из тех редких дат, знаменующих собой вехи на пути человеческой цивилизации? Пожалуй, да, несмотря на широко распространенные ожидания короткой войны и предполагаемого возврата к нормальной жизни, а «нормальность» по старой памяти идентифицировалась с 1913 годом, вобравшим в себя так много задокументированных мнений 1914 года. Даже иллюзии патриотической и милитаристской молодежи, которая бросилась в войну, как в новую стихию, «как пловцы в водную гладь»<sup>25\*</sup> подразумевали окончательную перемену. Ощущение войны как закончившейся эпохи сильнее всего присутствовало в сфере политики, хотя немногие осознавали столь же отчетливо, как Ницше 1880-х годов, что начиналась «эра уродливых войн, восстаний, взрывов»<sup>26\*</sup>, и еще меньшее число людей левых убеждений, интерпретируя ее на свой лад, видели в ней надежду, подобно Ленину. Для социалистов война была непосредственной и двойной катастрофой, когда движение, приверженное интернационализму и миру, внезапно рухнуло без сил и волна национального единения и патриотизма в мгновение ока захлестнула партии и даже классово-зрелый пролетариат воюющих стран. И среди государственных деятелей старых режимов был, по крайней мере, один, кто признал, что все изменилось. «Фонари гаснут по всей Европе, — сказал Эдвард Грей, когда заметил, как

гасят огни Уайтхолла в тот самый вечер, когда Британия и Германия вступили в войну. — Мы не увидим, как их зажгут снова, до конца наших дней».

С августа 1914 года мы жили в мире «уродливых войн, восстаний и взрывов», о котором пророчески объявил Ницше. Вот что обрамляло эпоху до 1914 года с ретроспективной ностальгической дымкой, слегка позолоченная эра мира и порядка, радужных надежд. Такие ретроспекции о воображаемых золотых днях принадлежат истории последних, но не первых десятилетий XX века. Историки, изучающие те времена, когда еще не гасили фонарей, интересуются не ими. Их главная забота, так же как и у автора, должна заключаться в попытке понять и показать, как эра мира, прочной буржуазной цивилизации, растущего благосостояния и западных империй с неизбежностью несла в себе эмбрион эры войны, революции и кризиса, который и положил ей конец.

---

## ЭПИЛОГ

*Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten! (Действительно, я живу в мрачные времена)*

*Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn (Доброе слово — глупо. Гладкий лоб)*

*Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende (Намекает на невосприимчивость. Смеющийся)*

*Hat die furchtbare Nachricht (ужасную новость)*

*Nur noch nicht empfangen. (еще не воспринял)*

Бертольд Брехт, 1937—1938 г.<sup>1\*</sup>

*Предшествующие десятилетия были впервые восприняты как длительная почти золотая эпоха непрерывного, поступательного движения вперед. Как раз, в соответствии с Гегелем, мы начинаем осознавать эпоху лишь когда упадет занавес в последнем акте («сова Минервы расправляет крылья, лишь только мрак нисходит на землю»), поэтому мы можем, очевидно, подтвердить какие-либо позитивные черты эпохи, лишь вступив в следующую, несчастья которой мы хотим подчеркнуть за счет сильного контраста с ушедшим.*

Альберт О. Хиршман, 1986 г.<sup>2\*</sup>

---

### I

Если слово «катастрофа» упоминалось среди представителей европейских средних классов до 1913 года, почти наверняка это делалось в связи с одним из немногих драматических событий, в которое были вовлечены мужчины и женщины, такие же, как они сами, в ходе продолжительной и, в общем, спокойной жизни: скажем, пожар в Карлтеатре в Вене в 1881 г. во время представления «Сказок Гофмана» Оффенбаха, когда погибло почти 1 500 человек, или затонувший «Титаник» со сравнимым количеством жертв. Гораздо более серьезные катастрофы, затронувшие бедняков, — например, землетрясение 1908 года в Мессине, куда более обширное и более проигнорированное, чем относительно сла-

бые подземные толчки в Сан-Франциско (1905) — и постоянный риск для жизни и здоровья, который всегда сопровождает бытие трудящихся классов, не привлекают внимания общественности.

После 1914 года уже можно и не спорить о том, что мир подбросил величайшие беды даже тем, кто был самым невосприимчивым к ним в своей личной жизни. Первая мировая война не стала «Последними днями человечества», как называл ее Карл Краус в своей обличительной псевдодраме, но никто из проживших взрослую жизнь и до, и после 1914—1918 годов где-либо в Европе, а тем более на обширных просторах неевропейского мира, не мог не заметить, что времена изменились коренным образом.

Самой очевидной и непосредственной переменной явилось то, что мировая история, как казалось, продолжается за счет серии сейсмических сдвигов и человеческих катаклизмов. Никогда прежде модель прогресса или постоянных перемен не казалась столь невероятной, как в судьбах людей, переживших две мировые войны, два глобальных периода революций, последовавших за каждой из войн, период повсеместной и частичной революционной глобальной деколонизации, два периода массовых исходов целых народов, достигших своего предела в форме геноцида, и, по крайней мере, один экономический кризис, столь жестокий, что он заставил усомниться по поводу самого будущего тех частей капиталистического мира, что еще не были опрокинуты революцией, — потрясения, которые затронули страны и континенты, лежащие далеко за пределами зоны войны и европейских политических катаклизмов. Человек, родившийся, скажем, в 1900 г. испытал бы все это лично или с помощью средств массовой информации, незамедлительно извещавших обо всех этих событиях, прежде, чем он или она достигали пенсионного возраста. И, конечно же, движение истории в результате потрясений должно было продолжаться.

До 1914 года чуть ли не единственной величиной, измеряемой в миллионах, помимо астрономии, было население государств и промышленные, коммерческие и финансовые показатели. А с 1914 года мы уже привыкли измерять такими величинами число жертв: потери даже в локальных войнах (Испания, Корея, Вьетнам) — более крупные исчислялись десятками миллионов — число вынужденных переселенцев или изгнанников (греки, немцы,

мусульмане на Индийском субконтиненте, кулаки) — даже количество жертв геноцида (армяне, евреи), не говоря уже о погибших от голода или эпидемий. Поскольку такая человеческая статистика не поддается точной фиксации или просто не укладывается в голове, она все еще является предметом жарких споров. Но спорят они о плюсе-минус миллионах. Эти астрономические цифры трудно полностью истолковать, еще труднее оправдать, за счет быстрого роста населения земного шара в нашем столетии. Большинство из этих цифр относятся к тем областям, которые не росли столь стремительно.

Несметные числа жертв на этой шкале находились просто за гранью воображения в XIX в., а те массовые убийства, что произошли на самом деле, имели место в мире отсталости или варварства вне рамок прогресса и «современной цивилизации», и им суждено было исчезнуть перед лицом всеобщего, хотя и неравномерного, прогресса. Зверства в Конго и в бассейне реки Амазонки, весьма скромные по нынешним меркам, так сильно потрясли эпоху империй, свидетельствовал Джозеф Конрад в своем *«Сердце тьмы»*, просто потому, что представлялись откатом цивилизационного человечества во времена первобытного варварства. То положение вещей, к которому мы уже привыкли, при котором пытки стали снова элементом полицейской практики даже в странах, гордящихся своей цивилизованностью, не вызвало бы глубокого отторжения в политическом общественном мнении, но обоснованно считалось бы рецидивом варварства, шедшим вразрез с каждой заметной исторической тенденцией развития, начиная с середины XVIII века.

После 1914 года и глобальной катастрофы все в большей степени варварские методы становились неотъемлемой и привычной стороной жизни цивилизованного мира до такой степени, что нивелировали впечатляющие изменения в области технологий и производительных сил и даже бесспорные усовершенствования общественной организации во многих частях света, и продолжалось это до тех пор, пока стало невозможным игнорировать дальше эти тенденции в период гигантского скачка мировой экономики в третьей четверти XX столетия.

С точки зрения материального положения и его улучшения для значительной части человечества, не говоря уже об освоении

природных богатств, в XX в. имеется гораздо больше оснований считать его историю прогрессом, чем это было в 19 столетии. Тем европейцам, кому удавалось выжить, повезло больше: они становились многочисленнее, выше, здоровее, увеличилась и продолжительность жизни. Большинство из них стало жить лучше. Но причины, по которым нам пришлось отказаться от привычки считать нашу историю прогрессом, вполне очевидны. Хотя никто не отрицает определенного прогресса, достигнутого в XX веке, прогнозы обещают не длительный рост, а вероятность, и даже неизбежность, новой катастрофы: еще одной, более разрушительной мировой войны, экологической катастрофы и создание таких технологий, чей триумф может сделать нашу планету необитаемой. Мы научены горьким опытом нашего столетия жить в ожидании апокалипсиса.

Но для образованных и хорошо устроенных представителей буржуазного мира, переживших эту эру катастроф и социальных потрясений, она была, прежде всего, не случайным катаклизмом, чем-то вроде глобального урагана, который бесстрашно смел все на своем пути. Казалось, он направлен именно против их социально-политических и нравственных устоев. Его вероятным итогом, который буржуазный либерализм был не в состоянии предотвратить, явилась социальная революция масс. В Европе война породила не только распад или кризис в каждом государстве восточнее Рейна и западнее Альп, но также первый режим, вознамерившийся намеренно и систематически трансформировать этот коллапс в глобальное низвержение капитализма, уничтожение буржуазии и создание социалистического общества. Это был большевистский режим, оказавшийся у власти в России вследствие падения царизма. Как мы видели, массовые движения пролетариата, приверженные этой цели в теории, уже существовали в большей части развитого мира, хотя политики парламентских государств пришли к выводу, что те не представляют реальной угрозы существующему положению. Но сочетание войны, коллапса и Русской революции делало эту угрозу непосредственной и почти непреодолимой.

Опасность «большевизма» довлела не только над историей постреволюционного периода, но и над всей мировой историей после 1917 года. Она долгое время придавала международным

конфликтам внешний вид гражданской и идеологической войны. В конце XX века она все еще определяла риторику конфронтации сверхдержав, по крайней мере с одной стороны, хотя достаточно было беглого взгляда на мир 1980-х годов, чтобы убедиться в том, что она просто не вписывается в образ единой глобальной революции, готовой захлестнуть то, что на международном жаргоне называлось «развитые рыночные экономики» и что управляется из единого центра и имеет целью строительство единой монолитной социалистической системы, не желающей сосуществовать с капитализмом или неспособной на это. Мировая история со времен первой мировой войны приобрела свои четкие очертания в тени Ленина, воображаемой или реальной, также как история западного мира обрела в XIX в. свои черты в тени Французской революции. В обоих случаях она выходила из этих теней, но не полностью. Так же как политики в 1914 г. размышляли о том, не напоминают ли настроения предвоенных лет 1848 год, в 1980-е годы каждое крушение какого-нибудь режима где-нибудь на западе или в третьем мире пробуждало надежды или страхи по поводу «марксистской власти».

Мир не стал социалистическим, хотя в 1917—1920 гг. это считалось вполне вероятным, а в перспективе даже неизбежным, и этого мнения придерживался не только Ленин но и, какое-то время, представители и руководители буржуазных режимов. На несколько месяцев даже европейские капиталисты, или, по крайней мере, их глашатаи и администраторы, казалось, смирились со своей легкой безболезненной смертью перед лицом небывалого усиления после 1914 г. социалистических движений рабочего класса, и, несомненно, составлявших в таких странах, как Германия и Австрия, единственную организованную и государственническую силу, оставшуюся после краха старых режимов. Большевизм был хуже всего, даже мирного отречения от престола. Пространные дебаты (в основном, в 1919 г.) о том, какая часть экономики должна быть национализирована и каким образом, какую часть следовало уступить новой пролетарской власти, не были чисто тактическими маневрами с тем, чтобы выиграть время. Они просто стали таковыми, когда период серьезной угрозы системе, реальной или мнимой, оказался столь кратким, что ничего радикального совершать просто не потребовалось.



Оглядываясь назад, мы убеждаемся, что страхи были преувеличены. Период потенциальной мировой революции не оставил после себя ничего, кроме одного-единственного коммунистического режима в чрезвычайно слабой и отсталой стране, чьим главным достоинством была огромная территория и природные ресурсы, которые и призваны были сделать из нее политическую сверхдержаву. Он также оставил после себя значительный потенциал антиимпериалистической, крестьянской революции, главным образом в Азии, которая признала свое духовное родство с Русской революцией и теми группами ныне расколотого предвоенного социалистического и рабочего движения, которые пошли за Лениным. В промышленных странах эти коммунистические движения составляли меньшинство в рабочем движении вплоть до второй мировой войны. Как показало будущее, народное хозяйство и общественная структура «развитых рыночных экономик» оказались весьма прочными. Если бы они такими не были, то вряд ли смогли удержаться на поверхности без социальной революции после тридцати лет исторических штормов, которые могли бы пустить ко дну непригодные к плаванию корабли. Двадцатый век был полон социальными революциями, и может быть еще полнее до своего завершения; но развитые индустриальные державы были более невосприимчивы к ним, чем остальные, кроме тех случаев, когда революция являлась к ним в качестве побочного продукта поражения в войне или завоевания их территории противником.

Таким образом, революции не удалось помешать основным бастионам мирового капитализма выстоять, хотя на какое-то время даже их защитникам показалось, что они вот-вот рухнут. Старый порядок отбил атаку. Но сделал это — вынужден был сделать — за счет превращения в нечто совсем отличное от того, чем он был в 1914 г. Поскольку после 1914 года, столкнувшись с тем, что видный либеральный историк назвал «мировым кризисом» (Эли Галеви), буржуазный либерализм оказался в полном замешательстве. Он мог отречься от власти или быть сметен. В качестве альтернативы, он мог бы уподобиться небольшевистским, неревOLUTIONНЫМ, «реформистским» социал-демократическим партиям, которые реально выступили в Западной Европе

в качестве главных гарантов социально-политической преемственности после 1917 года, а впоследствии превратились из оппозиционных партий в потенциально или реально правящие партии. Одним словом, он (буржуазный либерализм) мог исчезнуть или измениться до неузнаваемости. Но в своей прежней форме он был не в состоянии преодолевать трудности.

Джованни Джиолитти (1842—1928 года, Италия) — пример первой участи. Как мы уже видели, он блестяще справился с «управлением» итальянской политикой начала 1900-х годов: умиротворение и задабривание рабочих, подкуп политических сторонников, уступки, уход от конфронтации. В социально революционной послевоенной обстановке в его стране эта тактика его очень подвела. Стабильность буржуазного общества была восстановлена с помощью вооруженных банд «националистов» и фашистов из среднего класса, которые буквально развязали классовую войну против рабочего движения, оказавшегося неспособным самому совершить революцию. Политики (либеральные) их поддержали, тщетно надеясь, что смогут интегрировать их в свою систему. В 1922 г. фашисты пришли к власти, после чего демократия, парламент, партии и прежние либеральные политики были уничтожены. Случай с Италией был лишь одним из многих. В 1920—1939 года парламентские демократические системы буквально исчезали из большинства европейских государств, как коммунистических, так и некоммунистических\*. Факт достаточно красноречивый. Казалось, что для целого поколения либерализм в Европе был обречен.

Джон Мейнард Кейнс — пример второго варианта, тем более для нас интересного, т. к. всю свою жизнь он оставался сторонником Британской Либеральной партии и классово-подкованным представителем того, что он называл своим классом — «образованной буржуазии». В молодости экономист Кейнс был вопло-

---

\* В 1939 г. из двадцати семи государств Европы, единственными, которые могут быть описаны как парламентарные демократии, были Соединенное Королевство, Ирландское свободное государство, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды и четыре скандинавских государства (Финляндия точно). Все из них, кроме Соединенного Королевства, Ирландского свободного государства, Швеции и Швейцарии, вскоре временно оказались под оккупацией или в союзе с Германией.

щением ортодокса. Он справедливо полагал, что первая мировая война бессмысленна и несовместима с либеральной экономикой, не говоря уже о либеральной цивилизации. Будучи профессиональным советником военных правительств после 1914 года, он содействовал максимальному сокращению времени приостановки «привычного бизнеса». Кроме того, он вполне обоснованно считал, что величайший (либеральный) лидер военного времени Ллойд Джордж вел Британию к экономической гибели, когда все подчинил достижению военной победы\*. Он ужасался, но не удивлялся, видя, как огромные регионы Европы и то, что он считал Европейской цивилизацией, рушатся в пламени кризисов и революций. Он, опять-таки справедливо, заключил, что безответственный политиканский мирный договор, навязанный победителями, ставит под угрозу шансы восстановления германской, а стало быть и европейской, капиталистической стабильности на либеральной основе. Однако, осознав безвозвратность довоенной эпохи процветания, которую он так превозносил со своими друзьями из Кембриджа и Блумсбери, Кейнс использовал весь свой значительный интеллектуальный потенциал, изобретательность и особый публицистический дар для поиска путей спасения капитализма от самого себя.

Впоследствии он значительно революционизировал экономическую теорию, общественные науки, тесным образом связанные с рыночной экономикой в эпоху империи, и этой теории удалось избежать ощущения кризиса, столь явного в других общественных науках. Кризис, сначала политический, затем экономический, подтолкнул Кейнса к переоценке основных либеральных постулатов. Он стал сторонником регулируемой и управляемой государством экономики, которую, несмотря на явную приверженность Кейнса капитализму, сочли бы предбанником социализма в любом министерстве финансов любой развитой индустриальной державы до 1914 года.

Кейнса все-таки стоит выделить из общего ряда, поскольку он сформулировал наиболее интеллектуально и политически взвешенным образом ту мысль, что капиталистическое общество сможет выжить только тогда, когда капиталистические государ-

---

\* Его отношение ко второй мировой войне, борьбе против фашистской Германии, естественно, было очень от этого отлично.

ства будут контролировать, управлять и даже планировать основные направления своей экономики, при необходимости превращая ее в экономику смешанного общественно-частного типа. Этот урок был весьма своевременен после 1944 года для реформистских, социал-демократических и радикал-демократических идеологов и правительств, которые восприняли его с энтузиазмом, поскольку самостоятельно до этого не додумались, как в Скандинавии. Вывод о том, что капитализм, базировавшийся на довоенных либеральных основах, уже умер, был признан почти повсеместно во время двух мировых войн и экономического спада, даже теми, кто отказывался обозначать все это новыми теоретическими ярлыками. На протяжении 40 лет после начала 1930-х годов интеллектуальные сторонники абсолютно свободной рыночной экономики составляли изолированное меньшинство, не считая бизнесменов, чья перспектива всегда затрудняла признание лучших интересов своей системы в целом, соразмерно тому, что эта перспектива направляла их разум на интересы их конкретной формы или отрасли промышленности.

Урок этот пришлось выучить, поскольку альтернативой в период Великого спада 1930-х годов было не стимулируемое рынком выздоровление, а его крах. Это не был, как надеялись революционеры, «окончательный крах» капитализма, но, возможно, это был единственный по-настоящему системный экономический кризис в истории экономических систем, которые подвержены действию циклических колебаний.

Таким образом, годы между двумя мировыми войнами были эпохой величайших кризисов и потрясений в истории. Лучше всего их отнести к периоду, когда всемирная модель эпохи империи рухнула под воздействием тех потрясений, которые она сама подготовила за долгие годы мира и процветания. Что она рухнула, было ясно: либеральная мировая система и буржуазное общество XIX в. как норма, к которой стремилась «цивилизация» любого рода. В конце концов, это была эра фашизма.

То, что контуры будущего оставались смутными вплоть до середины столетия, и даже позже, а происходящее, хотя и было предсказуемым, но таким непохожим на то, к чему привыкли люди, выросшие в эпоху потрясений, что им понадобилось почти целое поколение, чтобы осознать происшедшее.

## II

Период, который пришел на смену эпохи краха и перемен, все еще не закончился, и с точки зрения социальных трансформаций, затронувших простых мужчин и женщин по всему свету, является самым революционным из всех пережитых человечеством. Впервые в истории после каменного века стали появляться люди, живущие не только за счет сельского хозяйства и животноводства. Во всех частях земного шара за исключением районов Африки, лежащих южнее Сахары и южного сектора Азии, крестьяне составляли меньшинство, а в развитых странах — крошечное меньшинство. Все это случилось в рамках одного поколения. Впоследствии мир, а не только старые «развитые» страны, стал более урбанистичным, в то время, как экономическое развитие, включая крупную индустриализацию, приняло международные масштабы и сопровождалось глобальным перераспределением такими методами, о которых не могли и помыслить до 1914 года. Современные технологии, благодаря двигателю внутреннего сгорания, транзистору, карманному калькулятору, всевидящему аэроплану, не говоря уже о скромном велосипеде, проникли в самые удаленные уголки планеты, ставшие доступными для коммерции таким образом, каким мало кто мог себе представить еще в 1939 г. Общественные структуры, по крайней мере в развитых странах западного капитализма, подверглись драматическим испытаниям на прочность, включая такие традиционные институты, как дом и семья.

Сейчас уже можно, оглядываясь назад, определить, сколько из того, что заставляло работать буржуазное общество XIX века, было фактически унаследовано и заимствовано из прошлого, само развитие которого должно было бы его разрушить. Все это произошло за очень короткое, по историческим масштабам, время — на памяти родившихся во время второй мировой войны — как результат самого мощного всплеска мировой экономической экспансии, который когда-либо испытывало человечество. Век спустя после выхода в свет «Коммунистического Манифеста» Маркса и Энгельса, его предсказания о социально-экономических по-

следствий развития капитализма начали сбываться — кроме свержения капитализма пролетариатом.

Очевидно, что этот период является эпохой, в которой буржуазное общество и все, что ему сопутствовало, принадлежит прошлому, которое больше не определяет непосредственно настоящее, хотя, конечно, и XIX и XX века составляют один и тот же длительный период революционного преобразования человечества и природы, ставшего особенно революционным в последнюю четверть XVIII столетия. Историки могут обратить внимание на странное совпадение: супер-бум XX века произошел как раз столетие спустя великого бума XIX века (1850—1873, 1950—1973), а впоследствии период мировых экономических неурядиц конца XX века после 1973 года начался ровно сто лет спустя Великой депрессии, с описания которой началась эта книга. Но не существует никакой взаимозависимости между этими фактами, если только кто-нибудь не попытался раскрыть некий циклический механизм поступательного экономического развития, который и обеспечил бы такую аккуратную хронологическую повторяемость; но это весьма маловероятно. Большинство из нас не хочет или не испытывает нужды возвращаться в 1880-е годы, чтобы объяснить, что будет беспокоить мировое сообщество в 1980—1990-х годах.

И все же мир конца XX столетия окрашен в цвета буржуазного века, и в частности — эпохи империи, ставшей предметом рассмотрения в данном томе. Окрашен в буквальном смысле слова. Так, например, глобальные финансовые договоренности, призванные обеспечить международную инфраструктуру для глобального экономического подъема в третьей четверти нашего столетия, были заключены в середине 1940-х годов людьми, достигшими зрелости уже к 1914 г., над которыми довлел опыт 25-летнего разложения эпохи империи. Последние важные государственные деятели или национальные лидеры времен войны 1914 года умерли в 1970-х годах (Мао, Тито, Франко, де Голль). Но, что гораздо существеннее, сегодняшний мир сформирован тем, что можно назвать историческим ландшафтом, оставшимся после эпохи империи и ее заката.

Самым очевидным проявлением этого наследия является раз-

деление мира на социалистические страны и все остальные. Тень Карла Маркса парит над третью человечества вследствие тех событий, которые мы пытались обрисовать в главах 3, 5 и 12. Вполне очевидно, что режимам, претендовавшим на реализацию прогнозов Карла Маркса, так и не была уготована счастливая доля, предусмотренная этими прогнозами, вплоть до появления массовых социалистических рабочих движений, чей пример и идеология в свою очередь вдохновят революционные движения в отсталых, зависимых или колониальных регионах.

Не менее очевидным проявлением наследия является сама глобализация политической структуры планеты. И если в Объединенных Нациях конца XX в. значительное численное большинство принадлежит государствам «третьего мира» (и, кстати, государствам совершенно не симпатизирующим «западным» странам), то это потому, что они в подавляющем большинстве являются реликтами передела мира империалистическими державами в эпоху империи. Так, деколонизация Французской империи породила около 20 новых государств, а Британской империи — гораздо больше; и, по крайней мере, в Африке (которая ко времени написания книги состояла из 50-ти номинально независимых и суверенных государств), все они воспроизводят границы, сложившиеся в результате завоеваний и межимперских переговоров. И опять-таки, если бы не события того периода, вряд ли можно было ожидать, что в основной их массе в конце нашего столетия все дела их образованных слоев и правительств будут вестись на английском и французском.

Несколько менее очевидным наследством эпохи империи является то, что эти государства следует определять, а часто они сами себя определяют, как «нации». И не только потому, что идеология «нации» и «национализма», европейский продукт XIX века, может быть использована в качестве идеологии национально-освободительного движения и была импортирована представителями прозападных местных элит, но также и потому, что идея «национального государства» в этот период стала доступна для групп любого размера, которые предпочли сами характеризовать себя таким образом, а не только для крупных народов. Большинство государств, появившихся на карте мира с конца XIX века

(которым был дан статус «наций» со времен президента Вильсона), имели скромные размеры и/ или численность населения, а с началом деколонизации — часто просто крошечные. В той степени, в какой национализм вышел за пределы старого «развитого» мира, а неевропейская политика стала ассоциироваться с национализмом, наследство эпохи империи все еще присутствует в мире.

Присутствует оно также и в трансформации традиционных западных семейных отношений, особенно в женской эмансипации. Конечно, все эти трансформации начались еще в середине века, но именно в эпоху империи возникло такое важное явление, как «новая женщина», а социально-политические массовые движения, приверженные, среди прочего, женской эмансипации, стали реальной политической силой: особенно в рабочих и социалистических движениях женские движения на западе, возможно, вступили в новую и более динамичную фазу в 1960-е годы, вероятно, вследствие высокого уровня трудоустройства, особенно замужних женщин, на оплачиваемую работу вне дома.

Более того, как мы уже пытались прояснить в этой книге, эпоха империи засвидетельствовала рождение большей части того, что характеризует современное урбанистическое общество массовой культуры. Даже с технической точки зрения, современные средства массовой информации не являются абсолютными инновациями, но разработками, сделавшими повсеместно доступными два основных устройства, внедренных в эпоху империи: механическое воспроизведение звука и движущуюся фотографию.

### III

Несложно обнаружить и другие проявления в нашей жизни, относящиеся к XIX веку в целом и эпохе империи, в частности. Любой читатель без сомнения может продолжить этот список. Но главное ли это из того, о чем задумываешься, оглядываясь на историю XIX века? Поскольку все еще затруднительно, если не невозможно, бесстрастно анализировать век, создавший мировую историю, поскольку он породил современную капиталисти-



ческую мировую экономику. Для европейцев он нес особый эмоциональный заряд, потому что, как никакая другая эпоха, это была европейская эра в мировой истории, а для британцев — просто уникальной эпохой, т. к. не только с экономической точки зрения, Британия была ее стержнем. Для североамериканцев это был век, когда США перестали быть частью европейской периферии. Для народов остального мира это была эра, когда вся прошлая история, сколь бы длинной и выдающейся она ни была, подошла к необходимому привалу. То, что произошло с ними после 1914 года, скрыто в событиях между первой промышленной революцией и 1914 годом.

Это был век, который преобразил мир — может быть, не в большей степени, чем наш собственный век, но столь удивительным образом — в силу новизны этих революционных преобразований. Оглядываясь назад, мы можем подтвердить, что все те, кто его творил и участвовал в нем на «развитом» западе, знали, что ему суждено будет стать веком выдающихся достижений, веком решения всех основных проблем человечества и устранения всех препятствий на этом пути.

Ни в каком ином веке прежде или позже люди не имели таких высоких, таких утопических ожиданий от жизни на этой Земле: всеобщий мир, всеобщая культура посредством единого мирового языка, наука, не только исследующая, но и дающая реальные ответы на самые фундаментальные вопросы мироздания, эмансипация женщин от всей их прошлой истории, освобождение всего человечества через освобождение рабочих, сексуальная свобода, общество изобилия, мир, в котором «от каждого по способности, каждому — по труду». Это не было лишь мечтой революционеров. Утопия через прогресс была фундаментальным образом встроена в столетие. Оскар Уайлд не шутил, когда однажды заметил, что не стоит держать в доме карту, на которой нет страны Утопии. Он говорил это для Кобдена, свободного торговца, и для Фурье, социалиста, и для президента Гранта, а также и для Маркса (который отрицал не утопические цели, но лишь утопические программы), и для Сен-Симона, чью утопию «индустриализма» нельзя было применить ни к капитализму, ни к соци-

ализму, т. к. может быть востребована обоими. Новизна большинства самых характерных для XIX века утопий заключалась в том, что в них история двигалась без пауз.

Буржуазия ожидала эры бесконечного улучшения и роста, материального, интеллектуального и нравственного — через либеральный прогресс; пролетарии, или те, кто выступал от их имени, ожидали того же — через революцию. Но и те, и другие ожидали. Ожидали не вследствие некоего исторического автоматизма, а вследствие приложения определенных усилий и борьбы. Художники, выражавшие культурные устремления буржуазного века наиболее глубоко и ставшие теми голосами, что озвучивали его идеалы, были подобны Бетховену, который считался гением, проложившим свой путь к победе в борьбе, и чья музыка преодолела темные силы судьбы, и чья хоральная симфония достигла кульминационной точки в триумфе освобожденного человеческого духа.

В эпоху империи существовали, как мы видели, достаточно глубокие и авторитетные мнения в буржуазных кругах, предвидевшие различные итоги. Но, в целом, для большинства людей на западе казалось, что эпоха, как никогда ранее, приблизилась к Надежде века. К своей либеральной надежде — за счет материальных улучшений в образовании и культуре; к своей революционной надежде — за счет появления и становления новых рабочих и социалистических движений. Для некоторых эпоха империи была эрой растущего беспокойства и страха. Для большинства мужчин и женщин в мире, преображенном буржуазией, это была, почти наверняка, эра надежды.

Именно с такой надеждой мы можем, наконец, оглянуться назад. Мы все еще можем ее разделять, но уже без скептицизма и неуверенности. Мы видели там много утопических обещаний, реализованных без достижения обещанных результатов. Разве сейчас мы не живем в эпоху, когда в самых развитых странах современные средства связи, транспорта и источники энергии устранили различия между городом и деревней, что когда-то считалось достижимым лишь в обществе, решившем буквально все свои проблемы? Но наше явно их еще не решило. Двадцатый век

был свидетелем слишком многих моментов освобождения и социального исступления, чтобы уверовать в их неизбежность. Надежде всегда есть место, поскольку люди и есть не кто иные, как надеющиеся животные. Место есть даже для великих ожиданий реальных достижений в материальном и интеллектуальном прогрессе XX века, правда, вряд ли в нравственном и культурном отношении.

Остается ли место для величайшей из всех надежд — надежде на создание такого общества, в котором свободные от страха и материальной нужды мужчины и женщины будут счастливо жить вместе в счастливой стране? Почему бы нет? XIX век научил нас тому, что желание совершенного общества не реализуется за счет некоего predetermined плана построения жизни — мормонов, оуэнистов и т. п.; конечная цель поисков совершенного общества состоит не в том, чтобы остановить историю, но открыть неизвестные возможности всем людям земли. В этом смысле дорога к утопии, к счастью для рода человеческого, открыта для всех.

Но, как мы знаем, ее можно и закрыть: всеобщим уничтожением, возвратом к варварству, развенчанием надежд и ценностей, к которым стремился век XIX. XX научил нас, что все это возможно. История более не дает нам, как думают многие, твердых гарантий того, что человечество отправится в землю обетованную во что бы то ни было. Еще меньше гарантий того, что оно ее достигнет. Всякое может случиться.

Но, если мы более не верим в то, что история гарантирует нам верный исход, значит она не может гарантировать и исход ошибочный. Она дает нам выбор без какой-либо четкой оценки вероятности того или иного нашего решения. Мнение о том, что мир в XXI столетии будет лучше — не пустой звук. Если миру удастся сохранить себя, такая вероятность будет достаточно высокой. Но это не будет равносильно уверенности. Единственное, в чем можно быть уверенным относительно будущего, — это то, что оно удивит даже тех, кто сумел заглянуть в него дальше всех.

---

# ТАБЛИЦЫ

---

## Государства и население 1880—1914 гг. (млн человек)

		1880	1914
И/К	*СК	35,3	45
Р	*Франция	37,6	40
И	*Германия	45,2	68
И	*Россия	97,7	161 (1910)
И/К	*Австрия	37,6	51
К	*Италия	28,5	36
К	Испания	16,7	20,5
К, 1908Р	Португалия	4,2	5,25
К	Швеция	4,6	5,5
К	Норвегия	1,9	2,5
К	Дания	2,0	2,75
К	Нидерланды	4,0	6,5
К	Бельгия	5,5	7,5
Р	Швейцария	2,8	3,5
К	Греция	1,6	4,75
К	Румыния	5,3	7,5
К	Сербия	1,7	4,5
К	Болгария	2,0	4,5
К	Черногория	—	0,2
К	Албания	0	0,8
И	Финляндия (в составе России)	2,0	2,9
Р	США	50,2	92,0 (1910)
И	Япония	ок. 36	53
И	Оттоманская империя	ок. 21	ок. 20
И	Китай	ок. 420	ок. 450
Другие государства, в порядке величины населения			
свыше 10 млн		Бразилия, Мексика	
5-10 млн		Персия, Афганистан, Аргентина	
2-5 млн		Чили, Колумбия, Перу, Венесуэла, Сиа́м	
Менее 2 млн		Боливия, Куба, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эль-Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Никарагуа, Панама, Парагвай, Уругвай	

И — империя, К — королевство, Р — республика

\* Великие державы Европы

## Урбанизация в Европе девятнадцатого столетия, 1800—1890

	Количество городов (10000 и больше)			Общее городское население (процентов)		
	1800	1850	1890	1800	1850	1890
Европа	364	878	1709	10	16,7	29
Север и Запад*	105	246	543	14,9	26,1	43,4
Центральная**	135	306	629	7,1	12,5	26,8
Средиземноморье***	113	292	404	12,9	18,6	22,2
Восточная****	11	34	133	4,2	7,5	18
Англия/Уэльс	44	148	356	20,3	40,8	61,9
Бельгия	20	26	61	18,9	20,5	34,5
Франция	78	165	232	8,8	14,5	25,9
Германия	53	133	382	5,5	10,8	28,2
Австрия/Богемия	8	17	101	5,2	6,7	18,1
Италия	74	183	215	14,6	20,3	21,2
Польша	3	17	32	2,4	9,3	14,6

\* Скандинавия, Соединенное Королевство, Нидерланды, Бельгия

\*\* Германия, Франция, Швейцария

\*\*\* Италия, Испания, Португалия

\*\*\*\* Австрия/ Богемия, Польша

Источник: Жан де Врие, «Европейская Урбанизация, 1500—1800 гг.» (Лондон, 1984), таблица 3.8

**Эмиграция в страны Европы во время определения границ  
1871—1911 гг. (млн человек)**

Годы	Всего	Британия/ Ирландия	Испания/ Португалия	Германия/ Австрия	Прочие
1871—1880	3,1	1,85	0,15	0,75	0,35
1881—1890	7,0	3,25	0,75	1,8	1,2
1891—1900	6,2	2,15	1,0	1,25	1,8
1901—1911	11,3	3,15	1,4	2,6	4,15
	27,6	10,4	3,3	6,4	7,5

**Иммиграция (млн человек)**

Годы	Всего	США	Канада	Аргентина/ Бразилия	Австралия Новая Зеландия	Прочие
1871—1880	4,0	2,8	0,2	0,5	0,2	0,3
1881—1890	7,5	5,2	0,4	1,4	0,3	0,2
1891—1900	6,4	3,7	0,2	1,8	0,45	0,25
1901—1911	14,9	8,8	1,1	2,45	1,6	0,95
	32,8	20,5	1,9	6,15	2,5	1,7

Основаны на данных труда А. М. Карр Сондерс, «Население мира» (Лондон, 1936). Различие между общим количеством иммигрантов и эмигрантов должно насторожить читателей относительно ненадежности этих расчетов.

## Неграмотность

1850	Страны с небольшой неграмотностью: ниже 30% взрослых	Средняя неграмотность 30—50%	Высокая неграмотность свыше 50%
	Дания Швеция Норвегия Финляндия Исландия Германия  Швейцария Нидерланды Шотландия  США (белые)	Австрия Чешские земли Франция Англия Ирландия Бельгия  Австралия	Венгрия Италия Португалия Испания Румыния все Балканы и Греция Польша Россия США (не белое население) остальной мир
1913	Страны с небольшой неграмотностью: ниже 10%	Средняя 10-30%	Высокая: свыше 30%
	(Как выше) Франция  Англия Ирландия Бельгия Австрия  Австралия Новая Зеландия	Сев. Италия Северо-Западная Югославия (Словения)	Венгрия Центр. и Южная Италия Португалия Испания Румыния все Балканы и Греция Польша Россия США (не белые) остальной мир

Таблица 5

## Университеты (количество учреждений)

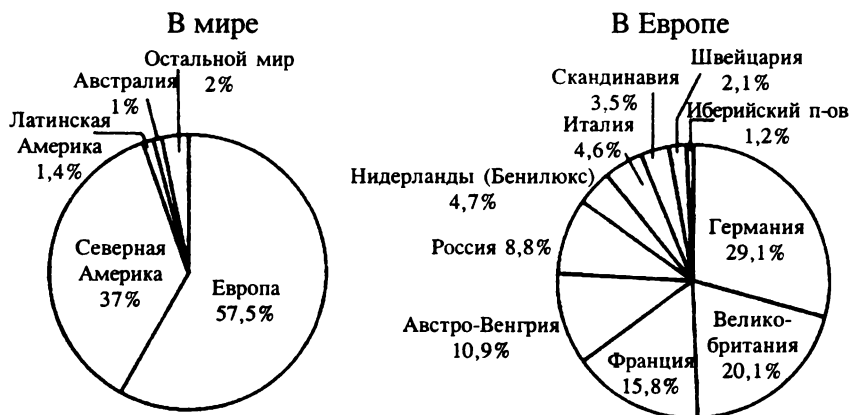
	1875	1913
Северная Америка	ок. 360	ок. 500
Латинская Америка	ок. 30	ок. 40
Европа	ок. 110	ок. 150
Азия	ок. 5	ок. 20
Африка	0	ок. 5
Австралия	2	ок. 5



## Современность

Издание газет в различных частях земного шара, ок. 1880 г.

(Источник: расчеты произведены из: М. Дж. Малхолл. *Прогресс в мире с начала девятнадцатого столетия*. (Лондон, 1880, переиздано в 1971 г., с. 91)



## Телефоны в мире в 1912 г.

(Источник: *Архив мировой экономики*, 1913, I/ii, с. 143)

Всего в мире (в тыс.)	12,453
США	8,362
Европа	3,239



Таблица 6

**Прогресс телефона: некоторые города  
(кол-во на 100 человек)**

	1895	Место	1911	Место
Стокгольм	4,1	1	19,9	2
Христиания (Осло)	3	2	6,9	8
Лос-Анджелес	2	3	24	1
Берлин	1,6	4	5,3	9
Гамбург	1,5	5	4,7	10
Копенгаген	1,2	6	7	7
Бостон	1	7	9,2	4
Чикаго	0,8	8	11	3
Париж	0,7	9	2,7	12
Нью-Йорк	0,6	10	8,3	6
Вена	0,5	11	2,3	13
Филадельфия	0,3	12	8,6	5
Лондон	0,2	13	2,8	11
С.-Петербург	0,2	14	2,2	14

Источник: *Архив мировой экономики*, 1913, I/ii, с. 143

Таблица 7

**% площади, приходящейся на независимые государства  
в 1913 г.**

Северная Америка	32%
Центральная и Южная Америка	92,5%
Африка	3,4%
Азия	70%, кроме азиатской части России 43,2%, включая азиатскую часть России
Океания	0%
Европа	99%

Источник: расчеты сделаны по: *Статистический международный ежегодник Лиги Наций* (Женева, 1926)

Таблица 8

## Британские инвестиции за границей: доля в %

	1860—1870	1911—1913
Британская империя	36	46
Латинская Америка	10,5	22
США	27	19
Европа	25	6
Прочие	3,5	7

Источник: К. Фейнштейн цитирует по: М. Баррэтт Браун. *После империализма* (Лондон, 1963), с. 110.

Таблица 9

## Мировой выпуск основных тропических продуктов (товаров), 1880—1910 (в тыс. тонн)

	1880	1900	1910
Бананы	30	300	1 880
Какао	60	102	227
Кофе	550	970	1 090
Каучук	11	53	87
Хлопковое волокно	950	1 200	1 770
Джут	600	1 220	1 560
Семена масличных культур	—	—	2 700
Сахар-сырец из тростника	1 850	3 340	6 320
Чай	175	290	360

Источник: П. Байроч. *Экономическое развитие третьего мира с 1900 г.* (Лондон, 1975), с. 15.

Таблица 10

## Мировое производство и мировая торговля, 1781—1971 (1913 = 100)

	Производство	Торговля
1781—1790	1,8	2,2 (1780)
1840	7,4	5,4
1870	19,5	23,8
1880	26,9	38 (1881—1885)
1890	41,1	48 (1891—1895)
1900	58,7	67 (1901—1905)
1913	100,0	100
1929	153,3	113 (1930)
1948	274,0	103
1971	950,0	520

Источник: В.В. Ростоу. *Мировая экономика: история и перспектива.* (Лондон, 1978), приложения А и Б.

Таблица 11

**Перевозка грузов на кораблях (только суда свыше 100 тонн) в  
тыс. тонн**

	1881	1913
Всего по миру	18325	46970
Великобритания	7010	18696
США	2370	5429
Норвегия	1460	2458
Германия	1150	5082
Италия	1070	1522
Канада	1140	1735*
Франция	840	2201
Швеция	470	1047
Испания	450	841
Нидерланды	420	1310
Греция	330	723
Дания	230	762
Австро-Венгрия	290	1011
Россия	740	974

\* Британские доминионы.

Источник: Малхолл. *Словарь статистики* (Лондон, 1881), и Лига Наций, *Международный статистический ежегодник 1913 г.*, таблица 76.

### Гонка вооружений

Военные расходы великих держав (Германия, Австро-Венгрия, Великобритания, Россия, Италия и Франция) в 1880—1914 гг.



Источник: *Атлас мировой истории изд-ва «Таймс»* (Лондон, 1978), с. 250.

# ТАБЛИЦЫ

Таблица 12

## Армии (в тыс. человек)

	1879		1915	
	Мирное время	Мобили- зованных	Мирное время	Мобили- зованных
Великобритания	136	ок. 600	160	700
Индия	ок. 200	—	249	
Австро-Венгрия	267	772	800	3000
Франция	503	1 000	1 200	3 500
Германия	419	1 300	2 200	3 800
Россия	766	1213	1 400	4 400

Таблица 13

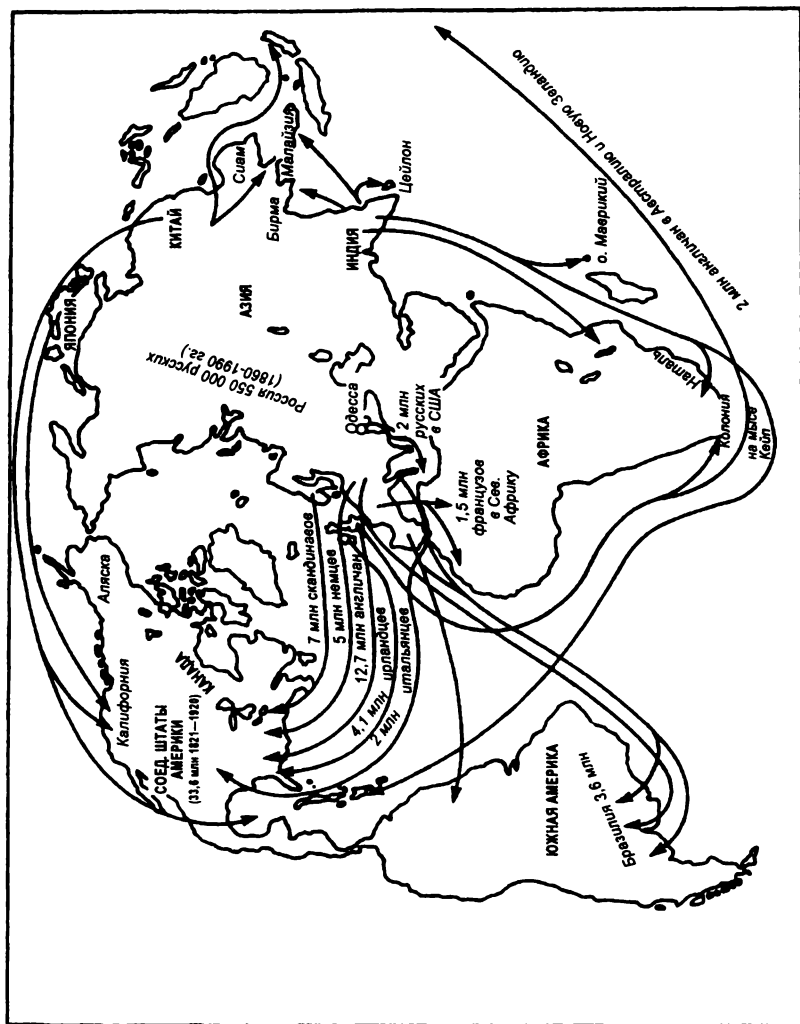
## Военно-морской флот (по количеству боевых кораблей)

	1900	1914
Великобритания	49	64
Германия	14	40
Франция	23	28
Австро-Венгрия	6	16
Россия	16	23

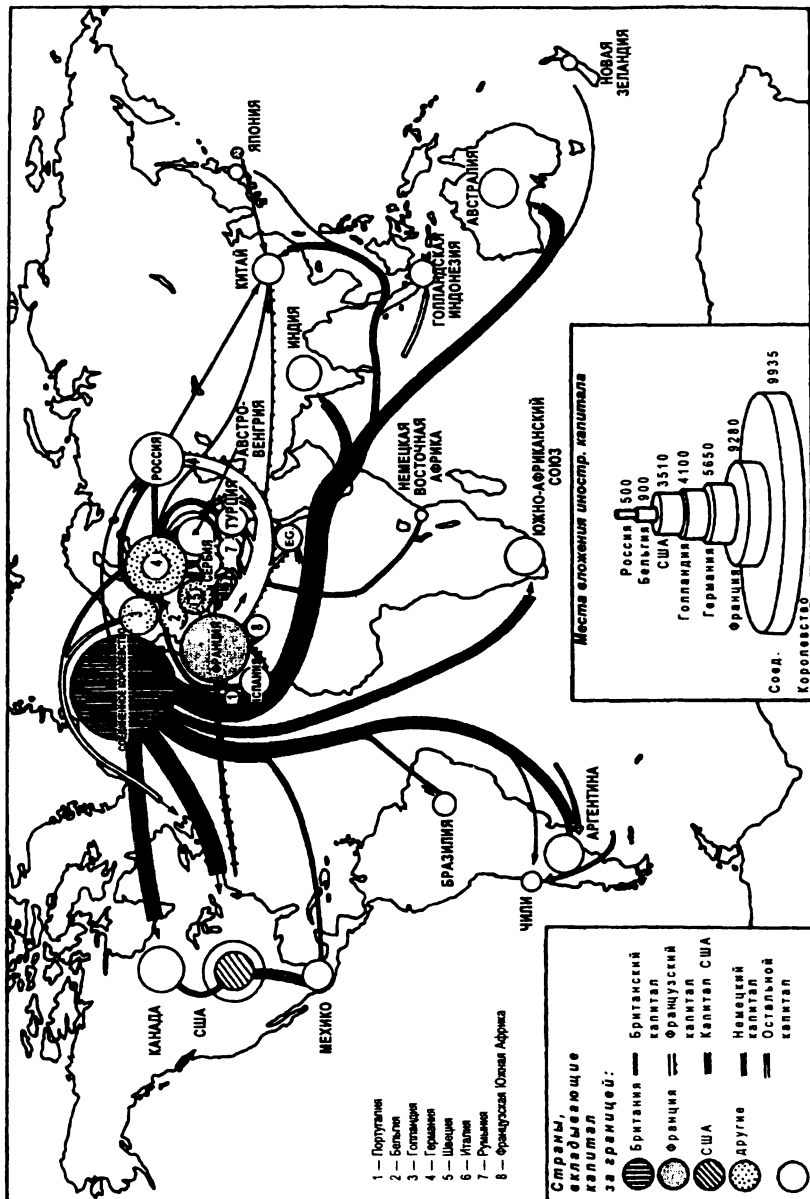
---

# КАРТЫ

---

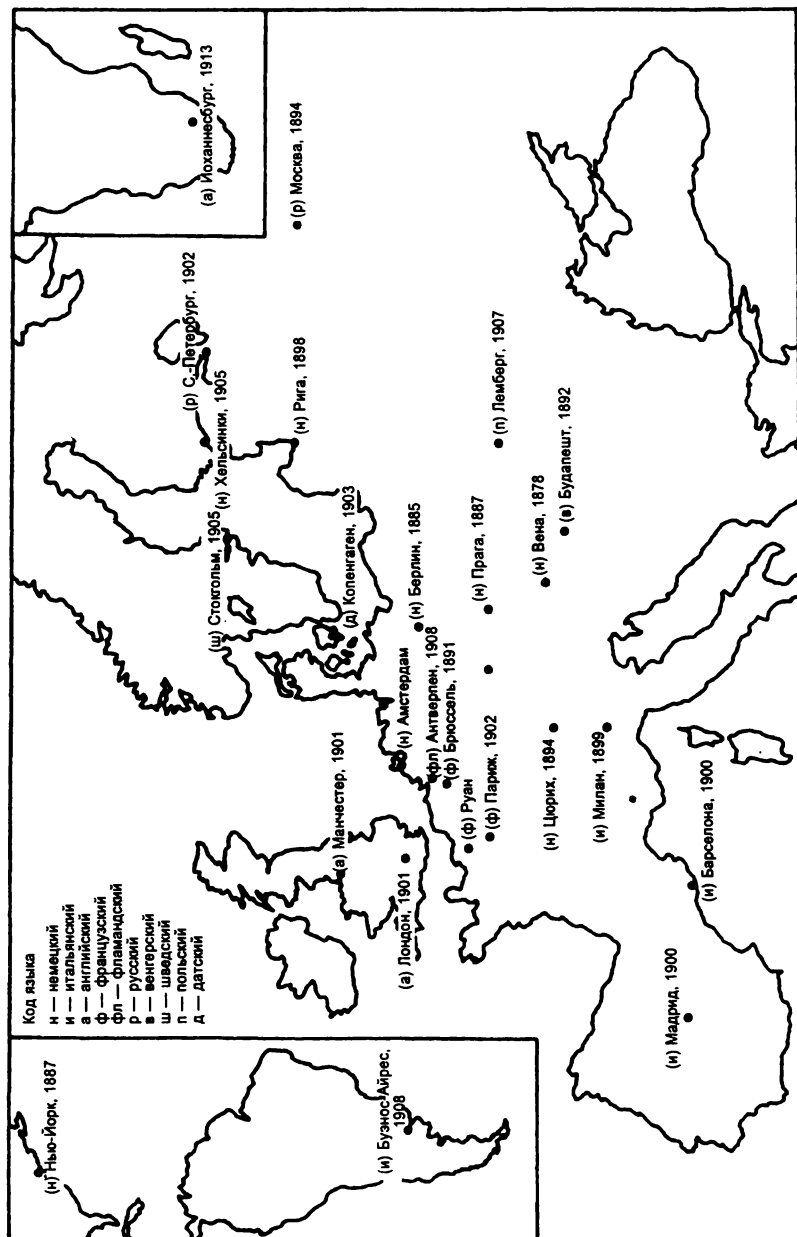


Карта 1. Международные миграции 1820—1910 гг. (Источник: Атлас Всемирной Истории изд-ва «Таймс»)

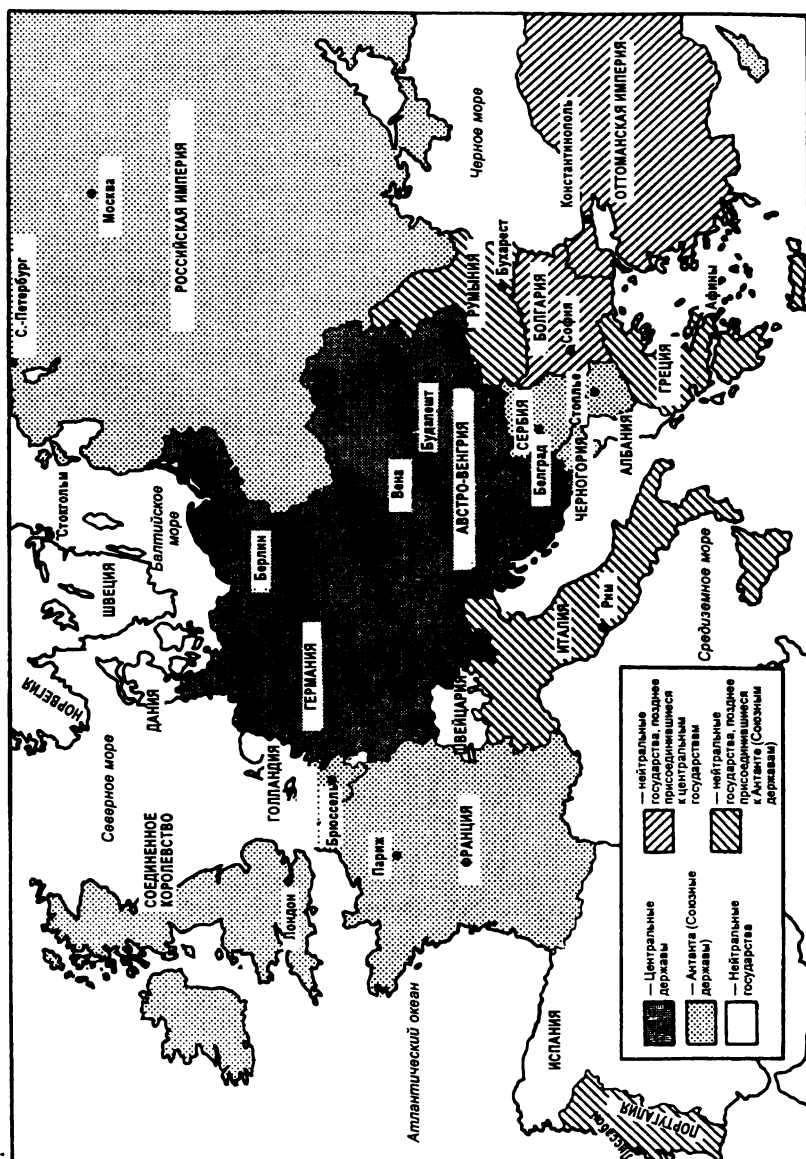


Карта 2. Передвижение капитала в 1875—1914 гг.

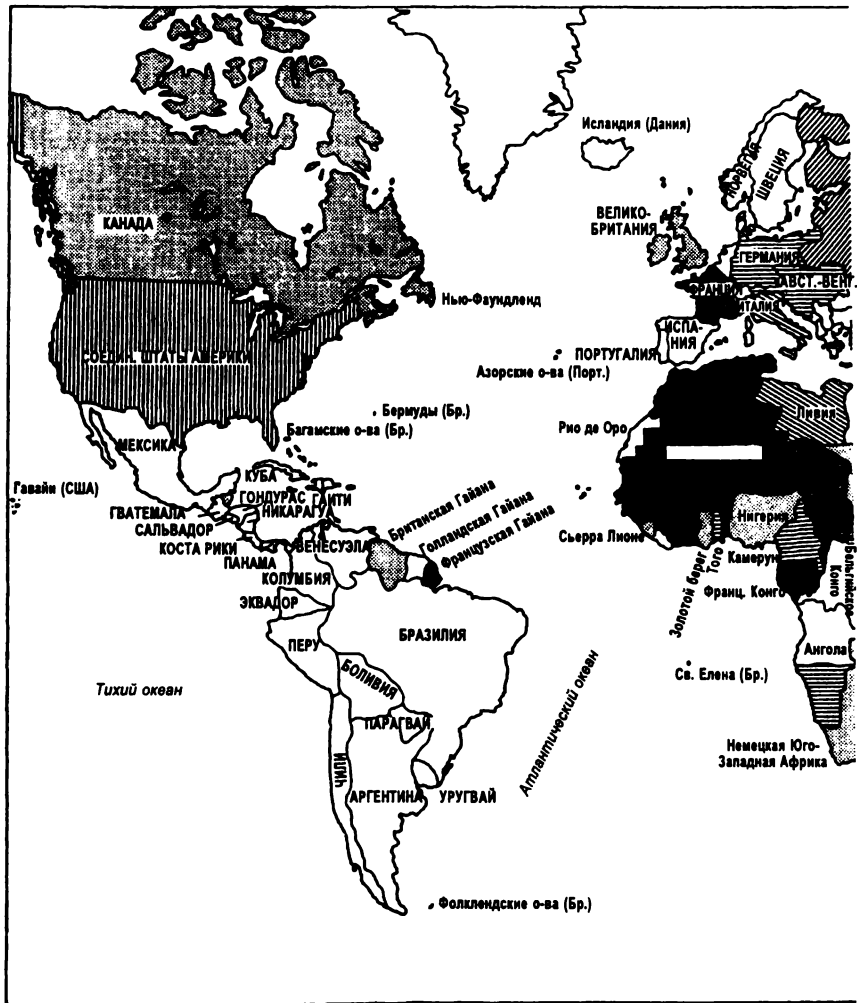




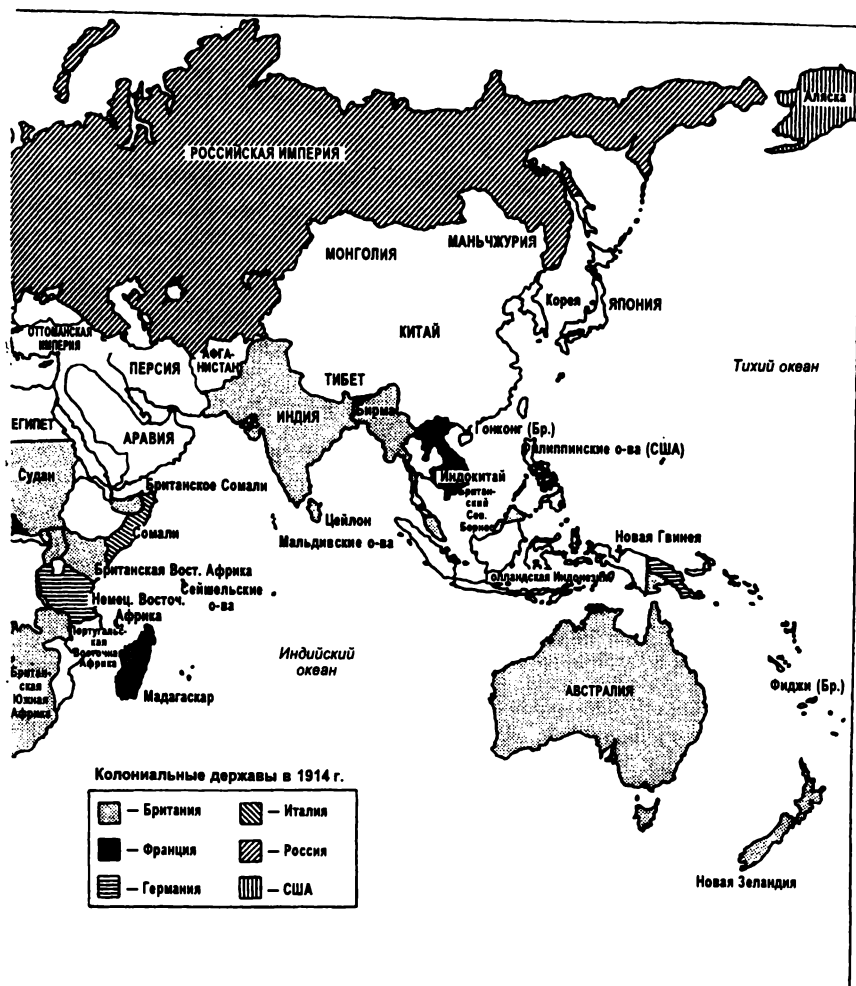
Карта 3. Опера и национализм: постановки «Зигфрида» в 1875—1914 гг.



Карта 4. Европа в 1914 г.



Карта 5. Разделенный мир: империи в 1914 г.



---

## КОММЕНТАРИИ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

- <sup>1</sup> Джеймс Джойс. — Джойс Джеймс (1882—1942) — знаменитый ирландский писатель, внесший революционные перемены в английский роман. Наиболее известными его произведениями являются «Портрет художника в юности» (1916) и «Улисс» (1922).
- <sup>2</sup> Дрейк. — Дрейк Френсис (1545—1596) — английский пират и путешественник, деятель времен королевы Елизаветы I, мэр Плимута в 1582 г., член парламента в 1584—1585 гг., прославился своим удачным нападением на Кадикс в 1587 г. В 1588 г. — вице-адмирал.
- <sup>3</sup> Испанская Армада. — Речь идет о так называемой «Непобедимой Армаде», направленной против Англии в 1588 г. испанским королем Филиппом II и разбитой англичанами.
- <sup>4</sup> младотурки. — европ. название тур. националистической партии «Единение и прогресс», основанной в 1889 г. в Стамбуле и ставившей своей целью усилить позиции нарождавшейся турецкой буржуазии в экономической и политической жизни страны.
- <sup>5</sup> филлоксера. — насекомое подотр. тлей. Сосет только на виноградной лозе, доводя растение до гибели. Родина филлоксеры — США.
- <sup>6</sup> «в десятилетие после Великого голода». — т. е. в десятилетие после 1845—1847 гг.
- <sup>7</sup> Уильям Дженнингс Брайан. — Брайан Уильям Дженнингс (1860—1925) — американский политический деятель, трижды неудачно баллотировавшийся на пост президента США в 1896, 1900 и 1908 гг. Государственный секретарь при президенте Вильсоне в 1913—1915 гг.
- <sup>8</sup> «Богатство народов». — Сокращенное название труда Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).
- <sup>9</sup> Тэйлор Ф. В. — Тэйлор Фредерик Уинслоу (1856—1915) — американский инженер, консультант по менеджменту, создатель научной системы менеджмента. Свои идеи он высказал в работе «Принципы научного менеджмента», опубликованной в 1911 г.

- <sup>10</sup> «Доктрина Монро». — Суть этой доктрины, сформулированной в 1823 г. американским президентом Джеймсом Монро, сводится к формуле: «Америка для американцев».
- <sup>11</sup> «Даже в книге Ленина (1916 г.)». — Имеется в виду работа В. И. Ленина «Империализм как высшая и последняя стадия развития капитализма» (1916).
- <sup>12</sup> «Разразившейся англо-бурской войны». — Англо-бурская война началась в 1899 г.
- <sup>13</sup> британский премьер-министр. — Лорд Солсбери.
- <sup>14</sup> Джозеф Конрад. — Конрад Джозеф (1857—1924) — английский писатель польского происхождения. Наиболее известны следующие его романы: «Лорд Джим» (1900), «Сердце тьмы» (1902), «Тайный агент» (1907).
- <sup>15</sup> «законов о реформе» в 1867 и 1883 гг. — В результате реформ избирательного права в Англии, проведенных в 1867 и 1883 гг., число избирателей возросло в два раза и достигло почти 5 млн человек.
- <sup>16</sup> «скандалов вроде «Панамы». — В конце 80-х гг. XIX века, после того, как организованное в 1888 г. Акционерное общество для прорытия Панамского канала объявило себя банкротом, причем разорилась большая масса акционеров-французов, вскрылся грандиозный обман, который до поры до времени покрывали посылаемые для расследования в Панаму многочисленные правительственные комиссии и к которому оказались причастны родственники президента республики, сенаторы, министры и их друзья. «Панама», таким образом, стала символом коррупции во времена Третьей республики во Франции.
- <sup>17</sup> «социалисты-революционеры в России (после 1902 года)». — Партия социалистов-революционеров (эсеров), созданная в 1902 г., выражала интересы широких крестьянских масс России, сформулировав достаточно демократическую аграрную программу.
- <sup>18</sup> «против антиклерикальной кампании Бисмарка, проходившей в 1870-е годы». — Эта кампания, получившая выразительное название «Культуркампф» («борьба за культуру»), ставила целью уменьшить влияние так называемой Партии Центра, выступавшей против прусской гегемонии в Германской империи, упорно насаждавшейся Бисмарком.
- <sup>19</sup> Чарльз Стюарт Парнелл. — Парнелл Чарльз Стюарт (1846—1891) — ирландский националист, сторонник проведения обструкционистской политики в отношении британских официальных властей, для того, чтобы Ирландия обрела гомруль, т. е. самоуправление.
- <sup>20</sup> Славной революции вигов (1688 года). — название, данное буржуазными

историками государственному перевороту 1688—1689 гг. в Англии в результате которого там упрочилась конституционная монархия.

- 21 «к оправданию убийц, расправившихся с королем в 1649 г.». — В ходе Английской буржуазной революции XVII в., по приговору Верховного Суда Справедливости, в котором большинство составили индипенденты, король Карл I был приговорен к смертной казни и казнен 30 января 1649 года.
- 22 теократия. — (от греч. *theos* — бог и *kratos* — сила, власть) — форма правления, при которой глава церкви и духовенство осуществляют полностью функции светской власти.
- 23 «скандал Вильсона». — Один из многих скандалов во времена Третьей республики во Франции. В 1887 г. зять президента Ж. Гриви, депутат Национального Собрания Вильсон был справедливо обвинен в продажности и взяточничестве. Гриви был вынужден подать в отставку.
- 24 Эдуард Бернштейн. — Бернштейн Эдуард (1850—1932) германский социалист, один из идеологов реформизма, выступивший с ревизией ортодоксального марксизма в конце XIX века.
- 25 «до золотых приисков холодной Сибири, ставших ареной мощных забастовок и расстрелов, случившихся накануне войны». — Речь идет о событиях, произошедших на Ленских золотых приисках в феврале-апреле 1912 г., когда бастовавшие рабочие приисков «Лензолото» 4 апреля были расстреляны войсками, причем было убито 270 рабочих и 250 — ранено.
- 26 «к введению «праздника 1 мая» (провозглашенного впервые в 1890 г.)». — Первый конгресс II Интернационала, состоявшийся в 1889 г., принял резолюцию, обязав рабочие организации всех стран 1 мая 1890 г. одновременно устроить выступления пролетариата с требованиями 8-часового рабочего дня и выполнения решений конгресса об улучшении положения рабочих.
- 27 «увриеризм» (как называли это явление французы) — от франц. слова *ouvrier* — рабочий.
- 28 «в год сражения при Ватерлоо» — т. е. в 1815 году.
- 29 «Александр Мильеран (1899 г.), ставший впоследствии президентом Франции». — Мильеран занимал пост президента республики в 1920—1924 гг.
- 30 Бунд. — («Всеобщий еврейский союз в Литве, Польше и России») — мелкобуржуазная еврейская националистическая партия, образовавшаяся в октябре 1887 г. на съезде в Вильно.
- 31 Гамбетта. — Гамбетта Леон Мишель (1838—1882) — французский политический деятель, в годы Второй империи — влиятельный оратор левого крыла

буржуазно-республиканской оппозиции. С сентября 1870 по февраль 1871 гг. — министр внутренних дел. В первое десятилетие Третьей республики — лидер буржуазных республиканцев, возглавивший борьбу против клерикализма и попыток реставрации монархии. В 1879—1881 гг. — председатель Палаты Депутатов. В 1881—январе 1882 гг. — премьер-министр и министр иностранных дел.

<sup>32</sup> «в эпоху короля Эдуарда». — Имеется в виду царствование английского короля Эдуарда VII (1901—1910 гг.)

<sup>33</sup> «в известной пьесе Генрика Ибсена (1877 г.)». — Имеется в виду, очевидно, его драма «Кукольный дом».

<sup>34</sup> Жорж Сорель — Сорель Жорж (1847—1922) — французский философ.

<sup>35</sup> суфражистками. — от англ. *suffrage* — избирательное право, право голоса.

<sup>36</sup> «Прогибишен». — от англ. *prohibition* — запрещение.

<sup>37</sup> Марсель Пруст — Пруст Марсель (1871—1920) — французский писатель и критик.

<sup>38</sup> *fin de siecle* — конца века (франц.).

<sup>39</sup> *la Revolte* — бунт, мятеж (франц.).

<sup>40</sup> *Schundliteratur* — бульварной литературы (нем.).

<sup>41</sup> солипсизм. — доведенный до крайних выводов субъективный идеализм, утверждающий, что существует только «Я», сознание субъекта, а внешний мир создан сознанием человека.

<sup>42</sup> «*Rosenkavalier*» — «Кавалер роз» (нем.).

<sup>43</sup> *demi-monde* — полусвета (франц.).

<sup>44</sup> «*Je vois mais ne le crois pas*». — «Я вижу, но не верю» (франц.).

<sup>45</sup> Джозеф Чемберлен. — Чемберлен Джозеф (1836—1914) — британский государственный деятель, член парламента от Бирмингема, одно время примыкавший к партии либералов. В консервативном кабинете лорда Солсбери занимал пост секретаря по колониальным делам и последовательно отстаивал империалистическую политику.

<sup>46</sup> Рональд Росс. — Росс Рональд (1857—1932) — английский врач и бактериолог. С 1881 по 1891 гг. служил в Индийской медицинской службе. В 1895—1898 гг. установил разновидность комаров, вызывающих заболевание малярией. Лауреат Нобелевской премии в области медицины за 1902 год.

<sup>47</sup> «где буры, недавно аннексированные после поражения в тяжелой войне». —



Англо-бурская война завершилась в 1902 г. Бурские республики были аннексированы Великобританией.

- <sup>48</sup> «гринго» — презрительное прозвище, данное выходцам из США жителями Латинской Америки. Своеобразный эквивалент слова «янки».
- <sup>49</sup> Панчо Вилья — Вилья Франсиско (1877—1923) — мексиканский революционер, руководитель партизанских отрядов. В конце 1914 г. объединенные отряды Вилья и Э. Сапаты заняли на время столицу Мексики — г. Мехико.
- <sup>50</sup> «конституция 17 октября» — Хобсбаум называет так царский Манифест от 17 октября 1905 года, согласно которому Николаем II провозглашались неприкосновенность личности, свобода слова, собраний, союзов и т. п. В Манифесте содержалось также обещание созвать Государственную Думу с законодательными правами и привлечь к участию в ней трудящихся.
- <sup>51</sup> «сам Столыпин был выведен из царского правительства в 1911 г. и вскоре застрелен» — Столыпин был смертельно ранен в Киеве агентом охраны, эсером Д. Богровым и умер 5 сентября 1911 года. Оставался пред. Совета Министров до своей смерти, хотя отставка готовилась.
- <sup>52</sup> «покушение на австрийского эрцгерцога, совершенное студентом-террористом в провинциальном городке в глубине Балкан». — Наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд был убит сербским националистом Гаврилой Принципом 28 июня 1914 г. в городе Сараево.
- <sup>53</sup> *coup de grace* — смертельный удар. (франц.).
- <sup>54</sup> Магриба — Странама Магриба именуются государства, расположенные к западу от Египта (Алжир, Тунис, Марокко).

*А. А. Егоров*

# ПРИМЕЧАНИЯ

## Предисловие

- <sup>1\*</sup> П. Нора в: П. Нора (ред.). *Les lieux de la memoire*. Том 1: *La Republique*. Париж, 1984, с. xix.
- <sup>2\*</sup> Дж. Барраклаф. *An Introduction to Contemporary History*. Лондон, 1964, с. 1.

## Глава 1: Столетняя революция

- <sup>1\*</sup> Финлей Питер Дьюни. *Mr. Dooley Says*. Нью-Йорк, 1910, с. 46—47.
- <sup>2\*</sup> М. Малхолл. *Dictionary of Statistics*. Лондон, изд. 1892 г., с. 573.
- <sup>3\*</sup> П. Байроч. «Les grandes tendances des disparites economiques nationales depuis la Revolution Industrielle» в: Материалы Седьмого международного конгресса по экономической истории, Эдинбург, 1978, Серия «Четыре А» (Эдинбург, 1978), с. 175—186.
- <sup>4\*</sup> См.: В. Дж. Кьернан. *European Empires from Conquest to Collapse*. Лондон, 1982, с. 34—36; Д. Р. Хедрик. *Tools of Empire*. Нью-Йорк, 1981, выдержки.
- <sup>5\*</sup> Питер Флора. *State, Economy and Society in Western Europe 1815—1975: A Data Handbook*. I, Франкфурт, Лондон и Чикаго, 1983, с. 78.
- <sup>6\*</sup> В. В. Ростой. Лондон, 1978, с. 52.
- <sup>7\*</sup> Хилэри Беллок. *The Modern Traveller*. Лондон, 1898, с. vi.
- <sup>8\*</sup> П. Байроч и др. *The Working Population and Its Structure*. Брюссель, 1968, в отношении этих же фактов.
- <sup>9\*</sup> Х. Л. Вебб. *The Development of the Telephone in Europe*. Лондон, 1911.
- <sup>10\*</sup> П. Байроч. *De Jericho a Mexico: Villes et economie dans l'histoire*. Париж, 1985, раздел С, выдержки для фактов.
- <sup>11\*</sup> Историческая статистика Соединенных Штатов, с колониальных времен до 1957 года. Вашингтон, 1960, перепись 1890 года.
- <sup>12\*</sup> Карло Киполла. *Literacy and Development in the West*. Хармондсворт, 1969, с. 76.
- <sup>13\*</sup> Малхолл, см. выше, с. 245.
- <sup>14\*</sup> Расчеты сделаны на основе той же работы, с. 546; там же, с. 549.
- <sup>15\*</sup> Там же, с. 100.
- <sup>16\*</sup> Родерик Флоуд. «Wirtschaftliche und soziale Einflüsse auf die Körpergrößen von Europaern seit 1750». Ежегодник по истории экономики. Восточный Берлин, 1985, II, с. 93—118.

- <sup>17\*</sup> Георг фон Майр. *Statistik und Gesellschaftslehre*, II: Статистика населения. 2, Тюбинген, 1924, с. 427.
- <sup>18\*</sup> Малхолл, см. выше, «Почтовая служба», «Пресса», «Наука».
- <sup>19\*</sup> *Cambridge Modern History*. Кэмбридж, 1902, I, с. 4.
- <sup>20\*</sup> Джон Стюарт Милл. *Utilitarianism, On Liberty and Representative Government*. Издание «Библиотека для каждого», 1910, с. 73.
- <sup>21\*</sup> Джон Стюарт Милл. «Цивилизация» в: Диссертации и дискуссии. Лондон, новое изд., с. 130.

## Глава 2: Механизм экономических перемен

- <sup>1\*</sup> А. В. Дэйси. *Law and Public Opinion in the Nineteenth Century*. Лондон, 1905, с. 245.
- <sup>2\*</sup> Цит. по: Э. Машке. «German Cartels from 1873—1914» в: Ф. Крушце, В. Х. Шалоне и В. М. Стерн (редакторы). *Essays in European Economic History*. Лондон, 1969, с. 243.
- <sup>3\*</sup> Из «Handelskriesen und die Gewerkschaften», перепечатанного в: *Die langen Wellen der Konjunktur. Beiträge zur Marxistischen Konjunktur und Kriesentheorie von Parvus, Karl Kautsky, Leo Tritzki und Ernest Mandel*. Берлин, 1972, с. 26.
- <sup>4\*</sup> Д. А. Уэллс. *Recent Economic Changes*. Нью-Йорк, 1889, с. 1—2.
- <sup>5\*</sup> Там же, с. vi.
- <sup>6\*</sup> Альфред Маршалл. *Official Papers*. Лондон, 1926, с. 98—99.
- <sup>7\*</sup> К. Р. Фей. *Cooperation at Home and Abroad*. 1908; Лондон, изд. 1948 года, I, с. 49 и 114.
- <sup>8\*</sup> Сидней Поллард. *Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe 1760—1970*. Оксфорд, 1981, с. 259.
- <sup>9\*</sup> Ф. Кс. фон Нойманн-Шпалларт. *Übersichten der Weltwirtschaft, Jg. 1881—1882*. Штуттгарт, 1884, с. 153 и 185 как основа этих расчетов.
- <sup>10\*</sup> П. Байроч. «Читта/Кампания» в: *Enciclopedia Einaudi*, III, Турин, 1977, с. 89.
- <sup>11\*</sup> См.: Д. Ландес. *Revolution in Time*. Гарвард, 1983, с. 289.
- <sup>12\*</sup> *Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups*. Кэмбридж, Массачусетс, 1980, с. 750.
- <sup>13\*</sup> Книга Уилльямса первоначально была серией панических статей, опубликованных в империалистическом «Новом Ревю» г-на В. Е. Хенли. Он также принимал участие в агитации против заключения союза.
- <sup>14\*</sup> К. П. Киндлебергер. «Group Behavior and International Trade». Журнал политической экономики, 59, февраль 1951, с. 37.
- <sup>15\*</sup> П. Байроч. *Commerce extérieur et développement économique de l'Europe au XIXe siècle*. Париж-Гаага, 1976, с. 309—311.
- <sup>16\*</sup> (Фольке Хилгердт). *Industrialization and Foreign Trade* (Лига Наций, Женева, 1945), с. 13, 132—134.
- <sup>17\*</sup> Х. В. Макрости. *The Trust Movement in British Industry*. Лондон, 1907, с. 1.

- 18\* Уильям Эпплмэн Уильямс. *The Tragedy of American Diplomacy*. Кливленд и Нью-Йорк, 1959, с. 44.
- 19\* Байроч. *De Jericho a Mexico*, с. 288.
- 20\* В. Артур Льюис. *Growth and Fluctuations 1870—1913*. Лондон, 1978, приложение iv.
- 21\* Там же, с. 275.
- 22\* Джон Р. Хансон II. *Trade in Transition: Exports from the Third World 1840—1900*. Нью-Йорк, 1980, с. 55.
- 23\* Сидней Поллард. «Capital Exports 1870—1914: Harmful or Beneficial?» *Economic History Review*, XXXVIII (1985), с. 492.
- 24\* Это были *Lloyd's Weekly* и *Le Petit Parisien*.
- 25\* П. Матнас. *Retailing Revolution*. Лондон, 1967.
- 26\* Согласно оценкам Дж. А. Лезура и Кл. Жерара в «*Nouvelle Histoire Economique I: Le XIXe Siecle*», Париж, 1976, с. 247.

## Глава 3: Век Империи

- 1\* Цит. по: Вольфганг И. Моммзен. *Max Weber and German Politics 1890—1920*. Чикаго, 1984, с. 77.
- 2\* Финлей Питер Дьюни. *Mr. Dooley's Philosophy*. Нью-Йорк, 1900, с. 93—4.
- 3\* В. И. Ленин. «Империализм как последняя стадия капитализма», первоначально напечатанный в середине 1917 года. Более поздние (посмертные) издания труда используют слово «высшая» вместо «последняя».
- 4\* Дж. А. Хобсон. *Imperialism*. Лондон, 1902, предисловие; с. xxvii.
- 5\* Сэр Гарри Джонстон. *A History of the Colonization of Africa by Alien Races*. Кэмбридж, 1930; первое издание в 1913 г., с. 445.
- 6\* Майкл Баррэтт Браун. *The Economics of Imperialism*. Хармондсворт, 1974, с. 175; для большого и, в наших целях, слишком искушенного спора по этому предмету см.: Поллард. «Capital Exports 1870—1914», опред. цитат.
- 7\* В. Дж. Хайнс. *The Economics of Empire: Britain, Africa and the New Imperialism, 1870—1895*. Лондон, 1979, выдержки.
- 8\* Цит. по: Д. К. М. Платт. *Finance, Trade and Politics: British Foreign Policy 1815—1914*. Оксфорд, 1968, с. 365—366.
- 9\* Макс Беер. «Der neue englische Imperialismus», *Neue Zeit*, xvi (1898), с. 304. Более широко: Б. Земмель. *Imperialism and Social Reform: English Social-Imperial Thought 1895—1914*. Лондон, 1960.
- 10\* Дж. Э. К. Бодли. *The Coronation of Edward VII: A Chapter of European and Imperial History*. Лондон, 1903, с. 153 и 201.
- 11\* Бертон Бенедикт и др. *The Antropology of World's Fairs: San Francisco's Panama Pacific International Exposition of 1915*. Лондон и Беркли, 1983, с. 23.

- <sup>12\*</sup> Encyclopedia of Missions. 2-е изд. Нью-Йорк и Лондон, 1904, приложение iv, с. 838—839.
- <sup>13\*</sup> Dictionaire de spiritualite. Париж, 1979, х, «Миссия», с. 1389—9.
- <sup>14\*</sup> Рудольф Гильфердинг. Das Finanzkapital. Вена, 1909; изд. 1923 г., с. 470.
- <sup>15\*</sup> П. Байроч. «Geographical Structure and Trade Balance of European Foreign Trade from 1800 to 1970». Journal of European Economic History, 3, 1974, с. 557—608; Commerce exterieur et developpement economique de l'Europe au XIXe siecle, с. 81.
- <sup>16\*</sup> П. Дж. Кейн и А. Дж. Хопкинс. «The Political Economy of British Expansion Overseas, 1750—1914», Economic History Review, xxxiii, 1980, с. 463—490.
- <sup>17\*</sup> Дж. Э. Флинт. «Britain and the Partition of West Africa» в: Дж. Э. Флинт и Дж. Вильямс (ред.). Perspectives of Empire. Лондон, 1973, с. 111.
- <sup>18\*</sup> К. Саутворт. The French Colonial Venture. Лондон, 1931, приложение таблиц 7. Однако среднее делимое для проводимых в том году кампаний во французских колониях было 4,6 процента.
- <sup>19\*</sup> М. К. Ганди. Collected Works. I: 1884—96, Нью-Дели, 1958.
- <sup>20\*</sup> По поводу необычно успешного, временно, вторжения буддизма в западную среду см.: Жан Ромейн. *The Watershed of Two Eras*. Миддлтаун, Коннектикут, 1978, с. 501—503, и о поездках индийских священников за границу, в основном на примере сторонников из среды теософистов. Среди них Вивекананда (1863—1902) со своим учением «Веданта» может претендовать быть первым из коммерческих гуру современного Запада.
- <sup>21\*</sup> Р. Х. Греттон. A Modern History of the English People. II: 1899—1910. Лондон, 1913, с. 25.
- <sup>22\*</sup> В. Л. Лангер. The Diplomacy of Imperialism, 1890—1902. Нью-Йорк, изд. 1968 г., с. 387 и 448. Более подробно: Х. Голлвитцер. Die gelbe Gefahr: Geschichte eines Schlagworts: Studien zum imperialistischen Denken. Геттинген, 1962.
- <sup>23\*</sup> Редьярд Киплинг. «Recessional» в: R. Kipling's Verse, Inclusive Edition 1885—1918. Лондон, нов. издание, с. 377.
- <sup>24\*</sup> Хобсон, см. выше, изд. 1938 г., с. 314.
- <sup>25\*</sup> См.: Г. Дж. Уэллс. The Time Machine. Лондон, 1895.
- <sup>26\*</sup> Х. Г. фон Шульце-Гэвернитц. Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Лейпциг, 1906.

## Глава 4: Политика демократии

- <sup>1\*</sup> Газзано Моска. Elementi di scienza politica. 1895, в переводе под названием The Ruling Class. Нью-Йорк, 1939, с. 333—334.
- <sup>2\*</sup> Роберт Скидельски. John Maynard Keynes. I, Лондон, 1983, с. 156.
- <sup>3\*</sup> Эдвард А. Росс. «Social Control vii: Assemblage». American Journal of Sociology. II, 1896—7, с. 830.
- <sup>4\*</sup> Среди более поздних трудов: Газзано Моска (1858—1941) Elementi di scienza

- politica; М. Острогорски (1854—1919) *Democracy and the Organization of Political Parties* (1902); Роберт Михельс (1876—1936) *Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie* (Political Parties) (1911); Джордж Сорель (1847—1922) *Reflexions on Violence* (1908).
- <sup>5\*</sup> Хилэри Беллок. *Sonnets and Verse*. Лондон, 1954, с. 151: «On a General Election», эпиграмма хх.
- <sup>6\*</sup> Дэвид Фицпатрик. «The Geography of Irish Nationalism», *Past & Present*. 78, февраль, 1978, с. 127—129.
- <sup>7\*</sup> Х.-Й. Пуле. *Politische Agrarbewegungen in kapitalistischen Industriegesellschaften*. Геттинген, 1975, с. 64.
- <sup>8\*</sup> Г. Хохорст, И. Кока и Г. А. Риттер. *Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870—1914*. Мюнхен, 1975, с. 177.
- <sup>9\*</sup> Михельс, см. выше. Штутгарт, изд. 1970 г., часть vi, гл. 2.
- <sup>10\*</sup> Р. Ф. Фостер. *Lord Randolph Churchill, a Political Life*. Оксфорд, 1981, с. 395.
- <sup>11\*</sup> Ш. Бенуа. *L'Organisation du suffrage universel: La crise de l'état moderne*. Париж, 1897.
- <sup>12\*</sup> К. Хедлэм (ред.). *The Milner Papers*. Лондон, 1931—1933, 11, с. 291.
- <sup>13\*</sup> Т. Х. С. Эскотт. *Social Transformations of the Victorian Age*. Лондон, 1897, с. 166.
- <sup>14\*</sup> Флора, см. выше, гл. 5.
- <sup>15\*</sup> Расчеты произведены по Хохорсту, Кока и Риттеру, см. выше, с. 179.
- <sup>16\*</sup> Гэри Б. Коэн. *The Politics of Ethnic Survival: Germans in Prague 1861—1914*. Принстон, 1981, с. 92—93.
- <sup>17\*</sup> Грэхем Уоллас. *Human Nature in Politics*. Лондон, 1908, с. 21.
- <sup>18\*</sup> Дэвид Кеннедайн. «The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchy and the «Invention of Tradition» 1820—1977» в: Э. Дж. Хобсбаум и Т. Рэйнджер (ред.). *The Invention of Tradition*. Кэмбридж, 1983, с. 101—164.
- <sup>19\*</sup> Различие происходит из работы Уолтера Багехота «The English Constitution», впервые опубликованной в *Fortnightly Review* (1865—1867) как часть спора по поводу Второго Били о Реформах, т. е. предоставлять ли рабочим право голоса.
- <sup>20\*</sup> Розмонд Сансон. *Les 14 Juillet: fete et conscience nationale, 1789—1975*. Париж, 1976, с. 42, о мотивах властей Парижа по объединению народных развлечений и общественных церемоний.
- <sup>21\*</sup> Ханс-Георг Йон. *Politik und Turnen: die deutschen Turnerschaft als nationale Bewegung im deutschen Kaiserreich von 1870—1914*. Аренсберг под Гамбургом, 1976, с. 36—39.
- <sup>22\*</sup> «Я верю, будет абсолютно необходимым то, что вам следует убеждать наших мастеров будущего изучать их письма» (Дебаты по Третьему Чтению Били о Реформах, *Parliamentary Debates*, 15 июля 1867 года, с. 549, сб. 1). Это оригинальная версия фразы, которая вскоре стала крылатой.
- <sup>23\*</sup> Кеннедайн, см. выше, с. 130.

- 24\* Уоллас Эван Дэйвис. *Patriotism on Parade*. Кэмбридж, Массачусетс, 1955, с. 218—222.
- 25\* Морис Домманже. *Eugene Pottier, member de la Commune et chantre de l'Internationale*. Париж, 1971, с. 138.
- 26\* В. И. Ленин. *Государство и Революция*. Часть 1, раздел 3.

## Глава 5: Трудящиеся мира

- 1\* Рабочий Франц Ребайн, вспоминающий в 1911 году. Из: Пауль Гере (ред.). *Das Leben eines Landarbeiters*. Мюнхен, 1911, цитируется в: В. Эммерих (ред.). *Proletarische Lebenslaufe*. I, Райнбек, 1974, с. 280.
- 2\* Сэмюэль Гомперс. *Labor in Europe and America*. Нью-Йорк и Лондон, 1910, с. 238—239.
- 3\* *Mit uns zieht die neue Zeit: Arbeiterkultur in Osterreich 1918—1934*. Вена, 1981.
- 4\* Зарториус фон Вальтерсхаузен. *Die italienischen Wanderarbeiter*. Лейпциг, 1903, с. 13, 20, 22 и 27. Этой справкой я обязан Дирку Хердеру.
- 5\* Байроч. *De Jericho a Mexico*. с. 385—386.
- 6\* В. Х. Шредер. *Arbeitergeschichte und Arbeiterbewegung: Industriearbeit und Organisationsverhalten im 19. und fruhen 20. Jahrhundert*. Франкфурт и Нью-Йорк, 1978, с. 166—167 и 304.
- 7\* Джонатан Хьюгс. *The Vital Few: American Economic Progress and its Protagonists*. Лондон, Оксфорд и Нью-Йорк, 1973, с. 329.
- 8\* Байроч, «Читта/Кампанья», с. 91.
- 9\* В. Войтински. *Die Welt in Zahlen. II: Die Arbeit*. Берлин, 1926, с. 17.
- 10\* *Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus?* Тюбинген, 1906.
- 11\* Жан Тушар. *La Gauche en France depuis 1900*. Париж, 1977, с. 62; Луиджи Кортези. *Il Socialismo Italiano tra riforme e rivoluzione: Dibatti congressuali del Psi 1892—1921*. Бари, 1969, с. 549.
- 12\* Максим Лерой. *La Coutume ouvriere*. Париж, 1913, I, с. 387.
- 13\* Д. Кру. *Bochum: Sozialgeschichte einer Industriestadt*. Берлин и Вена, 1980, с. 200.
- 14\* Ги Шоме. *Histoire des cheminots et de leurs syndicats*. Париж, 1948, с. 79, № 22.
- 15\* Кру, см. выше, с. 19, 70 и 25.
- 16\* Ив Лекен. *Les Ouvriers de la region lyonnaise. I: La Formation de la classe ouvriere regionale*. Лион, 1977, с. 202.
- 17\* Первое зарегистрированное использование термина «большой бизнес» появилось в США в 1912 году; «Grossindustrie» (большая индустрия) появился раньше, но, как кажется, стал общеупотребительным во время Великой депрессии.
- 18\* Упомянутая заметка цитируется в: Х. Пеллинг. *Popular Politics and Society in Late Victorian Britain*. Лондон, 1968, с. 147.

- <sup>19\*</sup> Морис Домманже. *Histoire du Premier Mai*. Париж, 1953, с. 252.
- <sup>20\*</sup> В. Л. Гаттсман. *The German Social-Democratic Party 1875—1933*. Лондон, 1981, с. 96.
- <sup>21\*</sup> Там же, с. 160.
- <sup>22\*</sup> *Mit uns zieht die neue Zeit: Arbeiterkultur in Österreich 1918—1934: Eine Ausstellung der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik und des Meidlinger Kulturkreises*. 23 января—30 августа 1981. Вена, с. 240.
- <sup>23\*</sup> Конституция Британской лейбористской партии.
- <sup>24\*</sup> Роберт Хантер. *Socialist at Work*. Нью-Йорк, 1908, с. 2.
- <sup>25\*</sup> Георг Хаунт. *Programm und Wirklichkeit: Die internationale Sozialdemokratie vor 1914*. Нойвид, 1970, с. 14.
- <sup>26\*</sup> И, возможно, даже более популярное антиклерикальное издание Корвина «Пфаффеншпигель» (Х.-Й. Штайнберг. *Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie: Zur Ideologie der Partei vor dem ersten Weltkrieg*. [Ганновер, 1967], с. 139). Съезд СПГ 1902 года отмечал, что реально продается только антиклерикальная партийная литература. Так, в 1898 «Манифест» был издан тиражом в 3 000 экземпляров, работа Бебеля «*Christentums und Sozialismus*» тиражом в 10 000 экземпляров; в 1901—1904 годах «Манифест» был издан тиражом в 7 000 экземпляров, работа Бебеля «*Christentums und Sozialismus*» тиражом в 57 000 экземпляров.
- <sup>27\*</sup> К. Каутский. *La Question Agraria*. Милан, изд. 1957 г., с. 358. Цитата находится в начале Части II, I кол.

## Глава 6: Развевающиеся флаги: нации и национализм

- <sup>1\*</sup> Я обязан этой цитатой из итальянского писателя Ф. Йовине (1904—1950) Марте Петрусевич из Принстонского университета.
- <sup>2\*</sup> Г. Дж. Уэллс. *Anticipations*. Лондон, 5-е издание 1902 года, с. 225—226.
- <sup>3\*</sup> Альфредо Рокко. *What Is Nationalism and What Do the Nationalists Want?* Рим, 1914.
- <sup>4\*</sup> См.: Георг Хаупт, Майкл Лоуи и Клоди Вейлл. *Les Marxistes et la question nationale 1848—1914: études et textes*. Париж, 1974.
- <sup>5\*</sup> Э. Брикс. *Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation: Die Sprachenstatistik in den zislethyanischen Volkszählungen 1880—1910*. Вена, Кельн и Грац, 1982, с. 97.
- <sup>6\*</sup> Х. Рус. *A History of Modern Poland*. Лондон, 1966, с. 48.
- <sup>7\*</sup> Луис Гарсия и Севилла. «*Llengua, nació i estat al diccionari de la reial academia espanyola*», *L'Avenc*. Барселона, 16 мая 1979, с. 50—55.
- <sup>8\*</sup> Хью Сетон-Уотсон. *Nations and States*. Лондон, 1977, с. 85.
- <sup>9\*</sup> Я обязан этой информацией Дирку Хердеру.
- <sup>10\*</sup> *Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups*. «Натурализация и Гражданство», с. 747.



- <sup>11\*</sup> Бенедикт Андерсон. *Imagined Communities: Reflection on the Origins and Spread of Nationalism*. Лондон, 1983, с. 107—108.
- <sup>12\*</sup> К. Бобинска и Анджей Пильх (ред.). *Employment-seeking Emigrations of the Poles World-Wide XIX and XX C.* Краков, 1975, с. 124—126.
- <sup>13\*</sup> Вольфганг Й. Моммзен. *Max Weber and German Politics 1890—1920*. Чикаго, 1984, с. 54.
- <sup>14\*</sup> Лонн Тейлор и Ингрид Маар. *The American Cowboy*. Вашингтон, округ Колумбия, 1983, с. 96—98.
- <sup>15\*</sup> Ханс Моммзен. *Nationalitätenfrage und Arbeiterbewegung*. Труды из Дома Карла Маркса, Трир, 1971, с. 18—19.
- <sup>16\*</sup> *History of the Hungarian Labour Movement. Guide to the Permanent Exhibition of the Hungarian Labour Movement*. Будапешт, 1983, с. 31.
- <sup>17\*</sup> Марианне Хайберг. «Insiders/Outsiders; Basque Nationalism». *Archives Europeennes de Sociologie*. XVI, 1975, с. 169—193.
- <sup>18\*</sup> А. Цольберг. «The Making of Flemings and Waloons: Belgium 1830—1914». *Journal of Interdisciplinary History*. V, 1974, с. 179—235; Х.-Й. Пуле. «Baskischer Nationalismus im spanischen Kontext» в: Х. А. Винклер (ред.). *Nationalismus in der Welt von Heute*. Геттинген, 1982, особенно с. 60—65.
- <sup>19\*</sup> *Enciclopedia Italiana*, «Nazionalismo».
- <sup>20\*</sup> Петер Ханак. «Die Volksmeinung während den letzten Kriegsjahren in Österreich-Ungarn» в: Р. Г. Плашка и К. Х. Мак (ред.). *Die Auflösung des Habsburgerreiches: Zusammenbruch und Neuorientierung in Donauraum*. Вена, 1970, с. 58—67.

## Глава 7: Кто есть кто, или убеждения буржуазии

- <sup>1\*</sup> Уильям Джеймс. *The Principles of Psychology*. Нью-Йорк, 1950, с. 291. Я обязан этой заметкой Сенфорду Элвигу.
- <sup>2\*</sup> Г. Дж. Уэллс. *Topo-Bungay*. 1909; издание «Современная библиотека», с. 249.
- <sup>3\*</sup> Льюис Мамфорд. *The City in History*. Нью-Йорк, 1961, с. 495.
- <sup>4\*</sup> Марк Жиро. *The Victorian Country House*. Нью-Хейвен и Лондон, 1979, с. 208—212.
- <sup>5\*</sup> В. С. Адамс. *Edwardian Portraits*. Лондон, 1957, с. 3—4.
- <sup>6\*</sup> Это является основной темой Карла Е. Шорске, *Fin-de-Siecle Vienna*. Лондон, 1980.
- <sup>7\*</sup> Торстейн Веблен. *The Theory of Leisure Class: An Economic Study of Institutions* (1899). Пересмотренное издание. Нью-Йорк, 1959.
- <sup>8\*</sup> В. Д. Рубинштейн. «Wealth, Elites and the Class Structure of Modern Britain», *Past & Present*. 76 (август 1977), с. 102.
- <sup>9\*</sup> Адольф фон Вильке. *Alt-Berliner Erinnerungen*. Берлин, 1930, с. 232.
- <sup>10\*</sup> В. Л. Гаттсмэн. *The British Political Elite*. Лондон, 1963, с. 122—127.
- <sup>11\*</sup> Тушар, см. выше, с. 128.

- 12\* Теодор Зельдин. France, 1848—1945. Оксфорд, 1973, 1, с. 37; Д. К. Марш. The Changing Social Structure of England and Wales 1871—1961. Лондон, 1958, с. 122.
- 13\* Г. А. Риттер и Й. Кока. Deutsche Sozialgeschichte. Dokumente und Skizzen. Band II 1870—1914. Мюнхен, 1977, с. 169—170.
- 14\* Поль Декамп. L'Education dans les ecoles Anglaises. Париж, 1911, с. 67.
- 15\* Зельдин, см. выше, I, с. 612—613.
- 16\* Там же, II, с. 250; Х.-У Велер. Das deutsche Kaiserreich 1871—1918. Геттинген, 1973, с. 126; Риттер и Кока, см. выше, с. 341—343.
- 17\* Риттер и Кока, см. выше, с. 327—328 и 352; Арно Майер. The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War. Нью-Йорк, 1981, с. 264.
- 18\* Хохорст, Кока и Риттер, см. выше, с. 161; Ж. Ж. Мейер. Les Debuts de la IIIe Republique 1871—1898. Париж, 1973, с. 150; Зельдин, см. выше, II, с. 330. Майер, см. выше, с. 262.
- 19\* Риттер и Кока, см. выше, с. 224.
- 20\* И. Касси. Les Banquiers de la City a l'epoque Edouardienne 1890—1914. Женева, 1984.
- 21\* Скидельски, см. выше, I, с. 84.
- 22\* Кру, см. выше, с. 26.
- 23\* Г. фон Шмоллер. Was verstehen wir unter dem Mittelstande? Hat er im 19. Jahrhundert zu- oder abgenommen? Геттинген, 1907.
- 24\* В. Зомбарт. Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert und im Anfang des 20. Jahrhunderts. Берлин, 1903, с. 534 и 531.
- 25\* Поллард. «Capital Exports 1870—1914», с. 498—499.
- 26\* В. Р. Лоусон. John Bull and His Schools: A Book for Parents, Ratepayers and Men of Business. Эдинбург и Лондон, 1908, с. 39. Он оценивал «по-настоящему средний класс» приблизительно в полмиллиона человек.
- 27\* Джон Р. де С. Хони. Tom Brown's Universe: The Development of the Victorian Public School. Лондон, 1977.
- 28\* В. Рэймонд Бейрд. American College Fraternities: a descriptive analysis of the Society System of the Colleges of the United States with a detailed account of each fraternity. Нью-Йорк, 1890, с. 20.
- 29\* Мейер, см. выше, с. 81.
- 30\* Эскотт, см. выше, с. 202—203.
- 31\* The Englishwoman's Yearbook. 1905, с. 171.
- 32\* Эскотт, см. выше, с. 196.
- 33\* Как может быть подтверждено из Истории графства (округа) Виктории для этого графства (округа).
- 34\* Principles of Economics. Лондон, 8-е издание, 1920, с. 59.
- 35\* Скидельски, см. выше, с. 55—56.

- <sup>36\*</sup> П. Вильшер. *The Pound in Your Pocket 1870—1970*. Лондон, 1970, с. 81, 96 и 98.
- <sup>37\*</sup> Хьюгс, см. выше, с. 252.
- <sup>38\*</sup> Цит. в: В. Розенберг. *Liberals in the Russian Revolution*. Принстон, 1974, с. 205—212.
- <sup>39\*</sup> А. Сарториус фон Вальтерсхаузен. *Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815—1914*. 2-е изд., Йена, 1923, с. 521.
- <sup>40\*</sup> Например, в: *Man and Superman, Misalliance*.
- <sup>41\*</sup> Роберт Воль. *The Generation of 1914*. Лондон, 1980, с. 89, 169 и 16.

## Глава 8: Новая женщина

- <sup>1\*</sup> Х. Нунберг и Э. Федерн (ред.). *Minutes of the Vienna Psychoanalytical Society*. I: 1906—1908, Нью-Йорк, 1962, с. 199—200.
- <sup>2\*</sup> Цит. в: В. Рупперт (ред.). *Die Arbeiter: Lebensformen, Alltag und Kultur*. Мюнхен, 1986, с. 69.
- <sup>3\*</sup> К. Энтони. *Feminism in Germany and Scandinavia*. Нью-Йорк, 1915, с. 231.
- <sup>4\*</sup> *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*. Йена, издание 1902 г., «Профессия», с. 626, и «Труд женщин», с. 1202.
- <sup>5\*</sup> Там же, «Домашняя индустрия», с. 1148 и 1150.
- <sup>6\*</sup> Луизе Тилле и Джоан В. Скотт. *Woman, Work and Family*. Нью-Йорк, 1978, с. 124.
- <sup>7\*</sup> *Handwörterbuch*, «Труд женщин», с. 1205—1206.
- <sup>8\*</sup> В отношении Германии: Хохорст, Кока и Риттер, см. выше, с. 68, № 8; что касается Британии: Марк Абрамс. *The Condition of the British People 1911—1945*. Лондон, 1946, с. 60—61; Марш, см. выше, с. 127.
- <sup>9\*</sup> Зельдин, см. выше, II, с. 169.
- <sup>10\*</sup> Э. Кэдбери, М. К. Мэтсон и Дж. Шенн. *Women's Work and Wages*. Лондон, 1906, с. 49 и 129. Книга описывает условия в Бирмингеме.
- <sup>11\*</sup> Маргарет Брайэнт. *The Unexpected Revolution*. Лондон, 1979, с. 108.
- <sup>12\*</sup> Эдме Шарнье. *L'Evolution intellectuelle feminine*. Париж, 1937, с. 140 и 189. См. также: Х.-Й. Пуле. «Warum gibt es so wenige Historikerinnen?» *Geschichte und Gesellschaft*. № 7, 1981, особенно с. 373.
- <sup>13\*</sup> Роза Левине-Мейер. *Levine*. Лондон, 1973, с. 2.
- <sup>14\*</sup> Впервые переведено на английский язык в 1891 году.
- <sup>15\*</sup> Каролине Кон. *Karl Kraus*. Штутгарт, 1966, с. 259, № 40; Ж. Ромейн. *The Watershed of Two Eras*, с. 604.
- <sup>16\*</sup> Дональд Р. Найт. *Great White City, Shepherd's Bush, London: 70th Anniversary, 1908—1978*. Нью-Барнет, 1978, с. 26.
- <sup>17\*</sup> Этим пунктом я обязан одному из студентов доктора С. Н. Мукхерджи из Сиднейского университета.
- <sup>18\*</sup> Клод Вийяр. *Les Guesdistes*. Париж, 1965, с. 362.

- <sup>19\*</sup> Дж. Д. Х. Коул. A History of the Labour Party from 1914. Лондон, 1948, с. 480; Ричард Дж. Эванс. The Feminists. Лондон, 1977, с. 162.
- <sup>20\*</sup> Войтински, см. выше, II, предоставляет основу для этих фактов.
- <sup>21\*</sup> Расчеты сделаны из: Man and Women of the Time. (1895).
- <sup>22\*</sup> Что касается консервативного феминизма, см. также: Э. Галеви. A History of the English People in the Nineteenth Century. Изд. 1961 г., VI, с. 509.
- <sup>23\*</sup> По поводу этих достижений см.: С. Гидион. Mechanisation Takes Command. Нью-Йорк, 1948, выдержки; что касается цитаты, с. 520—521.
- <sup>24\*</sup> Родель Вейнтрауб (ред.). Bernard Shaw and Women. Университет штата Пенсильвания, 1977, с. 3—4.
- <sup>25\*</sup> Жан Мэтрон и Жорж Оп (редакторы). Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international: L'Autriche. Париж, 1971, с. 285.
- <sup>26\*</sup> Т. Э. Б. Ховарт. Cambridge Between Two Wars. Лондон, 1978, с. 45.
- <sup>27\*</sup> Ж. П. Неттль. Rosa Luxemburg. Лондон, 1966, 1, с. 144.

## Глава 9: Преобразованное искусство

- <sup>1\*</sup> Ромэн Роллан. Jean Christophe in Paris. Перев., Нью-Йорк, 1915, с. 120—121.
- <sup>2\*</sup> С. Лэнг. Modern Science and Modern Thought. Лондон, 1896, с. 230—231, впервые опубликована в 1885 г.
- <sup>3\*</sup> Ф. Т. Маринетти. Selected Writings. Ред. Р. В. Флинт, Нью-Йорк, 1971, с. 67.
- <sup>4\*</sup> Питер Джелавич. Munich and Theatrical Modernism: Politics, Playwriting and Performance 1890—1914. Кэмбридж, Массачусетс, 1985, с. 102.
- <sup>5\*</sup> Слово было создано М. Агулхоном, «La Statuemanie et l'histoire», *Ethnologie Francaise* 3—4, 1978.
- <sup>6\*</sup> Джон Виллетт. «Breaking Away». *New York Review of Books*, 28 мая 1981 года, с. 47—49.
- <sup>7\*</sup> *The Englishwoman's Year-Book* (1905), «Colonial journalism for women», с. 138.
- <sup>8\*</sup> Среди других серий, утолявших жажду к самообразованию и культуре в Британии, мы можем упомянуть такие, как «Камелот Классикс» (1886—1891), 300 с лишним томов в Национальной Библиотеке Касселя (1886—1890 и 1903—1907), Красную Библиотеку Касселя (1884—1890), «Сто книг» сэра Джона Лаббока, издаваемую с 1891 года Рутледжем (также являвшегося издателем «Современной Классики» с 1897 года), «Классика Нельсона» (1907) — только одна «Шестипенсовая Классика» печаталась в течение 1905—1907 гг. — и Оксфордскую Мировую Классику. «Библиотека для каждого» (1906) заслужила доверие публиковать главного современного классика, серию «Nostromo» Джозефа Конрада, в ее первых пятидесяти книгах, наряду с «History of England» Маколи и «Life of Sir Walter Scott» Локарта.
- <sup>9\*</sup> Георг Готтфрид Гервинус. Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen. 5 томов, 1836—1842.
- <sup>10\*</sup> Ф. Ницше. Der Wille zur Macht. В: Samtliche Werke. Штутгарт, 1965, ix, с. 65 и 587.

- <sup>11\*</sup> Р. Хинтон Томас в работе «Nietzsche in German Politics and Society 1890—1918» (Манчестер, 1984) подчеркивает — кто-то может заметить, что даже слишком — свою симпатию к освободителям. Тем не менее, и несмотря на нелюбовь Ницше к анархистам (см. «Jenseits von Gut und Bose» в *Samtliche Werke*, VII, с. 114, 125), в кругах французских анархистов 1900-х годов «on discute avec fougue Stirner, Nietzsche et surtout Le Dantec» (Жан Мэтрон. *Le Mouvement anarchiste en France*. [Париж, 1975] 1, с. 421).
- <sup>12\*</sup> Юджиния В. Херберт. *Artists and Social Reform: France and Belgium 1885—1898*. Нью Хэйвен, 1961, с. 21.
- <sup>13\*</sup> Патриция Доглиани. La «Scuola delle Reclute»: L'Internazionale Giovanile Socialista dalla fine dell'ottocento, alla prima guerra mondiale. Турин, 1983, с. 147.
- <sup>14\*</sup> Г. В. Плеханов. *Искусство и Литература*. Восточный Берлин, 1955, с. 295.
- <sup>15\*</sup> Ж. К. Ол. *La Jeune Peinture contemporaine*. Париж, 1912, с. 14—15.
- <sup>16\*</sup> «О духовном в искусстве», цит. в: *New York Review of Books*. 16 февр., 1984, с. 28.
- <sup>17\*</sup> Цит. в: Ромейн. *Watershed of Two Eras*, с. 572.
- <sup>18\*</sup> Карл Маркс. *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*.
- <sup>19\*</sup> Макс Рафаэль. *Von Monet zu Picasso. Grundzuge einer Aesthetik und Entwicklung der modernen Malerei*. Мюнхен, 1913.
- <sup>20\*</sup> Следует отметить роль стран с сильной демократической и популистской прессой и с нехваткой необходимой публики из среднего класса в развитии современной политической карикатуры. Что касается важности Австралии периода до 1914 года в этой связи, см.: Э. Дж. Хобсбаум. Введение к «Communist Cartoons» «Эспуар» и другие. Лондон, 1982, с. 3.
- <sup>21\*</sup> Петер Бэхлин. *Der Film als Ware*. Базель, 1945, с. 214, № 14.
- <sup>22\*</sup> Т. Балио (ред.). *The American Film Industry*. Мэдисон, Висконсин, 1985, с. 86.
- <sup>23\*</sup> Дж. П. Брунетта. *Storia del cinema italiano 1895—1945*. Рим, 1979, с. 44.
- <sup>24\*</sup> Балио, см. выше, с. 98.
- <sup>25\*</sup> Там же, с. 87; *Mit uns zieht die Neue Zeit*, с. 185.
- <sup>26\*</sup> Брунетта, см. выше, с. 56.
- <sup>27\*</sup> Луиджи Кьярини. «Кинематография» в *Encyclopedia of World Art*. Нью-Йорк, Лондон и Торонто, 1960, III, с. 626.

## Глава 10: Науки: подорванные убеждения

- <sup>1\*</sup> Лэнг, см. выше, с. 51.
- <sup>2\*</sup> Рэймонд Перл. *Modes in Research in Genetics*. Нью-Йорк, 1915, с. 159. Отрывок перепечатан из лекции 1913 года.
- <sup>3\*</sup> Бертран Расселл. *Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy*. Лондон, издание 1952 г., с. 109.

- <sup>4\*</sup> Карл Бойер. *A History of Mathematics*. Нью-Йорк, 1968, с. 82.
- <sup>5\*</sup> Бурбаки. *Elements d'histoire des mathematiques*. Париж, 1960, с. 27. Группа математиков, публиковавшаяся под этим именем, интересовалась историей своего предмета, в первую очередь в отношении к их собственной работе.
- <sup>6\*</sup> Бойер, см. выше, с. 649.
- <sup>7\*</sup> Бурбаки, с. 43.
- <sup>8\*</sup> Ф. Даннеманн. *Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und ihrem Zusammenhange*. Лейпциг и Берлин, 1913, IV, с. 433.
- <sup>9\*</sup> Генри Смит Вильямс. *The Story of Nineteenth-Century Science*. Лондон и Нью-Йорк, 1900, с. 231.
- <sup>10\*</sup> Там же, с. 230—1.
- <sup>11\*</sup> Там же, с. 236.
- <sup>12\*</sup> К. к. Джиллиспай. *The Edge of Objectivity*. Принстон, 1960, с. 507.
- <sup>13\*</sup> Цит. по: Макс Планк. *Scientific Autobiography and Other Papers*. Нью-Йорк, 1949.
- <sup>14\*</sup> Дж. Д. Бернал. *Science in History*. Лондон, 1965, с. 630.
- <sup>15\*</sup> Людвиг Флек. *Genesis and Development of a Scientific Fact*. Чикаго, 1979; впервые напечатано в Базеле, 1935, с. 68—69.
- <sup>16\*</sup> В. Тройе и К. Мауель (редакторы). *Naturwissenschaft, Technik und Wirtschaft im 19. Jahrhundert*. 2 тома. Геттинген, 1976, I, с. 271—274 и 348—356.
- <sup>17\*</sup> Ницше. Воля к Силе, книга IV, например, с. 607—609.
- <sup>18\*</sup> К. Вебстер (ред.). *Biology, Medicine and Society 1840—1940*. Кэмбридж, 1981, с. 225.
- <sup>19\*</sup> Там же, с. 221.
- <sup>20\*</sup> Как на это намекают названия работ А. Плетца и Ф. Лентца: «*Deutsche Gesellschaft fur Rassenhygiene*» (1905: «Немецкое общество за расовую чистоту»), и журнал Общества «*Archiv fur Rassen- und Gesellschaftsbiologie*» («Архив расовой и социальной биологии»); или Г. Ф. Швалбе: «*Zeitschrift fur Morphologie und Anthropologie, Erb- und Rassenbiologie*» (1899: «Журнал по морфологии, антропологии, генетической и расовой биологии»). Цит. по: Ж. Сютте. *L'Eugenique: Problemes-Methodes-Resultats*. Париж, 1950, с. 24—25).
- <sup>21\*</sup> Кеннет М. Лудмерер. *Genetics and American Society: A Historical Appraisal*. Балтимор, 1972, с. 37.
- <sup>22\*</sup> Цит. в: Ромейн, см. выше, с. 343.
- <sup>23\*</sup> Вебстер, см. выше, с. 266.
- <sup>24\*</sup> Эрнст Мах в *Neue Osterreichische Biographie*, I. Вена, 1923.
- <sup>25\*</sup> Дж. Дж. Саломон. *Science and Politics*. Лондон, 1973, с. xiv.
- <sup>26\*</sup> Гиллиспай, см. выше, с. 499.
- <sup>27\*</sup> Ницше. Воля к силе. Предисловие, с. 4.

- 28\* Там же, афоризмы, с. 8.
- 29\* Бернал (см. выше, с. 503) подсчитывает, что в 1896 году в мире насчитывалось, возможно, 50 000 человек, поддерживающих «полную традицию науки», 15 000 из которых вели научные исследования. Количество росло: с 1901 по 1915 год только в США было около 74 000 человек с первой ученой степенью или бакалавров в естественных науках и 2 577 со степенью доктора в естественных и инженерных науках (Д. М. Бланк и Джордж Дж. Стиглер. *The Demand and Supply of Scientific Personnel*. [Нью-Йорк, 1957], с. 5—6).
- 30\* Дж. В. Родерик. *The Emergence of a Scientific Society*. Лондон и Нью-Йорк, 1967, с. 48.
- 31\* Франк Р. Пфеч. *Zur Entwicklung der Wissenschaftspolitik in Deutschland 1750—1914*. Берлин, 1974, с. 340.
- 32\* Похвалы отнесены к 1925 году, так чтобы позволить некоторое запоздание в признании достижений блестящей молодежи в последние годы перед 1914 годом.
- 33\* Джозеф Бен-Дэвид. «Professions in the Class Systems of Present-Day Societies», *Current Sociology*, 12, 1963—1964, с. 262—269.
- 34\* Пол Леви. Moore: G. E. Moore and the Cambridge Apostles. Оксфорд, 1981, с. 309—311.

## Глава 11: Причина и общество

- 1\* Роллан, см. выше, с. 222.
- 2\* Нунберг и Федерн, см. выше, 11, с. 178.
- 3\* Макс Вебер. *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Тюбинген, 1968, с. 166.
- 4\* Ги Винсент. *L'Ecole primaire française: Etude sociologique*. Лион, 1980, с. 332, № 779.
- 5\* Вивекананда. *Works*. Часть IV, цит. по: *Sedition Committee 1918: Report*. Калькутта, 1918, с. 17.
- 6\* Анил Сил. *The Emergence of Indian Nationalism*. Кэмбридж, 1971, с. 249.
- 7\* Р. М. Гудридж. «Nineteenth Century Urbanisation and Religion: Bristol and Marseille, 1830—1880», *Sociological Yearbook of Religion in Britain*, 1, Лондон, 1969, с. 131.
- 8\* «La bourgeoisie adhère au rationalisme, l'instituteur au socialisme» — Габриэль Ле Бра, *Etudes de sociologie religieuse*, в 2 томах. Париж, 1955—1956, 1, с. 151.
- 9\* А. Флиш и В. Мартен. *Histoire de l'Eglise. Le pontifical de Pie IX*. 2-е издание, Париж, 1964, с. 130.
- 10\* С. Бонне, К. Сантини и Х. Бартелеми. «Appartenance politique et attitude religieuse dans l'immigration italienne en Lorraine siderurgique», *Archives de Sociologie des Religions*. 13, 1962, с. 63—66.
- 11\* Р. Дуокастелла. «Geographie de la pratique religieuse en Espagne», *Social*

*Compass*, XII, с. 256; А. Леони. *Sociologia e geografia religiosa di una Diocesi: saggio sulla pratica religiosa nella Diocesi di Mantova*. Рим, 1952, с. 117.

<sup>12\*</sup> Галеви, см. выше, v, с. 171.

<sup>13\*</sup> Массимо Сальвадори. *Karl Kautsky and the Socialist Revolution*. Лондон, 1979, с. 23—24.

<sup>14\*</sup> Не упоминая уже о сестре лидера социалистов Отто Бауэр, которая, под другим именем, часто фигурирует в истории болезни Фрейда. См.: Эрнст Глазер. *Im Umfeld des Austromarxismus*. Вена, 1981, выдержки.

<sup>15\*</sup> Что касается этого эпизода, см.: *Marx-Engels Archiv*. Под ред. Д. Рязанова (переиздано в Эрлангене, 1971), 11, с. 140.

<sup>16\*</sup> Полные, содержательнейшие споры об экспансии марксизма не возможны на английском языке; цит. по: Э. Дж. Хобсбаум. «La diffusione del Marxismo, 1890—1905», *Studi Storica*, xv (1974), с. 241—269; *Storia del Marxismo*, 11: *Il marxismo nell'eta della seconda Internazionale*. Турин, 1979, с. 6—110, статьи Ф. Андреуччи и Э. Дж. Хобсбаума.

<sup>17\*</sup> Э. фон Бем-Баверк. *Zum Abschluss des Marxschen Systems*. Берлин, 1896, долго оставался наиболее сильным ортодоксальным критиком Маркса. Бем-Баверк в этот период трижды возглавлял кабинет министров в Австрии.

<sup>18\*</sup> Уолтер Багехот. *Physics and Politics*. Впервые опубликована в 1872 году. Серия 1887 года редактировалась Кеганом Паулем.

<sup>19\*</sup> Отто Хинтце. «*Über individualistische und kollektivistische Geschichts auffassung*», *Historische Zeitschrift*, 78, 1897, с. 62.

<sup>20\*</sup> См. в подробностях долгую полемику Г. фон Белова, «*Die neue historische Methode*», *Historische Zeitschrift*, 81, 1898, с. 193—273.

<sup>21\*</sup> Шорске, см. выше, с. 203.

<sup>22\*</sup> Уильям Макдугалл (1871—1938). *An Introduction to Social Psychology*. Лондон, 1908.

<sup>23\*</sup> Уильям Джеймс. *Varieties of Religious Belief*. Нью-Йорк, издание 1963 года, с. 388.

<sup>24\*</sup> Э. Готайн. «*Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaft*» в: *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*. Йена, 1900, iv, с. 212.

## Глава 12: В направлении революции

<sup>1\*</sup> Д. Норман (ред.). *Nehru, The First Sixty Years*. I, Нью-Йорк, 1965, с. 12.

<sup>2\*</sup> Мэри Клабаф Райт (ред.). *China in Revolution: The First Phase 1900—1915*. Нью Хэйвен, 1968, с. 118.

<sup>3\*</sup> *Collected Works*, IX, с. 434.

<sup>4\*</sup> *Selected Works*. Лондон, 1936, IV, с. 297—304.

<sup>5\*</sup> Для сравнения двух иранских революций см.: Никки Р. Кедди. «*Iranian Revolutions in Comparative Perspective*», *American Historical Review*, 88 (1983), с. 579—598.



- 6\* Джон Луст. «Les societies secretes, les mouvements populaires et la revolution de 1911» в: Ж. Шесно и др. (ред.). *Mouvements populaires et societies secretes en Chine aux XIXe et XXe siecle*. Париж, 1970, с. 370.
- 7\* Эдвин Левин. *Arms and Politics in Latin America*. Лондон и Нью-Йорк, издание 1961 года, с. 21.
- 8\* По поводу изменения см.: M. N. Roy's Memoirs. Глава 3. Бомбей, Нью-Дели, Калькутта, Мадрас, Лондон и Нью-Йорк, 1964.
- 9\* Фридрих Катц. *The Secret War in Mexico: Europe, The United States and the Mexican Revolution*. Чикаго и Лондон, 1981, с. 22.
- 10\* Хью Сетон-Уотсон. *The Russian Empire 1801—1917*. Оксфорд, 1967, с. 507.
- 11\* П. И. Лященко. *History of the Russian National Economy*. Нью-Йорк, 1949, с. 453, 468 и 520.
- 12\* Там же, с. 528—529.
- 13\* Майкл Футрелл. *Nothern Underground: Episodes of Russian Revolutionary Transport and Communication Through Scandinavia and Finland*. Лондон, 1963, выдержки.
- 14\* М. С. Андерсен. *The Ascendancy of Europe 1815—1914*. Лондон, 1972, с. 266.
- 15\* Т. Шанин. *The Awkward Class*. Оксфорд, 1972, с. 38.
- 16\* Я следую аргументам из статей Л. Хеймсона в «*Slavic Review*», 23 (1964), с. 619—624, и 24 (1965), с. 1—22, «*Problem of Social Stability in Urban Russia 1905—1917*».

### Глава 13: От мира к войне

- 1\* Князь фон Бюлов. *Denkwurdigkeiten*. I, Берлин, 1930, с. 415—416.
- 2\* Бернард Шоу Клементу Скотту, 1902: Дж. Б. Шоу. *Collected Letters*, 1898—1910. Лондон, 1972, с. 260.
- 3\* Маринетти, см. выше, с. 42.
- 4\* *Leviathan*, часть 1, гл. 13.
- 5\* Воля к силе, с. 92.
- 6\* Жорж Оп. *Socialism and the Great War: The Collapse of the Second International*. Оксфорд, 1972, с. 220 и 258.
- 7\* Гастон Бодар. *Losses of Life in Modern Wars*. Вклад Карнеги в международный мир. Оксфорд, 1916, с. 153.
- 8\* Х. Стенли Джевонс. *The British Coal Trade*. Лондон, 1915, с. 367—368 и 374.
- 9\* В. Эшворт. «*Economic Aspects of Late Victorian Naval Administration*». *Economic History Review*, XXII (1969)? с. 491.
- 10\* Энгельс Даниэльсону, 22 сентября 1892 года: Маркс-Энгельс Werke, XXXVIII. Берлин, 1968, с. 467.
- 11\* Клив Требилкок. «*Spin-off*» in British Economic History: Armaments and Industry, 1760—1914», *Economic History Review*, XXII (1969)? с. 480.
- 12\* Ромейн, см. выше, с. 124.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>13\*</sup> Адмирал Редер. *Struggle for the Sea*. Лондон, 1959, с. 135 и 260.
- <sup>14\*</sup> Дэйвид Ландес. *The Unbound Prometheus*. Кэмбридж, 1969, с. 240—241.
- <sup>15\*</sup> Д. К. Уотт. *A History of the World in the Twentieth Century*. Лондон, 1967, 1, с. 220.
- <sup>16\*</sup> Л. А. Дж. Леннокс (ред.). *The Diary of Lord Bertie of Thame 1914—1918*. Лондон, 1924, с. 352 и 355.
- <sup>17\*</sup> Крис Кук и Джон Пэксон. *European Political Facts 1848—1918*. Лондон, 1978, с. 188.
- <sup>18\*</sup> Норман Стоун. *Europe Transformed 1878—1918*. Лондон, 1983, с. 331.
- <sup>19\*</sup> А. Оффнер. «The Working Classes, British Naval Plans and the Coming of the Great War», *Past & Present*, 107 (май 1985), с. 204—226, это обсуждается давно.
- <sup>20\*</sup> Оп, см. выше, с. 175.
- <sup>21\*</sup> Марк Ферро. *La Grande Guerre 1914—1918*. Париж, 1969, с. 23.
- <sup>22\*</sup> В. Эммерих (ред.). *Proletarische Lebenslaufe*. Райнбек, 1975, II, с. 104.
- <sup>23\*</sup> Оп, см. выше, с. 253.
- <sup>24\*</sup> Воля к силе, с. 92.
- <sup>25\*</sup> Руперт Брук. «Peace» в: *Collected Poems of Rupert Brooke*. Лондон, 1915.
- <sup>26\*</sup> Воля к силе, с. 94.

## Эпилог

- <sup>1\*</sup> Бертольт Брехт. «An die Nachgeborenen» в: *Hundert Gedichte 1918—1950*. Восточный Берлин, 1955, с. 314.
- <sup>2\*</sup> Альберт О. Хиршман. *The Political Economy of Latin American Development: Seven Exercises in Retrospection*. Центр изучения отношений США и Мексики, Калифорнийский университет, Сан-Диего, декабрь 1986, с. 4.

---

## ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ

«Даже в жизни последнего бедняка можно найти отражение всех исторических фактов его времени!» — так писал поэт У. Х. Оден, подводя итоги своим размышлениям над историей. Наверно, это так, особенно в наше время, и все же тому, кто пожелает разобраться в главных событиях и героях девятнадцатого века, лучше обратиться, читая эту книгу, к хорошим учебникам, по которым учат историю в средней школе или в колледже, например, к такому: «Gordon Craig, «Europe 1815—1914», 1971»; или воспользоваться справочным изданием: «Neville Williams, «Chronology of the Modern World», 1969», в котором перечислены важнейшие события разных областей жизни, начиная с 1763 г. Рекомендуются также учебники: «James Ioll, «Europe Since 1870», разных лет издания, и «Norman Stone, «Europe Transformed 1878—1918», 1983». По истории международных отношений рекомендуем книгу: «D. C. Watt, «History of the World in the Twentieth Century», vol. 1: 1890—1918, 1967». Не плохо почитать и книги автора данного труда: «The Age of Revolution 1789—1848» и «The Age of Capital 1848—1875», поскольку в них описаны события предшествующих периодов XIX века.

Описания Европы и мира конца девятнадцатого века можно найти во многих трудах; пожалуй, наиболее распространенным является: «Barbara Tuchman, «The Proud Tower», 1966»; менее известен труд: «E. R. Tannenbaum, «1900, The Generation Before the Great War», 1976»; но лучше всего почитать: «J. Romein, «The Watershed of Two Eras: Europe in 1900», 1976», поскольку автора этой книги отличает энциклопедическая эрудиция, а его понимание истории и метод изложения близки автору данного труда.

Существует ряд энциклопедических трудов, написанных коллективами авторов, а также справочных изданий, которые освещают данный исторический период наряду с другими и содержат ценные сведения, например: «Cambridge Economic History of Europe, vol. VI, VII». Книга «The Cambridge History of the British Empire» включает в себе хорошие очерки по истории Африки, Китая и, особенно, Латинской Америки, написанные с позиций конца XX века.

Рекомендуются следующие исторические атласы: «Times Atlas of World History», 1978, составленный под редакцией G. Barraclough, и «Atlas of Modern History», издательства «Penguin».

Справочник «Chambers Biographical Dictionary» содержит массу данных о многих исторических личностях, охватывает большой период, вплоть до настоящего времени — и все это в одном томе. Незаменимым остается «M. Mulhall, «Dictionary of Statistics», изданный в 1898 году и перепечатанный в 1969 году. Вопросам статистики, в первую очередь — в области экономики, посвящена книга «B. Mitchell, «European Historical Statistics», 1980», являющаяся основным современным руководством по этой теме. Много полезной информации по вопросам политики, государственных учреждений, образования и других содержит книга: «State, Economy and Society in Western Europe 1815—1975», 1983», под редакцией P. Flora. В качестве справочника по вопросам культуры и идеологии можно использовать уже упоминавшуюся книгу: «J. Romein, «The Watershed of the Two Eras», 1976».

Из книг, освещающих отдельные вопросы истории рассматриваемого периода, отметим следующие: «I. Ferenczi, W. F. Wilcox, «International Migration», 1929—1931», в 2-х томах; «C. Mc Evedy, R. Jones, «An Atlas of World Population History, 1978» — хорошая книга по теме, вызывающей постоянный интерес.

Для тех, кто интересуется мировоззрением людей XIX века, живших в период перед первой мировой войной, их мнением о себе и своем обществе, рекомендуем книгу: «Encyclopaedia Britannica», 1911, 11-е издание, которая очень хорошо написана и поэтому до сих пор сохраняется во многих хороших библиотеках.

Теперь перечислим книги по отдельным разделам темы.

## История экономики

Краткое введение в историю экономики рассматриваемого периода дают книги: «W. Woodruff, «Impact of Western Man: A Study of Europe's Role in the World Economy 1750—1960», 1966» и «W. Ashworth, «A Short History of the International Economy Since 1850», разных лет издания.

Книги: «Cambridge Economic History of Europe», vol. VI, VII и «C. Cipolla, «The Fontana Economic History of Europe», vol. IV, V, 1973—1975» дополняют друг друга; первую можно назвать хорошей, а вторую — превосходной. Рекомендуем также: «P. Bairoch, «The Economic Development of the Third World Since 1900», 1975. Этот автор написал много полезных трудов, но переведены, к сожалению, лишь немногие из них, например: «P. Bairoch, M. Levi-Leboyer, «Disparities in Economic Development Since the Industrial Revolution», 1981». Книги «A. Milward, S. B. Saul, «The Economic Development of Continental Europe 1780—1870», 1973» и «A. Milward, S. B. Saul, «The Development of the Economies of Continental Europe 1850—1914», 1979» — являются гораздо более глубокими трудами, чем обычные учебники для колледжей. Кроме того, рекомендуем: «S. Pollard, C. Holmes, «Documents of European Economic History, vol. II: Industrial Power and National Rivalry 1870—1914», 1972»; «D. S. Landes, «The Unbound Prometheus», разных лет издания, — содержит самое лучшее и самое яркое освещение вопросов технического прогресса. История индустриализации Британии и ее связь с промышленным развитием других стран Европы освещена в книге: «Sidney Pollard, «Peaceful Conquest», 1081».

Важнейшие вопросы экономики данного периода, например, тема: «От семейной формы до профессионального менеджмента», были рассмотрены на Восьмом международном конгрессе по истории экономики, состоявшемся в Будапеште в 1982 году. Им посвящены также книги: «Alfred D. Chandler, «The Visible Hand: The Management Revolution in American Business», 1977»; «L. Hannah, «The Rise of the Corporate Economy», 1976»; «A. Maizels, «Industrial Growth and World Trade», 1978»; «W. A. Lewis, «Growth and Fluctuations 1870—1913», 1978»; «H. Feis, «Europe, the World's

Banker», 1930»; «M. de Gecco, «Money and Empire: The International Gold Standard 1890—1914», 1974».

### Развитие общества

Большую часть населения мира составляет крестьянство, а книга: «T. Shanin, «Peasants and Peasant Societies», 1971» представляет собой превосходное введение в эту тему. Книга этого же автора «The Awkward Class», 1972, — посвящена крестьянству России. Крестьянам Франции посвящена книга: «Eugene Weber, «Peasants into Frenchmen». Рекомендуются также: «M. Weber, «Capitalism and Rural Society in Germany» (из сборника «H. Gerth, C. Wright Mills, «From Max Weber», издававшегося многократно). Истории мелкой буржуазии старого склада посвящен труд: «G. Crossick, H. G. Haupt, «Shopkeepers and Master Artisans in 19-th Century Europe», 1984».

Издано много книг по истории рабочего класса, но все они относятся к истории одной страны или одной отрасли промышленности: «P. Stearns, «Lives of Labor», 1971»; «D. Geary, «European Labor Protest 1848—1939», 1981»; «Charles, Louise, Richard Tilly, «The Rebellions Century 1830—1930», 1975»; «E. J. Hobsbawn, «Labouring Men», 1964»; «E. J. Hobsbawn, «Worlds of Labour», 1984»; последние две книги освещают много важных вопросов, по крайней мере, частично. Книг, рассматривающих связи рабочих с другими классами, издано немного; одна из них: «David Crew, «Town in the Ruhr: A Social History of Bochum 1860—1914», 1979». Процесс преобразования крестьянства в рабочий класс описан в книге: «F. Znaniecki, W. I. Thomas, «The Polish Peasant in Europe and America», 1918, 1984».

Еще меньше имеется книг, содержащих сравнительный анализ развития среднего класса и буржуазии, хотя книг, рассматривающих каждый из этих классов в масштабах нации, издано довольно много. Так, труд: «T. Zeldin, «France 1848—1945», 1973», в двух томах, содержит много фактического материала об этих классах, как и по другим аспектам развития общества, но не дает его анализа. Имеется также книга: «R. Skidelsky, «John Maynard Keynes, vol. I, 1880—1920», 1983», представляющая собой кабинетный труд, рассматривающий вопросы социальной мобильно-

сти. Общие вопросы развития буржуазии в Британии хорошо освещены в трудах Уильяма Рубинштейна, опубликованных, большей частью, в журнале «Past and Present». Тема социальной мобильности, в общем аспекте, умело и с большим знанием дела разработана в труде: «H. Kaelble, «Social Mobility in the 19-th and 20-th Centuries: Europe and America in Comparative Perspective», 1985». Ценный материал об отношениях между средним и высшим классами и сравнительный анализ вопроса дан в книге: «A. Mayer, «The Persistence of the Old Regime», 1982». Мир аристократии и буржуазии прекрасно описан во многих романах и пьесах писателей XIX века. Отношение буржуазии к культуре и политике прекрасно показано в книге: «C. E. Schorske, «Fin-de-Siecle Vienna», 1980».

Великому движению за эмансипацию женщин посвящено огромное количество исторической литературы разного качества, но нет ни одной хорошей книги, посвященной именно рассмотренному периоду. Можно отметить книгу: «E. Boserup, «Women's Role in Economic Development», 1970». Основополагающим можно считать труд: «L. Tilly, J. W. Scott, «Women, Work and Family», 1978». См. также раздел «Вопросы разделения полов при промышленном капитализме» в сборнике «Signs», 1981, содержащем прекрасные обзоры исследований, посвященных положению женщин. В книге: «T. Zeldin, «France 1848—1945», vol. 1», есть глава, посвященная положению женщин. Надо сказать, что подобный материал имеется лишь в немногих учебниках по истории разных стран. Истории феминизма посвящают много книг. Основной материал содержится в труде: «R. J. Evans, «The Feminists: Women's Emancipation Movements in Europe, America and Australia 1840—1920», 1977», этот же автор написал книгу о женском движении в Германии. Однако в литературе нет полного и систематического освещения многих изменений в положении женщин, особенно тех, которые не были связаны с левыми политическими движениями.

Вопросам основных демографических изменений посвящен труд: «D. V. Glass, E. Grebenik, «World Population, 1800—1950», помещенный в «Cambridge Economic History of Europe», vol. IV, 1965; см. также: «C. Cipolla, The Economic History of World

Population», 1962. В сборнике: «D. V. Glass, D. E. C. Eversley, «Population in History», 1965» содержится важная работа Дж. Хэйнала об исторических различиях брачного союза, принятого в Европе и в других странах.

Современный взгляд на урбанизацию, происходившую в XIX веке, содержится в работе: «Antony Sutcliffe, «Towards the Planned City 1780—1914», 1981». Важное значение имеет труд: «A. F. Weber, «The Growth of Cities in the Nineteenth Century», 1897», переизданный недавно.

Истории религии и церкви посвящена книга: «H. Mc Leod, «Religion and the People of Western Europe», 1974», написанная кратко и ясно. В книге: «D. E. Smith, «Religion and Political Development», 1970» уделено много внимания неевропейским странам; здесь важное значение сохраняет труд: «W. C. Smith, «Islam in Modern History», 1957».

### Империи и империализм

Здесь основной работой следует считать: «J. A. Hobson, «Imperialism», 1902»; эта книга многократно переиздавалась. Различные стороны вопроса освещены в книгах: «W. Mommsen, «Theories of Imperialism», 1980»; «R. Owen, B. Sutcliffe, «Studies in the Theory of Imperialism», 1972». История завоевания колоний описана в книгах: «D. Headrick, «Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century», 1981»; «V. G. Kiernan, «European Empires from Conquest to Collapse 1815—1960», 1982». Лучший обзор отношения Европы к остальному миру в век империализма представлен в блестящем труде: «V. G. Kiernan, «The Lords of Human Kind», 1972». Экономическим вопросам империализма посвящены книги: «P. J. Cain, «Economic Foundations of British Overseas Expansion 1815—1914», 1980»; «A. G. Hopkins, «An Economic History of West Africa», 1973»; «J. F. Rippy, «British Investments in Latin America 1822—1949», 1959»; «C. M. Wilson, «Empire in Green and Gold», 1947» — работа американского историка о компании «Юнайтед Фрут».

Политике и политикам посвящены книги: «J. Gallagher, R. F. Robinson, «Africa and the Victorians», 1958»; «D. C. M. Platt, «Finance, Trade and Politics in British Foreign Policy 1815—1914»,



1968». Вопросам происхождения империализма и его влияния на положение в метрополиях посвящены труды: «B. Semmel, «Imperialism and Social Reform», 1960», а также: «H. U. Wehler, «Bismarck's Imperialism 1862—1890» (в журнале «Past and Present», № 48, 1970). О влиянии империализма на страны, ставшие объектами его воздействия, рассказано в книгах: «D. Denoon, «Settler Capitalism», 1983»; «C. V. Onselen, «Studies in the Social and Economic History of the Witwatersrand 1886—1914», 1982», в 2 томах; E. Bristow, «The Jewish Fight Against White Slavery», 1982»; «T. Pakenham, «The Boer War», 1979» — книга, рисующая живую картину самой большой империалистической войны.

### Политика

Возникновение и развитие политических проблем лучше рассматривать, изучая историю тех стран, которые были с ними связаны; впрочем, есть и работы обзорного характера. Некоторые полезные современные труды указаны в примечаниях к главе 4. Среди них вызывает интерес работа: «R. Michel, «Political Parties», издававшаяся в разные годы, поскольку она дает четко очерченное представление о предмете. Проблема роста государственного аппарата рассмотрена в книге: «E. Anderson, P. Anderson, «Political Institutions and Social Change in Continental Europe in the Nineteenth Century», 1967». Книга: «A. Mc Laren, «A Short History of Electoral Systems in Western Europe», 1980» рассказывает об истории демократических выборов; книга «P. Köhler, F. Zacher, M. Partington, «The Evolution of Social Insurance 1881—1981», 1982» — содержит, к сожалению, только материал, касающийся Германии, Франции, Британии, Австрии и Швейцарии. Гораздо более полный материал представлен в уже упоминавшейся работе: «P. Flora, «State, Economy and Society in Western Europe». В книге: «E. J. Hobsbawm and T. Ranger, «The Invention of Tradition», 1983» говорится о реакции общественности на демократизацию политики (особенно в очерках, написанных D. Cannadine и E. J. Hobsbawm). Книга: «H. Rogger, E. Weber, «The European Right: A Historical Profile», 1965» — рассказывает об особой области политики, которая здесь не рассматривалась и только упоминалась в связи с национализмом.

Вопрос о появлении рабочего класса и социалистического движения освещен в книге: «G. D. H. Cole, «A History of Socialist Thought, III, 1, 2», 1956» в главе «Второй Интернационал», содержащей основные данные для справок. Рекомендуются также: «J. Joll, «The Second International 1889—1914», 1974» (эта книга написана более сжато); «W. Guttman, «The German Social-Democratic Party 1875—1933», 1981» (дает самое понятное описание классической «массовой» партии); «G. Haupt, «Aspects of International Socialism 1889—1914»; «M. Salvadori, «Karl Kautsky and the Socialist Revolution», 1979»; (эти две работы могут служить хорошим введением в описание мировоззрений и идеологий). Социализм глазами его деятелей показан в книгах: «J. P. Nettl, «Rosa Luxemburg», 1967», в двух томах, и «I. Dentscher, «Life of Trotsky», vol. 1: «The Prophet Armed», 1954.

Тема национализма освещена в соответствующих главах моих книг «Век Революции» и «Век Капитала». См. также книги: «E. Gellner, «Nations and Nationalism», 1983» (содержит новейший анализ национализма как явления истории); «H. Seton-Watson, «Nations and States», 1977» — труд энциклопедического характера; «M. Hroch, «Social Preconditions of National Revival in Europe», 1985» — фундаментальная работа. Отношения между национализмом и рабочим движением рассмотрены в очерке Хобсбаума: «What is the Workers Country», помещенном в журнале «Worlds of Labour», 1984. Работа: «D. Smith and H. Francis, «A People and a Proletariat», 1980», относится к Уэльсу и имеет специальный характер, но крайне полезна.

### Культурное и интеллектуальное развитие общества

Наилучшим введением в тему трансформации идей служит хорошо известный труд: «H. S. Hughes, «Consciousness and Society», выдержавшая много изданий. Работа: «G. Lichtheim, «Europe in the Twentieth Century», 1972» написана в форме общего исторического обзора, но посвящена, в основном, вопросам интеллектуального развития, составлена сжато, но содержит много информации. Обширный материал представлен в работе: «J. Romein, «The Watershed of Two Eras», уже упоминавшейся выше. Тема науки освещена в работе: «C. C. Gillispie, «On the Edge of Objecti-

vity», 1960», охватывающая обширный период и имеющая вводный характер, хотя написана она довольно сложно. Эта область очень обширна; наилучшими справочными изданиями можно считать: «C. C. Gillispie, «Dictionary of Scientific Biography», 1970—1980», в 16 томах, и работу: «P. P. Wiener, «Dictionary of the History of Ideas», 1973—1974, в 4 томах. Рекомендуем также: «W. F. Bynum, E. J. Browne, R. Porter, «Dictionary of the History of Science», 1981»; и «Fontana Dictionary of Modern Thought», 1977; обе книги написаны сжато и на хорошем уровне. Работа: «R. W. Clark, «Einstein, the Life and Times», 1971» — посвящена важнейшим областям физики; ее дополняет труд: «R. Mc Cormmach, «Historical Studies in the Physical Sciences», vol. II, 1970», описывающий отношение общества к теории относительности. Этому же автору принадлежит роман «Night Thoughts of a Classical Physicist», 1982, в котором он описал жизнь ученого (на примере одного германского академика). Книга: «C. Webster, «Biology, Medicine and Society 1840—1940», 1981» вводит читателя в мир генетики, евгеники, медицины и социальных приложений биологии.

Рекомендуем справочную книгу по искусству: «Encyclopedia of World Art» — полезна для знакомства с изобразительным искусством, хотя содержит не слишком много исторических сведений. Труд: «New Grove Dictionary of Music», 1980, в 16 томах, написан специалистами и для специалистов. Многие книги, посвященные общей истории Европы периода до 1900 года, содержат данные об искусстве того времени (например, труды Ромейна). Книги, посвященные общей истории искусства, часто представляют собой простое перечисление событий или грешат предвзятостью. Так, работа: «A. Hauser, «The Social History of Art», 1958» дает догматическое марксистское описание предмета. Работа: «W. Hofmann, «Turning — Points in Twentieth-century Art 1890—1917», 1969» — написана интересно, но содержит спорные выводы. В работе «N. Pevsner, «Pioneers of the Modern Movement», 1936», подчеркнута связь между творчеством Уильяма Морриса и модернизмом. Влияние образа жизни людей разных классов на архитектуру показано в книге: «M. Girouard, The Victorian Country House», 1971» и в книге: «M. Girouard, «Sweetness and Light: The Quenn Anne Movement 1860—1900», 1977». Рекомендуем также:

«R. Shattuck, «The Banquet Years: The Origins of the Avantgarde in France 1885 to World War One», 1967» (живо написанная и поучительная книга); «C. Gray, «The Russian Experiment in Art 1863—1922», 1971 (прекрасно написанная книга). По истории театра (в том числе авангардного) рекомендуем книги: «P. Jelavich, «Munich and Theatrical Modernism», 1985»; «R. Pascal, «From Naturalism to Expressionism: German Literature and Society 1880—1918», 1973».

Связь искусства с современным обществом и роль тенденций интеллектуального развития хорошо показаны в трудах Ромейна и Танненбаума. Очень живо написана книга: «S. Kern, «The Culture of Time and Space 1880—1918», 1983»; насколько она убедительна — судить читателям.

Основные тенденции развития социальных и гуманитарных наук показаны в энциклопедическом труде: «J. A. Schumpeter, «History of Economic Analysis», 1954», который лучше использовать только для справок. Много информации содержит работа: «G. Lichtheim, «Marxism», 1961». Социологи нередко спорят о предмете своей науки и о ее истории. Здесь хорошим руководством могут служить статьи по разделу «Социология», помещенные в журнале: «International Encyclopedia of the Social Sciences», 1968, vol. XV».

Книг по историографии данного периода не так уж много; можно указать на: «G. Iggers, «New Directions in European Historiography», 1975»; см. также статью «История» в «Encyclopedia of the Social Sciences», 1932, под редакцией E. R. A. Seligman, а также книгу «International Encyclopedia», 1968, редакторы: H. Berg, L. Febvre.

### История отдельных стран

Мы приводим здесь библиографию книг, написанных на английском языке, которая охватывает историю всех стран, использующих этот язык, а также историю многих стран Дальнего Востока, поскольку она, по традиции, изучается историками в США; однако многие важные труды по истории европейских стран написаны на других языках.

По истории Британии рекомендуются следующие книги: «R. T. Shannon, «The Crisis of Imperialism 1865—1915», 1974» —

хорошо написанная книга, выделены темы культуры и интеллектуального развития; «G. Dangerfield, «The Strange Death of Liberal England», 1935» — дает яркий взгляд на историю страны в этом периоде, хотя и содержит много ошибок в деталях описаний; «E. Halevy, «A History of the English People in the Nineteenth Century», 1895—1915, vol. IV—V» — очень умная и эрудированная работа, написанная современником событий; «R. K. Webb, «Modern Britain from the Eighteenth Century to the Present», 1969» — идеальная книга для читателей, плохо знающих историю Британии.

Имеются переводы нескольких прекрасных книг по истории Франции: «J. M. Mayeur, M. Reberioux, «The Republic from its Origins to the Great War 1871—1914», 1984» — наилучшее из кратких руководств; «G. Dupeux, «French Society 1789—1970», 1976»; «T. Zeldin, «France 1848—1945», 1973» — энциклопедический труд (кроме освещения экономических вопросов), к тому же остроумно написанный; «S. Elwitt, «The Third Republic Defended: Bourgeois Reform in France 1880—1914», 1986» — содержит анализ идеологии руководителей государства; «E. Weber, «Peasants in France» — рассказывает об одном из главных достижений республики.

Книг о Германии переведено меньше, хотя можно рекомендовать следующие: «H. U. Wehler, «The German Empire 1871—1918», 1984»; «A. Rosenberg, «The Birth of the German Republic», 1931» — написана марксистом, очень способным деятелем Веймарской республики; «G. Craig, «German History 1867—1945», 1981» — обстоятельная работа; «V. Berghahn, «Modern Germany, Society, Economics and Politics in the Twentieth Century», 1986» — содержит более обширный фактический материал; «J. J. Sheehan, «German Liberalism in the Nineteenth Century», 1974»; «C. Shorske, «German Social Democracy 1905—1917», 1955» — довольно старая, но понятная для чтения; «G. Eley, «Reshaping the German Right», 1980» — написана в полемическом ключе, но помогает понять политику Германии.

По истории Австро-Венгрии рекомендуются следующие книги: «C. A. Macartney, «The Habsburg Empire», 1968» — очень удобна для общего знакомства с предметом; «R. A. Kann, «The

Mulrinalional Empire: Nationalism and National Reform in the Habsburg Monarchy 1848—1918», 1970», в 2 томах — исчерпывающий труд, местами несколько утомительный; «H. W. Steed, «The Habsburg Monarchy» — написана современником, одаренным и информированным журналистом; корреспондентом газеты «Таймс»; «C. Shorske, «Fin-de-Siecle Vienna» — посвящена политике и культуре. Рекомендуются также труды двух венгерских историков-экономистов, I. Berend и G. Ranki, содержащие обзор и анализ положения Венгрии.

По истории Италии (в пределах рассматриваемого периода) имеется довольно мало книг, переведенных на английский. Можно рекомендовать следующие: «D. Mack-Smith, «Italy: A Modern History», 1969» — одна из работ автора, главные труды которого относятся к последующему и предыдущему периодам истории; «C. Seton-Watson, «Italy from Liberalism to Fascism 1871—1925», 1967» — написана не так живо, как книга «B. Croche, «History of Italy 1871—1915», 1929 — написана великим философом, опустившим многие факты, не представляющие интереса для мыслителя-идеалиста, но интересные современному историку.

По истории Испании имеется две выдающиеся работы на английском языке: «R. Carr, «Spain 1808—1939», 1966» — написанная сжато, но содержащая много фактов; «G. Brenan, «The Spanish Labirinth», 1950» - замечательная, хотя и «ненаучная» работа.

История балканских стран описана в трудах историков Дж. и Б. Джелавич; см. например: «B. Jelavich, «History of the Balkans», vol. II, 1983». См. также: «D. Chirot, «Social Change in a Peripheral Society: The Creation of a Balkan Colony», 1976 — содержит анализ трагедии румынского народа; «M. Djilas, «Land Withont Justice», 1958» — о периоде Монтенегрин; «S. J. Shaw, E. K. Shaw, «History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. II: 1808—1975», 1977» — написана основательно, но не везде интересно.

Книг по истории других европейских стран, изданных на английском языке, имеется недостаточно, хотя есть хорошие монографии, вроде: «Scandinavian Economic History Review» и другие журналы.

По истории стран Африки, Латинской Америки и Китая имеются хорошие работы серии «Cambridge Histories». История стран

Дальнего Востока и полезные сведения по истории Японии содержит книга: «J. K. Fairbank, E. O. Reischauer, A. M. Craig, «East Asia: Tradition and Transformation», 1978. По истории Японии см. книги: «J. Whitney Hall, «Japan: From Prehistory to Times», 1986; «J. Livingston, «The Japan Reader», vol. 1: 1800—1945, 1974»; «J. E. Hunter, «A Concise Dictionary of Modern Japanese History», 1984»; «E. Seidensticker, «Low City, High City: Tokyo from Edo to Earthquake 1867—1923», 1985» - интересная книга, написанная не для востоковедов, а для обычных читателей, интересующихся жизнью и культурой японцев. Наилучшим введением в историю Индии и ее современную жизнь служит книга: «J. M. Brown, «Modern India», 1985», снабженная хорошим списком литературы.

Некоторые работы по истории Китая, Ирана, Османской империи, Мексики, России и других стран указаны ниже, в разделе «Революции».

По каким-то причинам существует явный недостаток работ, которые могли бы служить хорошим введением в историю США, хотя и написано много учебников для колледжей и работ, поясняющих природу американизма, — здесь накопились уже горы монографий. Лучшей остается современная версия работы: «S. E. Morison, H. S. Commager, W. E. Leuchtenberg, «The Growth of the American Republic», 1969. См. также: «G. Kennan, «American Diplomacy 1900—1951», 1984».

### Революции

Классической является работа: «B. Moore, «The Social Origins of Dictatorship and Democracy», 1965», дающая оценку значения революций начала XX века; под ее влиянием написан труд: «T. Scocpol, «States and Revolutions», 1978». Рекомендуются также следующие книги: «E. Wolf, «Peasant Wars of the Twentieth Century», 1972» — эта работа имеет важное значение; «E. J. Hobsbawm, «Revolution» — помещена в сборнике «R. Porter, M. Teich, «Revolution in History», 1986», дающем краткий обзор проблемы революций.

Чрезвычайно обширна историография царской России, ее крушения и ее революций. См. работы: «H. Seton-Watson, «The Russian

Empire 1801—1917», 1967 — довольно трудная для чтения; «H. Rogger, «Russia in the Age of Modernisation 1880—1917», 1983» — содержит основные данные по теме; «T. G. Stavrou, «Russia under the Last Tsar», 1969» — сборник очерков по разным аспектам темы; «P. Lyashchenko, «History of the Russian National Economy», 1949 — при чтении требует дополнения соответствующими главами из «Cambridge Economic History of Europe»; «G. T. Robinson, «Rural Russia under the Old Regime», 1932» — посвящена крестьянству России, удобна для начала изучения темы, хотя и несколько устарела; «T. Shanin, «Russia as a Developing Society», vol. 1: «Russia's Turn of Century», 1985, vol. 2: «Russia 1905—1907: Revolution as a Moment of Truth», 1986» — чрезвычайно интересная, но трудная для чтения работа, в которой дана попытка представить революцию «снизу» и объяснить ее влияние на последующую историю России; «L. Trotsky, «History of the Russian Revolution» — написана коммунистом, участником событий и отличается разумными оценками увиденного; «Marc Ferro, «The Russian Revolution of February 1917» — содержит хороший список литературы.

Постоянно растет и список книг, изданных на английском языке, посвященных другой великой революции — китайской, хотя большая часть их относится к периоду после 1911 года. Рекомендуются следующие работы: «J. K. Fairbank, «The United States and China», 1979 — краткое изложение современной истории Китая; еще лучше: «The Great Chinese Revolution 1800—1985», 1986 — этого же автора; «F. Schurmann, O. Schell, «China Reading 1: Imperial China», 1967 — содержит основной фактический материал; «F. Wakeman, «The Fall of Imperial China», 1975»; «V Purcell, «The Boxer Rising», 1963» — дает полное освещение этого эпизода истории; M. Clabaugh Wright, «China in Revolution: the First Phase 1900—1915», 1968» — можно считать вводной работой, перед чтением более сложных монографий.

По истории социальных преобразований в других древних восточных империях рекомендуются следующие работы: «N. R. Keddie, «Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran», 1981»; «B. Lewis, «The Emergence of Modern Turkey», 1961, 1969» — по истории Османской империи; «D. Kushner, «The Rise of Turkish Nationalism 1876—1908», 1977»; «N. Berkes, «The



Development of Secularism in Turkey», 1964»; «R. Owen, «The Middle East in the World Economy», 1981».

В рассматриваемый период произошла, фактически, только одна революция — в Мексике; здесь рекомендуются, в качестве вводных, следующие работы: «F. Katz, «The Secret War in Mexico», 1981» — особенно первые главы книги; «Cambridge History of Latin America» — глава, написанная тем же автором; J. Womack, «Zapata and the Mexican Revolution», 1969»; труды обоих авторов написаны превосходно.

Национально-освободительное движение в Индии стало предметом многих дискуссий, но достаточно хороших работ по этой теме нет. Для начала рекомендуется: «J. Brown, «Modern India», 1985»; см. также: «A. Maddison, «Class Structure and Economic Growth in India and Pakistan Since the Mughals», 1971» — содержит основные данные по экономике и социальному развитию; «C. A. Bayly, «The Local Roots of Indian Politics: «Allahabad 1880—1920», 1975» — монография, написанная блестящим знатоком Индии; «L. A. Gordon, «Bengal: The Nationalist Movement 1876—1940», 1974» — посвящена региону, где происходили наиболее радикальные преобразования.

История исламских стран (помимо Турции и Ирана) освещена слабо. Рекомендуются: «P. J. Vatikiotis, «The Modern History of Egypt», 1969»; «E. Evans-Pritchard, «The Sanusi of Cyrenaica», 1949» — написана знаменитым антропологом о Ливии, читается с интересом; автор предназначал свой труд британским офицерам, сражавшимся в пустынях Северной Африки в годы второй мировой войны.

### **Войны и борьба за мир**

Новейшее и достаточно хорошее освещение проблемы причин возникновения первой мировой войны дано в работе: «J. Joll, «The Origins of the First World War», 1984». См. также: «A. J. P. Taylor, «The Struggle for Mastery in Europe», 1954» — несколько устаревшая работа, прекрасно описывающая сложность международной дипломатии; «P. Kennedy, «The Rise of Anglo-German Antagonism 1860—1914», 1980»; «Z. Steiner, «Britain and the Origins of the First World War», 1977»; «F. R. Bridge, «From Sadowa

to Sarajevo: The Foreign Policy of Austria-Hungary 1866—1914», 1976»; «V Berghahn, «Germany and the Approach of War», 1973» — все это примеры хорошо написанных монографий недавнего времени; «G. Barraclough, «From Agadir to Armageddon: The Anatomy of a Crisis», 1982 — написана одним из самых оригинальных историков своего времени; «W. H. Mc Neil, «The Pursuit of Power», 1982 — освещает общие вопросы войны и состояния общества; «B. Bond, «War and Society in Europe 1870—1970», 1983» — хорошо описан именно интересующий нас период истории; «N. Stone, «The Eastern Front 1914—1917», 1978» — главы 1 и 2; «M. Ferro, «The Great War», 1973» — хорошее, достаточно краткое описание последствий войны; «R. Wohl, «The Generation of 1914», 1979» — о тех, кто предвидел надвигавшуюся войну; «G. Haupt, «Aspects of International Socialism 1871—1914», 1986» — блестяще описана позиция Ленина по вопросам войны и революции.

# СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
<i>ВСТУПЛЕНИЕ</i>	5
<i>Глава 1.</i> СТОЛЕТНЯЯ РЕВОЛЮЦИЯ	21
<i>Глава 2.</i> ЭКОНОМИКА МЕНЯЕТ ОБОРОТЫ	51
<i>Глава 3.</i> ВЕК ИМПЕРИЙ	83
<i>Глава 4.</i> ПОЛИТИКА ДЕМОКРАТИЗАЦИИ .....	123
<i>Глава 5.</i> РАБОЧИЕ МИРА	164
<i>Глава 6.</i> НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМ: ПОДНЯТЫЕ ЗНАМЕНА .	209
<i>Глава 7.</i> КТО ЕСТЬ КТО, ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ БУРЖУАЗИИ	243
<i>Глава 8.</i> НОВАЯ ЖЕНЩИНА	283
<i>Глава 9.</i> ПРЕОБРАЖЕННОЕ ИСКУССТВО .....	321
<i>Глава 10.</i> НАУКИ: ПОКОЛЕБЛЕННАЯ УВЕРЕННОСТЬ .....	355
<i>Глава 11.</i> ПРИЧИНА И ОБЩЕСТВО .....	382
<i>Глава 12.</i> НА ПУТИ К РЕВОЛЮЦИИ	402
<i>Глава 13.</i> ОТ МИРА К ВОЙНЕ	435
ЭПИЛОГ	471
ТАБЛИЦЫ .....	487
КАРТЫ	497
КОММЕНТАРИИ	504
ПРИМЕЧАНИЯ	509
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ .....	526

*Эрик Хобсбаум*  
**ВЕК ИМПЕРИИ**  
**1875 — 1914**

Редактор *А. А. Егоров*  
Художник *Т. Неклюдова*  
Корректор *Н. Передистый, Н. Пустовойтова*

Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.  
Сдано в набор 24.08.98. Подписано в печать 30.10.98 г.  
Формат 84х108/32. Бумага офсетная.  
Гарнитура CG Times. Печать высокая. Усл. п.л. 17,0.  
Тираж 5000 экз. Заказ № 291.

Издательство «Феникс»  
344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17.

Отпечатано с готовых диапозитивов на  
полиграфическом предприятии «Офсет»  
400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6.

Эрик Хобсбаум родился в Александрии в 1917 г. Получил образование в Вене, Берлине, Лондоне и Кембридже. Член Британской Академии и Американской Академии Искусств и Наук, обладатель почетных степеней университетов ряда стран. До пенсии работал в Бирбекском Колледже Лондонского университета, а затем в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Его книги: *Primitive Rebels*, *Labouring Men and Worlds of Labour*, *Industry and Empire* and *Bandits*.

Посвященная двадцатому веку трилогия известного британского историка Эрика Хобсбаума является одним из величайших достижений современной исторической мысли.

С момента выхода в свет первого тома этого выдающегося труда (более трех десятилетий назад) и вплоть до сегодняшнего дня исследование Хобсбаума неизменно попадает практически во все каталоги книг по всеобщей истории, предлагаемые англоязычному читателю. Разгадка этого феноменального успеха проста: после нескольких десятилетий упорного и кропотливого труда английский ученый создал детальный и оригинальный обзор важнейших явлений и процессов, характерных для европейского общества в период между 1789 и 1914 гг. При этом он не только суммировал факты, но и попытался вписать их в систему исторического синтеза, «воссоздать дух того времени».

В «Веке империи» Хобсбаум показал, как и почему «классический капитализм» пришел в упадок, а относительно мирный период развития европейского общества оказался чреват первой мировой войной, вскрыл причины, приведшие к кризису буржуазной морали и общества в целом.

ISBN5-222-00616-6



9 785222 006160